БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

Советский писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья
Ф. Я. Приймы

Составление, подготовка
текстов и примечания
Б. В. Мельгунова

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1983

Р1
Б 46

Сенсационный успех изданного в 1835 году сборника «Стихотворений» В. Г. Бенедиктова (1807—1873) был непродолжителен, чему в немалой мере способствовали статьи В. Г. Белинского, проницательно разглядевшего в творчестве молодого поэта наряду с его незаурядной творческой одаренностью и вычурность ультраромантического стиля, и равнодушие к социальной проблематике, и обусловленное ориентацией на обывательские вкусы отсутствие «целомудренной и возвышенной простоты».

Стимулированные отзывами критики художественные поиски Бенедиктова 1842—1852 гг., когда он почти не выступал в печати, приводят его к утверждению на эстетических позициях реализма. Именно в этот новый реалистический период и были созданы поэтом такие замечательные произведения, как «Нетайное признание», «Тоска», «Борьба», «И ныне», «Вход воспрещается», «Перевороты» и многие другие.

Настоящее издание является наиболее полным научно комментированным собранием стихотворений Бенедиктова. Ряд произведений публикуется впервые; в текстах устранены унаследованные от дореволюционных изданий неточности; приложен полный перечень стихотворений, не вошедших в настоящий сборник.

Б $\frac{4702010100-469}{083(02)-83}$ 402—83

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

Появление в середине 1835 года в Петербурге небольшой по объему книги «Стихотворений» В. Г. Бенедиктова (1807—1873) сопровождалось огромным успехом, — тем более ошеломляющим, что до этого молодым автором ни одного произведения, по крайней мере, подписанного его полным именем, не было опубликовано. «Вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова, — вспоминал впоследствии его современник и биограф Я. П. Полонский. — Он был в моде — учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербурга, молодые франты, хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще не напечатанные стихи Бенедиктова. И эти восторги происходили именно в то время, когда публика с каждым годом холодела к высокохудожественным произведениям Пушкина, находила, что он исписался, утратил звучность — изменил рифме и все чаще и чаще пишет белыми стихами». [1]

Но если средний читатель встретил стихотворения Бенедиктова восторженно, то мнение о них критики единодушием не отличалось: одни журналы находили молодого поэта равновеликим Пушкину и даже в чем-то его превосходящим; другие же, находя талант Бенедиктова заурядным, сомневались в том, что феноменальный успех его стихотворений будет сколько-нибудь продолжительным. Не прошло и десятилетия, как напряженные споры вокруг имени Бенедиктова улеглись, и он занял со временем довольно прочное место как представитель «эффектного» романтизма и поэт «второго литературного ряда». Как поэту второстепенному, историки литературы уделяли ему мало внимания, а в обобщающих работах о литературе XIX века облик его зачастую подвергался бесцеремонному искажению. Тенденциозно интерпретировалась поэзия Бенедиктова даже в специальных работах о нем, примером чему может служить статья

---

[1] Полонский Я., Владимир Григорьевич Бенедиктов. — В кн.: Стихотворения В. Бенедиктова. Посмертное издание под редакцией Я. П. Полонского, т. 1, СПб. — М., 1883, с. XIX—XX.

Б. А. Садовского «Поэт-чиновник», напечатанная в одиннадцатом номере «Русской мысли» за 1909 год. Между тем роль Бенедиктова в развитии русской поэзии достойна иной оценки. И самый триумф поэта в 30-е годы прошлого века, и последовавшее за ним «падение» славы писателя исключительно поучительны в историко-литературном отношении. Определить в поэтическом наследии Бенедиктова признаки, детерминированные эстетическим климатом 1830-х годов, с одной стороны, и своеобразием личности и биографии поэта — с другой, представляет для нас также немаловажный интерес.

Родился Бенедиктов в Петербурге, но его отроческие годы прошли в Петрозаводске, куда был назначен на должность советника губернского правления его отец, выходец из низшего духовенства Смоленской губернии, получивший дворянское звание лишь в результате своего продвижения по государственной службе. Формированию нравственного и духовного облика будущего поэта немало способствовала его мать, происходившая из семьи придворного служителя (кофешенка). На развитие поэтического воображения Бенедиктова в ранние годы заметное влияние оказала суровая природа Олонецкого края, о чем мы можем судить по таким стихотворениям поэта, как, например, «Озеро» («Я помню приволье широких дубрав; Я помню край дикий...»).

В двенадцатилетнем возрасте Бенедиктов поступает в четырехклассную Олонецкую губернскую гимназию. Здесь гимназический учитель И. Ф. Яконовский, с увлечением читавший ученикам курс российской словесности и сам «грешивший» сочинением стихов «на случай», первый пробудил у будущего поэта охоту к стихотворству. В 1821 году, четырнадцати лет, Бенедиктов успешно заканчивает гимназию и в связи с поступлением в средние классы Второго кадетского корпуса в Петербурге покидает Петрозаводск.

На протяжении шестилетнего обучения в кадетском корпусе Бенедиктов продолжал свои поэтические опыты, хотя ни со стороны преподавателей, ни в товарищеской среде сочувственного отношения к себе они не встречали. «Жаль, — писал в связи с этим Я. П. Полонский, — что Бенедиктов не поступил в университет, так как едва ли не в одних наших университетах, даже и в то время, мелькали искорки кой-каких идей, — во всяком случае, взгляды на науку и жизнь были шире и требовательнее. Мы говорим жаль, потому что нельзя писателю иметь влияние на своих современников, если сам он в ранние годы ни разу не подчинялся никаким влияниям и не побеждал их собственным умом своим. Что же может быть благотворнее влияния идей, разрабатываемых умственными силами всего человечества?» [1]

---

[1] Полонский Я., Владимир Григорьевич Бенедиктов, с. V.

В конце 1827 года Бенедиктов заканчивает корпус первым учеником и, произведенный в прапорщики, получает назначение на службу в лейб-гвардейский Измайловский полк. Через три года беспорочной службы его производят в поручики, а вскоре в составе одного из подразделений помянутого полка его отправляют в охваченную пламенем восстания Польшу. Впечатления от бивачного быта и двух-трех незначительных стычек с повстанческими отрядами были отображены молодым офицером-поэтом в его стихотворных набросках, известность которых не выходила, впрочем, за пределы узкого круга его товарищей по службе.

В 1832 году, незадолго перед этим удостоенный награждения орденом св. Анны 4-й степени («За храбрость»), Бенедиктов добровольно уходит в отставку. Будучи дворянином по сословной принадлежности и разночинцем по своему положению в обществе, человеком, обеспечивающим себе средства к существованию собственным трудом, он добивается зачисления на гражданскую службу по Министерству финансов, которая требовала большой отдачи сил и не создавала ни малейших условий для взлетов поэтического творчества. «Бенедиктов, — писал Я. П. Полонский, — был человек 30-х годов и носил на себе печать этого, по преимуществу бюрократического, времени. Он не был тем гением, который, по словам Лермонтова, прикованный к канцелярскому столу, непременно бы с ума сошел. Обладая математическими способностями, памятью цифр и верностью счета, Бенедиктов не только мог спокойно служить в государственном банке, но и быть одним из лучших, ценимых начальством, чиновников. На Бенедиктова мы смотрим, каким он был, и не обязаны смотреть как на человека, каким он мог бы быть при других обстоятельствах или при иных душевных и телесных качествах».[1]

Это любопытное признание Я. П. Полонского страдает, однако, некоторой недосказанностью. Да, Бенедиктов был сформирован 30-ми годами, на общественно-литературную жизнь которых наложил неизгладимую печать деспотизм Николая I. К наиболее характерным явлениям литературного быта 1830-х годов А. И. Герцен относил пресмыкательство Булгарина и Греча перед царским троном и «проповедь комфорта и чувственных удовольствий» «Библиотекой для чтения» О. И. Сенковского.[2] Самые невинные проблески независимой общественной мысли гибли в ту пору под сапогом самодержавия. 1830-е годы явились периодом, когда дворянская революцион-

---

[1] Полонский Я., Владимир Григорьевич Бенедиктов, с. IX—X.
[2] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, М., 1956, с. 215 и 220.

ность угасала, а революционность разночинская находилась в стадии своего утробного развития. Правда, уже в середине 1830-х годов передовое разночинство заявит о своем существовании в статьях В. Г. Белинского, однако массовое осознание разночинством своей демократической общественной миссии проявится лишь двумя десятилетиями позднее.

Промежуточностью социального бытия полуразночинца Бенедиктова были во многом обусловлены и его общественно-эстетические взгляды. С одной стороны, он постоянно ощущал свою отчужденность от образа жизни и предубеждений привилегированных слоев общества, а с другой — сформировавшая его среда, служба преуспевающего чиновника и специфическая образованность отнюдь не побуждали его в ту пору к поискам высоких общественных идеалов.

Симптоматично все же, что одним из первых петербургских литераторов, с которым познакомился и близко сошелся Бенедиктов по освобождении от армейской службы, был К. А. Бахтурин (1809—1841), человек нелегкой судьбы. Знакомство это было значительным событием в жизни Бенедиктова, поскольку оно расширяло его «провинциальные» представления о литературной жизни обеих столиц.

Разночинец не только по образу жизни, но и по происхождению, Бахтурин несколько лет служил в гусарах. Уйдя в 1832 году в отставку, он поселяется в Москве, где через посредничество В. В. Пассека знакомится с членами герценовского кружка Н. П. Огаревым и Н. М. Сатиным. Переселившись в 1833 году в Петербург, Бахтурин приобретает вскоре известность как поставщик адресованных массовому зрителю пьес для Александринского театра и как представитель столичной театрально-литературной богемы. Утверждению известности этого деятельного молодого литератора немало способствовало и то, что для его мелодрамы «Молдаванская цыганка» музыкальный номер был написан М. И. Глинкой. Материальная необеспеченность и рассеянный образ жизни Бахтурина помешали развитию его творчества, в котором обнаружились, впрочем, и его бесспорная одаренность, и симптомы оппозиционных по отношению к существующему режиму настроений (стихотворение «Рим» и др.).[1]

Не исключена возможность, что проявлениями некоторой оппозиционности «грешил» в 1830-е годы и Бенедиктов. Позднее в сти-

---

[1] Подборку поэтических произведений К. А. Бахтурина и содержательную биографическую справку о нем, написанную В. С. Киселевым, см. в кн.: «Поэты 1820—1830-х годов», т. 2, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1972, с. 344—361.

хотворении «7 апреля 1857», осуждая николаевское царствование, он скажет:

Ты ж, Русь... Творец к тебе был гневен;
Была мертва ты тридцать лет...

Однако для характеристики идейных позиций поэта в 1830-е годы эти стихи могут быть привлечены лишь с большой оговоркой. Во всяком случае, если в дружеских признаниях той поры Бенедиктову и приходилось порой выражать крамольные мысли, то в своем поэтическом творчестве он намеренно воздерживался не только от прямой или даже завуалированной характеристики николаевского режима, но и от простых соприкосновений с политической темой.

В 1833 году Бахтурин знакомит Бенедиктова с молодым литератором П. П. Ершовым (1815—1869), обучавшимся в то время в Санкт-Петербургском университете и завершившим свою стихотворную сказку «Конек-горбунок», широкой известности и успеху которой задолго до ее полного издания (1856) немало способствовал ректор университета П. А. Плетнев.

Сразу же после выхода из военной службы встретился Бенедиктов с приятелем своим по Петрозаводску Вильгельмом Ивановичем Карлгофом (1796—1841), третьестепенным поэтом, снискавшим, однако, в писательских кругах известную репутацию как хозяин литературного салона, среди посетителей которого мы найдем имена А. Ф. Воейкова, Л. А. Якубовича, И. И. Панаева, А. В. Никитенко, Н. В. Кукольника, Евстафия Бернета и других литераторов. С благоговейным трепетом произносилось в салоне В. И. Карлгофом и его женой Елизаветой Алексеевной Карлгоф (урожденной Драшусовой) имя Дениса Васильевича Давыдова. 28 января 1836 года по случаю приезда Дениса Давыдова в Петербург В. И. Карлгоф дал ужин, на котором присутствовали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Крылов. Культ Дениса Давыдова в салоне супругов Карлгоф, надо полагать, нашел известное отражение как в эстетических взглядах, так и в творчестве Бенедиктова.

С деятельностью литературного салона супругов Карлгоф был связан ряд событий в творческой биографии В. Г. Бенедиктова, в том числе и такое знаменательное, каким явилось издание первой книги стихотворений поэта. «Мой муж, как и я, — вспоминала впоследствии Е. А. Карлгоф, — страстно любил поэзию и был увлечен стихами Бенедиктова; он носился с ними, как с неожиданно найденным сокровищем, прочитал их многим литераторам, которым они также чрезвычайно понравились, и все радовались появлению в русской литературе нового поэта с таким выдающимся дарованием.

Несмотря на огромный успех, который имели в гостиных стихотворения Бенедиктова, он не решался печатать их, тем более что находился тогда в довольно стесненных обстоятельствах и не имел на это средств. Мой муж взялся напечатать на свой счет 〈...〉 Печатание, потом появление стихотворений Бенедиктова меня чрезвычайно занимали. Томик его стихотворений скоро был раскуплен, и они имели необыкновенный успех. О них везде говорили, их клали на музыку, учили наизусть. Во всех журналах их расхвалили, только в Москве Белинский их отделал, на что я очень негодовала.

Все желали познакомиться с новым поэтом. Жуковский, который жил тогда в Зимнем дворце и принимал по субботам, написал мужу премилую записку, прося его привезти непременно Бенедиктова. Успехи поэта чрезвычайно нас радовали. В скором времени Бенедиктов сам уже приступил ко второму изданию...»[1]

Что же представлял собой первый сборник молодого поэта?

Обращает на себя внимание ученический характер многих стихотворений, вошедших в книгу. Со всей очевидностью сказалось это на цикле сонетов, надуманных по содержанию и слабых по исполнению. Поэт не избежал стилистической монотонии, явно недооценив сложность избранной им формы. О налете ученичества или подражательности молодого Бенедиктова свидетельствуют также и довольно частые у него обращения к архаической лексике и фразеологии (*очеса, ланиты, всемощная десница, стрелы Феба* и т. п.), а также нередкие реминисценции из поэтов предшествовавшей поры: образ крокодила, таящегося на дне сердца (стихотворение «Бездна») — из К. Н. Батюшкова; «О, не играй веселых песен мне... владычица младая!» (стихотворение «N. N-ой») — из А. С. Пушкина; образ моря, на дне которого погребено «много сокровищ» (стихотворение «Море») — из Н. М. Языкова и т. д.

Существенная особенность поэтического почерка молодого Бенедиктова состояла также в тенденции к описательности, о чем можно судить отчасти даже по названиям отдельных его стихотворений: «Облака», «Ореллана», «Озеро», «Вулкан», «Комета», «Гроза» и т. п.

Ветра прихотям послушный,
Разряжённый, как на пир,
Как пригож в стране воздушной
Облаков летучий мир!

(*«Облака»*)

---

[1] «Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной». — «Русский вестник», 1881, № 9, с. 141—142.

Конь кипучий бежит, бег и ровен и скор.
Быстрина седоку неприметна!
Тщетно хочет его опереться там взор:
Степь нагая кругом беспредметна.

(«Степь»)

Взгляните, как льется, как вьется она —
Красивая, злая, крутая волна!
Это мчится Ореллана,
Величава, глубока,
Шибче, шибче — и близка
К черной бездне океана.

(«Ореллана»)

Взгляни на небеса: там стройность вековая.
Как упоительна созвездий тишина!
Как жизнь текущих сфер гармонии полна, —
И как расчетиста их пляска круговая!

(«Комета»)

Отдавая себе отчет в том, что описание явлений природы как самоцель ведет к художественным утратам, Бенедиктов обходил эту опасность: картина природы, как правило мастерски написанная, сопровождалась у него сравнением, изображением внутреннего мира человека. Иногда дидактический смысл подобного сравнения не имел достаточной творческой мотивировки («Радуга», «Две реки»), в других же случаях («Озеро», «Степь») автор достигал необходимой художественной цели. Третью категорию пейзажей составляют такие стихотворения молодого автора, в которых он, не обращаясь к сравнению, возводил описание объектов или явлений природы до степени символа, сообщая произведению весомый нравственно-философский смысл («Утес», «Ореллана»).

Элементы архаического стиля парадоксальным образом соседствовали в творчестве Бенедиктова с ориентацией на нормы самоновейшей поэзии. Уже в первом своем сборнике он продемонстрировал превосходное знакомство с достижениями современных ему поэтов в области метрики и ритмики, а также незаурядные способности в употреблении различных размеров и строфики в пределах одного произведения. Выдвинутый в эстетических декларациях как русских, так и зарубежных (особенно французских) романтиков тезис ведущей роли поэта в общественной жизни, о поэте-провидце и противостоящей ему невежественной толпе импонировал сознанию Бенедиктова, провозглашавшего:

Я в мире боец, да, я биться хочу.
Смотрите, — я бросил уж лиру,
Я меч захватил и открыто лечу
Навстречу нечистому миру.

(«Могила»)

В своем порыве сразиться со злом поэт порой доходил до исступления:

Порою злым вихрем прорвусь на простор,
И вихрей-собратий накличу,
И прахом засыплю я хищника взор,
Коварно следящий добычу!

Чрез горы преград путь свободный найду,
Сквозь камень стены беспредельной
К сатрапу в чертоги заразой войду
И язвою лягу смертельной!

И тем не менее мы не найдем в этом стихотворении, как и во всем творчестве раннего Бенедиктова, попыток обозначить конкретные признаки того зла, с которым намерен сражаться поэт и его собратья. Писательскому радикализму в области стиля, как известно, далеко не всегда сопутствовал радикализм общественно-политический. Радикализм Рылеева и поэтов-декабристов в целом проявлялся преимущественно в сфере идеологической, в сфере же эстетической он никогда не доходил до максимализма. Иным был радикализм бенедиктовский: ограничиваясь областью эстетической, он отзывался порою творческим волюнтаризмом. Поэтика Бенедиктова требовала обновления стиля, и прежде всего — гиперболической метафоры:

Душа моя земное отвергала,
И грудь моя всё небо обнимала,
И я в груди вселенную сжимал.

(«К очаровательнице»)

С той же решительностью настаивал поэт на обогащении поэтического языка путем создания различного рода неологизмов. В 1838 году в четвертом стихотворении цикла «Отрывки (Из книги любви)» он скажет:

Чтоб выразить таинственные муки,
Чтоб сердца огнь в словах твоих изник,
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык!

С излишним рвением следуя этому правилу, Бенедиктов изобрел огромное количество новых слов (*безглагольность, водоскат, возмужествовать, запанцириться, зуболомный, каинство, огнеметный, предвкусие, простороженец, сорвиголовный, человечиться* и т. д.), подавляющее большинство которых в русском поэтическом языке не прижилось.

Таким образом, если призывы Бенедиктова к эстетическому новаторству и содержали некое рациональное зерно, то возведение его в спасительный принцип поэтического творчества свидетельствовало лишь об ограниченности общественно-эстетических воззрений поэта. Ею, кстати сказать, была обусловлена и тематическая скудость первого сборника его стихотворений. Гражданская тематика не нашла в них отражения, хотя известное приближение к ней и намечено в рассмотренном выше стихотворении «Могила». Не имеют, на наш взгляд, прямого отношения к гражданской теме четыре стихотворения Бенедиктова, изображающие военный быт («Праздник на биваке» и «Ночь близ м⟨естечка⟩ Якац») и связанные с ними «припоминания» («Бранная красавица» и «Прощание с саблей»). Сориентированные на жанр лихой гусарской песни, они слишком личностны и не обладают даже той степенью «гражданственности», которая свойственна, скажем, «Полусолдату» и «Гусарской исповеди» родоначальника помянутого жанра — Дениса Давыдова.

Разделяя основной принцип романтизма — принцип свободы творчества, — ранний Бенедиктов остался равнодушным к такому существенному пункту эстетической программы романтиков, как национальная самобытность искусства. Интерес к ней, как известно, принимал самые разнообразные формы: разработка национальной, преимущественно национально-исторической тематики, увлечение отечественной мифологией, народной фантастикой, просторечием и т. д. Однако ни одно из этих увлечений у раннего Бенедиктова в качестве осязаемого признака не проявилось, о чем свидетельствует даже такая частность, как «репертуар» собственных имен в стихотворениях 1835 года, где наименования книжного происхождения или же заимствованные из культурного обихода «образованного слоя» (Адель, Матильда, Альдебаран и т. п.) нисколько не уравновешены именами отечественного происхождения.

Судя по сборнику стихотворений 1835 года, социальные мотивы также оставались где-то в стороне от «магистральных» тем молодого Бенедиктова. Правда, в стихотворении «Золотой век» поэт напоминал читателю о существовавших в древности мифах о Золотом веке, когда природа награждала человека своими дарами, не требуя от него «кровавого пота», когда не было войн и «неправда и злое коварство не ведали входа в Сатурново царство», и называл эти мифы «прекрасными видениями», однако чисто книжный источ-

ник помянутой пьесы и отвлеченное его истолкование не могли вызвать у читателя никаких ассоциаций с современной действительностью. Вряд ли можно увидеть разработку социальной темы и в «руссоистском» стихотворении «Мой выбор», где автор отдает предпочтение не розе и не томной лилии, а скромному полевому ландышу. Не дает достаточных оснований для такого вывода и стихотворение «К Полярной звезде», в котором наряду с другими проходит и образ «селянина», окидывающего озабоченным взором звездное небо.

Пожалуй, самой уязвимой стороной первого поэтического сборника Бенедиктова являлись стихотворения, написанные на тему любви. Красноречивым примером этой уязвимости может служить стихотворение «Напоминание», в котором, предаваясь воспоминаниям об испытанном некогда счастье, танце с любимой женщиной, поэт воссоздавал весьма рискованные подробности своих былых переживаний:

И, когда ты утомлялась
И садилась отдохнуть,
Океаном мне являлась
Негой зыблемая грудь, —
И на этом океане,
В пене млечной белизны,
Через дымку, как в тумане,
Рисовались две волны.
То угрюм, то бурно весел,
Я стоял у пышных кресел,
Где покоилася ты,
И прерывистою речью,
К твоему склонясь заплечью,
Проливал мои мечты.

Не только в цитированном, но и в других бенедиктовских стихотворениях, тематически к нему примыкающих, чувство любви нередко сводилось к изображению чувственных влечений и физиологических ощущений. В разработке этой тематики никаких специфически романтических устремлений и никакого новаторства Бенедиктов, разумеется, не обнаружил. Здесь он следовал довольно прочной традиции, берущей свое начало в эротических мотивах римских авторов (Катулл, Тибулл, Проперций), канонизированных впоследствии во французской фривольной поэзии XVIII века (Ж. Б. Л. Грессе, Э. Д. Парни и др.), в эклогах А. П. Сумарокова, в поэме «Душенька» и «игривой» лирике И. Ф. Богдановича, равно как и в русской «легкой» поэзии первой четверти XIX века.

Преобладание физиологического аспекта в изображении любви у Бенедиктова, как видим, вполне объяснимо, поскольку оно в значительной степени традиционно. Нелегко, однако, объяснить, почему литературная среда далеко не сразу обратила внимание на эту, бесспорно слабую, сторону в творчестве молодого поэта. Ведь даже такой патентованный критик, как С. П. Шевырев, рецензируя первый сборник Бенедиктова, не делая ни малейших оговорок, находил в нем «могучее нравственное чувство добра, слитое с чувством целомудрия».[1] До самой середины 30-х годов XIX века, по мнению Шевырева, русская литература, и особенно поэзия, переживала «эпоху изящного материализма». «Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной веяло чем-то духовным в нашей поэзии. Но материализм торжествовал над всем ⟨...⟩ Формы убивали дух ⟨...⟩ Для форм мы уже много сделали, для мысли еще мало, почти ничего. Период форм, период материальный, языческий, одним словом, период стихов и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною сказкою: пора наступить другому периоду, духовному, периоду мысли!»[2]

Вряд ли есть смысл подробно анализировать эту тенденциозную и сумбурную рецензию. Видя в чувственности едва ли не главный изъян современной ему литературы, Шевырев закрывал глаза на то, что именно апологией чувственности страдал ряд стихотворений рецензируемого им сборника. Объявляя Бенедиктова своего рода зачинателем «поэзии мысли», критик ни одним словом не обмолвился о том, что высокие образцы общественно-политической и философской мысли уже были даны в творчестве Радищева и Пушкина, Грибоедова и поэтов-декабристов.

Спустя примерно месяц после появления рецензии Шевырева с обстоятельной статьей «Стихотворения Владимира Бенедиктова» выступил в «Телескопе» В. Г. Белинский. Поскольку Бенедиктов как феномен новой поэзии противопоставлялся в рецензии Шевырева «эпохе изящного материализма», под которым подразумевалась поэзия Пушкина, Белинский построил свою статью на том же противопоставлении и, всячески дискредитируя при этом Бенедиктова, отдавал явное предпочтение автору «Евгения Онегина». Впечатление, произведенное статьей Белинского на читающую публику, можно сравнить с неожиданным взрывом бомбы.

Когда номер «Телескопа» со статьей о Бенедиктове, подписанной полным именем Белинского, появился в Петербурге, в частности в кондитерской Беранже, студенты университета с негодованием отзывались о «критикане», осмелившемся занести руку на любимого

---

[1] «Московский наблюдатель», 1835, ч. 3, август, кн. 1, с. 446.
[2] Там же, с. 442.

поэта. Вспоминая об этом событии из студенческой жизни через тридцать с лишним лет, И. С. Тургенев писал: «Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! — и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными ⟨...⟩ неотразимыми». [1]

Главный недостаток стихотворений Бенедиктова Белинский видел в невыдержанности мысли, стиха, самого языка. «Как в романе или драме невыдержанность характеров, неестественность положений, неправдоподобность событий обличают работу, а не творчество, так в лиризме неправильный язык, яркая фигура, цветистая фраза, неточность выражения, изысканность слога обличают ту же самую работу ⟨...⟩ Стих, переложенный в прозу и обращающийся от этой операции в натяжку, так же как и темные, затейливые мысли, разложенные на чистые понятия и теряющие от этого всякий смысл, обличают одну риторическую шумиху, набор общих мест». [2] Эта мысль подкреплялась в статье длинным перечнем примеров. «Посмотрите, — писал Белинский, — как неудачны его (Бенедиктова. — *Ф. П.)* нововведения, его изобретения, как неточны его слова? Человек у него *витает* в рощах; волны грудей у него превращаются в *грудные волны; камень лопает* (вм. *лопается*); ⟨...⟩ *степь беспредметна; стоит безглаголен; сердце пляшет; солнце сентябревое*; валы *лижут* пяты утеса; *пирная* роскошь и веселие; *прелестная сердцегубка* и пр.» (I, 362).

Не называя Шевырева по имени, Белинский самым решительным образом оспаривал его утверждение, что в творчестве Бенедиктова заговорила полным голосом *поэзия мысли.* «Мы этого не видим, — негодовал критик. — Г-н Бенедиктов воспевает все, что воспевают молодые люди: красавиц, горе и радости жизни; где же он хочет выразить мысль, то или бывает слишком темен, или становится холодным ритором» (I, 362). По мнению Белинского, мысль в поэзии может существовать только в слиянии с чувством. «И наоборот, очень понятно, что сочинение, в котором есть чувство, не может быть без мысли» (I, 365). В творениях высокой поэзии, на взгляд критика, «мысль уничтожается в чувстве, а чувство уничтожается в мысли; из этого взаимного уничтожения рождается высокая художественность» (I, 365).

К спорным сторонам таланта Бенедиктова Белинский относил его описания, называя их при этом «прекрасными формами, которым

---

[1] Тургенев И. С., Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Соч., т. 14, М.—Л., 1967, с. 23.

[2] Белинский В. Г., Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 360—361. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

недостает души» (I, 368). Признавая «К Полярной звезде» «чудом» по красоте стиха, он видел недостаток этого стихотворения в описательности и отсутствии мысли.

Коснувшись в статье вопроса об эротизме некоторых стихотворений поэта, Белинский тактично оговорился, что их в сборнике немного, и, указав лишь на одно из них («Наездница»), тут же заметил, что их «решительно не следовало печатать» (I, 370). «Мы не требуем от поэта нравственности, — писал критик, — но мы вправе требовать от него грации в самых его шалостях, и, под этим условием, мы ни одного стихотворения г. Языкова не почитаем безнравственным, и, под этим же условием, мы почитаем упомянутое стихотворение г. Бенедиктова очень неблагопристойным и сверх того видим в нем решительное отсутствие всякого вкуса» (I, 370).

Написанием рассмотренной выше статьи Белинский отнюдь не считал свое исследование вопроса о Бенедиктове завершенным. Правда, в статье «Ничто о ничем» (январь 1836 года) критик заявил, что он «решился не говорить более об этом предмете: пусть решит этот вопрос время» (II, 50), хотя тут же, сообщая о выходе в свет «Стихотворений Кольцова» как о «приятном явлении», выражал сожаление, что «г. Кольцову не так посчастливилось, как г. Бенедиктову» (II, 50). Не мог воздержаться Белинский от суждений о Бенедиктове и в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (май 1836 года), в которой, рассматривая повторно пресловутую рецензию Шевырева, возмущался тем, что для этого критика «сам Пушкин ниже г. Бенедиктова» (II, 151).

В августе 1836 года второе издание первого сборника Бенедиктова было отрецензировано Белинским с единственной целью — напомнить читателям, что вторичное прочтение стихов поэта не изменило, а еще более утвердило его первоначальное мнение о них. «У г. Бенедиктова, — писал он, — по-прежнему «сверкают веселья; любовь гнездится в ущельях сердец; дева вносится на горящей ладони в вихрь кружения; любовь блестит цветными огнями сердечного неба; чудная дева влечет *магнитными* прелестями *железные* сердца; солнце вонзает в дождевые капли пламя своего луча; искра души прихотливо подлетает к паре черненьких глаз и умильно посматривает в окна своей храмины; Матильда сидит на жеребце плотным усестом; могучею рукою вонзается сталь правды в шипучее сердце порока; морозный пар бесстрастного дыханья падает на пламя красоты»; и пр. пр. Да, все эти выражения у г. Бенедиктова стоят по-прежнему, а мы по-прежнему думаем, что тот совсем не поэт, кто прибегает в своих стихах к подобным украшениям» (II, 208).

Итоговая оценка Бенедиктова великим критиком была вызвана появлением в 1842 году «второго», а по существу третьего издания

первой книги стихотворений поэта. Осудив в конце 1840 года свое «примирение с действительностью», Белинский увидел вскоре «альфу и омегу веры и знания» в «идее социализма» (XII, 66). Оценивая Бенедиктова с новых позиций, критик нашел в его творчестве «поэзию средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностию, с их балами и светскостию, с их чувствами и понятиями» (VI, 494). Говоря о Бенедиктове, что «он то же самое в стихах, что Марлинский в прозе», Белинский находил у них «крайность внешнего блеска и кажущейся силы искусства» (VI, 493). Желая, однако, ослабить крайнюю суровость своих оценок, Белинский заканчивал свою рецензию следующими словами: «Впрочем, местами, хотя и редко, у г. Бенедиктова проблескивают истинно поэтические чувства, проглядывает чувство искреннее и задушевное...» (VI, 496). В качестве примера критик приводил двенадцать начальных строк из стихотворения «Озеро».

Касаясь вопроса о неприязни Белинского к Кукольнику и, особенно, к Бенедиктову, И. А. Гончаров спустя многие годы вспоминал: «Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объясняя обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях, — указывая, наконец, на мастерство стиха и проч., Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего». [1]

Видеть в отзывах Белинского о Бенедиктове проявление личной ненависти было бы, конечно, грубой ошибкой. Уже в начале литературной деятельности Белинского определилось отрицательное отношение его к романтизму. В 1836 году самого В. Гюго русский критик назовет «жертвой нелепого романтизма» (II, 212). Тем более неприемлем для Белинского был ультраромантизм Бенедиктова. Вместе с тем статья Шевырева в «Московском наблюдателе», объявлявшая последнего провозвестником новой эпохи в русской поэзии, придавала рассмотренным выше высказываниям критика оттенок дошедшего до личной неприязни нерасположения к поэту и его апологету.

С помянутыми высказываниями был, безусловно, знаком и Пушкин, внимательно следивший за всеми статьями Белинского, появлявшимися в «Телескопе». [2] Единственное печатное упоминание Бене-

---

[1] Гончаров И. А., Собр. соч., т. 8, М., 1955, с. 55.
[2] См.: Прийма Ф. Я., Пушкин и Белинский. — «Русская литература», 1977, № 1, с. 35.

диктова Пушкиным содержится в его «Письме к издателю» 1836 года, во фразе: «Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом»,[1] в которой пушкинисты не без оснований усматривают иронический смысл. Мнения Пушкина о Бенедиктове, дошедшие до нас в передаче других лиц, проанализированные в свое время Л. Я. Гинзбург, привели исследовательницу к выводу о двойственном, а потому и сдержанном отношении великого поэта к «феномену» Бенедиктова.[2] В момент, когда в своих оценках последнего участники литературного движения придерживались полярных взглядов, позиция Пушкина была гораздо ближе к позиции Белинского, чем к противостоящему ей взгляду Шевырева, и в этом была своя закономерность. Статья о Бенедиктове в ноябрьском номере «Телескопа» за 1835 год принадлежала к числу тех немногих статей, по которым прежде всего и составил Пушкин собственное представление о незаурядной одаренности молодого «телескопского» критика, чем и было предопределено затем, в середине октября 1836 года, обращение Пушкина через П. В. Нащокина к Белинскому с предложением сотрудничества в «Современнике».[3]

В статье Л. Я. Гинзбург «Бенедиктов», опубликованной в 1939 году, была дана весьма удачная характеристика его поэтического почерка. «Метафорический стиль, — писала исследовательница, — т. е. стиль, отличающийся обилием неожиданных, сложных, развернутых образов, присущ был и немецкому и французскому романтизму. Немецкие романтики обосновывали метафору философски. Метафорический стиль соответствовал для них идеалистическому представлению об одухотворенности природы. Стиль Бенедиктова — на периферии романтизма; он уже начисто оторван от философских истоков направления. Но в процессе ликвидации карамзинистских традиций сугубая метафоричность Бенедиктова оказалась одним из существенных факторов. Элегические поэты 10—20-х гг. избегают непредвиденных, заметных метафор или сравнений, образов, являющихся изобретением поэта; они предпочитают прямо называть, перечислять предметы или пользоваться постоянными эпитетами и сочетаниями слов, передававшимися из стихотворения в стихотворение,

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, М.—Л., 1949, с. 98.

[2] См.: Гинзбург Лидия, Пушкин и Бенедиктов. — В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», М.—Л., 1936, № 2, с. 148—182.

[3] До середины октября 1836 г. в «Телескопе» было опубликовано всего шесть статей молодого Белинского, подписанных его полным именем, а именно: 1. «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835); 2. «О стихотворениях г. Баратынского» (1835); 3. «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835); 4. «Стихотворения Алексея Кольцова» (1835); 5. «Ничто о ничем» (1836); 6. «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (1836).

от поэта к поэту («нежная дева», «пламенная душа», «томный взор», «ветреная младость» и т. п.). У эпигонов в этих постоянных сочетаниях слова теряли свое вещественное значение, становились абстрактными. Поэтический образ как бы не являлся достоянием личного творческого опыта. Напротив того, резкая, непредвиденная метафора романтиков — всегда новая концепция вещи, всегда индивидуальный случай. Практика Бенедиктова (при всех крайностях и срывах) прививала русской поэзии навыки романтического строения образа».[1]

Приведенное суждение исследовательницы нуждается все же в одной существенной оговорке. Романтическая концепция Бенедиктова опиралась на опыт современной ему поэзии, не восходя непосредственно ни к одной из зарубежных или отечественных литературных теорий или деклараций, и была в полном смысле этого слова самостоятельной. В силу этого, надо полагать, новаторство Бенедиктова в области лексической сводилось к созданию различного рода неологизмов и не претендовало на реформу традиционного поэтического эпитета, в чем убеждают нас поэтические особенности такого типического в этом отношении текста, каким является бенедиктовское стихотворение «К очаровательнице» (1835): образ *ненаглядный*, мечта *чистейшая*, взор *благосклонный*, речь *искренняя*, голос *небесный*, ресницы *пушистые*, туман *радужный*, огонь *заоблачный*, стан *эфирный*, денница *ясная*, душа *ревнивая*, гром *военный*, веселье *дикое*, шепот *таинственный*, шалаш *сумрачный*, клик *заздравный*, муза *бивачная*, любовь *святая*, обман *пленительный* и т. п. Только в словосочетании «женолюбивая мечта» обращает на себя внимание новизна бенедиктовского эпитета.

Другое дело — бенедиктовские метафоры и сравнения:

Снова ясно, вся блистая,
Знаменуя вешний пир,
Чаша неба голубая
Опрокинута на мир.

(*«Облака»*)

Божественно, гармонии царица!
Страдальца грудь вновь жизнию полна,
Она — всего заветного темница,
Несчастий храм и счастия гробница —
Вновь пламенем небес раскалена.

(«N. N-ой»)

---

[1] Гинзбург Л. Я., Бенедиктов. — В кн.: Бенедиктов, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1939, с. XXIV.

Вот скоро при взмахе блеснет и присвистнет!
Где жизнь твоя, ратник? Была такова!
Фонтанами влага багровая прыснет,
Расколото сердце, в ногах голова!

(«Возвратись!»)

Новаторская роль в поэтическом стиле Бенедиктова принадлежала также теме, не чуждавшейся порою изысканности или же броской сюжетной ситуации («К Полярной звезде», «Чудный конь», «Смерть в Мессине», «Ореллана», «Наездница», «Прощание с саблей» и многие другие).

Мы не говорим уже о том, что, как и всякий поэт, сформировавшийся в 1830-е годы, Бенедиктов, даже не будучи романтиком в строгом смысле слова, разрушал в процессе творчества унаследованную от системы классицизма жанровую иерархию.

Усложненный метафоризм Бенедиктова испытал на себе воздействие поэзии Г. Р. Державина («Водопад», «Русские девушки», «Рождение красоты» и т. д.), что не исключает и причастности к его возникновению драматургии В. Т. Нарежного («Все дьяволы бездны ревели тогда в моем сердце» и т. д. — «Димитрий Самозванец») и повестей раннего Гоголя. Гоголевские метафоры типа: месяц — это «блистательный царь ночи», или «пруд ⟨...⟩ держал в холодных объятиях своих далекое темное небо» (из повести «Майская ночь, или Утопленница»), гоголевское сравнение Днепра с «зеркальной дорогой без меры в ширину и без конца в длину», и поэтому «ему нет равной реки в мире» (из повести «Страшная месть»), могли оказать непосредственное воздействие на строение образа в ранних, а отчасти и в позднейших стихотворениях Бенедиктова.

Для характеристики генезиса экспрессивной образности Бенедиктова несомненный интерес представляет стихотворение «И. А. Гончарову», на создание которого вдохновил поэта вид швейцарских гор:

Гора с горой в размерах споря
И снежной пенясь белизной,
Вдали являлись предо мной
В твердыню сжавшегося моря
Окаменелою волной.
Как будто, ярой мощи полны,
Всплеснулись к небу эти волны,
И, поглощая прах и пыль,
Сквозь тучи хлынув в высь лазури,
Оцепенели чада бури;
И вдруг сковал их вечный штиль,

И, не успев упасть, нависли
В пространстве, — над скалой скала
И над горой гора, как мысли,
Как тени божьего чела.

Не исключена возможность, что, создавая эту высокохудожественную картину, поэт шел не только от личных впечатлений, но и от сохранившегося в его памяти или подсознании следующего изображения Карпатских гор в «Страшной мести» Гоголя: «Нет таких гор в нашей стороне ⟨...⟩ чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе?»

Не ограничиваясь отечественными источниками, молодой поэт мог унаследовать отдельные приемы поэтической техники у французских романтиков «неистовой школы» и, наконец, у родоначальников субъективной поэтики немецких штюрмеров Гете и Шиллера.

Приведенный выше пример космического сравнения у зрелого Бенедиктова мы назвали высокохудожественным. Однако чаще всего неожиданная образность поэта вызывала справедливые нарекания критики. Ярким примером подобного рода образности может служить ранняя редакция стихотворения «Холодное признание»:

Нет, милая, не тем мой полон взор;
Он не горит безумною любовью, —
И что любовь? — Кровавый разговор
Слепой мечты с огнемятежной кровью...

...Снег на сердце, но то не снег долин,
Почиющий под саваном тумана, —
Нет, это снег заоблачных вершин,
Льдяной венец потухшего волкана.

Поэт не оставался равнодушным к критическим замечаниям в свой адрес. Во втором издании своих стихотворений он, внимая совету Белинского, исправил в стихотворении «Напоминание» строки

Нина, помнишь ли мгновенья, —
Или времени струи
Возрастили мох забвенья
На развалинах любви?

на следующие:

Нина, помнишь те мгновенья,
Или времени поток

В море хладного забвенья
Всё заветное увлек?

Строфа действительно освободилась от эпатирующей и безвкусной метафоры. По указанию Белинского исправил поэт также две последние строки в стихотворении «Наездница», придав ему тем самым требуемую благопристойность.

Суждения Белинского в творческом сознании Бенедиктова сопровождались, однако, не только отмеченными выше, но и более существенными, «сейсмическими» сотрясениями. Не случайно в стихотворении, вписанном в 1836 году в альбом Е. А. Карлгоф, Бенедиктов пережитый им накануне успех назовет «сомнительным венцом».

Примерно с 1837 года мысль о призрачности поэтической славы начинала все чаще посещать Бенедиктова. Разочарование в его поэзии, помимо И. С. Тургенева, о чем было сказано выше, пережили также и А. Фет, и Ап. Григорьев, и А. Вельтман, и, главное, значительная часть литературной молодежи, влиявшей на вкусы широкой читательской массы. К началу 1840-х годов уже никто не мог произнести о Бенедиктове слов, подобных тем, которые пришлось услышать А. А. Фету в 1836 году от одного московского книгопродавца: «Этот почище Пушкина-то будет». [1]

Утрата читательских симпатий к поэзии Бенедиктова совпала с падением интереса к стихам в русской журналистике 1845—1855 годов, сориентированной всецело на публикацию произведений прозы. С 1850 по 1852 год поэт вообще нигде не печатался. Тем не менее годы, воспринимавшиеся публикой как период абсолютного молчания Бенедиктова, в действительности заполнили интенсивные творческие поиски, вызванные критическим осмыслением пройденного им писательского пути.

Среди вещей, написанных Бенедиктовым с 1838 по 1854 год, обращает на себя внимание стихотворение «Порыв», опубликованное в «Одесском альманахе» на 1839 год и не вошедшее в сборники поэта, изданные в 1838 и в 1842 годах. Стихотворение автобиографично и дает нам представление о «дикаре», который в силу необходимости «притворством», но, увы, напрасным, вынужден был скрывать свою «лесную природу»:

Природа была мне в притворстве уликой, —
Впиваясь в ее вековую красу,
Я рос на раздольях Карелии дикой,
Над озером бурным, в угрюмом лесу.

---

[1] Фет А., Ранние годы моей жизни, М., 1893, с. 153.

Со мной вы расстались, деревья родные!
Я помню, в минуты прощальной поры
Как слезы катились у вас смоляные
Живым янтарем из-под темной коры,
Как вы мне, сгибаясь, главами кивали,
Даря свой последний, унылый привет,
Как мне ваши листья по ветру шептали:
«Куда ты уходишь? — Там счастия нет!»

К этому стихотворению не только по мысли, но и по ритмическому рисунку своему тесно примыкает стихотворение «К товарищам детства» (1841), в котором автор предпринял попытку изобразить тот уголок земли, где прошло его детство:

Где лирой Державин бряцал златострунной,
Где воет Кивача «алмазна гора»,
Где вызваны громы работы чугунной,
Как молотом божьим — десницей Петра;
Где след он свой врезал под дубом и сосной,
Когда он Россию плотил и ковал —
Державный наш плотник, кузнец венценосный,
Что в деле творенья творцу помогал, —
Там, други, по милости к нам провиденья,
Нам было блаженное детство дано
И пало нам в душу зерно просвещенья
И правды сердечной живое зерно.

Дело не столько в том, что ранее подобного рода пейзажей не было у поэта, сколько в том, что стихотворения эти в целом были свободны от присущих его прежним природоописаниям физиологических аксессуаров.

С мая по сентябрь 1839 года Бенедиктов находился в служебной поездке в Одессу и Крым, впечатления от которой легли в основу крымского цикла его стихотворений, работа над которым продолжалась несколько лет. Лишь отдаленно связанный с предшествовавшими ему отражениями крымских впечатлений («Крымские сонеты» Адама Мицкевича и «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина), цикл этот продемонстрировал перед читателем зрелость и самостоятельность поэтического почерка автора. Лирический герой «Путевых заметок и впечатлений» Бенедиктова — это страдающий от неразделенного чувства любви и одиночества странник. Вполне оправданны поэтому даже такие неожиданные для читателя мысли, которыми делится с ним иронически настроенный герой:

Может быть, сдается мне, сейчас —
В этот миг — сорвется этих масс
Надо мной висящая громада
С грохотом и скрежетаньем ада,
И, моей венчая жизни блажь,
Здесь меня раздавит этот кряж,
И, почет соединив с обидой,
Надо мной он станет пирамидой,
Сложенной из каменных пластов.
Лишь мелькнет последнее мгновенье —
В тот же миг свершится погребенье,
В тот же миг и памятник готов.
Похорон торжественных расходы,
Памятник — громаднее, чем своды
Всех гробниц, — и залп громов, и треск,
Певчий — ветр, а факел — солнца блеск,
Слезы — дождь, — всё, всё на счет природы,
Всё от ней — и где? В каком краю? —
За любовь к ней страстную мою!

(«Обвалы»)

Глядя на то, как рука времени придает особый вид «зодчеству природы» и как под воздействием воды и ветра «стираются и низятся хребты и рушатся дряхлеющие горы», обгоняющий свой век автор ставил перед читателем экологическую проблему:

Быть может, здесь раскинутся поля,
Развеется и самый прах обломков,
И черепом ободранным земля
Останется донашивать потомков.
Мир будет — степь, народы обоймут
Грудь плоскую тоскующей природы,
И в полости подземные уйдут
Текущие по склонам горным воды,
И, отощав, иссякнет влага рек,
И область туч дождями оскудеет,
И жаждою палимый человек
В томлении, как зверь, освирепеет;
Пронзительно свой извергая стон
И смертный рев из пышущей гортани,
Он взмечется и, воздымая длани,
Открыв уста, на голый небосклон
Кровавые десницы обратит,

И будет рад тогда заплакать он,
И с жадностью слезу он проглотит!..

(«Горы»)

Характеристика научной проблематики в стихах Бенедиктова первого периода его творчества (до 1850 года) была бы неполной, если бы мы не остановились на его стихотворении «Тост», содержавшем здравицу в честь «праматери людей», Земли, которая

Ныне так же, как бывало,
Мчится в пляске круговой
В паре с верною Луной,
Мчит с собой судьбы, законы,
Царства, скипетры и троны
На оси своей крутит
И вкруг Солнца их вертит,

а также здравицу «в честь и славу всех миров»,

Где горит сей огнь всемирный
Будто люстры в зале пирной,
Где танцуют все миры,
Нам неслышным внемля арфам, —
Где, роскошным белым шарфом
Облекая неба грудь,
Перекинут Млечный Путь.

Как бы ни был наивен бенедиктовский «Тост», мы склонны рассматривать его как одну из немногих в русской поэзии XIX века (о зачинателях космической темы Ломоносове и Державине мы здесь не говорим) попыток освоения космической тематики.

Возвращаясь к области «традиционной» лирики Бенедиктова, мы рассмотрим здесь два его стихотворения, написанные на тему любви. Первое из них — «И тщетно всё». Поворотный пункт сюжетного развития этой пьесы передан в шестой ее строфе:

Без бурного, мучительного пылу
Я созерцал явленья красоты
И тихую высматривал могилу, —
Венок и крест... и вдруг явилась ты!

Простившийся в свое время с любимой, лирический герой, навсегда сраженный новой случайной встречей с нею, готов придать

ей провиденциальное значение, так как во всем этом «сказывался бог». Стихотворение это напоминает нам знаменитое пушкинское «Я помню чудное мгновенье...», амплификацией которого (девять строф против восьми пушкинских) оно и является. Несмотря на свой подражательный характер, стихотворение «И тщетно всё» представляет для нас интерес как одна — и далеко не единственная — попытка обращения Бенедиктова к пушкинской традиции освещения любовной темы (стихотворения «Мороз», «К ней», «Поздно» и другие). Полной авторской самостоятельностью отличается стихотворение «Нетайное признание», в котором изложено взятое не из книг, а из действительности чувство благоговения поэта перед замужней женщиной, отношения с которой предопределялись их взаимным уважением к нормам общественной этики:

...С вниманьем постоянным
Вам преданный и ныне так, как встарь,
Проникнут я к вам чувством безымянным,
И потому не вставленным в словарь...

...Оно не так бессмысленно, как служба
Поклонников, ласкателей, рабов;
Оно не так бестрепетно, как дружба;
Оно не так опасно, как любовь.

Оно милей и братского сближенья,
И уз родства, заложенных в крови;
Оно теплей, нежнее уваженья
И, может быть, возвышенней любви.

Чистота нравственного чувства — вот отличительная черта этого любовного стихотворения поэта, достойного занять свое место в книге русской любовной лирики, составленной по правилам самого строгого отбора.

Особое место в автобиографической лирике Бенедиктова занимает стихотворение «Тоска», в котором присущая поэту сюжетность полностью отсутствует. «Тоска» — этюд, посвященный анализу самого психического процесса, попытка объяснить, почему у автора (или его лирического героя) «порою темнеет душа», тогда как никаких видимых причин для этого нет и когда в предчувствия он не верит.

Нет! — это не будущих бедствий залог,
    Не скорби грядущей задаток,
Не тайный на новое горе намек,
    А старой печали остаток.

Да, это действительно остаток накопленной ранее и порой прорывающейся наружу нравственной горечи, причина которой героем давно забыта. Лишь на мгновение у героя пробуждается порыв развеять собственную тоску общением с добрыми людьми. Однако

Их много — и слишком — к утехе моей.
Творец мой! Кому не известно,
Что мир твой так полон прекрасных людей,
Что прочим становится тесно?

Нет, даже самые прекрасные люди не могут помочь страдальцу, так как тоска его слишком индивидуальна и интимна, чтобы ее можно было выкладывать перед ними, не нанеся урона чувству собственного достоинства. В итоге герой обречен на длительное, если не на пожизненное сосуществование с нею, хотя

Ее ласка жестка, ее чаша горька,
Но есть в ней и тайная сладость;
Ее схватка крепка, и рука нелегка;
Что же делать? Она ведь — не радость!

Ритмические перебои в нечетных стихах этой строфы не случайны, они передают кульминационный момент авторского переживания, за которым следует возвращающая нас к прежнему ритму концовка:

Останусь один. Пусть никто из друзей
Ее не осудит, не видит,
И пусть ни единый из добрых людей
Насмешкой ее не обидит!

Стихотворение «Тоска» являет собой замечательный пример единства художественной формы и содержания. Слова и выражения: «недужное сердце», «горючие слезы», «ненастье», глагол «воротиться» придают стихотворению колорит фольклорности, они призваны показать, что, являясь глубоко индивидуальным, изображенное автором душевное переживание сродни также и тоске общенациональной.

Уже первые строки стихотворения «Горемычная» вводят нас в мир, совершенно отличный от мира героев ранних стихотворений Бенедиктова.

Жаль мне тебя, моя пташечка бедная:
Целую ночь ты не спишь,
Глазки в слезах — изнуренная, бледная,
Всё ты в раздумье сидишь.

Последующие строфы изображают мужа горемычной — мастерового-горожанина, затеявшего после трудового дня вместе с закадычными друзьями карточную игру, переходящую постепенно в перебранку и пьянку. Появление «красоток-сударочек» завершает эту картину и позволяет автору обратиться снова к горемычной со словами:

Может быть, пьяный, он с бранью воротится,
Может, даст волю рукам,
Ты ж, ожидая такого сожителя,
Мне отвечаешь, стеня:
«Так суждено: полюбила губителя —
Пусть же он губит меня!»

Нам пришлось довольно подробно остановиться на этом стихотворении-сценке с тем, чтобы продемонстрировать близость писательского почерка Бенедиктова к мастерству писателей «натуральной школы».

На первый взгляд, странную форму избирает автор для стихотворения «Звездочст» (1842—1850).

Супротив столицы датской
Есть неважный островок.
Жил там в хижине рыбацкой
Седовласый старичок...

Но форма эта отнюдь не случайна, поскольку рассказ об этой построенной по королевскому приказу обсерватории для всемирно известного астронома Тихо де Браге вкладывался автором в уста простолюдина-датчанина. Это печальная повесть о неожиданно возникших и столь же неожиданно рухнувших надеждах великого ученого.

Стихотворение «Богач» выделяется из ранней лирики Бенедиктова прямой постановкой социальной темы, вопроса, почему «лицезренья удостоясь господина своего, люди кланяются в пояс, лижут прах пяты его». Стремясь разгадать психологию толпы, поэт приходит к выводу: люди знают, что богач — скуп, и они нисколько не рассчитывают на его щедрость, но, даже зная это, они религиозно поклоняются ему, ибо богач — олицетворение «золотого тельца», силы, которая в состоянии уничтожить все, стоящее на ее пути.

Люди знают: это — сила!
Свойство ж силы — мять и рвать;
Чтоб она их не крушила,

Не ломала, не душила —
Надо честь ей воздавать...

Несмотря на свою публицистичность, стихотворение «Богач» свидетельствовало о переходе Бенедиктова с позиций, сформулированных им в эпиграфе из Гете к сборнику стихотворений 1835 года («Я пою, как поет птица, живущая на ветке»), на позиции поэта, активно вторгающегося в решение жизненно важных вопросов.

Ввиду вышесказанного странно выглядит упрек Б. Садовского, будто Бенедиктов, получивший известность как «чистый» поэт, выступил в качестве «обличителя» лишь после появления новых веяний «в общественных, а главное в правительственных „сферах“».[1] Столь же несуразным представляется нам также и суждение, высказанное относительно недавно составителями книги, адресованной широкому кругу преподавателей и учащихся: «В 50—60-е гг. Бенедиктов, желая поднять свою былую популярность, пытался примкнуть к общественному движению эпохи, но дальше ограниченного либерализма пойти не смог. В своих стихах он бранит то, что уже официально отвергнуто, борется с пороками, уже заклейменными. Вычурность его стиля осталась неизменной».[2]

Вопрос о том, что переход на новые позиции — критицизма и обличительства — был для Бенедиктова вполне искренним и совершился где-то между 1842—1852 годами, то есть задолго до появления «новых веяний», представляется нам ясным и не требующим дополнительных дискуссий. Сложнее обстоит дело с утверждением, будто поэт боролся со злом уже «официально отвергнутым». Ведь подобного рода обвинение в 1857 году предъявлял Бенедиктову и Добролюбов, дополняя его, однако, одной-единственной фразой: «Правда, что это не есть недостаток, свойственный одному только г. Бенедиктову: такова почти вся наша литература последнего времени».[3] Грех «обличительства» находил Добролюбов даже в таком замечательном русском писателе, каким считал он Салтыкова-Щедрина, не говоря уже о Майкове, Щербине и Полонском. Как известно, свое несогласие с Добролюбовым по поводу «обличительства» в двух статьях, «Very dangerous!» (1859) и «Лишние люди и желчевики» (1860) выразил А. И. Герцен.

В дополнение к сказанному любопытно будет познакомиться с мнением о поэзии Бенедиктова Т. Г. Шевченко, относящимся ко

[1] Садовский Б. А., Поэт-чиновник. — «Русская мысль», 1909, кн. 11, с. 79.

[2] Русские писатели. Биобиблиографический словарь, М., 1971, с. 188.

[3] Добролюбов Н. А., Собр. соч. в 9-ти т., т. 2, М.—Л., 1962, с. 194.

времени возвращения украинского поэта из ссылки на пароходе «Князь Пожарский» и зафиксированным в дневнике от 2 сентября 1857 года. «Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих пересудов я предложил ⟨...⟩ прочесть «Собачий пир» из Барбье ⟨...⟩ Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер, поэты воскресли, обновились? ⟨...⟩ Наш добрый, милый капитан ⟨...⟩ достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова, «Вход воспрещается» и с чувством поклонника родной обновленной поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же «На Новый 1857 год». Я дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго-свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове, а прочее едва слушал».[1]

В этой дневниковой записи удивляет то, что «нецензурный» «Собачий пир» и опубликованный в подцензурной печати «На Новый 1857 год», пронизанный царистскими иллюзиями, воспринимаются комплексно, как поэтическое слово новой эпохи. И спустя семь месяцев, на седьмой день по прибытии в Петербург, 3 апреля 1858 года, Шевченко с друзьями-поляками торопится навестить Бенедиктова на квартире и оставляет об этом в «Дневнике» следующую запись: «Встретил он меня непритворно радостно, и после разнородных разговоров он, по моей просьбе, прочитал нам некоторые места из «Собачьего пира» (Барбье), и теперь только я уверился, что тот великолепный перевод принадлежит действительно Бенедиктову».[2]

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке;
Свобода — женщина с широким, твердым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо веющим по ветру красным флагом,
Под дымом боевым...
...Свобода — женщина, но, в сладострастье щедром
Избранникам верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.

---

[1] Шевченко Тарас, Собр. соч. в 5-ти т., т. 5, М., 1956, с. 116—117.
[2] Там же, с. 221—222.

Написанный по свежим следам событий французской июльской революции 1830 года, «Собачий пир» («La curée») сделал неизвестное дотоле имя Огюста Барбье прославленным и популярным. Засвидетельствованное «Дневником» Т. Г. Шевченко чтение «Собачьего пира» Барбье самим переводчиком — единственное в своем роде. Нам известны публичные выступления Бенедиктова с чтением стихов, прошедших цензуру, но «Собачьего пира» среди них мы не встретим, ибо стихотворение это принадлежало к «запретному» поэтическому фонду и было опубликовано впервые в «Русской потаенной литературе» Н. П. Огарёвым в Лондоне в 1861 году (без имени переводчика); перепечатывалось во втором выпуске «Лютни» Э. Л. Каспровича в Лейпциге (1874) и в других изданиях революционной эмиграции. В русской легальной печати впервые было опубликовано в качестве перевода В. С. Курочкина в «Русской музе» (СПб., 1908) П. Ф. Якубовича. До середины 1920-х годов перевод этот считался анонимным (см.: Барбье Огюст, Ямбы и поэмы, под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1922, с. 114). Несмотря, однако, на то, что свой перевод «Собачьего пира» Бенедиктов нигде не афишировал, молва 1850-х годов упорно приписывала авторство именно Бенедиктову, наглядным подтверждением чему служит и «Дневник» великого украинского поэта.

Возможно, что опубликованное в конце 1857 года демократической «Искрой» объявление, что с нового года коллектив сотрудников пополняется новыми именами, в частности В. Г. Бенедиктовым, было рассчитано на то, что в сознании наиболее осведомленных читателей это имя ассоциировалось с именем переводчика знаменитых ямбов Огюста Барбье. Впрочем, росту известности Бенедиктова в передовых общественно-литературных кругах могли способствовать и другие данные, в особенности знакомство его с П. Л. Лавровым.

О «самом искреннем и самом глубоком уважении» Бенедиктова к Лаврову рассказывает в своих воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер. Именно Бенедиктов, по словам мемуаристки, ввел Лаврова (вероятно, около 1857 года) в дом Штакеншнейдеров, и вскоре она, дочь придворного архитектора, «стала смотреть на вещи его (Лаврова. — *Ф. П.*) глазами, повторять его слова, любить, что он любил, ненавидеть, что он ненавидел, одним словом, стала превращаться в нигилистку, хотя этого слова еще не существовало в то время». Любопытно, что Бенедиктов говорил Е. А. Штакеншнейдер в период, когда сосланный в 1866 году в Вологодскую губернию П. Л. Лавров при содействии Германа Лопатина совершает в начале 1870 года свой побег за границу: «У вас ведь есть его стихотворения, написанные во время Крымской войны, хранящиеся в вашем портфеле, которые мы не раз читали с вами, когда имя автора скрывалось

и было неизвестно».[1] Стихотворения Лаврова, о которых здесь идет речь, это, по-видимому, «Пророчество» и «Русскому народу», опубликованные в 1857 году Герценом в Лондоне, в «Голосах из России», выпуск 4. Первое стихотворение при всем политическом радикализме своем сводилось к требованию конституционной монархии. Суровая критика прогнившего режима Николая I во втором стихотворении («Нет, увлекался ты неведеньем и страстью, Ты прямодушье гнал; В опасную игру своей играл ты властью И Русь позабывал») завершалась обращением к монарху явиться перед проснувшимся народом с повинной головой («Смирись: летят часы; пройдут дни испытанья, История не ждет»).

Вспоминая, как в начале 1858 года П. Л. Лавров на ведомственной квартире Бенедиктова читал еще не побывавшие в цензуре «Размышления у парадного подъезда» Н. А. Некрасова, П. И. Вейнберг писал: «Двери в кабинет были тщательно заперты, прислуге было велено не входить, и Лавров вполголоса прочел нам. После прочтения Бенедиктов нарушил наступившую тишину словами: „Прекрасно... но нужна большая смелость, чтоб писать подобные вещи!“»[2]

Общность политических симпатий двух литераторов подтверждается также тем, что «потаенное» стихотворение П. Л. Лаврова «Часовые» (1856, август) в автографе посвящалось Владимиру Григорьевичу Бенедиктову, хотя в первой публикации его («Благонамеренный» П. В. Долгорукова — 1861, № 12, с. 37—39), как, впрочем, и во всех последующих, имя адресата указывалось сокращенно: В. Г. Б.[3]

Будущий биограф Бенедиктова, бесспорно, откроет новые страницы общения поэта с современной ему передовой мыслью России. Ограниченные находящимися в нашем распоряжении данными, характеризуя взаимоотношения Бенедиктова с Лавровым, мы приходим к следующему выводу: высшая их точка приходится на период, когда политические симпатии Лаврова еще колебались между конституционным монархизмом и радикальным демократизмом, которому он и отдал впоследствии свое предпочтение. В этот момент Бенедиктов находил в политических поисках Лаврова импонирующие его собственным настроениям черты. Что же касается общественно-политического вольнодумства самого поэта, то оно всегда довольствовалось теми возможностями, которые предоставлялись ему

---

[1] Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки, М.—Л., 1934, с. 360.

[2] «Исторический вестник», 1860, т. 80, № 5, с. 473—474.

[3] См.: Бушканец Е. Г., Кто автор стихотворения «Часовые»? — В кн.: «Революционная ситуация в России 1859—1861 гг.», М.—Л., 1974, с. 371—376.

существующим правопорядком. Примечательно все же, что стихи Бенедиктова, написанные им в начале нового царствования, вызвали положительную реакцию Н. Г. Чернышевского, выделившего их в своей статье о трехтомном «Собрании стихотворений» (СПб., 1856) поэта. «Наши поиски, — писал критик, — не были совершенно напрасны: мы нашли три или четыре стихотворения, в которых г. Бенедиктов, оставляя обыкновенные свои темы, обращается мыслью к событиям, совершающимся вокруг нас, — из мира «взвинченных кудрей», «фосфорных очей» и адских страстей, выражаемых натянутыми метафорическими гиперболами, переходит в мир чувств, знакомых обыкновенным людям. Нам приятно было убедиться, что г. Бенедиктов иногда выказывает в этих случаях чувства и желания, достойные уважения». [1]

Процитировав полностью стихотворение «Стансы по случаю мира», Чернышевский нашел, что несколько его строф «заслуживают похвалы по мысли» и что в трех приведенных нами заключительных строфах «выражение замечательно сильно». [2]

Особого разговора заслуживают взаимоотношения Бенедиктова и Некрасова. Некритическое следование Некрасова Бенедиктову в «Мечтах и звуках» явилось одной из причин резко отрицательного отзыва о них Белинского. Позднее в статье «Русские второстепенные поэты» (1849) Некрасов относил Бенедиктова к поэтам, отдававшим преимущество «форме в ущерб содержанию». [3] В апреле 1850 года, когда в «Современнике» (№№ 1 и 2) были уже опубликованы под рубрикой «Русские второстепенные поэты» статьи В. П. Боткина об Н. П. Огареве и П. В. Анненкова об А. А. Фете, Некрасов обратился с письмом к А. Н. Майкову: «Возьмитесь-ка написать о каком-нибудь поэте — Бенедикт⟨ове⟩, Баратынс⟨ком⟩, Языкове, Дельвиге, Подолинск⟨ом⟩ или т. подобном — выбирайте любого...» (X, 147). Статья о Бенедиктове в «Современнике», как известно, не появилась. Тем более показателен некрасовский отзыв о поэте в рецензии на «Дамский альбом» 1854 года: «Непостижимое сочетание дарования (не подверженного ни малейшему сомнению) с невероятным отсутствием вкуса...» (IX, 246).

В сентябре 1855 года Некрасов пародирует в своем журнале «славянофильское» стихотворение Бенедиктова «К отечеству и врагам его» (IX, 312), однако через три месяца в «Современнике» же получило вполне положительный некрасовский отзыв либерально-

---

[1] Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. 3., М., 1947, с. 607.

[2] Там же, с. 610.

[3] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. 9, М., 1950, с. 191. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

обличительное стихотворение Бенедиктова «К России» (IX, 365—366).

Несмотря на отсутствие личных дружеских отношений между Некрасовым и Бенедиктовым, последний внимательно следил за деятельностью поэта революционной демократии. В последние дни 1856 года, ознакомившись со сборником только что вышедших в свет стихотворений Некрасова, Бенедиктов в стихотворном послании, адресованном любимой женщине, выражал свое несогласие с известным утверждением некрасовского Гражданина:

С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Как бы становясь на позиции своего критика, отождествляемого с автором «Поэта и гражданина», Бенедиктов писал:

Не песен мы хотим любовных, —
Нам дело подавай, поэт!
Добудь из следствий уголовных
Нам занимательный предмет!
Войди украдкой в мрак темницы,
В вертеп разбоя, в смрад больницы
И язвы мира нам открой!
Пусть будет висельник, колодник,
Плетьми казненный огородник,
Ямщик иль дворник — твой герой!

(«Увы! Мечты высокопарной. . .»)

Полемический подтекст этих строк был направлен против поэтической декларации Некрасова, хотя вряд ли сам Бенедиктов придавал этой полемике принципиальное значение. Дело в том, что он сам в стихотворении «К поэту» советовал адресату «не вверяться сердечным тревогам» и не видеть «подвиг поэта» в воспевании «вздохов любви». В правильности своего выпада против Некрасова Бенедиктов, по-видимому, не был уверен, поэтому-то стихотворение «Увы! Мечты высокопарной Прошел блаженный пери́од...» и осталось неопубликованным. Об уважительном отношении Бенедиктова к некрасовскому творчеству свидетельствует отмеченный выше восторженный отзыв о «Размышлениях у парадного подъезда», равно как и сориентированность его «Сельских отголосков» (1857—1859)

на художественные нормы поэта-гражданина. Отметим, кстати, что слова Старика из бенедиктовского стихотворения «Разговор»:

Боитесь вы сорвать покров,
Где зла скопляется излишек,
И, где бы обличать воров,
Вы обличаете воришек, —

были, несомненно, навеяны следующими стихами из некрасовского «Поэта и гражданина»:

Бичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.

В первом номере «Современника» за 1860 год, по предложению Некрасова, согласованному, как следует полагать, также с Добролюбовым и Чернышевским, появляется публикация двух стихотворений Бенедиктова — «Борьба», «И ныне». Надо отдать должное эстетическому вкусу Некрасова, опубликовавшего два лучших произведения политической лирики поэта, творческие возможности которого журналом революционной демократии до самого последнего времени недооценивались.

Всегда минувшее стояло
За свой негодный, старый хлам
И свежей силы не пускало
К возобновительным делам;
Всегда оно ворчало, злилось
И пело песню всё одну,
Что было лучше в старину,
И с этой песней в гроб валилось...

(«Борьба»)

Ветхозаветная лексика наполнялась в стихотворении Бенедиктова новым содержанием и смыслом:

Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Бог не устал, — бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия.

(«И ныне»)

Выступление Бенедиктова в «Современнике» с двумя замечательными стихотворениями изменило тон всех последующих упоминаний о поэте в статьях Добролюбова. В статье «Стихотворения Ивана Никитина» («Современник», 1860, № 4), написанной с позиций реализма, критик находил немотивированные «либеральные фразы», «к которым способны и г. Бенедиктов, и г. Розенгейм, и даже г. Минаев»,[1] однако в напечатанной в той же книжке журнала рецензии на «Русскую лиру» Н. Тиблена, целью которой было «собрать лучшие пьесы с народным характером, изображающие русский быт, русский люд, русское чувство», читаем: «К некоторым поэтам собиратель не благоволит. Так, например, не взял он ничего из Бенедиктова, Губера, Полонского, Стаховича, Хомякова, Щербины, хотя у всех этих поэтов есть вещи, которые были бы в книжке г. Тиблена гораздо приличнее многих из помещенных в ней 〈...〉 хоть бы гг. Бенедиктов или Стахович — конечно, не бог весть как хорошо пишут; но отчего же бы не поместить песен г. Стаховича там, где напечатана «Масленица на чужой стороне»? (Вяземского. — *Ф. П.*) Или почему «Малое слово о Великом» или «России» не могло бы поместиться рядом с пьесою „Кто он?“» (А. Н. Майкова. — *Ф. П.*).[2]

«Малое слово о Великом» Бенедиктова и стихотворение «Кто он?» А. Н. Майкова были посвящены одной и той же теме. Но если в стихотворении Майкова образ Петра дан был в романтическом ореоле, то стихотворение Бенедиктова представляло читателю образ реального Петра I, непрерывно сражавшегося с «домашнею гидрою зла», каковым и хотел видеть его Добролюбов.

Последнее упоминание Бенедиктова Добролюбовым содержится в рецензии на «Издания Общества распространения полезных книг», точнее на «Хрестоматию», предназначенную для народного чтения. Рецензия эта была напечатана в «Современнике» за 1861 год, № 8, за три месяца до смерти великого критика. «Стихотворения выбраны поразительно плохо»,[3] — писал Добролюбов, приводя пространный перечень примеров. Первым в этом перечне было названо «Благовещение» Бенедиктова, навеянное одноименной картиной художника В. Л. Боровиковского и для поэта не характерное. Замечание Добролюбова имело целью напомнить редактору, что у Бенедиктова есть стихотворения, в гораздо большей мере, чем «Благовещение», заслуживающие быть адресованными массовому читателю.

---

[1] Добролюбов Н. А., Собр. соч. в 9-ти т., т. 6, М.—Л., 1963, с. 172.
[2] Там же, с. 187.
[3] Там же, т. 7, с. 131.

Предпринятый нами краткий обзор оценок творчества Бенедиктова в критических выступлениях Чернышевского и Добролюбова имел целью показать неправомерность вывода, которым завершается статья о поэте в уже цитированном выше биобиблиографическом справочнике «Русские писатели»: «Когда в 50—60-х гг. Бенедиктов, подделываясь под тон современной литературы, стал говорить в стихах общие либеральные фразы, то он стал снова (? — *Ф. П.*) общественно опасным, что вызвало гневные статьи Чернышевского и Добролюбова, окончательно развенчавших былой кумир». [1]

Авторы статьи извращают отзывы Чернышевского и Добролюбова, но они не ошибаются в том, что Бенедиктов принадлежит у нас к числу «отверженных авторов» и поэтому в разговоре о нем допустимы любые бездоказательные утверждения.

В действительности же в 1850—1860-е годы Бенедиктовым был создан целый ряд превосходных стихотворений, не потерявших своего значения и по сию пору. Прежде всего здесь следовало бы назвать «Вход воспрещается», ставшее вскоре после его публикации стихотворением хрестоматийным.

«Вход воспрещается» — как часто надпись эту
Встречаешь на вратах, где хочешь ты войти,
Где входят многие, тебе ж, посмотришь, нету
Свободного пути!

Хрестоматийность стихотворения в его жизненности. В мире классовых отношений, где все продажно, человеку непривилегированному нет доступа ни к чему. И даже смерть не уравнивает его с сановными людьми:

И мертвым нам кричат: «Куда вы? Тут ограда;
Здесь место мертвецам большим отведено;
Вам дальше есть места четвертого разряда,
А тут — воспрещено!»

Структуру басни повторяет политическое стихотворение Бенедиктова «Мысль», рисующее, как пошедшую было по свету Мысль молодую повстречал на дороге Кулак.

Кулак, соблюдая свой грозный обычай,
«Куда ты? — кричит. — Не со мной ли в борьбу?
Ты знаешь, я этой страны городничий;
Негодная, прочь! А не то — пришибу».

---

[1] Русские писатели. Биобиблиографический словарь, с. 188.

И так же, как в басне, вслед за основным содержанием стихотворения следует мораль:

И что же? — Где в стычке кулак с кулаками,
Там кровь человечья струится реками
И место дается невежества мгле;
Где ж мысль огненосная с мыслию бьется,
Из ран наносимых там истина льется,
И празднует небо, и любо земле.

Иногда прогрессивная политическая мысль ослаблялась призывом автора держать равнение на царя-миротворца. Так, стихотворение «К новому поколению (от стариков)» начиналось громкими словами:

Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу
Шагайте через нас!

Но в этот смелый призыв вторгалась корректирующая его верноподданническая фраза:

Пред вами — добрый царь: хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!

Апелляции к царю присущи целому ряду программных стихотворений поэта в ту пору («Современная молитва», «Великое дело», «Привет старому 1858-му» и др.). В последнем особенно характерны слова:

Да! В медные головы, в груди
Стучит девятнадцатый век.
Внизу начинаются люди,
И есть наверху Человек.

Было бы, разумеется, нелепо объяснять бенедиктовские апелляции к царю соображениями цензурного свойства. Они были в духе либерально-реформистской фразеологии той эпохи. Более того, обращениями к Александру II были перенасыщены в то время статьи А. И. Герцена, написанные по вслению сердца. В 1866 году, как известно, наступил конец царистским иллюзиям Герцена. Примерно в это же время заканчиваются также обращения к царю-миротворцу и Бенедиктова. Но надежды поэта на «общественное мненье, которое растет» («Поэту»), Бенедиктов продолжает хранить до конца

своей жизни. Показательно в этом отношении стихотворение «Рыцарь». Уподобившись Дон-Кихоту и взявши «истину святую в дамы сердца своего», храбрый рыцарь в результате долгих сражений с «гигантами предрассудка» и «заблужденья силачами» убеждается в своем поражении, ибо он не понимал, что его назойливый напор только раздражал врагов. Но не таков подлинный борец за правду:

Он не колет, он не рубит, —
Мирно шествуя вперед,
Побеждает тем, что *любит*,
И смиреньем верх берет.

Веруя в очистительную силу художественного слова, Бенедиктов в 1858 году выступает со стихотворением «Все люди», которое являлось своеобразным призывом к возрождению «человеческого в человеке».

Иной жилец земли пространной
Подчас является нам странной
Ходячей массой вещества...

...Тут есть и минерала плотность,
И есть растительность — в чинах,
И в разных действиях — животность,
И человечность — в галунах.

Мыслью о пробуждении «человека в человеке» подсказаны были такие стихотворения позднего Бенедиктова, как «Современная идиллия», «Леля», «Не тот», «Достань!», «Ночная беседа», «А мы?» и другие.

Певец сладострастия в первых двух сборниках (1835 и 1838 годов), Бенедиктов, как уже говорилось, постепенно становится певцом любви. За период 1855—1873 годов им было написано немало стихотворений на любовную тему, отмеченных психологической глубиной, искренностью интонаций и художественной завершенностью («Я помню», «Оставь!», «Когда бы», «При иллюминации», «Любит», «К ней», «К...», «Поздно», «Отплата» и другие).

В стихотворной миниатюре «После», написанной по возвращении поэта из заграничной поездки 1858 года на родину, мы найдем такие строки:

После ж веселья чужбины,
Радостей суши и моря —
Дайте родной мне кручины!
Дайте родимого горя!

Такие стихи могли выйти из-под пера позднего Бенедиктова, когда он по-новому осмыслил свои связи с русской действительностью, русским бытом, традициями русской поэтической культуры. И качество русского национального поэта стало ощутимо проявляться в лучших его произведениях. Возьмите такое стихотворение поэта, как «Ты мне всё», написанное на любовную тему:

В целой природе твои только прелести
Я созерцаю, о друг мой единственный.
Ты — мое сердце в полудне высокое,
Месяц серебряный, звездочка скромная;
Ты — моя радость и горе глубокое,
День мой блестящий и ночь моя темная.

В данном случае, так же как и в замечательной бенедиктовской «Пссне», «русскость» стихотворениям сообщает их единородство с национальным фольклором; в других (цикл «Сельские отголоски») это достигается темой; в третьих («Разговор») — беседой двух персонажей «мужицкого звания». А вот «русскость» «Бессонницы» и «Северных ночей» — тем, что Белинский называл «русским взглядом на вещи» (V, 660).

Многие стихотворения Бенедиктова («Деревенский мальчик», «Бедняк», «Недоумение» и другие) проникнуты мягким и светлым юмором, который возникает в творчестве поэта где-то на рубеже 1840—1850-х годов, как бы сигнализируя исследователю об окончательном возвращении автора в лоно русской национальной традиции. Юмор проникает порою в область научно-философских раздумий поэта, к которым относится, например, стихотворение «Перевороты».

Когда-то далёко от нашего века
Не зрелось нигде человека;
Как лес исполинский всходила трава,
И высилась пальма — растений глава,
Средь рощ тонкоствольных подъемлясь престольно.
Но, крупным твореньем своим недовольна,
Природа земною корой потрясла,
Дохнула вулканом, морями плеснула
И, бездны разверзнув, наш мир повернула
И те организмы в морях погребла.

Вслед за каждым зиждительным сотрясением земных недр появлялись новые роды и виды животного царства. Гигантских пресмыкающихся, перешедших в царство ископаемых, сменили столь же гигантских размеров млекопитающие, но, едва успев утвердиться

на земле, они обнаружили явственные признаки своего несовершенства.

И вот при дальнейшей попытке природы,
Не раз обновляющей землю и воды
И виды менявшей созданий своих, —
Средь мошек, букашек и тварей иных,
В мир божий вступив из таинственной двери,
Возник человек — и попятились звери.
И в страхе, потомка узнав своего
И больше предвидя в орехах изъяна,
Лукаво моргнула, смеясь, обезьяна,
Сей дед человека — предтеча его.

Как научно-популярный очерк стихотворение «Перевороты» весьма уязвимо, но автор и не претендует на строго научное изложение истории возникновения и развития жизни на земле. Но как произведение художественное, стихотворение выдерживает самую суровую критику, поскольку и его научная приблизительность, и допущенные в нем неточности и преувеличения, и, наконец, средства художественного воздействия, включая юмор, направлены к одной цели: дискредитировать распространенный взгляд на человека как на «венец природы», показать всю относительность и условность представлений человека о своей богосозданности и исключительности.

И начал он жить-поживать понемногу,
Сквозь глушь, чрез леса пролагая дорогу,
Гоня всех животных. Стрелок, рыболов,
Сдиратель всех шкур, пожиратель волов,
Взрыватель всех почв — он в трудах землекопных
Дорылся до многих костей допотопных,
Отживших творений; он видит могилы,
Где плезиозавры, слоны, крокодилы,
Недвижные, сном ископаемых спят.

И, вглядываясь в открытые перед ним геологические пласты и исследуя книгу природы в целом, человек нашей эпохи убеждается в том, что он отнюдь не последнее слово в развитии жизни на земле. И даже овладев силами и тайнами природы, он не в силах уклониться от законов ее развития, согласно которым, может быть, уже сейчас из материалов нынешнего homo sapiens формируется человек будущего, который будет решительным образом отличаться

от человека нашей эпохи. И, найдя в земле кости последнего, скажет:

Зверь этот когда-то был в мире нередок.
Он глуп был ужасно, но это — наш предок!

«Перевороты» и типологически примыкающие к нему стихотворения послужат для будущего исследователя надежным материалом для постановки вопроса о роли Бенедиктова в утверждении содружества поэзии и науки. К гуманитарному аспекту названной темы примыкает и знаменитое стихотворение Бенедиктова «Человечество», хотя в нем, в отличие от «Переворотов», поэт выступал в роли не первооткрывателя, а лишь страстного сторонника социал-утопической концепции «вечного мира»:

И с той поры всемирное пространство
Багрится кровию, враждуют племена, —
И с той поры — война, война,
И каинство, и окаянство.
Война за женщину, за лоскуток земли,
Война за бархатную тряпку,
Война за золотую шапку,
За блестку яркую, отрытую в пыли,
И — чтоб безумия всю переполнить меру —
Война за мысль, за мнение, за веру,
За дело совести, — война из века в век!
О тигр! Возрадуйся, что ты — не человек!

Завершая наш обзор оригинальной лирики Бенедиктова, мы с сожалением констатируем крайне слабую изученность как биографии, так и поэтического творчества этого несправедливо обойденного историками литературы поэта. В советскую эпоху о Бенедиктове, если не считать двух уже упоминавшихся нами статей Л. Я. Гинзбург, серьезных исследовательских работ не было. Исключением является лишь относительно недавно опубликованная статья Ст. Рассадина, в которой есть попытка взглянуть на творчество этого поэта новыми глазами, сказать о том, что у поэта были «хорошие, порою даже очень хорошие стихи, и сегодня имеющие несомненную (я уверен в этом) ценность не для литературоведа только — для читателя». [1]

Не отрицая известной ценности наблюдений Ст. Рассадина над поэтикой Бенедиктова, мы решительно расходимся с ним в опре-

---

[1] Рассадин Ст., Неудачник Бенедиктов... — «Вопросы литературы», 1976, № 10, с. 177.

делении того вклада в развитие русской поэзии, который принадлежит Бенедиктову. «И Белинский, и Добролюбов, — пишет Ст. Рассадин, — по сути, порицали Бенедиктова за *бессодержательность*. Порицали справедливо, ибо причастность к моде на философствование или на «гражданские мотивы» ничего общего не имеет с истинной содержательностью; напротив, такие потуги неизбежно бессильны. Два взлета популярности Бенедиктова, когда он казался недальновидной публике как раз певцом «идеи», суть два его падения. Не только потому, что они были зафиксированы великой критикой, но потому, что, поддаваясь шумящей моде, Бенедиктов опошлял «идею» философскую или гражданственную, уходил от своей сущности, от лучшего в себе. Но на периферии своей поэзии (казалось, что на периферии, — оказалось, что на главном направлении) он обнаруживал свою тему, свою *содержательность*, шел к ним (к себе)».[1]

Ст. Рассадин характеризует критику поэзии Бенедиктова Белинским и особенно Добролюбовым с неверных (как это видно из содержания нашей статьи), формалистических позиций. В «гражданских мотивах» поэзии Бенедиктова критик неправомерно видит нечто вроде «нечистой силы». И не случайно в список стихотворений, не утративших своей ценности, Ст. Рассадин внес только пять: «Прости!», «Горные выси» (1838) и три созданных в 1850—1860-е годы: «Переход», «Тоска» и «Перевороты». При этом «Тоска» — произведение настолько же «акмеистическое», насколько «гражданское». Любопытно, какими же еще стихотворениями Бенедиктова намерен критик дополнить указанную пятерку?

Как видим, попытка Ст. Рассадина очистить наследие и имя В. Г. Бенедиктова от тяготеющих до сих пор над ним несправедливых приговоров, предвзятых мнений и кривотолков, возникших в пылу общественно-литературных схваток XIX века, была в значительной мере обесценена ложной концепцией исследователя. Спор об эстетических ценностях, добытых Бенедиктовым, продолжается.

В заключение нам следует сказать несколько слов о переводческой деятельности поэта, которой с середины 1840-х годов он уделял едва ли не основное внимание. Бенедиктов переводил с английского (Шекспир и Байрон), немецкого (Гете, Шиллер и др.), французского (Гюго, Шенье, Беранже, Барбье), венгерского (Петефи), чешского (Коллар), польского (Мицкевич и др.) и сербохорватского (Иованович (Змай), Хаджич (Светич), Пучич, Николай Негош).

---

[1] Рассадин Ст., Неудачник Бенедиктов... — «Вопросы литературы», 1976, № 10, с. 177—178.

Уже простой перечень произведений зарубежной поэзии, которые Бенедиктов сделал доступными для русского читателя, дает представление не только о широте интересов переводчика, но и о его демократических симпатиях, подтверждением чему может служить осуществленный поэтом в 1860-х годах перевод поэмы австрийского писателя Альфреда Мейснера (1822—1885) «Жижка» (1846). Бенедиктов отдавал себе отчет в том, что появление в полном виде на русском языке этого революционного сочинения не реально, и тем не менее свой переводческий труд он довел до конца.

Из рода в род, от века и до века
Сплошь через всю историю идет
Всемирный клич, — к суду тот клич зовет
Всех низвергавших право человека
И на него свой налагавших гнет.
Тот клич нам слышен в стоне угнетенных,
Душой и телом сжатых бедняков,
Исходит он из нор глухих, зловонных,
Из мглы темниц, из ям, из-под оков,
Из мрачных бездн подъемлясь к высям неба,
Напоминать он должен богачам,
Что эти люди алчут, жаждут там
И требуют познания и хлеба.

Даже этот небольшой отрывок из «Вступления» к поэме (полный текст которого, пролежавший свыше ста лет в неизвестности, впервые печатается в настоящей книге) позволяет уяснить основное направление переводческой миссии Бенедиктова. Выборочно публикуемые в настоящем издании переводы зарубежных поэтов приобретают тем большую ценность, что в них поэту удавалось порою выразить свои заветные идеалы, приближение к которым для его оригинального творчества по соображениям цензурного свойства продолжало оставаться запретным.

В. Г. Бенедиктов — поэт сложной жизни и драматической судьбы. Выйдя на литературное поприще в середине 1830-х годов, в период, когда поэзия произрастала, по словам А. И. Герцена, только «под сению Петропавловской крепости»,[1] он не мог не унаследовать отдельных черт «ложновеличавой» романтической школы. Его первый нашумевший сборник был данью преклонения перед принципами «чистого искусства», хотя последнему и противостояло исконно «третьесословное» миропонимание здоровой в своей основе натуры даро-

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, М., 1956, с. 221.

витого поэта. В 1840-е годы, под воздействием критики Белинского, Бенедиктов переоценивает пройденный путь и постепенно освобождается от напряженной метафоричности и крайностей эффектного романтизма. В его творчестве намечаются точки соприкосновения с поэтикой «натуральной школы». 1850-е годы — период полной эстетической раскованности и утверждения Бенедиктова на позициях реалистического искусства. В годы 1858—1866-й поэт вместе со значительной частью передовой русской интеллигенции разделял иллюзию о царе-миротворце, провозвестнике и осуществителе «великих реформ», освобождение от которой наступает у него лишь к 1866 году. На протяжении 1850—1860-х годов Бенедиктов создает лучшие свои произведения: перевод «Собачьего пира» Огюста Барбье и поэмы «Жижка» А. Мейснера, стихотворения «Борьба», «И ныне», «Вход воспрещается», «Тоска», «Бессонница» и многие другие.

Все лучшее из поэтического наследия В. Г. Бенедиктова составляет неотъемлемую часть культуры строителей социалистического общества.

Ф. Я. Прийма

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. НОЧЬ БЛИЗ М⟨ЕСТЕЧКА⟩ ЯКАЦ
(5 МАЯ 1831)

Как сон невинности, как ангелов молитва,
Спокойна ночи тень;
А завтра — грозная воспламенится битва,
Настанет бурный день.

Роскошно озарен бивачными огнями,
Здесь ружей целый лес
Торжественно глядит трехгранными штыками
На звездный свод небес —

И воина очам ко звездам беспредельный
Указывает путь.
Нам нужен только миг — один удар смертельный,
Чтоб чрез него шагнуть.

Усталых ратников рассеянные тучи
На краткий сон легли,
Не ведая, кого с зарей свинец летучий
Сорвет с лица земли.

При мысли о конце душа моя не стонет,
Но рвусь от думы злой,
Что в сумрачных волнах забвения потонет
Туманный жребий мой;

Кипящая душа в немую вечность ляжет
Без отблеска небес;
Лишь дева милая подруге томно скажет:
«Он был, любил, исчез!»

5 мая 1831

2. ПРАЗДНИК НА БИВАКЕ

Пируя на полях чужбины,
Вы были веселы, друзья, —
И я бивачного житья
Увидел светлые картины.
Хоть шаткий пиршества шалаш
Столичной залы был теснее,
Зато в нем ход отрадных чаш
Был громозвучней и вольнее;
В нем меры не было речам,
Ни сжатых уст, ни хитрых взглядов,
Что некогда бывало там —
В стране докучливых обрядов.
«Ура» гремело. Каждый гость
Здесь был участником веселья,
И добротой блестела злость,
Укрыв свой яд, хоть до похмелья.
Кипуч был праздник средь полей,
Но, признаюсь, печален сердцем,
На пир ликующих друзей
Смотрел я хладным иноверцем —
И, чужд их кликов и речей,
Ждал втайне праздника мечей.

7 июня 1831

3. БРАННАЯ КРАСАВИЦА

Она чиста, она светла
И убрана сребром и златом;
Она душе моей мила,
Она дружна со мной, как с братом.
Она стыдится наготы,
Пока всё дремлет в сладком мире, —
Тогда царица красоты
В своей скрывается порфире,
Свой острый взор, блестящий вид
И стан свой выгнутый таит.
Но лишь промчится вихорь брани —
Она является нагой,
Объята воина рукой,
И блещет, будто роковой
Огонь в Юпитеровой длани.

Она к сердцам находит путь,
И хоть лобзает без желанья,
Но с болью проникают в грудь
Ее жестокие лобзанья.
Когда нага — она грозит,
Она блестит, она разит;
Но гром военный утихает —
И утомленная рука
Ее покровом облекает,
И вот она — тиха, кротка
И сбоку друга отдыхает.

1831

4. ПРОЩАНИЕ С САБЛЕЮ

Прости, дорогая красавица брани!
Прости, благородная сабля моя!
Влекомый стремлением новых желаний,
Пойду я по новой стезе бытия.
Ты долго со мною была неразлучна,
Как ангел грозы всё блестела в очах;
Но кончена брань — и с тобою мне скучно:
Ты сердца не радуешь в тесных ножнах.

Прости же, холодная, острая дева,
С кем дружно делил я свой быт кочевой,
Внимая порывам священного гнева
И праведной мести за край мой родной!
Есть дева иная в краю мне любезном,
Прекрасна и жаром любви калена;
Нет жаркой души в твоем теле железном —
Иду отогреться, где дышит она.

«Напрасно, о воин, меня покидаешь, —
Мне кажется, шепчет мне сабля моя, —
Быть может, что там, где ты роз ожидаешь,
Найдешь лишь терновый венец бытия;
Ад женского сердца тобой не измерен,
Ты ценишь высоко обманчивый дар;
Мой хладный состав до конца тебе верен,
А светских красавиц сомнителен жар».
— «О нет, я тебя не оставлю в забвенье,

Нет, друг мой железный! Ты будешь со мной;
И, ржавчине лютой не дав на съеденье,
Тебя обращу я в кинжал роковой,
И ловкой и пышной снабжу рукоятью,
Блестящей оправой кругом облеку,
И, гордо повесив кинжал над кроватью,
На мщенье коварству его сберегу!»

1831 или 1832

5. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Окончен пир войны. К красавице своей,
Любви к неистощимым благам
Стремится воин твердым шагом
С кровавых Марсовых полей.
«На родину иду, иду я к деве милой!
На родине опять узрю светило дня,
А ты, души моей светило,
Быть может, закатилось для меня!
Предчувствие мои туманит взоры,
Пусть сбудется оно! К утратам я привык,
На громозвучные укоры
Мой не подвигнется язык.
Быть может, вздох один из груди очерствелой,
Как ветерок, мгновенно проскользнет,
Но буря страсти не взорвет
Моей души, в боях перегорелой.
Я выдержу напор грозы,
Я отступлю от храма наслаждений
И не унижусь до молений,
Не выжму из очей слезы!
Мечта цвела, мечта увянет,
Замрет кипение в крови,
И грудь свинцовым гробом станет,
Где ляжет прах моей любви.
А ежели порой рассудку в ясны очи
Начнет фантазия вдувать свой сладкий дым
И крылья темные, как ткань волшебной ночи,
Расширит обаятельно над ним, —
Я брошусь на коня, и сын донского брега
Мой буйный умысел поймет,
И в даль, и в дичь, и в глушь меня он понесет
На молниях отчаянного бега;

Или сзову друзей, и вспыхнет шумный пир,
И нектар пенистый в фиалах заструится,
И песни загремят, и усыпленный мир
Моим неистовым весельем огласится;
И будет сердца храм открыт
Безумным, бешеным утехам,
И из него тоска, испуганная смехом,
К сердцам бессильным отлетит!»

1831 или 1832

6. СОСЛУЖИВЦУ

Стихнул грозный вихорь брани,
Опустился меч в ножны,
Смыта кровь с геройской длани
Влагой неманской волны.
Слава храбрым! Падшим тризна!
Воин, шлем с чела сорви!
Посмотри — тебе отчизна
Заплела венок любви!

Девы с ясными очами
Ждут героя, — приходи!
Изукрасится цветами
Царский орден на груди,
К сердцу радость вновь привьется
У родимых невских струй,
И вся жизнь твоя сольется
В бесконечный поцелуй.

Нет числа красам вселенной,
Сердцу милая — одна!
У тебя в стране бесценной
Есть заветная — *она* —
Легче вольного напева,
Быстрой ласточки живей,
Ясный ангел, радость дева,
Ненаглядный свет очей.

Воин, помнишь ли, бывало,
В шуме игор и затей

Дева резвая играла
Саблей девственной твоей;
А теперь — у этой грани,
Где рука ее вилась,
Блещут крест и надпись брани —
Сабля славы напилась!

О, как сладко к ножке милой
Положить знакомый меч
И штурмующею силой
Все преграды пересечь!
Не отымут злые люди,
Что нам свыше суждено!
Не напрасно в наши груди
Неба падает зерно!

Уж близка страна родная,
Сослуживец добрый мой;
Там, гирляндами блистая,
Закипит твой пир златой.
Стукнут чаши, брызнет пена,
И потонет в неге грудь,
И на жаркий пух Гимена
Воин ляжет отдохнуть!

1831 или 1832

7. УТЕС

Отвсюду объятый равниною моря,
Утес гордо высится, — мрачен, суров,
Незыблем стоит он, в могуществе споря
С прибоями волн и с напором веков.
Валы только лижут могучего пяты,
От времени только бразды вдоль чела,
Мох серый ползет на широкие скаты,
Седая вершина — престол для орла.

Как в плащ, исполин весь во мглу завернулся,
Поник, будто в думах, косматой главой;

Бесстрашно над морем всем станом нагнулся
И грозно нависнул над бездной морской.
Вы ждете — падет он, — не ждите паденья!
Наклонно он стал, чтобы сверху взирать
На слабые волны с усмешкой презренья
И смертного взоры отвагой пугать.

Он хладен, но жар в нем закован природный:
Во дни чудодейства зиждительных сил
Он силой огня — сын огня первородный —
Из сердца земли мощно выдвинут был!
Взлетел и застыл он твердыней гранита.
Ему не живителен солнечный луч,
Для нег его грудь вековая закрыта,
И дик и угрюм он, — зато он могуч!

Зато он неистовой радостью блещет,
Как ветры помчатся в разгульный свой путь,
Когда в него море бурунами хлещет
И прыгает жадно гиганту на грудь.
Вот молнии пламя над ним засверкало.
Перун свой удар ему в темя нанес —
Что ж? — огненный змей изломил свое жало,
И весь невредимый хохочет утес.

⟨1835⟩

8. НЕЗАБВЕННАЯ

В дни, когда в груди моей чувство развивалося
Так свежо и молодо
И мечтой согретое сердце не сжималося
От земного холода, —
В сумраке безвестности за Невой широкою,
Небом сокровенная,
Мне явилась чудная — дева светлоокая,
Дева незабвенная.
Как она несла свою тихо и торжественно
Грудь полуразвитую!
Как глубоко принял я взор ее божественный
В душу, ей открытую!

На младом челе ее — над очей алмазами —
Дивно отражалося,
Как ее мысль тихая, зрея в светлом разуме,
Искрой разгоралася, —
А потом из уст ее, словом оперенная,
Голубем пленительным
Вылетала чистая, в краски облеченная,
С шумом упоительным.
Если ж дева взорами иль улыбкой дружнею
Юношу лелеяла —
Негою полуденной, теплотою южною
От прелестной веяло.

Помните ль, друзья мои? Там ее видали мы,
Вечно безмятежную,
С радостями темными, с ясными печалями
И с улыбкой нежною.
С ней влеклись мечтатели в области надзвездные
Помыслами скрытными,
Чудная влекла к себе и сердца железные
Персями магнитными.
Время перемчалося, — скрылся ангел сладостный!
Всё исчезло с младостью —
Всё, что только смертные на земле безрадостной
Называют радостью...
Перед девой новою сердца беспокойного
Тлело чувство новое,
Но уж было чувство то — после лета знойного
Солнце сентябревое.
Предаю забвению новую прелестницу,
В грудь опустошенную
Заключив лишь первую счастья провозвестницу —
Деву незабвенную.

Всюду в жизни суетной — в бурях испытания
Бедность обнаружена,
Но, друзья, не беден я: в терниях страдания
Светится жемчужина —
И по граням памяти ходит перекатная,
Блещет многоценная, —
Это перл души моей — дева невозвратная,
Дева незабвенная!

⟨*1835*⟩

9. ЖАЛОБА ДНЯ

На востоке засветлело,
Отошла ночная тень,
День взлетел, как ангел белый...
Отчего ж ты грустен, день?

«Оттого порой грущу я,
Что возлюбленная ночь,
Только к милой подхожу я, —
От меня уходит прочь.
Вот и нынче — под востоком
Лишь со мной она сошлась,
Ярким пурпурным потоком
Облилась и унеслась.
Вслед за ней туманы плыли,
Облаков катился стан,
Тучки ложем ей служили,
Покрывалом был туман.
Я горел мечтой огнистой:
Так мила и так легка!
Покрывало было чисто,
Не измяты облака.
Без нее — с огнями Феба
Что лазурный мне алтарь?
Я — в роскошном царстве неба
Одинокий, бедный царь —
С той поры ищу царицы,
Как в пучину бытия
Из всемощныя десницы
Вышла юная земля».
Не томись, о день прелестный!
Ты найдешь ее, найдешь;
С тишиной ее чудесной
Блеск свой огненный сольешь,
Как пройдет времен тревога
И, окончив грустный пир,
Отдохнуть на перси бога
Истомленный ляжет мир!

⟨1835⟩

10. ДВА ВИДЕНИЯ

Я дважды любил, — две волшебницы-девы
Сияли мне в жизни средь божьих чудес;
Они мне внушали живые напевы,
Знакомили душу с блаженством небес.
Одну полюбил, как слезою печали
Ланита прекрасной была нажжена,
Другую, когда ее очи блистали
И сладко, роскошно смеялась она.

Исчезло, чем прежде я был разволнован,
Но след волнованья остался во мне,
Доныне их образ чудесный закован
На сердце железном в грудной глубине.
Когда ж я в глубоком тону размышленье
О темном значенье грядущего дня, —
Внезапно меня посещает виденье
Одной из двух дев, чаровавших меня.

И первой любви моей дева приходит,
Как ангел скорбящий, бледна и грустна,
И влажные очи на небо возводит,
И к персям, тоскою разбитым, она
Крестом прижимает лилейные руки,
Каштановый волос струями разлит...
Явление девы, исполненной муки,
Мне день благодатный в грядущем сулит.

Когда ж мне является дева другая,
Черты ее буйным весельем горят,
Глаза ее рыщут, как пламя сверкая,
Уста, напрягаясь, как струны дрожат;
И дева та дико, безумно хохочет,
Колышась, ее надрывается грудь, —
И это виденье мне горе пророчит,
Падение терний на жизненный путь.

Пред лаской судьбы и грозой ее гнева
Одна из предвестниц всегда прилетит,
Но редко мне видится первая дева, —
Последняя часто мне смехом гремит;

И в жизни я вижу немногие розы,
Помногу блуждаю в тернистых путях,
Но в радостях редких даются мне слезы,
При частых страданьях есть хохот в устах.

⟨1835⟩

11. К ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ

Небо полночное звезд мириадами
    Взорам бессонным блестит,
Дивный венец его светит Плеядами,
    Альдебараном горит.
Пышных тех звезд красоту лучезарную
    Бегло мой взор миновал,
Всё облетел, но, упав на Полярную,
    Вдруг, как прикованный, стал.

Тихо горишь ты, дочь неба прелестная,
    После докучного дня;
Томно и сладостно, дева небесная,
    Смотришь с небес на меня.
Жителя севера ночь необъятная
    Топит в лукавую тьму, —
Ты, безвосходная, ты, беззакатная, —
    Солнце ночное ему!

В длинную ночь селянин озабоченный,
    Взоры стремя к высотам,
Ждет, не пропустит поры обуроченной, —
    Он наглядит ее там,
Где *Колесница* небес безотъездная
    Искрой полярной блестит;
Там в книге звездной пред ним семизвездная
    Времени буква стоит.

Плаватель по морю бурному носится —
    Где бы маяк проблеснул?
У моря жадного дна не допросится,
    Берег — давно потонул.
Там его берег, где ты зажигаешься,
    Горний маяк для очес!

Там его дно, где ты в небо впиваешься,
Сребряный якорь небес!

Вижу: светил хоровод обращается —
Ты неподвижна одна.
Лик неба синего чудно меняется —
Ты неизменно верна.
Не оттого ли так сердцу мечтателя
Мил твой таинственный луч?
Молви, не ты ли в деснице создателя,
Звездочка, вечности ключ?

‹1835›

12. СМЕРТЬ РОЗЫ

Весна прилетела, обкинулся зеленью куст,
Вот ангел цветов у куста, оживленного снова,
Коснулся шипка молодого
Дыханьем божественных уст —
И роза возникла, дохнула, раскрылась, прозрела,
Сладчайший кругом аромат разлила и зарей
заалела.
И ангел цветов от прекрасной нейдет,
И, пестрое царство свое забывая
И только над юною розой порхая,
В святом умиленье поет:

«Рдей, царица дней прелестных!
Вешней радостью дыша,
Льется негой струй небесных
Из листков полутелесных
Ароматная душа.

Век твой красен, хоть недолог, —
Вся ты прелесть, вся любовь,
Сладкий сок твой — счастье пчелок,
Алый лист твой — брачный полог
Золотистых мотыльков.

Люди добрые голубят,
Любят пышный цвет полей,
Ах, они ж тебя и сгубят, —
Люди губят всё, что любят, —
Так ведется у людей!»

Сбылось предвещанье — и юноша розу сорвал,
И девы украсил чело этой пламенной жатвой,
И девы привет с обольстительной клятвой
Отрадно ему прозвучал.
Но что ж? Не поблек еще цвет, от родного куста
отделенный,
Как девы с приколотой розой чело омрачилось изменой.
Оставленный юноша долго потом
Страдал в воздаянье за пагубу розы,
Но вот уж и он осушил свои слезы,
А плачущий ангел порхал, безутешен, над сирым
кустом.

⟨1835⟩

13. ЗОЛОТОЙ ВЕК

Ты был ли когда-то, пленительный век,
Как пышные рощи под вечной весною
Сияли нетленных цветов красотою,
И в рощах довольный витал человек,
И сердца людского не грызла забота,
И та же природа, как нежная мать,
С людей не сбирала кровавого пота,
Чтоб зернами щедро поля обнизать?

Вы были ль когда-то, прекрасные дни,
Как злая неправда и злое коварство
Не ведали входа в Сатурново царство
И всюду сверкали веселья одни;
На землю взирали с лазурного свода
Небесные звезды очами судей,
Скрижали законов давала природа
И милая дикость равняла людей?

Вы были ль когда-то, златые года,
Как праздно лежало в недвижном покое
В родном подземелье железо тупое
И им не играла пустая вражда;
И хищная сила по лику земному
Границ не чертила кровавой чертой,
Но тихо катилось от рода к другому
Святое наследье любви родовой?

Ты было ли, время, когда в простоте,
Не зная обмана и хитрого гнева,
Пред юношей стройным прекрасная дева
Спокойно блистала во всей красоте;
Когда, и тела их и души сливая,
Любовь не гнездилась в ущельях сердец,
Но, всюду раскрыта, всем в очи сверкая,
На мир надевала всеобщий венец?

Ты был ли, век дивный? Твоя красота
Не есть ли слиянье прекрасных видений,
Пленительный вымысл — игра поколений
Иль дряхлого мира о прошлом мечта?
Ты не был, век милый! Позорищем муки
Был юноша мир, как и мир наш седой;
Но веют тобою Овидия звуки,
И сердцу понятен ты, век золотой!

‹1835›

14. ТРИ ВИДА

1

Прекрасна дева молодая,
Когда, вся в газ облечена,
Несется будто неземная
В кругах затейливых она.
Ее уборы, изгибаясь,
То развиваясь, то свиваясь,
На разгоревшуюся грудь
Очам прокладывают путь.
Она летит, она сверкает, —
И млеют юноши кругом,
И в сладострастии немом
Паркет под ножкой изнывает.
Огонь потупленных очей,
По воле милой их царицы,
Порой блеснет из-под ресницы
И бросит молнию страстей.
Уста кокетствуют улыбкой,
Изобличается стан гибкой,
И всё, что прихотям дано,
Резцом любви округлено.

2

Прекрасна дева молодая,
Когда, влюбленная, она,
О стройном юноше мечтая,
Сидит, печальна и бледна;
Сложив тяжелую снуровку,
Летает думой вдалеке
И, подпершись на локотке,
Покоит милую головку.
В очах рисуется тоска,
Как на лазури тень ночная,
И перси зыблются слегка,
В томленье страстном замирая.
Кругом всё полно тишины,
Недавний блеск и говор бальной
Сменен таинственною спальной,
Где в ожиданье вьются сны
Над чистым ложем невидимкой,
С волшебной, радужною дымкой;
Куда в час неги с вышины
Мог заходить, и то украдкой,
Луч обольстительный и сладкой
Небесной путницы — луны.

3

Прекрасна дева молодая,
Когда покоится она,
Роскошно члены развивая
Средь упоительного сна.
Рука, откинута небрежно,
Лежит под сонной головой,
И, озаренная луной,
Глава к плечу склонилась нежно.
Растянут в ленту из кольца,
Измятый локон ниспадает
И, брошен накось в пол-лица,
Его волшебно оттеняет.
Грудные волны и плечо,
Никем не зримые, открыты,
Ланиты негою облиты,
И уст дыханье горячо.
Давно пронзает луч денницы
Лилейный занавес окна,

В последнем обаянье сна
Дрожат роскошные ресницы, —
И дева силится вздохнуть;
По лику бледность пролетела,
И пламенеющая грудь
В каком-то трепете замлела...
И вот — лазурная эмаль
Очей прелестных развернулась...
Она и рада, что проснулась,
И сна лукавого ей жаль.

(1835)

15. ЧУДНЫЙ КОНЬ

Конь мой, конь мой, — удивленье!
Как красив волшебный бег!
Как он в бешеном стремленье
Мчит поэта — сына нег!
Нет путям его препоны,
Ни железа в пенном рте,
Ни хранительной попоны
На изнеженном хребте.
Мать-природа гладит, холит
Друга, полного огня,
И, беспечен, не неволит
Всадник чудного коня;
И, не чуя острой шпоры,
Конь летает через горы,
Мчится вихрем по степям,
Мчится бурей по морям.
Он свободно, без усилья,
Скачет выше облаков,
Где пернатый сын громов
Утомляет мощны крылья.
Он могучею стрелой
По следам планет летает:
Там из звезд венец златой
Гордый всадник похищает
С ткани неба голубой.
Конь земной травы не щиплет
И не спит в земной пыли, —
Он всё ввысь — и искры сыплет
На холодных чад земли.

Так в туманный час вечерний
Над челом полночных гор,
Радость мудрых, диво черни, —
Мчится яркий метеор.

‹1835›

16. МОЙ ВЫБОР

Я — гордый враг блистательной заразы
Тщеславия, которым полон мир, —
Люблю не вас, огнистые алмазы,
Люблю тебя, голубенький сапфир!

Не розою, не лилиею томной
Любуюсь я в быту своем простом:
Мил ландыш мне и беленький, и скромный
В уюте под ракитовым кустом.

Прелестницы и жрицы буйной моды!
Вы, легкие, — неси вас прочь зефир!
Люблю тебя, дочь кроткая природы,
Тебя, мой друг, мой ландыш, мой сапфир!

‹1835›

17. ОЗЕРО

Я помню приволье широких дубрав,
Я помню край дикий. Там в годы забав,
Невинной беспечности полный,
Я видел — синелась, шумела вода, —
Далёко, далёко, не знаю куда,
Катились всё волны да волны.

Я отроком часто на бреге стоял,
Без мысли, но с чувством на влагу взирал,
И всплески мне ноги лобзали.
В дали бесконечной виднелись леса,
Туда мне хотелось, — у них небеса
На самых вершинах лежали.

С детских лет я полюбил
Пенистую влагу,
Я, играя в ней, растил
Волю и отвагу.
В полдень, с брега ниспустясь,
В резвости свободной,
Обнимался я не раз
С нимфою подводной;
Сладко было с ней играть
И, с волною чистой
Встретясь, грудью расшибать
Гребень серебристый.
Было весело потом
Мчаться над водою,
Гордо действуя веслом
Детскою рукою,
И, закинув с челнока
Уду роковую,
Приманить на червяка
Рыбку молодую.

Как я и боялся и, вместе, любил,
Когда вдруг налеты неведомых сил
Могучую влагу сердили
И вздутые в бешенстве яром валы
Ровесницы мира — кудрявой скалы
Чело недоступное мыли!

Пловец ослабелый рулем не водил —
Пред ним разверзался ряд зыбких могил,
Волна погребальная выла...
При проблесках молний, под гулом громов
Свершалася свадьба озерных духов, —
Так темная чернь говорила.

Помню — под роскошной мглой
Всё покой вкушало,
Сладкой свежестью ночной
Озеро дышало.
Стройно двигалась ладья,
Средь родного круга
В ней сидела близ меня
Шалостей подруга —
Милый ангел детских лет;
Я смотрел ей в очи, —

С весел брызгал чудный свет
Через дымку ночи;
В ясных, зёркальных зыбях
Небо отражалось;
На разнеженных водах
Звездочка качалась;
И к Адели на плечо
Жадно вдруг припал я.
Сердцу стало горячо,
Отчего — не знал я.
Жар лицо мое зажег,
И — не смейтесь, люди! —
У ребенка чудный вздох
Вырвался из груди.

Забуду ль ваш вольный, стремительный бег,
Вы, полные силы и полные нег,
Разгульные шумные воды?
Забуду ль тот берег, где, дик и суров,
Певал заунывно певец-рыболов
На лоне безлюдной природы?

Нет, врезалось, озеро, в память ты мне!
В твоей благодатной, святой тишине,
В твоем бушеванье угрюмом —
Душа научалась кипеть и любить
И ныне летела бы ропот свой слить
С твоим упоительным шумом!

⟨1835⟩

18. МОЕЙ ЗВЕЗДОЧКЕ

Путеводною звездою
Над пучиной бытия
Ты сияешь предо мною,
Дева светлая моя.
О, свети мне, друг небесный!
Сердца звездочка, блести!
И ко мне, в мой мир безвестный,
Тихим ангелом слети!

Перед чернию земною
Для чего твой блеск открыт?

Я поставлю пред тобою
Вдохновенья твердый щит,
Да язвительные люди
Не дохнут чумой страстей
На кристалл прозрачной груди,
На эмаль твоих очей.

Нет, всё блещешь ты беспечно,
Ты не клонишься ко мне.
О, сияй, сияй же вечно
В недоступной вышине!
Будь небесною звездою,
Непорочностью сребрись,
И, катяся предо мною,
В чуждый мир не закатись!

Нет! звезда, в морозе света
Ярким пламенем мечты
Воспалившая поэта! —
Лучше ж, девственная, ты,
Быв всех звезд ему любезней,
Чаровав так долго взор,
Вдруг рассыпься и исчезни,
Как прекрасный метеор!

⟨1835⟩

19. ОБЛАКА

Ветра прихотям послушный,
Разряжённый, как на пир,
Как пригож в стране воздушной
Облаков летучий мир!

Клубятся дымчатые груды,
Восходят, стелются, растут
И, женской полные причуды,
Роскошно темны кудри вьют.
Привольно в очерках их странных
Играть мечтам. Там взор найдет
Эфирной армии полет
На грозный бой в нарядах бранных
Или в венках красот туманных
Неуловимый хоровод.

Вот, облаков покинув круг волнистый,
Нахмурилось одно — и отошло;
В его груди черно и тяжело,
А верх горит в опушке золотистой.
Как царь оно глядит на лик земной:
Чело в венце, а грудь полна тоской.
Вот — ширится и крыльями густыми
Объемлет дол, — и слезы потекли
В обитель слез, на яблоко земли, —
А между тем кудрями золотыми
С его хребта воздушно понеслись
Янтарные, живые кольца ввысь.

Всё мрачное мраку, а Фебово Фебу!
Всё дольное долу, небесное небу!

Снова ясно, вся блистая,
Знаменуя вешний пир,
Чаша неба голубая
Опрокинута на мир.
Разлетаюсь вольным взглядом, —
Облака, ваш круг исчез!
Только там вы мелким стадом
Мчитесь в темени небес.
Тех высот не сыщут бури,
Агнцам неба суждено
Там рассыпать по лазури
Белокудрое руно;
Там роскошна пажить ваша,
Дивной сладости полна,
Вам лазуревая чаша
Открывается до дна.
Тщетно вас слежу очами, —
Вас уж нет в моих очах!
Легкой думой вместе с вами
Я теряюсь в небесах.

⟨1835⟩

20. СОЗНАНИЕ

Когда чело твое покрыто
Раздумья тенью, красота,
Тогда земное мной забыто,
Тогда любовь моя свята.

Когда ж веселья в общем шуме
Ты бурно резвишься и думе,
Спокойной думе места нет,
Когда твой взор блестит томленьем,
А перси пышут обольщеньем, —
Тогда я — прах, я не поэт.
Тогда в душе моей смятенной
Я жажду страшную таю,
Смотрю, как демон воплощенный,
На резвость детскую твою.
Казни ж, карай меня, о дева,
Дыханьем ангельского гнева!
Твоих проклятий стою я...
Но нет, не знаешь ты проклятий!
Так, гневная, сожги ж меня
В живом огне своих объятий, —
Палящий жар мне в очи вдуй
И, несмотря на страстный трепет,
В уста, сквозь их мятежный лепет,
Вонзи смертельный поцелуй!

⟨1835⟩

21. СТЕПЬ

«Мчись, мой конь, мчись, мой конь, молодой, огневой!
Жизни вялой мы сбросили цепи.
Ты от дев городских друга к деве степной
Выноси чрез родимые степи!»

Конь кипучий бежит, бег и ровен и скор,
Быстрина седоку неприметна!
Тщетно хочет его опереться там взор:
Степь нагая кругом беспредметна.

Там над шапкой его только солнце горит,
Небо душной лежит пеленою;
А вокруг — полный круг горизонта открыт
И целуется небо с землею!

И из круга туда, поцелуи любя,
Он торопит летучего друга...
Друг летит, он летит, — а всё видит себя
Посредине заветного круга.

Краткий миг — ему час, длинный час — ему миг, —
Нечем всаднику время заметить;
Из груди у него дикий вырвался клик, —
Но и эхо не может ответить.

«Ты несешься ль, мой конь, иль на месте стоишь?»
Конь молчит — и летит в бесконечность!
Безграничная даль, безответная тишь
Отражают как в зеркале вечность.

«Там она ждет меня! Там очей моих свет!»
Пламя чувства в груди пробежало,
Он у сердца спросил: «Я несусь или нет?»
— «Ты несешься!» — оно отвечало.

Но и в сердце обман. «Я лечу, как огонь,
Обниму тебя скоро, невеста», —
Юный всадник мечтал, а измученный конь
Уж стоял — и не трогался с места.

⟨1835⟩

22. НАПОМИНАНИЕ

Нина, помнишь ли мгновенья,
Как певец усердный твой,
Весь исполненный волненья,
Очарованный тобой,
В шумной зале и в гостиной
Взор твой девственно-невинный
Взором огненным ловил,
Иль, мечтательно к окошку
Прислонясь, летунью-ножку
Тайной думою следил,
Иль, влеком мечтою сладкой,
В шуме общества, украдкой,
Вслед за Ниною своей
От людей бежал к безлюдью
С переполненною грудью,
С острым пламенем речей;
Как вносил я в вихрь круженья
Пред завистливой толпой
Стан твой, полный обольщенья,
На ладони огневой,

И рука моя лениво
Отделялась от огней
Бесконечно прихотливой
Дивной талии твоей;
И, когда ты утомлялась
И садилась отдохнуть,
Океаном мне являлась
Негой зыблемая грудь, —
И на этом океане,
В пене млечной белизны,
Через дымку, как в тумане,
Рисовались две волны.
То угрюм, то бурно весел,
Я стоял у пышных кресел,
Где покоилася ты,
И прерывистою речью,
К твоему склонясь заплечью,
Проливал мои мечты.
Ты внимала мне приветно,
А шалун главы твоей —
Русый локон — незаметно
По щеке скользил моей...

Нина, помнишь те мгновенья,
Или времени поток
В море хладного забвенья
Всё заветное увлек?

⟨1835⟩

23. СКОРБЬ ПОЭТА

Нет, разгадав удел певца,
Не назовешь его блаженным,
Сиянье хвального венца
Бывает тяжко вдохновенным.
Видал ли ты, как в лютый час,
Во мгле душевного ненастья,
Тоской затворной истомясь,
Людского ищет он участья?
Движенья сердца своего
Он хочет разделить с сердцами, —
И скорбь высокая его
Исходит звучными волнами,

И люди слушают певца,
Гремят их клики восхищенья,
Но песни горестной значенья
Не постигают их сердца.
Он им поет свои утраты,
И пламенем сердечных мук
Он, их могуществом объятый,
Одушевляет каждый звук —
И слез их, слез горячих просит,
Но этих слез он не исторг,
А вот — толпа ему подносит
Свой замороженный восторг.

⟨1835⟩

24. БУРЯ И ТИШЬ

Оделося море в свой гневный огонь
И волны, как страсти, кипучие катит,
Вздымается, бьется, как бешеный конь,
И кажется, гривой до неба дохватит;
И вот — опоясавшись молний мечом,
Взвилось, закрутилось, взлетело смерчом;
Но небес не достиг столб, огнями обвитый,
И упал с диким воплем громадой разбитой.

Стихнул ропот непогоды.
Тишины незримый дух
Спеленал морские воды,
И, как ложа мягкий пух,
Зыбь легла легко и ровно,
Без следа протекших бурь, —
И поникла в ней любовно
Неба ясная лазурь.

Так смертный надменный, земным недовольный,
Из темного мира, из сени юдольной
Стремится всей бурей ума своего
Допрашивать небо о тайнах его;
Но, в полете измучив мятежные крылья,
Упадает воитель во прах от бессилья.

Стихло дум его волненье,
Впало сердце в умиленье,

И его смиренный путь
Светом райским золотится,
Небо сходит и ложится
В успокоенную грудь.

⟨1835⟩

25. К ОЧАРОВАТЕЛЬНИЦЕ

Волшебница! Я жизнью был доволен,
Проникнут весь душевной полнотой,
Когда стоял, задумчив, безглаголен,
Любуясь, упиваяся тобой.
Среди толпы, к вещественности жадной,
Я близ тебя твой образ ненаглядный
Венцом мечты чистейшей окружал;
Душа моя земное отвергала,
И грудь моя всё небо обнимала,
И я в груди вселенную сжимал.

Когда ко мне со взором благосклонным
Ты обращала искреннюю речь,
Боялся я божественные тоны
Движением, дыханьем пересечь.
Уже ждала ты моего ответа,
А я стоял недвижный и немой; —
Казалось мне — исполненный привета,
Еще звучал небесный голос твой.

Когда ты струны арфы оживляла,
А я внимал, утаивая дух, —
Ты расплавляла мой железный слух,
Ты мучила, ты сердце надрывала;
Но сладостней прекрасных этих мук
Я не знавал, я ведать их не чаял...
Я каждым нервом вторил каждый звук,
Я трепетал, я нежился, я таял!
Когда же ты воздушною царицей
Средь пестрых пар танцующих гостей
Со мной неслась, на яхонты очей
Слегка склонив пушистые ресницы,
Когда, тебя в летучем танце мча,
Я был палим огнем прикосновенья,

Когда твоя косынка средь волненья
Роскошно отделялась от плеча,
Когда в твоем эфирном, гибком стане
Я утоплял горящую ладонь, —
Казалось мне, что в радужном тумане
Я обнимал заоблачный огонь.

Я был вдали. Кругом меня всечасно
Мне виделся воинственный разгул;
Но образ твой, как лик денницы ясной, —
Среди тревог в забвенье не тонул.
При звуках труб с мечтой женолюбивой
Я мысль мою о славе сопрягал,
На пир вражды летел душой ревнивой
И мир любви в душе благословлял.
Повсюду — твой! Тяжелой жизни опыт
Меня мечтать нигде не разучил,
Военный гром во мне не заглушил
Таинственный, волшебный сердца шепот.
Как часто там, при сталкиванье чаш,
В кругу друзей, в своем веселье диком
Мой сумрачный соломенный шалаш
Я оглашал любви заздравным кликом!
Иль, на часок лукаво заманив
Бивачную, кочующую музу,
Пел дружества веселому союзу
Святой любви торжественный порыв!

Я тот же всё. Судьбы в железных лапах
Затиснутый, среди ее обид,
Я полн тобой: цветка сладчайший запах
И скованного узника свежит.
Ты предо мной. С таинственной улыбкой
Порою ты взираешь на меня,
И счастлив я, хоть, может быть, ошибкой,
Пленительным обманом счастлив я.
Пусть обманусь надеждою земною, —
Есть лучший мир за жизненным концом —
Он будет наш — там вечности кольцом
Я обручусь, прекрасная, с тобою!

⟨1835⟩

26. РАДУГА

За тучами солнце — не видно его!
Но там оно капли нашло дождевые,
Вонзило в них стрелы огня своего, —
И по небу ленты пошли огневые.

Дуга разноцветная гордо взошла,
Полнеба изгибом своим обхватила,
К зениту державно свой верх занесла,
А в синее море концы погрузила.

Люблю эту гостью я зреть в вышине:
Лишь только она в небесах развернется,
Протекшего сон вдруг припомнится мне,
Запрыгает сердце, душа встрепенется.

Дни прошлые были повиты тоской,
За тучами крылося счастья светило,
Я плакал, грустил, — но в тоске предо мной
Всё так многоцветно, так радужно было.

Как в каплях, летящих из мглы облаков,
Рисуется пламя блестящего Феба,
В слезах преломляясь, блистала любовь
Цветными огнями сердечного неба.

⟨1835⟩

27. N. N—ОЙ

О, не играй веселых песен мне,
Волшебных струн владычица младая!
Мне чужд их блеск, мне живость их — чужая;
Не для меня пленительны оне.
Где прыгают, смеются, блещут звуки,
Они скользят по сердцу моему;
Могучий вопль аккордов, полных муки,
Его томит и сладостен ему.

Так, вот она — вот музыка родная!
Вздохнула и рассыпалась, рыдая,
Живым огнем сквозь душу протекла
И там — на дне — на язвах замерла.

Играй! Играй! — Пусть эти тоны льются!
Пускай в душе на этот милый зов
Все горести отрадно отзовутся,
Протекшего все тени встрепенутся
И сонная проговорит любовь!
Божественно, гармонии царица!
Страдальца грудь вновь жизнию полна,
Она — всего заветного темница,
Несчастий храм и счастия гробница —
Вновь пламенем небес раскалена.

Понятны мне, знакомы эти звуки:
Вот вздох любви, вот тяжкий стон разлуки,
Вот грустного сомнения напев,
Вот глас надежд — молитвы кроткий шепот,
Вот гром судьбы — ужасный сердца ропот,
Отчаянья неукротимый рев;
Вот, дикое, оно кинжал свой точит
И с хохотом заносит над собой,
И небо вдруг над бешеным рокочет
Архангела последнею трубой!..

Остановись! — Струнами золотыми,
Небесный дух, ты всё мне прозвучал;
Так, звуками волшебными твоими
Я полон весь, как праздничный фиал.
Я в них воскрес, их силой стал могуч я —
И, следуя внушенью твоему,
Когда-нибудь я лиру обойму
И брошу в мир их яркие отзвучья!

⟨1835⟩

28. СМЕРТЬ В МЕССИНЕ

Какое явленье? Не рушится ль мир?
Взорвалась земля, расседается камень,
Из области мрака на гибельный пир
Взвивается люто синеющий пламень,
И стелется клубом удушливый пар,
Колеблются зданья, и рыщет пожар.

Не рушится мир, но Мессина дрожит:
Под ней свирепеют подземные силы.

Владения жизни природа громит,
Стремяся расширить владенья могилы.
Смотрите, как лавы струи потекли
Из челюстей ярых дрожащей земли!

Там люди, исторгшись из шатких оград,
От ужаса, в общем смятенье, немеют;
Там матери, в блеске горящих громад,
С безумной улыбкою нежно лелеют
Беспечных младенцев у персей своих:
Потеряны мысли, но сердце при них!

Взгляните: одна, как без жизни, бледна,
Едва оживает в объятьях супруга;
Вот дико очами блуждает она...
Узрела — и ринулась с воплем испуга:
Малютка родимый — души ее часть —
Стоит на балконе, готовом упасть;
Стоит и на бурные волны людей,
На лаву и пламя с улыбкой взирает,
И к жалам неистовых огненных змей
Призывно ручонки свои простирает.
Как счастлив прекрасным неведеньем он!
Как счастлив! — Мгновенье — и рухнет балкон.

Нет, он не погибнет: жива его мать.
Напрасно супруг всею силой объятий
Стремится порыв ее сердца унять!
Бесплодно усилье мольбы и заклятий!
Смотрите — толпа как стрелой пронзена —
Тут матерней грудью рванулась жена!

Она уж на лестнице, — дымная мгла
Ее окружает, вкруг сыплется камень...
Уж вот на балконе... вот сына взяла —
Ее пощадили дождь камней и пламень!
Спасение близко... Но падает дом —
И дым заклубился могильным столбом.

⟨1835⟩

29. ОРЕЛЛАНА

Взгляните, как льется, как вьется она —
Красивая, злая, крутая волна!
Это мчится Ореллана,
Величава, глубока,
Шибче, шибче — и близка
К черной бездне океана.

Бурлит и ревет океан-великан, —
Гроза на хребте, на плечах ураган;
Вздулся — высится приливом,
Горы волн шумя крутит —
Будет схватка: он сердит
И река полна порывом.

Летит в океан Орелльна стрелой —
И вот налетела, рвет волны волной.
Чуден водной битвы пламень!
Пена бьет до облаков,
На хребтах густых валов
Сшиблись камни, с камнем камень.

С рекой океан, как с тигрицею лев!
Две армии волн — далеко слышен рев.
Где ж победа? где уклонка?
Ты нейдешь назад, река,
Ты упряма, ты дика!
Бейся, бейся, Амазонка!

Свое взяла сила: река не сдалась
И в грудь океану, как жало, впилась.
Уязвлен боец огромный,
Захрипел и застонал,
Тише, тише — и помчал
Волны с жалобою томной.

⟨1835⟩

30. ДВЕ РЕКИ

Между пышными лугами,
Между ровными брегами,
По блистающему дну,

В глубину не нарастая,
Влага резвая, живая —
Раскатилась в ширину.
В искры луч небес дробится
О поверхность этих вод,
На струях волшебных зрится
Искры в искру переход.
Здесь, дитя, тебе раздолье!
Здесь, питая своеволье,
Можешь броситься в реку;
И, ручонку лишь протянешь,
Ты со дна себе достанешь
Горсть блестящего песку!

Путь по дебрям пробивая,
Там бежит река другая.
Та река в брегах сперта,
Стелет воды не широко,
В глубину ушла далеко
Этой влаги полнота.
Стрелы Феба не пронзают
Этой мощной глубины,
Взоры дна не достигают —
Волны дики и черны.
Низвергайся, муж отваги!
Здесь под темным слоем влаги
Перлы дивные лежат.
Сбрось с чела венок цветочный!
Блеск возвышенный и прочный
Эти перлы подарят.

⟨1835⟩

31. РАЗЛУКА

«Поле славы предо мною, —
Отпусти меня, любовь!
Там — за Неманом-рекою —
Свищут пули, брызжет кровь;
Здесь не место быть солдату:
Там и братья и враги.
Дева милая, к возврату
Другу сердце сбереги!»

Девы очи опустились
К обручальному кольцу,
И по бледному лицу
Вдруг обильно покатились
Токи жгучих слезных струй;
При словах: «Прости, мой милый!» —
Будто роза близ могилы,
Пал прекрасной поцелуй.

Не тучи над миром грозу замышляют —
Сближаются мерно две рати врагов,
Не хладно, не сухо друг друга встречают —
При первых приветах и пламя и кровь.
Всем бешенством смерти ядро боевое,
Врываясь в колонну, ряд валит на ряд.
Вот прыснул картечный язвительный град,
Всё ломит и рвет он в редеющем строе.
Всё ближе и ближе враги меж собой —
Исторглись из ружей свинцовые брызги,
Пронзительно в слух ударяют их визги,
И строй навалился на вражеский строй
И роет штыками противников груди,
Кровь хлещет волнами, и падают люди;
Сливаются стоны, и рж́анье, и треск,
И мечется в дыме порывистый блеск.

Уж, полночная крикунья,
Дико крикнула сова.
Светом звезд и полнолунья
Светит неба синева;
Посреди немой равнины,
Погрузившись в смертный хлад,
Безобразные руины
Человечества лежат.
Чей здесь труп? — Чело разбито,
Исказилась красота,
Черной язвой грудь раскрыта,
Сжаты синие уста.
Поражен враждебной силой,
Юный ратник пал в борьбе:
Не воротится твой милый,
Дева милая, к тебе!

⟨1835⟩

32. К М⟨ЕЙСНЕ⟩РУ

Еще на быстролетный пир,
О друг, мы сведены судьбою.
Товарищ, где наш детский мир,
Где так череднился я с тобою?
Взгляну на стройный замок тот,
Где бурной жаждой эполета,
В златые отрочества лета,
Кипел незрелый наш народ, —
И целый рой воспоминаний,
То грустно-сладких, то смешных,
Пробудится в единый миг
В душе, исполненной терзаний.
Там, светских чуждые цепей,
Мы знали только братства узы
И наши маленькие музы
Ласкали избранных детей.
От охладительной науки
Бежали мы — в тиши мечтать
И непокорливые звуки
Игре созвучий покорять.
Там в упоительной тревоге
Мы обнимались на пороге
Меж детства запоздалым сном
И первым юности огнем,
И чувством дивным закипали,
И, слив в безмолвии сердца,
Еще чего-то от творца,
Как недосозданные, ждали, —
И легкой струйкою в крови
Текло предвкусие любви.
Ударил час, — мы полетели
Вдоль разных жизненных путей,
Пучину света обозрели
И скоро сердцем откипели,
Открыли яд на дне страстей.
Под хладным веяньем порока
Поблекла юная мечта,
Душа, как львица, заперта —
Скорбит в железной клетке рока.
В толпе холодной и сухой
К кому приникнуть головой?
Где растопить свинец несчастья?

Где грудь укрыть от непогод?
Везде людского безучастья
Встречаешь неизбежный лед,
Повсюду чувство каменеет
И мрет под кознями умов;
В насмешках сирая немеет
И мерзнет дружба, а любовь —
В любви ль найдешь еще отраду?
Оставь напрасные мечты!
Любовь — лишь только капля яду
На остром жале красоты.

Товарищ, где же утешенье?..
Чу! гром прошел по высотам.
Дай руку! благо провиденье:
Страданье здесь, блаженство — там!

⟨1835⟩

33. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

«Люблю тебя» произнести не смея,
«Люблю тебя!» — я взорами сказал;
Но страстный взор вдруг опустился, млея,
Когда твой взор суровый повстречал.
«Люблю тебя!» — я вымолвил, робея,
Но твой ответ язык мой оковал;
Язык мой смолк, и взор огня не мечет,
А сердце всё «люблю тебя» лепечет.

И звонкое сердечное биенье
Ты слышишь — так, оно к тебе дошло;
Но уж твое сердитое веленье
Остановить его не возмогло...
Люблю тебя! И в месть за отверженье,
Когда-нибудь, безжалостной назло,
Когда и грудь любовию отдышит,
Мое перо «люблю тебя!» напишет.

⟨1835⟩

34. РОЗА И ДЕВА

После бури мирозданья,
Жизнью свежею блестя,
Мир в венке очарованья
Был прекрасен, как дитя.
Роза белая являла
Образ полной чистоты,
Дева юная сияла
Алым блеском красоты.
Небо розу убелило,
Дав румянец деве милой, —
И волшебством тайных уз
Между ними утвердило
Неразгаданный союз;
И, заря лишь выводила
В небо светлого царя,
Дева, рдея, приходила
К белой розе, как заря.

Но преступного паденья
Миг нежданный налетел, —
Под дыханьем обольщенья
Образ девы потускнел.
Молча зеркало потока
Ей сказало: ты бледна!
И грустит она глубоко,
Милой краски лишена.
Вот светило дня сорвало
Темной ночи покрывало,
Розе верная, спешит
Дева в бархатное поле...
Вот подходит... чудный вид!
Роза, белая дотоле,
Алым пламенем горит,
Пред пришелицею бедной
Струй зари она пышней —
И кивает деве бледной
Алой чашею своей.
Милый цвет преобразился, —
Твой румянец, дева, здесь!
Не пропал он — сохранился,
Розе переданный весь.

Так впервые отлетело
Пламя с юных девы щек,
А листочки розы белой
Цвет стыдливости облек.
Так на первом жизни пире
Возникал греха посев, —
И досталось жить нам в мире
Алых роз и бледных дев!

⟨1835⟩

35. НАЕЗДНИЦА

Люблю я Матильду, когда амазонкой
Она воцарится над дамским седлом,
И дергает повод упрямой ручонкой,
И действует буйно визгливым хлыстом.
Гордяся усестом красивым и плотным,
Из резвых очей рассыпая огонь,
Она — властелинка над статным животным,
И деве покорен неистовый конь, —
Скрежещет об сталь сокрушительным зубом,
И млечная пена свивается клубом,
И шея крутится упорным кольцом.
Красавец! — под девой он топчется, пляшет,
И мордой мотает, и гривою машет,
И ноги, как нехотя, мечет потом,
И скупо идет прихотливою рысью,
И в резвых подскоках на мягком седле,
Сердечно довольная тряскою высью,
Наездница в пыльной рисуется мгле:
На губках пунцовых улыбка сверкает,
А ножка-малютка вся в стремя впилась;
Матильда в галоп бегуна подымает
И зыблется, хитро на нем избочась,
И носится вихрем, пока утомленье
На светлые глазки набросит туман...
Матильда спрыгнула — и в сладком волненье
Кидается бурно на пышный диван.

⟨1835⟩

36. ЧЕРНЫЕ ОЧИ

Как могущественна сила
Черных глаз твоих, Адель!
В них бесстрастия могила
И блаженства колыбель.
Очи, очи — обольщенье!
Как чудесно вы могли
Дать небесное значенье
Цвету скорбному земли!

Прочь, с лазурными глазами
Дева-ангел. Ярче дня
Ты блестишь, но у меня
Ангел с черными очами.
Вы, кому любовь дано
Пить очей в лазурной чаше, —
Будь лазурно небо ваше!
У меня — оно черно.
Вам — кудрей руно златое,
Други милые! Для вас
Блещет пламя голубое
В паре нежных, томных глаз.
Пир мой блещет в черном цвете,
И во сне и наяву
Я витаю в черном свете,
Черным пламенем живу.
Пусть вас тешит жизни сладость
В ярких красках и цветах, —
Мне мила, понятна радость
Только в траурных очах.
Полдень катит волны света —
Для других все тени прочь,
Предо мною ж всё простерта
Глаз Адели черна ночь.

Вот — смотрю ей долго в очи,
Взором в мраке их тону,
Глубже, глубже — там одну
Вижу искру в бездне ночи.
Как блестящая чудна!
То трепещет, то затихнет,
То замрет, то пуще вспыхнет,
Мило резвится она.

Искра неба в женском теле —
Я узнал тебя, узнал,
Дивный блеск твой разгадал:
Ты — душа моей Адели!
Вот, блестящая, взвилась,
Прихотливо поднялась,
Прихотливо подлетела
К паре черненьких очей
И умильно посмотрела
В окна храмины своей;
Тихо влагой в них плеснула,
Тихо вглубь опять порхнула,
А на черные глаза
Накатилась и блеснула,
Как жемчужина, слеза.

Вот и ночь. Средь этой ночи
Черноты ее черней
Дивно блещут черны очи
Тайным пламенем страстей.
Небо мраком обложило,
Дунул ветер, из-за туч
Лунный вырезался луч
И, упав на очи милой,
На окате их живом
Брызнул мелким серебром.
Девы грудь волнообразна,
Ночь тиха, полна соблазна...

Прочь, коварная мечта!
Нет, Адель, живи чиста!
Не довольно ль любоваться
На тебя, краса любви,
И очами погружаться
В очи черные твои,
Проницать в их мглу густую
И высматривать в тиши
Неба искру золотую,
Блестку ангельской души?

⟨1835⟩

37. К Н—МУ

Не трать огня напрасных убеждений
О сладости супружнего венца,
О полноте семейных наслаждений,
Где сплавлены приязнию сердца!
Венец тот был мечты моей кумиром,
И был готов я биться с целым миром
За ту мечту; я в книге дней моих
Тогда читал горячую страницу
И пел ее — любви моей царицу —
Звезду надежд и помыслов святых.
Небесный луч блистал мне средь ненастья,
Я чувствовал всё пламя бытия
И радостно змею — надежду счастья
Носил в груди. . . Прекрасная змея!
Но весь сосуд волшебного обмана
Мной осушен, — окончен жаркий путь;
Исцелена мучительная рана,
И гордостью запанцирилась грудь.
Не говори, что я легок и молод!
Не говори, что время впереди!
Там нет его, — закованное в холод,
Оно в моей скрывается груди.
Напрасно ты укажешь мне на деву,
Не хладную к сердечному напеву
И сладкую, как в раскаленный день
Для бедуина пальмовая тень, —
Я не хочу при кликах «торжествуем»
Притворствовать у ангела в очах
И класть клеймо бездушным поцелуем
На бархатных, малиновых устах.
Пускай меня язвят насмешкой люди,
Но грудь моя, холодная давно,
Как храм пустой, где всё расхищено,
К божественной да не приникнет груди!
Да не падет на пламя красоты
Морозный пар бесстрастного дыханья!
Не мне венец святого сочетанья, —
В моем венце — крапивные листы.
Былых страстей сказанием блестящим,
Отчетами любви моей к другой
Я угожу ль супруге молодой
И жаждущей упиться настоящим?

Удел толпы — сухой, обычный торг —
Заменит ли утраченный восторг?
Нет, пусть живу и мыслю одиноко!
Пусть над одним ревет судьбы гроза!
Зато я чист, ужасного упрека
Меня не жжет кровавая слеза.
Пускай мой одр не обогрет любовью,
Пусть я свою холодную главу
К холодному склоняю изголовью
И роз любви дозволенных не рву, —
Зато мой сон порою так прекрасен,
Так сладостен, роскошен, жив и ясен,
Что я своим то счастие зову,
Которого не вижу наяву.

⟨1835⟩

38. НОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Поэта сердце в дар примите!
Вот вам оно! в нем пышет жар.
Молчите вы — ужель хотите
Отринуть мой священный дар?
О, как лукаво вы взглянули!
Понятен мне язык очей:
О прежней вы любви моей
Мне превосходно намекнули.
Вы говорите: «Бог с тобой!
Ты перед девою другой
Всё сердце сжег, поэт беспечный,
И хочешь искру предо мной
Теперь раздуть в золе сердечной».
— «Нет, вы ошиблись, — говорю, —
Не прежним сердцем я горю, —
Оно давно испепелилось,
Из пепла новое родилось, —
И я вам Феникса дарю!»

⟨1835⟩

39. МОГИЛА

Рассыпано много холмов полевых
Из длани природы обильной,
Холмы те люблю я, но более их
Мне холм полюбился могильный.

В тоске не утешусь я светлым цветком,
Не им обновлю мою радость, —
Взгляну на могилу — огнистым клубком
По сердцу прокатится сладость.

Любви ли сомнение в грудь залегло,
На сладостный холм посмотрю я —
И чище мне кажется девы чело,
И ярче огонь поцелуя.

Устану ли в тягостной с роком борьбе,
Изранен, избит исполином,
Лишь вспомню могилу — и в очи судьбе
Взираю с могуществом львиным.

Я в мире боец, да, я биться хочу.
Смотрите — я бросил уж лиру,
Я меч захватил и открыто лечу
Навстречу нечистому миру.

И бог да поможет мне зло поразить
И в битве глубоко, глубоко
Могучей рукою сталь правды вонзить
В шипучее сердце порока!

Не бойтесь, друзья, не падет ваш певец!
Пусть грозно врагов ополченье!
Как лев, я дерусь, как разумный боец,
Упрочил себе отступленье.

Могила за мною, как гений, стоит
И в сердце вливает отвагу,
Когда же боренье меня истомит —
Туда — и под насыпью лягу.

И пламенный дух из темницы своей
Торжественным крыльев размахом

К Отцу возлетит, а ползучих гостей
Земля угостит моим прахом.

Но с миром не кончен кровавый расчет!
Нет, — в бурные силы природы
Вражда моя в новой красе перейдет,
И в воздух, и в пламя, и в воды.

На хладных людей я вулканом дохну,
Кипящею лавой нахлыну,
Средь водной равнины волною плесну —
Злодея ладью опрокину!

Порою злым вихрем прорвусь на простор,
И вихрей-собратий накличу,
И прахом засыплю я хищника взор,
Коварно следящий добычу!

Чрез горы преград путь свободный найду,
Сквозь камень стены беспредельной
К сатрапу в чертоги заразой войду
И язвою лягу смертельной!

⟨*1835*⟩

40. ПЕСНЬ СОЛОВЬЯ

Средь воскреснувших полей
Гений звуков — соловей
Песнью весь излиться хочет,
В перекатах страстных мрет,
Вот неистово хохочет,
Тише, тише стал — и вот
К нежным стонам переходит
И, разлившись как свирель,
Упоительно выводит
Он серебряную трель.

«О милая! певец в воздушном круге
Поет любовь и к неге нас зовет» —
Так шепчет страстный юноша подруге, —
И, пламенна, как солнечный восход,
Прекрасная к устам его прильнула;

Его рука лукавою змеей
Перевила стан девы молодой,
Всползла на грудь — и на груди уснула...

А там — один — без девы, без венца,
Таясь в глуши, питомец злополучья
Прислушался: меж звуками певца
И он сыскал душе своей созвучья;
Блестит слеза отрадная в очах,
Нежданная, к устам она скатилась,
И дружно со слезою засветилась
Могильная улыбка на устах.

Пой, греми, полей глашатай!
Песнью чудной и богатой
Ты счастливому звучишь
Так роскошно, бурно, страстно,
А с печальным так согласно,
Гармонически грустишь.
Пой, звучи, дитя свободы!
Мне понятна песнь твоя;
Кликам матери-природы
Грудь откликнулась моя.

⟨1835⟩

41—48. *СОНЕТЫ*

1. ПРИРОДА

Повсюду прелести, повсюду блещут краски!
Для всех природы длань исполнена даров.
Зачем же, к красоте бесчувственно-суров,
Ты жаждешь тайн ее неистовой огласки?

Смотри на дивную, пей девственные ласки,
Но целомудренно храни ее покров!
Насильственно не рви божественных узлов,
Не мысли отпахнуть застенчивой повязки!

Доступен ли тебе ее гиероглиф?
Небесные лучи волшебно преломив,
Раскрыла ли его обманчивая призма?

Есть сердце у тебя — пади, благоговей,
И бойся исказить догадкою твоей
Запретные красы святого мистицизма!

⟨1835⟩

2. КОМЕТА

Взгляни на небеса: там стройность вековая.
Как упоительна созвездий тишина!
Как жизнь текущих сфер гармонии полна, —
И как расчетиста их пляска круговая!

Но посмотри! меж них неправильно гуляя,
Комета вольная — системам не верна;
Ударами грозит и буйствует она,
Блистательным хвостом полнеба застилая.

Зря гостью светлую в знакомых небесах,
Мудрец любуется игрой в ее лучах,
Но робко путь ее и близость расчисляет.

Так пылкая мечта — наперсница богов —
Среди медлительных, обкованных умов
Сверкая носится, и тешит, и пугает.

⟨1835⟩

3. ВУЛКАН

Нахмуренным челом простерся он высоко,
Пятою он земли утробу придавил,
Курится и молчит, надменный, одинокой,
Мысль огнеметную он в сердце затаил...

Созрела — он вздохнул, и вздох его глубокой
Потряс кору земли и небо помрачил,
И камни, прах и дым разметаны широко,
И лавы бурный ток окрестность обкатил.

Он — гений естества! И след опустошенья,
Который он простер, жизнь ярче оцветит.
Смирись — ты не постиг природы назначенья!

Так в человечестве бич-гений зашумит, —
Толпа его клянет средь дикого смятенья,
А он, свирепствуя, — земле благотворит.

⟨1835⟩

4. ГРОЗА

В тяжелом воздухе соткалась мгла густая,
Взмахнул крылами ветр, зубчатой бороздой
Просеклась молния, завыла хлябь морская,
Лес ощетинился, расселся дуб седой.

Как хохот сатаны несется, замирая,
Громов глухой раскат, — и снова над землей
Небесный пляшет огнь, по ребрам туч мелькая,
И грозно вдруг сверкнет изломанной чертой.

Смутилась чернь земли и мчится под затворы...
Бегите! этот блеск лишь для очей орла...
Творенья робкие, спешите в ваши норы!

Кто ж там — на гребне скал? Стопа его смела,
Открыта грудь его, стремятся к небу взоры,
И молния — венец вокруг его чела!

⟨1835⟩

5. ЦВЕТОК

— Как дивно выткан он из красок, из эфира!
Откуда милый гость? Не с неба ль брошен он?
Златистою каймой он пышно обведен,
На нем лазурь небес, на нем зари порфира.

— Нет, это сын земли — сей гость земного пира, —
Луг — родина ему, из праха он рожден.
— Так, верно, чудный перл был в землю посажен,
Чтоб произвесть его на украшенье мира?

— О нет, чтоб вознестись увенчанной главой,
Из черного зерна он должен был родиться
И корень вить в грязи, во мраке, под землей.

Так семя горести во грудь певцу ложится
И, в сердце водрузив тяжелый корень свой,
Цветущей песнию из уст его стремится.

⟨1835⟩

6

Красавица, как райское виденье,
Являлась мне в сиянье голубом;
По сердцу разливалось упоенье,
И целый мир казался мне венком.

Небесного зефира дуновенье
Я узнавал в дыхании святом,
И весь я был — молитвенное пенье
И исчезал в парении немом.

Прекрасная, я вдохновен тобою,
Но не моей губительной рукою
Развяжется заветный пояс твой.

Мне сладостны томления и слезы.
Другим отдай обманчивые розы, —
Мне дан цветок нетленный, вековой.

⟨*1835*⟩

7

Когда вдали от суеты всемирной
Прекрасная грустит, уединясь, —
Слеза трепещет на лазури глаз,
Как перл на незабудочке сапфирной.

Веселием и роскошию пирной
Ее улыбка блещет в сладкий час, —
Так два листочка розовых, струясь,
Расходятся под ласкою зефирной.

Порой и дождь, и светят небеса, —
И на лице прелестной сердцегубки
Встречаются улыбка и слеза.

Как тягостны приличию уступки!
Лобзаньем осушил бы ей глаза,
Лобзаньем запечатал эти губки!

⟨*1835*⟩

8

Бегун морей дорогою безбрежной
Стремился вдаль могуществом ветрил,

И подо мной с кормою быстробежной
Кипучий вал шумливо говорил.

Волнуемый тоскою безнадежной,
Я от пловцов чело мое укрыл,
Поникнул им над влагою мятежной
И жаркую слезу в нее сронил.
Снедаема изменой беспощадно,
Моя душа к виновнице рвалась,
По ней слеза последняя слилась —

И, схваченная раковиной жадной,
Быть может, перл она произвела
Для милого изменницы чела!

⟨1835⟩

49. ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК

Струею жгучей выбегает
Из подземелий водный ключ.
Не внешний жар его питает,
Не жаром солнца он кипуч, —
О нет, сокрытое горнило
Живую влагу вскипятило;
Ядра земного глубинам
Огонь завещан самобытный, —
Оттуда гость горячий к нам
Из двери вырвался гранитной.

Так в мрачных сердца глубинах
Порою песнь любви родится
И, хлынув, в пламенных волнах
Пред миром блещет и клубится;
Но не прелестной девы взор
Ее согрел, ее лелеет, —
Нет, часто этот метеор
Сверкает ярко, но не греет!
Жар сердца сам собой могуч;
Оттуда, пролитый в напевы,
И под холодным взором девы
Бежит любви горячий ключ.

⟨1835⟩

50. К ЧЕРНООКОЙ

Нет, красавица, напрасно
Твой язык лепечет мне,
Что родилась ты в ненастной,
В нашей хладной стороне!
Нет, не верю, — издалёка
Бурный ветр тебя увлек.
Ты — жемчужина Востока,
Поля жаркого цветок!
Черный глаз и черный волос —
Всё не наших русых дев,
И томительный твой голос
Сыплет речь не нараспев.
Нет в лице твоем тумана,
Грудь не сжата у тебя,
И извив живого стана —
Азиатская змея.
Ты глядишь, очей не жмуря,
И в очах кипит смола,
И тропическая буря
Дышит пламенем с чела.
Фосфор в бешеном блистанье —
Взоры быстрые твои,
И сладчайшее дыханье
Веет мускусом любви.

⟨1835⟩

51. КУДРИ

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад!
Вейтесь, лейтесь, сыпьтесь дружно,
Пышно, искристо, жемчужно!
Вам не надобен алмаз:
Ваш извив неуловимый
Блещет краше без прикрас,
Без перловой диадимы;
Только роза — цвет любви,
Роза — нежности эмблема —
Красит роскошью эдема
Ваши мягкие струи.

Помню прелесть пирной ночи, —
Живо помню я, как вы,
Задремав, чрез ясны очи
Ниспадали с головы;
В ароматной сфере бала,
При пылающих свечах,
Пышно тень от вас дрожала
На груди и на плечах;
Ручка нежная бросала
Вас небрежно за ушко,
Грудь у юношей пылала
И металась высоко.
Мы, смущенные, смотрели, —
Сердце взорами неслось,
Ум тускнел, уста немели,
А в очах сверкал вопрос:
«Кто ж владелец будет полный
Этой россыпи златой?
Кто-то будет эти волны
Черпать жадною рукой?
Кто из нас, друзья-страдальцы,
Будет амвру их впивать,
Навивать их шелк на пальцы,
Поцелуем припекать,
Мять и спутывать любовью
И во тьме по изголовью
Беззаветно рассыпать?»

Кудри, кудри золотые,
Кудри пышные, густые —
Юной прелести венец!
Вами юноши пленялись,
И мольбы их выражались
Стуком пламенных сердец;
Но, снедаемые взглядом
И доступны лишь ему,
Вы ручным бесценным кладом
Не далися никому:
Появились, порезвились —
И, как в море вод хрусталь,
Ваши волны укатились
В неизведанную даль!

Конец 1835

52. ⟨В АЛЬБОМ Е. А. КАРЛГОФ⟩

Вы новой жизнию дарили
Меня в тот памятный мне час,
Когда стихи мои хвалили
Хвалой мне лестной в первый раз.
Не дорожу я криком света,
Весь мир мне холоден и пуст,
Но мило мне из ваших уст
Именование поэта.
Итак, да буду я певец,
Да буду возвеличен вами
И мой сомнительный венец
Пусть блещет вашими лучами.

1835

53. ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗАБВЕННОЙ

Ты опять передо мною,
Провозвестница всех благ!
Вновь под кровлею родною
Здесь, на невских берегах,
Здесь, на тающих снегах,
На нетающих гранитах,—
И тебя объемлет круг
То друзей полузабытых,
То затерянных подруг, —
И, как перл неоценимый
Гостью кровную любя,
Сердце матери родимой
Отдохнуло близ тебя.

И певец, во дни былые
Певший голосом любви
Очи, тайной повитые,
Очи томные твои,
Пивший чашею безбрежной
Горе страсти безнадежной,
Безраздельных сердца грез, —
Видя снова образ милой,
Снова с песнию унылой
В дар слезу тебе принес...
Друг мой! прежде то ли было?
Реки песен, море слез!

О, когда бы все мученья,
Все минувшие волненья
Мог отдать мне твой возврат, —
Я бы все мои стремленья,
Как с утеса водоскат,
В чашу прошлого низринул,
Я б, не дрогнув, за нее
Разом в вечность опрокинул
Всё грядущее мое!
Ты всё та ж, как в прежни годы,
В дни недавней старины,
В дни младенческой свободы
Золотой твоей весны;
Вижу с радостию прежней
Тот же образ пред собой,
Те ж уста с улыбкой нежной,
Очи с влагой голубой...
Но рука — с кольцом обета, —
И мечты мои во прах!
Пыл сердечного привета
Замирает на устах...

Отчего ж? Где чувства святы,
Нет преграды для меня.
Для несчастных нет утраты.
Мне всё та же, чем была ты
До венчательного дня.

Пусть блестит кольцо обета,
Как судьбы твоей печать!
И супругу — стих поэта
Властен девой величать.
Облекись же сим названьем!
Что шум света? Что молва?
Твой певец купил страданьем
Миру чуждые права.
Он страданьем торжествует,
Он воспитан для него;
Он лелеет, он целует
Язвы сердца своего
И чуждается, не просит
Воздаянья на земле;
Он в груди все бури носит
И покорность на челе.

Так, покорный воле рока,
Я смиренно признаю,
Чту я свято и высоко
Участь брачную твою;
И когда перед тобою
Появлюсь на краткий миг,
Я глубоко чувство скрою,
Буду холоден и дик;
Света грустное условье
Выполняя как закон,
Принесу, полусмущен,
Лишь вопрос мой о здоровье
Да почтительный поклон.

Но в часы уединенья,
Но в полуночной тиши
Невозбранного томленья
Буря встанет из души, —
И, мечтая, торжествуя,
Полным вздохом разрешу я
В сердце стиснутый огонь;
Вольно голову, как ношу,
Сердцу тягостную, брошу
Я на жаркую ладонь,
И как волны звуки прянут,
Звуки — жемчуг, серебро,
Закипят они и канут
Со слезами под перо,
И в живой реке напева
Молвит звонкая струя:
«Ты моя, мой ангел-дева,
Незабвенная моя!»

⟨1836⟩

54. ВОЗВРАТИСЬ!

В поход мы рядились, все прихоти — в пламень,
А сабли — на отпуск, коней — на зерно; —
О, весело шаркать железом о камень
И думать: вот скоро взыграет оно!
Вот скоро при взмахе блеснет и присвистнет!
Где жизнь твоя, ратник? Была такова!

Фонтанами влага багровая прыснет,
Расколото сердце, в ногах голова!

А кони, а кони — я помню лихого!
Казацкая прелесть, глаза — два огня, —
Друзья любовались, и чаша Донского
Ходила во здравье донского коня.
«Он ратный сочлен мой,— я мыслил порою, —
Я праведной чести с него не сниму, —
Полбремени пусть он разносит со мною,
А славу добуду — полславы ему!»

Уже мы несли, снаряженные к брани,
Родным и знакомцам последний привет;
Гремучие клики прощальных желаний
Летели как буря за нами вослед.
Друзья мне сулили в чужбине крамольной
За почестью почесть, кресты на кресты...
О други, простите! Довольно! Довольно!
А что ж не спросили: «Воротишься ль ты?»

Наперсники славы, мы дев покидали,
Любимых красавиц родной стороны,
И рыцарским жаром сердца трепетали
Под медным, тяжелым убором войны.
«Прости!» — прошептал я моей ненаглядной,
У ног ее брякнул предбитвенный меч;
Смутилась — и лепет волшебно-нескладный
Сменил ее тихую, плавную речь.
Не общим желаньем она пламенела, —
Нет, заревом чувства ланиты зажглись;
С последним лобзаньем в устах ее млело
Одно только слово, одно: «Возвратись!»

Чу! грянули трубы, колонны столпились,
Радушно-покорны священному зву,
Торжественно, дружно главы обнажились;
Ружье на молитву, душа к божеству!
В глазах просияла, протеплилась вера,
Небесною влагой намокли глаза, —
По длинным, по мшистым усам гренадера
Украдкой сбежала красотка слеза.

Вломились в чужбину незваные гости,
Железо копыт бороздило поля,
Обильным посевом ложилися кости,
Потоками крови тучнела земля, —
И выросли мира плоды золотые,
И снова мечи потонули в ножнах,
И шумно помчались в пределы родные
Орлы полуночи на рьяных крылах.

Обратно летел я с мечтою сердечной,
С кипучею думой: «Там дева твоя!»
Друзья выходили толпою навстречной:
«Здорово, товарищ!» — «Пустите, друзья!
Меня вы хотели зреть в почести бранной,
А я только сердце домой воротил!»
Сказал — и, спеша к моей милой, желанной,
Впервые ударом коня оскорбил;
Но он, благородный, обиду прощая,
Домчал меня метко к жилищу красы,
Влетел — всё, как было: пришельца встречая,
Приветно визжали знакомые псы,
И кланялись низко знакомые слуги,
И, узнанный всеми и встречен как свой,
Горя нетерпеньем, к бесценной подруге
Ворвался я жадно в заветный покой.
Красавица вышла, — в восторге прижать я
Хотел ее к сердцу и ринулся к ней,
Но, кинуты в воздух, замерзли объятья
И слезы вернулись назад из очей.
Мне веяло стужей дыханье прекрасной,
То злобно сжимались неверной уста,
То тихо струились улыбкой ужасной —
И адски блистала змея-красота.
Всё кончило время: душа отстрадалась,
О деве-злодейке мечты унеслись,
Но в сумрачном сердце доныне осталось
Одно ее слово, одно: «Возвратись!»

⟨1836⟩

55. К АЛИНЕ

Алина, вижу — ты прекрасна,
Я хладен к прелестям твоим,
Но верь мне — назвала напрасно
Мое ты сердце ледяным!
Будь лед в груди моей — доныне
Я был бы пленник красоты,
Не трудно таять хладной льдине
И от ничтожной теплоты.
Тогда б, палимый чудным жаром,
О солнце неги, пред тобой
Мой лед курился влажным паром
И капал вечною слезой!

Войди мне в грудь глубоким взглядом —
И сердце, чуждое любви,
Суровым облитое хладом,
Скорей железным назови!
Оно тяжелым испытаньем
Сквозь пыл страстей проведено,
Оно проковано страданьем,
Оно в бедах закалено,
И грудь — потухшее горнило, —
Отягощаемая им,
По жизни носится уныло
С железным бременем своим.
Вот вешний пир сошел в долины —
Проснулся б лед — железо спит;
Вот луч полудня — взор Алины —
И тот мне сердца не живит!

Но слушай: временно сей холод
Почиет на сердце моем,
Судьба-кузнец свой тяжкий молот
Еще испробует на нем,
Еще в жару оно потонет,
И под ударами застонет,
И брызнет кровью и огнем, —
Тогда приди взглянуть на друга,
Мои мученья пережди —
И после, в легкий час досуга,
Скажи мне, что́ в моей груди!

(1836)

56. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Через все пути земные
С незапамятной поры
В мире ходят две родные,
Но несходные сестры.
Вся одна из них цветами,
Как невеста, убрана,
И опасными сетями
Смертных путает она;
На устах любви приманка,
Огнь в очах, а в сердце лед,
И, как бурная вакханка,
Дева пляшет и поет.
Не блестит сестра другая,
Черен весь ее покров,
Взор — недвижимо-суров,
Перси — глыба ледяная,
Но в груди у ней — любовь!
Всем как будто незнакома,
Но лишь стукнет у дверей —
И богач затворный дома
Должен сказываться ей;
И чредой она приходит
К сыну горя и труда,
И бессонницу отводит
От страдальца навсегда.
Та — страстей могучим хмелем
Шаткий ум обворожит
И, сманив к неверным целям,
С злобным смехом убежит.
Эта — в грозный час недуга
Нас как верная подруга
Посетит, навеет сон,
Сникнет к ложу с состраданьем
И замкнет своим лобзаньем
Тяжкий мученика стон.
Та — напевами соблазна
Обольщает сжатый дух
И для чувственности праздной
Стелет неги жаркий пух.
Эта — тушит пыл телесный,

Прах с души как цепи рвет
И из мрака в свет небесный
Вдохновенную влечет.
Рухнет грустная темница, —
Прах во прах! Душа-орлица
Снова родину узрит
И без шума, без усилья,
Вскинув девственные крылья,
В мир эфирный воспарит!

⟨1836⟩

57. ГОРНЫЕ ВЫСИ

Одеты ризою туманов
И льдом заоблачной зимы,
В рядах, как войско великанов,
Стоят державные холмы.
Привет мой вам, столпы созданья,
Нерукотворная краса,
Земли могучие восстанья,
Побеги праха в небеса!
Здесь с грустной цепи тяготенья
Земная масса сорвалась
И, как в порыве вдохновенья,
С кипящей думой отторженья
В отчизну молний унеслась;
Рванулась выше... но открыла
Немую вечность впереди.
Чело от ужаса застыло,
А пламя спряталось в груди.
И вот, на тучах отдыхая,
Висит громада вековая,
Чужая долу и звездам.
Она с высот, где гром рокочет,
В мир дольный ринуться не хочет,
Не может прянуть к небесам.

О горы — первые ступени
К широкой, вольной стороне!
С челом открытым на колени
Пред вами пасть отрадно мне.

Как праха сын, клонюсь главою
Я к вашим каменным пятам
С какой-то робостью, — а там,
Как сын небес, пройду пятою
По вашим бурным головам!

(1836)

58. ВАТЕРЛОО

Видали ль вы, как из валов тумана
Светило дня, восторг очей,
Встает над бездной океана
В кровавой ризе без лучей?
Недолго на небе хранится
Раздумья утреннего вид:
Туманы упадут, восток озолотится
И огненный гигант высоко возлетит!

Так дивный муж судеб, недавно погруженный
Во мрак безвластия на острове немом,
Опять возник туманным божеством
Пред взорами Европы утомленной.
Прошли те дни, как взмах его руки,
Одно движение нахмуренною бровью
Могло стянуть и разметать полки,
Измять венцы и мир забрызгать кровью,
Когда так пышно и светло
Звезда судьбы его сияла
И слава жадно целовала
Его высокое чело.
Теперь, когда еще не тронуло забвенье
В умах нарезанной черты,
Что и гиганту с высоты
Возможно страшное паденье, —
Теперь тревожное сомненье
Украдкой шло по дну сердец;
Слабей блистал однажды сбитый
И свежим лавром не увитый
Из праха поднятый венец,
Которым вновь по воле рока
Был до таинственного срока
Увенчан царственный беглец.

Туман минувшего вздымался, —
И на виновника утрат
Дух недоверчивых Палат
Враждебным словом ополчался.
Но миг — и дивный свет рассек пучину мглы:
Орлиный взор вождя сверкнул перед полками,
И взор тот поняли орлы
И бурю двигнули крылами.
Светило брани вновь парит,
И мчатся вдаль громов раскаты:
Пускай витийствуют Палаты!
Их шум победа заглушит.
Пусть спорят о судьбе! Ее властитель — гений;
Вковалась в мысль его она,
И эта мысль заряжена
Огнем гремучих вдохновений,
И движет массами полков,
И, опоясанная славой,
Отражена в игре кровавой
Живыми иглами штыков.

Как море, армии разлиты;
Шумят шаги, звучат копыты;
Враги сошлись, и вспыхнул бой —
Предтеча битвы роковой.
День гаснул, бой горел и длился,
И вот затих, и над землей
В багряной ризе прокатился
По небу вечер золотой.
Уже томился воин каждый
Желаньем отдыха, а он —
Он весь сгорал ужасной жаждой;
Ему был чужд отрадный сон.
Как он желал по небу ночи
Провесть огонь, разлить пожар,
Обрызнуть молниями очи
И кончить верный свой удар!
Но вид героев, их усталость...
Впервые тронут и уныл,
Дотоль неведомую жалость
Он в бурном сердце ощутил
И пред толпою утомленной
Впервые просьбе умиленной
Себя дозволил превозмочь,

Взглянул на ратников с любовью
И отдал им на отдых — с кровью
Из сердца вырванную ночь.

И туч пелена небосклон оковала;
Взор в небо послал он: под тяжкою мглой
Последняя в небе звезда померкала, —
То было затменье звезды роковой!
И, долу бессонные очи склоняя,
С спокойствием диким на бледном челе,
Стоял он, с улыбкою взоры вперяя
На ратников, спящих на хладной земле.
Покойтесь, он думал, молчит непогода,
Мной сладкая ночь вам, о други, да́на!
Подслушала тайную думу природа,
И свистнула по полю вихрем она.

Бурный ветер тучи двинул,
Зашатался ночи мрак;
Тучи лопнули, и хлынул
Ливень крупный на бивак,
И ручьи студеной влаги
На почиющих текли,
И, дрожа, сыны отваги
Поднималися с земли,
И безропотной рукою
Отирали прах с очей,
И осматривали к бою
Грани ружей и мечей,
И в порывах нетерпенья
Ждали вызова к ружью,
Чтоб согреть в пылу сраженья
Грудь иззябшую свою.

Чуть день встрепенулся — герои стояли,
И пламя струилось по светлым очам,
И воздух веселые клики взрывали,
И сам, стопобедный, летал по строям.
Но взор к востоку: там денница
Горит не пышно, не светло;
Не всходит солнце Аустерлица
Над грозным полем Ватерло!

Чу! эхо вызвано ударом,
Взыграл неотвратимый бой,
Ряды осыпаны пальбой,
Окрестность вспыхнула пожаром;
И он, державный исполин,
Уже блеснул победными лучами;
Он массы войск с дымящихся вершин
Окидывал орлиными очами,
И грозно вдаль направленный им взор,
Казалося, могуществом волшебным
Усиливал полков его напор
И гибель силам нес враждебным;
И между тем как вновь в боренье огневом
Махало счастие сомнительным венком
И на державного бросало взгляд разлуки,
Он, на груди своей крестом
Укладывая царственные руки,
Еще взирал доверчиво кругом
На мощные ряды оград самодержавья —
На старых воинов, готовых под конец
Из самых челюстей бесславья
Исхитить, спасть его венец.

Бой длится, утрата наводит утрату,
Смятение рыщет в усталых рядах;
Багровое солнце склонилось к закату
И тонет в вечерних густых облаках.

Грозно глас вождя разлился,
Очи вспыхнули его,
И как лес зашевелился
Сонм отважных вкруг него;
И за ним, как за судьбою,
Жаром гибельным полна,
Быстро двинулася к бою
Страшной гвардии стена;
То сверкнет, то в дыме тонет...
Тяжкий гул идет вдали;
От пальбы дрожит и стонет,
Ходит морем грудь земли.
Сердце радостно взыграло:
Этот гул... друзья, вперед!
Это маршал запоздалый
Силы свежие ведет!

Рать туда живым каскадом,
Но шатнулася она,
Крупным встреченная градом
И свинца и чугуна, —
И последний строй героев,
Помня славу прошлых лет,
Лег на лаврах прежних боев,
На трофеях ста побед.

Где ж он, где виновник губительной брани?
Чрез трупы убитых, сквозь вопли и стон,
Сквозь сумрак, сквозь ядра и гром восклицаний
На бодром коне выбивается он.
С позорища рока, безмолвный, угрюмый,
Он ехал, зарытый в полночную мглу.
Судьба изменила: одни только думы
Державному верны остались челу.

И вот, утомленный, пред скипетром ночи
Поник он, как данник, на ложе челом,
И сном небывалым задернулись очи,
Глубоким, железным, спасительным сном.
Душа его долго со снами боролась,
И он отражал их, как волны утес;
Теперь покорился: неведомый голос
Святое «свершилось» над ним произнес.

Огнями небо разрывая,
Летела туча громовая;
Умолкла. . . Ветр ее несет —
И тихо в бездну океана
Печальной глыбою тумана
Огнегремучая падет.
Губящ, блистателен, огромен,
Прошел дозволенный ей пир,
И в миг паденья грозно-темен
Прощальный взгляд ее на мир.
Еще она не догремела,
Еще палящих сил зерно
В ее клубах заключено;
Но сила тщетная замлела,
И молний замкнутый колчан
Без грому спущен в океан.

Он пал, помазанник судьбины!
Там, между скал, в немой дали,
Угас во мраке, средь пучины,
На скудном лоскуте земли.
Не мог, неволею томимый,
Унять он бурных дум своих:
Не убаюкивали их
Ни ночи мир ненарушимый,
Ни томный шум волны, дробимой
О край утесов вековых;
Не мог смирить державной страсти
Он искусительных тревог,
На дребезгах разбитой власти
Он успокоиться не мог, —
И в миг, когда к могильной грани
Жизнь исполина перешла,
В последний миг земных страданий
Его душа с мечтой о брани
В обитель мира потекла.

Величья дольнего граница —
Над прахом гения воздвигнулась гробница,
И те пустынные места осенены
Наитием священной тишины,
И, кажется, ровней там ветер дышит,
И осторожно гнет покорную лозу,
И трепетным листком таинственней колышет,
Боясь пробудить почившую грозу;
И, кажется, кругом на царственном просторе
Самодовольней плещет море,
Как бы гордясь, что удержать могло
Гиганта пленника своим кристаллом синим
И грозного земным твердыням
В оковах влаги сберегло;
И облекает мрак угрюмый
Гробницу острова; лукаво шепчет лес,
И облака стекаются, как думы,
На сумрачном челе небес.

11 декабря 1836

59. ⟨Е. А. КАРЛГОФ⟩

Не обиженный судьбами,
Награжденный за мечты,
Повергаю перед вами
Вам знакомые цветы.
Вы их, сирых, обласкали,
Из безвестности немой
К свету путь им указали
Благосклонной похвалой.
И теперь, чтоб вышел краше
Скудный сбор стихов моих,
Светлый вид улыбки вашей
Отпечатайте на них.

1836

60. ОБНОВЛЕНИЕ

Растворяйся, рай мечтаний!
Из-за темных грусти туч
Вновь пробился яркий луч
Золотых очарований.
Муза, дай мне поцелуй!
Грудь разнежь и разволнуй!
И из крыльев Купидона
Подари певцу перо, —
Да огнем Анакреона
Блещет рифм моих сребро!

Да сверкнут в моем напеве
Блестки пламенной души!
Да спою в моей тиши
Песню сердца милой деве!
Да поймаю в море хвал
Чистый жемчуг и коралл
И создам венец чудесный,
И да будет им светло
Лучшей девы в поднебесной
Херувимское чело!

Миновался мрак разлуки,
Налетают те же дни,

В сердце те же вновь огни,
Та же сила, те же звуки,
Та же дева предо мной
С той же райской красотой
И с таинственною лаской,
С электричеством очей,
С восхитительною краской,
С чистым золотом речей!

Я затеплил вновь лампаду
Пред святынею любви
И молюсь, — мольбы мои
Льют мне на сердце прохладу,
Будто горний серафим
Машет крылышком над ним...
Рою бездну выражений;
Для любви она пуста, —
И молчанья гордый гений
Замыкает мне уста.

Повергаюсь онемелый
Пред богинею стихов, —
Да пошлет мне силу слов
На возвышенное дело!
Да промчится мой напев
И прославит деву дев!
Да о ней благовествую,
Возгремлю и воспою,
И главу ее святую
Морем звуков оболью!

1836

61. УЛЕТЕВШИМ МЕЧТАМ

Нервы жизни — где вы? где вы?
Где ваш светлый, легкий рой,
Обольстительницы девы,
Обожаемые мной?
Что за ветер вас развеял?
Как я нежил вас в тиши,
Как, прияв в чертог души,
Целомудренно лелеял!

Где ж вы, райские цветы,
Неба внутреннего звезды,
Пташки сердца, — о мечты! —
Где ж теперь вы свили гнезды?
Полетел бы я вам вслед,
Но — напрасные усилья!
Оковал желаний крылья
Строгий опыт тяжких бед.
В хладном сердце — лед и вьюга;
Вы же — в теплые края
Унеслись на лоно юга,
Перелетные друзья!..

1836

62. ПОЖАР

Ночь. Сомкнувшиеся тучи
Лунный лик заволокли,
Лег по ветру дым летучий,
Миг — и вспыхнуло вдали!
Встало пурпурное знамя,
Искор высыпала рать,
И пошел младенец пламя
Вольным юношей гулять.

Идет и растет он — красавец опасный!
Над хладной добычей он бурно восстал,
К ней жадною грудью прильнул сладострастно,
А кудри в воздушных кругах разметал;
Сверкают объятья, дымятся лобзанья...
Воитель природы, во мраке ночном,
На млеющих грудах роскошного зданья
Сияет победным любви торжеством.
Высоко он мечет живые изгибы,
Вздымается к тучам — в эфирный чертог,
Он обдал румянцем их темные глыбы,
Взгляните: он заревом небо зажег!

Царствуй, мощная стихия!
Раздирай покровы ночи!
Обнимай холодный мир!
Вейтесь, вихри огневые!

Упивайтесь ими, очи!
Длись, огня разгульный пир!

Ветер воет, пламя рвется,
С треском рухнула громада,
Заклубился дым густой.
Диким грудь восторгом бьется, —
Предо мной вся прелесть ада.
Демон! ад прекрасен твой!

Но буря стихает, и пламя слабеет,
Не заревом небо — зарею алеет,
То пламя потухло, а огненный шар
С востока выводит свой вечный пожар.

Что ж? На месте, где картина
Так торжественна была,
Труп лишь зданья-исполина,
Хладный пепел и зола,
Рдела пурпуром сраженья
Ночь на празднике огня;
След печальный разрушенья
Озарен лучами дня.
В ночь пленялся я красою,
Пламень, буйства твоего,
Днем я выкуплю слезою
Злость восторга моего!

Слеза прокатилась, обсохли ресницы,
И взор устремился к пожару денницы,
К пожару светила — алмаза миров;
Издавна следимый очами веков,
Являет он пламени дивные силы.
Земля на могилах воздвигла могилы,
А он, то открытый, то в облачной мгле,
Всё пышет, пылает и светит земле.
Невольно порою мечтателю мнится:
Он на небе блещет последней красой
И вдруг, истощенный, замрет, задымится
И сирую землю осыплет золой!

1836

63. ИСКРА

Дикий камень при дороге
Дремлет глыбою немой,
В небе гром, земля в тревоге, —
Он недвижен под грозой.
Дни ль златые улыбнутся —
Всюду жизнь заговорит,
Всюду звуки отольются, —
Глыба мертвая молчит.
Всё одето ризой света,
Всё согрето, а она —
Серым мхом полуодета —
И мрачна, и холодна.

Но у этой мертвой глыбы
Жизни чудное зерно
В сокровенные изгибы
До поры схоронено.
Вот — удар! Она проснулась,
Дикий звук произнесла,
И со звуком — встрепенулась
Брызга света и тепла.
Искра яркая вспрыгнула
Из темницы вековой,
Свежим воздухом дохнула,
Красной звездочкой блеснула,
Разгорелась красотой.
Миг еще — и дочь удара
В тонком воздухе умрет
Иль живым зерном пожара
Вдруг на ветку упадет, —
Разовьется искра в пламень,
И, дремавший в тишине,
Сам ее родивший, камень
Разрушается в огне.

Долго дух в оцепененье
Безотзывен и угрюм,
Долго в хладном онеменье
Дремлет сердце, дремлет ум;
Долго искра золотая
В бездне сумрачной души,

В божий мир не выступая,
Спит в бездейственной тиши;
Но удар нежданный грянет —
Искра прянет из оков,
И блистательно проглянет
Из душевных облаков,
И, по миру пролагая
Всепалящей силой путь
И пожары развивая,
Разрушает, огневая,
Огнетворческую грудь.

1836

64. ЗАРЯ

Утра, вечера ль порою,
Лишь сойдется свет со тьмою,
Тьма светлеет, меркнет свет —
И по небу полосою
Разольется алый цвет.
Это дня предосвещенье
Иль прощальная заря?
Это всход или паденье
Светоносного царя?
Вспыхнут ярче розы вешней
Щеки девы молодой, —
Это пыл зари другой:
Это — встреча мысли грешной
С детских мыслей чистотой!
Здесь — под мраком искушенья —
Свет невинности горит,
На ланитах их боренья
Отражен волшебный вид —
И я мыслю: друг-девица,
Этим пурпуром горя,
Ты — восточная ль денница
Иль закатная заря?

(1837)

65. ПЕРЛ

Что такое счастье наше?
Други милые, оно —
Бытия в железной чаше
Перл, опущенный на дно.
Кто лениво влагу тянет
И боится, что хмельна,
Слабый смертный, — не достанет
Он жемчужного зерна!
Кто ж, согрев в душе отвагу,
Вдруг из чаши дочиста
Гонит жизненную брагу
В распаленные уста —
Вот — счастливец! Дотянулся —
Смело чашу обземь хлоп!
Браво! Браво! Оглянулся, —
А за ним отверстый гроб!

⟨1837⟩

66. РАЗВАЛИНЫ

Обломки... прах... Всё сумрачно и дико!
В кусках столбы — изгнанники высот;
В расселины пробилась повилика
И, грустная, по мрамору ползет.
Там — чуть висят полунагие своды,
Здесь — дряхлая стоит еще стена,
Она в рубцах; ее иссекли годы
И вывели узором письмена.
Прочли ль вы их? — Здесь летопись природы
На зодчестве людей продолжена.

Здесь время быть художником желало,
И медленно, огнем и влагой бурь
Согнав долой и пурпур и лазурь,
Таинственные краски набросало,
И, наступив широкою пятой
На мрачные, безмолвные руины,
Любуется могильной красотой
Без кисти им написанной картины.
Тут башня опочила, преклонясь,
Встававшая на небо великаном,

Теперь своим полуистлевшим станом
На груды прежде павших оперлась
И старчески лежит, облокотясь.
Дщерь времени! Тебя изъело тленье,
Исчезло всё — и крепость, и краса;
Устала ты лететь на небеса
И, бренная, легла в изнеможенье.

Вот ночь. Луна глядит на лик земли,
В сребре ее чрезоблачного взгляда,
Сквозь пар ночной, на вышине, вдали,
Является нестройная громада —
Без очерков, как призрак без лица,
И грудами колонн разбитых звенья
Виднеются — под желтой пылью тленья
Разбросаны, как кости мертвеца,
Лишенные святого погребенья.
Немая тишь. . . Один неровный шум
Своих шагов полночный путник слышит,
И возмущен в нем рой неясных дум —
И всё окрест глубокой тайной дышит.

⟨1837⟩

67. МОРЕ

В вечернем утишье покоятся воды,
Подернуты легкой паров пеленой;
Лазурное море — зерцало природы —
Безрамной картиной лежит предо мной.
О море! ты дремлешь, ты сладко уснуло
И сны навеваешь на душу мою;
Свинцовая дума в тебе потонула,
Мечта лобызает поверхность твою.
Отрадна, мила мне твоя бесконечность;
В тебе мне открыта красавица вечность;
Брега твои гордым раскатом ушли
И скрылись от взора в дали безответной, —
У вечности также есть берег заветный,
Далекий, незримый для сына земли;
На дне твоем много сокровищ хранится,
Но нам недоступно, безвестно оно,
И в вечности также, быть может, таится
Под темной пучиной богатое дно,

Но не дано силы уму-исполину
Измерить до дна роковую пучину, —
Мысль кинется в бездну — она не робка,
Да груз ее легок и нить коротка!

Солнце в облаке играет,
Запад пурпуром облит,
Море солнца ожидает,
Море золотом горит;
И из облачного края
Солнце, будто покидая
Пелены и колыбель,
К морю сладостно склонилось
И младенцем погрузилось
В необъятную купель, —
И, с волшебной полутьмою
Ниспадая свысока,
В море пышной бахромою
Окунулись облака.

Безлунна ночь. Кругом она
Небрежно звезды разметала,
Иные в тучах затеряла,
И неги тишь ее полна.
И небеса и море дремлют,
И ночь, одеянную мглой,
Как деву смуглую, объемлют,
И обнялись между собой.
Прекрасны братские объятья!
Эфир и море! Вы ль не братья?
Не явны ль очерки родства
В вас, две таинственные бездны?
На море искры — проблеск звездный,
На небе тучи — острова;
И, кажется, в ночном уборе
Волшебно опрокинут мир, —
Там — горнее с землями море,
Здесь, долу, — звезды и эфир.

Чу! там вздохи переводит
Неги полный ветерок,
Солнце из моря выходит
На раскрашенный восток,

Будто бросило купальню
И, любовию горя,
Входит в пурпурную спальню,
Где раскинулась заря, —
И, срывая тени ночи,
Через радужный туман
Миру в дремлющие очи
Бьет лучей его фонтан.
Солнце с морем дружбу водит,
Солнце на ночь к морю сходит, —
Вышло, по небу летит,
С неба на море глядит
И за дружбу неба брату
От избытка своего
Дорогую сыплет плату,
Брызжет золотом в него;
Море злата не глотает,
Отшибает блеск луча,
Море гордо презирает
Дар ничтожный богача;
Светел лик хрустально-зыбкой,
Море тихо — и блестит,
Но под ясною улыбкой
Думу темную таит:

«Напрасно, о солнце, блестящею пылью
С высот осыпаешь мой вольный простор!
Одежда златая отрадна бессилью,
Гиганту не нужен роскошный убор.
Напрасно, царь света, с игрою жемчужной
Ты луч свой на персях моих раздробил, —
Тому ль нужны блестки и жемчуг наружный,
Кто дивные перлы в груди затаил?
Ты радуешь, греешь пределы земные,
Но что мне, что стрелы твои калены!
По мне проскользая, лучи огневые
Не греют державной моей глубины».

Продумало море глубокую думу,
Смирна его влага, — ни всплеска, ни шуму!
Но тишь его чем-то грозящим полна;
Заметно — гиганта томит тишина.
Сон тяжкий его оковал — и тревожит,
Смутил, взволновал — и сдавил его грудь;

Он мучится сном — и проснуться не может,
Он хочет взреветь — и не в силах дохнуть.
Взгляните: трепещет дневное светило,
Предвидя его пробуждения миг,
И нет ли где облака, смотрит уныло,
Где б спрятать подернутый бледностью лик. . .
Вихорь! Взрыв! — Гигант проснулся,
Встал из бездны мутный вал,
Развернулся, расплеснулся,
Закипел, заклокотал.
Как боец, он озирает
Взрытых вод степную ширь,
Рыщет, пенится, сверкает —
Реброглавый богатырь!

Кто ж идет на вал гремучий?
Это он — пучины царь,
Это он — корабль могучий,
Волноборец, храм плавучий,
Белопарусный алтарь!
Он летит, ширококрылый,
Режет моря крутизны,
В битве вервия, как жилы,
У него напряжены,
И, как конь, отваги полный,
Выбивает он свой путь,
Давит волны, топчет волны,
Гордо вверх заносит грудь,
И, с упорными стенами,
С неизменною кормой,
Он, как гений над толпой,
Торжествует над волнами.
Тщетно бьют со всех сторон
Влажных гор в него громады:
Нет могучему преграды!
Не волнам уступит он —
Нет, пусть прежде вихрь небесный,
Молний пламень перекрестный
Мачту, парус и канат
Изорвут, испепелят!
Лишь тогда безвластной тенью
Труп тяжелый корабля
Влаги бурному стремленью
Покорится, без руля. . .

Свершилось... Кончен бег свободный:
При вопле бешеных пучин
Летит на грань скалы подводной
Пустыни влажной бедуин.
Удар — и взят ревущей бездной,
Измят, разбит, полужелезный,
И волны с плеском на хребтах
Разносят тяжкие обломки,
И с новым плеском этот прах
От волн приемлют их потомки.
О чем шумит мятежный рой
Сих чад безумных океана?
Они ль пришельца-великана
Разбили в схватке роковой?
Нет, силы с небом он изведал,
Под божьим громом, сильный, пал,
По вихрю мысли разметал,
Слепым волнам свой остов предал,
А груз — пучинам завещал,
И море в бездне сокровенной
Тот груз навеки погребло
И дар богатый, многоценный
В свои кораллы заплело.

Рев бури затихнул, а шумные волны
Всё идут, стремленья безумного полны, —
Одни исчезают, другим уступив
Широкое место на вечном просторе.
Не тот же ль бесчисленных волн перелив
В тебе, человечества шумное море?
Не так же ль над зыбкой твоей шириной
Вослед за явленьем восходит явленье,
И время торопит волну за волной,
И волны мгновенны, а вечно волненье?

Здесь — шар светоносный над бездной возник,
И солнце свой образ на влаге узнало,
А ты, море жизни, ты — божье зерцало,
Где видит он, вечный, свой огненный лик!

О море, широкое, вольное море!
Ты шумно, как радость, глубоко, как горе,
Грозна твоя буря, светла твоя тишь,
Ты сладко волненьем душе говоришь.

Люблю твою тишь я, — в ней царствует нега,
На ясное, мирное лоно твое
Смотрю я спокойно с печального брега,
И бьется отраднее сердце мое;
Но я не хотел бы стекла голубого
В сей миг беспокойной ладьей возмутить
И след человека — скитальца земного —
На влаге небесной безумно чертить.

Когда ж над тобою накатятся тучи,
И ветер ударит по влаге крылом,
И вал твой разгульный, твой витязь могучий,
Серебряным гребнем заломит шелом,
И ты, в красоте величавой бушуя,
Встаешь, и стихий роковая вражда
Кипит предо мною, — о море! тогда,
Угрюмый, от берега прочь отхожу я.
Дичусь я раскаты валов твоих зреть
С недвижной границы земного покоя;
Мне стыдно на бурю морскую смотреть,
Лениво на твердом подножии стоя.
Тогда, если б взор мой упал на тебя,
Тобою бы дико душа взлюбовалась,
И, взбитому страстью, тебе б показалась
Обидной насмешкой улыбка моя,
И, занято с небом торжественным спором,
Сияя в венце громового огня,
Ты б мне простонало понятным укором,
Презрительно влагой плеснуло в меня!

Я внемлю разливу гармонии дивной. . .
Откуда? . . Не волны ль играют вдали?
О море, я слышу твой голос призывный,
И рвусь, и грызу я оковы земли.
О, как бы я жадно окинул очами
Лазурную зыбь и лазурную твердь!
Как жадно сроднился б с твоими волнами!
Как пламенно бился б с родными насмерть!
Я понял бы бури музыку святую,
Душой поглотил бы твой царственный гнев,
Забыл песни неги и песнь громовую
Настроил под твой гармонический рев!

⟨1837⟩

68. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Торжествующая Нина
Видит: голубя смирней,
Сын громов, орел-мужчина
Бьется в прахе перед ней.
Грудь железную смягчила
Нега пламенной мечты,
И невольно уступила
Мужа царственная сила
Власти женской красоты.

Не гордись победой, дева!
Далеки плоды посева.
Дней грядущих берегись!
Нина, Нина, не гордись
Этих взоров юной прытью,
Не гордись, что ты могла
Неги шелковою нитью
Спутать дикого орла!
Близки новые минуты,
Где сама должна ты снять
Эти розовые путы
И грозу распеленать!
Дерзкий хищник жажду взора,
Жажду чувства утолит
И грудей роскошных скоро
Жаркий пух растеребит;
Ты подашь ему, как Геба,
Этот нектар, а потом
Вдруг неистовым крылом
Твой орел запросит неба —
Чем сдержать его? где цепь?
Горе, если пред собою
Он узрит одну лишь степь
С пересохшею травою!
Он от сердца твоего
Прянет к тучам, к доле скрытной,
Если неба пищей сытной
Не прикормишь ты его!

⟨1837⟩

69. УСЛЫШАННАЯ МОЛИТВА

Под мглою тяжких облаков,
В час грозной бури завыванья
С любимой девой сочетанья,
Томясь, просил я у богов.
Вдруг — легким светом даль блеснула,
Мрак реже, реже стал — и вот
Сквозь тучи ярко проглянула
Эмаль божественных высот;
И вот — открылся свод эфирный.
Туч нет, — торжественно и мирно
Прошли вестительницы бурь,
И, полная дневного пыла,
Весь лик природы осенила
Одна чистейшая лазурь.

Мой друг! Услышаны моленья,
Вот он — предел соединенья, —
Один над мною и тобой
Навес раскинут голубой!
Взгляни, прекрасная, над нами,
Как опрокинутый фиал,
Он, в землю упершись краями,
Нам общий храм образовал.
Он прочен, радостен и мирен...

Но жаль, мой друг, моя краса,
Что общий храм наш так обширен,
Что так огромны небеса!
Быть может, здесь, под этим сводом,
Стеснен докучливым народом,
Я не найду к тебе следа, —
И в грустной жизненной тревоге
В одном лазуревом чертоге
Мы не сойдемся никогда!

⟨1837⟩

70. К НЕЙ ЖЕ
(ПЕРЕД РАЗЛУКОЮ)

Прекрасная! ты покидаешь нас,
Вновь улететь ты в край готова дальный,
И близок он — неотразимый час,
Когда приму я твой завет прощальный,
Когда еще в немой груди моей
Уснувшее мученье встрепенется
И у давно исплаканных очей
Еще слеза кипучая найдется!

Скажи, зачем от родины святой
Ты свой полет к чужбине устремила?
Или тебя природы красотой
Та пышная страна обворожила?
Цветущ тот край, там ясен неба свод,
Тяжел и густ на нивах колос чудный,
Цветы горят и, рдея, сочный плод
Колышется на ветке изумрудной,
Но жизнь людей и там омрачена —
В природе пир, а человек горюет,
И, кажется, пред страждущим она
Насмешливо, обидно торжествует!
О, не гонись за солнцем той страны!
Его лучи не возрождают счастья,
А здесь тебе средь вечного ненастья
Хоть отпрыски его сохранены.

Любовь? О нет, не страстное желанье
Тебя зовет к далеким берегам,
Не пыл души, не сердца трепетанье. . .
Что было здесь, не обновится там!
Здесь ты жила и негой и любовью,
Здесь вынесла сердечную грозу
И тайную полночную слезу
Девичьему вверяла изголовью;
Здесь было всё, что в непонятном сне
Грудь юную так сладостно тревожит,
Здесь было всё. . . Напоминать ли мне,
Чего забыть душа твоя не может?
Нет! не любовь твой ангельский полет
С родных брегов направила к чужбине, —
Суровый долг — так, он тебя зовет,

И ты летишь, покорная судьбине.
Тебя не взрыв причудливой мечты
Туда влечет, но воля провиденья,
Не прихотью блестят твои черты,
Но кроткостью священного терпенья.
Ты счастья там не мыслишь отыскать,
Надежды нет в твоем унылом взоре, —
Нет, ты спешишь, чтоб снова там обнять
Тебе в удел назначенное горе.

Лети! лети! — Страдая и любя
И на земле твоим блистая светом,
Я не дерзну, желанная, тебя
Удерживать предательским советом.
Свят жребия жестокий приговор, —
Пусть надо мной он громом раздается!
Прости! — Тебя лишается мой взор,
С моей душой твой образ остается,
И о тебе прекрасная мечта —
Она со мной, она не отнята,
И, надо мной горя лучом спасенья,
Она мне жизнь, мой ангел вдохновенья;
И в миг, когда заслышу горний клир
И грудь мою взорвет порыв могучий,
Она, гремя, изыдет в божий мир
В живом огне серебряных созвучий!

⟨*1837*⟩

71. ПРОСТИ!

Прости! — Как много в этом звуке
Глубоких тайн заключено!
Святое слово! — В миг разлуки
Граничит с вечностью оно.
Разлука... Где ее начало?
В немом пространстве без конца
Едва «да будет» прозвучало
Из уст божественных творца,
Мгновенно бездна закипела,
Мгновенно творческий глагол
Черту великого раздела
В хаосе дремлющем провел.

Сей глас расторгнул сочетанья,
Стихии рознял, ополчил,
И в самый первый миг созданья
С землею небо разлучил,
И мраку бездны довременной
Велел от света отойти, —
И всюду в первый день вселенной
Промчалось грустное «прости».
С тех пор доныне эти звуки
Идут, летят из века в век,
И, брошенный в юдоль разлуки,
Повит страданьем человек.

С тех пор как часто небо ночи
Стремит в таинственной дали
Свои мерцающие очи
На лоно сумрачной земли
И, к ней объятья простирая,
В свой светлый край ее манит!
Напрасно, — узница родная
В оковах тяжести скорбит.
Заря с востока кинет розы —
Росой увлажатся поля;
О, это слезы, скорби слезы, —
В слезах купается земля.
Давно в века уходят годы
И в вечность катятся века,
Всё так же льется слез природы
Неистощимая река!

Прости! Прости! — Сей звук унылый
Дано нам вторить каждый час
И, наконец — в дверях могилы, —
Его издать в последний раз;
И здесь, впервые полон света,
Исходит он, как новый луч,
Как над челом разбитых туч
Младая радуга завета,
И смерть спешит его умчать,
И этот звук с одра кончины,
Здесь излетев до половины,
Уходит в небо дозвучать, —

И, повторен эдемским клиром
И принят в небе с торжеством,
Святой глагол разлуки с миром —
Глагол свиданья с божеством!

⟨1837⟩

72. ЗАНЕВСКИЙ КРАЙ

Нева, красавица Нева!
Как прежде, ты передо мною
Блестишь свободной шириною,
Чиста, роскошна и резва;
Но тот же ль я, как в прежни годы,
Когда, в обновах бытия,
На эти зеркальные воды
Любил засматриваться я?

Тогда, предчувствий робких полный,
Следил я взорами твой бег,
И подо мной, дробясь о брег,
Уныло всхлипывали волны,
И я под их волшебный шум,
Их вздохи и неясный ропот
Настроил лепет первых дум
И первых чувств любовный шёпот.

Потом, тоскуя и любя,
Потом, и мысля, и страдая,
О, сколько раз, река родная,
Смотрел я вдаль через тебя, —
Туда, на темный край столицы,
Туда, где чудная она
Под дланью творческой десницы
Державной мыслью рождена.

Зачем туда летели взгляды?
Зачем туда, чрез вольный ток,
Убогий нес меня челнок
В час тихой, девственной прохлады,
Или тогда, как невский вал
С возможной силой в брег плескал,

Иль в те часы заповедные,
Как меж гранитных берегов
Спирались иглы ледяные
И зимний саван был готов?

Зачем? .. Друзья мои, не скрою:
Тот край — любви моей страна.
Там — за оградой крепостною —
Пустынно стелется она.
Там не встречают ваши взоры
Красой увенчанных громад,
Нагнувшись, хилые заборы
В безлюдных улицах стоят;
В глуши разметаны без связи
Жилища смертных как-нибудь,
И суждено им в море грязи
Весной и осенью тонуть.

Но, избалованные други!
Ужели не случалось вам,
Деля обильные досуги
По всем Петрополя концам,
В тот мирный край, хотя случайно,
Стопой блуждающей забресть?
Туда, друзья, скажу вам тайну:
Там можно сердце перевесть!
Идиллий сладкие напевы
Там клонят юношу к мечте,
И в благодатной простоте
Еще пастушествуют девы.

. . . .
. . . .

О, сколько раз, страна глухая,
По темным улицам твоим
Бродил я, трепетно вздыхая,
Сердечной жаждою томим;
Потупя взор, мрачней кладбища,
Тая души глубокий плен,
Бродил я вдоль заветных стен
Алины мирного жилища
И видел в окнах бледный свет,
И всё гадал: зайти иль нет?

Что ж? чем решал недоуменье? —
Зайду. К чему в святом стремленье
Себя напрасно побеждать?
Не грех ли сладкое мгновенье
У сердца нищего отнять?
И я был там... Как цвет эдема,
Моим доступная мечтам,
Она — души моей поэма —
Меня приветствовала там,
Меня в свой рай переносила,
Меня блаженствовать учила, —
Страдать — я выучился сам.

Теперь волшебница далеко,
Но и досель отрадно мне
Бродить безлюдно, одиноко
По той пустынной стороне.
Мне там приветней блещет в очи
И полдня пламенный убор,
И милый свет созвездий ночи —
Небес недремлющий дозор.
Земного счастья отчужденца,
Всё там живит меня досель
И тешит сердце, как младенца,
И зыблет грудь, как колыбель!

⟨1837⟩

73. БЕЗДНА

Взгляни, как высится прекрасно
Младой прельстительницы грудь!
Ее ты можешь в неге страстной
Кольцом объятий обогнуть,
Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти и в сердце заглянуть.
О, там — пучина, в чудном споре
С волной там борется волна,
И необъятно это море,
Неизмерима глубина.

Там блещут искры золотые,
Но мрак и гибель в глубине;
Там скрыты перлы дорогие
И спят чудовища на дне.
Те искры — неба отраженье,
Алмазных звезд изображенье
На хрустале спокойных вод:
Возникнет страсти дуновенье —
Взмутится тишь, пойдет волненье
И милый блеск их пропадет.
Те перлы — в сумраке витают,
Никем не зримы; лишь порой,
Из мрака вызваны грозой,
Они в мир светлый выступают,
Блестят в очах и упадают
Любви чистейшею слезой;
Но сам не пробуй, дерзновенный,
Ты море темное рассечь
И этот жемчуг многоценный
Из бездны сумрачной извлечь!
Нет, трепещи своей судьбины!
Страшись порывом буйных сил
Тревожить таинство пучины,
Где тихо дремлет крокодил!

Когда ж, согрев мечту родную
И мысля сладко отдохнуть,
Ты склонишь голову младую
На эту царственную грудь
И, слыша волн ее движенье,
Закроешь очи жарким сном,
То знай, что это — усыпленье
На зыбком береге морском.
Страшись — прилив, быть может, хлынет,
Тогда тебя, мой сонный челн,
Умчит порыв нежданных волн,
И захлестнет, и опрокинет!

⟨1837⟩

74—77. *ОТРЫВКИ*
(ИЗ КНИГИ ЛЮБВИ)

1

Опять мятежная проснулась
Давно ль затихнувшая страсть,
И вновь пред бурною шатнулась
Рассудка царственная власть.
В груди, как прежде, сердцу тесно,
Гроза любви бушует в нем;
Оно горит мечтой небесной,
Пылает выспренним огнем.
Но обаятельной надежде,
Уразумленное, оно
Уже не верует, как прежде,
Ему предведенье дано;
Оно грядущее предвидит,
Оно, скорбя, предузнает,
Что вновь судьба его обидит
И чашей неги обойдет.
В любви не встреченный любовью,
Еще не раз паду я вновь
С душевным воплем к изголовью, —
Страдальца слезы брызнут кровью,
И в сердце ядом хлынет кровь!

2

С могучей страстию в мучительной борьбе
Печалью тайною душа моя томима.
Зачем меня, друзья, зовете вы к себе?
　　К чему в свой круг зовете нелюдима?
　　Мне будет чужд ваш светлый разговор,
Утех не разделю я младости игривой;
Я буду между вас сидеть потупя взор,
　　　　Недвижный, мрачный, молчаливой.
Хотите ль вы, чтоб я в день пирный представлял
　　　　Собою скучный день похмелья
　　　　И краски вашего веселья
　　　　Своим уныньем оттенял?
Хотите ли вы ту, кого назвать не смею,
С улыбкой шалости при мне именовать

И легкой шуткою своею
Мне сердце сжатое терзать?
Ваш резвый смех, о ветреные други,
Усилит, растравит души моей недуги, —
И тщетно, бурные, вы подадите мне
Фиал с игрою звезд в мятежной глубине, —
На ласку дружескую вашу
Тогда, обиженный, я с злостию взгляну
И сладким нектаром наполненную чашу
От уст иссохших оттолкну!
Я не найду в ней упоенья,
Я жажды пламенной вином не утолю,
Я чувства вечного в себе не оскорблю
Призывом суетным минутного забвенья!
Пируйте же, друзья! Мне дорог ваш помин,
Но чуждо мне бывалое веселье.
Уйдите от меня! Пускай в пустынной келье
Останусь я — один!
Один!.. Один!.. Мне милый образ блещет,
И струны тайные в груди моей дрожат,
Перо услужливо трепещет,
И строки звучные горят!

3

Когда настанет страшный миг,
Когда нарушу я молчанье,
И дерзкий двигнется язык
Тебе излить любви признанье,
И, задержав потоки слез
В груди, изнывшей без привета,
Я буду требовать ответа
На мой торжественный вопрос, —
Прошу тебя: без замедленья
Мои надежды разрушай
И грудь мою без сожаленья
Прямым ударом отверженья
С возможной силой поражай!
Пусть на главу падет мне громом
Твой приговор! Несчастья весть
Я в сердце, с бурями знакомом,
Найду способность перенесть;
Страданье жизнь мою искупит,
Над прахом сердца голова,

Быть может, снова гордо вступит
В свои суровые права.
Но если... если, друг желанный,
Ты мне готовишь в тайный дар
Из роз венок благоуханный,
А не губительный удар,
Тогда — молю твоей пощады! —
Не вдруг, не разом ты пролей
Лучи божественной награды
В глубокий мрак души моей, —
Да, взросший в сумраке ненастья,
Себя к далекой мысли счастья
Я постепенно приучу, —
С судьбой враждебной вечно споря,
Я умереть не мог от горя,
А от блаженства не хочу!

4

Пиши, поэт! Слагай для милой девы
Симфонии любовные свои!
Переливай в гремучие напевы
Палящий жар страдальческой любви!
Чтоб выразить таинственные муки,
Чтоб сердца огнь в словах твоих изник,
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык!

И он поет. Любовью к милой дышит
Откованный в горниле сердца стих,
Певец поет, — она его не слышит,
Он слезы льет, — она не видит их.
Когда ж молва, все тайны расторгая,
Песнь жаркую по свету разнесет
И, может быть, красавица другая
Прочувствует ее, не понимая,
Она ее бесчувственно поймет;
Она пройдет, измерит без раздумья
Всю глубину поэта тяжких дум;
Ее живой, быстролетучий ум
Поймет язык сердечного безумья,
И, гордая могуществом своим
Пред данником и робким, и немым,
На бурный стих она ему укажет,

Где страсть его так бешено горит,
С улыбкою: как это мило! — скажет,
И, легкая, к забавам улетит.
А ты ступай, мечтатель умиленный,
Вновь расточать бесплатные мечты!
Иди опять красавице надменной
Ковать венец, работник вдохновенный,
Ремесленник во славу красоты!

⟨*1837*⟩

78. А. Б⟨АУМГАРТЕ⟩НУ

Мне были дороги мгновенья,
Когда, вдали людей, в таинственной тиши,
Ты доверял мне впечатленья
Своей взволнованной души.
Плененный девы красотою,
Ты так восторженно мне говорил о ней!
Ты, очарованный, со мною
Делился жизнию твоих кипучих дней.
Отживший сердцем, охладелый,
Я понимал любви твоей язык;
Мне в глубину души осиротелой
Он чем-то родственным проник,
И, мира гражданин опальный,
Тебе я с жадностью внимал,
Я забывал свой хлад печальный
И твой восторг благословлял!
Благое небо мне судило
Увидеть вместе наконец
Тебя и дней твоих светило,
Тебя и деву — твой венец!
Ты весь блистал перед собраньем
В каком-то очерке святом
Не всеми видимым сияньем,
Не всем понятным торжеством.

Твой вид тогда почиющую силу
В моей груди пустынной пробуждал
И всю прошедшего могилу
С его блаженством раскрывал.
Я мыслил: не придут минувшие волненья,
Кумир мой пал, разрушен храм;

Я не молюсь мне чуждым божествам,
Но в сердце есть еще следы благоговенья;
И я мой тяжкий рок в душе благословил,
Что он меня ценить святыню научил,
И втайне канули благодаренья слезы,
Что я еще ношу по милости творца
Хотя поблекнувшие розы
В священных терниях венца!

Не требуй от меня оценки хладнокровной
Достоинства владычицы твоей!
Где чувство говорит и сердца суд верховный,
Там жалок глас ума взыскательных судей,
Не спрашивай, заметен ли во взоре
Ее души твоей душе ответ
Иль нежный взор ее и сладость в разговоре
Лишь навык светскости и общий всем привет?
Мне ль разгадать? — Но верь: не тщетно предан
Ты чувству бурному; с прекрасною мечтой
Тебе от неба заповедан
Удел высокий и святой.
Награду сладкую сулит нам жар взаимный,
Но сердца песнь — любовь; не подданный судьбе,
Когда ж за сладостные гимны
Певец награды ждет себе?
Она перед тобой, как небо вдохновенья!
Молись и не скрывай божественной слезы,
Слезы восторга, умиленья;
Но помни: в небе есть алмазы освещенья
И семена крушительной грозы, —
Жди светлых дней торжественной красы,
Но не страшись и молний отверженья!
Прекрасен вид, когда мечтателя слезой
Роскошно отражен луч солнца в полдень ясный,
Но и под бурею прекрасно
Его чело, обвитое грозой!

⟨1837⟩

79. РАДОСТЬ И ГОРЕ

О радость! небесной ты гостьей слетела
И мне взволновала уснувшую грудь.
Где ж люди? Придите, — я жажду раздела,

Я жажду к вам полной душою прильнуть,
Ты соком из гроздий любви набежала —
О братья! вот нектар, — идите на пир!
Мне много, хоть капля в мой кубок упала,
Мне хочется каплей забрызгать весь мир!
Приди ко мне, старец — наперсник могилы!
Минувшего зеркалом став пред тобой,
Я новою жизнью зажгу твои силы,
И ты затрепещешь отрадной мечтой!
Дай руку, друг юный! Пусть милая радость
Проглянет в пылающих братством очах
И крепко сомкнется со младостью младость
За чашей, в напевах и бурных речах!
Красавица дева, мой змей черноокой,
Приди, — тебе в очи я радость мою,
В уста твои, в перси, глубоко, глубоко
Мятежным лобзаньем моим перелью!

Но ежели горе мне в душу запало —
Прочь, люди! оно нераздельно мое.
Вам брызги не дам я тогда из фиала,
В котором заветное бродит питье!
Как клад, я зарою тяжелое горе
Печального сердца в святых тайниках
И миру не выдам ни в сумрачном взоре,
Ни в трепетных вздохах, ни в жалких слезах!

Нейдите с участьем, — вам сердце откажет,
Глубокого чувства оно не прольет;
В нем целое море страдания ляжет
И скорби волна берегов не найдет!
Пред искренним другом умедлю признаньем, —
Мне страшно — он станет меня утешать!
И тайн моих дева не вырвет лобзаньем,
Чтоб после с улыбкой о них лепетать.
Так, чуждые миру, до дня рокового
Я стану беречь мои скорби — а там
Пошлю все залоги терпенья святого
На сладостный выкуп к эдемским вратам!

⟨*1837*⟩

80. В. П. К...му

Бодро выставь грудь младую,
Мощь и крепость юных плеч!
Облекись в броню стальную!
Прицепи булатный меч!
Сердцем, преданным надежде,
В даль грядущего взгляни
И о том, что было прежде,
Мне собой напомяни!

Да вскипит фиал заздравный —
И привет стране родной,
Нашей Руси православной,
Бранноносице стальной!
Широка она, родная,
Ростом — миру по плечо,
Вся одежда ледяная,
Только сердце горячо;
Чуть зазнала пир кровавый —
И рассыпались враги,
Высоко шумит Двуглавый,
Землю топчут русской славы
Семимильные шаги!

Новый ратник, стань под знамя!
Верность — в душу, сталь — во длань!
Юной жизни жар и пламя
Сладко несть отчизне в дань.
Ей да служит в охраненье
Этот меч — головосек!
Ей сердец кипучих рвенье
И небес благословенье
Ныне, присно и вовек!

⟨1837⟩

81. МОСКВА

(Дума)

День гас, ка́к в волны погружались
В туман окрестные поля,
Лишь храмы гордо возвышались
Из стен зубчатого Кремля.

Одета ризой вековою,
Воспоминания полна,
Явилась там передо мною
Страны родимой старина.
Когда над Русью тяготело
Иноплеменное ярмо
И рабство резко впечатлело
Свое постыдное клеймо,
Когда в ней распри возникали,
Князья, забыв и род и сан,
Престолы данью покупали,
В Москве явился Иоанн.
Потомок мудрый Ярослава
Крамол порывы обуздал,
И под единою державой
Колосс распадшийся восстал.
Соединенная Россия,
Изведав бедствия оков
Неотразимого Батыя,
Восстала грозно на врагов.
Почуя близкое паденье,
К востоку хлынули орды,
И их кровавые следы
Нещадно смыло истребленье.
Потом и Грозный, страшный в брани,
Надменный Новгород смирил
И за твердынями Казани
Татар враждебных покорил.
Но, жребий царства устроя,
Владыка грозный перешел
От мира в вечность, оставляя
Младенцу-сыну свой престол;
А с ним, в чаду злоумышлений
Бояр, умолк закона глас —
И, жертва тайных ухищрений,
Младенец царственный угас.
Тогда, под маскою смиренья
Прикрыв обдуманный свой ков,
Взошел стезею преступленья
На трон московский Годунов.
Но власть, добытая коварством,
Шатка, непрочен чуждый трон,
Когда, поставленный над царством,
Попран наследия закон;

Борис под сению державной
Недолго бурю отклонял:
Венец, похищенный бесславно,
С главы развенчанной упал...
Тень убиенного явилась
В нетленном саване молвы —
И кровь ручьями заструилась
По стогнам страждущей Москвы,
И снова ужас безначалий
Витал над русскою землей, —
И снова царству угрожали
Крамолы бранною бедой.
Как божий гнев, без укоризны
Народ все бедствия сносил
И о спасении отчизны
Творца безропотно молил,
И не напрасно, — провиденье,
Источник вечного добра,
Из праха падших возрожденье
Явило в образе Петра.
Посланник боговдохновенный,
Всевышней благости завет,
Могучей волей облеченный,
Великий рек: да будет свет
В стране моей, — и Русь прозрела;
В ряду его великих дел
Звезда счастливая блестела —
И мрак невежества редел.
По мановенью исполина,
Кругом — на суше и морях —
Обстала стройная дружина,
Неотразимая в боях,
И, оперенные громами,
Орлы полночные взвились, —
И звуки грома меж строями
В подлунной славой раздались.
Так царство русское восстало!
Так провиденье, средь борьбы
Со мглою света, совершало
Законы тайные судьбы!
Так, славу Руси охраняя,
Творец миров, зиждитель сил
Бразды державные вручил
Деснице мощной Николая!

Престольный град! так я читал
Твои заветные преданья
И незабвенные деянья
Благоговейно созерцал!

Январь 1837

82. ЕВГЕНИИ ПЕТРОВНЕ МАЙКОВОЙ

Когда из школы испытаний
Печальный вынесен урок
И цвет пленительных мечтаний
В груди остынувшей поблек,
Тогда с надеждою тревожной
Проститься разум нам велит
И от обманов жизни ложной
Нас недоверчивость хранит.
Она добыта в битве чудной
С мятежным полчищем страстей;
Она залог победы трудной,
Страданьем купленный трофей.
Мы дышим воздухом сомненья;
Мы поклялись души движенья
Очам людей не открывать;
Чтоб черной бездны вновь не мерить,
Не всё друзьям передавать,
Себе не твердо доверять
И твердо — женщинам не верить.

Что ж? Непонятные, оне
Сперва в нас веру усыпляют,
Потом ее же в глубине
Души холодной возбуждают.
Своим достоинством опять
Они колеблют наши мненья,
Где роз не нужно им срывать,
Срывают лавры уваженья;
И снова им дано смутить
В нас крепкий сон души и сердца
И закоснелого безверца
В его безверье пристыдить!

20 февраля 1837

83. 31 ДЕКАБРЯ 1837

Звучат часов медлительных удары,
И новый год уже полувозник.
Он близится — а ты уходишь, старый!
Ступай, иди, мучительный старик.

На пир зовут — я не пойду на пир.
Шуми, толпа, в рассеянье тревожном,
Ничтожествуй, волнообразный мир,
И, суетный, кружись при блеске ложном
Мильонов свеч и лучезарных ламп,
Когда, следя мгновений быстротечность,
Мой верный стих, мой пятистопный ямб
Минувший год проталкивает в вечность.

Скорей, скорей! — Настал последний час —
И к выходу ему открыты двери.
Иди, злой год! Ты много взял у нас,
Ты нас обрек на тяжкие потери...
Умолк, угас наш выспренний певец,
И музами и славою избранный.
Его уж нет — торжественный венец
Упал на гроб с главы его венчанной.
Угас и он, кто сыпал нам цветы
Блестящего, роскошного рассказа
И Терека и бранного Кавказа
Передавал заветные черты.
Еще певца маститого не стало,
Еще почил возлюбленный поэт,
Чье пенье нам с первоначальных лет
Игривое и сладкое звучало...
Умолк металл осиротелых лир.
. . . .

Суровый год! Твой кончен ход унылый,
Последний твой уже исходит час,
Скажи, ужель поэта в мир могилы
Могучего переселив от нас,
Земле взамен ты не дал поселенца,
Руками муз повитого? Ужель
Ни одного ты чудного младенца
Не положил в земную колыбель?

Да взыйдет он! Таинственных велений
Могуществом, быть может, уж влеком,
В сей миг с грудным родимой молоком
Он пьет струи грядущих вдохновений,
И некогда зиждительным огнем
Наш сонный мир он потрясет и двигнет,
И песнь его у гроба нас настигнет,
И весело в могилу мы сойдем...

31 декабря 1837

84. ХОЛОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Алина — нет! Не тем мой полон взор!
Я не горю безумною любовью!
И что любовь? — Коварный заговор
Слепой мечты с огнемятежной кровью!
Я пережил дней юношеских жар,
Я выплатил мучительные дани.
Ты видела души моей разгар
Перед тобой, звезда моих желаний;
Ты видела... Теперь иной судьбе
Я кланяюсь, иною жизнью молод,
И пред тобой я чувствую в себе
Один святой, благоговейный холод;
Снег на сердце; но то не снег долин
Растоптанный, под саваном тумана —
Нет, это снег заоблачных вершин,
Льдяной венец потухшего вулкана, —
И весь тебе, как солнцу, он открыт,
Земля в тени, а он тебя встречает
И весь огнем лучей твоих блестит,
Но от огня лучей твоих не тает.

1837

85. ПЕВЕЦ

Бездомный скиталец — пустынный певец —
　　Один, с непогодою в споре,
Он реет над бездной, певучий пловец,
　　Безъякорный в жизненном море;
Всё вдаль его манит неведомый свет:
Он к берегу рвется, а берега нет.

Он странен, исполнен несбыточных дум,
Бывает он весел — ошибкой;
Он к людям на праздник приходит — угрюм,
К гробам их подходит — с улыбкой,
Всеобщий кумир их ему не кумир —
Недаром безумцем зовет его мир!

Он ищет печалей — и всюду найдет.
Он вызовет, вымыслит муки,
Взлелеет их в сердце, а там перельет
В волшебные, стройные звуки,
И сам же, обманутый ложью своей,
Безумно ей верит и плачет над ней.

Мир черный бранит он и громы со струн
Срывает карающей дланью, —
Мир ловит безвредно сей пышный перун,
Доволен прекрасною бранью;
Ему для забавы кидает певец
Потешное пламя на мрамор сердец!

Пред девой застенчив; он милой своей
Не смеет смутить разговором;
Он, робкий, трепещет приблизиться к ней,
Коснуться к ней пламенным взором;
Святое молчанье смыкает уста,
Кипучая тайна в груди заперта, —

И если признаньем язык задрожит —
Певец не находит напева,
Из уст его буря тогда излетит,
И вздрогнет небесная дева,
И трепетный ангел сквозь пламя и гром
Умчится, взмахнув опаленным крылом.

Захочет ли дружбе тогда протянуть
Страдалец безбрачную руку —
На чью упадет он отверстую грудь?
Родной всему свету по звуку,
Он тонет в печальном избытке связей,
И нет ему друга, хоть много друзей.

Врагов он находит, — но это рабы,
Завистников рой беспокойных;

Для жарких объятий кровавой борьбы
Врагов ему нету достойных;
Один, разрушитель всех собственных благ,
Он сам себе в мире достойнейший враг!

1837

86. ЖАЖДА ЛЮБВИ

Где вы, вспышки вдохновений?
Где вы, страстные мечты?
Где ты, праздник песнопений
В честь верховной красоты?
Всё исчезло: нет царицы,
Для кого б в ночной тиши
Стройный глас моей цевницы
Разливался от души.
Тщетно жадный взор мой бродит
Между прелестей, — на зов
К сердцу снова не приходит
Своенравная любовь,
А когда-то, в неге праздной
Забывая целый мир,
Я покорно, безотказно
К ней летел на званый пир!
Пил — пил много, пил — не споря, —
Подавала ль мне она
Чашу гибели и горя,
Шире неба, глубже моря, —
Выпивал я всё до дна!

Незабвенные мученья!
Вас давно ль я выносил,
И у неба охлажденья
Будто милости просил,
И в томленьях слал проклятья
На тяжелый свой удел,
И от сердца оторвать я
Цепи жгучие хотел?
Что ж? Я снова той же доли
У судьбы прошу моей,
Я опять хочу неволи,
Я опять ищу цепей;

И, быть может, их найду я,
Ими сердце обверну,
Их к душе моей прижму я —
И опять их прокляну!

1837

87. Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Я не люблю тебя. Любить уже не может,
Кто выкупал в холодном море дум
Свой сумрачный, тяжелый ум,
Кого везде, во всем сомнение тревожит,
Кто в школе опыта давно уж перешел
Сердечной музыки мучительную гамму
И в жизни злую эпиграмму
На всё прекрасное прочел.
Пусть юноша мечтам заветным предается!
Я продал их, я прожил их давно;
Мой ум давно уж там смеется,
Где сердцу плакать суждено.

Что б ни сбылось с душой моею,
Какой бы ни горел огонь в моей крови,
Я не люблю тебя, я именем любви
Стремленья тайного знаменовать не смею,
Но ты мила моим очам,
Очам души моей мила, как день блаженный,
И взора твоего к божественным лучам
Прикован взор мой упоенный.
Язык мой скован — и молчит;
Его мой скрытный жар в посредники не просит,
А сердце внятно говорит,
Чего язык не произносит.

Когда-то жизни на заре
С душой, отверстою к приятию святыни,
Я разводил свой огнь на алтаре
Минувших дней моих богини.
Тогда в мечтах заповедных
Повсюду предо мной сияла бесконечность
И в думах девственных своих
Я сочетал любовь и вечность;
Но вскоре дал суровый рок
Мне охладительный урок —

Он мне открыл, что и любовь хранится
Не доле милого цветка,
Что вечность целая порой в неё ложится,
Но эта вечность — коротка.
Теперь, сим знаньем просвещенный,
Я верить рад, что грудь моя
Объята вспышкою мгновенной,
Последним взрывом бытия.
На хладный свой язык мне разум переводит,
Что втайне чувство сознает,
Оно растет, оно восходит,
А он твердит: «Оно пройдет!»
Но что ж? На грудь, волнуемую тщетно,
Он хочет наложить свинцовую печать:
Душе ль насильственно изгнать,
Что в душу рвется так приветно?

Я не люблю тебя — но как бы я желал
Всегда с тобою быть, с тобою жизнью слиться,
С тобою пить ее фиал,
С тобой от мира отделиться!
И между тем как рыцарь наших дней
Лепечет с легкостью и резвостью воздушной
Бездушное «люблю» красавице бездушной,
Как сладко б было мне, склонясь к главе твоей,
И руку сжав твою рукою воспаленной,
И взор твой обратив отрадный на себя,
Тебе шептать: «Мой друг бесценный!
Мой милый друг! я не люблю тебя!»

1837

88. РЕКИ

Игриво поверхность земли рассекая,
Волнуясь и пенясь, кипя и сверкая,
Хрустальные реки текут в океан,
Бегут, ниспадают по склону земному
В бездонную пасть к великану седому,
И их поглощает седой великан.

О, как разновиден их бег своенравной!
Та мчится угрюмо под тенью дубравной,

А эта — широкой жемчужной стеной
Отважно упала с гранитной вершины
И стелется легкой, веселой волной,
Как светлая лента, по персям долины.
Здесь дикий поток, весь — лишь пена и прах,
Дрожит и вздувает хребет серебристый,
Упорствует в схватке с оградой кремнистой
И мучится, сжатый в крутых берегах.
Там — речка без битвы напрасной и трудной
Преграды обходит покорной дугой,
И чистого поля ковер изумрудный,
Резвясь, огибает алмазной каймой,
И дальше — спокойно струею безмолвной
Втекла в многоводный, могучий поток.
Взыграл многоводный, в строптивые волны
Взял милые капли и в море повлек.

Так катятся реки, и в дольнем теченье
Не общий удел им природою дан,
Но *там* их смыкает одно назначенье,
Но *там* их приемлет один океан!

⟨1838⟩

89. ДВЕ ПРЕЛЕСТНИЦЫ

Взгляните, как вьется, резва и пышна,
Прелестница шумного света.
Как носится пламенным вихрем она
По бальным раскатам паркета.
Владычицу мира и мира кумир —
Опасной кокеткой зовет ее мир.

В ней слито блистанье нескромного дня
С заманчивой негою ночи,
Для жадных очей не жалеют огня
Ее огнестрельные очи;
Речь, полная воли, алмазный наряд,
Открытые перси, кудрей аромат.

«Кокетка! кокетка!» — и юноша прочь
Летит, поражен метеором;
Не в силах он взора ее превозмочь
Своим полудевственным взором.

Мной, други, пучины огня пройдены:
Я прочь не бегу от блестящей жены.

А вот — дева неги: на яхонт очей
Опущены томно ресницы,
Речь льется молитвой, и голос нежней
Пленительных тонов цевницы.
В ней всё умиленье, мечта, тишина;
Туманна, эфирна, небесна она.

Толпою, толпою мечтатели к ней, —
К задумчивой, бледной, прелестной;
Но я отойду от лазурных очей,
Отпряну от девы небесной.
Однажды мне дан был полезный урок;
Мне в душу залег он, тяжел и глубок.

Я знаю, обманчив божественный вид;
Страшитесь подлунной богини!
Лик святостью дышит, а демон укрыт
Под легким покровом святыни,
И блещет улыбка на хитрых устах,
Как надпись блаженства на адских дверях!

⟨*1838*⟩

90. МЕЧТАНИЕ

Мечта роковая о деве мучительной
Кипит и в полночной тиши;
Мне льется сиянье звезды вдохновительной, —
Ты блещешь мне, солнце души!
К тебе, моей жизни светило прекрасное,
Я страждущим сердцем лечу,
И как мне ни тяжко мечтание страстное,
Расстаться я с ним не хочу.

Чу! слышу: сон входит ко мне невидимкою
И веет воскрыльем одежд;
Уже он коснулся волшебною дымкою
Моих тяготеющих вежд.
«Склонись, — он мне шепчет, — покой усладительный
На ложе прими от меня.
Для дум, для забот, для мечты сокрушительной
Довольно мятежного дня».

Нет, пусть целый свет с его чадами сонными
Вкушает сей полночи мир!
Отдельно живет под своими законами
Влюбленных таинственный мир.
Свое у них солнце, оно не скрывается,
Как жалкое солнце других;
Всегда его свет в их очах разливается,
А жар его в сердце у них.

Оставь меня, сон. Ты коварен, желанного
Не дашь ты видения мне!
И образа милой, красою венчанного,
Не встречу в томительном сне!
Уйди от меня, ты не дашь упоения,
Не дашь мне божественных слез,
И может быть, злые несешь сновидения
Иль тучи бессмысленных грез.

Но если... в виденьях предстанет мне дивная...
О сон, поспеши превозмочь!
Пусть будет вся жизнь моя — ночь непрерывная,
Одна беспробудная ночь!
Будь долог ты, сон мой! Любви и беспечности
Блаженством мне грудь спеленай,
И с призраком милым в объятия вечности
Украдкой меня передай!

⟨1838⟩

91. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

В златые дни весенних лет,
В ладу с судьбою, полной ласки,
Любил я радужные краски;
Теперь люблю я черный цвет.

Люблю я черный шелк кудрей
И черны очи светлой девы,
Воззвавшей грустные напевы
И поздний жар души моей.

Мне музы сладостный привет
Волнует грудь во мраке ночи,
И чудный свет мне блещет в очи,
И мил мне ночи черный цвет.

Темна мне скудной жизни даль,
Печаль в удел мне боги дали,
Не радость — черен цвет печали,
А я люблю мою печаль.

Иду туда, где скорби нет,
И скорбь несу душою сильной,
И милы мне приют могильный
И цвет могильный, черный цвет.

⟨1838⟩

92. ПОРЫВ

Как в кованой клетке дубравная птица,
Всё жажду я, грустный, свободного дня.
Напрасно мне блещут приветные лица
И добрые люди ласкают меня.
Мне тяжко встречаться с улыбкою ясной,
Мне больно смотреть, как играет заря,
Нет, милые люди, напрасно, напрасно
Хотите вы сделать ручным дикаря!
Вы сами видали, как странно и тщетно,
Скрывая унынье, притворствовал я,
Как в обществе чинном и стройном заметна
Глухая, лесная природа моя.
Природа была мне в притворстве уликой, —
Впиваясь в ее вековую красу,
Я рос на раздольях Карелии дикой,
Над озером бурным, в угрюмом лесу.
Со мной вы расстались, деревья родные!
Я помню, в минуты прощальной поры
Как слезы катились у вас смоляные
Живым янтарем из-под темной коры,
Как вы мне, сгибаясь, главами кивали,
Даря свой последний, унылый привет,
Как мне ваши листья по ветру шептали:
«Куда ты уходишь? — Там счастия нет!»

О! я разорвал бы печали завесу,
Забытою жизнью дохнул бы вполне, —
Лишь дайте мне лесу, дремучего лесу!
Отдайте лишь волю широкую мне,

Где б мог я по-своему горе размыкать,
Объятья природе опять распахнуть
И праздно бродящую радость закликать
На миг перепутья в отверстую грудь!

⟨1838⟩

93. ⟨А. А. И-ОЙ⟩

В разлуке с резвыми мечтами
Давно часы я провожу,
И здесь — над светлыми листами —
Я с темной думою сижу.

Что жизнь? — Я мыслю, — лист альбомный,
Который небо нам дает,
Весь мир — один альбом огромный,
Где каждый впишет и уйдет.

Блажен, кто нес свою веригу,
Свой крест, — и, полный правоты,
Внес в эту памятную книгу
Одни безгрешные черты!

Блажен, кто, нисходя в гробницу,
На память о своей судьбе
Без пятен легкую страницу
Умел оставить по себе.

В день оный книга разогнется
И станут надписи судить...
При этой мысли сердце рвется,
И я дрожу... мне страшно жить!..

И в страхе б, с трепетной душою
Входил я ныне в ваш альбом,
Когда б я ждал, что надо мною
Ваш грянет суд и судный гром.

Заране впал бы я в унылость...
Но — нет, предчувствие не лжет:
За грешный стих меня ждет милость,
Меня прощенье ваше ждет.

⟨1838⟩

94. НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КРЫЛОВА

День счастливый, день прекрасный —
Он настал — и полный клир,
Душ отверстых клир согласный,
Возвестил нам праздник ясный,
Просвещенья светлый пир.

Небесам благодаренье
И владыке русских сил,
Кто в родном соединенье
Старца чудного рожденье
Пировать благословил!

Духом юности моложе —
Он пред нами, славы сын,
Витых локонов пригоже,
Золотых кудрей дороже
Серебро его седин.

Не сожмут сердец морозы —
В нас горят к нему сердца.
Он пред нами — сыпьтесь, розы,
Лейтесь, радостные слезы,
На листы его венца!

2 февраля 1838

95. МОСКВА

Близко... Сердце встрепенулось;
Ближе... ближе... Вот видна!
Вот открылась, развернулась,
Храмы блещут — вот она!
Хоть старушка, хоть седая,
    А всё пламенная;
Светозарная, святая,
Златоглавая, родная,
    Белокаменная!

Вот она! Давно ль из пепла?
А взгляните — какова!

Встала, выросла, окрепла
И по-прежнему жива!
И, пожаром тем жестоким
Сладко память шевеля,
Вьется поясом широким
Вкруг высокого Кремля.
И спокойный, величавый,
Бодрый сторож русской славы —
Кремль — и красен, и велик,
Где, лишь божий час возник,
Ярким куполом венчанна,
Колокольня Иоанна
Движет медный свой язык;
Где кресты церквей далече
По воздушным ступеням
Идут в золоте навстречу
К светлым божьим небесам;
Где за гранями твердыни,
За щитом крутой стены
Живы таинства святыни
И святыня старины.

Град старинный, град упорный,
Град, повитый красотой,
Град церковный, град соборный,
И державный, и святой!
Он с веселым русским нравом,
Тяжкой стройности уставам
Непокорный, вольно лег
И раскинулся, как мог.
Старым навыкам послушный,
Он с улыбкою радушной
Сквозь раствор своих ворот
Всех в объятия зовет.
Много прожил он на свете,
Помнит предков времена,
И в живом его привете
Русь родимая видна.
Русь... Блестящий в вечном строе,
Ей Петрополь — голова,
Ты ей — сердце ретивое,
Православная Москва!
Чинный, строгий, многодумный,
Он, суровый град Петра,

Полн заботою разумной
И стяжанием добра.
Чадо хладной полуночи —
Гордо к морю он приник,
У него России очи
И ее судьбы язык!
А она — Москва родная —
В грудь России залегла,
Углубилась, вековая,
В недрах клады заперла.
И, вскипая русской кровью
И могучею любовью
К славе царской горяча,
Исполинов коронует,
И звонит, и торжествует,
Медным голосом звуча.
И когда ей угрожает
Силы вражеской напор,
Для себя сама слагает
Славный жертвенный костер
И, врагов завидя знамя,
К древней близкое стене,
Повергается во пламя
И красуется в огне!

Долго ждал я... грудь тоскою,
Думой ныла голова.
Наконец ты предо мною,
Ненаглядная Москва!
Дух тобою разволнован,
Взор к красам твоим прикован...
Чу! зовут в обратный путь!
Торопливого привета
Вот мой голос: многи лета
И жива и здрава будь!
Да хранят твои раскаты
Русской доблести следы!
Да блестят твои палаты!
Да цветут твои сады!
И, одета благодатью
И любви, и тишины
И означена печатью
Незабвенной старины,

ЛУННЫЯ

НОЧИ.

СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ ВЪ СТИХАХЪ И ВЪ ПРОЗѢ.

1839

Без пятна, без укоризны,
Под наитием чудес,
Буди славою отчизны,
Буди радостью небес!

Начало 1838

96. ИТАЛИЯ

Есть дивный край!.. Художник внемлет
Его призыв и рвется в путь.
Там небо с жадностью объемлет
Земли изнеженную грудь.
Могущества и страсти полны,
Нося по безднам корабли,
Кругом, дробясь, лобзают волны
Края роскошной сей земли,
К ней мчатся в бешеных порывах...
Она ж, в венце красот стыдливых,
Их ласки тихо приняла
И морю место в двух заливах
У жарких плеч своих дала,
С одной руки, громадой стройной
Подъемлясь, Генуя спокойно
Глядит на зеркальный раздол,
С другой, в водах своих играя,
Лежит Венеция златая
И машет веслами гондол.

Страна любви! Сребристой пены
Живой каймой обведена,
Поет и голосом сирены
Чарует внемлющих она.
Красавица! Вот волны Бренты:
У ней на персях дан им бег;
По этим персям вьются ленты
Жемчужно сыплющихся рек.
Волшебный стан! Змееобразным
Он Тибра поясом обвит,
И вечный Рим замком алмазным
На этом поясе горит.
А здесь — всё юный и прекрасный,
Лежит в одежде древних стен
Неаполь, как любовник страстный,
У царственных ее колен;

С ним и соперник здесь опасный,
Везувий, пышет и бурлит
Иль, кроя умысел ужасный,
Коварно тихнет и молчит.
А тут — к ногам богини чудной
Повержен остров изумрудный,
И, щедрых нив дарами полн,
Он жертвенным простерся храмом
С возжженным Этны фимиамом
Над зыбью Средиземных волн.

Заветный край! Тобою дышит
Сын вдохновенного труда,
И сердце зов приветный слышит —
Небесный зов: туда! туда!

⟨*1839*⟩

97. ОБНОВЛЕНИЕ

Когда тяжелый, душный день
Горит и жжет, отъемля тень,
С нагих брегов, томленья полный,
Кидался ль ты в морские волны?
И вдруг, обхвачен глубиной,
Проникнут хладным трепетаньем,
Ты предавался ли лобзаньям
Сей влаги светлой и живой?

Окончив день тревожный свой
С его заботой и страданьем,
Устав измученной душой, —
Ты освежался ль в час ночной
Небес глубоких созерцаньем?
О, если жаждешь новых сил, —
Предайся бездне сей, но прежде
Смири желаний дольних пыл
И воспрети земной надежде;
И, мысль от мыслей оторвав,
От грешных уст не дай ей слова! —
Не чист язык твой. Без покрова
Ее, бесплотную, оставь,
Узлом святого упованья
Ей крылья светлые скрепи

И мысль, без слов, без одеянья,
Нагую, в небе утопи.
Пусть в эти дивные мгновенья,
Ее сиянием обвит,
Святой венец благоговенья
Твое чело оледенит;
Власы подымет трепет хладный,
Слеза сверкнет в твоих глазах, —
И ты постигнешь, как отрадно
Душой купаться в небесах!

⟨1839⟩

98. СЛЕЗЫ И ЗВУКИ

О дева! покровом завистливой мглы
Подернулся взор твой — соперник денницы;
Ты плачешь — и слезы, как капли смолы,
Дрожат и сверкают на иглах ресницы.
И больно, и тяжко от слез мне твоих,
Но если под бурей, на жизненном море
Скорбящей душе твоей легче от них —
Плачь, милая, чаще: выплакивай горе!
Всегда тебе верен целебный сей ключ,
Родник утешенья, источник отрады;
Под сердцем рожден и под сердцем кипуч —
Сквозь очи он ищет воздушной прохлады.

А я... злая мука в предызбранный час
Мне сердце зальет отравленною кровью
И, грузом нависнув над стянутой бровью,
Слезинки не выжмет из сумрачных глаз.
Порой лишь, в минуты таинственной муки,
Из сердца, где живы все язвы любви,
Исходят и льются согласные звуки,
И в них мне отрада, в них — слезы мои.
Но ключ сей услады неверен: докучный,
Порой не доходит до неба мой клик,
Спирается грудь, и безмолвный, беззвучный
От зноя и жажды сгорает язык.

⟨1839⟩

99. КАЗАКУ-ПОЭТУ

Е. П. Г⟨ребенке⟩

Дни умчались... много сгибло!
Тяжелее с каждым днем,
Горе буйную зашибло,
И тоска на ретивом.

Извели певца невзгоды,
Извели и песен дар,
Эх, когда бы прежни годы,
Да разгул, да юный жар, —

Оживлен приязнью братской,
Может быть, умел бы я
Песнью с удалью казацкой
Поприветствовать тебя.

Много знал я звуков дивных,
Бойких, звонких, разливных,
Молодецки-заунывных,
Богатырски-удалых.

Я из них сковал бы слово
Пуще грому и огня —
Про наездника лихого,
Да про бурного коня,

Да про Днепр, что сыплет воды
Вал за валом вперевал,
Да про светлый сад природы,
Где недавно ты гулял,

Где кругом зернистым хлебом
Раззолочены поля,
Где пирует с ясным небом
Обрученная земля,

Где сильнее солнце греет,
Где Маруся иногда
В час условный пышно рдеет
Краской неги и стыда.

Этот край — твой край родимый,
На тебе венец двойной:
Ты — и сын его любимый,
И певец его родной.

И теперь, когда судьбою
Суждено мне петь тайком,
Мне ль бурлить перед тобою,
Пред залетным казаком?

⟨1839⟩

100. НЕЗНАКОМКЕ

Давно альбом уподобляют храму,
Куда текут поклонники толпой,
Где место и мольбам и фимиаму,
Возжженному усердною рукой,
Куда порой и хладное неверье
Вторгается в обманчивой тиши.
Нет! Он не храм — но, может быть,
преддверье
К заветной храмине души.

И первый я на чистые ступени
Таинственной обители вхожу,
Я стану здесь. Довольно, что молений
Допущен я к святому рубежу!
Вослед за мной, по светлому призванью,
Сюда придут с обильной чувства данью
И первого пришельца обойдут;
Избранники торжественно и прямо
Пройдут в алтарь доступного им храма,
Где, может быть, последних обретут
Ближайшими к святыне сокровенной,
Возвысится служенья стройный чин,
И гимны раздадутся... Я один
На паперти останусь, оглашенный!

⟨1839⟩

101. НАПРАСНЫЕ ЖЕРТВЫ

Степенных мудрецов уроки затвердив,
Как вредны пламенные страсти,
С усилием я каждый их порыв
Старался покорить рассудка грозной власти;
С мечтой сердечною вступая в тяжкий спор,
Я чувству шел наперекор,
И, может быть, порой чистейшее участье
Созданий, милых мне, враждебно отвергал,
И где меня искало счастье —
Я сам от счастья убегал.

Рассудок хладный! Долго, строго
Я не без горя, не без слез
Тебе служил и много, много
Кровавых жертв тебе принес;
Как в тайну высшего искусства,
Я вник в учение твое —
И обокрал святыню чувства,
Ограбил сердце я свое;
И там, где жизнь порывом сильным
Из тесной рамы бытия
Стремилась выдвинуться, — я
Грозил ей заступом могильным,
И, злой грозой поражена,
Стихала грустная она.

За жертвы трудные, за горькие лишенья
Ты чем мне заплатил, холодный, жалкий ум?
Зажег ли мне во тьме светильник утешенья
И много ли мне дал отрадных, светлых дум?
Я с роком бился, — что ж! Что вынес я из боя?
Я предал жизнь тебе — и не жил я вполне:
За жизнь мою ты дал ли мне
Хотя безжизненность покоя?
Нет, — дни туманные мои
Полны, при проблесках минутных,
Печальных грез, видений смутных
И темных призраков любви.

⟨1839⟩

102. Е. Н. Ш⟨АХОВ⟩ОЙ

Тонет в сумраке тумана
Утра божьего краса.
Тени облачные! Рано
Вы мрачите небеса.

Рано, в утренние годы,
Оградясь щитом мольбы,
Ты уж ведаешь невзгоды
Испытующей судьбы,
И девические руки,
Пробегая по струнам,
Рвут с них огненные звуки,
И, вещательница, нам
В этих звуках, в их раскатах,
Не успев еще расцвесть,
Ты приносишь об утратах
Сокрушительную весть!

Пой, певица! Путь твой тесен,
Но просторна жизни даль.
Лейся в звуках стройных песен,
Вдохновенная печаль!
Дар не тщетный, не случайный
Дан душе твоей, она
В гармонические тайны
От небес посвящена,
И, вкушая песен сладость,
Полных грустию твоей,
Позавидует им радость:
Не певать так сладко ей!

Пой! Терпенью срок наступит.
Пой, лелей небесный дар!
Верь — судьба сама искупит
Свой ошибочный удар!
Небо утреннее рано
Для того оделось в тень,
Чтоб из тени, из тумана
Вывесть ярче красный день!

1838 или начало 1839

103. МОЛИТВА

Творец! Ниспошли мне беды и лишенья,
Пусть будет мне горе и спутник и друг!
Но в сердце оставь мне недуг вдохновенья,
Глубокий, прекрасный, священный недуг!

Я чувствую, боже: мне тяжко здоровье;
С ним жизни моей мне невидима цель.
Да будет же в мире мне грусть — изголовье,
Страдание — пища, терпенье — постель!

Земная надежда, как призрак исчезни!
Пусть мрачно иду я тропой бытия!
Но в сладких припадках небесной болезни
Да снидет мне в душу отрада моя!

Когда же, отозван небес произволом,
Меня он покинет — желанный недуг,
И дар мой исчезнет, и стройным глаголом
Не будет увенчан мой тщетный досуг, —

Дозволь мне, о небо, упадшему духом,
Лишенному силы, струнами владеть, —
На звуки склоняясь внимательным слухом,
Волшебные песни душой разуметь!

С земли воздымаясь до горнего мира,
Пророческий голос отрадой мне будь!
До сердца коснется знакомая лира —
Увлажатся очи и двигнется грудь!

1838 или начало 1839

104. НЕДОВЕРЧИВОСТЬ

Нет, нет! Душа моя не может
Любить и веровать вполне!
Меня, красавица, тревожит
Твое внимание ко мне.
Я так привык к любви бесплатной
И к неприветливой судьбе,
Что счастье милым быть тебе
Мне дико, странно, непонятно;

В груди суровой и немой
Храня безрадостную твердость,
Я так привык питать тоской
Мою страдальческую гордость
И бед числом, числом потерь
Среди счастливцев величаться,
Что светлым счастием теперь
Мне было б стыдно наслаждаться.

Весна 1839

105. СОВЕТ

Когда судьба тебя послала
В тернистый, трудный жизни путь
И пищей скорби упитала
Твою взволнованную грудь,
И если небом заповедан
Тебе священный крест любви, —
Живи один! Кому ты предан —
С собой в путь мрачный не зови!
Пусть тяжко с милым нам созданьем
Не разделить судьбы своей,
Но верь: стократно тяжелей
Его терзать своим страданьем!

Весна 1839

106. К ЖЕНЩИНЕ

К тебе мой стих. Прошло безумье!
Теперь, покорствуя судьбе,
Спокойно, в тихое раздумье
Я погружаюсь о тебе,
Непостижимое созданье!
Цвет мира — женщина — слиянье
Лучей и мрака, благ и зол!
В тебе явила нам природа
Последних тайн своих символ,
Грань человеческого рода
Тобою перст ее провел.
Она, готовя быт мужчины,
Глубоко мыслила, творя,

Когда себе из горсти глины
Земного вызвала царя;
Творя тебя, она мечтала,
Начальным звукам уст своих
Она созвучья лишь искала
И извлекла волшебный стих.
Живой, томительный и гибкой
Сей стих — граница красоты,
Сей стих с слезою и с улыбкой,
С душой и сердцем — это ты!

В душе ты носишь свет надзвездный,
А в сердце пламенную кровь —
Две дивно сомкнутые бездны,
Два моря, слитые в любовь.
Земля и небо сжали руки
И снова братски обнялись,
Когда, познав тоску разлуки,
Они в груди твоей сошлись,
Но демон их расторгнуть хочет,
И в этой храмине красот
Земля пирует и хохочет,
Тогда как небо слезы льет.

Когда ж напрасные усилья
Стремишь ты ввысь — к родной звезде,
Я мыслю: бедный ангел, где
Твои оторванные крылья?
Я их найду, я их отдам
Твоим небесным раменам...
Лети!.. Но этот дар бесценный
Ты захотела ль бы принять
И мир вещественности бренной
На мир воздушный променять?
Нет! Иль с собой в край жизни новой
Дары земли, какие есть,
Взяла б ты от земли суровой,
Чтобы туда их груз свинцовый
На нежных персях перенесть!
Без обожаемого праха
Тебе и рай — обитель страха,
И грустно в небе голубом:
Твой взор, столь ясный, видит в нем
Одни лазоревые степи;

Там пусто — и душе твоей
Земные тягостные цепи
Полета горнего милей!

О небо, небо голубое!
Очаровательная степь!
Разгул, раздолье вековое
Блаженных душ, сорвавших цепь!
Там млечный пояс, там зарница,
Там свет полярный — исполин,
Там блещет утра багряница,
Там ездит солнца колесница,
Там бродит месяц — бедуин,
Там идут звезды караваном,
Там, бросив хвост через зенит,
Порою вихрем — ураганом
Комета бурная летит.
Там, там когда-то в хоре звездном,
Неукротим, свободен, дик,
Мой юный взор, скользя по безднам,
Встречал волшебный женский лик;
Там образ дивного созданья
Сиял мне в сумрачную ночь,
Там... Но к чему воспоминанья?
Прочь, возмутительные, прочь!

Широко, ясно небо божье, —
Но ты, повитая красой,
Тебе земля, твое подножье,
Милей, чем свод над головой!
Упрека нет, — такая доля
Тебе, быть может, суждена;
Твоя младенческая воля
Чертой судеб обведена.
Должна от света ты зависеть,
Склоняться, падать перед ним,
Чтоб, может быть, его возвысить
Паденьем горестным твоим;
Должна и мучиться и мучить,
Сливаться с бренностью вещей,
Чтоб тяжесть мира улетучить
Эфирной легкостью твоей;
Не постигая вдохновенья,
Его собой воспламенять

И строгий хлад благоговенья
Слезой сердечной заменять;
Порою на груди безверца
Быть всем, быть верой для него,
Порою там, где нету сердца,
Его создать из ничего,
Бездарному быть божьим даром;
Уму надменному назло,
Отринув ум, с безумным жаром
Лобзать безумное чело;
Порой быть жертвою обмана,
Мольбы и вопли отвергать,
Венчать любовью истукана
И камень к сердцу прижимать.

Ты любишь — нет тебе укора!
В нас сердце, полное чудес,
И нет земного приговора
Тебе, посланнице небес!
Не яркой прелестью улыбки
Ты искупать должна порой
Свои сердечные ошибки,
Но мук ужасных глубиной,
Томленьем, грустью безнадежной
Души, рожденной для забав
И небом вложенной так нежно
В телесный, радужный состав.
Жемчужина в венце творений!
Ты вся любовь; все дни твои —
Кругом извитые ступени
Высокой лестницы любви!
Дитя, ты пьешь святое чувство
На персях матери, оно
Тобой в глубокое искусство
Нежнейших ласк облечено.
Ты дева юная, любовью,
Быть может, новой ты полна;
Ты шепчешь имя изголовью,
Забыв другие имена,
Таишь восторг и втайне плачешь,
От света хладного в груди
Опасный пламень робко прячешь
И шепчешь сердцу: погоди!

Супруга ты, — священным клиром
Ты в этот сан возведена;
Твоя любовь пред целым миром
Уже открыта, ты — жена!
Перед лицом друзей и братий
Уже ты любишь без стыда!
Тебя супруг кольцом объятий
Перепоясал навсегда;
Тебе дано его покоить,
Судьбу и жизнь его делить,
Его все радости удвоить,
Его печали раздвоить.
И вот ты мать переселенца
Из мрачных стран небытия —
Весь мир твой в образе младенца
Теперь на персях у тебя;
Теперь, как в небе беспредельном,
Покоясь в лоне колыбельном,
Лежит вселенная твоя;
Ее ты воплям чутко внемлешь,
Стремишься к ней — и посреди
Глубокой тьмы ее подъемлешь
К своей питательной груди,
И в этот час, как всё в покое,
В пучине снов и темноты,
Не спят, не дремлют только двое:
Звезда полночная да ты!
И я, возникший для волнений,
За жизнь собратий и свою
Тебе венец благословений
От всех рожденных подаю!

Весна 1839

107. ВОТ КАК ЭТО БЫЛО

Летом протекшим, при всходе румяного солнца,
Я удалился к холмам благодатным. Селенье
Мирно средь них почивало над озером ясным.
Я посетил рыбарей простодушных обитель!
Вижу, пуста одинокая хижина. «Где же,
Добрые люди, жильцы этой хаты пустынной?»
— «Там, — отвечали мне, — там!» — и рукой указали
Путь к светловодному озеру. Тихо спустился

К берегу злачному я и узрел Николая —
Рыбаря мирного, — в мокрой одежде у брега
Плот он сколачивал, тяжкие бревна ворочал;
Ветром власы его были разметаны, лёсы,
Крючья и гибкие трости — орудия ловли —
Возле покоились. Тут его юные чада
Одаль недвижно стояли и удили рыбу,
Оком прилежным следя, в созерцанье глубоком,
Легкий живой поплавок и движение зыби.
Знал я их: все они в старое время, бывало,
С высшим художеством знались, талантливы были,
Ведали книжное дело и всякую мудрость, —
Бросили всё: и забавы, и жизнь городскую,
Утро, и полдень, и вечер проводят на ловле.
«Странное дело! — помыслил я. — Что за
причина? . .»
Только помыслил — челнок, погляжу, уж отчалил,
И не заметил я, как в челноке очутился.
Стали на якоре. Дали мне уду. Закинул, —
Бич власяной расхлестнул рябоватые струйки,
Груз побежал в глубину, поплавок закачался,
Словно малютка в люльке хрустальной. Невольно
Я загляделся на влагу струистую: сверху
Искры, а глубже... так тёмно, таинственно, чудно!
Точно как в очи красавицы смотришь! И взору
Взором любви глубина отвечает, скрывая
Уды зубристое жало в загадочных персях.

Вдруг — задрожала рука... поплавок окунулся...
Стукнуло сердце и замерло... Выдернул, — окунь!
Бьется, трепещет на верном крючке и, сверкая,
Брызжет в лицо мне студеными перлами влаги.
Снова закинул... Уж солнце давно закатилось,
Лес потемнел, и затеплились божьи лампады —
Звезды небесные, ловля еще продолжалась.
«Ваш я отныне! — сказал рыбакам я любезным. —
Брошу неверную лиру и деву забуду,
Петую мной чернокудрую светлую деву,
Или, быть может... опять проглянула надежда! . .
Удой поймаю ее вероломное сердце —
Знаю: она из огня его бросила в воду.
Ваш я отныне, смиренный сотрудник ваш, рыбарь!»

Весна 1839

108. БЕГЛЕЦ

От грусти-злодейки, от черного горя
В волненье бежал я до Черного моря
И воздух в пути рассекал как стрела,
Злодейка догнать беглеца не могла.
Домчался я, стали у берега кони,
Зачуяло сердце опасность погони...
Вот, кажется, близко, настигнет, найдет
И грудь мою снова змеей перевьет.

Где скроюсь я? Нет здесь дубов-великанов,
И тени негусты олив и каштанов.
Где скроюсь, когда после яркого дня
Так ярко луна озаряет меня;
Когда, очарованный ночи картиной,
Бессонный, в тиши, над прибрежной стремниной
Влачу я мечтой упоенную лень
И, малый, бросаю огромную тень?
Где скроюсь? Томленьем полуденным полный,
Уйду ль погрузиться в соленые волны?
Тоска меня сыщет, и в море она
Поднимется мутью с песчаного дна.
Пущусь ли чрез море? — На бреге Тавриды
Она меня встретит, узнает, займет
И больно в глубоких объятьях сожмет.

Страшусь... Но доселе ехидны сердечной
Не чувствуя жала, свободный, беспечный,
Смотрю я на южный лазоревый свод,
На лоно широко раскинутых вод
И, в очи небес устремив свои очи,
Пью сладостный воздух серебряной ночи...

Зачем тебе гнаться, злодейка, за мной?
Помедли, беглец возвратится домой.
Постой, пред тобою минутный изменник,
Приду к тебе сам я — и снова твой пленник,
В груди моей светлого юга красу
Как новую пищу тебе принесу
И с новою в сердце скопившейся силой
Проснусь для страданья, для песни унылой.

А ныне, забывший и песни и грусть,
Стою, беззаботный, на бреге Эвксина,
Смотрю на волнистую грудь исполина
И волн его говор твержу наизусть.

29 июня 1839
Одесса

109. К ***
(ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ СТИХОВ МОИХ)

От ранних лет судьба мне указала
Унылый, трудный жизни путь,
Мне чашу горести пить втайне завещала,
И сила высшая мне долго ограждала
Молчанием уста и твердостию грудь.
Я не высказывал печали,
Я сердце прятал от людей,
Своею милостью они меня терзали,
Пугали ласкою своей!
Но чувствам замкнутым приют в груди стал тесен,
И, одичалые в глуши,
Они расторгли грудь! И звуки первых песен
Случайно вырвались из трепетной души!
И всё, что рок мне знать и чувствовать дозволил:
Обманчивый восторг, и горькую любовь,
И радость, и печаль — я всё из сердца пролил,
И сердце стало пусто вновь!
И вот немногие страницы,
Вот те убогие листы,
Где ввел я в мерные границы
Души заветные черты.
Здесь быстрой юности живые заблужденья,
Златые грезы бытия
И сердца тщетные волненья —
Всё, чем богат и беден я!
Примите всё: мечты мои и слезы!
Примите очерки и чувств и дум моих,
Где пред поэзией волшебной вашей прозы,
Бледнея, гаснет каждый стих!

29 июня 1839

110. ЮЖНАЯ НОЧЬ

Легкий сумрак. Сень акаций.
Берег моря, плеск волны
И с лазурной вышины
Свет лампады муз и граций —
Упоительной луны.

Там, чернея над заливом,
Мачт подъемлются леса;
На земле ж — земли краса —
Тополь ростом горделивым
Измеряет небеса.

Горячей дыханья девы,
Меж землей и небом сжат,
Сладкий воздух; в нем дрожат
Итальянские напевы,
В нем трепещет аромат.

А луна? Луна здесь греет,
Хочет солнцем быть луна;
Соблазнительно пышна,
Грудь томит и чары деет
Блеском сладостным она.

Злая ночь златого юга!
Блещешь лютой ты красой.
Ты сменила холод мой
Жаром страшного недуга —
Одиночества тоской.

Сердце, вспомнив сон заветный,
Ищет вновь — кого-нибудь. . .
Тщетно! Не о ком вздохнуть!
И любовью беспредметной
Высоко взметалась грудь.

Прочь, томительная нега!
Там — целебный север мой
Возвратит душе больной
В лоне вьюг, на глыбах снега
Силу мысли и покой.

Июнь 1839
Одесса

111. ОДЕССА

Перл земли новороссийской,
Он цветет, блестящий град,
Полон славы мусикийской
И возвышенных отрад,
На морском высоком бреге
Он вознесся в южной неге
Над окрестною страной
И пред дольными красами
Щеголяет небесами,
Морем, солнцем и луной.

И акация и тополь
Привились к брегам крутым,
Под рукой — Константинополь,
Под другой — цветущий Крым,
И евксински бурны воды
Шумно пенят пароходы,
Хлеб идет с конца в конец,
А Одесса что царица:
У подножия пшеница,
Из червонцев слит венец.

А бульвар? — Приволье лени,
Где сквозь вешний аромат
По ковру вечерней тени
Ножки легкие скользят.
Моря вид, и отблеск дальний,
И целебные купальни,
Где в заветные часы
Сквозь ревнивые завесы
Блещут прелести Одессы
Иль заезжие красы...

И светла и благодатна
Жизнь Одессы, сладок юг;
Но и в солнце видим пятна,
Чист не весь и лунный круг.
Нов, спесив, от зноя бешен,
Может быть, в ином и грешен
Юный город, а притом,

Сколь он небу ни угоден, —
Пылен, грязен и безводен.
Эгоизм и степь кругом!

Лето 1839

112. КИЕВ

В ризе святости и славы,
Опоясан стариной,
Старец Киев предо мной
Предстоит золотоглавый.
Здравствуй, старец величавый!
Здравствуй, труженик святой!

Здравствуй! .. И чело мое никнет над гробницами,
Мысль в минувшем носится,
И отрадной накипью влага под ресницами
Из-под сердца просится.
И слезинка чистая, как зерно перловое,
Лишнее, ненужное,
Пала в русло быстрое, вольное, днепровое,
Светлое, жемчужное.

Здравствуй, Днепр, поитель дивный
Незабвенной старины!
Чу! На звон моей струны
Сердце слышит плеск отзывный
Удалой, многоразливной
Святославовской волны.

Здесь Владимир кругом тесным
Сыновей своих сомкнул,
Здесь хоругви развернул
И, наитьем полн небесным,
Здесь, под знамением крестным,
В Днепр народ свой окунул.

Днепр! Перуна гроб кровавый!
Путь наш к грекам! Не в тебе ль
Русской славы колыбель,
Семя царственной державы,
Пелена народной славы,
Наша крестная купель?

Ты спешишь в порыве смелом,
Стороне полночной в честь,
Прошептать дел громких весть
Полдня сладостным пределам
И молву о царстве Белом
К морю Черному принесть.

И, красуясь шириною
Ладии носящих вод,
Ты свершаешь влажный ход
Говорливою волною,
Под стремглавной крутизною
Гордых киевских высот.

Цвесть, холмы счастливые, небо вам дозволило,
Славу вам навеяло,
Добрая природа вас возвела и всхолила,
Взнежила, взлелеяла;
Насадила тополи, дышит милой негою,
Шепчет сладкой тайною,
Веет ароматами над золотобрегою
Светлою Украйною.

Брег заветный! Взыскан ты милостью небесною,
Дланию всесильною.
Каждый шаг означен здесь силою чудесною,
Жизнью безмогильною.
Руси дети мощные! Ополчимся ж, верные,
На соблазны битвою
И сойдем в безмолвии в глубины пещерные
С теплою молитвою!

Лето 1839

113. ТОСТ

Чаши рдеют, словно розы,
И в развал их вновь и вновь
Винограда брызжут слезы,
Нервный сок его и кровь.
Эти чаши днесь воздымем
И, склонив к устам края,
Влагу светлую приимем
В честь и славу бытия,

Общей жизни в честь и славу,
За ее всесветный трон
И всемирную державу —
Поглотим струю кроваву
До осушки стклянных дон!

Жизнь. . . она средь прозы чинной
Увядала бы, как злак, —
Как была б она пустынна
Без поэзии! Итак,
Сей фиал за муз прекрасных,
За богинь сих сладкогласных,
За возвышенных певцов —
Сих изящного жрецов,
За присяжников искусства,
Вещих мучеников чувства,
Показавших на земле
Свет небес в юдольной мгле,
Бронзу в неге, мрамор в муках,
Ум в аккордах, сердце в звуках,
Бога в красках, мир в огне, —
Жизнь и смерть — на полотне!

Жизнь — сияй! Твой светоч — разум.
Да не меркнет над тобой
Свет сей, вставленный алмазом
В перстень вечности самой!
Венчан лавром или миртом
Наподобие сих чаш,
Буди налит череп наш
Соком дум и мысли спиртом!
Да от запада на юг,
На восток и норд — вокруг —
Чрез века и поколенья
Светит солнце просвещенья
И созвездие наук!

Други! что же свет без тени?
День без вечера? — Итак,
Да не будет изгнан мрак
Сердцу милых заблуждений!
Да живет, волнуя кровь,
И безумная любовь!
Да не дремлет их царица,

Кем изглажена граница
Между смертных и богов, —
Пьем: да здравствует любовь!
Пьем за милых — вестниц рая, —
За красы их, начиная
С полных мрака и лучей
Зажигательных очей,
Томных, нежных и упорных,
Цветом всячески цветных,
Серых, карих, адски-черных
И небесно-голубых!
За здоровье уст румяных,
Бледных, алых и багряных —
Этих движущихся струй,
Где дыханье пламенеет,
Речь дрожит, улыбка млеет,
Пышет вечный поцелуй!
В честь кудрей благоуханных,
Легких, дымчатых, туманных,
Светло-русых, золотых,
Темных, черных, рассыпных,
С их неистовым извивом,
С искрой, с отблеском, с отливом
И закрученных, как сталь,
В бесконечную спираль!

Так — восчествуем сей чашей
Юных дев, и добрых жен,
И виновниц жизни нашей,
Кем был внят наш первый стон, —
Сих богинь огнесердечных,
Кем мир целый проведен
Чрез святыню персей млечных,
Колыбели и пелен,
В чувстве полных совершенства
Без предела, без границ, —
Этих горлиц, этих львиц,
Расточительниц блаженства
И страдания цариц!

И, взлелеяны любовью,
Их питомцы и сыны
Да кипят душой и кровью
В честь родимой стороны,

Сей страны, что, с горизонта
Вскинув глыбою крутой
С моря льдяного до Понта
Мост Рифея золотой,
Как слезу любви из ока,
Как холодный пот с чела,
Из Тверской земли широко
Волгу в Каспий пролила!
Без усилий вполобхвата
У нее заключено
Всё, что господом дано
С финских скал до Арарата.
Чудный край! Через Алтай
Бросив локоть на Китай,
Темя вспрыснув океаном,
В Балт ребром, плечом в Атлант,
В полюс лбом, пятой к Балканам
Мощный тянется гигант.

Русь — живи! В тени лавровой
Да парит ее орел!
Да цветет ее престол!
Да стоит ее штыковой
Перекрестный частокол!
Да сыны ее родные
Идут грудью против зла
На отрадные дела
И на подвиги благие!

Но чтоб тост наш в меру стал
Девятнадцатого века, —
Человеки! — сей фиал
Пьем во здравье человека!
За витающих вдали!
За здоровье всей Земли —
Всей — с Камчатки льдянореброй,
От отчаянных краев
До брегов Надежды Доброй
И Счастливых островов, —
От долин глубоко-темных
До высот, где гор огромных
В снежных шапках блещут лбы,

Где взнесли свои верхушки
Выше туч — Земли-старушки
Допотопные горбы,
Лавы стылые громады,
Огнеметные снаряды
Вулканической пальбы!

Да, стара Земля: уж дети
Сей праматери людей
С лишком семьдесят столетий
Горе мыкают на ней.
А она — ей горя мало! —
Ныне так же, как бывало,
Мчится в пляске круговой
В паре с верною Луной,
Мчит с собой судьбы, законы,
Царства, скипетры и троны
На оси своей крутит
И вкруг Солнца их вертит —
В стройной пляске не споткнется, —
И в круженье не прольется
И не станет кверху дном
Ни один бокал с вином!

Вознесем же в полноте мы
Сей зачашный наш привет
В славу Солнечной системы,
В честь и Солнца, и планет,
И дружин огнекрылатых,
Длиннохвостых, бородатых,
Быстрых, бешеных комет,
Всех светил и масс небесных, —
В здравье жителей безвестных
Светоносных сих шаров, —
Пьем в сей час благословенный
За здоровье всей вселенной,
В честь и славу всех миров —
До пределов, где созвездья
Щедро сыплют без возмездья
Света вечного дары, —
Где горит сей огнь всемирный,
Будто люстры в зале пирной,
Где танцуют все миры,

Нам неслышным внемля арфам, —
Где, роскошным белым шарфом
Облекая неба грудь,
Перекинут Млечный Путь, —
Где последней искрой свода
Замкнут чудный сей чертог,
Где ликует вся природа,
Где владычествует бог —
Жизнедавец, светодержец,
Тучегонец, громовержец,
Кто призвал нас в этот мир
На великий жизни пир,
И в делах себя прославил,
И торжественно поставил
Над землей, как над столом,
Чашу неба кверху дном.

Лето 1839

114—129. *ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ*
(В КРЫМУ)

1

Ударил ветр. Валы Эвксина
Шумят и блещут подо мной,
И гордо вздулся парус мой
На бурных перьях исполина.
Мой мир, оторван от земли,
Летит. От берега вдали
Теряет власть земная сила,
Здесь только небо шлет грозу,
Кругом лишь небо, а внизу
Одна широкая могила.

Блажен почивший в лоне вод!
Свободно труп его идет
Средь волн, принять его готовых,
В чертог лазурный без границ,
В обитель раковин перловых,
В страну коралловых гробниц.
Там, средь пространного жилища,
Раскинув члены, он лежит

И в ямах скудного кладбища
Чужих костей не потеснит.

У корня мачты к небу очи
Я возводил, и мнилось мне —
Над зыбью моря звезды ночи
Качались в темной вышине;
В тиши всё небо колыхалось,
И, неподвижную досель,
Перст божий зыблет, мне казалось,
Миров несметных колыбель;
И тихо к горизонту падал
Мой взор, — там вал разгульный прядал,
И из-за края корабля
Вдруг море грудь приподнимало
И глухо вздох свой разрешало,
Седые кудри шевеля.

В широком пурпуре Авроры
Восходит солнце. Предо мной
Тавриды радужные горы
Волшебной строятся стеной.
Плывем. Все ближе берег чудный,
И ряд заоблачных вершин
Всё ближе. За кормой дельфин
Волной играет изумрудной
И прыщет искрами вокруг.
Вот пристань! Зноем дышит юг.

Здесь жгуч и сладок воздух чистый,
Огнем и негой разведен,
И как напиток золотистый
Из чаши неба пролит он. —
Там, в раззолоченном уборе,
Брегов не знающее море
С небесной твердью сведено;
А тут к брегам прижаться радо
И только именем черно,
Слилось, лазурное, оно
С зеленым морем винограда.
К громадам скал приник залив,
И воды трепетные млеют,
И, рощи лавров отразив,
Густые волны зеленеют.

2

. . . .
. . . .

Природа южная светла,
Пышна, кудрява, лучезарна,
Как прелесть женская — мила
И как прелестница — коварна;
Полна красот со всех сторон,
Блистает и язвит — злодейка,
В руинах дремлет скорпион,
В роскошных злаках вьется змейка;
В зеленых локонах кустов
Шипы таятся, иглы скрыты,
И между стеблями цветов
Пропущен стебель ядовитый.
А знойный воздух сей, огнем
В уста втекающий, как лава! ..
Невидимо разлита в нем
Тоски мучительной отрава, —
Вдыхая в грудь его струи,
Я вспомнил сон моей любви —
Тяжелый сон! — Зачем любовью
Здесь дышит всё? Зайдет ли день —
Край неба весь нальется кровью,
И соблазнительная тень
На холмы ляжет; из-за Понта,
Округлена, раскалена,
Восстав, огромная луна
Раздвинет обруч горизонта,
И выплывет, и наведет
Свои прельстительные очи.
Она, бывало, перечтет
Мне все недоспанные ночи,
Напомнит ветхие мечты,
Страстей изломанных картину
И всё, за что бы отдал ты,
Скиталец, жизни половину.
Какой томительный упрек,
Бывало, мне на сердце ляжет,
Когда луна безмолвно скажет:
Страдай, томись — ты одинок!

3

Кипело море млечной пеной,
Татарский конь по брегу мчал
Меня к обрывам грозных скал
Меж Симеисом и Лименой,
И вот они передо мной
Зубчатой высятся преградой,
На камне камень вековой,
Стена задвинута стеной,
Громада стиснута громадой,
Скала задавлена скалой.
Нагромоздившиеся глыбы
Висят, спираясь над челом,
И дико брошены кругом
Куски, обломки и отшибы,
А время, став на их углы,
Их медленно грызет и режет,
Здесь слышен визг его пилы,
Его зубов здесь слышен скрежет.
Здесь бог, когда живую власть
Свою твореньем он прославил,
Хаоса дремлющего часть
На память смертному оставил.
Зияют челюсти громад,
Их ребра высунулись дико,
И между них сквозь мрачный ад
Ползет украдкой повилика,
Угрюмо дремлют мшистый дерн
И тощие нагие зелья,
Да кое-где колючий терн
Торчит иглами из ущелья.
И поперек путь узкий мой
Вдруг перехвачен, — нет дороги!
Свернись, мой конь, ползи змеей,
Стели раскидистые ноги
Иль в камень их вонзай! Идет,
Подковы даром не иступит,
Опасный встретив переход,
Он станет, оком поведет,
Подумает и переступит,
И по осколкам роковым,
В скалах, чрез их нависший купол
Копытом чутким он своим
Дорогу верную ощупал.

Уже скалы я миновал,
С конем разумным мы летели,
Эвксин ревел, валы белели,
И гром над бездной рокотал.

Средь ярких прелестей созданья
Взгрустнулось сердцу моему,
Оно там жаждет сочетанья,
Там тяжко, больно одному!
Но, путник, ежели порою
В сей край обрывов и стремнин
Закинут будешь ты судьбою,
Здесь прочь людей! здесь будь один!
Беги сопутствующих круга,
Покинь избранницу любви,
Оставь наперсника и друга,
От сердца сердце оторви!
С священным трепетом ты внидешь
В сей новый мир, в сей дивный свет,
Громады, бездны здесь увидишь,
Но нет земли и неба нет.
Благоговенье трисвятое
В тебя прольется с высоты,
И коль тогда здесь будут двое,
То будут только бог и ты!

4. МОГИЛА

Я помню рощу, — божий храм
В древесной чаще скрыт глубоко.
Из моря зелени высоко
Крест яркий выкинут, к стенам
Кусты прижались, рдеют розы,
Близ алтаря кипят, журча,
Неиссякающие слезы
Животворящего ключа.
Вблизи — могильный холм, два сумрачные древа
Над ним сплели таинственный покров.
Под тем холмом почиет дева —
Твоя, о юноша, любовь!
Здесь милый прах. В цветах ее могила.
Быть может, стебли сих цветов
Идут из сердца, где любовь
Святые корни сохранила.

В живые чаши этих роз,
Как в ароматные слезницы,
С закатом дня и с выступом денницы,
Заря хоронит тайну слез.
В возглавье гордый тополь вырос
И в небо врезался стрелой,
Как мысль. А там, как звучный клирос
Великой храмины земной,
Залив в одежде светоносной
Гремит волною подутесной,
Кадят душистые цветы.
И, ветром зыблемы вкруг образа Мадонны,
Древа с блестящей высоты
Клонясь челом, творят поклоны,
И освеженные листы
Молитву шепчут. Здесь мечтатель,
Почившей сирый обожатель
Дай волю полную слезам!
Упав на холм сей бурной грудью,
Доверь их чистому безлюдью
И этим вечным небесам.
Никто в глуши сей не увидит
Твоих заплаканных очей
И злой насмешкой не обидит
Прекрасной горести твоей;
Никто бездушным утешеньем
Иль ненавистным сожаленьем
Тоски твоей не оскорбит,
И ересь мнимого участья
На месте сем не осквернит
Святыню гордого несчастья.
Здесь слез не прячь! Здесь нет людей!
Один перед лицом природы
Дай чувству весь разгул свободы!
Упейся скорбию своей!

Несчастлив ты — но знай: судьбою
Иной безжалостней убит
И на печаль твою порою
С невольной завистью глядит.
Твою подругу, в цвете века
Сокрыв от мира, увлекли
Объятья матери-земли,
Но не объятья человека;

Ее ты с миром уступил
Священной области могил,
Земле ты предал персть земную.
Стократ несчастлив, кто живую
Подругу сердца схоронил,
Когда, навек от взоров скрыта,
Она не в грудь земли зарыта,
А на земле кому-нибудь
Случайно кинута на грудь! . .

5. ДОМ В ЦВЕТАХ. — АЛУПКА

В рощах ненаглядных
Здесь чертог пред вами.
Камень стен громадных
Весь увит цветами, —
По столбам взбегают,
По карнизам вьются,
Мрамор обнимают,
К позолоте жмутся;
Расстилаясь тканью,
Съединя все краски,
Расточают зданью
Женственные ласки.
Ласки, пав на камень,
Пропадают даром, —
Из него жар-пламень
Выбьешь лишь ударом.
Так-то и на свете
Меж людьми ведется:
Прелесть в пышном цвете
Часто к камню жмется;
Цвет, что всех милее,
Нежен к истукану;
Ластится лилея
К пню или чурбану.
Тут хоть камень глаже
Щеголя причесан,
Там — посмотришь — даже
Пень тот неотесан.

6. ОРЕАНДА

Прелесть и прелесть! Вглядитесь, —
Сколько ее на земле!
Шапку долой! Поклонитесь
Этой чудесной скале!
Зеленью заткан богатой,
Что за роскошный утес,
Став здесь твердыней зубчатой,
Плечи под небо занес!
Но, извините, с почтеньем
Сколько ни кланяйтесь вы,
Он не воздаст вам склоненьем
Гордой своей головы, —
Нет! — но услужит вам втрое
Пышным в подножье ковром,
Тенью прохладной при зное,
Водных ключей серебром.
Гордая стать — не обида,
Пусть же, при благости тверд,
Дивный утес твой, Таврида,
Кажется смертному горд!
Вспомним: средь зал благовонных,
В свете, над лоском полов,
Мало ль пустых, беспоклонных,
Вздернутых кверху голов?
Тщетно бы тени и крова
Ближний от них тут искал, —
Блещут, но блещут сурово
Выси живых этих скал.

7. ПОТОКИ

Не широки, не глубоки
Крыма водные потоки,
Но зато их целый рой
Сброшен горною стеной,
И бегут они в долины
И чрез камни и стремнины
Звонкой прыгают волной,
Там виясь в живом узоре,
Там теряясь между скал
Или всасываясь в море
Острием змейных жал.

Смотришь, вот — земля вогнулась
В глубину глухим котлом
И растительность кругом
Густо, пышно развернулась.
Чу! Ключи, ручьи кипят, —
И потоков быстрых змейки
Сквозь подземные лазейки
Пробираются, шипят;
Под кустарников кудрями
То скрываются в тени,
То блестящими снурами
Меж зелеными коврами
Передернуты они,
И, открыты лишь частями,
Шелковистый режут дол,
И жемчужными кистями
Низвергаются в котел.

И порой седых утесов
Расплываются глаза,
И из щелей их с откосов
Брызжет хладная слеза;
По уступам вперехватку,
Впересыпку, вперекатку
Слезы те бегут, летят,
И снопами водопад,
То вприпрыжку, то вприсядку,
Бьет с раската на раскат;
То висит жемчужной нитью,
То, ударив с новой прытью,
Вперегиб и вперелом,
Он клубами млечной пены
Мылит скал крутые стены,
Скачет в воздух серебром,
На мгновенье в безднах вязнет
И опять летит вперед,
Пляшет, отпрысками бьет,
Небо радугами дразнит,
Сам себя на части рвет.

Вам случалось ли от жажды
Умирать и шелест каждый
Шепотливого листка,
Трепетанье мотылька,

Шум шагов своих тоскливых
Принимать за шум в извивах
Родника иль ручейка?
Нет воды! Нет мер страданью,
Смерть в глазах, а ты иди
С пересохшею гортанью,
С адским пламенем в груди!
Пыльно, — душно, — зной, — усталость!
Мать-природа! Где же жалость?
Дай воды! Хоть каплю! — Нет!
Словно высох целый свет.
Нет, поверьте, нетерпеньем
Вы не мучились таким,
Ожидая, чтоб явленьем
Вас утешила своим
Ваша милая, — как слабы
Те мученья! — И когда бы
В миг подобный вам она
Вдруг явилась, вся полна
Красоты и обаянья,
Неги, страсти и желанья,
Вся готовая любить, —
В миг сей мыслью, может быть,
Вы б исполнились единой:
«О, когда б она Ундиной
Или нимфой водяной
Здесь явилась предо мной!
И ручьями б разбежалась
Шелковистая коса,
И на струйки бы распалась
Влажных локонов краса,
И струи те, пробегая
Через свод ее чела
Слоем водного стекла
И чрез очи ниспадая,
Повлекли б и из очей
Охлажденных слез ручей,
И потом две водных течи
Справа, слева и кругом
На окатистые плечи
Ей низверглись, — и потом
С плеч, где скрыт огонь под снегом,
Тая с каждого плеча,

Снег тот вдруг хрустальным бегом
Покатился бы, журча,
Влагой чистого ключа, —
И, к объятиям отверсты,
Две лилейные руки
Стали сгибами реки,
Растеклись в фонтанах персты,
И — не с жаркой глубиной,
Но с святым бесстрастья хладом —
Грудь рассыпалась каскадом
И расхлынулась волной!
Как бы я втянул отрадно
Эти прелести в себя!
Ангел-дева! Как бы жадно
Вмиг я выпил всю тебя!»

8. ОБВАЛЫ

Что за гром? — То грозные обвалы.
Тяготенья вервь напряжена,
Непрерывно тянет сверху скалы
В глубь долин и валит их она.
Вот и здесь — кругом они нависли
И готовы, кажется, упасть.
Я под ними, — роковая власть
Тяжести мои смущает мысли.
Может быть, сдается мне, сейчас —
В этот миг — сорвется этих масс
Надо мной висящая громада
С грохотом и скрежетаньем ада,
И, моей венчая жизни блажь,
Здесь меня раздавит этот кряж,
И, почет соединив с обидой,
Надо мной он станет пирамидой,
Сложенной из каменных пластов.
Лишь мелькнет последнее мгновенье —
В тот же миг свершится погребенье,
В тот же миг и памятник готов.
Похорон торжественных расходы,
Памятник — громаднее, чем своды
Всех гробниц, — и залп громов, и треск,
Певчий — ветр, а факел — солнца блеск,
Слезы — дождь, — всё, всё на счет природы,
Всё от ней — и где? в каком краю? —
За любовь к ней страстную мою!

9. ПЕЩЕРЫ КИЗИЛЬ-КОБА

Где я? — Брожу во мгле сырой;
Тяжелый свод над головой, —
Я посреди подземных сфер
В безвестной области пещер.
Но вот — лампады зажжены,
Пространства вдруг озарены:
Прекрасен ты, подземный дом!
Лежат сокровища кругом;
Весь в перлах влаги сталактит
Холодной накипью блестит, —
Там в тяжких массах вывел он
Ряд фантастических колонн;
Здесь облачный накинул свод;
Тут пышным пологом идет
И, забран в складках, надо мной
Висит кистями с бахромой
И манит путника прилечь,
Заботы жизни сбросить с плеч,
Волненья грустные забыть,
На камень голову склонить,
На камень сердце опереть
И, с ним слиясь, — окаменеть.

Идем вперед — ползем — скользим,
Подземный ход неизмерим.
Свод каждый, каждая стена
Хранит прохожих имена,
И силой хищной их руки
От стен отшиблены куски;
Рубцы и язвы сих громад
След их грабительства хранят,
И сами собственной рукой
Они здесь чертят вензель свой,
И в сих чертах заповедных —
Печать подземной славы их.
И кто здесь имя не вписал?
И кто от этих чудных скал
Куска на память не отсек?
Таков тщеславный человек!
Созданьем, делом ли благим,
Иль разрушеньем роковым,

Бедой ли свой означив путь,
Чертой ли слабой — чем-нибудь
Он любит след оставить свой
И на земле, и под землей.

10. БАХЧИСАРАЙ

Настала ночь. Утих базар.
Теснины улиц глухи, немы.
Луна, лелея сон татар,
Роняет луч сквозь тонкий пар
На сладострастные гаремы.

Врата открыл передо мной
Дворец. Под ризою ночной
Объяты говором фонтанов
Мечеть, гарем, гробницы ханов —
Молитва, нега и покой.

Здесь жизнь владык земных витала,
Кипела воля, сила, страсть,
Здесь власть когда-то пировала,
И гром окрест, и страх метала, —
И всё прошло, исчезла власть.

Теперь всё полно тишиною,
Как сей, увенчанный луною,
Глубокий яхонтовый свод.
Всё пусто — башни и киоски,
Лишь чьей-то тени виден ход
Да слышны в звонком плеске вод
Стихов волшебных отголоски.

Вот тот фонтан! .. Когда о нем,
Гремя, вещал орган России,
Сей мрамор плакал в честь Марии,
Он бил слезами в водоем —
И их уж нет! — Судьба свершилась,
Ее последняя гроза
Над вдохновенным разразилась —
И смолк фонтан, — остановилась,
Заглохла в мраморе слеза.

11. ГОРЫ

Мой взор скользит над бездной роковой
Средь диких стен громадного оплота.
Здесь — в массах гор печатью вековой
Лежит воды и пламени работа.
Здесь — их следы. Постройка их крепка,
Но всё грызут завистливые воды.
Кто скажет мне, что времени рука
Не посягнет на зодчество природы?
Тут был обвал — исчезли высоты,
Там ветхие погнулись их опоры;
Стираются и низятся хребты,
И рушатся дряхлеющие горы.
Быть может, здесь раскинутся поля,
Развеется и самый прах обломков
И черепом ободранным земля
Останется донашивать потомков.
Мир будет — степь, народы обоймут
Грудь плоскую тоскующей природы,
И в полости подземные уйдут
Текущие по склонам горным воды,
И, отощав, иссякнет влага рек,
И область туч дождями оскудеет,
И жаждою палимый человек
В томлении, как зверь, освирепеет;
Пронзительно свой извергая стон
И смертный рев из пышущей гортани,
Он взмечется и, воздымая длани,
Открыв уста, на голый небосклон
Кровавые зеницы обратит,
И будет рад тогда заплакать он,
И с жадностью слезу он проглотит! . .
. . . .
И вот падут иссохшие леса,
Нигде кругом нет тени вожделенной,
А над землей, как остов обнаженный,
Раскалены, блистают небеса;
И ветви нет, где б плод висел отрадный
Для жаждущих, и каплею прохладной
Не светится жемчужная роса,
И бури нет, и ветер не повеет . .
А светоч дня, сверкающим ядром,
Проклятьями осыпанный кругом,
Среди небес, как язва, пламенеет. . .

12. ЧАТЫРДАГ

Он здесь! .. В средину цепи горной
Вступил, и, дав ему простор,
Вокруг почтительно, покорно
Раздвинулись громады гор.
Своим величьем им неравный,
Он стал — один, и, в небосклон
Вперя свой взор полудержавный,
Сановник гор, из Крыма он,
Как из роскошного чертога,
Оставив мир земной в пыли,
Приподнялся — и в царство бога
Пошел посланником земли.
Зеленый плащ вкруг плеч расправил
И, выся темя наголо,
Под гром и молнию подставил
Свое открытое чело.
И там, воинственный, могучий,
За Крым он ратует с грозой,
Под мышцы схватывает тучи
И блещет светлой головой.

И вот я стою на холодной вершине.
Всё тихо, всё глухо и тёмно в долине,
Лежит подо мною во мраке земля,
А с солнцем давно переведался я, —
Мне первому луч его утренний выпал,
И выказал пурпур, и злато рассыпал.

Таврида-красавица вся предо мной.
Стыдливо к ней крадется луч золотой
И гонит слегка ее сон чародейный,
Завесу тумана, как полог кисейный,
Отдернул и перлы восточные ей
Роняет на пряди зеленых кудрей.

Вздохнула, проснулась прелестница мира,
Свой стан опоясала лентой Салгира,
Цветами украсилась, грудь подняла
И в зеркало моря глядится: мила!
Роскошна! полна красотою и благом!
И смотрит невестой! .. А мы с Чатырдагом
Глядим на красу из отчизны громов
И держим над нею венец облаков,

13. ЧАТЫРДАГСКИЕ ЛЕДНИКИ

Разом здесь из жаркой сферы
В резкий холод я вошел.
Здесь на дне полупещеры —
Снега вечного престол;
А над ним немые стены,
Плотно затканные мхом,
Вечной стражею без смены
Возвышаются кругом.
Чрез отверстый зев утесов
Сверху в сей заклеп земной
Робко входит свет дневной,
Будто б он лишь для расспросов:
Что творится под землей? —
Послан твердью световой.
Будто ринувшись с разбега
По стенам на бездну снега,
Мох развесился над ней
Целой рощей нисходящей,
Опрокинутою чащей
Нитей, прядей и кистей.
Что ж? До сердца ль здесь расколот
Чатырдаг? — Сказать ли: вот
Это сердце — снег и лед?
Нет, бесстрастный этот холод
Сдержан крымскою горой
Под наружной лишь корой.
Но и здесь не без участья
К вам природа, и бесстрастья
В ней законченного нет, —
Здесь на тяжкий стон несчастья
Эхо стонет вам в ответ,
Словно другом быть вам хочет,
С вашим смехом захохочет,
С вашим криком закричит,
Вместе с вами замолчит,
Сердцу в муках злополучья
Шлет отзвучья и созвучья:
Вздох ваш скажет: «Ох, беда!»
И оно вам скажет: «Да!» —
Так глубоко, так сердечно!
Этот воздух ледяной
Прохладит так человечно
Жгучий жар в груди больной;

Он дыханье ваше схватит
И над этим ледником
Тихо, бережно покатит
Пара дымчатым клубком.
Этот мох цвести не станет,
До цветов ему — куда?
Да зато он и не вянет
И не блекнет никогда.

А к тому ж в иные годы
Здесь, под солнечным огнем,
Бал таврической природы
Слишком жарок, — чтоб на нем
Сладко грудь свежилась ваша,
Здесь мороженого чаша
Для гостей припасена
И природой подана.
И запас другого блага
Скрыт здесь — в ребрах Чатырдага, —
Тех ключей, потоков, рек
Не отсюда ль прыщет влага?
Пей во здравье, человек!
В этой груде снежных складов
Лишь до времени тверда
Тех клокочущих каскадов
Серебристая руда;
Но тепло ее затронет,
Перетрет между теснин,
Умягчит, и со стремнин
Подтолкнет ее, уронит
И струистую погонит
В область дремлющих долин.

14. СТЕПИ

Долго шел между горами
И с раската на раскат...
Горы! тесно между вами,
Между вами смертный сжат.

Тесно, сердце воли просит,
И от гор, от их цепей —
Легкий конь меня уносит
В необъятный мир степей.

Зеленеет бархат дерна —
Чисто, гладко, ровен путь,
Вдоволь воздуха, просторно,
Есть где мчаться, где дохнуть.
Грудь свободна! Сердце — шире!
Есть где горе разнести!
Здесь не то что в душном мире:
Есть чем вздох перевести!

Бездна пажитей пространных
Мелким стелется ковром;
Море трав благоуханных
Блещет радужно кругом.
Удалой, бурно-крылатый
Ветр летит — куда лететь?
Вольный — носит ароматы,
Не найдет, куда их деть.
Вот он! Вот он — полн веселья —
Прах взвивает и бурлит
И, кочуя, от безделья
Свадьбу чертову крутит.

Не жалеет конской мо́чи
Добрый конь мой — исполать!
О, как весело скакать
Вдаль, куда засмотрят очи,
И пространство поглощать!

Ветер вольный! брат! — поспорим!
Кто достойнее венка?
Пролетим безводным морем!
Нам арена широка.
Виден холм из-за тумана,
На бесхолмье великан,
Видишь, ветер, — вон курган —
И орел летит с кургана.
Там ристалищу конец,
Там узнаем, чей венец, —
Конь иль ветер — кто обгонит?

Мчимся. Степь дрожит и стонет,
Тот и этот как огонь,
И лишь ветер у кургана
Зашумел в листах бурьяна —
У кургана фыркнул конь.

15. КОСА

Я видел: бережно, за рамой под стеклом,
Хранились древности остатки дорогие —
Венцы блестящие, запястья золотые
И вазы чудные уставлены кругом,
И всё, что отдали курганы и гробницы, —
Амфоры пирные и скорбные слезницы,
И всё была свежа их редкая краса;
Но средь венцов и чаш, в роскошном их собранье,
Влекла к себе мое несытое вниманье
От женской головы отъятая коса,
Достойная любви, восторгов и стенаний,
Густая, черная, сплетенная в три грани,
Из страшной тьмы могил исшедшая на свет
И не измятая под тысячами лет,
Меж тем как столько кос с их царственной красою
Иссеклось времени нещадною косою.
Нетленный блеск венцов меня не изумлял;
Не дивно было мне, что эти диадимы
Прошли ряды веков, все в целости хранимы.
В них рдело золото — прельстительный металл!
Он время соблазнит, и вечность он подкупит,
И та ему удел нетления уступит.
Но эта прядь волос... ужели и она
Всевластной прелестью над временем сильна —
И вечность жадная на этот дар прекрасный
Глядела издали с улыбкой сладострастной?
Где ж светлые глаза той дивной головы,
С которой волосы остались нам?.. Увы!
Глаза... они весь мир, быть может, обольщали,
Диктаторов, царей и консулов смущали,
Огни кровавых войн вздувая и туша,
Глаза, где было всё: свет, жизнь, любовь, душа,
Где лик небес сверкал, бессмертье пировало, —
О, дайте мне узреть хоть их волшебный след!
И тихо выказал осклабленный скелет
На желтом черепе два страшные провала.

16. ПРОСТИ

Прости, волшебный край, прости!
На кратком жизненном пути
Едва ль тебя я снова встречу,

Да и зачем? .. Я не замечу
И не найду в тебе тогда
Того, что ныне видел, — да!
Ты будешь цвесть, ты вечно молод,
А мне — вторично не цвести, —
Тогда в тебя я внес бы холод. . .
Прости, волшебный край, прости!

Май — сентябрь 1839

130. Е. Н. Ш⟨АХОВ⟩ОЙ
(ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ ЗАСОХШИХ КРЫМСКИХ РАСТЕНИЙ)

Пируя праздник возвращенья,
Обет мой выполнить спешу
И юга светлого растенья
Я вам усердно приношу.
Там флора пышная предстала
Мне в блеске новой красоты;
Я рвал цветы, — рука дрожала:
Я не привык срывать цветы.
Они пред вами, где ж приветный,
Роскошный запах южных роз?
Увы! Безжизненный, бесцветный
Я только прах их вам привез.
Отрыв от почвы им смертелен,
И вот — из скудных сих даров
Лишь мох остался свеж и зелен
От чатырдагских ледников —
Затем что с ним не зналась нега;
Где солнца луч не забегал,
Он там — над бездной льдов и снега —
Утесов ребра пеленал.
Да моря чудные растенья,
Как вживе, странный образ свой
Хранят — затем что с дня рожденья
Они средь влаги и волненья
Знакомы с мрачной глубиной.

Сентябрь — октябрь 1839

131. К А. П. Г⟨АРТОНГ⟩

В стране, где светлыми лучами
Живее блещут небеса,
Есть между морем и горами
Земли цветущей полоса.
Я там бродил, и дум порывы
Невольно к вам я устремлял,
Когда под лавры и оливы
Главу мятежную склонял.
Там часто я, в разгуле диком,
В свободных, царственных мечтах,
Вас призывал безумным кликом, —
И эхо вторило в горах.
О вас я думал там, где влага
Фонтанов сладостных шумит,
Там, где гиганта Чатырдага
Глава над тучами парит,
Там, где по яхонту эфира
Гуляют вольные орлы,
Где путь себе хрусталь Салгира
Прошиб из мраморной скалы;
Там, средь природы колоссальной,
На высях гор, на ребрах скал,
Оставил я мой след печальный
И ваше имя начертал,
И после — из долин метались
Мои глаза на высоты,
Где мною врезаны остались
Те драгоценные черты.
Они в лазури утопали,
А я смотрел издалека,
Как солнца там лучи играли
Или свивались облака...

Блеснет весна иного года,
И, может быть, в желанный час
Тавриды пышная природа
В свои объятья примет вас.
Привычный к высям и оврагам,
Над бездной дола, в свой черед,
Татарский конь надежным шагом
Вас в область молний вознесет;
И вы найдете те скрижали,

Где, проясняя свой удел
И сердца тайные печали,
Я имя ваше впечатлел.
Быть может, это начертанье —
Скалам мной вверенный залог —
Пробудит в вас воспоминанье
О том, кто вас забыть не мог!

Но я страшусь: тех высей темя
Обвалом в бездну упадет,
Или завистливое время
Черты заветные сотрет,
Иль, кроя мраком свет лазури
И раздирая облака,
Изгладит их ревнивой бури
Неотразимая рука...
И не избегну я забвенья,
И, скрыта в прахе разрушенья,
Бесценной надписи лишась,
Порой под вашими стопами
Мелькнет не узнанная вами
Могила дум моих об вас!

Сентябрь — октябрь 1839

132. НОЧЬ

Всё смолкло. Тишина в чертогах и во храмах,
Ночь над Петрополем прозрачна и тепла.
С отливом пурпурным, недвижна и светла,
Нева красуется в своих гранитных рамах,
И так торжественно полна ее краса,
Что, кажется, небес хрустальных полоса
Отрезана, взята с каймой зари кровавой
И кинута к ногам столицы величавой,
Чтобы, восставшая в час утренний от сна,
Над этим зеркалом оправилась она.
Скользит по влаге челн. Свободно, без усилья
Летит он, веслами бока окрылены.
Грудь острая крепка, размашистые крылья
Росли в родных лесах, в дубравах рождены.
Они склоняются и с шумом тонут дружно, —
В их шуме слито всё: вздох, шепот, поцелуй, —
Вдруг вынырнут они, — с них прыснет дождь
жемчужный,

И брызги окропят поверхность гладких струй.
Задумчив, юноша над водною равниной
Плывет. Ему незрим челна спокойный бег,
А этот каменный великолепный брег
Проходит перед ним широкою картиной,
И пышно тянется необозримый ряд
Сих зданий вековых, сна царственных громад,
И каждая из них, приблизясь постепенно,
Взглянув на путника сурово и надменно,
Отводит медленно от грустного пловца
И стекла и врата блестящего лица.
И вот заветный дом, где вьется черный локон,
Где ножка дивная паркет животворит,
И тот на юношу бесчувственно глядит
Недвижной синевой своих широких окон,
И пуст на высоте привешенный балкон.
Молчит ночной гребец. Везде глубокий сон.

⟨1840⟩

133. ГРЕХОПАДЕНИЕ

В красоте, от праха взятой,
Вдохновенным сном объятый,
У разбега райских рек
Почивал наш прародитель —
Стран эдемских юный житель —
Мира новый человек.
Спит, — а творческого дела
Вновь свершается добро:
Вынимается из тела
К сердцу близкое ребро;
Пышет пламень в нем священный,
И звучит небесный клир,
И на свет из кости бренной
Рвется к жизни дивный мир, —
И прекрасного созданья
Образ царственный возник,
Полный райского сиянья
Дышит негой женский лик,
И власы текут и блещут,
Ясны очи взоры мещут,
Речью движутся уста,
Перси жизнию трепещут,

В целом — свет и красота.
Пробудись, супруг блаженный,
И прими сей дар небес,
Светлый, чистый, совершенный,
Сей венец земных чудес!
По предвечному уставу
Рай удвоен для тебя, —
Встань! и черпай божью славу
Из двойного бытия!
Величай творца хвалою!
Встань! Она перед тобою,
Чудной прелести полна,
Новосозданная дева,
От губительного древа
Не вкусившая жена!

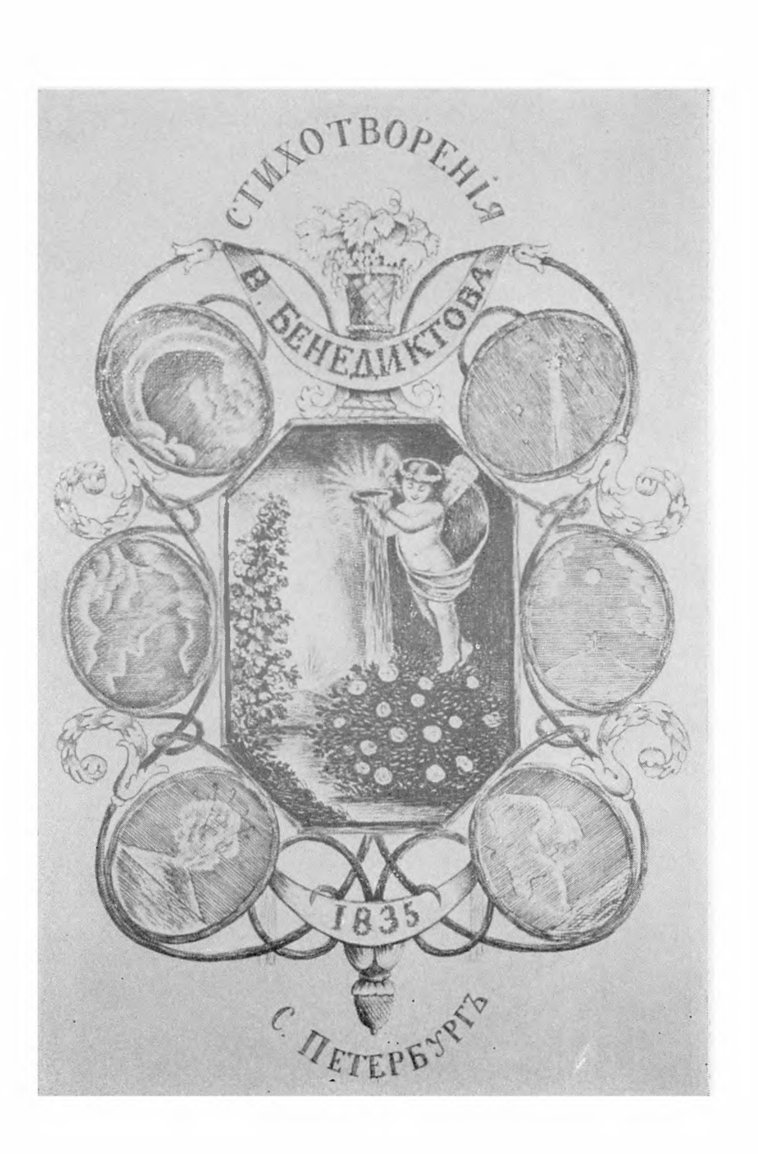
И он восстал... и зрит... и внемлет...
И, полн святого торжества,
Супругу юную приемлет
Из щедрой длани божества,
И, средь небесных обаяний
Вполне блаженна и чиста,
В цветах, в морях благоуханий
Ликует райская чета;
И всё, что с нею населяет
Эдема чудную страну,
С улыбкой радостной взирает
На светозарную жену;
Звучит ей гимн семьи пернатой,
К ней, чужд кровавых, хищных игр,
Подходит с лаской зверь косматой —
Покорный волк и кроткий тигр,
И, первенствуя в их собранье,
Спокойный, величавый лев,
Взглянув на новое созданье,
Приветственный подъемлет рев
И, видя образ пред собою
С венцом бессмертья на челе,
Смиренно никнет головою
И стелет гриву по земле.

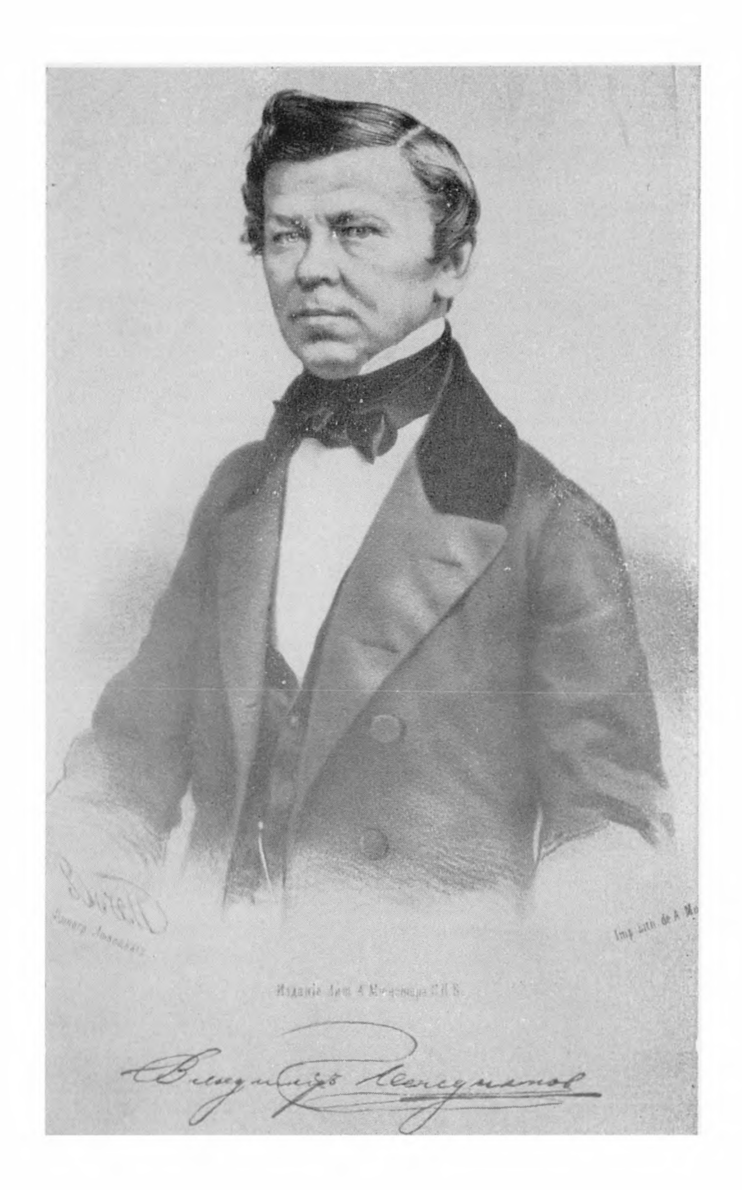
А там украдкою на Еву
Глядит коварная змея

И жмется к роковому древу,
В изгибах радость затая;
Любуясь женскими красами,
Тихонько вьется и скользит,
Сверкает узкими глазами
И острым жалом шевелит.

Речь змеи кольцеобразной
Ева внемлет. — Прельщена
Сладким яблоком соблазна,
Пала слабая жена.
И виновник мирозданья,
Грянув гневом с высоты,
Возложил венец страданья
На царицу красоты.
Чтоб она за грех паденья,
За вкушенный ею плод,
Все красы и все мученья
Предала в позднейший род;
И караются потомки, —
Дверь небесного шатра
Заперта для вас, обломки
От Адамова ребра!
За ужасный плод познанья —
С горькой участью изгнанья
Долю скорби и трудов
Бог изрек в громовых звуках
Для рожденных в тяжких муках
Ваших горестных сынов.
Взмах руки своей заносит
Смерть над нивой наших дней
И серпом нещадным косит
Злак невызревших полей.
Мерным ходом век за веком
С грузом горя и забот
Над страдальцем человеком
В бездну вечности идет, —
На земле ряды уступов
Прах усопших намостил;
Стал весь мир громадой трупов,
Людям тесно от могил.

Но и здесь — в краю изгнанья —
Не покинул смертных бог, —


СТИХОТВОРЕНІЯ
В. БЕНЕДИКТОВА
1835
С. ПЕТЕРБУРГЪ


Изданіе Лит. А. Мюнстера С.П.Б.

Сердцу светоч упованья
В мраке скорби он возжег,
И на поприще суровом,
Где кипит и рыщет зло,
Он святит венком терновым
Падшей женщины чело;
Казнью гнев свой обнаружа
И смягчая правый суд,
Светлый ум и мышцы мужа
Укрепляет он на труд,
Он в любови бесконечной,
Обновляя смертных род,
В дольной смерти к жизни вечной
Указал нам переход.
Он открыл нам в край небесный
Двери царственные вновь. —
Чей пред нами образ крестный
В язвах казни за любовь?
Это бог в крови распятья
Прекращает смерти пир,
Расторгает цепь проклятья
И в кровавые объятья
Заключает грешный мир!

⟨1840⟩

134. СТИХ

Из слова железного он образован,
Серебряной рифмы насечкой скреплен,
В груди, как в горниле, проплавлен, прокован
И в кладезе дум, как булат, закален,
И мерный, и звучный, из сердца он вынут
И с громом в мир божий, как молния, кинут.

Трепещет и блещет, гремит и звенит,
И тешит ребенка гремушкой созвучий,
И юноши душу надеждой кипучей
И жаром мятежных страстей пламенит,
И, лавой струясь по сердечным изгибам,
Грудь ставит горою и волосы дыбом.

То крепкою мыслью, как грудью, вперед
Он к гордому мужу навстречу идет
И смелою думой на думы ответит,

То, грустно звуча о прошедшем — «увы!» —
И к старцу влетев, на мгновенье осветит
Предсмертные грезы седой головы.

О тайнах ли сердца волшебно звучит он?
Проникнут любовью и негой напитан,
К воспетой красе он отважно летит
Полетом незримого мощного духа
И крадется змеем к святилищу слуха,
Где локон ее, извиваясь, дрожит;
Он тут, он ей в грудь залегает глубоко
И нежные перси тайком шевелит,
А бедный поэт, отчужденный, далеко,
В толпе незаметный, печальный стоит.
И вот — на уста светлоокой царицы
Стих пламенный принят с бездушной страницы,
Он ею прочитан, и вновь, и опять,
И сердце в ней ходит с утроенным стуком,
И снова живым, гармоническим звукам
Дозволено эти уста целовать.

Потом эти звуки, с участьем, с любовью,
Красавица шепчет, склонясь к изголовью. .
Уснула. . . уста не сомкнулись. . . на них
Под тайной завесой, в роскошном затишье
Перерванный сном на крутом полустишье,
Уснул в упоенье восторженный стих.
А труженик песен? Он чужд усыпленья,
Не в силах глубокой тоски превозмочь,
Он демоном страсти терзаем всю ночь,
Измученный, бледный, в слезах вдохновенья!

Стих, вырванный с кровью из груди певца!
Ты весело рыщешь на поприще света.
Блаженное чудо страдальца-поэта!
Творенье! . . За что ты счастливей творца?

Страшись! Пожираемый ревностью к деве,
Поэт взнегодует и в творческом гневе
Тебя разразит беспощадной рукой,
Тебя он осудит на казнь и на муки,
Он гром твой рассыплет на мелкие звуки
И звуки развеет в пустыне глухой.

Нет, детище сердца! не бойся угрозы, —
Руки на тебя не поднимет певец,
Пускай на тебя только сыплются розы —
Он бодро износит терновый венец,
Пред роком не склонит главы злополучной:
Ты только будь счастлив, о стих громозвучный!
Готов он погибнуть: ты только живи,
Души его вестник, глашатай любви!

⟨1840⟩

135. ЕВГЕНИИ ПЕТРОВНЕ МАЙКОВОЙ

Усердный чтитель ваш и домосед угрюмый,
Летя за вами вдаль завистливою думой,
Спешу крылатое мгновенье изловить,
Чтоб искренним стихом ваш путь благословить.
Тревожною мечтой от родины туманной
Я часто отлетал в тот край обетованный;
Хотелось, плакалось и думалось: «Туда!»
И ныне б я желал подслушать иногда,
Как стонет и гремит благословенный Фебом
Широкий русский стих под итальянским небом,
Когда его поет, усвоив мощь, и вкус,
И прелесть тайную Горациева слога,
Ваш светлый первенец, служитель юный муз,
Наперсник сих богинь и соименник бога!

14 июня 1840

136. АВДОТЬЕ ПАВЛОВНЕ ГАРТОНГ
(НА ПАМЯТЬ ПРОГУЛКИ В ПАРГОЛОВЕ 8-го АВГУСТА 1840 г.)

Наш край и хладен и суров,
Покрыто небо мглой ненастной,
И вместо солнца шар чуть ясный
Меж серых бродит облаков.
Но иногда — вослед деннице, —
Хоть редко, хоть однажды в год,
Восстанет утро в багрянице,
И день весь в золоте взойдет,
И, пропылав в лазурных безднах,
Утонет в пурпурной заре,

И выйдет ночь в алмазах звездных
И в чистом лунном серебре.
Счастлив, кого хоть проблеск счастья
В печальной жизни озарил!
Счастлив, кто в сумраке ненастья
Улыбку солнца захватил!

Суров наш край. Кругом всё плоско.
В сырой равнине он лежит.
В нем эхо мертвое молчит
И нет на клики отголоска.
Без обольщения окрест
Скользят блуждающие взгляды.
Но посреди сих скудных мест
Есть угол воли и отрады.
Там рощи скинулись шатром
И отразились озерами,
И дол, взволнованный холмами,
Широким стелется ковром;
Под светлым именем Парнаса
Пригорок стал среди холмов,
И тут же сельского Пегаса
Хребет оседланный готов.
Блажен, кто там хотя однажды
С своею музою летал
И бурный жар высокой жажды
Стихом гремучим заливал!

Суров наш край, повит снегами, —
И часто, вскормлены зимой,
В нем девы с ясными очами
Блестят безжизненной красой.
Но есть одна... зеницу ока
Природа жизнью ей зажгла
И ей от Юга и Востока
Дары на Север принесла.
Блажен, кто мог ей, полн смиренья,
Главой поникшею предстать
И гром и пламя вдохновенья
Пред ней как жертву разметать!
Счастлив и тот, кто, полн смущенья,
Покорно голову склоня,
Принес ей бедное творенье
На память золотого дня,

Когда, в пучину светлой дали
Из-под клубящейся вуали
Летучий погружая взор
И рассекая воздух звонкой,
Она летала амазонкой
По высям парголовских гор, —
И как на темени Парнаса,
В прохладе сумрачного часа
Сама собой озарена,
Под темным зелени навесом
Она стояла — и за лесом
Стыдливо пряталась луна!

Август 1840

137. ВАЛЬС

Всё блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Ленты, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри, фразы и глаза.
Всё в движенье: воздух, люди,
Блонды, локоны, и груди,
И достойные венца
Ножки с тайным их обетом,
И страстями и корсетом
Изнуренные сердца.

Бурей вальса утомленный
Круг, редея постепенно,
Много блеска своего
Уж утратил. Прихотливо
Пары, с искрами разрыва,
Отпадают от него,
Будто прах неоценимый —
Пыль с алмазного кольца,
Осыпь с пышной диадимы,
Брызги с царского венца;
Будто звезды золотые,
Что, покинув небеса,
Вдруг летят в края земные,
Будто блестки рассыпные,
Переливчато-цветные,
С огневого колеса.

Вот осталась только пара,
Лишь она и он. На ней
Тонкий газ — белее пара,
Он — весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема,
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система
Торжествует в их глазах.
Вот летят! — Смычки живее
Сыплют гром; чета быстрее
В новом блеске торжества
Чертит молнии кругами,
И плотней сплелись крылами
Неземные существа.
Тщетно хочет чернокрылый
Удержать полет свой: силой
Непонятною влеком,
Как над бездной океана,
Он летит в слоях тумана,
Весь обхваченный огнем.
В сфере радужного света
Сквозь хаос, и огнь, и дым
Мчится мрачная планета
С ясным спутником своим.
Тщетно белый херувим
Ищет силы иль заклятий
Разломить кольцо объятий,
Грудь томится, рвется речь,
Мрут бесплодные усилья,
Над огнем открытых плеч
Веют блондовые крылья,
Брызжет локонов река,
В персях места нет дыханью,
Воспаленная рука
Крепко сжата адской дланью,
А другою — горячо
Ангел, в ужасе паденья,
Держит демона круженья
За железное плечо.

1840

138. МОГИЛА ЛЮБВИ

В груди у юноши есть гибельный вулкан.
Он пышет. Мир любви под пламенем построен.
Чредой прошли года, — Везувий успокоен,
И в пепле погребен любовный Геркулан;
Под грудой лавы спят мечты, тоска и ревность,
Кипевший жизнью мир — теперь седая древность.
И память, наконец, как хладный рудокоп,
Врываясь в глубину, средь тех развалин бродит,
Могилу шевелит, откапывает гроб
И мумию любви нетленную находит, —
У мертвой на челе оттенки грез лежат;
Есть прелести еще в чертах оцепенелых,
В очах угаснувших блестят
Остатки слез окаменелых.
Из двух венков, ей брошенных в удел,
Один давно исчез, другой всё свеж, как новый, —
Венок из роз давно истлел,
И лишь один венок терновый
На вечных язвах уцелел.
Вотще и ласки дев и огненные песни
Почившей говорят: восстань! изыдь! воскресни!
Ее не оживят ни силы женских чар,
Ни взор прельстительный, ни уст коварных лепет,
И электрический удар
В ней возбудит не огнь и жар,
А только судорожный трепет.
Кругом есть надписи, но тщетно жадный ум
Покрывшую их пыль сметает и тревожит,
Напрасно их грызет и гложет
Железный зуб голодных дум,
Когда и сердце их уже прочесть не может;
И, факел уронив и весь проникнут мглой,
Кривляясь в бешенстве пред спящею богиней,
В бессилье жалком разум злой
Кощунствует над древнею святыней.

⟨1841⟩

139. ДРУЖБА

Любовь отвергла ты... но ты мне объявила,
Что дружбу мне даришь; благодарю, Людмила!
Отныне мы друзья. Освобожден от мук,
Я руку жму твою: благодарю, мой друг!
С тобой беседуя свободно, откровенно,
Я тихо приклонюсь главою утомленной
На дружескую грудь... Но что я вижу? Ты
Краснеешь... Вижу стыд и робость красоты...
Оставь их! Я в тебе уже не властелинку,
Но друга признаю. . . . .
. . . .
. . . .
В любви — остерегись: для ней нужна ограда;
А мы, второй пример Ореста и Пилада,
Должны быть запросто. Условий светских груз
Не должен бременить наш искренний союз.
Прочь робкие мечты! Судя и мысля здраво,
Должны любовникам мы предоставить право
Смущаться и краснеть, бледнеть и трепетать;
А мы... Да осенит нас дружбы благодать!
На долю нам даны лишь пыл рукопожатий,
. . . .
Да, как бы ни было, при солнце иль луне,
Беседы долгие... в тиши... наедине.

⟨*1841*⟩

140. К ТОВАРИЩАМ ДЕТСТВА

В краю, где природа свой лик величавый
Венчает суровым сосновым венцом
И, снегом напудрив столетни дубравы,
Льдом землю грунтует, а небо свинцом;
В краю, где, касаясь творений начала,
Рассевшийся камень, прохваченный мхом,
Торчит над разинутой пастью провала
Оскаленным зубом иль голым ребром;
Где — в скудной оправе, во впадине темной,
Средь камней простых и нахмуренных гор
Сверкает наш яхонт прозрачный, огромный —
Одно из великих родимых озер;
Где лирой Державин бряцал златострунной,

Где воет Кивача «алмазна гора»,
Где вызваны громы работы чугунной,
Как молотом божьим — десницей Петра;
Где след он свой врезал под дубом и сосной,
Когда он Россию плотил и ковал —
Державный наш плотник, кузнец венценосный,
Что в деле творенья творцу помогал, —
Там, други, по милости к нам провиденья,
Нам было блаженное детство дано
И пало нам в душу зерно просвещенья
И правды сердечной святое зерно.
С тех пор не однажды весна распахнулась
И снова зима пролегла на Руси!
Не раз вокруг Солнца Земля повернулась
И сколько вращалась кругом на оси!
И сколько мы с ней и на ней перемчались
В сугубом движенье, по жизни — вперед!
Иные уж с пылкими днями расстались,
И к осени дело! И жатва идет.
Представим же колос от нивы янтарной,
Который дороже весенних цветов, —
Признательность, други, души благодарной —
Один из прекрасных, чистейших плодов.
Пред нами единый из сеявших семя;
На миг пред своими питомцами он;
Созрелые дети! Захватим же время
Воздать ему вкупе усердный поклон!
И вместе с глубоким приветом рассудка
Ему наш сердечный привет принести
В златую минуту сего промежутка
Меж радостным «здравствуй» и тихим «прости»!
И родине нашей поклон и почтенье,
Где ныне, по стройному ходу годов,
За нами другое встает поколенье
И свежая зреет семья земляков, —
Да здравствует севера угол суровый,
Пока в нем онежские волны шумят,
Потомками вторится имя Петрово
И бардом воспетый ревет водопад!

13 февраля 1841

141. ТЫ ХОЛОДНА

А⟨вдоть⟩е П⟨авловн⟩е Г⟨артон⟩г

Тебе не нужно звонких слов,
Ни гимнов жертвенных поэта,
Ни звуков лестного привета —
Нет! И клянусь огнем стихов, —
С тех пор, как я тебя завидел
И петь и славить возлюбил, —
Тебя я лестью не обидел,
Пустой хвалой не оскорбил!
Чуждаясь неги бесполезной,
Тебе был внятен и не дик
Мой тяжкий ямб, мой стих железный
И правды кованый язык.
Я не хотел к тебе приблизить
Любви лукавую мечту
И вялой нежностью унизить
Суровой думы высоту.
Небес заветных в край лазурный
Себе полет я воспретил
И стон — порою слишком бурный —
Не раз в груди остановил.

Ты жизнь уму, а сердцу — кара, —
Знать, так назначено судьбой!
Ты холодна... но холод твой
Милей полуденного жара.
Устав от душной суеты,
Отрадно горю и томленью
Найти приют под свежей тенью
Твоей разумной красоты.
Тому, кто вырвется из ада
Житейских дел, где тяжело
Проклятьем сдавлено чело, —
Сладка эдемская прохлада!
Но если — к раю приведен —
Проникнуть вдаль помыслит он,
Отколь блаженства воздух пашет, —
Твой острый взор тогда над ним
Подъят, как меч, которым машет
Привратник рая — херувим!
Спасен, кто в сфере испытанья,
Испив твой взор, вкусивши речь,

Успел от вечного страданья
Остаток сердца уберечь!
Ты холодна... Так видит око!
Ты вся как мраморный кумир,
Но сердце женщины глубоко, —
В нем можно спрятать целый мир.
Трудна извитая дорога
К тому, что скрыто в этой мгле.
Тайн много на небе у бога,
Но тайны есть — и на земле!

23 февраля 1841

142. О, ЕСЛИ Б!

О, если б знал я наперед,
Когда мой смертный час придет,
И знал, что тихо, без терзанья,
Я кончу путь существованья, —
Я жил бы легче и смелей,
Страдал и плакал веселей,
Не столько б жизнь мою злословил,
И постепенно бы готовил
Я душу слабую к концу,
Как деву к брачному венцу;
И каждый год, в тот день известный,
Собрав друзей семьею тесной
И пеня дружеский фиал,
Себе я сам бы отправлял
Среди отрадной вечеринки
В зачет грядущего поминки,
Чтобы потом не заставлять
Себя по смерти поминать.
В последний год, в конце дороги,
Я свел бы все свои итоги,
Проверил всё: мои грехи,
Мою любовь, мои стихи,
Что я слагал в тоске по милой
(Прости мне, боже, и помилуй!),
И, может быть, еще бы раз,
Припомнив пару черных глаз
Да злые кудри девы дальной,
Ей брякнул рифмою прощальной!
Потом — всему и всем поклон!

И, осмотрясь со всех сторон,
В последний раз бы в божьем мире
Раскланялся на все четыре,
Окинул взором неба синь,
Родным, друзьям в раздумье тихом
Сказал: «Не поминайте лихом!» —
Закрыл бы очи и — аминь!

⟨*1842*⟩

143. МОРОЗ

Чу! С двора стучится в ставни, —
Узнаю богатыря.
Здравствуй, друг, знакомец давний!
Здравствуй, чадо декабря!
Дым из труб ползет лениво,
Снег под полозом визжит;
Солнце бледное спесиво
Сквозь туман на мир глядит.

Я люблю сей благодатный
Острый холод зимних дней.
Сани мчатся. Кучер статный,
Окрылив младых коней,
Бодр и красен; кровь играет,
И, окладисто-горда,
Серебрится и сверкает
В снежных искрах борода.
Кони полны рьяной прыти,
Дым в ноздрях, в ногах — метель!
А она-то? — Посмотрите:
Как мила теперь Адель!
Сколько блеску хлад ей придал!
Други! Это уж не тот
Бледный, мраморный ваш идол, —
В этом лике жизнь цветет;
Членов трепетом и дрожью
Обличен заветный жар,
И из уст, дышавших ложью,
Бьет теперь чистейший пар,
Грудь в движении волнистом,
Неги полное плечо,

Кроясь в соболе пушистом,
Шевелится горячо,
Летней, яркою денницей
Пышно искрятся глаза,
И по шелковой реснице
Брызжет первая слеза!

Кто ж сей мрамор на досуге
Оживил? — Таков вопрос.
Это он — не льститесь, други, —
Это он — седой мороз!
Жадно лилии он щиплет
И в лицо взамен их сыплет
Пламя свежих, алых роз.
Лишь его гигантской мочи
Эти гибельные очи
Удалось пронять до слез!

⟨1842⟩

144. НАПРАСНО

Напрасно, дева, бурю спрятать
В мятежном сердце хочешь ты
И тайну пламенной мечты
Молчаньем вечным запечатать.
Заветных дум твоих в тайник
Давно взор опытный проник.
Признайся, — мучима любовью
И в ночь, бессонницей томясь,
Младую голову не раз
Метала ты по изголовью?
Не зная, где ее склонить,
Ты в бурном трепете хотела
Ее от огненного тела
Совсем отбросить, отделить,
Себя от разума избавить
И только сердце лишь оставить
Пылать безумно и любить.
Слеза с ресниц твоих срывалась,
И ночь — наперсница любви —
В глаза лазурные твои
Своими черными впивалась,

Гордяся тем, что возросло
Под темными ее крылами
Двумя чудесными звездами
Несметных звезд ее число.
Едва уснув, ты пробуждалась,
Румянца заревом горя, —
И ночь бледнела и пугалась,
И прочь хотела — ей казалось,
Что в небе вспыхнула заря.

⟨1842⟩

145. МОСКОВСКИЕ ЦЫГАНЫ

Хор готов. Вожатый ярый
Вышел, волю дал плечу.
Заиграло, вспыхнул старый!
Стал, моргнул, качнул гитарой,
Топнул, брякнул, — тише! чу!
Груша поет, голосок упоительный
Тонкой серебряной нитью дрожит.
Как замирает он в неге мучительной!..
Чу!.. Гром!.. Взрыв!.. Буря шумит.
Грянул хор, сверкнули брызги
От каскада голосов.
Пламя молний! Ветра взвизги!
Моря вой и шум лесов!
Град ударов звонкой сечи!
Перекрестная гроза!
Огнь из уст! Из глаз картечи!
Пышут груди, ноют плечи,
Рыщут дикие глаза.
Вот запевает *Любовь*-чародейка,
Звонкий напев ее душу сквозит,
Льется, как струйка, и вьется, как змейка.
Ластится к сердцу и сладко язвит.
Чу!.. Свист!.. Вопль!.. Пожар трескучий!
Гармоническая брань!
То разинул хор гремучий
Полну бешеных созвучий
Раскаленную гортань!
Вот разгульный клик несется:
«Мы живем среди полей!»
Весь в огне *Илья* трясется,

Размахнется, развернется:
«Живо! Веселей!»
А вот «В темном лесе» *Матрена* колотит,
Колотит, молотит, кипит и дробит,
Кипит и колотит, дробит и молотит,
И вот поднялась, и взвилась, и дрожит...
Врозь руками размахнула, —
Хочет целый мир обнять.
Вот плывет... скользит... вздрогнула,
Кости старые тряхнула,
Повернулась да опять!
Чудо — ведьма ты, злодейка!
Вне себя *Илья* стучит,
Рвется, свищет и кричит:
«Жизнь для нас — копейка!»

⟨1842⟩

146. ПОДРАЖАНИЕ ПЕРСИДСКОМУ

Не мечи из-под ресницы
Стрел разящих на меня!
Под огнем твоей зеницы
Уж и так повержен я.
Ты красою всемогущей
Всех богаче в сей стране —
Я убогий, неимущий, —
Дай же милостину мне!

⟨1842⟩

147. МАЛЕНЬКОЙ ЖЕННИ

Вместо куклы в модном платье,
Женни, вот тебе занятье:
Я принес мои стишки!
Ждать ли мне за это ласки?
Рада ль ты? Горят ли глазки?
Шевелятся ли ушки?
Лепечи пока, малютка,
Рифмы легкие шутя!
Скоро будешь институтка,
Скоро вырастешь, дитя!
Расцветешь, как цвет махровый.

И к тебе — не знаю кто —
Уж поэт напишет новый,
И напишет уж не то!
Ты успеешь в той поэме
Тайну милую постичь;
Вспомни, Женни, в это время
Я уж буду старый хрыч
Иль косой саженью глубже
Буду тлеть в земле сырой.
Не забудь же — приголубь же
Хоть надгробный камень мой.
Пусть над ним головку склонит
Женни резвая слегка
И приветная рука
Ветку зелени уронит
На могилу старика!

⟨1842⟩

148. ПИР

Крыт лазурным пышным сводом,
Вековой чертог стоит,
И пирующим народом
Он семь тысяч лет кипит.

Чудно яркое убранство,
И негаснущим огнем
Необъятное пространство
Озаряется кругом!
То, взносясь на свод хрустальный,
Блещет светоч колоссальный,
То сверкает вышина
Миллионом люстр алмазных,
Морем брызг огнеобразных,
И средь бездны их — одна,
Будто пастырь в группе стада,
Величавая лампада,
И елейна и ясна,
Светом матовым полна.

В блеске праздничной одежды
Здесь ликует сибарит;
Тут и бедный, чуть прикрыт
Ветхим лоскутом надежды;

Мудрецы, глупцы, невежды...
Всем гостям места даны;
Все равно приглашены.
Но не всем удел — веселье;
Угощенье не одно:
Там — отрава злого зелья,
Там — отрадное вино;
Тот блестящими глазами
Смотрит сверху; тот — внизу,
И под старыми слезами
Прячет новую слезу;
Те выносят для приличья
Груз улыбки на устах;
Терни грустного величья
Скрыты в царственных венцах.
Много всяческой забавы:
Там — под диким воплем славы
Оклик избранных имен,
Удостоенных огласки;
Там — под музыкой времен
Окровавленные пляски
Поколений и племен;
Крики, брань, приветы, ласки,
Хор поэтов, нищих клир,
Арлекинов пестрый мир
И бесчисленные маски...
Чудный пир! Великий пир!
Ежечасны перемены:
Те уходят с общей сцены,
Те на смену им идут.
После праздничной тревоги
Гостя мирного на дроги
С должной почестью кладут.
Упоили, угостили,
Проводили, отпустили!
И, недвижный и немой,
Он отправился домой!
Чашу горького веселья
Он до капли осушил
И до страшного похмелья
Сном глубоким опочил.
И во дни чередовые
Вслед за ним ушли другие, —

Остаются от гостей
Груды тлеющих костей.

Взглянешь, многие постыдно
На пиру себя ведут,
А хозяина не видно,
А невидимый — Он тут.
Час придет: Он бурей грянет,
И смятенный мир предстанет
Перед Ним на грозный суд!

⟨1842⟩

149. ПОЗВОЛЬ

Планетой чудной ты, Анета,
Очам являешься моим.
Позволь мне, милая планета,
Позволь быть спутником твоим,
Твоей луной! — Я не забуду
Моих обязанностей: я,
Как ни кружись, усердно буду
Идти, кружась вокруг тебя.
Днем не помеха я — тут очи
Ты можешь к солнцу обратить;
Я буду рад хоть в мраке ночи
Тебе немножко посветить;
С зарей уйду, потом обратно
Приду в лучах другой зари, —
Лишь на мои ущербы, пятна
Ты снисходительно смотри!
С тобою в узах тяготенья
Я буду вместе, чрез тебя
Воспринимать свои затменья
И проясняться буду я;
Свершая вкруг тебя обходы,
Я буду — страж твоей погоды —
Блюсти, чтобы она была
Не слишком ветрена, светла.
Покорный твоему капризу,
То поднимусь, то съеду книзу,
Пойду и сбоку иногда,
И, свято чтя твои приказы,
Свои менять я буду фазы,

Подобно месяцу, всегда
По прихоти твоей единой,
С почтеньем стоя пред тобой
То целиком, то половиной,
А то хоть четвертью одной.
Довольно близкие сравненья
Я проводить без затрудненья
Гораздо дальше был бы рад
В чаду любви, в моем безумье,
Но вдруг меня берет раздумье:
Ведь месяц иногда рогат!

Между 1835 и 1842

150. КАЛИФ И РАБ

Ум свой в думы погрузив,
За столом сидел калиф.
Пред владыкой величавым
Раб трепещущий его
Блюдо с пышущим пилавом
Опрокинул на него.

Грозен, страшен, как судьба,
Посмотрел он на раба;
Тот, готов расстаться с светом,
Прошептал полуживой:
«Рай обещан Магометом
Тем, кто гнев смиряет свой».

«Не сержусь», — сказал калиф,
Укрощая свой порыв.
Ободряясь, отирает
Раб холодный пот с чела.
«Рай — и тем, — он продолжает, —
Кто не памятует зла».

«Забываю». — Веселей
Стал калиф, а раб смелей:
«Надо в светлый рай для входа
И за зло платить добром».
— «Раб! Дарю тебя свободой
И осыплю серебром».

От восторга раб едва
Мог опомниться сперва,
Пораженный этим чудом, —
А калиф смотрел, признав
Самым вкусным сердцу блюдом
Опрокинутый пилав.

Между 1835 и 1842

151. УСТАРЕЛОЙ КРАСАВИЦЕ

Пережила, Аглая, ты
Младые, розовые лета,
Но и теперь цела примета
Твоей минувшей красоты,
Достойной звучного напева;
Сгубило время, наконец,
Твой прежний скипетр и венец,
Но и без них ты — королева!
И, обходя цветущих дев,
Красе их легкой не во гнев,
Знаток изящного, глубоко
О дольней бренности скорбя,
Свое задумчивое око
Возводит часто на тебя.
Так храма славного руины
Наш останавливают взор
Скорей, чем мелкие картины
И зданья легкого узор.
Блеск отнят, краски отлетели, —
Всё ж этот мрамор — Партенон,
Где слава спит былых времен,
Гнездясь в кудрявой капители
Между дорических колонн.

Между 1835 и 1842

152. НА КОНЧИНУ А. Т. КОРСАКОВОЙ

11 ДЕКАБРЯ 1842 ГОДА

Она угасла — отстрадала,
Страданье было ей венцом;
Она мучительным концом
Достигла светлого начала.

Грустна сей бренной жизни глушь,
В ней счастья нет для ясных душ, —
Их мучит тяжко и жестоко
Невольный взгляд на море зла,
На вид ликующий порока
И света скучные дела, —
И, гордо отвергая розы
И жизни праздничный сосуд,
Они на часть себе берут
Святые тернии и слезы.
Отрада их в житейской мгле
Одна — сочувствовать глубоко
Всему, что чисто и высоко,
Что светит богом на земле.
Удел их высших наслаждений
Не в блеске злата и сребра,
Но посреди благотворений,
В священных подвигах добра!

Так, перейдя сей дольней жизни
Добром запечатленный путь,
Она взлетела — отдохнуть
В своей божественной отчизне.
Тяжелый опыт превозмочь
Судьба при жизни ей судила, —
Она давно невесту-дочь
В тот мир нетленный отпустила.
И, пераждав разлуки срок,
Спеша к родимой на свиданье,
Она другую на прощанье
Земле оставила в залог,
Чтоб *там* и *здесь* свой образ видеть
И, утешая лик небес,
Земли печальной не обидеть,
Где светлый быт ее исчез!

11 декабря 1842

153. МОНАСТЫРКАМ

ПРИ ВЫПУСКЕ 1842

Вот он, муз приют любимый,
Храм наук, обитель дев,
Оком царственным хранимый
Вертоград страны родимой,

Счастья пламенный посев,
Юных прелестей рассадник,
Блага чистого родник,
Неземных даров тайник,
Гроздий полный виноградник,
Небом дышащий цветник!

Это — мир, где жизнью вешней
Веет, дышит круглый год;
Это — мир, но мир не здешний, —
В нем гроза цветов не рвет,
Вихрь не зыблет сей теплицы,
Терн не входит в сей венец, —
Чисты белые страницы
Этих бархатных сердец.
Здесь тлетворное страданье
Не тревожит райских снов,
Здесь одно лишь — *обожанье*,
Тайнам неба подражанье.

. . . .

Срок придет, и под крылами
Разлучительных минут
Пред несметными очами
Многоцветными лучами
Девы белые блеснут;
Группой радужно летучей
Промелькнут, волшебный клир
Морем трепетных созвучий
Обольет прощальный пир;
И из райского чертога
Разлетится племя роз,
Оставляя у порога
В благодарность перлы слез.

Так, до дня миросозданья,
В слитный сплавлено венец,
Рдело божие сиянье,
Но едва изрек творец,
И творения убранство,
Звезды, перлы естества,
Вспыхнув, брызнули в пространство
С диадемы божества;
И, простясь одна с другою
И облекшись в благодать,

Стали розно над землею
Миру темному сиять;
И во мгле земного быта
Есть для каждого одна, —
Тайна жизни в ней сокрыта
И судьба заключена.

Так, но грозный миг разлуки, —
Чуя славу впереди,
Сжаты огненные звуки
В поэтической груди;
Зреют, спеют молодые,
Долго на сердце лежат —
Срок наступит, и родные
Крупным хором задрожат,
Хлынут звонкою слезою,
И, рассыпаны певцом,
Эти звуки под грозою
В мир уходят за венцом!

Срок настал: из врат науки,
Из священной глубины
Излетайте, божьи звуки,
Звезды русской стороны!
Свет проникнут ожиданьем, —
Взвейтесь, дивные, в эфир
И негаснущим сияньем
Очаруйте бедный мир!

1842

154. ТУЧА

Темна и громадна, грозна и могуча,
По небу несется широкая туча.
Взгляните: как ветер ей кудри клубит,
Ей перси лелеет и, полный усилья,
Приняв ее тяжесть на мягкие крылья,
Ее по пространству воздушному мчит.

Ничто не смущает высокого хода:
Кругом беспредельный простор и свобода,
Картина вселенной пред нею полна;
Пред нею открыты эфирные бездны,
И рать херувимов, и полчища звездны,
И что же? — Взгляните на тучу: черна,

Сурова, угрюма, с нахмуренным ликом,
На мир она смотрит в молчании диком,
И душно, и грустно ей в небе родном,
И вид ее гневный исполнен угрозы;
В свинцовых глазах ее замкнуты слезы,
Меж ребрами пламя, под мышцами гром.

Страдальца-поэта удел ей назначен:
Высок ее путь, и свободен, и мрачен;
До срочного мига всё тихо кругом...
Но вот — встрепенулись дозревшие силы:
Браздами просеклись огнистые жилы,
И в крупных аккордах рассыпался гром.

И после минувшей, утихнувшей бури
Живее сиянье бездонной лазури,
Свежее дубравы зеленая сень,
Душистей дыханье и роз и ясминов, —
И, радугу гордо с плеча перекинув,
Нагнулся на запад ликующий день.

А туча, изринув и громы и пламя,
Уходит в лоскутьях, как ветхое знамя,
Как эти святые хоругви войны,
Избитые в схватке последнего боя,
Как жалкое рубище мужа-героя,
Изгнанника светлой родной стороны.

И вот, остальным разрешаясь ударом,
Подъемлется туча редеющим паром,
Прозрачна, чуть зрима для слабых очей,
И, к небу прильнув золотистым туманом,
Она исчезает в отливе багряном
При матовом свете закатных лучей.

⟨*1843*⟩

155. ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ А. П. Г⟨АРТОНГ⟩

Когда в ее очах небесных пламень блещет
И полный, звонкий стих в устах ее трепещет,
То бурно катится, сверкает и звучит,

То млеет, нежится, струится и журчит, —
Я жадно слушаю страстей язык могучий
И таю под огнем пронзительных созвучий;
Всё глубже ноет грудь, и сердцу горячей,
И просится слеза из каменных очей.

Конец 1830-х — начало 1840-х годов

156. ЛЕСТНЫЙ ОТКАЗ

Пока я разумом страстей не ограничил,
Несчастную любовь изведал я не раз;
Но кто ж, красавицы, из вас,
Меня, отвергнув, возвеличил?
Она — единая! Я душу ей открыл, —
Любовь мечтателя для ней была не новость,
Но как ее отказ поэту сладок был!
Какую лестную суровость
Мне милый лик изобразил!
«Сносней один удар, чем долгое томленье, —
Она сказала мне, — оставь меня, уйди!
Я не хочу напрасно длить волненье
В твоей пылающей груди.
Я не хочу, чтоб в чаянье тревожном,
Под тяжестию мной наложенных оков,
В толпе ненужных мне рабов
Стоял ты пленником ничтожным.
Другие — пусть! Довольно, коль порой,
Когда мне не на чем остановить вниманье,
Я им, как нищим подаянье,
Улыбку, взгляд кидаю мой —
Из милости, из состраданья.
Тебе ль равняться с их судьбой?
Рожденному с мечтой и думою свободной
Тебе ли принимать горячею душой
Убогие дары от женщины холодной?
Я не хочу обманом искушать
Поэта жар и стих покорный
И полунежностью притворной
Тебя коварно вдохновлять,
Внушать страдальцу песнопенья
И звукам, вырванным из жаркой глубины,
Рассеянно внимать с улыбкой одобренья
И спрашивать: «Кому они посвящены?»

Заветных для меня ты струн не потревожишь —
Нет! Для меня — к чему таить? —
Необходим ты быть не можешь,
А лишний — ты не должен быть!»
И я внимал словам ласкательно-суровым,
Их ангел произнес — хранитель бытия,
Я им внимал — и с каждым словом
И крепнул думою и мужественнел я, —
И после видел я прозревшими очами,
Как пленников главы, покорности в залог,
У ног красавицы простертыми кудрями
Сметали пыль с прелестных ног.
Пустой надеждою питался каждый данник,
А я стоял — вдали — отвергнутый избранник.

⟨1844⟩

157. РЕВНОСТЬ

Есть чувство адское: оно вскипит в крови
И, вызвав демонов, вселит их в рай любви,
Лобзанья отравит, оледенит объятья,
Вздох неги превратит в хрипящий вопль проклятья,
Отнимет всё — и свет, и слезы у очей,
В прельстительных власах укажет свитых змей,
В улыбке алых уст — геенны осклабленье
И в легком шепоте — ехиднино шипенье.

Смотрите — вот она! — Усмешка по устам
Ползет, как светлый червь по розовым листам.
Она — с другим — нежна! Увлажены ресницы;
И взоры чуждые сверкают, как зарницы,
По шее мраморной! Как молнии, скользят
По персям трепетным, впиваются, язвят,
По складкам бархата медлительно струятся
И в искры адские у ног ее дробятся,
То брызжут ей в лицо, то лижут милый след.
Вот — руку подала!.. Изменницы браслет
Не стиснул ей руки... Уж вот ее мизинца
Коснулся этот лев из модного зверинца
С косматой гривою! — Зачем на ней надет
Сей ненавистный мне лазурный неба цвет?
Условья нет ли здесь? В вас тайных знаков нет ли,
Извинченных кудрей предательные петли?

Вы, пряди черных кос, задернутые мглой!
Вы, верви адские, облитые смолой,
Щипцами демонов закрученные свитки!
Снаряды колдовства, орудья вечной пытки!

⟨1845⟩

158. ЛЕБЕДЬ

Ветер влагу чуть колышет
В шепотливых камышах.
Статный лебедь тихо дышит
На лазуревых струях.
Грудь, как парус, пышно вздута,
Величава и чиста;
Шея, загнутая круто,
Гордо к небу поднята;
И проникнут упоеньем
Он в державной красоте
Над своим изображеньем,
Опрокинутым в воде.

Что так гордо, лебедь белый,
Ты гуляешь по струям?
Иль свершил ты подвиг смелый?
Иль принес ты пользу нам?
«Нет, я праздно, — говорит он, —
Нежусь в водном хрустале.
Но недаром я упитан
Духом гордым на земле.
Жизнь мою переплывая,
Я в водах омыт от зла,
И не давит грязь земная
Мне свободного крыла.
Отряхнусь — и сух я стану;
Встрепенусь — и серебрист;
Запылюсь — я в волны пряну,
Окунусь — и снова чист.

На брегу пустынно-диком
Человека я встречал
Иль нестройным, гневным криком,
Иль таился и молчал,

И, как голос мой чудесен,
Не узнает он вовек, —
Лебединых сладких песен
Недостоин человек.
Но с наитьем смертной муки
Я, прильнув к моим водам,
Сокровенной песни звуки
Прямо небу передам!
Он, чей трон звездами вышит,
Он, кого вся твердь поет,
Он — один ее услышит,
Он — один ее поймет!

Завещаю в память свету
Я не злато, не сребро,
Но из крылий дам поэту
Чудотворное перо;
И певучий мой наследник
Да почтит меня хвалой,
И да будет он посредник
Между небом и землей!
Воспылает он — могучий
Бич порока, друг добра, —
И над миром, как из тучи,
Брызнут молнии созвучий
С вдохновенного пера!

С груди мертвенно-остылой,
Где витал летучий дух,
В изголовье деве милой
Я оставлю мягкий пух,
И ему лишь, в ночь немую,
Из-под внутренней грозы,
Дева вверит роковую
Тайну пламенной слезы,
Кос распущенных змеями
Изголовье перевьет
И прильнет к нему устами,
Грудью жаркою прильнет,
И, согрет ее дыханьем,
Этот пух начнет дышать

И упругим колыханьем
Бурным персям отвечать.
Я исчезну, — и средь влаги,
Где скользил я, полн отваги,
Не увидит мир следа;
А на месте, где плескаться
Так любил я иногда,
Будет тихо отражаться
Неба мирная звезда».

⟨1845⟩

159. РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Когда, в пылу воображенья,
Мечтой взволнованный поэт,
Дрожа в припадке вдохновенья,
Творит красавицы портрет,
Ему до облачного свода
Открыт орлиный произвол;
Его палитра — вся природа,
Кисть — гармонический глагол;
Душа кипит, созданье зреет,
И, силой дивной зажжено,
Под краской чувства пламенеет
Широкой думы полотно.

При громе рифмы искрометной
Приимец выспренних даров
Порою с прелести заветной
Срывает трепетный покров,
Дианы перси обнажая
Иль стан богини красоты,
И эти смелые черты
Блистают, небо отражая;
А чернь во храме естества
На этот свет, на эти тени
Глядит и тело божества
Марает грязью помышлений, —
Пускай! .. Так солнца светлый шар
В часы торжественного взлета
Нечистый извлекает пар
Из зыби смрадного болота,

Но то же солнце, облаков
Раздвинув полог, в миг восстанья
Подъемлет пар благоуханья
Из чаши девственных цветов.

⟨1845⟩

160. ПОРЫВ

Нет, милые друзья, — пред этой девой стройной
Смущаем не был я мечтою беспокойной,
Когда — то в очи ей застенчиво взирал,
То дерзостный мой взор на грудь ее склонял,
Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной.
Роскошный этот вид и гордость на челе
Являли мне тогда богиню на земле.
Я вас не понимал, — мне чужд был и несроден
Ваш чувственный восторг. От дум земных свободен,
Я чувство новое в груди своей питал:
Поклонник чистых муз — желаньем не сгорал
Удава кольцами вкруг милой обвиваться,
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться —
Нет! — Жрец изящного — я мыслил: в этот миг
К чему мне звуков дар, гремучий мой язык?
О, если бы теперь, сим видом упоенный,
Я был сын древности, ваятель вдохновенный!
Блеснул бы в этот миг мне Фидия венец,
Луч яркий божества во грудь мою проникнул,
«Вот перси дивные! — тогда бы я воскликнул. —
Подайте мрамор мне! Подайте мне резец!»
И с мраморной скалы я б грубый череп скинул,
И перси из нее божественные вынул,
И жизнью облил их. Казалось бы, оне,
Сокрыв огонь страстей в бездонной глубине,
На миг оцепенев под искусом желанья,
Наполнились волной мятежного дыханья,
И, бурный вздох в себе стараясь удержать,
Готовы — закипеть, хотят — затрепетать;
И всё, что в них влекло б к земному обольщенью,
Слегка полузакрыв кудрей волнистых тенью,
Богини чистый лик я вывел бы светло
И думу строгую ей бросил на чело,
Чтоб смертный, подходя, вдруг вспыхивал, как пламень,

И, дерзкий, мнил обнять богоподобный камень,
Но, взоры возведя на светоносный лик,
Мгновенно б головой преступною поник,
Молитву произнес в ограду от волнений
И, бледный, преклонил дрожащие колени.

⟨*1845*⟩

161. ТРИ ИСКУШЕНИЯ

В дни пылкой юности, в разгуле бытия,
Я знал три гибели, знал три предмета я
Всесокрушительных: то очи огневые,
Да кудри темные, да перси наливные.
Те очи... небо в них являлось; но оно
В две черных радуги бровей облечено;
Сокрыв свою лазурь и яркий блеск денницы
За облаками вежд, за иглами ресницы,
Под сводом гордого, лилейного чела
Мрачилось, гневное; таинственная мгла
По прихоти его мгновенно покрывала,
Струила дождь и град и молнии метала.

Те кудри черные... их страшно вспомянуть!
Те кудри... целый мир в них мог бы утонуть.
Когда б они с главы упали вдруг разлиты
И бурей взвеяны; извиты, перевиты,
Как змеи лютые, они вились, черны,
Как ковы зависти, как думы сатаны.
Та черная коса, те локоны густые,
И волны, пряди их и кольца смоляные,
Когда б раскинуть их, казалось бы, могли
Опутать, окружить, обвить весь шар земли,
И целая земля явилась бы черницей,
В глубоком трауре, покрыта власяницей.

Те перси юные... о! то был дивный край,
Где жили свет и мрак, смыкались ад и рай;
То был мятежный край смут, прихотей, коварства;
То было бурное, взволнованное царство,
Где не могли сдержать ни сила, ни закон
Сомнительный венец и зыблющийся трон;
То был подмытый брег над хлябью океана,
Опасно движимый дыханием вулкана;

Но жар тропический, но климат золотой,
Но светлые холмы страны заповедной,
Любви неопытной суля восторг и негу,
Манили юношу к таинственному брегу.

⟨1846⟩

162. И ТЩЕТНО ВСЁ

Заветных ласк вовек не удостоен,
Я доживал без тайных сердца смут.
Бесстрастно-тверд, безрадостно-спокоен,
Я мирно жил, — без счастия живут.

Я забывал минувшие страданья,
И, молодость отправя в темну даль,
Я ей сказал: прости — не до свиданья!
Нет, мне тебя, напрасная, не жаль.

Я оценил и тишь уединенья,
И краткий сон, и благодатный труд,
И сладкими слезами вдохновенья
Я доливал мой жизненный сосуд.

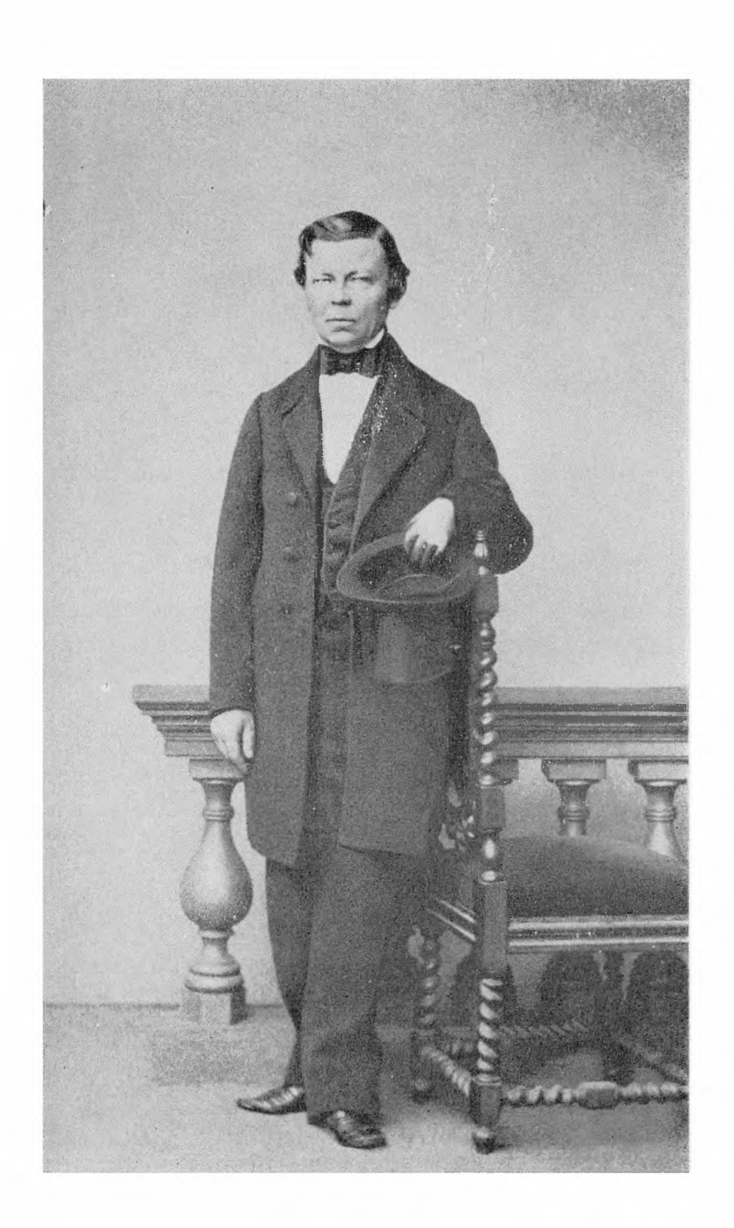
Без бурного, мучительного пылу
Я созерцал явленья красоты
И тихую высматривал могилу,
Венок и крест... И вдруг явилась ты!

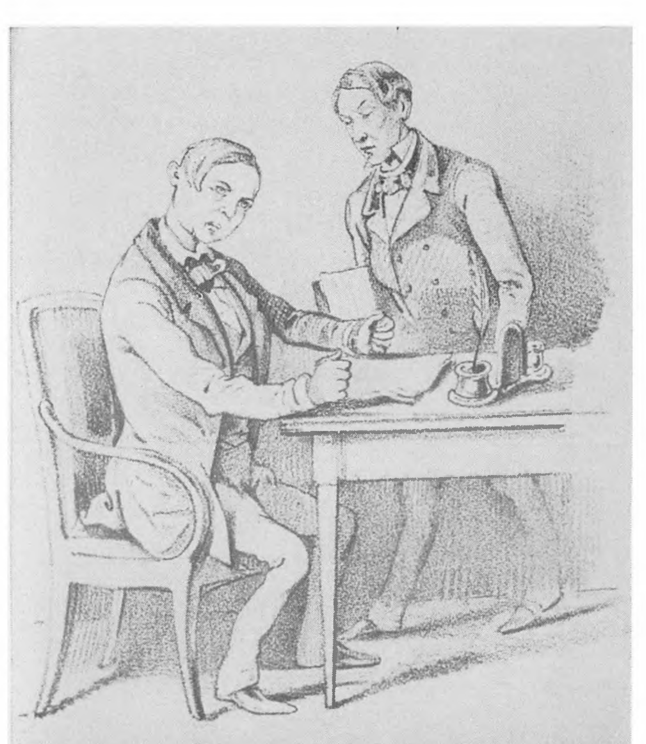
И долго я упорствовал безмолвно,
Пред чувствами рассудка ставил грань
И сердцу говорил: «Ну, полно, полно!
Не стыдно ли? Уймись же! Перестань!»

И холодом притворного бесстрастья
Я отвечал вниманью твоему,
Закрыв глаза перед улыбкой счастья,
Я всё твердил: «Не верить ничему!»

И тщетно всё! Я трепетного сердца
Уговорить, усовестить не мог.
И тщетно всё, — под маскою безверца
Луч веры рдел и сказывался бог.

⟨1846⟩





Чиновникъ: Есть нужныя бумаги къ докладу.
Поэтъ: Вы дайте мнѣ лѣсу! дремучаго лѣсу!

(см. *Бенедик.* Т. III. ст. 52.)

163. ОНА БЫЛА ДОБРА

Забуду ли ее? — Она вилась, как змейка,
Сверкая искрами язвительных очей,
А всё ж была добра мне милая злодейка,
И за свою любовь я благодарен ей.
Мою докучливость она переносила,
Мое присутствие терпела; даже грусть,
Грусть вечную мою, глубокую — щадила,
Страдать позволила и говорила: «Пусть!
Пускай он мучится! Страдание полезно.
Пусть любит он меня, хоть любит нелюбезно!
Пускай надеется! Зачем ему мешать
И вдохновляться мной, и рифмы совершать?
Для песен пламенных ему я буду темой,
И он потешит нас гремучею поэмой!»
Я пел, — и между тем как с легкого пера
Катился бурный стих, мучительный и сладкой,
Она, лукавая, смеялась... но украдкой —
Итак, — не правда ли? — она была добра?

⟨*1846*⟩

164. ЦВЕТОК

Есть цветок... его на лире
Вечно славить я готов.
Есть цветок... он в грустном мире
Краше всех других цветов.
То цветок не однолетний:
Всё милее, всё приветней
Он растет из году в год
И, дивя собой природу,
По семнадцатому году
Полной прелестью цветет.
Он подъемлется так статно,
Шейка тонкая бела,
А головка ароматна,
И кудрява, и мила.
Он витает в свете горнем,
И, пленительно живой,
Он не связан грязным корнем
С нашей бедною землей.

Не на стебле при дорожках
Неподвижно одинок —
Нет, — на двух летучих ножках
Вьется резвый тот цветок.
От невзгод зимы упрямой
Жизнь его охранена
За двойной ревнивой рамой
Светозарного окна, —
И, беспечный, он не слышит
Бурь, свистящих в хладной мгле:
Он в светлице негой дышит,
Рдеет в комнатном тепле.
Непонятное растенье!
Нежен, хрупок каждый сгиб:
Лишь одно прикосновенье —
И прелестный цвет погиб!

Увлекая наши взоры,
Слабый, ищет он опоры,
Но страшитесь! Он порой,
Томный, розово-лилейный,
Дышит силой чародейной,
Колдовством и ворожбой.
Полный прелести, он разом
Сердце ядом напоит,
Отуманит бедный разум,
Обольстит и улетит!

⟨1848⟩

165. ЗЕМНАЯ ТЫ

О нет, нельзя назвать небесной
Сей ощутимой красоты
И этой прелести телесной:
Красавица! земная ты!

Так что ж? Лишь в юности начальной
Мы ищем девы идеальной,
Как беззакатный, вечный день
Нам блещут девственные очи...
Но вечный день любить нет мочи:
В блестящий день давай нам тень!
Мы днем хотим немножко ночи.

Земная ты... Но кто поймет
Небес далеких глас призывный,
Когда хоть луч один блеснет
Твоей вещественности дивной?
Земная ты... Но небеса
Творит сама твоя краса:
Ее вседвижущая сила
Свои ворочает светила,
Твоя взволнованная грудь
В себе хранит свой Млечный Путь,
Кругом свершаются движенья
Покорных спутников твоих,
И вкруг себя ты водишь их
По всем законам тяготенья.

Земная ты... Но небосклон
Единым солнцем озарен,
И то лишь днем, — а в лоне ночи
Ты, к изумленью естества,
Едва откроешь ясны очи —
И вдруг воспламеняешь два,
И их сияньем превосходишь
Сиянье неба во сто крат,
И их с восхода на закат
В одно мгновенье переводишь.
Блажен, кто видит сих денниц,
Во мраке вспыхнувших, явленье
И их закатное томленье
Под шелком спущенных ресниц,
Когда ланиты пламенеют,
Уста дрожащие немеют
И в вольной прихоти своей,
Лобзая розы и лилеи,
Текут на грудь, виясь вкруг шеи,
Струи рассыпанных кудрей
И кос распущенные змеи.

⟨1848⟩

166. ОБВИНЕНИЕ

И твой мне милый лик запечатлен виной.
Склони ж внимание и слушай обвиненье!
Да, ты виновна предо мной,
Виновна в страшном похищенье.

Одним сокровищем я в мире обладал,
Им дорожил, над ним рыдал,
Его таил от взоров света
В непроницаемой глуши,
Под гордым рубищем поэта
На дне растерзанной души;
Ты — унесла его лукаво,
Как ночь уносит злато дня:
Ты отняла, украла у меня
Мое единственное право;
То право — некогда, кончая жизни путь,
С усмешкой горькою на прошлое взглянуть,
На всё, что сам себе я в мире заповедал,
И с гордостью сказать друзьям моим: «Друзья!
Вот жизнь моя! Я счастия не ведал.
Теперь — застенчиво я буду умирать».
Начну ль минувшее, кончаясь, разбирать, —
Блаженства образ я увижу
Среди моих предсмертных грез
И свой последний час унижу
До сожаленья и до слез!
И в совести упрек родится беспокойный:
Зачем я, счастья недостойный,
Сосуд его к устам горящим приближал?
Зачем не умер я, в тоске перегорая?
Зачем я суетно мечтал
О счастии земного рая?
И боязливо я взгляну на небеса
В последний раз с земного края,
Рукой хладеющей стыдливо прикрывая
Полупомеркшие глаза.

⟨1848⟩

167. ДОГАДКА

Когда ты так мило лепечешь «люблю»,
Волшебное слово я жадно ловлю;
Оно мне так ново, и странно, и чудно;
Не верить мне страшно, а верить мне трудно.
На праздное сердце певца твоего,
Быть может, ты кинула взгляд сожаленья
И, видя в нем глушь, нищету, запустенье,
Размыслила: «Дай я заполню его!

Он мил быть не может, но тихо, бесстрастно
Я буду ласкать его сирый порыв;
Не боле, чем прежде, я буду несчастна,
А он — он, быть может, мной будет счастлив!»
И с ангельским, кротким, небесным приветом
Ко мне обратился твой дружеский взор,
И в сердце моем, благодатно согретом,
Мечты и надежды воскресли с тех пор.

⟨1848⟩

168. СТАРОЙ ЗНАКОМКЕ

Я вас знавал, когда мечтами
Вам окрылялся каждый час
И жизнь волшебными цветами
Шутя закидывала вас.
О! в те лета вам было ясно,
Что можно в счастье заглянуть,
Что не вотще холмится грудь
И сердце бьется не напрасно.

Я был при вас; меня ничто
Не веселило, я терзался,
Одними вами любовался —
И только был терпим за то.
Очами ясными встречали
Мое вы грустное чело
И ваших радостей число
На нем — на сей живой скрижали —
Летучим взором отмечали.

Теперь, когда вы жизнь свою
Сдружили с горем и бедами,
Я, вам не чуждый, перед вами
Как хладный памятник стою.
Я вам могу, как свиток пыльный,
Напоминать былые дни, —
На мне, как на плите могильной,
Глубоко врезаны они.
Мне жаль вас видеть в этой доле,
Вас мучит явная тоска,
Но я полезен вам не боле,
Как лист бездушный дневника.

Мой жребий с вашим всё несходен:
Доныне дороги вы мне,
Я вам для памяти лишь годен, —
Мы оба верны старине!
Я, на плечах таская бремя
Моей всё грустной головы,
Напоминаю вам то время,
Когда блаженствовали вы;
А вы, в отплату мне, собою,
Движеньем взора своего,
Напоминаете порою
Все муки сердца моего.

⟨1849⟩

169. ПЕРЕД БОКАЛАМИ

Кубки наполнены. Пена, как младость,
Шумно играет на гранях стекла.
Други! Какая ж внезапная радость
Нас на вакхический пир собрала?

Радость?.. О нет! Если б с божьего неба
Луч ее светлый нам в душу запал, —
Прочь соки гроздий, хотя бы и Геба
Вышла поднесть нам сладчайший фиал!
«Прочь этот нектар!» — воскликнем мы дружно.
Радостью дух наш да полнится весь!
Двух упоений сердцу не нужно,
Вкус оскорбляет преступная смесь.
Если ж кто может струей виноградной,
Бурно-кипящей и искристо-хладной,
Радость возвысить и, грудь пламеня,
Сердцу подбавить вящую сладость, —
Други! то бедная, жалкая радость,
Радость такая — горю родня.

Кубки высокие, полны шипенья,
Блещут — и круг разгорается наш.
Други! Ужели в бедах утешенья
Ищем мы ныне в испитии чаш?

Нет! Лютой горести зуб всегрызущий
Душу терзал бы средь оргии пуще.
Духа в печали вино не свежит:
Злая настигнет и глубже укусит,
Если кто в битве с судьбиною трусит
И малодушно за чашу бежит.
Сердцу покоя питьем не воротишь,
Горе увидишь и в светлом вине;
С каждою каплею горе проглотишь,
Выпьешь до капли — а горе на дне!
Если ж кто в страхе над жизненным морем
Дух врачевал свой игривым клико, —
Други! поверьте, тот хвастал лишь горем,
Скорби не знал, не страдал глубоко!

Нет! Мы не в радости, мы и не в горе
Действуем винно в сем дружном соборе:
Жизнь лишь сухую сошлись окропить
И потому равнодушно, спокойно,
Так, как мужам средь беседы пристойно,
Тихо, степенно, обдуманно пить!

⟨1849⟩

170. ⟨Л. Е. Ф.⟩

Есть два альбома. Пред толпою
Всегда один из них открыт,
И всяк обычною тропою
Туда ползет, идет, летит.
Толпа несет туда девице —
Альбома светлого царице —
Желаний нежные цветы
И лести розовой водицей
Кропит альбомные листы.
Там есть мечты, стихи, напевы
И всякий вздор. . . Но есть другой
Альбом у девы молодой, —
Альбом тот — сердце юной девы.
Сперва он весь как небо чист,
Вы в нем ни строчки не найдете,

Не тронут ни единый лист
В его багряном переплете.
Он — тайна вечная для нас,
Толпа сей книжки не коснется, —
Для одного лишь в некий час
Она украдкой развернется, —
И счастлив тот, кто вензель свой,
Угодный ангелу-девице,
Нарежет огненной чертой
На первой розовой странице!

Между 1842 и 1850

171. ЕЩЕ ЧЕРНЫЕ

О, как быстра твоих очей
Огнем напитанная влага!
В них всё — и тысячи смертей,
И море жизненного блага.
Они, одетые черно,
Горят во мраке сей одежды;
Сей траур им носить дано
По тех, которым суждено
От них погибнуть без надежды.
Быть может, в сумраке земном
Их пламя для того явилось,
Чтоб небо звезд своих огнем
Перед землею не гордилось,
Или оттоль, где звезд ряды
Крестят эфир лучей браздами,
Упали белых две звезды
И стали черными звездами.
Порой, в таинственной тени,
Слегка склоненные, они,
Роняя трепетные взгляды,
Сияньем теплятся святым,
Как две глубокие лампады,
Елеем полные густым, —
И, укротив желаний битву
И бурю помыслов земных,
Поклонник в трепете при них
Становит сердце на молитву.

Порой в них страсть, — ограждены
Двойными иглами ресницы,
Они на мир наведены
И смотрят ужасом темницы,
Где через эти два окна
Чернеет страшно глубина, —
И поглотить мир целый хочет
Та всеобъемлющая мгла,
И там кипящая клокочет
Густая черная смола;
Там ад, — но муки роковые
Рад каждый взять себе на часть,
Чтоб только в этот ад попасть,
Проникнуть в бездны огневые,
Отдаться демонам во власть,
Истратить разом жизни силы,
Перекипеть, перегореть,
Кончаясь, трепетать и млеть,
И, как в бездонных две могилы,
Всё в те глаза смотреть — смотреть.

Между 1842 и 1850

172. КАК ХОРОША!

Перед *нею* умиленьем
Свято теплилась душа,
И, проникнут упоеньем,
Я шептал с благоговеньем:
«Боже мой! Как хороша!»

Но чрез миг, пред милым ликом
Страстным пламенем дыша,
Задрожав в восторге диком,
Пал я ниц с безумным криком:
«Черт возьми! Как хороша!»

Между 1842 и 1850

173. УЖИН У КАРДИНАЛА РИШЕЛЬЕ

Комната в гостинице на дороге из Парижа в Рюэль, где находится загородный дом кардинала-министра. В камине разведен огонь. Пожилой человек сидит у камина и просушивает измокшую свою одежду. Это — Гоше, незначительный парижский ремесленник из улицы Сен-Дени. От времени до времени видны проблески молнии и слышны раскаты грома.

Гоше

(один)

Какая буря! Черт возьми!
Досадно! Вот и остановка!
Вот так-то с бедными людьми
Всегда бывает, — всё неловко,
Всё не под стать, везде беда.
Сам бог немилостив к ним — да!
Где нужно вёдро — шлет им бурю.
Знать, не для бедных создан свет!

Молния и гром.

Ишь как блестит, гремит! Да нет!
Уж я глаза себе зажмурю
И уши наглухо заткну,
А до Рюэля донырну,
Хоть в море обратись дорога!
Чай, мул мой отдохнул немного
Теперь в конюшне — свежих сил
Себе подбавил. В самом деле,
К чему ж заране я уныл?
Ведь к сроку буду ж я в Рюэле!

Входит проезжий в мокрой одежде.

Незнакомец

(не видя Гоше)

Э! Время терпит. Отдохну
В гостинице.

(Подойдя к камину и увидя Гоше.)

Ах, извините!

Я думал: я один здесь...

Гоше

Ну!
Так что ж такое? — Стул берите,
И сядем вместе у огня.
Ведь вы проезжий здесь, я — тоже,
Вы не помеха для меня.
Притом я тотчас еду...

Незнакомец

Боже!
В такую бурю?

(В сторону.)

Как он мил,
И прост, и вежлив в обращенье!

Гоше

Что ж делать? Я бы не спешил,
Когда б не крайность. Приглашенье
Такое важное! Вовек
Не ожидал... да вот — поди же!
Да придвигайте стул поближе!

Незнакомец

(в сторону)

Ужели знатный человек?
В нем вовсе нет дворянской спеси,
Я думал — он из нашей смеси
Простонародной.

Гоше

Я спешу
В Рюэль, и вас сказать прошу:
Куда ваш путь?

Незнакомец

Да я — туда же —
В Рюэль. Притом скажу вам даже —
И я по крайности почти.

Гоше

Так вот — нам вместе б по пути!
Я — человек нецеремонный,
И если вы так благосклонны...

Незнакомец

(в сторону)

Когда б он знал, кто я!

(Вслух.)

Весьма
Приятно ваше предложенье,
Но — этой бури кутерьма
Меня пугает. Приглашенье,
Сказали вы, торопит вас.
Меня ж в Рюэль влечет приказ.
Я тороплюсь по тяжкой службе,
Которой сил нет выносить.
А вы? .. Могу ли вас спросить? ..

Гоше

Да как сказать-то вам? — По дружбе
Недавней, новой для меня.
В Рюэле, с нынешнего дня,
Каким-то случаем, мне темным,
Попасть я должен в знатный круг.

Незнакомец

Позвольте... Быть боюсь нескромным
Через такой вопрос... Ваш друг...
Он кто такой?

Гоше

Не бойтесь! — Тайны
Тут нету. Это так — случайно
Всё вышло. Переход мой быстр.

Незнакомец

Так кто же? ..

Гоше

Кардинал-министр,
Сам Ришелье. Да.

Незнакомец

(встает)

Извините!
А я так запросто...

Гоше

Сидите!
Всё вздор! Не лезть же мне в князья
Иль графы! Выслушайте: я
Мещан лишь знаю — нашу братью
И не якшался век со знатью.
Куда мне? Боже упаси!
У герцогов Монморанси
Служили, правда, поварами
Отец и дед мой, — вот вся связь
Моя со знатными домами —
И та злой казнью прервалась
Над герцогом. Я просто — скудный
Ремесленник парижский. Тут,
Я говорю вам, случай чудный —
И только. Вдруг мне подают
Записку. Развернул — зовут
Меня... Не знаю — видно, нужен
Я кардиналу стал... на ужин
К нему сегодня. Боже мой!
Всё закружилось в околотке, —
Кричат, разинулись все глотки:
«Смотрите! Экой ведь какой
Гоше счастливец-то на свете!»
Я одурел. Жена и дети
Засуетились и сейчас
Давай мне туалет мой ладить,
Скоблить и чистить, мыть и гладить;
Всё приготовили как раз.
Гляжу — ну просто чародейство!
Вы понимаете? У вас,
Быть может, также есть семейство,
Которое вас любит, ждет...

Незнакомец

Жена и дети есть.

Гоше

Ну вот,
Как нас судьба во всем сближает!
Так ваше сердце понимает,
Что чувствует теперь мое!

Да, быть кому господь назначил
Отцом... Позвольте — как я начал
Рассказ-то? — Да! Мой фрак, белье —
Всё приготовлено, и стекла
Очков протерты — ну, взглянуть,
Так любо! Снарядился в путь —
И вот — извольте! — всё промокло
Насквозь. Чай, бедная жена
И дочери теперь в тревоге.
Но я не стану на дороге —
Нет, я до цели доберусь,
Хоть мокрой курицей явлюсь
На приглашенье кардинала
С ним ужинать. Такая честь,
Вы согласитесь, ведь немало
И пользы может мне принесть
Существенной: мои делишки
Поправятся, теперь нужда
И недостатки — а тогда,
Надеюсь, будут и излишки.
Тогда и ближним услужу,
Жену, детей принаряжу;
Гордиться, право, я не буду,
И вас, поверьте, не забуду
При случае.

(Подает Незнакомцу руку.)

Коль у двора
Упрочу я себе местечко —
В виду имейте человечка!
Однако мне пора, пора!
Прощайте! Продолжать беседу
Мне больше некогда. Я еду.

(Гоше надевает на себя верхнюю одежду, берет шляпу, встряхивается и оправляется, а между тем Незнакомец рассуждает сам с собою.)

Незнакомец

Мне жаль его. Какой добряк!
За что погибнет он? Конечно,
За вздор! И как бесчеловечно
Смеются! Ужинать бедняк
Готовится и ожидает

Великих милостей; семья
Его с восторгом провожает
В дорогу... Боже мой! И я
Быть должен гибельным орудьем
Подобных дел! И правосудьем
Зовут их! Нет, не потерплю!
Нет! Я его остановлю.

(Громко, к уходящему Гоше.)

Послушайте! эй, воротитесь!

Гоше

(остановясь в дверях)

Но..., я спешу.

Незнакомец

Не торопитесь!
Два слова выслушайте!

Гоше

(возвращаясь)

Я
Вас слушаю.

Незнакомец

Душа моя
Полна невольным к вам участьем.
Не думайте, что вас за счастьем
Зовут в Рюэль! На ужин там
Людскою кровью хлебы месят.
Туда опасно ехать вам.

Гоше

Что ж мне там будет?

Незнакомец

Вас — повесят.

Гоше

О, это слишком уж... За что?

Незнакомец

Да так. Быть может, и за то,
Что вы Монморанси жалели
Казненного.

Гоше

О, слова нет!
Жалел. Ведь мой отец и дед
При кухне герцогов имели
Места и должность, и всегда
Превозносили их. О, да!
Как не жалеть! Притом казненный
Такой был добрый, благосклонный
К нам — беднякам.

Незнакомец

Быть может, вслух
Вы сожалели, хоть невольно!

Гоше

Да, помнится, но лишь при двух
Иль трех приятелях.

Незнакомец

Довольно,
И даже слишком.

Гоше

Неужель
Из этого весь случай вышел?
Я говорил тайком.

Незнакомец

Он слышал.

Гоше

Издалека...

Незнакомец

Дошло в Рюэль.

Гоше

Помилуйте! Ведь каждый дышит,
Вздыхает...

Незнакомец

Кардинал всё слышит.

Гоше

Да разве страшен я ему?
Что мой ему ничтожный говор?
Я говорил лишь потому,
Что мой отец — любимый повар
Был герцога. Поплакал я,
Ручей из глаз невольно вытек.
А то мне что? Я не политик
И дел их хитрых не судья.
Что мне политика? Да рухни
Она совсем!

Незнакомец

А иногда
У кардинала не чужда
Она ни поваров, ни кухни.
Он зорко смотрит и туда,
И там всё чует, слышит, видит.
Вы плакали, — он ненавидит
И смех, и слезы. Ни того,
Ни этого, и ничего —
Не нужно.

Гоше

Знаете его,
Как видно, вы весьма подробно.

Незнакомец

Да. Мне рассматривать удобно
Его с изрядной высоты
При зрелищах его любимых.

Его трудов неутомимых
Я вникнул в красные черты.

Гоше

Но кто ж вы? Мне понять вас трудно.
Всё это странно мне и чудно.
Я столько вижу тут задач
Мудреных. Боже мой! Откройтесь!
Скажите: кто вы?

Незнакомец

Я — палач.

Гоше в ужасе отступает.

Нет, это ничего, не бойтесь.
За откровенность вашу я
Вам заплачу теперь своею.
Действительно, судьба меня
Сближает с вами. Я имею,
Как вы, призвание в Рюэль.
В одну и ту же метя цель,
От общей бури мы укрылись
В одной гостинице, — и вот
Мы здесь сошлись, разговорились,
И сердце сердцу весть дает.
Скажу, откинув лицемерье, —
Мне кажется, я вам доверье
К себе внушил, и вы мне тож.
При первом взгляде узнаешь
Иного и готов до гроба
Ему служить. Семейны оба
Мы с вами, счастливы в семьях
И в небольших живем кругах —
В простонародье, но со знатью
Подчас знакомят нашу братью.
Вот вы на ужин собрались
Блестящий, где меж господами
Сидеть предполагали сами;
Но — вы мечтою увлеклись
И были б жертвой вероломства;
Мои ж со знатными знакомства
Известны всем. Кровавый путь
Назначен мне судьбой моею:

Пред ними все сгибают шею —
Я ж должен сам им шеи гнуть
Моими рабскими руками.
Мы оба с челядью в смеси:
Отец и дед ваш поварами
У герцогов Монморанси
Служили; сам я был в работе
При герцоге, на эшафоте
Ему служа в последний раз.
Теперь в Рюэль — вы всё сравните —
Вы быть повешенным спешите.
Туда ж я призван вешать вас.
Но — нет! Я лучше сам в удавку
Пойду! Уж я давно хотел
Проситься в чистую отставку
От множества нечистых дел.
Злодеев истинных немало, —
Пусть их бы! .. Обществу служить
Ведь надо ж чем-нибудь — и жить
С семейством; но у кардинала
Такие прихоти порой,
Что я не в силах... Он игрой
Считает это! .. Поезжайте
Скорей в Париж — в обратный путь,
А там и дальше как-нибудь,
И никому не открывайте,
Что здесь вы виделись со мной,
Ни даже искреннему другу, —
Иль я погибну за услугу,
Кадош-палач.

Гоше

(с чувством пожимая ему руку)

Спаситель мой!

(Поспешно удаляется.)

Между 1842 и 1850

174. ДВА КЛАДА

Старый Ян имел два клада,
Не доступных никому,
И одна была отрада
В них на старости ему.

Первый клад, что рыцарь в латах,
Был — окованный сундук,
Где чистейшее в дукатах
Береглось от хищных рук.

Клад второй была младая
Светлоликая жена,
Чистотою — ангел рая,
Обольщеньем — сатана.

Два голкондские алмаза —
Глазки, глазки — у! — беда!
Грудь — фарфоровая ваза,
Зубы — перлы в два ряда.

И ценя такие блага,
И не ведая утрат,
Посвятил им старый скряга
Хилых дней своих закат.

Заберется ль в кладовую —
Он целует все места,
Пыль глотает золотую.
Золотит свои уста.

Всё сочтет, — сундук заветный
Закрепит тройным замком,
Подрожит — и, неприметный,
Ускользает вон тайком.

После старческие ласки
Он жене своей дарит,
Подойдет, ей взглянет в глазки
И лукаво погрозит.

То, как ценный самородок,
Кудри взвесит на руке,

То возьмет за подбородок
Иль погладит по щеке.

Клад и этот цел — он видит,
И старик безмерно рад,
Подрожит и, скорчась, выйдет,
Но замкнет и этот клад.

Между тем проходят годы,
Он дряхлеет каждый миг,
И могильный зов природы
Слышит трепетный старик.

Жалко старому два клада
Бросить в мире — приуныл.
Первый клад он в угол сада
Ночью снес и там зарыл.

Не ходи в людскую руку!
Спи тут! Дело решено...
Но — куда другую штуку
Скроешь? — Вот что мудрено.

Как бы женку-то припрятать?
Как бы эту запереть,
И замкнуть, и запечатать,
А потом уж умереть?

Вот давай ее он кликать:
«Душка! Эй, поди сюда!
Жаль мне — будешь горе мыкать:
Я умру — тебе беда!

Попадешь в чужие люди, —
Ведь тебя не сберегут,
Пух твоей лебяжьей груди
Изомнут и изорвут.

Ты слыхала ль от соседок?
Ведь другие-то мужья
Жен своих и так и эдак...
Уж совсем не то, что я!

Ты была мне что невеста
От венца до этих пор,
Я тебе и честь, и место,
Да и двери на запор.

А умру — подобной чести
Не дождешься никогда.
Знаешь что? — Умрем-ка вместе!
Смерть ведь, право, не беда.

Согласись, мой розан алый!
Средство мной уж найдено».
Та в ответ ему: «Пожалуй!
Хоть умрем — мне всё равно».

«Ну, так — завтра. Ты покайся
Прежде мне, открой себя, —
Ведь сосед-то наш, признайся,
Подговаривал тебя?»

«Что таить, коль дело к смерти?
Я не отопрусь никак».
— «Ишь соседи! Эки черти!
Я уж знал, что это так.

Он хотел тебя, как видно,
Увезти, скажи, мой свет!»
— «Да; но мне казалось стыдно...
У него ж деньжонок нет;

Сам раздумает, бывало,
Да и скажет: „Подождем!
Ведь у скряги-то немало
Кой-чего — мы всё возьмем“».

«Ах, бездельник голоперый!
Ишь, так вот он до чего!
Человек-то стал я хворый,
А не то — уж я б его!»

«Успокойся же, папаша! —
Яну молвила жена. —
Вспомни: завтра участь наша
Будет смертью решена.

Ты и сам, быть может, грешен.
Как меня ты запирал
И замок тут был привешен —
Ты куда ходил?» — «В подвал».

«Может, душенька какая
Там была... признайся, хрыч!
Тяжкий грех такой скрывая,
Адской муки не накличь!

Ведь из аду уж не выдешь!
Что ж там было?» — «Ну... дитя...»
— «Незаконное! — вот видишь!
Говори-ка не шутя!

Грешник! Бог тебя накажет».
— «Что ты, дурочка? Мой сын
Мной не прижит был, а нажит —
Не от эдаких причин».

Призадумалась в кручине
Женка Яна, а супруг
Продолжал ей речь о сыне,
Разумея свой сундук:

«Мой сынок в пыли валялся,
Был в оковах, мерз зимой,
Часом звонко отзывался,
Желтоглазый был такой;

Не гульбу имел в предмете,
На подъем нелегок был, —
И уж нет его на свете:
Я его похоронил».

Тут порыв невольный взгляда
При улыбке старика
Обратился в угол сада
На могилу сундука.

«Что туда ты смотришь зорко? —
Подхватила вдруг жена. —
Там — в углу как будто горка, —
Не могилка ль там видна?

Не сынок ли твой положен
Там, куда ты так взглянул?»
Ян замялся — и, встревожен,
Помолчав, рукой махнул:

«Всё земля возьмет. И сами
Мы с нее в нее пойдем.
После все пойдут за нами:
Те все порознь, мы — вдвоем.

Завтра кончим!» Но настало
Божье утро, Ян глядит:
Женки словно не бывало,
Угол сада весь разрыт.

Что-то хуже смерти хлада
Он почуял и дрожит.
Вдруг пропали оба клада.
На столе письмо лежит.

Ужас кровь ему морозит...
То рука жены его:
«Твой сосед меня увозит
С прахом сына твоего».

Между 1842 и 1850

175. КОКЕТКА

С какой сноровкою искусной
Она, вздыхая тяжело,
Как бы в задумчивости грустной
Склонила томное чело
И, прислонясь к руке уныло
Головкой хитрою своей,
Прозрачны персты пропустила
Сквозь волны дремлющих кудрей,
Храня средь бального сиянья
Вид соблазнительный страданья!
Но, вихрем вдруг увлечена,
Стреляя молниями взгляда,
С немым отчаяньем она
Летит в Харибду галопада,
Змеею гнется в полкольца,

Блестит, скользит, мелькает, вьется
И звонко, бешено смеется,
Глотая взорами сердца;
И вьются в ловком беспорядке,
И шепчут шорохом надежд
Глубокомысленные складки
Ее взволнованных одежд.

За что ж прелестницу злословью
Ты предаешь, о злобный свет?
Добыт трудом и куплен кровью
Венок нелегких ей побед.
В сей жизни горестной и скудной
Она свершает подвиг трудный, —
Здесь бледность ей нужна была,
И вот — она себя терзала,
Лишалась пищи, сна не знала
И оцет с жадностью пила.
Там — в силу нового условья
Цвет яркой жизни и здоровья
Ей был потребен, — между тем
Она поблекла уж совсем.
Тогда, с заботой бескорыстной
За труд хватаясь живописный,
Она все розы прошлых лет
На бледный образ свой бросала
И на самой себе писала
Возобновленный свой портрет, —
И херувима новой вербы
Потом являлась вдруг свежей,
С уменьем дивным скрыв ущербы
Убогой пластики своей.
Ей нет наград в святыне чувства.
Ей предназначено в удел
Жить не для счастья — для искусства
И для художественных дел;
Влюбленных душ восторг и муку
Прилежно разлагать в науку,
Как книгу — зеркало читать,
В нем терпеливо изучать
Природы каждую ошибку,
К устам примеривать улыбку —
И ясно видеть над собой
Грабеж годов, времен разбой.

Что ж? Погруженный в созерцанье
Своих безжизненных сует,
Ты понял ли, холодный свет,
Кокетки тяжкое призванье
И оценил ли ты его,
Когда — страдалица — порою
Играла мерзлою корою
Пустого сердца твоего,
И этот лед насквозь пронзала,
Его дробила, как гроза,
И эти дребезги бросала
Тебе ж в нечистые глаза?
И ты ль дашь место укоризне,
Что колдовством коварных сил
Она хоть тень, хоть призрак жизни
Старалась вызвать из могил —
Хоть чем-нибудь — соблазном, ложью,
Поддельной в этих персях дрожью,
Притворным пламенем в крови,
Притравой жгучей сладострастья,
Личиной муки, маской счастья,
Карикатурою любви?

Между 1842 и 1850

176. ЮНОЙ МЕЧТАТЕЛЬНИЦЕ

Милое создание! Мечтая,
Веруешь ты в счастье. Каждый шаг
Для тебя — надежда золотая.
Думаешь: вот это будет так,
Это — эдак; думаешь: природа
Заодно с твоим желаньем; ждешь,
Что часы где нужно сбавят хода,
День помедлит, если он хорош;
Ну, куда спешить ему? Догонит
Срок свой после! А уж он и прочь,
И глухая сумрачная ночь,
Как могила, всё в себе хоронит;
И, смотря, как набегает тень
На твои слезящиеся очи,
Становлюсь я сам темнее ночи,
И досадно мне, что я — не день.
Я бы медлил, как тебе угодно,

Или шел скорей уж заодно,
Для меня же это всё равно, —
И спешу и медлю я бесплодно.
Не свожу я глаз с очей твоих,
Слушая твоих мечтаний сказки;
Кажется, с устами вместе, глазки
Мне твои рассказывают их;
Кажется, я слушаю глазами,
Понимая этот милый бред
Не умом, но сердцем прошлых лет,
И подчас расхлынулся б слезами.
Но — довольно! Их давно уж нет.
Понимаю этот лепет странный, —
Он проникнут негой и огнем;
Понимаю — речь идет о *нем*...
Имени не нужно... безымянный!
Он — да, *он*... кого твой ищет взор
Там и здесь. Все свойства неземные
Ты ему приписываешь... Вздор!
Всё пустое! За мечты златые,
Может быть, заплатишь ты потом
Горькою существенностью... Что же?
Не открыть ли истину ей? Боже!
Нет! Мне жаль. Пускай хоть райским сном
Насладится! Нет! И между прочим
Думаю: храни ее творец!
Что же я такое? Не отец
Для нее, — однако ж, и не вотчим,
И не бич. В развитье этих лет
Над кипучим жизненным истоком
Ощипать очарованья цвет
Ледяным, убийственным уроком!
И урок подействует ли? Нет!
Он ее напрасно лишь помучит.
Осени поверит ли весна?
Мне ль учить? Есть мачеха, она
Жизнию зовется — та научит;
И, кивая головой тогда,
Я рассказ мечтательницы милой
Слушаю, и шепотом: «Да, да», —
Говорю, а та с растущей силой
Продолжает — дальше, дальше всё.
Слышится, как сердце у нее
Разбивает юных персей крепость,

И из уст рассказчицы блажной
Чудная, прекрасная нелепость
Неудержной катится волной.

Между 1842 и 1850

177. ТОСКА

Порою внезапно темнеет душа, —
Тоска! А бог знает — откуда?
Осмотришь кругом свою жизнь — хороша,
А к сердцу воротишься — худо!

Всё хочется плакать. Слезами средь бед
Мы сердце недужное лечим.
Горючие, где вы? — Горючих уж нет!
И рад бы поплакать, да нечем.

Ужели пророческий сердца язык
Сулит мне удар иль потерю?
Нет, я от мечты суеверной отвык,
Предчувствиям темным не верю.

Нет! Это не будущих бедствий залог,
Не скорби грядущей задаток,
Не тайный на новое горе намек,
А старой печали остаток.

Причина ее позабыта давно, —
Она лишь сама сохранилась,
В груди опустелой упала на дно
И там залегла, притаилась —

Уснула и тихо в потемках лежит,
Никто ее скрытой не видит;
А отдыхом силы она освежит,
Проснется — и выглянет, выйдет —

И душу обнимет. Той мрачной поры
Пошел бы рассеять ненастье,
С людьми поделился б. . . Они так добры,
У них наготове участье.

Их много — и слишком — к утехе моей.
Творец мой! Кому не известно,
Что мир твой так полон прекрасных людей,
Что прочим становится тесно?

Да думаю: нет! Пусть же сердце мое
Хоть эта подруга голубит!
Она не мила мне, но гнать ли ее,
Тогда как она меня любит?

Ее ласка жестка, ее чаша горька,
Но есть в ней и тайная сладость,
Ее схватка крепка, и рука нелегка, —
Что ж делать? Она ведь — не радость!

Останусь один. Пусть никто из друзей
Ее не осудит, не видит,
И пусть ни единый из добрых людей
Насмешкой ее не обидит!

Между 1842 и 1850

178. БОГАЧ

Всё и никнет и трепещет
Перед ним. Всесилен он.
Посмотрите, как он блещет —
Сей ходячий миллион!
Лицезренья удостоясь
Господина своего,
Люди кланяются в пояс,
Лижут прах пяты его;
Но не думайте, что люди
Золотой бездушной груде
В тайном чаянье наград
Эти почести творят, —
Люди знают, что богатый
На даянья не горазд,
И не чают щедрой платы, —
Им известно, — он не даст.
Нет, усердно и охотно,
Бескорыстно, безрасчетно
Злату рабствующий мир
Чтит великий свой кумир.

Хладный идол смотрит грозно,
Не кивая никому,
А рабы религиозно
Поклоняются ему.
Люди знают: это — сила!
Свойство ж силы — мять и рвать;
Чтоб она их не крушила,
Не ломала, не душила,
Надо честь ей воздавать;
И признательность развита
В бедном смертном до того,
Что, коль Крез летит сердито,
Но не топчет в прах его
Колесницей лучезарной, —
Уж несчастный умилен
И приносит, благодарный,
Нетоптателю поклон.

Между 1842 и 1850

179. ГОРЕМЫЧНАЯ

Жаль мне тебя, моя пташечка бедная:
Целую ночь ты не спишь,
Глазки в слезах — изнуренная, бледная,
Всё ты в раздумье сидишь.
Жаль мне, ведь даром средь горя бесплодного
Сердце твое изойдет.
Ждешь ты, голубушка, мужа негодного,
Третий уж за полночь бьет.
Думаешь ты, пригорюнясь, несчастная,
Лютой убита тоской:
Ночь так темна и погода ненастная,—
Нет ли беды с ним какой?
Ждешь ты напрасно, — на ноченьку пирную
Принял он дружеский зов,
Там он, с друзьями схватясь в бескозырную,
Гнет королей да тузов, —
Бьют их. — «Поставлю ж я карточку новую, —
Думает, — ну-ка, жена,
Ты помоги мне!» — Вскрыл даму бубновую,
Смотрит, — убита она.
«Ох! — И рука его, трепетно сжатая,
Карту заветную мнет. —

Помощи нет, — изменила, проклятая!
Полно!» — И, бледный, встает,
Хочет идти он... «Как можно? Да кстати ли?
Вспомни-ка рысь старины!
Тут лишь почин, — восклицают приятели, —
Разве боишься жены?
Пусть он идет! Ведь не вовремя явится —
Та ему страху задаст!
Тут ведь не свой брат! С женою управиться,
Братцы, не каждый горазд.
Мы — люди вольные. Пусть его тащится!
Нам ли такой по плечу?»
Вот он: «Да что мне жена за указчица?
Вздор! — говорит. — Не хочу!»
Эх, раззадорили кровь молодецкую!
«Что мне жена? — И пошел. —
Вот еще! Пусть убирается в детскую!
Я ведь детей ей завел, —
Долг свой исполнил я, даром что смолоду
С вами немало кутил;
Ну, и забочусь, — не мрут они с голоду,
По миру их не пустил;
Сыты, одеты, покои приличные,
Что мне там женская блажь?»
— «Вот он! — вскричали друзья закадычные. —
Наш еще друг-то, всё наш!»
Стали разгуливать по столу чарочки.
«Мало ли жен есть? — кричат. —
Мало ли? Гей вы, красотки-сударочки!»
Вот он где — твой супостат,
Муж твой, губитель твой! Вот как заботится
Он о жене своей там!
Может быть, пьяный, он с бранью воротится,
Может, даст волю рукам.
Ты ж, ожидая такого сожителя,
Мне отвечаешь, стеня:
«Так суждено: полюбила губителя —
Пусть же он губит меня!»

Между 1842 и 1850

180. ЗВЕЗДОЧЕТ

На острове Гюэне, близ Копенгагена, находилась обсерватория Тихобраге, устроенная для него королем Фридрихом II. Здесь знаменитый астроном занимался наблюдениями в течение двадцати лет. По смерти Фридриха Тихобраге должен был искать другого пристанища. Через 50 лет и следов огромного здания обсерватории уже не было, но остался еще один старец, который показывал любопытным место, где то здание находилось, и рассказывал об астрономе, которого помнил.

Супротив столицы датской
Есть неважный островок.
Жил там в хижине рыбацкой
Седовласый старичок —
Стар-престар. Приезжих двое,
Путешественники, что ль,
Кличут старого: «Позволь
Слово молвить!» — «Что такое?»
— «Ты ведь здешний старожил,
Объясни ж нам: здесь каменья —
След какого-то строенья.
Что тут было? Кто тут жил?»
— «Рассказать вам? Гм! Пожалуй!
Человек я здесь бывалый.
Был тут, видите, дворец!» —
Старец молвил наконец.
«Как? Дворец?» — «Ну да, чертоги
С башней. Было тут тревоги,
Было всякого труда
При постройке. Сам тогда
Здесь король быть удостоил;
Фридрих наш Второй и строил
Всё своей казною». — «Вот!
Кто же жил тут?» — «Звездочет.
Весь дворец с огромной башней
Был ему что кров домашний,
Я прислуживал ему;
Вырос я в простонародстве,
А уж тут и в звездочетстве
Приучился кой к чему.
Служба всё была средь ночи.
Часом спать хочу — нет мочи,
А нельзя, — звезда идет!

Иногда, бывало, грезишь,
А за ним туда же лезешь:
Уж на то и звездочет!
Только он ее завидит —
Дело кончено! Тогда
Просто наша та звезда
Уж, сердечная, не выдет
Из-под глазу — нет! Куда?
Хоть с другими вровень светит,
А уж он ее заметит
И включит в свой список — да!
Нам, бывало, с ним в привычку
От поры и до поры
Поименно перекличку
Звездам делать и смотры.
Был я словно как придверник
Неба божьего, а сам
Что хозяин был он там —
Уж не то что как Коперник!
Тот, вишь, выложил на план,
Что Земля вкруг Солнца ходит.
Нет, шалит он, колобродит —
Как не так! Держи карман!
Вот! Ведь можно упереться
В Землю, — как же ей вертеться,
Если человек не пьян?
Ну, вы сами посудите!
Приступал я и к нему —
Звездочету своему:
«Вот, мол, батюшка, скажите!
Не попасться бы впросак!
Говорят и так и так;
Мой и темный разум сметил,
Что молва-то нас мутит.
Ведь — стоит?» И он ответил
Утвердительно: «Стоит».
У него ведь как в кармане
Было небо, лишь спросить;
Он и сам весь мир на плане
Расписал, чему как быть.
Я своими сам глазами
Видел план тот. Эх, дружки!
Всё круги, круги с кружками,
А в кружках опять кружки!

Я кой-что, признаться стыдно,
Хоть и понял, да не вплоть;
Ну, да где ж нам? .. Так уж, видно,
Умудрил его господь!
Нам спроста-то не в примету,
В небе, чай, кругов не счесть,
Смотришь так — кажись, и нету,
А ведь стало быть, что есть.
Да чего! Он знал на мили
Смерить весь до Солнца путь
И до Месяца; смекнуть
Всё умел. Мы вот как жили!
Да к тому же по звездам
Рассчитать судьбу всю нам
Мог он просто, как по пальцам,
Наверняк. Не для того ль
Здесь его и постояльцем
Во дворец пустил король?
Умер Фридрих — и прогнали
Звездочета, приказали
Изломать его дворец.
Я прощался с ним, — мудрец
Был спокоен. «Жаль, ей-богу, —
Снарядив его в дорогу,
Я сказал. — Вам до конца
Жить бы здесь! Теперь такого
Не добыть уж вам другого
Видозвездного дворца!
Просто — храм был!» Он рукою
Тут махнул мне и сказал:
«Этот храм всегда со мною!» —
И на небо указал.
Грустно было мне. Остался
Я как будто сиротой.
После ночью просыпался,
Смотришь — нет уж башни той,
Где и сон клонил, бывало;
Тут — не спится, дашь глазам
Чуть лишь волю, — те — к звездам!
Всё знакомки ведь! Немало
Я их знал по именам,
Да забыл теперь; и входит
Дума в голову: наводит,

Чай, теперь свой зоркий глаз
Там он, звездочки, на вас!
На которую — не знаю...
Вот смотрю и выбираю, —
А узнать дай силу бог, —
Так бы вот и впился глазом,
Чтоб смотреть с ним вместе — разом;
Может, я б ему подмог
И отсюда!.. Глупой мысли
Не посмейтесь, господа!» —
И рассказчик смолк тогда,
Две слезы с ресниц нависли
И слились исподтишка
По морщинам старика.

Между 1842 и 1850

181. НЕТАЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Давно сроднив с судьбой моей печальной
Поэзии заносчивую блажь,
Всегда был рад свой стих многострадальный
Вам посвящать усердный чтитель ваш.

И признаюсь: я был не бескорыстен, —
Тут был расчет: я этим украшал
Непышный склад мной выраженных истин,
И, славя вас, себя я возвышал.

Что та, кого я славил, не уронит
Моей мечты, — я в том был убежден,
И как поэт всегда был вами понят
И тем всегда с избытком награжден.

Да! И на ту, кому самолюбиво
Часть лучших дум моих посвящена,
Всегда могу я указать нелживо
И с гордостью воскликнуть: «Вот она!»

Достоинство умел я без ошибки
В вас оценить, к тому ж — сказать ли? — да! —
Умел ценить и прелесть той улыбки,
Что с ваших уст слетала иногда.

И, голосу сознания послушен,
Я чту в себе сан вашего певца.
Скажу при всех: я к вам неравнодушен
И был, и есмь, и буду до конца.

Не льщу себе, — могу ль я тут не видеть,
Что я стою со всеми наравне?
Вас любят все. Холодностью обидеть
Вас можно ли? .. Но нет... хотелось мне

Не то сказать... С вниманьем постоянным
Вам преданный и ныне так, как встарь,
Проникнут я к вам чувством безымянным,
И потому не вставленным в словарь.

О нем смолчать я мог бы... Но к чему же
То чувство мне, как плод запретный, крыть,
Когда при всех, и при ревнивом муже,
О нем могу я смело говорить?

Оно не так бессмысленно, как служба
Поклонников, ласкателей, рабов;
Оно не так бестрепетно, как дружба;
Оно не так опасно, как любовь.

Оно милей и братского сближенья,
И уз родства, заложенных в крови,
Оно теплей, нежнее уваженья
И, может быть, возвышенней любви.

16 сентября 1851

182. ТА ЛИ ЭТО?

Боже мой! Она ли это?
Неужели это та,
Пред которою поэта
Бурно двигалась мечта?
Та ли это, что, бывало,
Очи вскинув иль склоня,
Сына грома и огня
Возносила и свергала, —
И, рассыпчатых кудрей
Потрясая темной прядью,
Трепетала над тетрадью
Гармонических затей, —
И, глазами пробегая
По рифмованным листам,

Пламенела, прилагая
Пальчик к розовым устам?
Та ль теперь — добыча прозы —
Отмечает лишь расход,
На варенье щиплет розы
И солит янтарный плод?
Та ль теперь в углу тенистом
С преклоненной головой
Целый день сидит за вистом
Безнадежною вдовой?
В чепчик с блондовой оборкой
Да в капот облачена —
Над козырною шестеркой
Призадумалась она...
Взносит руку — угрожает,
Но, увы! Сия гроза
Уж не сердце поражает, —
Бьет червонного туза!

⟨1852⟩

183. СОВРЕМЕННЫЙ ГЕНИЙ

Он гений, говорят, — и как опровергать
Его ума универсальность?
Бог произвел его, чтоб миру показать
Души презренной гениальность.
Изменник царственный! он право первенства
У всех изменников оспорил.
Он всё нечистое возвел до торжества
И всё святое опозорил,
Диплом на варварство, на низости патент
Стяжал он — подлости диктатор,
Клятвопреступник, тать, бесчестный президент
И вероломный император!
Он говорит: «Клянусь!» — а сам уж мысль таит
Смять клятву, изорвать присягу,
«Империя — не брань, но мир», — он говорит,
А сам выдергивает шпагу.
Достигнув вышины чрез низкие дела,
В Италию просунул лапу,
Пощупал — тут ли Рим, и дядина орла
Когтями он пригладил папу;
Опутав Англию своим союзом с ней,

Ей поднял парус дерзновенный,
И немощь жалкую лоскутницы морей
Он обнажил перед вселенной;
Свою союзницу на гибель соблазнил
Сойти с родной ее стихии;
Защитник Турции, ее он раздавил
Защитой противу России, —
И тонет в оргиях, и гордо смотрит он
На свой Париж подобострастный,
И, перед ним склонясь, продажный Альбион
С своей монархией безгласной
Ему сметает пыль с темнично-беглых ног
И веллингтоновской подвязкой
Венчает нашего предателя чулок,
Быль Ватерло почислив сказкой.
Убейте прошлое! Пусть дней новейших суд
Во прах историю низложит!
Бытописатели вновь примутся за труд
И прах разроют... Но, быть может,
До дней сих доведя рассказ правдивый свой
И видя, как упрек здесь горек
Для человечества, дрожащею рукой
Изломит грифель свой историк
И разобьет скрижаль!.. Но летопись греха
И гнусных козней вероломства
На огненном крыле могучего стиха
Дойдет, домчится до потомства
И передаст ему, как страсбургский буян,
Нахал, питомец беззаконий,
С прикормленным орлом, бесстыдный шарлатан,
Мятежник, схваченный в Булоньи,
И из тюрьмы беглец — законами играл
И всем святым для человека
И, стиснув Францию, с насмешкой попирал
Высь девятнадцатого века...
Гюго! твой меткий ямб в порыве гневных сил
Ему бессмертье обеспечил,
Ты хищника стихом железным заклеймил
И стыд его увековечил,
И жаль мне одного: что этот срам вверял
Ты гармоническому звуку
И что, его клеймя, невольно замарал
Ты поэтическую руку.

А ты пока сияй, верховный образец
Измен, разбоев и предательств,
Ты видишь, для тебя язык богов певец
Готов унизить до ругательств,
Но время разорвет твою с фортуной связь,
Гигант нечестия в короне!
Хлам человечества! Увенчанная грязь!
Монарх с пощечиной на троне.

⟨1852⟩

184. ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящено памяти Жуковского и Пушкина

И Жуковский отлетел от мира,
Кончена молитва этой жизни,
Пережит он нами — чудный старец,
Вечно юный. Он был представитель
Чистого стремления души
К неземной, божественной отчизне,
Взор его сиял тем кротким светом,
При котором так просторно мыслям,
Так отрадно сердцу, так тепло;
На челе задумчивость святая
Тихо почивала, райской гостьей
Прилетала на уста поэта
Мирная улыбка, чтоб на них
Отдохнуть под свежей тенью грусти —
Вестницы другого назначенья,
На лице его напечатленной.
Речь его таинственно текла
Из душевной глубины, подъемлясь
Легким паром мощного вулкана,
В думу погруженного, который
Скрыл свой пламень в потаенных недрах,
Чтоб, земли напрасно не колебля,
Лишь слегка дымящимся дыханьем
Возвещать ей о великой силе,
Самовластно сжавшей свой порыв, —
Тихим звуком намекать о громе,
Нам не слышном. Помню я собранья
Под его гостеприимным кровом —

Вечера субботние, — рекою
Наплывали гости и являлся
Он — чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе;
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы
И в молчанье жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой —
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явленьями сей жизни.

Как теперь гляжу на них обоих —
На того и этого. *Один,*
Весь проникнут таинством мечтанья,
Не легко мог ладить с этой жизнью,
С этою существенностью, где
Иногда вменяют в преступленье
И мечту святую. Оторваться
Трудно было жертвоносцу музы
От заветной думы, от приманки
Тайной мысли — даже и тогда,
Как бывал он в чинной раме света,
Где поэту надо спрятать душу,
Чтоб спастись порою от насмешки
Жалкой и тупой, но ядовитой.
В мире, где и добродетель даже
Не всегда терпима и уместна,
В этом мире, где она должна
Время знать и появляться кстати,
Неизбежны тяжкие боренья
Для души, прекрасным увлеченной.
Но певец Ундины мог зато
Ладить сам с собою в глубине
Теплой веры, с глазу на глаз с сердцем,
Будучи земли сей милым гостем,
Он умел и здесь, в гостях, быть дома, —

И сгущенный мрак земной невзгоды
В мощной ширине души поэта
Должен был редеть и уясняться,
Разрешаяся в туман прозрачный,
Озаренный радугой фантазий.
Страсть его в молитву обращалась,
В фимиам и жертву божеству.

А *другой* — стать властелином жизни
Был способен, силой крепкой воли
Отрешиться от мечты порою
И взглянуть на вещи метким взором,
Проницающим и самый камень,
Светом называемый; зато
Совладать с собою было трудно
Этому гиганту, — с бурным чувством —
С этим африканским ураганом —
Он себя не мог преодолеть.

Но земное резкое несходство
Двух поэтов — их не удаляло
Друг от друга, — общий признак бога —
Вдохновенье [1] — ставило их рядом
Под одно божественное знамя,
Братской дружбой руки их смыкая. —
Отчего ж, я думаю порой,
Меж людьми горят вражда и злоба?
Ратники несходных вер и мнений,
Разных сил, в вооруженьях разных —
Разве не должны они как братья
Узнавать друг друга по призванью,
Ясному в значенье человека?
Не одно ль над ними веет знамя —
Божье знамя? Не к одной ли битве
Против зла — единого врага —
Ополчил их вечный вождь небесный?

Помню: уезжая в край далекий,
Где ждала невеста молодая
Нашего Жуковского, он молвил:
«Вот — нашел я музу на земле.
Еду к ней под золотое небо.

[1] Выражение Пушкина в «Разговоре книгопродавца с поэтом».

Там я кончу поприще земное.
Вспоминайте обо мне! Простите!»
Он уехал. Много дней промчалось.
Там — в Германии — полуродной
Нашему мечтателю, в отчизне
Шиллера, которого нам, русским,
Воссоздал он, чью живую душу
Из своей всеемлющей души
Перелил в доступное нам слово, —
Там — в беседе с мудрецом Гомером
Жил он и, божественного старца
Восприемля вещие рассказы,
Отражал их нам в волшебных звуках
Русского гекзаметра и веял
В сердце наше греческою жизнью.
Так себя он продолжал и кончил.

Тот — кипучий, прежде отлетевший
В лучший мир, безвременною смертью
Сорван был, когда поэта гений
Лишь вполне развил свою могучесть.
Он широким, львиным перескоком
В вечность перенесся, до конца
Верный быстроте своих движений.
Вдруг сказал он: «Кончено», — и, бросив
Нам свой прах, душой воспрянул к небу.
Этот — от своих единоземцев
В удаленье — долго испарялся,
Чистым воздымаясь фимиамом.
Он, вдали, как призрак светоносный,
Более и более терялся
В глубине безоблачного неба,
И, как звук, эоловою арфой
Изнесенный, замирая сладко,
Утихал он, — и — конца не слышно, —
Он, и исчезая, продолжился.

Тот хотел как будто б самой смертью
Вдруг расторгнуть вечную преграду,
Что живых от мертвых отделяет, —
Распахнуть нам настежь эти двери
И открыть над миром в полном блеске
Неба светозарного пучину.

Этот, мнится, возносясь, хотел лишь
Отодвинуть только край завесы,
Между небом и землей простертой,
Чтоб не вдруг сиянием безмерным
Поразить нам немощные очи,
К сумраку привыкшие земному.

И его не стало... Нет обоих!
Их не стало, но святые звуки
Лир их сладкострунных вечно живы.
Тот нам в душу пламенные ямбы
Мечет и, упругой сталью слова
Проводя глубокие бразды
По сердцам, оледенеть готовым,
Вспахивает почву, обжигая
Корни закоснелые, и зерна
Вбрасывает мысли плодотворной
И живого, трепетного чувства
В этот прах, побеги вызывая
Чудной жизни из юдольной грязи.
Этот — льется звучными слезами,
Жаркими, истекшими из сердца,
Где горит огонь неугасимый,
Но, в земной прохладной атмосфере
Освежаясь, падают оне,
Как роса, на грудь земли несчастной,
Чтоб ее, иссохшую, увлажить,
Умягчить и утолить ей жажду,
А потом они восходят снова
Легким паром, смешанным с дыханьем
Ими орошенных злаков дольних
И цветов, в свое родное небо —
К вечному истоку своему.

Апрель (?) 1852

185. И. А. ГОНЧАРОВУ

(ПЕРЕД КРУГОСВЕТНЫМ ЕГО ПУТЕШЕСТВИЕМ)

И оснащен, и замыслами полный,
Уже готов фрегат твой растолкнуть
Седых морей дымящиеся волны
И шар земной теченьем обогнуть.

Под бурями возмужествуй упрямо!
Пусть вал визжит у мощного руля!
Вот Азия — мир праотца Адама!
Вот юная Колумбова земля!

И ты свершишь плавучие заезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста.

Поклон ему! Взгляни как триумфатор
На сей трофей в хоругвях облаков,
Пересеки и тропик и экватор —
И отпируй сей праздник моряков!

И если бы тебе под небесами
Неведомых антиподов пришлось
Переверстаться с здешними друзьями
Ногами в ноги, головами врозь, —

То не роняй отрады помышленья,
Что и вдали сердечный слышен глас,
Что не одни лишь узы тяготенья
Всемирного соединяют нас.

Лети! — И, что внушит тебе природа
Тех чудных стран, — на пользу и добро
Пусть передаст, в честь русского народа,
Нам твой рассказ и славное перо!

Прости! — Вернись и живо и здорово
В суровые приневские края,
И радостно обнимут Гончарова
И М⟨айко⟩вы, и все его друзья.

Сентябрь — начало октября 1852

186. ЧЕЛОВЕК

Много жизненных вопросов
Тем решив, что всё пустяк,
Жил когда-то грек-философ —
Удивительный чудак.

Он ходил как жалкий нищий,
Полунаг и босиком,
И питался грубой пищей,
Сыт был брошенным куском;
В бочке жил; лучами солнца
Освещаем и согрет,
Он героя-македонца,
Покорившего весь свет,
И царя, и полубога,
Гордой просьбой удивил:
«Отодвинься, брат, немного, —
Ты мне солнце заслонил».
О, давно минувши лета!
Незапамятная старь!
Днем, при полной силе света,
Диоген зажег фонарь,
И в толпе народа шумной
Он идет, кругом глядит.
«Ищешь ты кого, безумный?»
— «Человека», — говорит.
Строгий циник видел грека
И в хитоне, и в плаще,
Но не видел человека
И искал его вотще.
Если б шел он в век из века
Вплоть до нынешних времен —
И доныне человека
Всё искал бы Диоген!

Ход веков мы видим ясно,
Нам истории скрижаль
Открывает беспристрастно
Дней давно протекших даль.
Что ж там? — Несколько сокровищ,
Много хламу жизни сей,
Много там людей-чудовищ,
Лжелюдей, полулюдей;
Всюду брани, козни, ковы,
Видны — римлянин суровый,
Грубый скиф и хитрый грек;
Много смертных полудиких,
Много малых, горсть великих...
Где же просто человек?

Был один. Он шел без грома,
Полон истины огнем.
Можно было «Ecce homo!»[1]
Смело вымолвить о нем.
Он на всех смотрел с любовью,
Всех к бессмертью, как на пир,
Призывал, и чистой кровью
Он своей опрыснул мир.
Этот мир был им испуган;
Он был схвачен, был поруган,
Был оплеван, был казнен
От ватаги фарисейской
Смертью крестною, злодейской,
И в венке терновом он
Оцет пил средь смертной жажды...
«Человек, однако, мог
Нам явиться хоть однажды?»
— Нет, о люди, то был — бог!

Не позднее 25 апреля 1853

187. ЗВЕЗДОЧКА

День докучен, днем мне горько.
Вот он гаснет... вот угас...
На закате меркнет зорька...
Вот и звездочка зажглась.

Здравствуй, ясная! Откуда?
И куда? — А я всё тут.
На земле всё так же худо,
Те же терния растут.

Над землей подъемлясь круто
К беспредельной вышине,
Что мелькаешь ты, как будто
Всё подмигиваешь мне?

Не с блаженством ли граничишь
Ты, приветная звезда?
И меня ты, мнится, кличешь,
Говоришь: «Поди сюда!

[1] «Вот человек!» (лат.). — *Ред.*

Круг разумных здесь созданий
Полон мира и любви,
Не заводит лютых браней,
Не купается в крови.

Здесь не будешь горе мыкать,
Здесь не то, что там у вас.
Полно хмуриться да хныкать!
Выезжай-ка в добрый час!

Тут нетряская дорога,
Легкий путь — ни грязь, ни пыль!
Воли много, места много».
— А далёко ль? Сколько миль?

Ох, далёко. Нам знакомы
Версты к Солнцу от Земли,
А с тобой и астрономы
Рассчитаться не могли.

Соблазнительным мерцаньем
Не мигай же с вышины,—
Благородным расстояньем
Мы с тобой разделены.

Сочетаньем кончить сделку
Трудно, — мы должны вести
Вечно взглядов перестрелку
Между «здравствуй» и «прости».

Знаю звездочку другую, —
Я хоть ту достать хочу —
Не небесную — земную, —
Мне и та не по плечу!

Так же, может быть, граничит
С райским счастьем та звезда,
Только та меня не кличет,
Не мигнет, — поди сюда!

Блещет мягче, ходит ниже —
Вровень, кажется, со мной,
Но существенно не ближе
Я и к звездочке земной.

И хоть так же б кончить сделку,
Как с тобой, — с ней век вести
Хоть бы взоров перестрелку
Между «здравствуй» и «прости»!

Не позднее 25 апреля 1853

188. ПЕРЕХОД

Видали ль вы преображенный лик
Жильца земли в священный миг кончины —
В сей пополам распределенный миг,
Где жизнь глядит на обе половины?

Уж край небес душе полуоткрыт;
Ее глаза туда уж устремились,
А отражать ее бессмертный вид
Черты лица еще не разучились, —

И неземной в них отразился б день
Во всех лучах великого сиянья,
Но те лучи еще сжимает тень
Последнего предсмертного страданья.

Но вот — конец! Спокоен стал больной.
Спокоен врач. Сама прошла опасность —
Опасность жить. Редеет мрак земной,
И мертвый лик воспринимает ясность.

Так над землей, глядишь, ни ночь, ни день;
Но холодом вдруг утро засвежело,
Прорезалась рассветная ступень, —
И решено сомнительное дело.

Всмотритесь в лик отшедшего туда
В известный час: он ясностью своею
Торжественно вам, кажется, тогда
Готов сказать: «Я понял! разумею!

Узнал!» — Устам как будто нарушать
Не хочется святыню безглагольства.
А на челе оттиснута печать
Всезнания и вечного довольства.

Здесь, кажется, душа, разоблачась,
Извне глядит на это облаченье,
Чтоб в зеркале своем в последний раз
Последних дум проверить выраженье.

Но тленье ждет добычи — и летит
Бессмертная, и, бросив тело наше,
Она земным стихиям говорит:
«Голодные! возьмите: это ваше!»

25 апреля 1853

189. БАХУС
(СПИСОК С КАРТИНЫ РУБЕНСА, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ИМПЕРАТОРСКОМ ЭРМИТАЖЕ)

Ух! как мощен он! Такого
Не споишь, не свалишь с ног.
Толст, а виду неземного
Не утратил, пьян, а строг.
Посмотрите, как он вержет
Взором пламя из очей!
Как он гордо чашу держит, —
Сам не смотрит... Кто там? — Лей!
Льют ему, — и наклонилась
Чаша набок, и струя
Через край перекатилась
И бежит. Внизу дитя—
Мальчик. Стой! Не гибни влага
Драгоценная! Плутяга
Мигом голову свою
Через плечи опрокинул,
Алый ротик свой разинул
И подставил под струю,
И хватает, как впросонках,
Что-то лучше молока,
Искры бегают в глазенках,
И багровеет щека.
Тут другой мальчишка — еле
На ногах, посоловели
У него глаза, нет сил;
Сам себя не понимая,
Смотрит мутно. Негодяя
Драть бы, драть бы за ушко!

Ишь — без меры натянулся!
Вот — к сторонке отвернулся,
Грудь назад, вперед брюшко —
И. . . бесстыдник! — Перед вами
Тут же с пьяными глазами
Тигр на шатких уж ногах,
Там вакханка взор свой жадный
Нежит кистью виноградной,
С дикой радостью в очах.
Вот — взгляните на Силена, —
С губ отвислых брызжет пена,
Словно чан раскрыл он рот,
И, цедя в сей зев просторный
Из амфоры трехведерной
Гроздий сок, без смыслу пьет,
Глупо пьет, — заране бредит,
На осле едва ль доедет
Он домой. . . Лишь исполин
Пьет, как следует, один —
Бахус Рубенса! — Избыток
Через край разумно льет
И божественный напиток
Он божественно и пьет.

25 апреля 1853

190. ТРИ ВЛАСТИ РИМА

Город вечный! Город славный!
Представитель всех властей!
Вождь когда-то своенравный,
Мощный царь самоуправный
Всех подлунных областей!
Рим — отчизна Сципионов,
Рим — метатель легионов,
Рим — величья образец,
В дивной кузнице законов
С страшным молотом кузнец!
Полон силы исполинской,
Ты рубил весь мир сплеча
И являл в руке воинской
Всемогущество меча.
Что же? С властию толикой
Как судьба тебя вела?

Не твоим ли, Рим великой,
Лошадь консулом была?
Не средь этого ль Сената —
В сем чертоге высших дел —
Круг распутниц, жриц разврата
Меж сенаторов сидел?
И не твой ли венценосный
Царь — певун звонкоголосный
Щеки красил и белил,
И, рядясь женообразно,
Средь всеобщего соблазна
Гордо замуж выходил,
Хохотал, и пел, и пил,
И при песнях, и при смехе
Жег тебя, и для потехи,
В Тибре твой смиряя пыл,
Недожженного топил,
И, стреляя в ускользнувших,
Добивал недотонувших,
Недостреленных травил?
Страшен был ты, Рим великой,
Но не спасся, сын времен,
Ты от силы полудикой
Грозных севера племен.
Из лесов в твои границы
Гость косматый забежал —
И воскормленник волчицы
Под мечом медвежьим пал.

Город вечный! Город славный!
Крепкий меч твой, меч державный
Не успел гиганта спасть, —
Меч рассыпался на части, —
Но взамен стальной сей власти
Ты явил другую власть.
Невещественная сила —
Сила Римского двора
Ключ от рая захватила
У апостола Петра.
Новый Рим стал с небом рядом,
Стал он пастырем земли,
Целый мир ему был стадом,
И паслись с поникшим взглядом
В этой пастве короли

И, клонясь челом к подножью
Властелина своего,
С праха туфли у него
Принимали милость божью
Иль тряслись морозной дрожью
Под анафемой его.
Гроб господен указуя,
И гремя, и торжествуя,
Он сказал Европе: «Встань!
Крест на плечи! меч во длань!»
И Европа шла на брань
В Азию, подобно стаду,
Гибнуть с верою немой
Под мечом и под чумой.
Мнится, папа, взяв громаду
Всей Европы вперегиб,
Эту ношу к небу вскинул,
И на Азию низринул,
И об гроб Христов расшиб;
Но расшибенное тело,
Исцеляясь, закипело
Новой жизнию, — а он
Сам собой был изнурен —
Этот Рим. — С грозой знакомый,
Мир узрел свой тщетный страх:
Неуместны божьи громы
В человеческих руках.
Пред очами света, явно,
Римских пап в тройном венце —
Пировал разврат державный
В грязном Борджиа лице.
Долго в пасть любостяжаний
Рим хватал земные дани
И тучнел от дольних благ,
За даянья отпирая
Для дающих двери рая.
Всё молчало, — встал монах,
Слабый ратник августинской,
Против силы исполинской,
И сильней была, чем меч,
Ополчившегося речь, —
И, ревнуя к божьей славе,
Рек он: «Божью благодать
Пастырь душ людских не вправе

Грешным людям продавать».
Полный гнева, полный страха,
Рим заслышал речь монаха,
И проклятьем громовым
Грозно грянул он над ним;
Но неправды обличитель
Вновь восстал, чтобы сказать:
«Нам божественный учитель
Не дал права проклинать».

Город вечный! — Чем же ныне,
Новой властию какой —
Ты мечом иль всесвятыней
Покоряешь мир людской?
Нет! пленять наш ум и чувства
Призван к мирной ты судьбе,
Воссияла мощь искусства,
Власть изящного в тебе.
В Капитолий свой всечтимый
На руках ты Тасса мчал
И бессмертья диадимой
Полумертвого венчал.
Твой гигант Микель-Анжело
Купол неба вдвинул смело
В купол храма — в твой венец.
Брал он творческий резец —
И, приемля все изгибы
И величия печать,
Беломраморные глыбы
Начинали вдруг дышать;
Кисть хватал — и в дивном блеске
Глас: «Да будет!» — эта кисть
Превращала через фрески
В изумительное: «Бысть».
Здесь твой вечный труд хранится,
Перуджино ученик,
Что писал не кистью, мнится,
Но молитвой божий лик;
Мнится, ангел, вея лаской,
С растворенной небом краской
С высоты к нему спорхнул —
И художник зачерпнул
Смесь из радуг и тумана

И на стены Ватикана,
Посвященный в чудеса,
Взял и бросил небеса.

Рим! ты много крови пролил
И проклятий расточил,
Но творец тебе дозволил,
Чтоб, бессмертный, ты почил
На изящном, на прекрасном,
В сфере творческих чудес.
Отдыхай под этим ясным,
Чудным куполом небес!
И показывай вселенной,
Как непрочны все мечи,
Как опасен дух надменный, —
И учи ее, учи!
Покажи ей с умиленьем
Santo padre[1] своего,
Как святым благословеньем
Поднята рука его!
Прах развалин Колизея
Чужеземцу укажи:
«Вот он — прах теперь! — скажи. —
Слава богу!» — Мирно тлея,
Бойня дикая молчит.
Как прекрасен этот вид,
Потому, что он печален
И безжизнен, — потому,
Что безмолвный вид развалин
Так приличен здесь всему,
В чем, не в честь былого века,
Видно зверство человека.
Пылью древности своей,
Рим, о прошлом проповедуй,
И о смерти тех людей
Наставительной беседой
Жить нас в мире научи,
Покажи свои три власти,
И, смирив нам злые страсти,
Наше сердце умягчи!
Чтоб открыть нам благость божью,

[1] Святой отец (итал.). — *Ред.*

Дать нам видеть божество, —
Покажи над бурной ложью
Кротких истин торжество!

1852 или 1853

191. ЕГО НЕ СТАЛО
(НАПИСАНО НА СМЕРТЬ В. А. КАРАТЫГИНА)

Его не стало... Нет светила русской сцены —
Первослужителя скорбящей Мельпомены.
Плачь, муза сирая, — его уж в мире нет.
Фингал, Донской, Ермак, Людовик, Лир, Гамлет,
Цари, что из гробов им к жизни вызывались,
Вторичной смертию все ныне в нем скончались. —
Здесь ревностный денщик великого Петра,
Там бешеный игрок, ревнивый мавр вчера,
Сегодня он — король, вождь ратный иль посланник,
А завтра — нищий, раб, безумец иль изгнанник,
Там в пышной мантии, а тут в лохмотьях весь,
Но истинный артист везде — и там, и здесь,
С челом, отмеченным печатию таланта;
Везде в нем видел мир глашатая-гиганта,
В игре, исполненной и чувства и ума,
Везде он был наш Кин, наш Гаррик, наш Тальма.

Мне видится театр. Все полны ожиданья.
Вдруг — поднят занавес — и взрыв рукоплесканья
Раздался, — это ты, ты вышел, исполин!
Обдуман каждый шаг, ряды живых картин —
Его движения и каждый взмах десницы;
В бровях — густая мгла, гроза — из-под ресницы.
Он страшен. На лице великость адских мук.
В его гортани мрет глухих рыданий звук,
Волнуемая грудь всем слышимо клокочет,
И в хохоте его отчаянье хохочет.
Он бледен, он дрожит — и пена на устах,
И, судорожно сжав в трепещущих перстах
Сосуд с отравою, он пьет... в оцепененье
Следите вы его предсмертное томленье —
Изнемогает... пал... Так ломит кедр гроза.
Он пал, с его чела вам смотрит смерть в глаза.
Спускают занавес. Как бурные порывы:

«Его! Его! Пусть нам он явится! Сюда!»
Нет, люди, занавес опущен навсегда,
Кулисы вечности задвинулись. Не выйдет!
На этой сцене мир его уж не увидит.
Нет! — Смерть, которую так верно он не раз
Во всем могуществе изображал для вас,
Соделала его в единый миг случайный
Адептом выспренним своей последней тайны.

Прости, собрат-артист! Прости, со-человек!
С благословением наш просвещенный век
На твой взирает прах несуеверным оком
И мыслит: ты служил на поприще высоком,
Трудился, изучал язык живых страстей,
Чтоб нам изображать природу и людей
И возбуждать в сердцах возвышенные чувства;
Ты жег свой фимиам на алтаре искусства
И путь свой проходил, при кликах торжества,
Земли родимой в честь и в славу божества.

Середина марта 1853

192. БЕЗУМНАЯ
(ПОСЛЕ ПЕНИЯ ВИАРДО-ГАРСИИ)

Ты сердца моего и слез и крови просишь,
Певица дивная! — О, пощади, молю.
Грудь разрывается, когда ты произносишь:
«Я всё еще его, безумная, люблю».

«Я всё еще» — едва лишь три ты эти слова
Взяла и вылила их на душу мою, —
Я всё предугадал, — душа моя готова
Уже заранее к последнему «люблю».

Еще не сказано «люблю», — а уж стократно
Перегорел вопрос в груди моей: «Кого?»
И ты ответствуешь: «Его». Тут всё понятно,
Не нужно имени, — о да, его, его!

«Я всё еще его. . .» Кружится ум раздумьем. . .
Мутятся мысли. . . Я жду слова — и ловлю:
«Безумная» — да, да! — И я твоим безумьем
Подавлен, потрясен. . . И, наконец — «люблю».

«Люблю». С тобой весь мир, природа, область бога
Слились в глубокое, безумное «люблю».
О, повтори «люблю»!.. Нет, дай дохнуть немного!
Нет, не хочу дышать — лишь повтори, молю.

И вот «Я всё еще», — вновь начал райский голос.
И вот опять — «его» — я вздох в груди давлю...
«Безумная» — дрожу... Мне страшно... дыбом волос...
«Люблю» — хоть умереть от этого «люблю».

Январь — апрель 1853

193. Ф. Н. ГЛИНКЕ

Здравствуй, деятель и зритель
Многих чудных жизни сцен,
Музы доблестной служитель,
Наш поэт и представитель
Славных дедовских времен!

Знал ты время, ведал лета,
Как людьми еще был дан
В мире угол для поэта
И певец пред оком света
Чтил в себе свой честный сан.

В лоне мира — песнью мирной
Он страдальцев утешал,
На пиры — нес клик свой пирный,
В бранях — благовестью лирной
Доблесть храбрых возвышал.

Нес в величье он спокойном
Тяжесть дольнего креста, —
Пел ли радость гимном стройным —
Он глумленьем непристойным
Не кривил свои уста;

И не мнил он обеспечить
Беззаконный произвол —
В русском слове чужеречить,
Рвать язык родной, увечить
Богом данный нам глагол.

И над этой речью кровной,
Внятной призванным душам,
Не был вверен суд верховный
Дерзкой стае суесловной —
Дел словесных торгашам.

Грустных новостей в пучине
Мы, поэт, погружены,
Но от прежних лет доныне
Честно верен ты святыне
Благородной старины.

И за то своим покровом
Сохранил в тебе господь
Эту силу — звучным словом,
Вечно юным, вечно новым,
Оживлять нам дух и плоть.

Помню: я еще мальчишкой
Рылся в книжках, и меж них
За подкраденною книжкой
Поэтическою вспышкой
Зажигал меня твой стих;

Слух и сердце он лелеял, —
И от слова твоего,
От семен тех, что ты сеял,
Аромат библейский веял —
Отзыв неба самого.

Ты Карелии природу
В метких ямбах очертил,
Ты Двенадцатому году
В радость русскому народу
Незабвенным эхом был.

И теперь, на нас лишь канул
Бранный дождь, твоя пора
Не ушла: ты вмиг воспрянул
И по-русски первый грянул
Православное «ура».

Средь болезненного века
Жив и здрав ты, — честь! хвала!

Песнь живого человека
И до серба, и до грека
Христианская дошла.

Крест — нам сила, крест — наш разум.
К нам, друзья! — Из-за креста
Мы весь мир окинем глазом
И «на трех ударим разом
Со Христом и за Христа!»

12 мая 1854

194. ВЫПУЩЕННАЯ ПТИЧКА

Еще зеленеющей ветки
Не видно, — а птичка летит.
«Откуда ты, птичка?» — «Из клетки», —
Порхая, она говорит.

«Пустили, как видно, на волю.
Ты рада? — с вопросом я к ней. —
Чай, скучную, грустную долю
Терпела ты в клетке своей!»

«Нимало, — щебечет мне птичка, —
Там было отрадно, тепло;
Меня спеленала привычка,
И весело время текло.

Летучих подруг было много
В той клетке, мы вместе росли.
Хоть нас и держали там строго,
Да строго зато берегли.

Учились мы петь там согласно
И крылышком ловко махать,
И можем теперь безопасно
По целому свету порхать».

«Ох, птичка, боюсь — с непогодой
Тебе нелегко совладать,
Иль снова простишься с свободой, —
Ловец тебя может поймать».

«От бурь под приветною кровлей
Спасусь я, — летунья в ответ, —
А буду застигнута ловлей,
Так в этом беды еще нет.

Ловец меня, верно, не сгубит,
Поймав меня в сети свои, —
Ведь ловит, так, стало, он любит,
А я создана для любви».

Август 1854

195. СОН

И жизнью, и собой, и миром недоволен,
Я весь расстроен был, я был душевно болен,
Я умереть хотел — и, в думы углублен,
Забылся, изнемог — и погрузился в сон.
И снилось мне тогда, что, отрешась от тела
И тяжести земной, душа моя летела
С полусознанием иного бытия,
Без форм, без личного исчезнувшего «я»,
И ширилась она во весь объем эфира,
И в бездне всех миров — от мира и до мира —
Терялась вечности в бездонной глубине,
Где нераздельным всё являлось ей вполне;
И стало страшно ей, — и, этим страхом сжата,
Она вдруг падает, вновь тяжестью объята,
На ней растет, растет телесная кора,
Паденье всё быстрей... Кричат: «Проснись! пора!»
И пробудился я, встревоженный и бледный,
И как был рад, как рад увидеть мир свой бедный!

Август 1854

196. ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Недавно был праздник, и было так весело, шумно,
И было так много прекрасных там дев светлокудрых,
Что радостью общей и я увлекался безумно,
Оставив беседу мужей и наставников мудрых.

Так часом вдаешься невольно в чужое веселье,
И будто бы счастлив, и будто бы сызнова молод;

Но после мелькнувшего пира мне тяжко похмелье
И в душу врывается пуще язвительный холод.

И после стыжусь я, зачем, изменяя порядку,
Как школьник, не вовремя я так шалил и резвился,
И совестно, будто бы с жизни взял грешную взятку,
Как будто неправо чужим я добром поживился.

И голос упрека в душе так пронзительно звонок
И так повторяется тайным, насмешливым эхом,
Что, если бы слезы... заплакал бы я, как ребенок!
Нет! Снова смеюсь я, но горьким, мучительным смехом.

Август 1854

197. ЛЮБОВЬ МУЗЫКАНТА

Посвящено А. Г. Рубинштейну

Царь я, — все звуки — мне слуги покорные,
Войско державы моей.
Будь мне царицей! Глаза твои черные
Царских алмазов светлей.
Полный мечтами и думами гордыми,
В бурном порыве любви
Я всколыхну громовыми аккордами
Жаркие перси твои.
Весь я проникнут восторгом и муками, —
Созданный весь из огня,
Я упою тебя чудными звуками, —
В них ты прочувствуй меня!
В страстном огне, перерывы дыхания
Выразит струн моих звон,
Шепот «люблю», и печатью лобзания
Знойно подавленный стон.
Я облекусь в торжество триумфальное, —
И, как волну к берегам,
Разом всё царство мое музыкальное
Брошу к твоим я ногам.

Между 1848 и 1854

198. РАШЕЛЬ

(НАПИСАНО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЙ ЕЕ В РОЛЯХ ФЕДРЫ И ГЕРМИОНЫ)

От берегов тревожных Сены,
Предвозвещенная молвой,
Верховной жрицей Мельпомены
Она явилась над Невой.
Старик Расин взрывает недра
Своей могилы и глядит, —
Его истерзанная Федра
В венце бессмертия стоит,
Гнетома грузом украшений,
Преступной страстью сожжена,
И средь неистовых движений
Античной прелести полна.
То, мнится, мрамор в изваянье
Пигмалионовски живой
Томится в страстном истязанье
Пред изумленною толпой.
Из жарких уст волной певучей
Течет речей волшебный склад,
То, металлически гремучий,
Он, раздробленный в прах летучий,
Кипит и бьет, как водопад,
То, просекаясь знойным криком,
Клокочет он в избытке сил,
То замирает в гуле диком
И веет таинством могил.

Вот дивный образ Гермионы!
Как отголоски бурь в глуши,
Широкозвучны эти стоны
Пронзенной ревностью души.
Один лишь раз, и то ошибкой,
Надежда вспыхнула на миг,
И гордой греческой улыбкой
Прекрасный озарился лик, —
И вновь ударом тяжкой вести
Елены дщерь поражена —
Вся пламенеет жаждой мести, —
Троянка ей предпочтена.
Как вид подрытого утеса,
Что в бездну моря смотрит косо,

Чело громадное склоня,
Спокойно страшен звук вопроса:
«Орест! Ты любишь ли меня?»
Под скорбным сердцем сжаты слезы:
«Отмсти! Восстань за свой кумир!
Лети! Рази! Разрушь весь мир!»
Взор блещет молнией угрозы —
Дрожи, дрожи, несчастный Пирр!
В глухих раскатах голос гнева
Мрет, адской гибелью гудя;
Ужасна царственная дева,
Как Эвменида... Уходя,
Она, в последнем вихре муки,
Исполнясь мощи роковой,
Змеисто взброшенные руки
Взвила над гневной головой —
И мчится — с полотна текущей
Картиной — статуей бегущей —
Богиней кары громовой.

И при захваченных дыханьях
Театра, полного огнем,
При громовых рукоплесканьях
Всего, что жизнью дышит в нем,
Зашевелился мир могильный,
Отверзлась гробовая сень...
Рашель! Твоей игрой всесильной
Мне зрится вызванная тень:
Наш трагик, раннею кончиной
От нас оторванный, восстал
И, устремив свой взор орлиный
На твой триумф, вострепетал.
Он близ тебя заметил место,
Где б ты могла узреть его
В лице Тезея, иль Ореста,
Иль Ипполита твоего.

1853 или 1854

199. БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ЦВЕТЫ

Посв⟨ящено⟩ М. Ф. Ш⟨такеншнейдер⟩

Устранив высокопарность
Поэтической мечты,
Проще самой простоты
Приношу вам благодарность
За роскошные цветы,
В виде ноши ароматной,
Усладительной вполне,
С вашей дачи благодатной
Прилетевшие ко мне.

Здесь, средь красок дивной смеси,
Ярко блещет горицвет,
Под названьем «барской спеси»
Нам известный с давних лет.
Вот вербена — цвет волшебный, —
Он у древних славен был,
Чудодейственно целебный,
На пирах он их живил,
Кипятил их дух весельем,
Дряхлых старцев молодил,
И подчас любовным зельем
В кровь он римскую входил.
Чудный цвет! В нем дышит древность,
Жгуч как пламя, ал как кровь,
Пламенеет он, как ревность,
И сверкает, как любовь.
Полны прелести и ласки
Не анютины ли глазки
Здесь я вижу? — Хороши.
Сколько неги и души!
Вот голубенькая крошка —
Незабудка! Как я рад!
Незабвенье — сердца клад.
Вот душистого горошка
Веет райский аромат!
Между флоксов, роз и лилий
Здесь и ты, полей цветок, —
Здравствуй, добрый мой Василий,
Милый Вася — василек!
Сколько венчиков махровых!

Сколько звездочек цветных!
И созвездие меж них
Георгин пышноголовых,
Переброшенных давно
В европейское окно
Между множеством гигантских
Взятых за морем чудес,
Из-под светлых мексиканских
Негой дышащих небес.

Я любуюсь, упиваюсь
И признательным стихом
За цветы вам поклоняюсь —
И хотел бы, чтоб цветком
Хоть единым распустился
Этот стих и вам явился
Хоть радушным васильком;
Но — перерван робким вздохом —
Он боится, чуть живой,
Вам предстать чертополохом
Иль негодною травой.

23 июня 1854

200. К МОЕЙ МУЗЕ

Благодарю тебя, меня ты отрывала
От пошлости земной, и, отряхая прах,
С тобой моя душа всё в мире забывала
И сладко мучилась в таинственных трудах.
Сначала озарять пир юности кипучей
Влетала ты ко мне в златые дни забав,
Гремя литаврами и бубнами созвучий,
Покровы распахнув и дико разметав
Густые волосы по обнаженной груди.
Тебя так видели, и осуждали люди
Нескромность буйную. Порою твой убор
Был слишком прихотлив и оскорблял их взор.
Сказали: «Он блестящ не в меру, он изыскан
И амврой чересчур и мускусом напрыскан».
И ты казалась им кокеткою пустой,
Продажной прелестью, бездушной красотой.
Мир строг, он осудил твою младую шалость,

Твой бешеный порыв, твоих проступков малость
Он в преступление тяжелое вменил, —
Ты скрылась от него, и он тебя забыл.
Но в тишине, в глуши меня ты не забыла
И в зрелом возрасте мой угол посетила, —
Благодарю тебя! — Уже не молода
Ты мне являешься, не так, как в те года:
Одета запросто, застегнута под шею,
Без колец, без серег, но с прежнею своею
Улыбкой, лаской ты сидишь со мной в тиши,
И сладко видеть мне, что ты не без души,
Что мир тебя считал прелестницей минутной
Несправедливо... нет! В разгульности беспутной
Не промотала ты святых даров творца;
Ты не румянила и в юности лица,
Ты от природы так красна была, — и цельный
Кудрявый локон твой был локон неподдельный,
И не носила ты пришпиленной косы,
Скрученной напрокат и взятой на часы.
О нет, ты не была кокеткою презренной,
И, может быть, ко мне в приязни неизменной,
Пережив меня, старушкой доброй ты
Положишь мне на гроб последние цветы.

Июнь 1854

201. И ТУДА

И туда — на грань Камчатки —
Ты зашла для бранной схватки,
Рать британских кораблей,
И, пристав под берегами,
Яро грянули громами
Пришлецы из-за морей.

И, прикрыт звериной кожей,
Камчадал на них глядит:
Гости странные похожи
На людей — такой же вид!
Только чуден их обычай:
Знать, не ведая приличий,
С злостью выехали в свет,
В гости едут — незнакомы,

И, приехав, мечут громы
Здесь хозяевам в привет!
Огнедышащих орудий
Навезли — дымят, шумят!
«А ведь всё же это — люди», —
Камчадалы говорят.

Камчадал! Пускай в них стрелы!
Ну, прицеливайся! Бей!
Не зевай! В твои пределы,
Видишь, вторгнулся злодей. —
И дикарь в недоуменье...
Слышит странное веленье:
«Как? Стрелять? В кого? В людей?»
И, ушам своим не веря:
«Нет, — сказал, — стрелу мою
Я пускаю только в зверя,
Человека я не бью».

Август — сентябрь 1854

202. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Есть муки непрерывные: не видно,
Не слышно их, о них не говорят.
Скрывать их трудно, открывать их стыдно,
Их люди терпят, жмутся и молчат.

Зарыты в мрак душевного ненастья,
Они не входят в песнь твою, певец.
Их благородным именем несчастья
Назвать нельзя, — несчастие — венец,

Венец святой, надетый под грозою,
По приговору божьего суда.
Несчастье — терн, обрызнутый слезою
Иль кровию, но грязью — никогда.

Оно идет как буря — в тучах грозных,
С величьем, — тут его и тени нет.
Тут — пошлость зол и бед мелкозанозных,
Вседневных зол и ежечасных бед.

Житейский сор! — Едва лишь пережиты, —
Одни ушли, те сыплют пылью вновь, —
А на душе осадок ядовитый
От них растет и проникает в кровь;

Они язвят, подобно насекомым,
И с ними тщетна всякая борьба, —
Лишь вихрем бурным, молнией и громом
Разносит их могучая судьба.

⟨1855⟩

203. МАЛОЕ СЛОВО О ВЕЛИКОМ

На Руси, немножко дикой,
И не то чтоб очень встарь,
Был на царстве Царь Великой:
Ух, какой громадный царь!

Так же духом он являлся,
Как и телом, — исполин,
Чудо — царь! — Петром он звался,
Алексеев был он сын.

Мнится, бог изрек, державу
Дав гиганту: «Петр еси —
И на камени сем славу
Я созижду на Руси».

Много дел, зело успешных,
Тем царем совершено.
Им заложено в «потешных»
Войска дивного зерно.

Взял топор — и первый ботик
Он устроил, сколотил,
И родил тот ботик — флотик,
Этот флотик — флот родил.

Он за истину прямую
Дерзость дерзкому прощал,
А за ложь, неправду злую
Живота весьма лишал, —

А иному напоминки
Кой о чем, начистоту,
Делал с помощью дубинки
Дома, в дружеском быту.

Пред законом исполина
Все стояли на ряду;
Сын преступен — он и сына
Предал смертному суду.

А под совести порукой
Правдой тычь не в бровь, а в глаз,
И, как Яков Долгорукой,
Смело рви царев указ!

Царь вспылит, но вмиг почует
Силу истины живой, —
И тебя он расцелует
За порыв правдивый твой.

И близ жаркой царской груди
Были люди хороши,
Люди правды, чести люди,
Люди сердца и души:

Друг — Лефорт, чей гроб заветный
Спрыснут царской был слезой,
Шереметев — муж советный,
Князь Голицын — боевой, —

Князь Голицын — друг победам,
Личный недруг Репнину,
Пред царем за дело с шведом
Тяжко впавшему в вину.

Левенгаупта без пощады
Бьет Голицын, весь — война.
«Князь! Проси себе награды!»
— «Царь, помилуй Репнина!»

Царь с Данилычем вел дружбу,
А по службе — всё в строку,
Спуску нет, — сам начал службу
Барабанщиком в полку.

Под протекциею женской
Не проскочишь в верхний сан!
Царь и сам Преображенской
Стал недаром капитан.

Нет! — Он бился под Азовом,
Рыскал в поле с казаком
И с тяжелым и суровым
Бытом воина знаком.

Полн воинственной стихии,
Он велел о той поре
Только думать о России
И не думать о Петре.

И лишь только отвоюет —
Свежим лавром осенен,
Чинно князю рапортует
Ромодановскому он.

И, вступая постепенно
В чин за чином, говорил:
«Князь-де милостив отменно,
Право, я не заслужил».

В это время Русь родная,
Средь неведения тьмы,
Чернокнижье проклиная,
Книг боялась, как чумы,

Не давалась просвещенью,
Проживала как пришлось
И с славянской доброй ленью
Всё спускала на авось, —

И смотрела из пеленок,
Отметаема людьми,
Как подкинутый ребенок
У Европы за дверьми.

«Как бы к ней толкнуться в двери
И сказать ей не шутя,
Что и мы, дескать, не звери, —
Русь — законное дитя!

Как бы в мудрость иноземцев
Нам проникнуть? — думал он. —
Дай поучимся у немцев!
Только первый шаг мудрен».

Сердце бойко застучало —
Встал он, время не губя:
«На Руси всему начало —
Царь, — начну же я с себя!»

И с ремесленной науки
Начал он, и, в деле скор,
Крепко в царственные руки
Взял он плотничий топор.

С бодрым духом в бодром теле
Славно плотничает царь;
Там успел в столярном деле,
Там — глядишь — уж и токарь.

К мужику придет: «Бог помочь!»
Тот трудится, лоб в поту.
«Что ты делаешь, Пахомыч?»
— «Лапти, батюшка, плету,

Только дело плоховато,—
Ковыряю как могу,
Через пятое в десято».
— «Дай-ка, я те помогу!»

Сел. Продернет, стянет дырку,—
Знает, где и как продеть,
И плетет в частоковырку,
Так, что любо поглядеть.

В поле к праздному владельцу
Выйдет он, найдет досуг,
И исправит земледельцу
Борону его и плуг.

А на труд свой с недоверьем
Сам всё смотрит. «Нет, пора
Перестать быть подмастерьем!
Время выйти в мастера».

И, покинув царедворский
Штат, и чин, и скипетр свой,
Он поехал в край заморский.
«Человек-де я простой—

Петр Михайлов, плотник, слесарь,
Подмастерье», — говорит.
А на царстве там князь-кесарь
Ромодановский сидит,

Федор Юрьич. — Он ведь спросит
От Петра и то и се, —
И рапортом он доносит
Князю-кесарю про всё.

«Вот, — он пишет, — дело наше
Подвигается, тружусь,
И о здравье Вашем, Ваше
Я Величество, молюсь».

И припишет вдруг: «Однако
Всё я знаю, не дури!
Не грызи людей, собака!
Худо будет, князь, смотри!»

Навострившись у голландцев,
Заглянув и в Альбион,
У цесарцев, итальянцев
Поучился также он.

Стал он мастер корабельный,
И на всё горазд притом:
Он и врач довольно дельный,
И хирург, и анатом,

Физик, химик понемногу,
И механик неплохой, —
И в обратную дорогу
Снарядился он домой.

Для уроков же изустных,
Что он Руси дать желал,
Он учителей искусных
Ей из-за моря прислал.

Полно втуне волочиться!
Дворянин! Сади сынка
Букве, цифири учиться,
Землемерию слегка!

Только все успехи плохи
И ученье ни к чему.
Русский смотрит: скоморохи
В немцах видятся ему, —

И учителям не хочет
Верить, что ни говори,
Немец, думает, морочит:
Все фигляры! штукари!

Всё в них странно, не по-русски.
Некрещеный всё народ!
Нос табачный, платья узки,
Да и ходят без бород.

Как им верить? Кто порука?
И — не к ночи говоря —
Козни беса — их наука!
Изурочили царя.

И державный наш работник
Посмотрел, похмурил взор,
Снова вспомнил, что он плотник,
Да и взялся за топор.

Надо меру взять иную!
Русь пригнул он... быть беде!
И хватил ее, родную,
Топором по бороде:

Отскочила! — Брякнул, звякнул
Тот удар... легко ль снести?
Русский крякнул, русский всплакнул:
Эх, бородушка, прости!

Кое-где и закричали:
«Как? Да видано ль вовек?»
Тсс... молчать! — И замолчали —
Что тут делать? — Царь отсек.

И давай рубить он с корня:
Роскошь прочь! Кафтан с плеча!
Прочь хоромы, пышность, дворня!
Прочь и бархат и парча!

Раззолоченные тряпки,
Блестки — прочь! Всё в печь вались!
Скидывай собольи шапки!
Просто — немцем нарядись!

Царь велел. Слова коротки.
Простоты ж пример в глазах:
Сам, подкинув он подметки,
Ходит в старых сапогах.

Из заветных, тайных горниц,
Из неведомых светлиц
Вывесть велено затворниц —
И девиц, и молодиц.

В ассамблею! — Душегрейки
С плеч долой! Таков приказ.
Страх подумать: белы шейки,
Белы плечи напоказ!

Да чего? — Полгруди видно,
Так и в танец выходи!
Идут, жмурятся... так стыдно!
Ручки к глазкам — не гляди!

А приказу всё послушно.
Женки слезы трут платком,
Царь же потчует радушно
Муженьков их табаком.

Табакерки! Трубки! — В глотку
Хоть не лезет, а тяни!
Порошку возьми щепотку —
В нос пихни, нюхни, чихни!

Тянут, нюхают. Ну, зелье!
Просто одурь от него.
Эко знатное веселье! —
А привыкнешь — ничего —

Сам попросишь. — В пляс голландский,
Хоть не хочется, иди!
Эй ты там, сынок дворянский!
Выходи-ка, выходи!

«Lieber Augustin»[1] — по звуку
На немецкий лад кружи!
Откружил — ступай в науку!
А научишься — служи!

Мало дома школьных храмин —
За границу поезжай!
А воротишься — экзамен
Царь задаст, не оплошай!

Сам допросит, выложь знанья —
Цифирь, линии, круги!
А не сдержишь испытанья —
И жениться не моги!

Не позволит! — Оглянулся:
Он уж там — и снова весь
Мысль и дело, — покачнулся,
Задремал ты — он уж здесь.

Там нашел он ключ целебный,
Там — серебряный рудник,
Там устроил дом учебный,
Там богатств открыл родник,

Там взрывает камней груду,
Там дворян зовет на смотр, —
А меж тем наука всюду,
И в науке всюду Петр —

Рыщет взглядом, сводит брови...
Там — под Нарвой храбрый швед
Учит нас ценою крови
Трудной алгебре побед.

Научились. Под Полтавой
Вот он грозен и могуч!

---

[1] «Милый Августин» (нем.). — *Ред.*

Голос — гром, глаза — кровавый
Выблеск молнии из туч.

Враг разбит. Победа наша!
И сподвижник близ него —
Князь Данилыч Алексаша,
Славный Меншиков его.

От добра пришлось и к худу:
Смелый царь вступил на Прут,
И — беда случись: отвсюду
Злые турки так и прут.

Окружили. Дело круто.
Торжествует сопостат, —
И Великий пишет с Прута
В свой встревоженный Сенат:

«Не робеть! — Дела плохие.
Жизнь Петру недорога.
Что тут Петр? Важна Россия.
Петр ей так, как вы, слуга.

Только б чести не нарушить!
Против чести что коль сам
Скажет Петр — Петра не слушать!
То не царь уж скажет вам.

Плен грозит. За выкуп много
Коль потребуют враги —
Не давать! Держаться строго!
Деньгу крепко береги!»

Но спасает властелина
И супруга своего
Черна бровь — Екатерина,
Катя чудная его.

Хитрый путь она находит,
Клонит к миру визиря
И из злой беды выводит
Изумленного царя.

Гнев ли царский на раскате,
Царь Данилычем взбешен, —
Казнь ему! Данилыч к Кате,
Та к царю — и князь прощен.

Раз, заметив захолустье,
Лес, болотный уголок,
Глушь кругом, — при невском устье
Заложил он городок.

Шаток грунт, да сбоку море,
Расхлестнем к Европе путь!
Эта дверь не на затворе.
Дело сладим как-нибудь.

Нынче сказана граница,
Завтра — срублены леса,
Чрез десяток лет — столица,
Через сотню — чудеса!

Смерть смежила царски очи,
Но бессмертные дела,
Но следы гигантской мочи
Русь в наследье приняла.

И в тот век лишь взор попятишь —
Всё оттоль глядит добром,
И доселе что ни схватишь —
Откликается Петром, —

И петровскую стихию
Носим в русской мы крови
Так, что матушку Россию
Хоть «Петровией» зови!

А по имени любовно
Да по батюшке назвать,
Так и выйдет: «Русь Петровна», —
Так извольте величать!

Всюду дум его рассадник, —
И прекрасен над рекой
Этот славный «Медный всадник»
С указующей рукой.

Так державно, так престольно
Он глядит на бег Невы,
Что подходишь — и невольно
Рвется шапка с головы.

Под стопами исполина
Золотые письмена
Зри: «Петру — Екатерина» —
И пойми: Ему — Она!

И, на лик его взирая,
С сладким трепетом в груди,
Кончи: «Первому — Вторая» —
И без шапки проходи!

⟨1855⟩

204. ХРИСТИАНСКИЕ МЫСЛИ ПЕРЕД БИТВАМИ
(В ДНИ СВ. ПАСХИ 1855 г.)

Готовясь в бой с врагом и ополчась на битву,
Произнесем, друзья, смиренную молитву
К отцу и богу сил! Не станем возглашать,
Что мы идем дела святые совершать!
Не будем называть святыней пир кровавый,
И славу божию с земною нашей славой
Безумно смешивать! — Под сению креста
Во имя кроткое спасителя-Христа
Не могут резаться и грызться люди-братья,
Не обновляя язв честнейшего распятья,—
И, может быть, тому, кто со креста поник
Главою мирною, наш предпобедный клик—
Клик с именем его, воинственно-разгульный,
Под небом слышится насмешкой богохульной.
Зачем же оскорблять учителя любви,
Взывая к кроткому: Се нож! Благослови,
Да в честь твою его поднимем на убийство!
Уймем таких молитв кощунственных витийство!
И, на врагов восстав, к владыке воззовем:
Прости, о господи, мы много их побьем!
О, просвети своим небесным правосудьем,
Всевышний, их и нас! Мы служим лишь орудьем
К явлению твоих таинственных судеб,

Ты правду зришь один, а бедный смертный слеп.
Дай мир нам! Изжени дух злобы и коварства,
Волнующий враждой земные наши царства!
В них братство водвори! Да с именем Христа
Не меч подъемлется на злые состязанья,
Но умиренные смыкаются уста
Божественным ключом пасхального лобзанья!

Конец апреля — начало мая 1855

205. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КРЫЛОВЕ
(ПРИ ВОЗДВИГНУТОМ ЕМУ ПАМЯТНИКЕ)

Довольно и беглого взгляда:
Воссел — вы узнали без слов —
Средь зелени Летнего сада
Отлитый из бронзы Крылов,
И, видимо, в думе глубок он,
И — что б то за дума была —
Подслушать навесился локон
На умную складку чела.
Разогнута книга, страницу
Открыл себе дедушка наш,
И ловко на льва иль лисицу
Намечен его карандаш.
У ног баснописца во славе
Рассыпан зверей его мир:
Квартет в его полном составе,
Ворона, добывшая сыр,
И львы, и болотные твари,
Петух над жемчужным зерном,
Мартышек лукавые хари,
Барашки с пушистым руном.
Не вся ль тут животность предстала,
Металлом себя облила
И группами вкруг пьедестала
К ногам чародея легла?

Вы помните, люди: — меж вами
Жил этот маститый старик,
Правдивых уроков словами
И жизненным смыслом велик.
Как меткий был взгляд его ясен!

Какие вам истины он
Развертывал в образах басен,
На притчи творцом умудрен!
Умел же он истины эти
В такую одежду облечь,
Что разом смекали и дети,
О чем ведет дедушка речь.
Представил он матушке Руси
Рассказ про гусиных детей,
И слушали глупые гуси—
Потомки великих гусей.
При басне его о соседе
Сосед на соседа кивал,
А притчу о Мишке-медведе
С улыбкой сам Мишка читал.
Приятно и всем безобидно
Жил дедушка, правду рубя.
Иной... да ведь было же стыдно
Узнать в побасенке себя!
И кто предъявил бы, что колки
Намеки его на волков,
Тот сам напросился бы в волки,
Признался б, что сам он таков.
Он создал особое царство,
Где умного деда перо
Карало и злость и коварство,
Венчая святое добро.
То царство звериного рода, —
Всё лев иль орел его царь,
Какой-нибудь слон — воевода,
Плутовка лиса — секретарь;
Там жадная щука — исправник,
А с парой предлинных ушей
Всеобщий знакомец — наставник,
И набран совет из мышей.
Ведь, кажется, всё небылицы, —
С котлом там дружится горшок,
И сшитый из старой тряпицы
В великом почете мешок;
Там есть говорящие реки,
И в споре с ручьем водопад,
И словно как мы — человеки —
Там камни, пруды говорят.

Кажись, баснописец усвоил,
Чего в нашем мире и нет;
Подумаешь, — старец построил
Какой фантастический свет,
А после, когда оглядишься
В действительном мире кругом, —
Всей меткости правды дивишься,
Захваченной деда стихом,
И бездну житейского толка
Найдешь в его складных речах,
Увидишь двуногого волка
С ягненком на двух же ногах;
Там в перьях павлиньих по моде
Воронья распущена спесь,
А вот и осел в огороде:
«Здорово, приятель, ты здесь».
Увидишь тех в горьких утехах,
А эту в почетной тоске, —
Беззубую белку в орехах
И пляшущих рыб на песке, —
И взор наблюдательный встретит
Там — рыльце в пушку, там — судью,
Что, дел не касаяся, метит
На первое место в раю.
Мы все в этих баснях, нам больно
Признаться, но, взяв хоть взаймы
Крыловскую правду, невольно,
Как вол, здесь мычу я: «И мы!»
Сам грешен я, всем возвещаю:
Нередко читая стихи,
Друзей я котлом угощаю
Демьяновой страшной ухи.

Довольно и беглого взгляда:
Воссел — вы узнали без слов. —
Средь зелени Летнего сада
Отлитый из бронзы Крылов, —
И станут мелькать мимоходом
Пред ликом певца своего
С текущим в аллее народом
Ходячие басни его:
Пойдут в человеческих лицах
Козлы, обезьяны в очках;

Подъедут и львы в колесницах
На скачущих бурно конях;
Примчатся в каретах кукушки,
Рогатые звери придут,
На памятник деда лягушки,
Вздуваясь, лорнет наведут —
И в Клодта живых изваяньях
Увидят подобья свои,
И в сладостных дам замечаньях
Раздастся: «Mais oui, c'est joli».[1]
Порой подойдет к великану
И серый кафтан с бородой
И скажет другому кафтану:
«Митюха! сынишко-то мой
Читает про Мишку, Мартышку
Давно уж, — понятлив, хоть мал, —
На память всю вызубрил книжку,
Что этот старик написал».
О, если б был в силах нагнуться
Бессмертный народу в привет!
О, если б хоть мог улыбнуться
Задумчивый бронзовый дед!
Нет, — тою ж всё думою полный
Над группой звериных голов,
Зрим будет недвижный, безмолвный
Из бронзы отлитый Крылов.

Май 1855

206. ПОЭЗИЯ

Поэзия! Нет, ты не чадо мира,
Наш дольний мир родить тебя не мог, —
Среди пучин предвечного эфира
В день творчества в тебя облекся бог.

Возникла ты до нашего начала,
Ты в семенах хаоса началась,
В великом ты «да будет» прозвучала
И в дивном «бысть» всемирно разлилась, —

[1] «Ну да, это мило» (франц.). — *Ред.*

И, взятому под божию опеку,
Средь райских грез и первых дней весны,
Ты первому явилась человеку
В лице небес, природы и жены.

От звездного нисшедшая чертога
К жильцу земли, в младенческой тиши,
Прямым была ты отраженьем бога
В его очах и в зеркале души.

Готовую нашли тебя народы.
Ты — лучший дар, алмаз в венце даров,
Сладчайший звук в симфонии природы,
Разыгранный оркестром всех миров.

Пал человек, но и в его паденье
Всё с небом ты стоишь лицом к лицу, —
Созданья ты к создателю стремленье,
Живой порыв творения к творцу.

Тобою полн, смотря на мир плачевный,
На этот мир, подавленный грехом,
Поэт и царь державно-псалмопевный,
Гремел Давид пророческим стихом, —

И таинством любви и искупленья
Сказалась ты всем земнородным вновь,
Когда омыть вину грехопаденья
Должна была святого агнца кровь.

Внушала ты евангелистам строфы,
Достойные учеников Христа,
Когда на мир от высоты Голгофы
Повеяло дыхание креста.

И в наши дни, Адама бедных внуков
Будя сердца, чаруя взор и слух,
Ты, водворясь в мир красок, форм и звуков,
Из дольней тьмы их исторгаешь дух

И служишь им заветной с небом связью, —
В твоем огне художнику дано
Лик божества писать цветною грязью
И молнии кидать на полотно.

Скульптóр, к твоей допущенный святыне,
Вдруг восстает, могуществом дыша, —
И в земляной бездушной глыбе, в глине
И мраморе горит его душа.

Ты в зодчестве возносишь камень свода
Под звездный свод — к властителю стихий,
И в светлый храм грядут толпы народа,
Фронтон гласит: «Благословен грядый!»

Из уст певца течет, благовествуя,
Как колокол гудящий, твой глагол,
И царственно ты блещешь, торжествуя,
Твой скипетр — мысль, а сердце — твой престол.

Порою ты безмолвствуешь в раздумье,
Когда кругом всемирный поднят шум,
Порой в своем пифическом безумье
Ты видишь то, чего не видит ум.

На истину ты взором неподкупным
Устремлена, но блеск ее лучей
Чтоб умягчить и нам явить доступным
Для заспанных, болезненных очей, —

Его дробишь в своей ты чудной призме,
И, радуги кидая с высоты,
В своих мечтах, в бреду, в сомнамбулизме
Возносишься до провоззренья ты.

Магнитный сон пройдет — и пробужденье
Твое, поэт, печально и темно,
И видишь ты свое произведенье,
Не помня, как оно совершено.

Май 1855

207. К ОТЕЧЕСТВУ И ВРАГАМ ЕГО
(1855 ГОД)

Русь — отчизна дорогая!
Никому не уступлю, —
Я люблю тебя, родная,
Крепко, пламенно люблю.

В духе воинов-героев,
В бранном мужестве твоем
И в смиренье после боев —
Я люблю тебя во всем:

В снеговой твоей природе,
В православном алтаре,
В нашем доблестном народе,
В нашем батюшке царе, —

И в твоей святыне древней,
В лоне храмов и гробниц,
В дымной, сумрачной деревне
И в сиянии столиц, —

В крепком сне на жестком ложе
И в поездках на тычке,
В щедром барине-вельможе
И смышленом мужичке, —

В русской деве светлоокой
С звонкой россыпью в речи,
В русской барыне широкой,
В русской бабе на печи, —

В русской песне залюбовной,
Подсердечной, разлихой,
И в живой сорвиголовной,
Всеразгульно-плясовой, —

В русской сказке, в русской пляске,
В крике, в свисте ямщика
И в хмельной с присядкой тряске
Казачка и трепака, —

В чудном звоне колокольном
На родной Москве-реке
И в родном громоглагольном,
Мощном русском языке, —

И в стихе веселонравном,
Бойком, стойком, как ни брось,
Шибком, гибком, плавном, славном,
Прорифмованном насквозь, —

В том стихе, где склад немецкий
В старину мы взяли в долг,
Чтоб явить в нем молодецкий
Русский смысл и русский толк, —

Я люблю тебя, как царство,
Русь, за то, что ты сплеча
Ломишь Запада коварство,
Верой-правдой горяча.

Я люблю тебя тем пуще,
Что, прямая как стрела,
Прямотой своей могущей
Ты Европе немила.

Что средь брани, в стойке твердой,
Миру целому ты вслух
Без заносчивости гордой
Проявила мирный дух, —

Что, отрекшись от стяжаний
И вставая против зла,
За свои родные грани
Лишь защитный меч взяла,

Что в себе не заглушила
Вопиющий неба глас
И во брани не забыла
Ты распятого за нас.

Так, родная, — мы проклятья
Не пошлем своим врагам
И под пушкой скажем: «Братья!
Люди! Полно! Стыдно вам».

Не из трусости мы голос,
Склонный к миру, подаем:
Нет! Торчит наш каждый волос
Иль штыком, или копьем.

Нет! Мы стойки. Не Европа ль
Вся сознательно глядит,
Как наш верный Севастополь
В адском пламени стоит?

Крепок каждый наш младенец,
Каждый отрок годен в строй,
Каждый пахарь — ополченец,
Каждый воин наш — герой.

Голубица и орлица
Наши в Крым летят — ура!
И девица и вдовица —
Милосердия сестра.

Наша каждая лазейка —
Подойди — извергнет гром!
Наша каждая копейка
За отечество ребром.

Чью не сломим мы гордыню,
Лишь воздвигни царь-отец
Душ корниловских твердыню
И нахимовских сердец!

Но ломая грудью груди,
Русь, скажи своим врагам:
«Прекратите зверство, люди!
Христиане! Стыдно вам.

Вы на поприще ученья
Не один трудились год, —
Тут века! — И просвещенья
Это ль выстраданный плод?

В дивных общества проектах
Вы чрез высь идей прошли
И во всех возможных сектах
Христианство пережгли.

Иль для мелкого гражданства
Только есть святой устав
И святыня христианства
Не годится для держав?

Теплота любви и веры —
Эта жизнь сердец людских —
Разве сузила б размеры
Дел державных, мировых?

Раб, идя сквозь все мытарства,
В хлад хоть сердцем обогрет;
Вы его несчастней, царства, —
Жалки вы, — в вас сердца нет.

Что за чадом отуманен
Целый мир в разумный век!
Ты — француз! Ты — англичанин!
Где ж меж вами человек?

Вы с трибун, где дар витийства
Человечностью гремел,
Прямо ринулись в убийства,
В грязный омут хищных дел.

О наставники народов!
О науки дивный плод!
После многих переходов
Вот ваш новый переход:

Из всемирных филантропов,
Гордой вольности сынов —
В подкупных бойцов-холопов
И журнальных хвастунов, —

Из великих адвокатов,
Из крушителей венца —
В пальмерстоновских пиратов
Или в челядь сорванца».

Стой, отчизна дорогая!
Стой! — И в ранах, и в крови
Всё молись, моя родная,
Богу мира и любви!

И, детей своих венчая
Высшей доблести венцом,
Стой, чела не закрывая,
К солнцу истины лицом!

Первая половина 1855 .

208. К РОССИИ

Не унывай! Все жребии земные
Изменчивы, о дивная в землях!
Твоих врагов успехи временные
Пройдут, как дым, — исчезнут, яко прах.
Всё выноси, как древле выносила,
И сознавай, что в божьей правде сила,
А не в слепом движении страстей,
Не в золоте, не в праздничных гремушках,
Не в штуцерах, не в дальнометных пушках
И не в стенах могучих крепостей.

Да, тяжело... Но тяжелей бывало,
А вышла ты, как божий день, из тьмы;
Терпела ты и в старину немало
Различных бурь и всякой кутерьмы.
От юных дней знакомая с бедами,
И встарь ты шла колючими путями,
Грядущего зародыши тая,
И долгого терпения уроки
Внесла в свои таинственные строки
Суровая История твоя.

Ты зачат был от удали норманнской
(Коль к твоему началу обращусь),
И мощною утробою славянской
Ты был носим, младенец чудный — Рус,
И, вызванный на свет к существованью,
Европе чужд, под Рюриковой дланью
Сперва лежал ты пасынком земли,
Приемышем страны гиперборейской,
Безвестен, дик, за дверью европейской,
Где дни твои невидимо текли.

И рано стал знаком ты с духом брани,
И прыток был ребяческий разбег;
Под Игорем с древлян сбирал ты дани,
Под Цареград сводил тебя Олег,
И, как ведром водицу из колодца,
Зачерпывал ты шапкой новгородца
Днепровский вал, — и, ловок в чудесах,
Преград не зря ни в камнях, ни в утесах,
Свои ладьи ты ставил на колесах
И посуху летел на парусах.

Ты подрастал. Уж сброшена пеленка,
Оставлена дитятей колыбель;
Ты на ногах, пора крестить ребенка!
И вот — Днепра заветная купель
На греческих крестинах расступилась,
И Русь в нее с молитвой погрузилась.
Кумиры — в прах! Отрекся и от жен
Креститель наш — Владимир, солнце наше,
Хоть и вздохнул: «Зело бо жен любяше», —
И браком стал с единой сопряжен.

И ввергнут был в горнило испытаний
Ты — отрок — Рус. В начале бытия
На двести лет в огонь домашних браней
Тебя ввели удельные князья:
Олегович, Всеславич, Ярославич,
Мстиславич, Ростиславич, Изяславич, —
Мозг ныл в костях, трещала голова, —
А там налег двухвековой твой барин
Тебе на грудь — неистовый татарин,
А там, как змей, впилась в тебя Литва.

Там Рим хитрил, но, верный православью,
Ты не менял восточного креста.
От смут склонил тебя к однодержавью
Твой Иоанн, рекомый «Калита».
Отбился ты и от змеи литовской,
И крепнуть стал Великий князь Московской,
И, осенен всевышнего рукой,
Полки князей в едину рать устроив,
От злых татар герой твой — вождь героев —
Святую Русь отстаивал Донской.

И, первыми успехами венчанна,
Русь, освежась, протерла лишь глаза,
Как ей дались два мощных Иоанна:
Тот — разум весь, сей — разум и гроза, —
И, под грозой выдерживая опыт,
Крепясь, молясь и не вдаваясь в ропот,
На плаху Рус чело свое клонил,
А страшный царь, кроваво-богомольный,
Терзая люд и смирный и крамольный,
Тиранствовал, молился и казнил.

Лишь только дух переводил — и снова
Пытаем был ты, детствующий Рус, —
Под умною опекой Годунова
Лишь выправил ты бороду и ус
И сел было с указкою за книжку,
Как должен был за Дмитрия взять Гришку,
А вслед за тем с ватагою своей
Вор Тушинский казацкою тропинкой
На царство шел с бесстыдною Маринкой —
Сей польскою пристяжкой лжецарей.

И то прошло. И, наконец, указан
России путь божественным перстом:
Се Михаил! На царство в нем помазан
Романовых благословенный дом.
И се — восстал гигант-образователь
Родной земли, ее полусоздатель
Великий Петр. Он внутрь и вне взглянул
И обнял Русь: «Здорово, мол, родная!» —
И всю ее от края и до края
Встряхнул, качнул и всю перевернул, —

Обрил ее, переодел и в школу
Ее послал, всему понаучил;
«Да будет!» — рек, — и по его глаголу
Творилось всё, и русский получил
Жизнь новую. Хоть Руси было тяжко,
Поморщилась, покорчилась, бедняжка,
Зато потом как новая земля
Явилась вдруг, оделась юной славой,
Со шведами схватилась под Полтавой
И бойкого зашибла короля.

И побойчей был кое-кто, и, глядя
На божий мир, весь мир он с бою брал, —
То был большой, всезнаменитый дядя,
Великий вождь, хоть маленький капрал;
Но, с малых лет в гимнастике страданий
Окрепший, росс не убоялся брани
С бичом всех царств, властителем властей, —
С гигантом тем померялся он в силах,
Зажег Москву и в снеговых могилах
Угомонил непризванных гостей.

И между тем как на скалах Елены
Утихло то, что грозно было встарь,
Торжественно в стенах всесборной Вены
Европе суд чинил наш белый царь,
И где ему внимали так послушно —
Наш судия судил великодушно.
Забыто всё. Где благодарность нам?
«Вы — варвары!» — кричат сынам России
Со всех сторон свирепые витии,
И враг летит по всем морским волнам.

Везде ты шла особою дорогой,
Святая Русь, — давно ль средь кутерьмы
На Западе, охваченном тревогой,
Качалось всё? — Спокойны были мы,
И наш монарх, чьей воли непреклонность
Дивила мир, чтоб поддержать законность,
По-рыцарски извлек свой честный меч.
За то ль, что с ним мы были бескорыстны,
Для Запада мы стали ненавистны?
За то ль хотят на гибель нас обречь?

В пылу войны готовность наша к миру
Всем видима, — и видимо, как есть,
Что схватим мы последнюю секиру,
Чтоб отстоять земли родимой честь.
Не хочет ли союзничество злое
Нас покарать за рыцарство былое,
Нам доказать, что нет священных прав,
Что правота — игрушка в деле наций,
Что честь знамен — добавок декораций
В комедиях, в трагедиях держав?

Или хотят нас просветить уроком,
Нам показать, что правый, честный путь
В политике является пороком
И что людей и совесть обмануть —
Верх мудрости? — Нет! Мы им не поверим.
Придет конец невзгодам и потерям, —
Мы выдержим — и правда верх возьмет.
Меж дел людских зла сколько б ни кипело —
Отец всех благ свое проводит дело,
И он один уроки нам дает.

Пусть нас зовут врагами просвещенья!
Со всех трибун пускай кричат, что мы —
Противники всемирного движенья,
Поклонники невежественной тьмы!
Неправда! Ложь! — К врагам готовы руку
Мы протянуть, — давайте нам науку!
Уймите свой несправедливый шум!
Учите нас, — мы вам «спасибо» скажем;
Отстали мы? Догоним — и докажем,
Что хоть ленив, но сметлив русский ум.

Вы хитростью заморскою богаты,
А мы спроста в открытую идем,
Вы на словах возвышенны и святы,
А мы себя в святых не сознаем.
Порой у нас (где ж люди к злу не падки?)
Случаются и английские взятки,
И ловкости французской образцы
В грабительстве учтивом или краже;
А разглядишь — так вы и в этом даже
Великие пред нами мудрецы.

Вы навезли широкожерлых пушек,
Громадных бомб и выставили рать,
Чтоб силою убийственных хлопушек
Величие России расстрелять;
Но — вы дадите промах. Провиденье
Чрез вас свое дает нам наставленье,
А через нас самих вас поразит;
Чрез вас себя во многом мы исправим,
Пойдем вперед и против вас поставим
Величия усиленного щит.

И выстрелы с той и другой стихии
Из ваших жерл, коли на то пошло,
Сразят не мощь державную России,
А ваше же к ней привитое зло;
И, крепкие в любви благоговейной,
Мы пред царем сомкнемся в круг семейной,
И всяк сознай, и всяк из нас почуй
Свой честный долг! — Царя сыны и слуги —
Ему свои откроем мы недуги
И скажем: «Вот! Родимый наш! Врачуй!»

И кто из нас или нечестный воин,
Иль гражданин, но не закона страж,
Мы скажем: «Царь! Он Руси не достоин,
Изринь его из круга, — он не наш».
Твоя казна да будет нам святыня!
Се наша грудь — Отечества твердыня,
Затем что в ней живут и бог и царь,
Любовь к добру и пламенная вера!
И долг, и честь да будут — наша сфера!
Монарх — отец, Отечество — алтарь!

Не звезд одних сияньем лучезарен,
Но рвением к добру страны родной,
Сановник наш будь истинный боярин,
Как он стоит в стихах Ростопчиной!
Руководись и правдой и наукой,
И будь второй князь Яков Долгорукой!
Защитник будь вдовства и сиротства!
Гнушайся всем, что криво, низко, грязно!
Будь в деле чужд Аспазий, Фрин соблазна,
Друзей, связей, родства и кумовства!

И закипят гигантские работы,
И вырастет богатство из земли,
И явятся невиданные флоты,
Неслыханных размеров корабли,
И миллионы всяческих орудий,
И явятся — на диво миру — люди, —
И скажет царь: «Откройся свет во мгле
И мысли будь широкая дорога,
Затем что мысль есть проявленье бога
И лучшая часть неба на земле!»

Мы на тебя глядим, о царь, — и тягость
С унылых душ снимает этот взгляд.
Над Русью ты — увенчанная благость,
И за тебя погибнуть каждый рад.
Не унывай, земля моя родная,
И, прошлое с любовью вспоминая,
Смотри вперед на предлежащий век!
И верь, — твой враг вражду свою оплачет
И замолчит, уразумев, что значит
И русский бог, и русский человек.

Октябрь 1855

209. БИВАК

Темно. Ни звездочки на черном неба своде.
Под проливным дождем на длинном переходе
Промокнув до костей, до сердца, до души,
Пришли на место мы — и мигом шалаши
Восстали, выросли. Ну, слава богу: дома!
И — роскошь! — вносится в отрадный мой шалаш
Сухая, свежая, упругая солома.
А чайник что? — Кипит. О, чай — спаситель наш!
Он тут. Идет денщик — служитель ратных станов
И, слаще музыки, приветный звон стаканов
Вдали уж слышится, и чайная струя
Спешит стаканов ряд наполнить по края.
Садишься и берешь — и с сладострастной дрожью
Пьешь нектар, радость пьешь, глотаешь милость божью...
Нет, житель городской, как хочешь величай
Напиток жалкий свой, а только он — не чай!
Нет, люди мирные, когда вы не живали
Бивачной жизнию, вы чаю не пивали.
Глядишь: всё движется, волнуется, кипит;
Огни разведены — и что за чудный вид!
Такого и во сне вы, верно, не видали:
На грунте сумрачном необозримой дали
Фигуры воинов, как тени, то черны,
То алым пламенем красно освещены,
Картинно видятся в различных положеньях,
Кругами, группами, в раскидистых движеньях,
Облиты заревом, под искрами огней,
Со всею прелестью голов их поседелых,
Мохнатых их усов, нависших их бровей,
И глаз сверкающих, и лиц перегорелых.
Забавник-шут острит — и красное словцо
И добрый, звонкий смех готовы налицо.
Кругом и крик, и шум, и общий слитный говор.
Пред нами вновь денщик, — теперь уж он как повар
Явился; ужин наш готов уже совсем.
Спасибо, мой Ватель! Спасибо, мой Карем!
Прекрасно! — И, делим живой артелью братской,
Как вкусен без приправ простой кусок солдатской!
Поели — на лоб крест — и на солому бух!
И уж герой храпит во весь геройский дух.
О, богатырский сон! — Едва ль он перервется,
Хоть гром из тучи грянь, обрушься неба твердь.

Великолепный сон! — Он глубже, мне сдается,
Чем тот, которому дано названье «смерть».
Там спишь, а душу всё подталкивает совесть
И над ухом ее нашептывает повесть
Минувших дней твоих — а тут... но барабан
Вдруг грянул — и восстал, воспрянул ратный стан.

⟨1856⟩

210. ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ

Плохо! Чем живется доле,
Тем живется хуже.
Приютился б в горькой доле
Сердцем, — да к кому же?

Бродишь старым сиротою,
Все мне как-то чужды,
Как живу и что со мною —
Никому нет нужды.

Есть у божьей церкви, с краю,
Тихая могила.
Там лежит одна — я знаю:
Та меня любила.

Не за то, чтоб точно было
Всё во мне так мило,
А за то меня любила,
Что меня родила.

Изнуренная, больная,
Дряхлая, бывало,
Тужишь, ищешь ты, родная:
«Где дитя пропало?»

А сынок твой одурелый
Рыскал всё по свету,
Смотришь, — нет его день целый,
Да и к ночи нету.

Бедной матери не спится,
Слез полна подушка:
«Мало ль может что случиться? —
Думает старушка. —

Страшен ворог неключимый
    В эдакую пору.
Не попался ли родимый
    Лиходею-вору?

Не ограбили ли сына?
    Жив ли он, желанный?»
Чу! Идет домой детина,
    Словно окаянный, —

Встрепан, бледен, смотрит дико,
    Волос в беспорядке,
Сам трясется весь... поди-ка, —
    Верно, в лихорадке!

Да, он болен, он расслаблен,
    Он ужален змеем,
А пожалуй, и ограблен —
    Только не злодеем,

А разбойницей злодейкой,
    Резвою девчонкой,
С черной бровью, с белой шейкой,
    С трелью речи звонкой.

Лишь закинула словечко —
    И поддела разом
Из груди его сердечко,
    Из-под шапки разум;

Всю в нем душу возмутила
    Дьявольским соблазном
И домой его пустила
    В виде безобразном.

А сама... и горя мало!
    Жалости ни крошки!
Так и пляшет с кем попало,
    Только брызжут ножки.

Я ж лежу, горю и таю,
    Думаю, — кончина!
И за грудь себя хватаю —
    То-то дурачина!

Мать горюет, слезы сжаты,
Смотрит на больного,
Говорит: «Напейся мяты
Иль чайку грудного!»

— «Эх, родная! — отвечаю. —
Что тут чай и мята,
Где отрады я не чаю,
Где душа измята?»

Чу! звонят. Гляжу — могила!
И мой жребий понят.
Лишь одна меня любила,
Да и ту хоронят.

И замкнулася тоскою
Жизнь моя блажная.
Ты зовешь меня к покою.
Подожди, родная!

⟨1856⟩

211. В АЛЬБОМ Е. К⟨АРЛГОФ⟩

Веселый нрав — Ваш дар природный,
В Вас жизнь кипит — хвала творцу!
И пуще шляпки самой модной
Живая радость Вам к лицу;
Так дай же бог шутя, с улыбкой
Весь так пройти Вам жизни путь,
Чтоб не случилось и ошибкой
Вам ни заплакать, ни вздохнуть!

Между 1847 и 1856

212. ИЗВИНЕНИЕ

Винюсь пред ангелом ребенком:
Случайно назвал я, шутя,
Очаровательным бесенком
Игриво-бойкое дитя.

Она (здесь милая природа
Грамматике сказала: вон! —
И потому «она» — не «он»,
Ребенок женского был рода) —
Она, ушко свое склоня,
Когда молва до ней домчалась
Про эту дерзость, зачуралась,
Воскликнув трижды: «Чур меня!» —
И тем же ангелом осталась.
О, если б прежние года
И прежний пыл!.. Избави боже!
Случись, что был бы я моложе
И с нею встретился б, тогда
От этих прелестей — беда! —
Страдать бы крепко мне досталось
И сердце, полное огня,
Стократ кричало б: «Чур меня!» —
И всё бы адски бесновалось;
А ныне я, спокойно-горд,
Дерзнул, любуясь тем ребенком,
Назвать и ангела бесенком
Затем, что сам я старый черт.

Между 1850 и 1856

213. ОСТРОВ

Плывут мореходцы — и вдруг озадачен
Их взор выступающим краем земли.
Подъехали — остров! — Но он не означен
На карте; они этот остров нашли,
Открыли, — и в их он владенье по праву
Поступит, усилит страны их державу.

Пристали: там бездна природы красот,
Еще не страдавших от силы воинской, —
Жемчужные горы! Лесами встает
Из гротов коралловых мох исполинской.
Какие растенья! Какие цветы!
Таких еще, смертный, не видывал ты.

Там почва долин и цветных междугорий
Вся сшита из жизни, отжившей едва, —
Из раковин чудных, из масс инфузорий;

Вглядишься в пылинку: пылинка жива;
К цветку ль великану прохожий нагнулся:
Крылатый цветок мотыльком встрепенулся

Иль резвою птичкой, и птичка летит
И звонко несется к небесным преддверьям,
И луч всепалящего солнца скользит
По радужным крыльям, по огненным перьям;
Пришлец вдруг испуган извитой змеей:
То стебель ползучий блеснул чешуей,

И видно, как всходит, и слышно, как дышит
Там каждая травка и каждый лесок;
Там дерево жизни ветвями колышет
И каплет из трещин живительный сок
И брызжет, — и тут же другое с ним рядом:
То дерево смерти с убийственным ядом.

И рад мореходец. «Хвала мне и честь! —
Он мыслит. — Вот новость для нашего века —
Земля неизвестная! Всё на ней есть
И — слава всевышнему! — нет человека!
Еще здесь дороги себе не просек
Мой ближний, — так мыслит и рад человек. —

А если там дальше и водятся люди
На острове этом — прижмем дикарей!
Заспорят — железо направим им в груди —
И сдвинем их глубже — в берлоги зверей,
И выстрелы будут на вопль их ответом;
Причем озарим их евангельским светом.

Встречая здесь новые тени и свет,
Потом пусть картины здесь пишет художник,
Трудится ученый, и тощий поэт,
Беснуясь, восходит на шаткий треножник!
Нам надобно дело: всё прочее — блажь.
Нам надо, во-первых, чтоб остров был наш.

Мы срежем мохнатые леса опушки;
Здесь будет дорога, тут станет наш флот;
Там выстроим крепость и выставим пушки, —
И, если отсюда сосед подойдет,
Как силы его ни явились бы крепки,
От вражьей армады останутся щепки.

Какую торговлю мы тут заведем!
Давай потом ездить и вдаль и к соседям!
Каких им диковин с собой навезем!
С каким небывалым товарцем подъедем!
Вот новая пряность Европе на пир!
Вот новые яды! Пусть кушает мир!»

Земля под ногами гостей шевелится,
Кряхтит или охает: тягостно ей
Под новым животным, пришедшим селиться
Средь выросших дико на персях у ней
Животно-кристаллов, животно-растений,
Полуминералов, полупрозябений.

А гости мечтают: «Хозяева мы.
Без нас — тут дремала пустая природа,
И солнце без нас не умалило б тьмы,
Без пошлин сияя, блестя без дохода,
В бесплодном венце неразумных лучей.
Что солнце, где нет человека очей?»

Но прежде чем здесь пришлецы утвердились,
Другого народа плывут корабли.
Прибывшие в право владенья вступились,
У первых с последними споры пошли.
«Сей берег впервые не нами ли встречен?»
— «Конечно,— да нами он прежде замечен».

И вот — забелели еще паруса,
И нации новой явились пришельцы.
«Постойте! — приезжих гудят голоса. —
По праву природы не мы ль здесь владельцы?
В соседстве тут наша земля-материк.
Оторванный лоскут ее здесь возник».

В три царства пошли донесенья, как надо,
Об острове чудном; проснулись Дворы;
Толкуют о найденном вновь Эльдорадо,
Где золото прыщет из каждой горы;
Волной красноречья хлестнули Палаты,
И тонкие скачут на съезд дипломаты.

Съезжаются: сколько ума в головах!
Какая премудрость у них в договорах!

А там между тем в их родимых землях
Готовятся флоты, и пушки, и порох —
На случай. Всё было средь тех уже дней,
Где эта премудрость казалась верней.

Лишь древность седая, пленяясь витийством
Речей плутоватых, им верить могла;
А впрочем, и древле всё тем же убийством,
Войной нареченным, решились дела,
И место давали губительным сценам
Афины со Спартой и Рим с Карфагеном.

И вот за пленительный остров борьба
Как раз бы кровавым котлом закипела,
Но страшное зло отвратила судьба,
И лютая вспыхнуть война не успела:
Тот остров плавучий, под бурный разгул,
Однажды средь яростных волн потонул, —

Иль, сорван могучим крылом урагана
С подводной, его подпиравшей, скалы,
Умчался в безвестную даль океана
И скрылся навеки за тучами мглы;
А там еще длились и толки и споры,
Готовились пушки и шли договоры.

Между 1850 и 1856

214. РАСПУТИЕ

Мне памятно: как был ребенком я —
Любил я сказки; вечерком поране
И прыг в постель, совсем не для спанья,
А рассказать чтобы успела няня
Мне сказку. Та, бывало, и начнет
Мне про Иван-царевича. «Ну вот, —
Старушка говорит, — путем-дорогой
И едет наш Иван-царевич; конь
Золотогривый и сереброногой —
Дым из ушей, а из ноздрей огонь —
Стремглав летит. Да вдруг и раздвоилась
Дорожка-то: одна тропа пустилась
Направо, вдаль, через гористый край;

Другая же тропинка своротилась
Налево — в лес дремучий, — выбирай!
А тут и столб поставлен, и написан
На нем наказ проезжему: пустись он
Налево — лошадь сгинет, жив ездок
Останется; направо — уцелеет
Лихой золотогрив, сереброног,
А ездоку смерть лютая приспеет.
Иван-царевич крепко приуныл:
Смерть жаль ему коня-то; уж такого
Ведь не добыть, он думает, другого,
А всё ж себя жаль пуще, своротил
Налево», — и так далее; тут бреду
Конец не близко, много тут вранья,
Но иногда мне кажется, что я
Вдоль жизни, как Иван-царевич, еду —
И, вдумавшись, в той сказке нахожу
Изрядный толк. Вот я вам расскажу,
Друзья мои, не сказку и не повесть,
А с притчей быль. Извольте: я — ездок,
А конь золотогрив, сереброног —
То правда божья, истина да совесть.
И там и здесь пути раздвоены —
Налево и направо. Вот и станешь, —
Которой же держаться стороны?
На ту посмотришь да на эту взглянешь.
Путь честный — вправо: вправо и свернешь,
Коль правоту нелицемерно любишь,
Да тут —беда! Тут сам себя погубишь
И лишь коня бесценного спасешь.
Так мне гласит и надпись у распутья.
Живи ж, мой конь! Готов уж повернуть я
Направо — в гору, в гору — до небес. . .
Да думаешь: что ж за дурак я? Эво!
Себя губить! — Нет! — Повернул налево,
Да и давай валять в дремучий лес!

Между 1850 и 1856

215. ПИСЬМА

Послания милой, блаженства уроки,
Прелестные буквы, волшебные строки,
Заветные письма! — Я вами богат;

Всегда вас читаю, и снова читаю,
И млею, и таю, и слезы глотаю,
И знаю насквозь, наизусть, наугад.

Любуюсь я слогом сих нежных посланий;
Не вижу тут жалких крючков препинаний;
В узлах запятых здесь не путаюсь я:
Грамматику сердца лишь вижу святую,
Ловлю недомолвки, ошибки целую
И подпись бесценную: «Вечно твоя».

Бывало, посланник, являясь украдкой,
Вручит мне пакетец, скрепленный облаткой.
Глядь: вензель знакомый. На адрес смотрю:
Так почерк неровен, так сизо чернило,
И *ять* не на месте... как всё это мило!
«Так, это от... знаю» — а сам уж горю.

От друга, от брата — бегу, как от пугал,
Куда-нибудь в сумрак, куда-нибудь в угол,
Читаю... те смотрят; я, дух затая,
Боюсь, что и мысль мою кто-нибудь слышит;
А тут мне вопросы: «Кто это к вам пишет?»
— «Так — старый знакомый. Пустое, друзья».

В глазах моих каждая строчка струится
И каждая буква, вглядясь, шевелится,
Прислушаюсь: дышит и шепчет: «Живи!»
Тут брызга с пера — род нечаянной точки —
Родимое пятнышко милой мне щечки
Так живо рисует пред оком любви.

Хранитесь, хранитесь, блаженства уроки,
Без знаков, без точек — заветные строки!
Кто знает? Быть может, под рока грозой,
Когда-нибудь после на каждую строчку
Сих тайных посланий я грустную точку
Поставлю тяжелой, сердечной слезой.

Между 1850 и 1856

216. НЕОТВЯЗНАЯ МЫСЛЬ

Как привяжется, как прилепится
К уму-разуму думка праздная,
Мысль докучная в мозг твой вцепится
И клюет его, неотвязная,
И, подобная птице ворону,
Так и каркает в самом темени.
Норовлю от ней как бы в сторону,
Говорю: «Пусти! Нету времени.
День рабочий мне начинается
И кончается он заботою».
А несносная упирается —
Я с тобой, дескать, поработаю!
И становится мне помехою,
И с помехою той досадною,
Что ни сделаю — всё с прорехою
Иль с заплаткою неприглядною.
Вспомнишь прошлое: были случаи —
Сердце юное поразнежится,
Забурлят в уме мысли жгучие,
И одна из них в душу врежется,
И займет она всю головушку —
Мысль про тайную ласку дружнюю,
Аль про девушку, аль про вдовушку,
Аль — на грех-беду — про замужнюю,
Да как жаркое сердце свяжется
С этой думкою полюбовною, —
Вся вселенная тебе кажется
Софьей Павловной, Ольгой Львовною;
Всюду прелести совершенные,
Всюду милые да прекрасные,
Ненаглядные, незабвенные!
В небе Лидии очи ясные
Во звездах тебе зажигаются,
Ветерок звенит Маши голосом,
Ветки дерева завиваются
Насти локонов мягким волосом!
Стих горит в уме с рифмой бешеной —
Стих, откованный сердца молотом;
На людей глядишь, как помешанный;
Мишуру дают — платишь золотом.
Дело прошлое! Дело древности!
Сколько дел моих ты расстроило!

Сколько было там глупой ревности!..
Да с любовью-то хоть уж стоило
Побезумствовать, покуражиться;
А теперь-то что? — Словно старая
Баба хилая, мысль привяжется
Худощавая, сухопарая.
С теми ль встретишься, с кем ты водишься, —
Речь их сладкая — мед малиновый,
Ты ж словцо сказать не находишься!
Как чурбан какой, пень осиновый,
С головой своей бесталанною
Дураком стоишь, заминаешься
И на мысль свою окаянную
Всеми силами ополчаешься,
Гонишь прочь ее речью грубою:
«Вон из Питера! В подмосковную!
Не сравню ж тебя я, беззубую,
С Софьей Павловной, с Ольгой Львовною.
Отцепись же ты, сухопарая,
Неотвязная, безотходная!
Убирайся прочь, баба старая!
Фекла Савишна ты негодная!»
Я гоню ее с криком, топотом,
Не стихом кричу — прозой рубленой,
А она в ответ полушепотом:
«Не узнал меня, мой возлюбленный!
А всё та же я, только смолоду
Я жила с тобой в женской прелести,
Но прибавилось в жизни холоду —
И осунулись бабьи челюсти;
Целовать меня не потянешься,
Счастья дать тебе не могущую,
Да зато во мне не обманешься,
Говорю тебе правду сущую,
И служу тебе верной парою,
И угрюмая, и суровая,
За тобой хожу бабой старою,
А за мной идет баба новая, —
В белизне она появляется
И суха, суха — одни косточки,
А идет она — ухмыляется,
А коса у ней вместо тросточки.
То не та коса благовонная,
Что, обвитая лентой тонкою

И тройным жгутом заплетенная,
Гордо держится под гребенкою,
Что сушит, крушит сердце юноши,
Что корона днем самопышная,
А рассыплется ко полуночи —
Покрывало сбрось — вещь излишняя!
Для двоих тут есть, чем закутаться,
Да останется — сердцу ярому,
Чем на век еще перепутаться
И веревку свить мужу старому.
То не та коса! — Как свистящая
Сабля острая, круто гнутая,
То коса всех кос, всекосящая,
С той косой идет баба лютая.
Нет кудрей у ней — нечем встряхивать,
Голова у ней безволосая,
Лишь косой вертеть да помахивать
Любит бабушка та курносая».

Между 1850 и 1856

217. ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Я не люблю воспоминаний — нет!
О, если б всё, всё сердце позабыло!
Пересмотрев ряды минувших лет,
Я думаю: зачем всё это было?

Прошедшее за мною, как змея,
Шипя, ползет. Его я проклинаю.
Всё, что узнал, ношу как бремя я
И говорю: «Зачем я это знаю?»

Под разума критической лозой
Вся жизнь моя мне кажется ошибкой.
На что смотрел я прежде со слезой,
Теперь смотрю с насмешливой улыбкой.

Пред чем горел я пламенем грудным,
Пред тем стою с бесчувственностью трупа;
О том, что мне казалось неземным,
Готов сказать: «Как это было глупо!»

А для чего желал бы я забыть
Минувшее? — Чтоб сердцем стать моложе
И в будущем возобновить всё то же,
Все глупости былые повторить, —

Растратить вновь святые упованья,
И, опытов хватая барыши,
За них продать и девственность незнанья,
И светлое ребячество души.

Как весело, пока живешь и любишь,
И губишь всё, что думал век любить!..
Нехорошо всё это погубить,
А хорошо, пока всё это губишь.

Между 1850 и 1856

218. Н. Б. ВЕЛЕЖЕВУ
(ПРИ ПОСЫЛКЕ СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ)

Блюститель первого условья
Всех наслаждений жизни сей,
Вы — доктор наш, вы — страж здоровья,
И свят ваш подвиг средь людей.
Я — стихотворец, и на лире
Дано играть мне в этом мире —
В сей скудной сфере бытия,
Где мы живем, томимся, тужим;
Но не гармонии ль мы служим,
Почтенный доктор, вы и я?
Вникает в тайны механизма
Телесных сил ваш зоркий взгляд,
Чтоб наши струны организма
Порой настроивать на лад,
Чтоб вновь они, в их полном ходе,
Пристроясь к жизни торжеству,
Звучали песнию природе
И громким гимном божеству;
По строгим правилам науки
Соразмеряете вы их, —
А я ввожу в размеры звуки
И их слагаю в мерный стих —
И счастлив, ежели хоть слово,
Хоть звук, обдуманный в тиши,

Встает и живо, и здорово
Со дна болезненной души.
И так — мы сходными тропами
Идем, и — ваш слуга по гроб —
Кладу пред вашими стопами
Мое собранье рифм и стоп,
Да служат вам порой, хоть редко,
В забаву легкую оне,
Как все рецепты ваши метко
Всегда служили в пользу мне.

Между 1850 и 1856

219. ВЬЮЩЕЕСЯ РАСТЕНИЕ

Собственною слабостью в дольний прах повержено,
Зелье пресмыкается,
Но могучим деревом на пути поддержано —
На него взбирается.
Глядь! Растенье гибкое ветвью переплетною
Крепкий ствол опутало,
Прицепилось к мощному, листьев тканью плотною
Всю кору закутало;
Жмется зелье хилое к дереву суровому,
Хилому здоровится, —
Выше с утра к вечеру, с ночи к утру новому
Гуще всё становится, —
И потом, от мощного будто б не зависело,
С прихотью раскинулось,
Высь чела древесного, взвившись, перевысило,
Да потом как ринулось
Вниз каскадом лиственным: в воздухе разбросанных
Стеблей кисть богатая,
Как волос всклокоченных, гребнем не причесанных,
Густота косматая,
Свесилась, качается; дерево ж, навьючено
Этой тяжкой ношею,
Наклонилось, сгорбилось; кажется, измучено
Долей нехорошею.
Больно, грустно дереву, к небу вместе с братьями
Некогда подъятому,
А теперь согбенному, душными объятьями
Беспокойно сжатому.

А ведь с лаской, кажется, с дружбою, с любовию
То растенье стелется
По стволу древесному, словно плотью-кровию
С ним радушно делится.
Отчего ж здесь видима участь невеселая,
С горем неразлучная?
Ах, есть ласки горькие, есть любовь тяжелая
И приязнь докучная.

Между 1850 и 1856

220. ЧТО-ТО БУДЕТ?

Я предрассудков враг, но я не чужд гаданья
Над тайной участью цветущего созданья,
Вступающего в свет с чувствительной душой
И сердцем трепетным. Что будет? Боже мой!
Что деву юную ждет в этом мире строгом,
Богатом в горестях, а в радостях убогом?
Какой ей в жизни путь судьбой определен?
Кто будет спутник ей? Кто будет этот *он*?
И мне хотелось бы не пошлые приветы
Ей дать в приданое, но добрые советы,
И на далекий путь снабдить ее притом
Дорожной грамотой, хранительным листом.
«О рок земной! Смягчись, — рукою всемогущей
Созданью нежному дай светлый день грядущий! —
Так с теплой просьбою взываю я к судьбе. —
Не изомни цветка, врученного тебе!
Злой бурей не обидь едва расцветшей розы!»
А там, от тихих просьб переходя в угрозы,
Я повелительно судьбе в глаза смотрю
И, пальцем ей грозя: «Так помни ж!» — говорю,
Как будто бы она должна быть мне послушна,
А та на всё глядит спокойно, равнодушно.

Между 1850 и 1856

221. ЧУВСТВО

Подумаешь: к чему все эти бури —
Гроза страстей? Мне так легко с тех пор,
Как на тебя упал мой бедный взор
И плавать стал очей твоих в лазури.

Мне кажется — я так тебя люблю,
Так хорошо мне было бы с тобою,
Так по себе, что я с моей судьбою
Поладил бы, и на душу мою
Сошла бы та спокойная отрада,
То тихое довольство добрых душ,
Которого не трогай, не нарушь —
И ничего уж более не надо!

Между 1850 и 1856

222. Я ЗНАЮ

Я знаю, — томлюсь я напрасно,
Я знаю, — люблю я бесплодно,
Ее равнодушье мне ясно,
Ей сердце мое — неугодно.

Я нежные песни слагаю,
А ей и внимать недосужно,
Ей, всеми любимой, я знаю,
Мое поклоненье не нужно.

Решенье судьбы неизменно.
Не так же ль средь жизненной битвы
Мы молимся небу смиренно, —
А нужны ли небу молитвы?

Над нашею бренностью гибкой,
Клонящейся долу послушно,
Стоит оно с вечной улыбкой
И смотрит на нас равнодушно, —

И, видя, как смертный склоняет
Главу свою, трепетный, бледный,
Оно неподвижно сияет,
И смотрит, и думает: «Бедный!»

И мыслю я, пронят глубоко
Сознаньем, что небо бесстрастно:
Не тем ли оно и высоко?
Не тем ли оно и прекрасно?

Между 1850 и 1856

223. СМЕЙТЕСЬ!

Еще недавно мы знакомы,
Но я уж должен вам сказать,
Что вы усвоили приемы,
Чем можно сердце потерзать;
Вы вникли в милое искусство
Пощекотать больное чувство,
Чтоб после, под его огнем,
Свои фантазии на нем
С прегармоническим расчетом
Так ловко, верно, как по нотам,
Слегка разыгрывать, смеясь, —
Везде вам музыка далась!
Вы проходили эту гамму, —
И, с страшной злостью вас любя,
В угоду вам, я сам себя
Готов поднять на эпиграмму.
Сквозь грани радужные призм
Смотреть уж поздно мне, конечно,
Да, сознаюсь чистосердечно:
Мои мечты — анахронизм.
О, смейтесь, смейтесь смехом явным!
Не правда ль — чувство так смешно?
Ему всегда иль быть забавным,
Иль жалким в мире суждено.
Простите! Я вернусь к рассудку. . .
Когда ж мы встретимся опять, —
Мы обратим всё это в шутку
И будем вместе хохотать.

Между 1850 и 1856

224. СНОВИДЕНИЕ
(НАПИСАНО ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ГОСТИЛИЦ)

Мне виделся сон — упоительный сон.
    Мне снилось: из пыли враждебной
Чрез море и сушу я был унесен
    И замок предстал мне волшебный.
Красиво смотрел он с своей высоты
    На прелесть природы окрестной;
Лаская, его обнимали цветы
    При блеске лазури небесной.

В фонтанах, в каскадах, под солнца лучом
Вода говорливо резвилась,
То била из грота студеным ключом,
То озером светлым ложилась, —
И птичка, взлетая, веселую трель
В пространстве небес выводила,
А в водном потоке играла форель
И стерлядь степенно ходила.
Роскошные виды со всех там сторон
Являлись несытому зренью,
Приветно кивали и ясень и клен
Ветвями с отрадною тенью.
Разумный владелец всё сам насадил,
Сам доброй рукою посеял,
И каждый иссохший сучок отделил,
И свежую ветку взлелеял, —
И с нежной заботой ходил он окрест,
Призыву хозяйства послушно,
И чудные виды пленительных мест
Указывал гостю радушно.
Всё было прекрасно! Но лучше всего,
Что там озаряла денница,
И лучше всех видов и замка того
Была того замка царица.
Живой, христианской, святой теплоты
Являлось в очах ее много,
И кроткого лика сияли черты
Глубокою верою в бога,
И ясно ее выражало чело
Дел добрых прекрасную повесть,
И сердцу при ней становилось тепло,
Целилась молитвою совесть.
Исчезнул мелькнувший мне сладостный сон,
Но сердце его сохранило, —
И думаю: «Боже! как ясен был он!
Да, полно, во сне ль это было?»

Между 1850 и 1856

225. ПРОМЕТЕЙ

Стянут цепию железной,
Кто с бессмертьем на челе
Над разинутою бездной
Пригвожден к крутой скале?

То Юпитером казнимый
С похитительного дня —
Прометей неукротимый,
Тать небесного огня!
Цепь из кузницы Вулкана
В члены мощного титана
Вгрызлась, резкое кольцо
Сводит выгнутые руки,
С выраженьем гордой муки
Опрокинуто лицо;
Тело сдавленное ноет
Под железной полосой,
Горный ветер дерзко роет
Кудри, взмытые росой;
И страдальца вид ужасен,
Он в томленье изнемог,
Но и в муке он прекрасен,
И в оковах — всё он бог!
Всё он твердо к небу взводит
Силу взора своего,
И стенанья не исходит
Из поблеклых уст его.

Вдруг — откуда так приветно
Что-то веет? — Чуть заметно
Крыл движенье, легкий шум,
Уст незримых легкий шепот
Прерывает тайный ропот
Прометея мрачных дум.
Это — группа нимф воздушных,
Сердца голосу послушных
Дев лазурной стороны,
Из пределов жизни сладкой
В область дольних мук украдкой
Низлетела с вышины, —
И страдалец легче дышит,
Взор отрадою горит.
«Успокойся! — вдруг он слышит,
Точно воздух говорит. —
Успокойся — и смиреньем
Гнев Юпитера смири!
Бедный узник! Говори,
Поделись твоим мученьем
С нами, вольными, — за что

Ты наказан, как никто
Из бессмертных не наказан?
Ты узлом железным связан
И прикован на земле
К этой сумрачной скале».

«Вам доступно состраданье, —
Начал он, — внимайте ж мне
И мое повествованье
Скройте сердца в глубине!
Меж богами, в их совете,
Раз Юпитер объявил,
Что весь род людской на свете
Истребить он рассудил.
«Род, подобный насекомым!
Люди! — рек он. — Жалкий род!
Я вас молнией и громом
Разражу с моих высот.
Недостойные творенья!
Не заметно в вас стремленья
К светлой области небес,
Нет в вас выспреннего чувства,
Вас не двигают искусства,
Весь ваш мир — дремучий лес».
Молча сонм богов безгласных,
Громоносному подвластных,
Сим словам его внимал,
Все склонились — я восстал.
О, как гневно, как сурово
Он взглянул на мой порыв!
Он умолк, я начал слово:
«Грозный! ты несправедлив.
Страшный замысл твой — обида
Правосудью твоему, —
Ты ли будешь враг ему?
Грозный! Мать моя — Фемида
Мне вложила в плоть и кровь
К правосудию любовь.
Где же жить оно посмеет,
Где же место для него,
Если правда онемеет
У престола твоего?
Насекомому подобен
Смертный в свой короткий век,

Но и к творчеству способен
Этот бренный человек.
Вспомни мира малолетство!
Силы спят еще в зерне.
Погоди! Найдется средство —
И воздействуют оне».

Я сказал. Он стал ворочать
Стрелы рдяные в руках!
Гнев висел в его бровях.
«Я готов мой гром отсрочить!» —
Возгласил он — и восстал.

Гром отсрочен. Льется время.
Как спасти людское племя?
Непрерывно я искал.
Чем в суровой их отчизне
Двигнуть смертных к высшей жизни?
И загадка для меня
Разрешилась: дать огня!
Дать огня им — крошку света —
Искру в пепле и золе —
И воспрянет, разогрета,
Жизнь иная на земле.
В дольнем прахе, в дольнем хламе
Искра та гореть пойдет,
И торжественное пламя
Небо заревом зальет.
Я размыслил — и насытил
Горней пищей дольний мир, —
Искру с неба я похитил,
И промчал через эфир,
Скрыв ее в коре древесной,
И на землю опустил,
И, раздув огонь небесный,
Смертных небом угостил.
Я достиг желанной цели:
Искра миром принята —
И искусства закипели,
Застучали молота;
Застонал металл упорный
И, оставив мрак затворный,
Где от века он лежал,

Чуя огнь, из жилы горной
Рдяной кровью побежал.
Как на тайну чародея,
Смертный кинулся смотреть,
Как железо гнется, рдея,
И волнами хлещет медь.
Взвыли горны кузниц мира,
Плуг поля просек браздой,
В дикий лес пошла секира,
Взвизгнул камень под пилой;
Камень в храмы сгромоздился,
Мрамор с бронзой обручился,
И, паря над темным дном,
В море вдался волнорезом
Лес, прохваченный железом,
Окрыленный полотном.
Лир серебряные струны
Гимн воспели небесам,
И в восторге стали юны
Старцы, вняв их голосам.
Вот за что я на терзанье
Пригвожден к скале земной!
Эти цепи — наказанье
За высокий подвиг мой.
Мне предведенье внушало,
Что меня постигнет казнь,
Но меня не удержала
Мук предвиденных боязнь,
И с Юпитерова свода
Жребий мой меня послал,
Чтоб для блага смертных рода
Я, бессмертный, пострадал».

Полный муки непрерывной,
Так вещал страдалец дивный,
И, внимая речи той,
Нимфы легкие на воле
Об его злосчастной доле
Нежной плакали душой
И, на язвы Прометея,
Как прохладным ветерком,
Свежих уст дыханьем вея,
Целовали их тайком.

Между 1850 и 1856

226. ДИОНИСИЙ И ФИЛОКСЕН

Вступает — на диво и смех Сиракузам —
Тиран Дионисий в служители музам:
Он лиру хватает, он пишет стихи;
Но музы не любят тиранов холодных, —
Творит он лишь груды рапсодий негодных,
Исполненных вялой, сухой чепухи.

Читает. В собранье все внемлют с боязнью.
Зевать запретил он под смертною казнью,
Лишь плакать дозволил, а те наконец
Зевоту с таким напряженьем глотают,
Что крупные слезы из глаз выступают,
И, видя те слезы, доволен певец.

Вот, думает, тронул! — Окончилось чтенье.
Кругом восклицанья, хвалы, одобренье:
«Прекрасно!» — И новый служитель камен,
Чтоб выслушать суд знатока просвещенный,
Зовет — и приходит к нему вдохновенный
Творец дифирамбов, поэт — Филоксен.

«Я снова взлетел на парнасские выси
И создал поэму, — сказал Дионисий. —
Прослушай — и мненья не скрой своего!»
И вот — он читает. Тот выслушал строго.
«Что? много ль красот и достоинств?» —
«Не много».
— «А! Ты недоволен. В темницу его!»
Сказал. Отвели Филоксена в темницу,
От взоров поэта сокрыли денницу,
И долго томился несчастный. Но вот
Свободу ему возвращают и снова
Зовут к Дионисию. «Слушай! Готова
Другая поэма, — тут бездна красот».

И новой поэмы, достоинством бедной,
Он слушает чтенье, измученный, бледный,
Мутятся глаза его, хочется спать.
Тот кончил. «Ну что? Хорошо ли?» — Ни слова
Ему Филоксен, — отвернулся сурово
И крикнул: «Эй! Стража! В темницу опять!»

Между 1850 и 1856

227. ВЕЧЕР В САДУ

Солнце будто б с неохотой
Свой прощальный мечет взгляд
И червонной позолотой
Обливает темный сад.

На скамейке я у стенки
В созерцании сижу
И игривые оттенки
Пышной зелени слежу.

Там — висит густым развивом,
Там — так женственно-нежна,
Там — оранжевым отливом
Отзывается она.

Аромат разлит сиренью,
И меж дремлющих ветвей
Свет заигрывает с тенью,
Уступая место ей.

Что-то там — вдали — сквозь ветки
Мне мелькнуло и потом
Притаилось у беседки,
В липах, в сумраке густом.

Что б такое это было —
Я не знаю, но оно
Так легко, воздушно, мило
И как снег убелено.

Пронизав летучей струйкой
Темный зелени покров,
Стало там оно статуйкой,
Изваянной из паров.

Напрягаю взор нескромный
(Любопытство — спутник наш):
Вот какой-то образ темный
Быстро движется туда ж.

Сумрак гуще. Твердь одета
Серых тучек в бахромы.

То был, мнится, ангел света,
А за ним шел ангел тьмы, —

И, где плотно листьев сетка
Прижимается к стене,
Скрыла встречу их беседка
В ароматной глубине.

И стемнело всё. Все виды
В смуглых очерках дрожат,
И внесла звезда Киприды
Яркий луч свой в тихий сад.

Всё какой-то веет тайной,
И, как дева из окна,
В прорезь тучки белокрайной
Смотрит робкая луна, —

И, как будто что ей видно,
Что в соблазн облечено,
Вдруг прижмурилась... ей стыдно —
И задернула окно.

Чу! Там шорох, шепот, лепет...
То колышутся листки.
Чу! Какой-то слышен трепет...
То ночные мотыльки.

Чу! Вздыхают... Вновь ошибка, —
Ветерок сквозит в саду.
Чу! Лобзанье... Это рыбка
Звонко плещется в пруду.

Всё как будто что играет
В этом мраке и потом
Замирает, замирает
В обаянии ночном, —

И потом — ни лист, ни ветка
Не качнется, ночь тиха;
Сад спокоен — и беседка
Там, вдали, — темна, глуха.

Между 1850 и 1856

228. ОТЗЫВ НА ВЫЗОВ

(ТЕМ ЖЕ ДЕВИЦАМ)

Вдоль жизни проходя средь терний, я привык
Спокойно попирать колючую дорогу,
Но чувствую в душе невольную тревогу,
Когда вокруг меня колышется цветник,
И девы юные — земные херувимы —
В своих движениях легки, неуловимы,
Живым подобием роскошного венка
Свиваются вокруг поэта-старика,
И зыблющийся круг существ полуэфирных
Ждет песен от меня и свежих звуков лирных,
А я, растерянный, смотрю, боясь дохнуть
Тлетворным холодом на их цветистый путь,
Боюсь на их восторг — невинных душ одежду —
Набросить невзначай угрюмой мысли тень,
Мечту их подломить или измять надежду
И сумраком задеть их восходящий день...
Нет! Нет, не требуйте, цветущие созданья,
От ослабелых струн могучего бряцанья!
Всё поле жизни вам я скоро уступлю,
А сам, как ветеран, уж утомленный битвой,
Безмолвно, с тайною сердечною молитвой,
Вас, дети, трепетной рукой благословлю.

Между 1850 и 1856

229. ПИСЬМО АБДЕЛЬ-КАДЕРА

В плену у французов — светило Алжира —
Эмир знаменитый. Содержат эмира
Они в Амбуазе, где замка стена
Крепка и надежна, — и пленник, доныне
Летавший на бурном коне по пустыне,
Уныло глядит в амбразуру окна.

И вдруг под окном, как другая денница,
Блестящая юной красою девица
Несется на белом арабском коне,
И взор — *коя-нур* — этот пламенник мира —
Девицею брошен в окно на эмира, —
И вспыхнула дева, и рдеет в огне.

И завтра опять проезжает, и снова
Взглянула, краснеет. Не надобно слова, —
Тут сердце открыто — смотри и читай!
Упрямится конь, но с отвагою ловкой
Наездница с поднятой гордо головкой
Его укрощает: эмир, замечай!

И смотрит он, смотрит, с улыбкой любуясь,
Как милая скачет, картинно рисуясь;
Блеснул в его взоре невольный привет,
Замеченный ею... Как быстро и круто
Она повернула! — Такая минута
И в сумраке плена для пленника — свет.

Он сам уже ждет ее завтра, и взгляды
Кидает в окно, в ожиданье отрады,
И светлым явленьем утешен опять;
Но ревностью зоркой подмечена скоро
Цель выездов девы, — и строгость надзора
Спешила немые свиданья прервать.

Эмир с этих пор в заключенье два года
Не мог ее видеть. Когда же свобода
Ему возвратилась, узнал он потом,
Кто та, кем бывал он так радуем, пленный,
И в память ей перстень прислал драгоценный
С исполненным кроткого чувства письмом.

«Хвала тебе, — пишет он, — ангел прелестный!
Аллах да хранит в тебе дар свой небесный —
Святую невинность! — О ангел любви!
Прими без смущенья привет иноверца!
В очах твоих — небо, ночь — в области сердца.
О, будь осторожна, в молитве живи!

О белая горлица! Бел, как лилея,
Твой конь аравийский, но лик твой белее.
Врага берегись: он и вкрадчив и тих,
Но хищен и лют, хоть прикрашен любовью:
Неопытной девы ползя к изголовью,
Он девственных прелестей жаждет твоих.

Змий хочет подкрасться и перси младые
Твои опозорить: отталкивай змия,
Доколе аллах не пошлет, как жену,
Тебя с благодатью к супружеской сени!

Прими этот перстень на память мгновений,
Блеснувших мне радостью чистой в плену.

Пред хитрым соблазном, пред низким обманом —
Сей перстень да будет тебе талисманом!
Сама ль поколеблешься ты — и тогда
Скажи себе: «Нет! Быть хочу непреклонной.
Нет, сердце, ты лжешь; пыл любви незаконной —
Напиток позора и праздник стыда».

И буди — светило домашнего круга,
Хранящая верность супругу супруга!
Будь добрая матерь и чадам упрочь
И радость, и счастье! Когда не забудешь
Священного долга — жить в вечности будешь,
Младая аллаха прекрасная дочь!»

Между 1850 и 1856

230. РЕБЕНКУ

Дитя! Твой милый, детский лепет
И сладость взгляда твоего
Меня кидают в жар и трепет —
Я сам не знаю — отчего.
Зачем, порывом нежной ласки
К земному ангелу влеком,
Твои заплаканные глазки
Целую жадно я тайком?
Не знаю... Так ли? — Нет, я знаю:
Сквозь ласку грешную мою
Порой, мне кажется, ласкаю
В тебе я маменьку твою;
Я, наклонясь к малютке дочке,
Хочу схватить меж слезных струй
На этой пухлой детской щечке
Другой тут бывший поцелуй,
Еще, быть может, неостылый...
То поцелуй святой любви
Той жизнедательницы милой,
Чья кровь, чья жизнь — в твоей крови;
И вот, как божия росинка
На листьях бледных и сухих,
Твоя невинная слезинка
Осталась на губах моих.

Дитя! Прости мне святотатство!
Прости мне это воровство!
Чужое краду я богатство,
Чужое граблю торжество.

Между 1850 и 1856

231. БЛАГОДАРЮ

Благодарю. Когда ты так отрадно
О чем-нибудь заводишь речь свою,
В твои слова я вслушиваюсь жадно
И те слова бездонным сердцем пью.
Слова, что ты так мило произносишь,
Я, в стих вложив, полмира покорю,
А ты мне их порою даром бросишь.
Благодарю! Благодарю!

Поешь ли ты — при этих звуках млея,
Забудусь я в раздумье на часок;
Мне соловья заморского милее
Малиновки домашней голосок, —
И каждый звук ценю я, как находку,
За каждый тон молитву я творю,
За каждую серебряную нотку
Благодарю — благодарю.

Под тишиной очей твоих лазурных
Порой хочу я сердцем отдохнуть,
Забыть о днях мучительных и бурных...
Но как бы мне себя не обмануть?
Моя душа к тебе безумно рвется, —
И если я себя не усмирю,
То тут уж мне едва ль сказать придется
«Благодарю, благодарю».

Но если б я твоим увлекся взором
И поздний жар еще во мне возник,
Ты на меня взгляни тогда с укором —
И я уймусь, опомнюсь в тот же миг,
И преклонюсь я к твоему подножью,
Как старый грех, подползший к алтарю,
И на меня сведешь ты милость божью.
Благодарю! Благодарю!

Между 1850 и 1856

232. ЛЮБИТЕЛЬНИЦЕ СПОКОЙСТВИЯ

Ты говоришь — спокойствие дороже
Тебе всего, всей прелести мирской, —
И рад бы я быть вечно настороже,
Чтоб охранять твой женственный покой,
Чтобы неслись тревоги жизни мимо,
А ты на них смотрела бы шутя,
Меж сладких грез, легко, невозмутимо,
Как милое, беспечное дитя.

Когда толпа рушителей покоя
Со всех сторон, несносная, шумит,
Я, над твоим успокоеньем стоя,
Мигал бы им: тс! не шумите, — спит.
Но иногда, чтоб цену лишь умножить
Спокойствия в глазах твоих, — тебя
Порой я сам желал бы потревожить,
Хотя б навлек и гнев твой на себя.

Скажу: «Проснись! Мне хочется лазури, —
Дай мне на миг взглянуть тебе в глаза!
Как ты спала? Не виделось ли бури
Тебе в мечтах? Не снилась ли гроза?
И не было ль неловко, душно, знойно
Тебе во сне? — И молвлю, миг спустя: —
Ну, бог с тобой, мой ангел, спи спокойно!
Усни опять, прелестное дитя!»

Между 1850 и 1856

233. ПРОСЬБА

Ах, видит бог, как я тебя люблю,
Ты ж каждый раз меня помучить рада,
Пожалуйста — не мучь меня, молю,
Пожалуйста — не мучь меня, — не надо!

Прими подчас и пошлый мой привет,
Избитое, изношенное слово!
Не хорошо? — Что ж делать? — Лучше нет.
Старо? — Увы! Что ж в этом мире ново?

И сам я стар, и полон стариной,
А всё теснюсь в сердечные страдальцы..,

Пожалуйста — не смейся надо мной!
На глупости смотри мои сквозь пальцы!

Молчу ли я? — Махни рукою: пусть!
Дай мне молчать и от меня не требуй
Моих стихов читанья наизусть, —
Забыл — клянусь Юпитером и Гебой!

Всё, всё забыл в присутствии твоем.
Лишь на тебя я жадный взгляд мой брошу —
Всё вмиг забыл, — и как я рад притом,
Что с памяти свалил я эту ношу,

Весь этот груз! Мне стало так легко.
Я в тот же миг юнею, обновляюсь...
А всё еще осталось далеко
До юности... Зато я и смиряюсь.

Мои мечты... Я так умерен в них!
Мне подари вниманья лишь немножко,
Да пусть ко мне от щедрых ласк твоих
Перепадет крупица, капля, крошка!

Я и не жду взаимности огня,
Я в замыслах не так высокопарен!
Терпи меня, переноси меня, —
Бог знает как и то я благодарен!

Между 1850 и 1856

234. DAHIN[1]

Была пора, — я был безумно молод
И пыл страстей мне сердце разжигал;
Когда ж подчас суровый зимний холод
От севера мне в душу проникал, —
Я думал: «Есть блаженный юг на свете,
Край светлых гор и золотых долин», —
И радостно твердил я вместе с Гете:
«Dahin — dahin!»

---

[1] Туда (нем.). — *Ред.*

Бывало, я близ девы-чародейки
Горел, немел, не находя речей,
И между тем как ниже белой шейки
Не смел склонить застенчивых очей, —
Фантазии невольным увлеченьем
Смирения нарушив строгий чин,
Я залетал живым воображеньем
Dahin — dahin.

Моя мечта всех благ житейских выше
Казалась мне в бреду минувших дней,
Я громко пел, а там — всё тише, тише,
Я жил тепло, а там — всё холодней,
И, наконец, всё в вечность укатилось,
Упало в прах с заоблачных вершин,
И, наконец, всё это провалилось
Dahin — dahin.

Исчезло всё, не стало прежней прыти.
Вокруг меня за счастьем все бегут,
Стремятся вдаль, я говорю: Идите! —
А я уж рад хоть бы остаться тут —
Страдать, но жить... А тут уж над страдальцем
С косой скелет — всемирный властелин —
Костлявым мне указывает пальцем
Dahin — dahin.

Между 1850 и 1856

235. ДЕНЬ И ДВЕ НОЧИ

Днем небо так ярко, — смотрел бы, да больно,
Поднимешь лишь к солнцу взор грешных очей, —
Слезятся и слепнут глаза, и невольно
Склоняешь зеницы на землю скорей
К окрашенным легким, рассеянным светом
И дольнею тенью облитым предметам.
Вещественность жизни пред нами тогда
Вполне выступает — ее череда!
Кипят прозаических дел обороты,
Тут счеты, расчеты, заботы, работы;
От ясного неба наш взор отвращен,
И день наш труду и земле посвящен.

Когда же корона дневного убранства
С чела утомленного неба снята,
И ночь наступает, и чаша пространства
Лишь матовым светом луны налита, —
Тогда, бледно-палевой дымкой одеты,
Нам в мягких оттенках земные предметы
Рисуются легче; нам глаз не губя,
Луна позволяет смотреть на себя,
И небо, сронив огневые уборы,
Для взоров доступно, — и мечутся взоры
И плавают в неге меж светом и мглой,
Меж дремлющим небом и сонной землей;
И небо и землю кругом облетая,
Сопутствует взорам мечта золотая —
Фантазии легкой крылатая дочь, —
Ей пища — прозрачная лунная ночь.

Порою же ночи безлунная бездна
Над миром простерта и густо-темна.
Вдруг на небо взглянешь — оно многозвездно,
А взоры преклонишь — земля чуть видна,
Дол тонет во мраке; невольно вниманье
Стремится туда лишь, откуда сиянье
Исходит, туда — в лучезарную даль...
С землей я расстался — и, право, не жаль, —
Мой мир, став пятном в звездно-пламенной раме,
Блестящими мне заменился мирами;
Со мною глаз на глаз вселенная здесь,
И, мнится, с землею тут в небе я весь,
И сам себе вижусь лишь черною тенью,
Стал мыслью единой, — и жадному зренью
Насквозь отверзается этот чертог,
Где в огненных буквах начертано: «Бог».

Между 1850 и 1856

236. РАЗДУМЬЕ

Когда читаю я с улыбкой старика
Написанное мной в то время золотое,
Когда я молод был, — и строгая рука
Готова изменить и вычеркнуть иное, —
Себя остановив, вдруг спрашиваю я:
Черты те исправлять имею ли я право?

Порой мне кажется, что это не моя
Теперь уж собственность, и, «мудрствуя лукаво»,
Не должен истреблять я юного греха
В размахе удалом залетного стиха,
И над его огнем и рифмой сладострастной
Не должен допускать управы самовластной.
Порой с сомнением глядишь со всех сторон
И ищешь автора, — да это, полно, я ли?
Нет! Это он писал. Пусть и ответит он
Из прошлых тех времен, из той туманной дали!
Чужого ли коснусь я дерзкою рукой?
Нет! Даже думаю в невольном содроганье:
Зачем под давнею, забытою строкой
Подписываю я свое именованье?

Между 1850 и 1856

237. ЧЕСМЕНСКИЕ ТРОФЕИ

Был то век Екатерины,
В море наши исполины
Дали вновь урок чалме,
Налетев на сопостата,
Нашей матушки ребята
Отличились при Чесме.

Наш орел изринул пламя —
И поникло турков знамя,
Затрещала их луна,
Флот их взорван — и во влагу
Брошен в снедь архипелагу,
Возмущенному до дна.

Пронеслась лишь весть победы —
Взликовали наши деды,
В гуд пошли колокола,
Пушки гаркнули в столице:
Слава матушке царице!
Храбрым детушкам хвала!

Се добыча их отваги, —
Кораблей турецких флаги
В крепость вносятся — ура! —

И, усвоенные кровно,
Посвящаются любовно
Вечной памяти Петра.

Там — Невы в широкой раме
Есть гробница в божьем храме
Под короной золотой.
Над заветной той гробницей
С римской цифрой — I (единицей)
Русский выведен — П (покой).

Там — кузнец своей державы,
Дивный плотник русской славы,
Что, учась весь век, учил,
С топором, с дубинкой, с ломом,
С молотком, с огнем и громом,
Сном глубоким опочил.

По царицыну веленью
Те трофеи стали сенью
Над гробницею того,
Чья вся жизнь была работа,
Кто отцом, творцом был флота,
Возбудителем всего.

И гробница под навесом —
Под густым знаменным лесом —
Говорила за него...
Всюду честь воздать хотела
Продолжительница дела
Начинателю его.

Не умрут дела благие!
Там соборне литургия
Совершается над ним,
Там — сановные все лица
И сама императрица
С золотым двором своим.

И средь общего вниманья
Для духовного вещанья
Вышел пастырь на амвон, —
То был он — медоречивый
Славный пахарь божьей нивы,
Словосеятель — Платон, —

Тот, что посох брал, и, стоя
Перед паствой, без налоя,
Слух и сердце увлекал,
И при страшносудных спросах,
Поднимая грозно посох,
Им об землю ударял.

Вот он вышел бросить слово
При ниспосланных нам снова
Знаках божьих благостынь
И изрек сначала строго
Имя троичное бога
С утвердительным «аминь».

И безмолвье воцарилось...
Ждали все — молчанье длилось.
Мнилось — пастырь онемел.
Шепот в слушателях бродит:
«Знать, он слова не находит,
Дар глагола отлетел».

Ждут... и вдруг, к турецким стягам
Обратясь, широким шагом
Он с амвонного ковра
Устремился на гробницу
И простер свою десницу
Над останками Петра.

Все невольно содрогнулись,
И тайком переглянулись,
И поникшие стоят...
Сквозь разлитый в сфере храма
Дым дрожащий фимиама
Стены, виделось, дрожат.

И, простертою десницей
Двигнут, вскользь над той гробницей,
Строй знамен, как ряд теней,
Что вокруг шатром сомкнулся,
Зашатался, всколыхнулся
И развеялся над ней.

И над чествуемым прахом
Ризы пасторской размахом
Всколебалось пламя свеч;

Сень, казалось, гробовая
Потряслась, и громовая
Излилась Платона речь.

И прогрянул глас витии:
«Петр! Восстань! И виждь России
Силу, доблесть, славу, честь!
Се трофеи новой брани!
Морелюбец наш! Восстани
И услышь благую весть!»

И меж тем как слов гремящих
Мощь разила предстоящих,
Произнес из них один
Робким шепотом, с запинкой:
«Что он кличет? — Ведь с дубинкой
Встанет грозный исполин!» [1]

Между 1850 и 1856

238. СТАНСЫ
(ПО СЛУЧАЮ МИРА)

Вражды народной кончен пир.
Пора на отдых ратоборцам!
Настал давно желанный мир,
Настал — и слава миротворцам!

Довольно кровь людей лилась,
О люди, люди! Вспомнить больно:
От адских жерл земля тряслась
И бесы тешились! — довольно,

Довольно черепы ломать,
В собрате видеть душегубца
И знамя брани поднимать
Во имя бога-миролюбца!

---

[1] Черта историческая. Бывший при этом случае граф К. Г. Разумовский сказал тихо окружавшим его: «Чёго вин его кличе? Як встане, то всем нам достанется» (см. «Двор и замечательные люди в России в половине XVIII столетия», соч. Вейдемейера, СПб., 1846 г., изд. Эйнерлинга, с. 93).

За мир помолимся тому,
Из чьей десницы всё приемлем,
И вкупе взмолимся ему,
Да в лоне мира не воздремлем!

Не время спать, о братья, — нет!
Не обольщайтесь настоящим!
Жених в полунощи грядет, —
Блажен, кого найдет неспящим.

Царь, призывая вас к мольбе
За этот мир любви словами,
Зовет вас к внутренней борьбе
Со злом, с домашними врагами.

В словах тех шлет он божью весть,
Не пророните в них ни звука!
Слова те: «вера», «доблесть», «честь»,
«Законы», «милость» и «наука».

Всем будет дело. Превозмочь
Должны мы лень, средь дел бумажных
Возросшую. Хищенье — прочь!
Исчезни племя душ продажных!

Ты, малый труженик земли,
Сознай, что в деле нет безделки!
Не мысли, что грехи твои
Затем простительны, что мелки!

И ты, сановник, не гордись!
Не мни, что злу ты недоступен,
И неподкупным не зовись,
Коль только златом неподкупен!

Не лихоимец ли и ты,
Когда своей чиновной силой
Кривишь судебные черты
За взгляд просительницы милой?

Коль гнешь рычаг весов своих
Из старой дружбы, из участья,
Иль по ходатайству больших,
Или за взятку сладострастья?

Всяк труд свой в благо обращай!
Имущий силу делать — делай!
Имущий словеса — вещай,
Греми глаголом правды смелой!

Найдется дело и тебе,
О, чувств и дум зернометатель!
Восстань и ты к святой борьбе,
Вития мощный и писатель!

Восстань — не духа злобы полн,
Восстань — не буйным демагогом,
Не лютым двигателем волн,
Влекущих к гибельным тревогам, —

Нет, гласом добрым воззови,
И зов твой, где бы ни прошел он,
Пусть духом мира и любви
И в самом громе будет полон!

Огнем свой ополчи глагол
Лишь на нечестие земное,
И — с богом — ратуй против зол!
Взгляни на общество людское.

Увидишь язвы в нем, им дан
Лукавый ход по жилам царства,
И против этих тайных ран
Нет у врачей земных лекарства.

Пороков мало ль есть таких,
Которых яд полмира губит,
Но суд властей не судит их
И меч закона их не рубит?

Ты видишь: бедного лиша
Последних благ в последнем деле,
Ликуя, низкая душа
Широко дремлет в тучном теле.

Пышней, вельможней всех владык,
Добыв чертог аристократа,
Иной бездушный откупщик
По горло тонет в грудах злата.

Мы видим роскошь без границ
И океан долгов бездонных,
Мужей, дошедших до темниц
От разорительниц законных.

Нередко видим мы окрест
И брачный торг — укор семействам,
И юных жертвенных невест,
Закланных дряхлым любодейством.

Зрим в вертоградах золотых,
Среди цветов, в тени смоковниц,
Любимцев счастия пустых
И их блистательных любовниц.

Толпа спешит не в храм творца.
Она спешит, воздев десницу,
Златого чествовать тельца
Иль позлащенную телицу.

Но есть для вас, сыны греха,
Но есть для вас, земли кумиры,
И гром и молния стиха,
И бич карающей сатиры,

И есть комедии аркан, —
И, как боец, открыв арену,
Новейших дней Аристофан
Клеона вытащит на сцену.

Глас божий, мнится, к нам воззвал,
И указует перст судьбины —
Да встанет новый Ювенал
И сдернет гнусные личины!

Март — апрель 1856

239. АВДОТЬЕ ПАВЛОВНЕ БАУМГАРТЕН

Примите! Груз стихов моих
Вам представляю в этих томах;
Немало вы найдете в них
И чувств и мыслей вам знакомых.
Чего не понял бы никто,

Я знаю — всё поймется вами;
Душой доскажется вам то,
Что не досказано словами.
Еще при юности огне
Вы светлой музой были мне,
Светилом дней тех незабвенных,
Моею лучшею мечтой,
Предметом песен вдохновенных
И стонов лиры золотой.
С какою сладкой нервной дрожью
Стихи, что я для вас слагал,
Бывало, к вашему подножью
Я с сердцем вместе повергал!
И каждый взгляд ваш благодарный
Мне был — источник новых сил;
Меня он в мир высокопарный,
В соседство к богу возносил;
И, снисхожденья неземного
Исполнясь к страннику земли,
Меня, уже немолодого,
Слугу, поклонника простого, —
Своим вы другом нарекли,
И в этом сане, в этом чине
Я свысока на мир смотрю.
«Друзья! Я — друг моей богини!» —
Друзьям я гордо говорю,
И вам, с душой перегорелой,
Старик, под старость одурелый,
Вверяю, втайне от других,
Я бремя мук моих бессильных,
Моих дурачеств предмогильных,
Предсмертных глупостей моих,
Любви, не стоящей вниманья,
И слез, достойных посмеянья...
Но всё ж — вам гласно объявлю,
Что я до гроба — не изменник,
Я ратник ваш, а там лишь пленник,
Я там влюблен, а вас — люблю!

Март — апрель 1856

240. ПОСЛАНИЕ О ВИЗИТАХ

(К М. Ф. Ш⟨ТАКЕНШНЕЙДЕР⟩)

Вы правы. Рад я был сердечно
От вас услышанным словам:
Визиты — варварство, конечно!
Итак — не еду нынче к вам
И, кстати, одержу победу
Над предрассудком: ни к кому
В сей светлый праздник не поеду
И сам визитов не приму;
Святого дня не поковеркав,
Схожу я утром только в церковь,
Смиренно богу помолюсь,
Потом, с почтеньем к генеральству,
Как должно, съезжу по начальству
И крепко дома затворюсь.

Обычай истинно безумный!
Китайских нравов образец!
День целый по столице шумной
Таскайся из конца в конец!
Составив список презатейный
Своим визитам, всюду будь —
На Острову и на Литейной,
Изволь в Коломну заглянуть.
И на Песках — и там быть надо,
Будь у Таврического сада,
На Петербургской стороне,
Будь моря Финского на дне,
В пределах рая, в безднах ада,
На всех планетах, на луне!

Блажен, коль слышишь: «Нету дома»,
«Не принимают». — Как огня,
Как страшной молнии и грома
Боишься длинного приема:
Изочтены минуты дня —
Нельзя терять их; полтораста
Еще осталось разных мест,
Где надо быть, тогда как часто
Несносно длинен переезд.
Рад просто никого не видеть
И всех проклясть до одного,

Лишь только б в праздник никого
Своим забвеньем не обидеть, —
Лишь только б кинуть в каждый дом
Билетец с загнутым углом,
Не видеть лиц — сих адских пугал...
Что лица? — Дело тут не в том,
А вот в чем: карточка и угол!
Лишь только б карточку швырнуть,
Ее где следует удвоить,
И тут загнуть, и там загнуть,
И совесть, совесть успокоить!
Ярлык свой бросил, хлоп дверьми:
Вот — на! — и черт тебя возьми!

Порою ветер, дождь и слякоть,
А тут визиты предстоят;
Бедняк и празднику не рад —
Чего? Приходится хоть плакать.
Вот он выходит на крыльцо,
Зовет возниц, в карманах шарит...
Лицом хоть в грязь он не ударит,
Да грязь-то бьет ему в лицо.
Дорога — ад, чернее ваксы;
Извозчик за угол скорей
На кляче тощенькой своей
Свернул — от столь же тощей таксы,
Прочтенной им в чертах лица,
К нему ревущего с крыльца.

Забрызган с первого же шага,
Пешком пускается бедняга,
И очень рад уже потом,
Когда с товарищем он в паре
Хоть как-нибудь, тычком, бочком,
На тряской держится «гитаре»:
Так называют инструмент
Хоть звучный, но не музыкальный,
Который в жизни сей печальной
Старинный получил патент
На громкий чин и титул «дрожек»,
И поглядишь — дрожит как лист,
Воссев на этот острый ножик,
Поэт убогий иль артист.

Я сам... Но, сколь нам ни привычно,
Всё ж трогать личность — неприлично,
Свою тем более... Имен
Не нужно здесь; итак — NN,
Визитных карточек навьючен
Колодой целою, плывет
И, тяжким странствием измучен,
К дверям по лестнице ползет,
Стучится с робостью плебейской
Или торжественно звонит.
Дверь отперлась; привет лакейской
Как раз в ушах его гремит:
«Имеем честь, дескать, поздравить
Вас, сударь, с праздником»; молчит
Пришлец иль глухо «м-м» мычит,
Да карточку спешит оставить
Иль расписаться, а рука
Лакея, вслед за тем приветом,
И как-то тянется слегка,
И, шевелясь исподтишка,
Престранно действует при этом,
Как будто ловит что-нибудь
Перстами в области воздушной,
А гость тупой и равнодушный
Рад поскорее ускользнуть,
Чтоб продолжить свой трудный путь;
Он защитит, покуда в силах,
От наступательных невзгод
Кармана узкого проход,
Как Леонид при Фермопилах.
О, мой герой! Вперед! Вперед!
Вкруг света, вдаль по океану
Плыви сквозь бурю, хлад и тьму,
Подобно Куку, Магеллану
Или Колумбу самому,
И в этой сфере безграничной
Для географии столичной
Трудись! — Ты можешь под шумок
Открыть среди таких прогулок
Иль неизвестный закоулок,
Иль безымянный островок;
Полузнакомого припомня,
Что там у Покрова живет,

Узнать, что самая Коломня
Есть остров средь канавных вод, —
Открыть полярных стран границы,
Забраться в Индию столицы,
Сто раз проехать вверх и вниз
Через Надежды Доброй мыс.
Тут филолог для корнесловья
Отыщет новые условья,
Найдет, что русский корень есть
И слову чуждому «визиты»,
Успев стократно произнесть
Извозчику: «Да ну ж! вези ты!»
Язык наш — ключ заморских слов:
Восстань, возрадуйся, Шишков!
Не так твои потомки глупы;
В них руссицизм твоей души,
Твои родные «мокроступы»
И для визитов хороши.
Зачем же всё в чужой кумирне
Молиться нам? — Шишков! Ты прав,
Хотя — увы! — в твоей «ходырне»
Звук русский несколько дырав.
Тебя ль не чтить нам сердца вздохом,
В проезд визитный бросив взгляд
И зря, как, грозно бородат,
Маркер трактирный с «шаропёхом»
Стоит, склонясь на «шарокат»?
Но — я отвлекся от предмета,
И кончить, кажется, пора.
А чем же кончится всё это?
Да тем, что нынче со двора
Не еду я, останусь дома.
Пускай весь мир меня винит!
Пусть всё, что родственно, знакомо
И близко мне, меня бранит!
Я остаюсь. Прямым безумцем
Довольно рыскал прежде я,
Пускай считают вольнодумцем
Меня почтенные друзья,
А я под старость начинаю
С благословенного «аминь»;
Да только вот беда: я знаю —
Чуть день настанет — динь, динь, динь —
Мой колокольчик, — и покою

Мне не дадут; один, другой,
И тот, и тот, и нет отбою —
Держись, Иван — служитель мой!
Ну, он не впустит, предположим;
И всё же буду я тревожим
Несносным звоном целый день,
Заняться делом как-то лень —
И всё помеха! — С уголками
Иван обеими руками
Начнет мне карточки сдавать,
А там еще, а там опять.
Как нескончаемая повесть,
Всё это скучно; изорвешь
Все эти листики, а всё ж
Ворчит визитная-то совесть,
Ее не вдруг угомонишь:
«Вот, вот тебе, а ты сидишь!»
Неловко как-то, неспокойно.
Уж разве так мне поступить,
Как некто — муж весьма достойный?
Он в праздник наглухо забить
Придумал дверь, и, в полной мере
Чтоб обеспечить свой покой,
Своею ж собственной рукой
Он начертал и надпись к двери:
«Такой-то-де, склонив чело,
Визитщикам поклон приносит
И не звонить покорно просит —
Уехал в Царское Село».
И дома дал он пищу лени,
Остался целый день в тиши, —
И что ж? Потом вдруг слышит пени:
«Вы обманули — хороши!
Чрез вас мы время потеряли —
Час битый ехали, да час
В Селе мы Царском вас искали,
Тогда как не было там вас».
Я тоже б надписал, да кстати ль?
Прочтя ту надпись, как назло,
Пожалуй, ведь иной приятель
Махнет и в Царское Село!

Апрель 1856

241

Увы! мечты высокопарной
Прошел блаженный перио́д.
Наш век есть век утилитарный, —
За пользой гонится народ.
Почти с младенчества изведав
Все тайны мудрости земной,
Смеемся мы над простотой
Своих отцов и добрых дедов;
Кряхтим, нахмурив строгий взгляд,
Над бездной жизненных вопросов,
И каждый отрок наш — философ,
И каждый юноша — Сократ.
У нас всему дан путь научный,
Ходи учебным шагом кровь!
Нам чувство будь лошадкой вьючной,
Коровкой дойною — любовь!
Не песен мы хотим любовных, —
Нам дело подавай, поэт!
Добудь из следствий уголовных
Нам занимательный предмет!
Войди украдкой в мрак темницы,
В вертеп разбоя, в смрад больницы
И язвы мира нам открой!
Пусть будет висельник, колодник,
Плетьми казненный огородник,
Ямщик иль дворник — твой герой!
Не терпим мы блестящей фразы,
Нам любо слово «обругал»
И пуще гибельной заразы
Противен каждый мадригал;
И на родных, и на знакомых
Готовя сотни эпиграмм,
О взятках пишем мы в альбомах
Цветущих дев и милых дам,
Но каюсь: я отстал от века, —
И мне ль догнать летучий век?
Я просто нравственный калека,
Несовременный человек;
До поздних лет мне чувство свято,
Я прост, я глуп, и — признаюсь! —
Порой, не видя результата,
Я бредням сердца предаюсь.

Мечтой бесплодною взлелеян,
Влачу страдальческую грусть,
Иными, может быть, осмеян —
Я говорю: бог с ними! Пусть!
Но в мире, где я всем измучен,
Мне мысль одна еще сладка,
Что если Вам я и докучен,
То Вы простите чудака,
Который за предсмертной чашей,
Как юбилейный инвалид,
На прелесть молодости Вашей
С любовью старческой глядит
И, утомленный жизни битвой,
В могильный скоро ляжет прах
С миролюбивою молитвой
И словом мира на устах.

24 декабря 1856

242. ВОЙНА И МИР

Смотришь порою на царства земли — и сдается:
Ангел покоя по небу над миром несется,
Всё безмятежно, безбранно, трудится наука,
Знание деда спокойно доходит до внука;
В битве с невежеством только, хватая трофеи,
Борется ум человека и копит идеи,
И ополчавшийся некогда дерзко на веру
Разум смиряется, кротко сознав себе меру,
И, повергаясь во прах пред могуществом божьим,
Он, становясь в умилении веры подножьем,
Злые свои подавляет насмешки над сердцем.
С нищими духом — глядишь — стал мудрец одноверцем.
Мысли крыло распускается шире и шире.
Смотришь — и думаешь: «Есть человечество в мире.
Господи! Воля твоя над созданием буди!
Слава, всевышний, тебе, — образумились люди,
Выросли дети, шагая от века до века,
Время и мужа увидеть в лице человека!
Мало ль он тяжких, кровавых свершил переходов?
Надо ж осмыслиться жизни в семействе народов!»
Только что эдак подумаешь с тайной отрадой —
Страшное зло восстает необъятной громадой;

Кажется, демон могучим крылом замахнулся
И пролетел над землей, — целый мир покачнулся;
Мнится, не зримая смертными злая комета,
Тайным влияньем нарушив спокойствие света,
Вдруг возмутила людей, омрачила их разум;
Зверствуют люди, и кровию налитым глазом
Смотрят один на другого, и пышут убийством,
Божий дар слова дымится кровавым витийством.
Мысли божественный дар углублен в изысканья
Гибельных средств к умножению смертных терзанья,
Брошены в прах все идеи, в почете — гремушки;
Проповедь мудрых молчит, проповедуют — пушки,
И, опьянелые в оргии дикой, народы
Цепи куют себе сами во имя свободы;
Чествуя в злобе своей сатану-душегубца,
Распри заводят во имя Христа-миролюбца;
Злобствует даже поэт — сын слезы и молитвы.
Музу свою окурив испареньями битвы,
Опиум ей он подносит — не нектар; святыню
Хлещет бичом, стервенит своих песен богиню;
Судорог полные, бьют по струнам его руки, —
Лира его издает барабанные звуки.
«Бейтесь!» — кричат сорванцы, притаясь под забором,
И поражают любителей мира укором;
Сами ж, достойные правой, прямой укоризны,
Ищут поживы в утробе смятенной отчизны.
Если ж иной меж людьми проповедник восстанет
И поучительным словом евангельским грянет,
Скажет: «Покайтесь! Исполнитесь духом смиренья!» —
Все на глашатая грозно подъемлют каменья,
И из отчизны грабителей каждый вострубит:
«Это — домашний наш враг; он отчизны не любит».
Разве лишь недр ее самый смиренный снедатель
Скажет: «Оставьте! Он жалкий безумец-мечтатель.
Что его слушать? В безумье своем закоснелом
Песни поет он тогда, как мы заняты делом».
«Боже мой! Боже мой! — думаешь. — Грусть и досада!
Жаль мне тебя, человечество — бедное стадо!
Жаль. . .» Но окончена брань, — по домам, ратоборцы!
Слава, всевышний, тебе, — есть цари-миротворцы.

⟨1857⟩

243. ЧТО ШУМИШЬ?

Что шумишь? Чего ты хочешь,
Беспокойный рифмотвор?
Нас ты виршами морочишь
И несешь гремучий вздор,
Воешь, тратишься на вздохи
Да на жалобы, чудак,
Что дела на свете плохи,
Что весь мир идет не так.
Ты всё — как бы тишь нарушить!
Как бы сердце растрепать!
Мы тебя не станем слушать, —
Мы хотим спокойно кушать,
А потом спокойно спать.
Не тревожь покой наш сонный!
Не рычи, неугомонный!
Будь, как надо, — человек!
Мы о призраках не тужим,
Мы действительности служим,
Положителен наш век.
Блеск твоих высоких истин
Нам несносен, ненавистен, —
Мы их знаем, верим им,
Только знать их не хотим, —
Нам бы жить они мешали,
А ведь все хотим мы жить,
Так зачем бы вдруг мы стали
Этим истинам служить?
Что нам в них, когда и с ложью,
Благ земных имея часть,
Можно славить милость божью?
И, чтоб духом не упасть
Да и плоти не ослабить,
Иногда немножко грабить,
Иногда немножко красть?
Не смущая нашу совесть,
Не ворочая души,
Дай нам песню, сказку, повесть,
Позабавь нас, посмеши —
Так, чтоб было всё пустенько,
Не придирчиво, легко
И попрыгало б маленько
В смехе круглое брюшко,

Посреди отдохновенья,
В важный час пищеваренья!
Не ломись в число судей!
Не вноси к нам ни уроков,
Ни обидных нам намеков,
Ни мучительных идей
И не будь бичом пороков,
Чтоб не быть бичом людей!
Если ж дико и сурово
Заревешь ты свысока —
Эко диво! Нам не ново, —
Мы как раз уймем дружка.

⟨1857⟩

244. УЛЕТЕЛА

Эх ты — молодость-злодейка!
Ты ушла от старика,
Что заветная копейка
Из кармана бедняка.
Для чего ж, себе на горе,
Сохранил я чувства пыл?
Для чего при милом взоре
Трепетать я не забыл?
Лучше б вымер этот пламень!
Лучше б, взвесив лет число,
Обратилось сердце в камень,
Да и мохом поросло!

Будь-ка ты еще со мною,
Вихорь-молодость моя,
Как с тобой, моей родною,
Погулял бы нынче я!
Этим юношам степенным
Дал бы я какой урок —
Этим смолоду растленным
И потом нейдущим впрок,
Этим с детских лет привыкшим
И к лорнетам и к очкам
И над книгами поникшим
Малолетним старичкам!

В премудреные вопросы
Углубились, — их не тронь!
Жгут сигары, папиросы, —
Дым-то есть, да где ж огонь?
Что им девы-чародейки?
Нет им дела до любви,
Лишь журнальные статейки
В их вращаются крови.
Не сердечные тревоги
Занимают мысли их,
А железные дороги,
Цены акций биржевых,
Механическая ловля
Орденов, чинов и мест
И свободная торговля,
Хоть сперва — насчет невест.
В каждом видишь человечка,
Что с расчетцем на уме
Ищет теплого местечка
Где-нибудь, хоть в Чухломе.
Он родится дипломатом,
Талейран — глядишь — точь-в-точь,
Даже смотрит и Сократом —
От цикуты б только прочь!
Русь считает он деревней,
Весь и новый мир, и древний
Изучил он вперебор,
И учен, учен без меры:
Знает, что и как — гетеры,
Говорит насчет амфор
И букета вин фалернских;
В новизне же, наконец,
После «Очерков губернских» —
Окончательный мудрец!
Он в провинции размножить
Хочет свет своих идей,
Хочет взятки уничтожить
К утешению людей;
А потом, поднявши брови,
Заберется как туда
Да войдет во вкус — беда!
Чуть лизнет тигренок крови —
Станет тигром хоть куда.

Но зачем я так обидно
Нападаю на тебя,
Юный друг мой? — Знать, завидна
Старцу молодость твоя.
Не сердись! Не мсти поэту!
Так — я брежу, я шучу.
Чем я начал песню эту,
Тем ее и заключу:
Эх ты — молодость-злодейка!
Ты ушла от старика,
Что последняя копейка
Из кармана бедняка.

‹1857›

245. ВЕРЮ

Верю я и верить буду,
Что от сих до оных мест
Божество разлито всюду —
От былинки вплоть до звезд.

Не оно ль горит звездами,
И у солнца из очей
С неба падает снопами
Ослепительных лучей?

В бездне тихой, черной ночи,
В беспредельной глубине
Не оно ли перед очи
Ставит прямо вечность мне?

Не его ль необычайный
Духу, сердцу внятный зов
Обаятельною тайной
Веет в сумраке лесов?

Не оно ль в стихийном споре
Блещет пламенем грозы,
Отражая лик свой в море
И в жемчужине слезы?

Сквозь миры, сквозь неба крышу
Углубляюсь в естество,

И сдается — вижу, слышу,
Чую сердцем божество.

Не оно ль и в мысли ясной,
И в песчинке, и в цветах,
И возлюбленно-прекрасной
В гармонических чертах?

Посреди вселенной храма,
Мнится мне, оно стоит
И порой в глаза мне прямо
Из очей ее глядит.

⟨1857⟩

246. БЕЗДАРНЫЙ

Эх, горе мое, — не дала мне судьба
Ни черствого сердца, ни медного лба.
Тоска меня душит, мне грудь надрывая,
А с черствым бы сердцем я жил припевая;
При виде страданий, несомых людьми,
Махнул бы рукою, — да прах их возьми!
Ничто б за живое меня не задело:
Те плачут, те хнычут, а мне что за дело?

А медный-то лоб — удивительный дар, —
С ним всё нипочем, и удар не в удар;
Щелчки и толчки он спокойно выносит,
Бесстыдно вторгаясь, бессовестно просит,
К стене стенобитным орудьем пойдет
И мрамор с гранитом насквозь прошибет;
Другие во мраке, а он — лучезарен.
Ах, я бесталантен, увы, я бездарен, —
Из милых даров не дала мне судьба
Ни черствого сердца, ни медного лба.

⟨1857⟩

247. КОГДА БЫ

Когда бы прихотью свободной
Вооружила ты свой взор,
И, в свет являясь дамой модной,
Любила слушать пошлый вздор,

И я, по наущенью беса,
С тобою б дерзостно болтал,
И, как бессовестный повеса,
Над всем священным хохотал,
И, сплетни света разработав,
Пускал в стократный оборот
Запас нескромных анекдотов
Иль соблазнительных острот, —
Меня бы общество щадило,
И кое-кто в наш вольный век
Еще б сказал: «Как это мило!
Какой приятный человек!»

А ныне свет своим сужденьем
Меня язвит, как погляжу,
За то, что я с благоговеньем
К тебе сердечным подхожу, —
За то, что, позволяя видеть
Своим глазам твои черты,
Боюсь и мыслию обидеть
В тебе святыню красоты, —
За то, что с старческим сознаньем,
Не смея юность оскорбить,
Я, полный чистым обожаньем,
За грех бы счел тебя любить.
Увы! Наш мир мечтам не верит,
И, чужд их облачных вершин,
Все мысли он и чувства мерит
На свой предательский аршин.
Средь общей свалки грязной прозы
Смешны и неуместны в нем
Души божественные слезы
И сердца трепетного грезы
С их поэтическим огнем.

⟨1857⟩

248. Я ПОМНЮ

Я помню: была ты ребенком;
Бывало — ни в вихре затей,
Ни в играх, ни в хохоте звонком
Не слышно тебя меж детей.

Как звездочка в белом тумане —
Являлась ты в детстве, мила,
И тихо, как Пушкина Таня,
Без кукол его провела.

Бывало — в коротеньком платье,
В домашнем своем уголке,
Всегда ты в смиренном занятье —
С иголкой иль книжкой в руке, —

В гостях же — с опущенным взглядом,
Стыдливо склонясь головой,
Сидишь себе с маменькой рядом
Да щиплешь передничек свой.

Когда ты лишь жить начинала —
Уж молодость я доконал,
Еще ничего ты не знала,
Когда я уж многое знал.

Лет тридцать я взял уже с бою,
И, вольно, небрежно, шутя,
Бывало — любуюсь тобою
И думаю: «Прелесть дитя!

Да жаль, что мы пущены розно
В дорогу, — малютка, прости!
Зачем ты родилась так поздно?
Тебе ль до меня дорасти?»

И гордо, спокойно, бесстрастно
Я мимо тебя проходил,
Я знал, что ты будешь прекрасна
Тогда, как я буду уж хил.

Но мог ли я думать в то время,
Что после, как в виде цветка
Распустится чудное семя, —
С ума ты сведешь старика?

Во многом дожив до изъяна,
Теперь не могу не тужить,
Зачем я родился так рано,
Зачем торопился я жить.

Посмотришь на юность — завидно!
Судьбой всё не так решено, —
И всё бы я плакал, да стыдно,
И всё бы рыдал, да смешно.

⟨1857⟩

249. СТАРОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Стыдись! Ведь от роду тебе уже полвека:
Тебе ли тешиться влюбленною мечтой
И пожилого человека
Достоинство ронять пред гордой красотой?
Ты жалок, ты смешон, отчаянный вздыхатель, —
И — знаешь, что еще? — уж не сердись, приятель:
Ты вор; у юности ты крадешь сердца жар.
Ты — старый арлекин, проказник седовласый,
В лоскутьях нежности дряхлеющий фигляр,
Ты дразнишь молодость предсмертною гримасой.

Тогда как в стороне родной
Хлопочут все об истребленье взяток
И всё отрадною блеснуло новизной —
Ты хочешь представлять минувшего остаток,
И там, где общество суровых просит дум
И дел, направленных к гражданскому порядку,
Ты ловишь призраки; сорвавши с сердца взятку,
Молчит подкупленный твой ум.
Когда и юноши, при всем разгаре крови,
В расчеты углубясь, так важно хмурят брови,
Тебе ль свой тусклый взор на милых обращать,
И, селадонствуя среди сердечных вспышек,
С позором поступать в разряд седых мальчишек,
И мадригалами красавиц угощать,
И, в жизни возводя ошибку на ошибку,
Весь век бродить, блуждать, и при его конце
То пресную слезу, то кислую улыбку
Уродливо носить на съеженном лице?

Опомнись наконец и силою открытой
Восстань на бред своей любви!
Сам опрокинь его насмешкой ядовитой
И твердою пятой рассудка раздави!
Взглянув прозревшими глазами,

Смой грех с своей души кровавыми слезами
И пред избранницей своей
Предстань не с сладеньким любовных песен томом,
Но всеоружный стань, грянь молнией и громом
И оправдайся перед ней!
«Я осудил себя, — скажи ей, — пред зерцалом
Суровой истины себя я осудил.
Тебя я чувством запоздалым,
Нелепым чувством оскорбил.
Прости меня! Я сам собой наказан,
Я сам себе пощады не давал!
Узлом, которым я был связан,
Себе я грудь избичевал —
И сердце рву теперь, как ветхий лист бумаги
С кривою жалобой подьячего-сутяги».

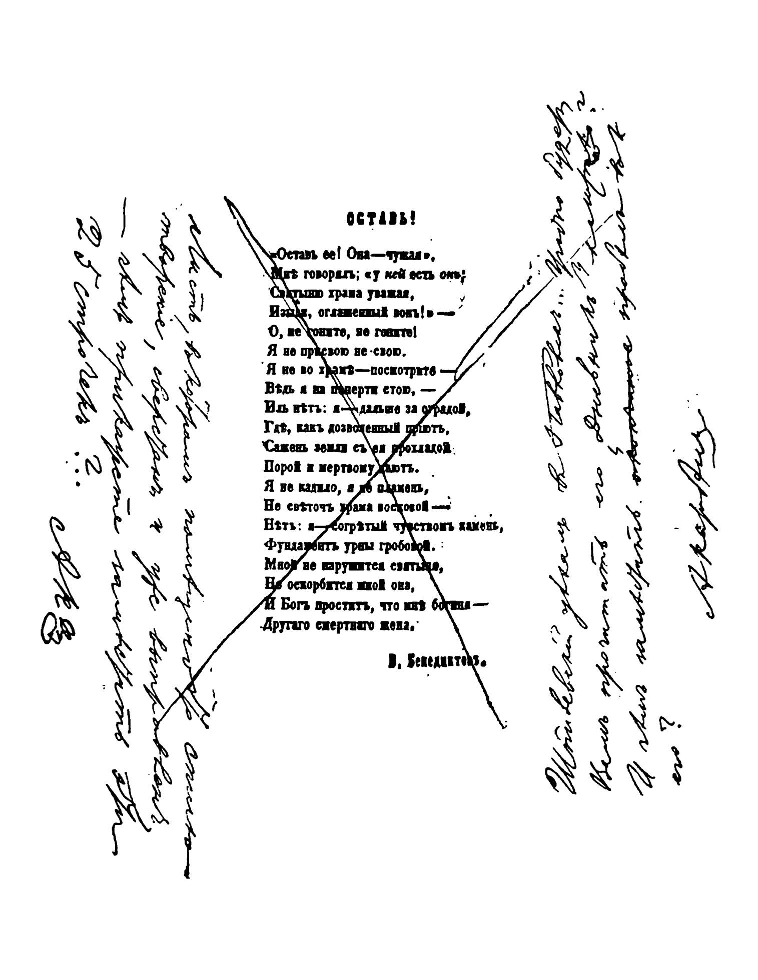
⟨1857⟩

250. ОСТАВЬ!

«Оставь ее: она чужая, —
Мне говорят, — у ней есть *он*.
Святыню храма уважая,
Изыди, оглашенный, вон!»

О, не гоните, не гоните!
Я не присвою не свою;
Я не во храме, посмотрите,
Ведь я на паперти стою. . .
Иль нет — я дальше, за оградой,
Где, как дозволенный приют,
Сажень земли с ее прохладой
Порой и мертвому дают.

Я — не кадило, я — не пламень,
Не светоч храма восковой,
Нет: я — согретый чувством камень,
Фундамент урны гробовой;
Я — тень; я — надпись роковая
На перекладине креста;
Я — надмогильная, живая,
Любовью полная плита.



ОСТАВЬ!

«Оставь ее! Она—чужая»,
Мнѣ говорилъ; «у *ней* есть *онъ*;
Святыню храма уважая,
Изыди, оглашенный вонъ!» —
О, не гоните, не гоните!
Я не присвою не·свою.
Я не во храмѣ—посмотрите —
Вѣдь я на паперти стою, —
Иль нѣтъ: я—дальше за оградой,
Гдѣ, какъ дозволенный пріютъ,
Сажень земли съ ея прохладой
Порой и мертвому даютъ.
Я не кадило, я не пламень,
Не свѣточъ храма восковой —
Нѣтъ: я—согрѣтый чувствомъ камень,
Фундаментъ урны гробовой.
Мной не нарушится святыня,
Не оскорбится мной она,
И Богъ проститъ, что мнѣ богиня —
Другаго смертнаго жена.

В. Бенедиктовъ.

Мной не нарушится святыня,
Не оскорбится мной она, —
И бог простит, что мне богиня —
Другого смертного жена.

⟨1857⟩

251. ПЛАЧ ОСТАЮЩЕГОСЯ В ГОРОДЕ ПРИ ВИДЕ ПЕРЕЕЗЖАЮЩИХ НА ДАЧИ

Уж май. Весь Петербург сбирается на дачу.
Все едут, — я один смотрю и горько плачу.
Все едут, — я один, опальный сын земли,
Жить должен в городе, томясь в сухой пыли,
Средь раскаленных плит и толстых стен кирпичных,
Понурив голову над грудой дел обычных!
Уж пусть бы, думаю, богатство лишь одно
На дачу ехало! Ему уж суждено
Все блага пить. Так нет! Туда ж несет и бедность
Свою лохмотьями обвернутую бледность,
Свой волчий аппетит — природы щедрый дар,
Своих чреватых жен и свой любовный жар.
Весною бедность та в грязи со мною ж вязнет,
А тут и поднялась и мимоездом дразнит
Меня, бездачного. «Мы едем, погляди! —
Всё это говорит. — А ты себе сиди!»
Какой прекрасный день! Как солнце светит ярко!
Посмотришь — тянется с домашним скарбом воз
И разной утварью наполненная барка, —
И кофе пить спешит в страну лилей и роз
С блаженной прачкою счастливая кухарка.
И сколько чудных встреч на барке, на возу!
Подушка встретилась со щеткою в тазу;
Там, поглядишь, с бельем в союзе небывалом,
Фарфор или хрусталь под старым одеялом,
Перина и сундук знакомиться спешат;
И сколько тайных чувств выходит на поверку:
К кофейной мельнице тут ластится ушат,
А тут тюфяк привстал и обнял этажерку,
Там хлама разного громадные узлы;
И что за дерзкий вид! — И стулья, и столы
Пред всею публикой (у них стыда ни крошки)
Сцепились, ножки вверх, и ножки через ножки
Продеты так и сяк, трясутся, дребезжат,
Являя чудный вид подвижных баррикад;

Метла глядит в ведро и в спину прет гитару,
Там «здравствуй» говорит корыто самовару,
Который, уж давно не ездив со двора,
Прегордо высунул свой кран из-под ковра;
С вещами дамскими вверху бечевкой тонкой
Крест-накрест связаны картонка над картонкой,
Где скипетр и венец из кружев, блонд и лент
С державой газовой до времени сокрыты,
Где всё, пред чем потом поникнут без защиты
И свежий прапорщик, и розовый студент.
Вот едут курицы в корзине под лоханью,
Вот глиняный горшок с чахоточной геранью!
Ну вот, я думаю, поправится и та,
Когда ее свезут в эдемские места!
И эта тощая герань полуживая,
Держась позадь всего, меж кадок и корыт,
Колышется и, мне насмешливо кивая,
«На дачу едем мы, — прощайте!» — говорит
И кланяется всем проезжим и прохожим:
«Прощайте! — говорит. — Вас взять с собой не можем:
На дачу едем мы». И, тронутый до слез,
Глазами грустными слежу я этот воз.
Вдруг взор мой поражен знакомым мне диваном,
С горбатой спинкою, обтянутой сафьяном,
Где прошлою зимой я часто восседал,
Как в дремлющем кругу стихи свои читал;
И, словно Архимед, решивший вдруг задачу,
Кричу: «Открыл! Они поехали на дачу —
Они!» И стол их — вот! И этот мне знаком,
Он был опорою моих торжеств минувших,
В него я ударял, бывало, кулаком,
Чтоб стих усилить мой и разбудить уснувших,
А бедный стол страдал; на дачу едет он.
Быть может, и диван в пружинах изнурен —
Лечиться надобно. Всё это поюнеет,
Телесность всякая воскреснет, пополнеет
И поздоро́веет, — и в платьице ином
Придется уширять прекрасных мест объем.
Всё вспрянет — каждая чуть дышащая личность,
И бодрость петуха, и курицы яичность,
Цыплята явятся. Не только мир живой,
Но и бездушное как будто обновится,
И мебель дряблая, трещавшая зимой,

Там трещины сожмет и в силах укрепится.
Воображаю я, — приедет этот воз
К жилищу, скрытому под сению берез,
И разгрузит свое торжественное лоно;
Адель уж там — и ждет, — она из пенсиона
Недавно вырвалась и вдруг на дачу — прыг!
Сюда! Скорей — сюда! И нежный, детский лик
Сияет прелестью и новостью заботы.
Помада, скляночки, флаконы, книги, ноты,
Картонки, зеркало, собачка — всё ли тут?
И милой барышне всё это подают.
О кухне между тем ее maman хлопочет,
Разбилось кое-что... Дочь смотрит и хохочет.
«Оставьте, — говорит, — оставьте всё! Да вы
Взгляните, маменька, места-то каковы!
Ведь это — прелести! Вам разве не понятно,
Что воздухом одним питаться здесь приятно?
На это время пусть уж будет позабыт
Весь прозаический хозяйственный ваш быт!»
А маменька — свое, всё о своей потере
Толкует, думает: к какой прибегнуть мере
И всё устроить так, чтобы не быть в беде.
«Где ж рынок? — говорит. — Говядину-то где
Мы будем покупать? Ты, Адичка, пустого
Мне не рассказывай — захочется мясного!»
А Адичка давно, стан легкий округля,
Подвысив платьице и выправляя ножки,
По палисаднику несется вдоль дорожки
И делает «шассе» с припевом: «Тра-ля-ля».
А там, преплыв Неву, у радостного брега
Явилась ладия — род Ноева ковчега —
И высадку творит. А там уже давно
Всё наслаждается и всё населено.
Поутру на крыльцо с приветным звоном чашек
Выносится поднос; кудрява, как барашек,
Выходит Лидия; в пидж́аке и в очках
Эрнест с дымящейся гаваною в зубах
Идет с небрежностью, не чуждою претензий,
И сел, раскинувшись под шапками гортензий;
Проснулся самовар, зафыркал, заворчал,
И с мокким нектаром кофейник зажурчал;
Живой источник сил и всякого здоровья,
Тут масло, сливки, сыр — вся благодать коровья —
Соседней фермы дар. Уж подан тайный знак

Из меткого окна пригоженькой соседке...
И пестрый попинька, в своей качаясь клетке,
В привет хозяину уж прокричал: «Дурак!»
И Васька — старый кот, чтоб милую картину
Дополнить, развалясь на солнце, выгнул спину
И лег философом, — он чужд огня в крови,
Быв с юности лишен способности к любви.
На что картины все, без них — моих любимых —
Сих истых дачников — детей неукротимых?
Вот, вот они — друзья! В бездетности своей
Я — старый холостяк — боготворю детей, —
Не этих скованных, одетых по рисунку,
Ученых напоказ и вытянутых в струнку,
Но этих маленьких разбойников земных,
Растущих весело в разгульной их свободе,
Где светской петли нет на детской их природе,
И, кажется, что я люблю так крепко их,
Как крепко не люблю разбойников больших.
Творец мой! Как хорош раскинутый по дачам
Сей шумный мир детей с их смехом, визгом, плачем!
Вот вечер! Поглядишь: там садик, здесь балкон
Приезжих группами приятно оживлен,
Тут гости, в их кругу и старичок почтенный,
С звездой и с лысиной, совета президент,
И Бетси, и Мими, и он — вышереченный —
Тот свежий прапорщик и розовый студент.
В саду скрипит качель; там сквозь деревьев ветки
Блаженная чета мелькает у беседки.
Вот август подойдет, стемнеют вечера,
Там музыка гремит, там — пенье, там — игра,
Блестят фонарики и хлопают ракеты;
У Излера восторг и прелестям нет сметы.
Там угол оглашен веселым звоном чаш,
Там хохот, тут любовь, здесь шум и ералаш.
О боже! Май настал, а я сижу и плачу
При виде едущих на летний пир — на дачу.

(1857)

252. ПОСЕЩЕНИЕ

Как? и ночью нет покою!
Нет, уж это вон из рук!
Кто-то дерзкою рукою
Всё мне в двери стук да стук.

«Кто там?» — брызнув ярым взглядом,
Крикнул я, — и у дверей,
Вялый, заспанный, с докладом
Появился мой лакей.

«Кто там?» — «Женщина-с». — «Какая?»
— «Так — бабенка — ничего».
— «Что ей нужно? Молодая?»
— «Нет, уж так себе — того».

«Ну, впусти!» — Вошла, и села,
И беседу повела,
И неробко так глядела,
Словно званая была;

Словно старая знакомка,
Не сочтясь со мной в чинах,
Начала пускаться громко
В рассужденья о делах.

Речь вела она разумно
Про движенье и застой,
Только слишком вольнодумно...
«Э, голубушка, постой!

Понимаю». После стала
Порицать весь белый свет;
На судьбу свою роптала,
Что нигде ей ходу нет;

Говорила, что приюта
Нет ей в мире, нет житья,
Что везде гонима люто...
«А! — так вот что!» — думал я.

Вот сейчас же, верно, взбросит
Взор молящий к небесам
Да *на бедность* и попросит:
Откажу. Я беден сам.

Только — нет! Потом так твердо
На меня направя взор,
Посетительница гордо
Продолжала разговор.

Кто б такая?.. Не из граций,
И — конечно — не из муз!
Никаких рекомендаций!
Очень странно, признаюсь.

Хоть одета не по моде,
Но — пристойно, скважин нет,
Всё заветное в природе
Платьем взято под секрет.

Кто б такая? — Напоследок
(Кто ей дал на то права?)
Начала мне так и эдак
Сыпать резкие слова,

Хлещет бранью преобидной,
Словно градом с высоты:
Ты — такой, сякой, бесстыдный! —
И давай со мной на *ты*.

«Ну, беда мне: нажил гостью!»
Я уж смолк, глаза склоня, —
Ни гугу! — А та со злостью
Так и лезет на меня.

«Нет сомнения нисколько, —
Я размыслил, — как тут быть?
Сумасшедшая — и только!
Как мне бабу с рук-то сбыть?

Как спровадить? — Тут извольте
Дипломатику подвесть!»
Вот и начал я: «Позвольте...
То есть... с кем имею честь?..

Кто вы? Есть у вас родные?»
А она: «Мне бог — родня.
Правда — имя мне; иные
Кличут *истиной* меня».

«Вы себя принарядили, —
Не узнал вас оттого;
Прежде, кажется, ходили
Просто так — безо всего».

«Да, бывало мне привычно
Появляться в наготе,
Да сказали — неприлично!
Времена пошли не те.

Приоделась. Спорить с веком
Не хочу, а всё же — нет —
Не сошлась я с человеком,
Всё меня не любит свет.

Прежде многих гнула круто
При Великом я Петре,
И порою в виде шута
Появлялась при дворе.

Царь мою прощал мне дикость
И доволен был вполне.
Чем сильнее в ком великость,
Тем сильней любовь ко мне.

Говорю, бывало, грубо
И со злостью натощак, —
Многим было и не любо,
А терпели кое-как.

Ведь и нынче без уклонок
Правдолюбья полон царь,
Да уж свет стал больно тонок
И хитер — не то что встарь.

Уж к иным теперь и с лаской
Подойдешь — кричат: «Назад!»
Что тут делать? — Раз под маской
Забралась я в маскарад, —

И, под важностью пустою
Видя темные дела,
К господину со звездою
Там я с книксом подошла.

Он зевал, а тут от скуки
Обратился вмиг ко мне,
И дрожит, и жмет мне руки:
«Ah! Beau masque! Je te connais» [1].

---

[1] «Ах! Прекрасная маска! Я тебя знаю» (франц.). — *Ред.*

«Ты узнал меня, — я рада.
С откровенностью прямой
В пестрой свалке маскарада
Потолкуем, милый мой!

Правда — я. Со мной ты знался,
Обо мне ты хлопотал,
Как туда-сюда метался
Да бессилен был и мал.

А теперь, как вздул ты перья,
Что раскормленный петух,
Стал ты чужд ко мне доверья
И к моим намекам глух.

Обо мне где слово к речи,
Там ты мастер — ух какой —
Пожимать картинно плечи
Да помахивать рукой.

Здравствуй! Вот мы где столкнулись!» —
Тут я шепотом, тайком
Начала лишь... Отвернулись —
И пошли бочком, бочком.

Я к другому. То был тучный,
Ловкий, бойкий на язык
И весьма благополучный
Полновесный откупщик,

С виду добрый, круглолицый...
Хвать я под руку его
Да насчет винца с водицей...
Он смеется... «Ничего, —

Говорит, — такого рода
Это дельце... не могу...
Я-де нравственность народа
Этой штучкой берегу.

Я люблю мою отчизну, —
Говорит, — люблю я Русь;
Видя сплошь дороговизну,
Всё о бедных я пекусь.

Там сиротку, там вдовицу
Утешаю. Вот — вдвоем
Хочешь ехать за границу?
Едем! — Славно поживем».

«Бог с тобою! — говорю я. —
У меня в уме не то.
За границу не хочу я,
И тебе туда на что?

Ведь и здесь тебе знакома
Роскошь всех земных столиц.
За границу! — Ведь и дома
Ты выходишь из границ.

У тебя за чудом чудо,
Дом твой золотом горит».
— «Ну так что ж? А ты откуда
Здесь явилась?» — говорит.

«Да сейчас из кабака я,
Где ты много плутней ввел».
— «Тьфу! Несносная какая!
Убирайся ж!» — И пошел.

К звездоносцу-то лихому
Подошел и стал с ним в ряд.
Я потом к тому, к другому —
Нет, — и слушать не хотят:

Мы-де знаем эти сказки!
Подошла бы к одному,
Да кругом толпятся маски,
Нет и доступа к нему;

Те лишь прочь, уж те подскочут,
Те и те его хотят,
Рвут его, визжат, хохочут.
«Милый! Милый!» — говорят.

Это — нежный, легкокрылый
Друг веселья, скуки бич,
Был сын Курочкина милый,
Вечно милый Петр Ильич.

Между тем гроза висела
В черной туче надо мной, —
Те, кому я надоела,
Объяснились меж собой:

Так и так. Пошла огласка:
«Здесь, с другими зауряд,
Неприличная есть маска —
Надо вывесть, — говорят. —

Как змея с опасным жалом,
Здесь та маска с языком.
Надо вывесть со скандалом,
Сиречь — с полным торжеством.

Ишь, себя средь маскарада
Правдой дерзкая зовет!
Разыскать, разведать надо,
Где и как она живет».

Но по счастью, кров и пища
Мне менялись в день из дня,
Постоянного ж жилища
Не имелось у меня —

Не нашли. И рады были,
Что исчез мой в мире след,
И в газетах объявили:
«Успокойтесь! Правды нет;

Где-то без вести пропала,
Страхом быв поражена,
Так как прежде проживала
Всё без паспорта она

И при наглом самозванстве
Замечалась кое в чем,
Как-то: в пьянстве, и буянстве,
И шатании ночном.

Ныне — всё благополучно».
Я ж тихонько здесь и там
Укрывалась где сподручно —
По каморкам, по углам.

Вижу — бал. Под ночи дымкой
Люди пляшут до зари.
Что ж мне так быть — нелюдимкой?
Повернулась — раз-два-три —

И на бал влетела мухой —
И, чтоб скуки избежать,
Над танцующей старухой
Завертясь, давай жужжать:

«Стыдно! Стыдно! Из танцорок
Вышла, вышла, — ей жужжу. —
С лишком сорок! С лишком сорок!
Стыдно! Стыдно! Всем скажу».

Мучу бедную старуху:
Чуть немного отлечу,
Да опять, опять ей к уху,
И опять застрекочу.

Та смутилась, побледнела.
Кавалер ей: «Ах! Ваш вид. . .
Что вдруг с вами?» — «Зашумело
Что-то в ухе, — говорит, —

Что-то скверное такое. . .
Ах, несносно! Дурно мне!»
Я ж, прервав жужжанье злое,
Поскорее — к стороне.

Подлетела к молодежи:
Дай послушаю, что тут!
И прислушалась: о боже!
О творец мой! Страшно лгут!

Лгут мужчины без границы, —
Ну, уж те на то пошли!
Как же дамы, как девицы —
Эти ангелы земли? . .

Одного со мною пола!
В подражанье, верно, мне
Кое-что у них и голо, —
И как бойко лгут оне!

Лгут — и нет средь бальной речи
Откровенности следа:
Только груди, только плечи
Откровенны хоть куда!

Всюду сплетни, ковы, путы,
Лепет женской клеветы;
Платья ж пышно, пышно вздуты
Полнотою пустоты.

Ложь — в глазах, в рукопожатьях, —
Ложь — и шепотом, и вслух!
Там — ломбардный запах в платьях,
В бриллиантах тот же дух.

В том углу долгами пахнет,
В этом — взятками несет,
Там карман, тут совесть чахнет;
Всех змей роскоши сосет.

Вот сошлись в сторонке двое.
Разговор их: «Что вы? как?»
— «Ничего». — «Нет — что такое?
Вы невеселы». — «Да так —

Скучно! Денег нет, признаться».
— «На себя должны пенять, —
Вам бы чем-нибудь заняться!»
— «Нет, мне лучше бы занять».

Там — девицы. Шепот: «Нина!
Как ты ласкова к тому! . .
Разве любишь? — Старичина!
Можно ль чувствовать к нему? . .»

«Quelle idée, ma chère! [1] Он сходен
С чертом! Гадок! Вижу я —
Для любви уж он не годен,
А годился бы в мужья!»

Тошно стало мне на бале, —
Всё обман, как погляжу, —
И давай летать по зале
Я с жужжаньем — жу-жу-жу, —

---

[1] «Какая мысль, моя дорогая!» (Франц.). — *Ред.*

Зашумела что есть духу...
Тут поднялся ропот злой —
Закричали: «Выгнать муху!»
И вошел лакей с метлой.

Я ж, все тайны обнаружив, —
Между лент и марабу,
Между блонд, цветов и кружев
Поскорей — в камин, в трубу —

И на воздух! — И помчалась,
Проклиная эту ложь,
И потом где ни металась —
В разных видах всюду то ж.

Там в театр я залетела
И на сцену забралась,
Да Шекспиром так взгремела,
Что вся зала потряслась.

Что же пользы? — Огневая
Без следов прошла гроза, —
Тот при выходе, зевая,
Протирал себе глаза,

Тот чихнул: стихом гигантским
Как Шекспир в него метал,
Он ему лишь, как шампанским,
Только нос пощекотал.

И любви моей и дружбы,
Словно тяжкого креста,
Все бегут. Искала службы, —
Не даются мне места.

Обращалась и к вельможам,
Говорят: «На этот раз
Вас принять к себе не можем;
Мы совсем не знаем вас.

Эдак бродят и беглянки!
Вы во что б пошли скорей?»
Говорю: «Хоть в гувернантки —
К воспитанию детей».

«А! Вы разве иностранка?»
— «Нет, мой край — и здесь, и там».
— «Что же вы за гувернантка?
Как детей доверить вам?

Вы б учили жить их в свете
По каким же образцам?»
— «Я б старалась-де, чтоб дети
Не подобились отцам».

«А! Так вот вы как хотите!
Люди! Эй!» — Пошел трезвон.
Раскричались: «Прогоните
Эту бешеную вон!»

Убралась. Потом попала
Я за дерзость в съезжий дом
И везде перебывала —
И в суде, и под судом.

Там — продажность, там — интриги,
Всех язвят слова мои;
Я совалась уж и в книги,
И в журнальные статьи.

Прежде «Стой, — кричали, — дура!»
А теперь коё-куда
Благородная цензура
Пропускает иногда.

Место есть мне и в законе,
И в евангельских чертах,
Место — с кесарем на троне,
Место — в мыслях и словах.

Эта сфера мне готова,
Дальше ж, как ни стерегу —
Ни из мысли, ни из слова
В жизнь ворваться не могу;

Не могу вломиться в дело:
Не пускают. Тьма преград!
Всех нечестье одолело,
В деле правды не хотят.

Против этой лжи проклятой,
Чтоб пройти между теснин, —
Нужен мощный мне ходатай,
Нужен крепкий гражданин».

«От меня чего ж ты хочешь? —
Наконец я вопросил. —
Ждешь чего? О чем хлопочешь?
У меня не много сил.

Если бедный стихотворец
И пойдет, в твой рог трубя,
Воевать — он ратоборец
Ненадежный за тебя.

Он дороги не прорубит
Сквозь дремучий лес тебе,
А себя лишь только сгубит,
Наживет врагов себе.

Закричат: «Да он — несносный!
Он мутит наш мирный век,
На беду — звонкоголосный,
Беспокойный человек!»

Ты всё рвешься в безграничность,
Если ж нет тебе границ —
Ты как раз заденешь личность,
А коснись-ка только лиц!

И меня с тобой прогонят,
И меня с тобой убьют,
И с тобою похоронят,
Память вечную споют.

Мир на нас восстанет целый:
Он ведь лжи могучий сын.
На Руси твой голос смелый
Царь лишь выдержит один —

Оттого что, в высшей доле,
Рыцарь божьей правоты —
Он на царственном престоле
И высок и прям, как ты.

Не зови ж меня к тревогам!
Поздно! Дай мне отдохнуть!
Спать хочу я. С богом! С богом!
Отправляйся! Добрый путь!

Если ж хочешь — в извещенье,
Как с тобой я речь держу,
О твоем я посещенье
Добрым людям расскажу».

⟨1857⟩

253. СКАЖИТЕ

Скажите, я вам докучаю?
Скажите, я с ума схожу?
У вас, — скажите — умоляю, —
Не слишком часто ль я бываю?
Не слишком долго ли сижу?
Я надоел вам, я уверен,
При вас из рук я вон, хоть брось,
При вас я жалок и растерян,
При вас я туп и глуп насквозь.
Когда, обвороженный вами,
Впиваюсь жадно я глазами
В ваш ясный лик, а сам молчу —
Не страшно ль вам? Вы не дрожите?
Уж вам не кажется ль, скажите,
Что проглотить я вас хочу?
Порою зависть — эту муку —
Внушает мне исподтишка
Ваш столик — дерево — доска,
Когда покоит вашу руку
И прикасается к перстам,
Которые с таким томленьем,
С таким глубоким упоеньем
Прижал бы я к своим устам.
Тех уст иль дерева касаться
Рукой, отброшенной слегка, —
Вам всё равно бы, может статься,
Равно холодною остаться
Могла б лилейная рука.

Увы! Скажите, для чего же
И там мне счастья не дано,
Где всё равно вам было б тоже,
А мне — уж как не всё равно?

⟨1857⟩

254. НА ГУЛЯНЬЕ

Веет негой ночь лукавая,
В небесах луна горит
И, меж тучек тихо плавая,
Их волшебно серебрит.

Сад тенистый с изворотами
Темных липовых аллей,
Сад с беседками и гротами —
Полон множеством людей, —

И с июльским сладострастием
На гулянье дачном здесь
Дышит загородным счастием
Лиц пестреющая смесь.

Огневыми бриллиантами
Блещут сотни фонарей.
Вот — эстрада с музыкантами!
Капельмейстер-чародей

Рад смычок свой к небу взбрасывать,
Скрипку вдребезги разбить,
Приседать рад и приплясывать,
Чтоб оркестр одушевить.

Чу! Гремят рукоплескания;
Упоен народный слух, —
Я один среди собрания
Неподвижен, нем и глух.

Знать, одна лишь благодатная
Для больной души моей
Есть мне музыка понятная, —
Это — музыка речей!

Это, чуждые всесветного
Крика, шума, торжества,
Звуки горлышка заветного,
Уст пленительных слова,

Звуки ясные, родимые —
В царстве звучности цари,
Речи так произносимые,
Что прослушай — и умри!

Да меж горем и заботами
В промежуточный часок
Мне контральтовыми нотами
Сладок женский голосок.

Да еще есть мне отрадная
Музыкальность без конца:
Это — музыка наглядная,
Очерк милого лица.

Это — сладкая симфония,
Перелитая в черты, —
Это — высшая гармония
В виде женской красоты!

⟨1857⟩

255. ПОЭТУ

Когда тебе твой путь твоим указан богом —
Упорно шествуй вдаль и неуклонен будь!
Пусть критик твой твердит в суде своем убогом,
Что это — ложный путь!

Пускай враги твои и нагло и упрямо
За то тебя бранят всем скопищем своим,
Что гордый твой талант, в бореньях стоя прямо,
Не кланяется им;

За то, что не подвел ты ни ума, ни чувства
Под мерку их суда и, обойдя судей,
Молился в стороне пред алтарем искусства
Святилищу идей!

Доволен своего сознанья правосудьем,
Не трогай, не казни их мелкого греха
И не карай детей бичующим орудьем
Железного стиха!

Твое железо — клад. Храни его спокойно!
Пускай они шумят! Молчи, терпи, люби!
И, мелочь обходя, с приличием, достойно
Свой клад употреби!

Металл свой проведи сквозь вечное горнило:
Сквозь пламень истины, добра и красоты —
И сделай из него в честь господу кадило,
Где б жег свой ладан ты.

И с молотом стиха над наковальней звездной
Не преставай ковать, общественный кузнец,
И скуй для доблести венец — хотя железный,
Но всех венцов венец!

Иль пусть то будет — плуг в браздах гражданской нивы,
Иль пусть то будет — ключ, ключ мысли и замок,
Иль пусть то будет — меч, да вздрогнет нечестивый
Ликующий порок!

Дороже золота и всех сокровищ Креза
Суровый сей металл, на дело данный нам.
Не трать же, о поэт, священного железа
На гвозди эпиграмм!

Есть в жизни крупные обидные явленья, —
Противу них восстань, — а детский визг замрет
Под свежей розгою общественного мненья,
Которое растет.

(1857)

256. ПРИ ИЛЛЮМИНАЦИИ

Праздник большой! Изукрашены здания,
Ночь лучезарнее дня.
Плошки и шкалики — бездна сияния!
Целое море огня!

Но для чего мне все эти фонарики?
Я уступил бы другим
Эти блестящие звездочки, шарики, —
Всё предоставил бы им.
Нужны мне две лишь лампады прекрасные
С чистым елеем любви,
Нужны мне звездочки мирные, ясные —
Синие очи твои.

⟨1857⟩

257. ЛИПЫ-ЛИПКИ

Липы-липки! Вы мне милы,
Вас я не забуду,
Вас, родные, до могилы
Петь и славить буду.

Часто вам я, липы-липки,
В дни стихов и прозы
Посвящал мои улыбки,
Посвящал и слезы.

От жены бежал злодейки
И от лютой тещи
Я чрез тайные лазейки
В липовые рощи.

И, прильнув душой печальной
К новой чародейке,
С ней гулял по самой дальной
Липовой аллейке.

И потом, предав забвенью
Горькие ошибки,
Я один сидел под тенью
Одинокой липки.

Шумным роем обсыпали
Пчелы липку эту,
Сладкий мед они сбирали
С липового цвету.

После люди мне сказали:
«Что ты всё пьешь воду?
Ты от горя да печали
Лучше выпей меду!»

Стал цедиться мед душистый
Струйкой золотистой,
А друзья-то подстрекали:
«Пей! Ведь липец чистый!»

Липец? — Как не пить в собранье,
Липам в честь и славу,
Добрым людям для компаньи
И себе в забаву!

Вот и пил я что есть мочи,
Славя липку-липу,
А потом и дни и ночи
Спал я без просыпу.

Проспал жар я, выспал холод,
Жизнь пропала даром,
Всё прошло; уснул я — молод,
А проснулся старым.

Еле ходишь, сухопарый,
Ломит поясницу,
Кашель душит, а и старый —
Любишь молодицу.

Вот однажды ей в признаньях
Говорю сквозь слезы:
«Может, милая, в страданьях
Помогли б мне розы.

Может, это лишь простуда,
И с промерзлой кровью
Мне согреться бы не худо —
Например, любовью».

«Нет, на розы не надейся!
Слушайся совету, —
Говорит она, — напейся
Липового цвету!

Не любовью согревайся,
    С сердцем обветшалым,
А плотнее накрывайся
    Теплым одеялом!»

Стал я пить настой целебный,
    Пил его я жадно,
Принял я совет врачебный,
    Только всё не ладно.

Скоро, всю потратив силу,
    Век я кончу зыбкой.
Вы ж, друзья, мою могилу
    Осените липкой!

⟨1857⟩

258. ПО ПРОЧТЕНИИ ОДНОГО ИЗ ТВОРЕНИЙ ШЕКСПИРА

Когда в творении великом
Творца великость вижу я —
Пред гениальным этим ликом
Простерта ниц душа моя;
Благоговейным полон страхом,
Дрожу, поникнув головой,
Я под торжественным размахом
Шекспира мысли вековой.
Несется гений огнекрылый
В лучах, в пространстве голубом, —
И я, подавлен этой силой,
Вмиг становлюсь ее рабом.
Но это рабство не обидно, —
Свободы вечной в нем залог;
Мое подвластье не постыдно
Затем, что мой властитель — бог.
Он поражает — я покорен,
Он бьет — и я, приняв удар,
Ударом тем не опозорен,
Зане удар тот — божий дар.
Могучий в громы обращает
Величье сродное ему
И, поражая, приобщает
Меня к величью своему.

Когда пред вещим на колени
Я становлюсь, чело склоня,
Он, став на горние ступени
И молнией обвив меня,
Простороженца благородит,
Раба подъемлет и сплеча
Плебея в рыцари возводит
Ударом божьего меча.

⟨1857⟩

259. «ПО СИНИМ ВОЛНАМ ОКЕАНА»[1]

Из гроба твой стих нам гремит,
Поэт, опочивший так рано.
Воздушный корабль твой летит
«По синим волнам океана».

Всегда твоя песня жива,
И сладки, как звуки органа,
Твои золотые слова:
«По синим волнам океана».

И музыку *кто-то* творит
Для песни певца-великана,
И музыка та говорит:
«По синим волнам океана».

И, вызвав обдуманных нот
Аккорды из струн фортепьяно,
Садится *она* и поет:
«По синим волнам океана».

И глаз ее светлых эмаль,
Мне кажется, дымку тумана
Пронзая, кидается вдаль —
«По синим волнам океана».

И, думами, думами полн,
Дрожу я, как в миг урагана
Бросаемый бурею челн
«По синим волнам океана».

---

[1] Первый стих в пьесе Лермонтова «Воздушный корабль».

И вместе с певицей тогда
Я рад бы без цели и плана
Умчаться бог знает куда
«По синим волнам океана».

⟨*1857*⟩

260. НАД РЕКОЙ

Долго, по целым часам над широкой рекою
В думах сижу я и взоры на влаге покою,
Взгляд на реку представляет мне жизни теченье. . .
(Вы уж меня извините на старом сравненье:
Пусть и не ново оно, да лишь было б не дурно!)
Вот на реке — примечайте — то тихо, то бурно,
Чаще ж — ни то, ни другое, а так себе, хлябью
Ходит поверхность воды или морщится рябью.
Вот челноки, челноки, много лодочек разных,
Много гребцов, и пловцов, и рабочих, и праздных;
Ялики, боты плывут, и красивы и крепки,
Утлые идут ладьи, и скорлупки, и щепки.
Эти плавучие зданья нарядны, то принцы!
Прочие ж — мелочь, так — грязный народ, разночинцы.
Те по теченью плывут, обгоняя друг друга,
Этот же — против теченья, — ну, этому туго!
Крепче греби! — Вот сам бог ему силы прибавил, —
Ветер попутный подул, так он парус поставил,
Ладно! Режь воду да парус держи осторожно, —
Чуть что не так — и как раз опрокинуться можно, —
Лодке убогой под ветром погибнуть нетрудно. —
Вот выплывает большое, тяжелое судно,
Парус огромный, пузатый, с широкой каймою,
Шумно вода и сопит и храпит под кормою,
Под носом — пена, движение важное, — барин!
Даже и ветру не хочет сказать «благодарен».
Лодочка сзади привязана; панская ласка
Тащит вперед ее, плыть и легко. . . да привязка!
Я не желал бы такою быть лодкой — спасибо!
Лучше уж буду я биться, как на суше рыба,
Лучше в боренье с волной протащу свою долю
Сам по себе, полагаясь на божию волю! —
Вот, развалясь, величаясь своими правами,
Едет широкая барыня-барка с дровами,

С топливом славным; как север зимою повеет —
Многих она удовольствует, многих согреет,
Щедрая барыня! — Есть и в салонах такие,
Как поглядишь да послушаешь сплетни людские. —
Это же что? — Тут уж в быль перешла небылица:
Глядь! По волнам водяная летит колесница;
Словно пылит она, так от ней брызги крутятся,
Тряско стучит и гремит, и колеса вертятся.
Экой корабль! С середины глядит самоваром:
Искры летят из трубы между дымом и паром;
Пышет огнем, попирая послушную воду;
Пена вокруг, а на палубе — эко народу!
Мыслю, любуясь таким огневым организмом:
Этот вельможа устроен с большим механизмом,
Против теченья идет, как там ветер ни дует;
В тишь он далёко вокруг себя зыбь разволнует,
Так что кругом закачаются лодки и челны, —
И не хотел бы попасть я в подобные волны, —
Слабый челнок мой другие пусть волны встречает,
Только волны от вельможи боюсь — укачает. —
Мысленно я между тем над рекою гадаю:
Меж челноками один я за свой принимаю;
Вот — мой челнок, потихоньку, на веслах, на мале,
К берегу держит, от злых пароходов подале;
Вслед за иным не дойдет до величья он в мире,
Ну да он сам по себе, а иной — на буксире;
Песни поет мой гребец — не на славу, не звонко,
Было бы только лишь в меру его голосенка;
Жребий безвестный и бедность его не печалит,
Вот он еще поплывет, поплывет — и причалит
К берегу — стой! Вот лесок, огородец, полянка!
Вот и дымок, огонек и на отдых — землянка!

⟨1857⟩

261. МАША

Кто там в поле ходит, звездочкой мелькая?
Лишь одна на свете девушка такая!
Машу крепко любит целое селенье,
Маша — сердцу радость, Маша — загляденье.
Да и как на Машу не смотреть с любовью?
Огненные глазки с соболиной бровью,
Длинный, длинный в косу заплетенный волос;
Спеть ли надо песню? — Чудо что за голос!

В лес пойдет голубка брать грибов иль ягод —
Лес угрюмый станет веселее на год,
Ветерок шалит с ней, всё ей в складки дует,
Рвет платочек с шеи, в плечико целует,
И лесные пташки ближе к ней садятся,
Для других — пугливы, Маши не боятся;
Тучка в божьем небе плакать соберется,
А на Машу взглянет, да и улыбнется.
Вот идет уж с поля Маша, да с обновой:
Мил-хорош веночек нежный, васильковый
На ее головке; хороша обновка,
Хороша и Маша — чудная головка!
Как венок умела свить она искусно!
Только, видно, милой отчего-то грустно, —
Так ходить уныло Маша не привыкла, —
Глазки прослезились, голова поникла.

Молодец удалый, чье кольцо на ручке
У красы-девицы, с месяц уж в отлучке,
Ждет Василья Маша, ждет здесь дорогая,
А уж там явилась у него другая;
Под вечер однажды, тая в неге вешней,
В садике зеленом сидя под черешней
И целуя Насте выпуклые плечи,
Говорил изменник клятвенные речи,
И ее он к сердцу прижимал украдкой,
Нежно называя лапушкой, касаткой, —
И никто бы тайны этой не нарушил,
Только речь Василья ветерок подслушал,
Те слова и вздохи на лету хватая
И чрез сад зеленый к лесу пролетая.
Ветерок, ту тайну взяв себе на крылья,
Заиграл, запрыгал и, собрав усилья,
Превратился в вихорь, засвистал, помчался,
В темный лес ударил — темный закачался.
Зашумел, нагнулся, словно в тяжкой думе, —
Весточка измены разносилась в шуме.
На одной из веток птичка отдыхала
В том лесу дремучем, — птичка всё узнала;
С ветки потрясенной, опасаясь бури,
Птичка полетела быстро по лазури
И взвилась тревожно неба к выси дивной
С грустным щебетаньем, с трелью заунывной.
Слышалось: «Вот люди! вот их постоянство!»

Ну да кто там слышал? — Воздух да
пространство!
Нет, не утаится ветреное дело, —
В небе в это время облако летело —
Облако узнало. . . Ну да тайна ляжет
Всё же тут в могилу, облако не скажет,
Облако ведь немо; тут конец угрозы.
Да, тут нету речи, да найдутся слезы, —
Грудь земли иссохшей слезы те увлажат
И о темном деле внятно ей расскажут.
Облако надулось гневом благородным,
Стало черной тучей и дождем холодным
Землю напоило, — и уж тайна бродит
В черноземе поля, и потом выходит
Из земли наружу свежими цветками,
И, во ржи синея, смотрит васильками, —
И веночек Маши нежный, васильковый
Голову сдавил ей думою свинцовой;
Маша убралась лишь этими цветами —
Залилась бедняжка горькими слезами.

⟨1857⟩

262. СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ

Пускай говорят, что в бывалые дни
Не те были люди, и будто б они
Семейно в любви жили братской,
И будто был счастлив пастух-человек!
Да чем же наш век не пастушеский век
И чем же наш быт не аркадской?

И там злые волки в глазах пастухов
Таскали овечек, у наших волков
Такие же точно замашки;
Всё та ж добродетель у нас и грешки,
И те же пастушки, и те ж пастушки,
И те же барашки, барашки.

Взгляните: вот Хлоя — Тирсиса жена!
Как цвет под росой — в бриллиантах она
И резвится — сущий ребенок;
И как ее любит супруг-пастушок!
И всяк при своем: у него есть рожок,
У ней есть любимый козленок.

Но век наш во многом ушел далеко.
Встарь шло от коровок да коз молоко,
Всё белое только, простое;
Теперь, чтоб другого добыть молочка,
Дориса доит золотого бычка
И пьет молоко золотое.

Женатый Меналк — обожатель Филлид —
Порой с театральной Филлидой шалит.
Дамет любит зелень и волю, —
И, нежно губами до жениных губ
Коснувшись, Дамет едет в Английский клуб
Пройтись по зеленому полю.

Тасуясь над зеленью этих полей,
Немало по ним ходит дам, королей;
А тут, с золотыми мечтами,
Как Дафнисы наши мелки завострят —
Зеленое поле, глядишь, упестрят,
Распишут цветами, цветами.

На летних гуляньях блаженство мы пьем.
Там Штрауса смычок засвистал соловьем,
Там наши Аминты — о боже! —
В пастушеских шляпках, на радость очам,
Барашками кудри бегут по плечам, —
У Излера пастбище тоже.

Бывало — какой-нибудь нежный Миртил
Фаншеттину ленточку свято хранил,
Кропил умиленья слезами,
И к сердцу ее прижимал и к устам,
И шел с ней к таинственным, тихим местам —
К беседе с луной и звездами.

Мы ленточку тоже в петличку ввернуть
Готовы. А звезды? — На грудь к нам! На грудь!
Мы многое любим сердечно, —
И более ленточек, более звезд
Мы чтим теплоту и приятность тех мест,
Где можно разлечься беспечно.

Мы любим петь песни и праздно мечтать,
И много писать, и немного читать
(Последнее — новый обычай).

Немного деревьев у нас на корнях,
Но сколько дремучих лесов в головах,
Где бездна разводится дичи!

Вотще бы хотел современный поэт
Сатирой взгреметь на испорченный свет:
Хоть злость в нем порою и бродит —
Всё Геснером новый глядит Ювенал,
И где он сатиру писать замышлял —
Идиллия, смотришь, выходит.

⟨1857⟩

263. ВАНЯ И НЯНЯ

(Детская побасенка)

«Говорят: война! война! —
Резвый мальчик Ваня
Лепетал. — Да где ж она?
Расскажи-ка, няня!»

«Там — далёко. Подрастешь —
После растолкуют».
— «Нет, теперь скажи, — за что ж?
Как же там воюют?»

«Ну сойдутся, станут в ряд
Посредине луга,
Да из пушки и палят,
Да и бьют друг друга.

Дым-то так валит тогда,
Что ни зги не видно».
— «Так они дерутся?» — «Да».
— «Да ведь драться стыдно?

Мне сказал папаша сам:
Заниматься этим
Только пьяным мужикам,
А не умным детям!

Помнишь — как-то с Мишей я
    За игрушку спорил,
Он давай толкать меня,
    Да и раззадорил.

Я прибил его. Вот на!
    Победили наши!
«Это что у вас? Война? —
    Слышим крик папаши. —

Розгу!» — С Мишей тут у нас
    Было слез довольно,
Нас папаша в этот раз
    Высек очень больно.

Стыдно драться, говорит,
    Ссорятся лишь злые.
Ишь! И маленьким-то стыд!
    А ведь там — большие.

Сам я видел сколько раз, —
    Мимо шли солдаты.
У! Большущие! Я глаз
    Не спускал, — все хваты!

Шапки медные с хвостом!
    Ружей много, много!
Барабаны — тром-том-том!
    Вся гремит дорога.

Тром-том-том! — И весь горит
    От восторга Ваня,
Но, подумав, говорит: —
    А ведь верно, няня,

На войну шло столько их,
    Где палят из пушки, —
Верно, вышла и у них
    Ссора за игрушки!»

⟨*1857*⟩

264—272. *СЕЛЬСКИЕ ОТГОЛОСКИ*

1. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Срок настал. Оставив город шумный,
От него я скрылся, как беглец, —
От тревог той жизни неразумной
Отдохнуть пора мне наконец.

Душно там, громадность да огромность
Жмут меня, — и посреди всего
Сознаю я горькую бездомность:
Нет нигде домишка моего.

Что я там? — Не гость и не хозяин,
Чувствую — там не по мне земля.
«Город — мой, — мне всюду шепчет Каин. —
Авелю отведены поля».

То ли дело в мирной сельской доле?
Вольное, широкое житье!
Выйду ль я да разгуляюсь в поле —
Это поле, кажется, мое.

Где себе ни выберу я место,
Лягу тут, — точь-в-точь пришел домой;
Ну, а лес-то... боже мой! А лес-то —
Темный лес — весь совершенно мой!

Там — посев, там — хижины, строенья.
Прохожу по каждому двору, —
Кажется — тут всё мои владенья,
Только я оброка не беру.

У меня ковер тут под ногами —
Шелковистый, бархатный ковер,
Мягкий, пышный, затканный цветами —
Злаки, мох и травка вперебор.

Там просвет, там тени по утесам,
Виды, виды — любо посмотреть!
А с лугов мне веет сенокосом...
Запах-то! Дохнуть — и умереть!

Я иду, — колосья ржи — взгляните! —
Все под ветром кланяются мне.
«Здравствуйте, друзья мои, растите, —
Мыслю я, — и полнитесь в зерне!»

Царь я; солнце у меня в короне,
У меня вот зеркало — река!
У меня на голубом плафоне
В позолоте ходят облака.

Живопись-то, живопись какая!
Вы всмотритесь: что за колорит!
Эта краска, искрясь и сверкая,
Семьдесят столетий так горит.

Утром встал я, — мне заря блеснула
Алой лентой, пред моим окном
Мельница мне крылья распахнула
И глядит торжественным крестом.

Жизнь ведет под тем крестом отшельник...
Не ищи других завидных мест!
Этот крест — твой орден, добрый мельник,
И тебя питает этот крест.

Всех здесь будит утра в час обычный
Гласом трубным мой герольд — пастух
Иль повеса и крикун публичный
С красным гребнем либерал петух.

В полдень вся горит моя палата
Золотом, всё в красках, всё пестро,
Вечер мне шлет пурпур мой с заката,
Ночь в звездах мне сыплет серебро.

А роса-то — перлы, бриллианты!
Эти слезы чище всяких слез,
Птички мне певцы и музыканты,
Соловей — мой первый виртуоз.

Церковь тут, и сельское кладбище
Близко так, и ельник тут в виду.
Вот мое последнее жилище!
Хорошо. Я дальше не пойду.

2. ТИШЬ

Я знаю, там теперь коляски да кареты
Гремят по мостовой, в движенье город весь,
Пируют; слышатся заздравные приветы,
Крик, слитный говор, шум, там музыка, — а здесь
Как тихо! Боже мой! Как тихо! — Дверь открыта,
Слух чуткий напряжен, открыты два окна, —
Но звука нет нигде. Везде вокруг разлита
Такая полная, святая тишина,
Что, если б где-нибудь качнулась паутинка,
Пал с дерева листок иль поднялась пылинка, —
Я, верно, слышал бы; я, верно б, слышать мог,
Когда б под мотыльком погнулся стебелек
Иль на небе звезда с звездой перешепнулась,
Иль если б на земле случайно где-нибудь
Мечтою тайною затрепетала грудь,
Иль сердце чье-нибудь любовью шевельнулось, —
Но нет, безмолвно всё... Лишь с звездной вышины
Всевышний говорит глаголом тишины.

3. МАЛЕНЬКОЕ ЖЕЛАНИЕ

В хату бог меня принес:
    Отдыхай, отшельник!
Вкруг меня семья берез,
    Да сосняк, да ельник,
Здесь пригорки, тут река,
    Даль открыта взору,
Там идет издалека
    Лес по косогору,
Там широкие поля
    Золотятся рожью, —
Мнится, небо и земля
    Славят милость божью.
У окна сидишь себе,
    Смотришь на дорогу,
Тишь в душе и тишь в избе.
    Хорошо, ей-богу!
Вполовину жизнь моя
    Здесь идет блаженно, —
И, конечно, был бы я
    Счастлив совершенно,

Только, как бы ни пришлось —
В дверь мне иль в окошко,
Хоть частичку дружбы брось
Да любви немножко!

4. ВЕЧЕРНИЕ ОБЛАКА

Уж сумрак растянул прозрачную завесу,
Последние лучи мелькают из-за лесу,
Где солнце спряталось. Волшебный час любви!
Заря затеплилась — и вот ее струи,
Объемля горизонт, проходят чрез березки,
Как лент изрезанных багряные полоски.
Там, щедрым отблеском зари освещены,
Густые облака, сбегая с вышины,
Нависли пышными янтарными клубами,
А дальше бросились капризными дугами,
Узлами, прядями, чертами вкривь и вкось,
И это вьется всё, запуталось, сплелось
Так фантастически, так чудно, идеально,
Что, если было бы художнику дано
Всё это перенесть к себе на полотно, —
Сказали б: «Хорошо, но как ненатурально!»

5. РОЖЬ И ПТИЧКА

Травка-муравка ковром расстилается,
Вот изгороды, межи,
Поле желтеет, зерно наливается,
Птичка щебечет во ржи.
Как хороша эта рожь колосистая!
Как она пышно растет!
Ветер подует, — волна серебристая
По полю так и пройдет,
Вздрогнут колосья и, зыблясь, наклонятся
С шепотом, с шумом глухим;
Эти нагнутся, и те посторонятся,
Робко прилягут к другим,
Встанут потом — и головки их хлебные
Думно качаются. «Стой!
Что там такое? Не тучи ль враждебные?» —
Шепчут они меж собой.
Ветер присвистнул, дождинки закапали,
Рожь словно хлябь предо мной,

Поле что море, что на море — на поле
Ходит волна за волной.
Вынырнув, птичка из ржи поднимается
Выше и выше — в зенит,
Вьется, кружится, поет-заливается,
Так и звенит и звенит, —
Верно, там — в небе — узнала, разведала,
Что говорят облака,
Бури нечаянной небо чтоб не дало...
Вот и давай с высока
Весть разговор со своими сестрицами
(Эти щебечут внизу):
«Там, — говорит, — бродят тучи станицами
И предвещают грозу».
Звонкие речи идут перекличкою, —
Я на муравке лежу
И за высоко летящею птичкою
Долго глазами слежу,
Слушаю речь ее звонко-певучую...
Птичка... да где же она?
Нет, уж невидима, скрылась за тучею,
Скрылась — и только слышна.
Пой и звени, в вышине сокровенная!
Пой про заоблачный свет!
Там, где незрима душа вдохновенная —
Слышен твой голос, поэт.

6. БЛИЗОСТЬ

Как близко небо здесь! Мне кажется — оно
Нагнулось, подошло и просится в окно,
Прислушиваюсь, — мне его дыханье слышно.
Оно издалека, из-за балтийских вод
В своих объятиях мне облако несет
Такое белое и взбитое так пышно,
С такою нежною пушистою каймой,
Что так бы и прильнул усталой головой
К такому полному блаженства изголовью.
А вот и звездочка! — Она с такой любовью
Глядит через окно в мой сельский уголок,
Слегка прищурив свой сверкающий глазок,
Как будто у меня ей хочется ночлега,
А в сонном воздухе и тишина и нега.

Постой, о звездочка, я отворю как раз
Тебе окно... Бегу, и нетерпенья муку
Чтоб утолить скорей, протягиваю руку
Небесной страннице, — а хитрая сейчас
И отодвинулась — известная уловка!
Кокетка! Женщина! Обманщица! Плутовка!

7. СЕНОКОС

Утро восходит в румянце зари.
В чистое поле пошли косари.

Вышли, взмахнули — под острой косою
Так и ложится трава полосою.

Где твои волосы, шелковый луг?
Где твои кудри? — Всё сбрито вокруг.

Всё, чем богат травянистый наш север —
Красноголовый трехлистник наш — клевер

И тимофеева травка, — ложись!
Высохни, травка, да сеном скажись!

Сеном будь злака подрезанный колос —
Луга зеленый настриженный волос!

Ветер гуляет и солнце печет, —
Высохнет всё, что коса посечет.

В красные дни, что крестьянина тешат,
Бабы те волосы граблями чешут.

Бабы и девки пошли на труды.
Грабли — что гребней зубастых ряды.

Феклы да Марфы в труде расторопны, —
Свежее сено зачесано в копны.

Чу! Господа! Их кареты гремят.
Барин! Понюхай — каков аромат!

Чуешь ли, барышня? Дух сеновала —
Что твоя амвра душистого бала!

8. МОЛИТВА ПРИРОДЫ

Я вижу целый день мучение природы:
Ладьями тяжкими придавленные воды
Браздятся; сочных трав над бархатным ковром
Свирепствует коса; клонясь под топором,
Трещит столетний дуб в лесу непроходимом
И ясный свод небес коптится нашим дымом.
Мы ветру не даем свободно пролететь.
Вот мельницы — изволь нам крылья их вертеть!
Дуй в наши паруса! — Природа помолиться
Не успевает днем предвечному творцу, —
Томится человек и ей велит томиться
С утра до вечера... Но день идет к концу,
Вот вечер, вот и ночь, — и небо с видом ласки
Раскрыло ясных звезд серебряные глазки,
А вот и лунный шар, — лампада зажжена,
В молельню тихую земля превращена;
Замолкла жизнь людей, утихла эта битва...
Природа молится. Да — вот ее молитва!

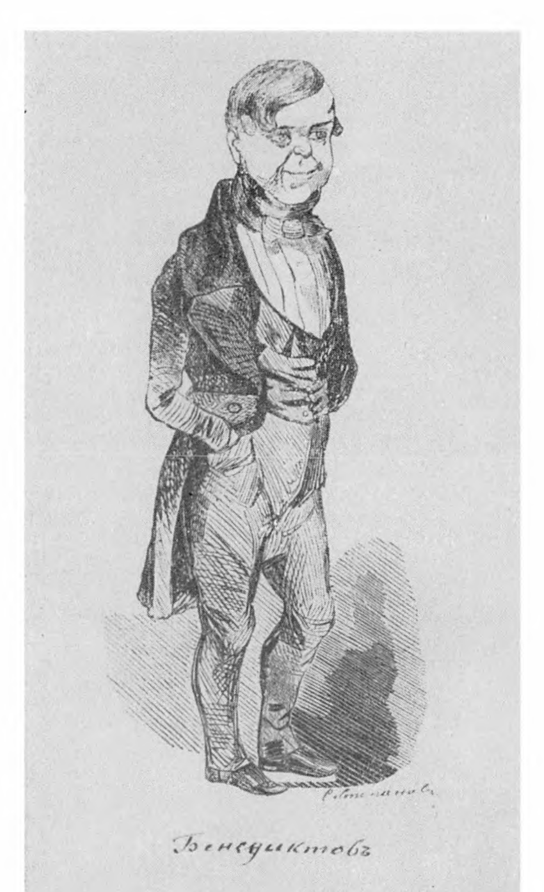
9. НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

Был я на сельском кладбище, — просторно
Мертвым лежать тут под бархатом дерна;
Кровелькой красной уютно прикрыт,
Крест деревянный над каждым стоит.
Надписей нет, о чинах ни полслова, —
Насыпь да крест — и гробница готова.
Нет здесь витийства в надгробных стихах, —

Разве молитва одна о грехах:
«Боже прости!» — на кресте почернелом
В буквах кривых нацарапана мелом;
Ветер играет душистой травой;
Рдеет, синеет цветок полевой;
Там стала елка, тут гибкая ива, —
Мирно красуется божия нива.

Вот над одною могилой висит
Свежий венок и вдова голосит:
«Красное солнышко! Месяц мой ясный!
Ох, без тебя пропадать мне, злосчастной!
Ох, не видать мне веселого дня!
Ох, для чего ты покинул меня?
Ох, мое сердце растерзано вдовье;

Бенедиктовъ, Владимиръ Григорьевичъ,
Поэтъ. Род. въ С.Петербургѣ, 5 Ноября 1807 г.
† 14-го Апрѣля 1873 г.



Бенедиктовъ

(Лирическая поэзія.)

Горе — постель мне, тоска — изголовье».
Вдруг перестала она завывать.
Нового мужа пошла добывать.
Вот раздаются другие рыданья.
Это по брате сестры завыванья,
Девка немножко повыла — и прочь.

Вот взголосила по матери дочь!
Дочь хоть утраты своей не забудет,
Всё ж, как повоет, так легче ей будет;
Есть у ней сила печаль выносить,
Ежели сила нашлась голосить.

С краю — могилка. Давно тут зарыли
Доброго парня, как мне говорили, —
Славного парня, и вижу я: вот
К этой могиле старушка бредет.
Эта не выла уж тут, не металась —
Грохнулась наземь, да так и осталась;
Пальцы иссохшие так и вросли
В хладные недра могильной земли.
Дивно, какой непонятною силой
Дряхлая крепко спаялась с могилой
Так, что старушку от этой земли
Люди потом оторвать не могли.
Что ей тот парень? Спросить я сбирался,
Но промолчал — видно, сам догадался.

⟨1857⟩

273. В ЛЕСУ

Тебя приветствую я снова,
Маститый старец — темный лес,
Стоящий мрачно и сурово
Под синим куполом небес.

Меж тем как дни текли за днями,
Ты в грудь земли, на коей стал,
Глубоко врезался корнями
И их широко разметал.

Твои стволы как исполины,
Поправ пятой постелю мхов,
Стоят, послав свои вершины
На поиск бурных облаков.

Деревья сблизились как братья
И простирают всё сильней
Друг к другу мощные объятья
Своих раскинутых ветвей.

Я вижу дубы, сосны, ели,
Там — зев дупла, там — мох седой,
Коры растрескавшейся щели,
И пни, и кочки под ногой.

При ветре здесь витийством шума
Я упоен, а в тишине
Как величаво смотрит дума
С деревьев этих в душу мне!

И в час, как солнце близ заката
И меркнет день, душа моя
Здесь дивным таинством объята
И новым чувством бытия, —

И, с миром бренным, миром пыльным
Как бы навек разделена,
В союзе с миром замогильным
Здесь богу молится она, —

И лес является мне храмом,
Шум листьев — гимном торжества,
Смолистый запах — фимиамом,
А сумрак — тайной божества.

Спускает ночь свою завесу —
И мне мерещится тот век,
Как был родным родному лесу
Перворожденный человек.

Мне грезится тот возраст мира,
Как смертный мирно почивал,
Не заходила в лес секира,
Над ним огонь не пировал.

И где тот мир и та беспечность?
Вот мир с секирой и огнем,
Заботы, труд, могила, вечность...
Откуда мы? Куда идем?

Лесная тень из отдаленья
Идет, ко мне наклонена,
Как будто слово разуменья
Мне хочет высказать она, —

И пробираюсь я украдкой,
Как будто встретиться боюсь
С великой жизненной разгадкой,
К которой мыслями стремлюсь;

Древесных листьев сонный лепет
Робею выслушать вполне,
Боюсь понять... невольный трепет
Вдруг проникает в сердце мне.

Бурлит игра воображенья,
И, как в магическом кругу,
Здесь духа тьмы и все виденья,
Сдается, вызвать я могу, —

И страшно мне, как сыну праха,
Ужасно мне под этой тьмой,
Но как-то рад я чувству страха
И мне приятен ужас мой.

⟨1857⟩

274. ОН

Посвящено тем,
которые его помнят и чтят его память

Я помню: был старик — высокий, худощавый,
Лик бледный, свод чела разумно-величавый,
Весь лысый, на висках седых волос клочки,
Глаза под зонтиком и темные очки.
Правительственный сан! Огромные заботы!
Согбен под колесом полезной всем работы,
Угодничества чужд, он был во весь свой век
Советный муж везде и всюду — человек,
Всегда доступен всем для нужд, и просьб, и жалоб,
Выслушивает всех, очки поднимет на лоб,
И видится, как мысль бьет в виде двух лучей
Из синих, наискось приподнятых очей;
Иного ободрит улыбкою привета,

Другому, ждущему на свой вопрос ответа,
На иностранный лад слова произнося,
Спокойно говорит: «Нет, патушка, нелься»[1].
Народным голосом и милостью престольной
Увенчанный старик, под шляпой треугольной,
В шинели серенькой, надетой в рукава,
В прогулке утренней протащится сперва —
И возвращается в свой кабинет рабочий,
Где труд его кипит с утра до поздней ночи.
Угодно ль заглянуть вам в этот кабинет?
Здесь нету роскоши, удобств излишних нет,
Всё дышит простотой студентской кельи скромной:
Здесь к спинке кресел сам хозяин экономный,
Чтоб слабых глаз его свет лишний не терзал,
Большой картонный лист бечевкой привязал;
Тут — груды книг, бумаг, а тут запас дешевых
Неслиндовских сигар и трубок тростниковых,
Линейки, циркули; а дальше — на полу —
Различных свертков ряд, уставленный в углу:
Там планы, чертежи, таблицы, счеты, сметы;
Здесь — письменный прибор. Вот все почти предметы!
И посреди всего — он сам, едва живой,
Он — пара тощих ног с могучей головой!
Крест-накрест две руки, двух метких глаз оглядка
Да тонко сжатых губ изогнутая складка —
Вот всё! — Но он тут — вождь, он тут душа всего,
А там орудия и армия его:
Вокруг него кишат и движутся, как тени,
Директоры, главы различных отделений,
Вице-начальники, светила разных мест,
Навыйные кресты и сотни лент и звезд;
Те в деле уж под ним, а те на изготовке,
Те перьями скрипят и пишут по диктовке,
А он, по комнате печатая свой шаг,
Проходит, не смотря на бренный склад бумаг,
С сигарою в зубах, в исканье целей важных,
Дум нечернильных полн и мыслей небумажных.
Вдруг: «Болен, — говорят, — подагрой поражен», —
И подчиненный мир в уныные погружен,
Собрались поутру в приемной, — словно ропот
Смятенных волн морских — вопросы, говор, шепот:

[1] «Нет, батюшка, нельзя».

«Что? — Как? — Не лучше ли? — Недоспанных
ночей
Последствие! — Упрям! Не слушает врачей.
Он всем необходим; сам царь его так ценит!
Что, если он... того... ну кто его заменит?»

Между 1845 и 1857

275. НА НОВЫЙ 1857-й

Полночь бьет. — Готово!
Старый год — домой!
Что-то скажет новый
Пятьдесят седьмой?

Не судите строго, —
Старый год — наш друг
Сделал хоть немного,
Да нельзя же вдруг.

Мы и то уважим,
Что он был не дик,
И спасибо скажем, —
Добрый был старик.

Не был он взволнован
Лютою войной.
В нем был коронован
Царь земли родной.

С многих лиц унылость
Давняя сошла,
Царственная милость
Падших подняла.

Кое-что сказалось
С разных уголков,
Много завязалось
Новых узелков.

В ход пошли вопросы,
А ответы им,
Кривы или косы, —
Мы их распрямим.

Добрых действий семя
Сеет добрый царь;
Кипятится время,
Что дремало встарь.

Год как пронесется —
В год-то втиснут век.
Так вперед и рвется,
Лезет человек.

Кто, измят дорогой,
На минутку стал,
Да вздремнул немного —
Глядь! — уж и отстал.

Ну — и будь в последних,
Коль догнать не хват, —
Только уж передних
Не тяни назад!

Не вводи в свет знанья
С темной стороны
Духа отрицанья,
Духа сатаны.

Человек хлопочет,
Чтоб разлился свет, —
Недоимки хочет
Сгладить прошлых лет.

Ну — и слава богу!
Нам не надо тьмы,
Тщетно бьют тревогу
Задние умы.

«Как всё стало гласно! —
Говорят они. —
Это ведь опасно —
Боже сохрани!

Тех, что мысль колышут,
Надо бы связать.
Пишут, пишут, пишут...
А зачем писать?

Стало всё научно,
К свету рвется тварь,
Мы ж благополучно
Шли на ощупь встарь.

Тьма и впредь спасла бы
Нас от разных бед.
Мы же зреньем слабы, —
Нам и вреден свет».

Но друзья ль тут Руси
С гласностью в борьбе?
Нет — ведь это гуси
На уме себе!

В маске патриотов
Мраколюбцы тут
Из своих расчетов
Голос подают.

Недруг просвещенья
Вопреки добру
Жаждет воспрещенья
Слову и перу;

В умственном движенье,
В правде честных слов —
«Тайное броженье»
Видеть он готов.

Где нечисто дело,
Там противен свет,
Страшно всё, что смело
Говорит поэт.

Там, где руки емки
В гуще барыша,
Норовит в потемки
Темная душа,

Жмется, лицемерит,
Вопиет к богам...
Только Русь не верит
Этим господам.

Время полюбило
Правду наголо.
Правде ж дай, чтоб было
Всё вокруг светло!

Действуй, правду множа!
Будь хоть чином мал,
Да умом вельможа,
Сердцем генерал!

Бедствий чрезвычайных
Не сули нам, гусь!
Нет здесь ковов тайных, —
Не стращай же Русь!

Русь идет не труся
К свету через мглу.
Видно, голос гуся —
Не указ орлу.

Русь и в ус не дует,
Полная надежд,
Что восторжествует
Над судом невежд, —

Что венок лавровый
В стычке с этой тьмой
Принесет ей новый
Пятьдесят седьмой, —

И не одолеют
Чуждых стран мечи
Царства, где светлеют
Истины лучи, —

И разумной славы
Проблеснет заря
Нам из-под державы
Светлого царя.

Декабрь 1856 или январь 1857

276. Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

Была пора — сияли храмы,
Под небо шли ряды колонн,
Благоухали фимиамы,
Венчался славой Парфенон, —
И всё, что в мире мысль проникла,
Что ум питало, сердце жгло,
В златом отечестве Перикла
На почве греческой цвело;
И быт богов, и быт народа
Встречались там один в другом,
И человечилась природа,
Обожествленная кругом.
Прошли века — умолк оракул,
Богов низринул человек —
И над могилой их оплакал
Свою свободу новый грек.

Ничто судеб не сдержит хода,
Но не погибла жизнь народа,
Который столько рьяных сил
В стремленьях духа проявил;
Под охранительною сенью
Сплетенных славою венков
Та жизнь широкою ступенью
Осталась в лестнице веков,
Осталась в мраморе, в обломках,
В скрижалях, в буквах вековых
И отразилась на потомках
В изящных образах своих...

И там, где льются наши слезы
О падших греческих богах,
Цветут аттические розы
Порой на северных снегах, —
И жизнью той, поэт-художник,
В тебе усилен сердца бой,
И вещей Пифии треножник
Огнем обхвачен под тобой.

27 января 1857

277. ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Посв⟨ящено⟩ И. К. Гебгардту

«Вход воспрещается» — как часто надпись эту
Встречаешь на вратах, где хочешь ты войти,
Где входят многие, тебе ж, посмотришь, нету
Свободного пути!

Там — кабинет чудес, там — редкостей палата!
Хотел бы посмотреть! Туда навезено
Диковин множество и мрамора, и злата, —
Пойдешь — воспрещено!

Там, смотришь, голова! Прекрасной мысли, знанья
Ты пробуешь ввести в нее отрадный свет —
Напрасно! Тут на лбу, как на фронтоне зданья,
Отметка: «Впуска нет».

А там — храм счастия, кругом толпы народа,
Иные входят внутрь, ты хочешь проскользнуть,
Но стража грозная, стоящая у входа,
Твой заграждает путь.

Ты просишь, кланяясь учтиво и покорно,
Ногою шаркая, подошвою скользя:
«Позвольте!» — А тебе настойчиво, упорно
Ответствуют: «Нельзя».

Нельзя! — И мне был дан ответ того же рода.
Нельзя! — И, сближены нам общею судьбой,
О Гебгардт, помнишь ли, тогда в волнах народа
Мы встретились с тобой?

«Да почему ж нельзя? Проходят же другие!» —
Спросили мы тогда, а нам гремел ответ:
«Проходят, может быть, да это — не такие, —
Для вас тут места нет.

Вы — без протекции. Вы что? Народ небесный!
Ни знатных, ни больших рука вам не далась.
Вот если было бы хоть барыни известной
Ходатайство об вас!

Просили бы о вас пригожие сестрицы,
Колдунья-бабушка иль полновесный брат!
А то вы налегке летите, словно птицы, —
Назад, дружки, назад!»

«Что делать? Отойдем! Нам не добиться счастья, —
Мы грустно молвили, — златой его венец
Нам, верно, не к лицу. Поищем же участья
У ангельских сердец!»

Идем. Вот женщина: открытая улыбка,
Открытое лицо, открытый, милый взгляд!
Знать, сердце таково ж... Приблизились — ошибка!
И тут ступай назад!

«Вход воспрещается», задернута завеса,
Дверь сердца заперта, несчастный не войдет,
А между тем туда ж какой-нибудь повеса
Торжественно идет.

Полвека ты дрожал и ползал перед милой,
Колени перетер, чтоб заслужить венец,
Молчал, дышать не смел, и вот — с последней силой
Собрался наконец.

«Позвольте, — говоришь, — воздайте мне за службу!
Мой близок юбилей». — «Не требуй! Не проси! —
Ответят. — Нет любви, а вот — примите дружбу!»
— «Как? Дружбу? — Нет, merci!

Не надо, — скажешь ты, — на этот счет безбедно
И так я жить могу в прохладной тишине,
Холодных блюд не ем, боюсь простуды, — вредно
Мороженое мне».

Дивишься иногда, как в самый миг рожденья
Нам был дозволен вход на этот белый свет
И как не прогремел нам голос отверженья,
Что нам тут места нет.

Один еще открыт нам путь — и нас уважат,
Я знаю, как придет святая череда.
«Не воспрещается, — нам у кладбища скажут, —
Пожалуйте сюда!»

На дрогах нас везут, широкую дорогу
Мы видим наконец и едем без труда.
Вот тут и ляжем мы, близ церкви, слава богу! ..
Но нет — и тут беда!

И мертвым нам кричат: «Куда вы? Тут ограда;
Здесь место мертвецам большим отведено,
Вам дальше есть места четвертого разряда,
А тут — воспрещено!»

Февраль 1857

278. 7 АПРЕЛЯ 1857

Посвящено
Елене Андреевне Штакеншнейдер

Христос воскрес!
Воскресни ж всё — и мысль и чувство!
Воспрянь, наука! Встань, искусство!
Возобновись, талант словес!
Христос воскрес!

Возобновись!
Воскресни, Русь, в обнове силы!
Проснись, восстань из недр могилы!
Возникни, свет! Дел славных высь,
Возобновись!

Возникни, свет!
Христос во гробе был трехдневен;
Ты ж, Русь... Творец к тебе был гневен;
Была мертва ты тридцать лет,
Возникни, свет!

Была мертва!
На высоте, обрызган кровью,
Стоял твой крест. Еще любовью
Дышала ты, но голова
Была мертва.

Дышала ты, —
И враг пришел, и в бранном зное
Он между ребр твоих стальное
Вонзил копье, но с высоты
Дышала ты.

Вонзил копье —
И се: из ребр твоих, родная,
Изыде кровь с водой Дуная,
И враг ушел, в тебя свое
Вонзив копье.

И враг ушел!
Воскресла б ты, но, козни сея,
Тебя жмет нечисть фарисея,
Чтоб новый день твой не взошел,
А враг ушел.

Твой новый день
Взойдет — и, зря конец мытарствам,
Ты станешь новым, дивным царством.
Идет заря. Уж сдвинул тень
Твой новый день.

Идет заря.
Не стало тяжкого молчанья,
Кипят благие начинанья,
И на тебя с чела царя
Идет заря.

И се — тебя
Не как Иуда я целую,
Но как разбойник одесную;
«Христос воскрес», — кричу, любя,
О Русь, тебя.

Христос воскрес!
И ты, земля моя, воскресни,
Гремите, лиры! Пойтесь, песни!
Отчизна, встань на клик небес —
Христос воскрес!

7 апреля 1857

279

Воплощенное веселье,
Радость в образе живом,
Упоительное зелье,

Жизнь в отливе огневом,
Кипяток души игривой,
Искры мыслей в море грез,
Резвый блеск слезы шутливой
И не в шутку смех до слез,
Легкой песни вольный голос,
Ум с мечтами заодно,
Дума с хмелем, цвет, и колос,
И коронка, и зерно...

30 апреля 1857

280. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Между тем как на чужбине
Лучшим солнцем ты согрет,
В холодах проводим ныне
Мы одно из наших лет
У Невы широководной
В атмосфере непогодной,
И отсюда наш привет
Шлем тебе, наш превосходный,
Драгоценнейший поэт!

Говорят, что ты оставил
Баден-Баден, и к местам
Приальпийским путь направил,
И теперь витаешь там.
Воздух сладостный Женевы,
Как дыханье юной девы,
Да влечет тебя к мечтам
И внушит тебе напевы
Новых песен, милых нам!

Коль поладит с русской кровью
Воздух тот — ему же честь!
Пусть он даст прилив здоровью
Твоему!.. Ты ж дай нам весть:
Как живешь вдали да вчуже?
Мы ж поем всё песню ту же:
Где ж нам новую завесть?
Прозябаем в летней стуже;
А ведь всё ж отрада есть.

В шубах ездим мы на дачу,
Под приветный кров спеша
К тем, которых я означу
Здесь начальной буквой Ш...
Догадайся, — к тем знакомым,
Что живут уютным домом,
Где сидишь, легко дыша,
И радушным их приемом
Согревается душа,

К согреванью ж плоти грешной
Есть камин и чай гостям;
И вчера у них утешно
Побеседовалось нам;
Был Щербина, Сонцов; снова
О тебе метали слово —
Знаешь — с бранью пополам;
Вспоминали Соколова
И фон Яковлева там.

И стихи твои читали,
И казалось мне: в тиши
В них оттенки трепетали
Подвижной твоей души,
И — не надобно портрета, —
Личность светлая поэта
Очерталась: поспеши
Дать еще два-три куплета —
И подарок доверши.

31 августа 1857

281. ЕЛКА

24 ДЕКАБРЯ 1857

Посвящаю Мире Самойловне

Елка, дикую красу
Схоронив глубоко,
Глухо выросла в лесу,
От людей далеко.

Ствол под жесткою корой,
Зелень — всё иголки,
И смола слезой, слезой
Каплет с бедной елки.

Не растет под ней цветок,
Ягодка не спеет;
Разве осенью грибок,
Мхом прикрыт, краснеет.

Близок праздник рождества, —
Елку подрубили
И в одежду торжества
Пышно нарядили.

Вот на елке — свечек ряд.
Леденец крученый,
В гроздьях сочный виноград,
Пряник золоченый.

Вдруг плодами поросли
Сумрачные ветки,
Елку в комнату внесли —
Веселитесь, детки!

Для детей трудится мать,
Им игрушки прочит,
Деревцо для них убрать —
День и ночь хлопочет.

И *она* — мой соловей —
Втайне, втихомолку,
В радость пташечке своей
Украшает елку.

И лилейная рука
Вьется, поднимаясь
И упрямого сучка
Трепетно касаясь.

Елка! Елка! Торжествуй!
Но сдержи колючки:

Уязвит твой поцелуй
Бархат милой ручки.

Ах, зачем в еловый куст
Спрятать не могу я
Воспаленных, жадных уст
С негой поцелуя!

Если б жар я уст моих
В этой елке спрятал,
Я бы к милой ручке их
Крепко припечатал!

Жар? — О нет! Настал мороз:
Поцелуй мой колкой
Отозвался б вместо роз
Той же бедной елкой.

Нет, на жар я не горазд.
Для заветной цели
Пусть мне милая подаст
Ветку с этой ели!

Буду я ее беречь,
Страждущий проказник,
До моих последних свеч,
На последний праздник.

К новоселью я иду,
Божий новосельник:
На торжественном ходу
Нужен будет ельник.

24 декабря 1857

282. ЗАЧЕМ

Посв⟨ящено⟩
Антонине Христиановне Лавровой

Мне ваш совет невыразимо дорог, —
И хоть тяжел он сердцу моему,
Но должен я, скрепясь, без отговорок
Его принять и следовать ему.

Согласен я: чтоб тщетно не терзаться,
Спокойно жить, бесплодно не страдать —
Не надобно прекрасным увлекаться,
Когда нельзя прекрасным обладать.

Зачем смотреть с восторженной любовью
На лилию чужого цветника,
Где от нее не суждено судьбою
Мне оторвать ни одного цветка?

И для чего пленяться мне картиной,
Когда она — чужая, не моя,
Иль трепетать от песни соловьиной,
Где я поймать не в силах соловья?

Зачем зарей я любоваться стану,
Когда она сияет надо мной, —
И знаю я, что снизу не достану
Ее лучей завистливой рукой?

Зачем мечтам напрасным предаваться?
Не лучше ли рассудку место дать?
О, да! к чему прекрасным увлекаться,
Когда — увы! — нельзя им обладать?

1857 (?)

283. МЫСЛЬ

Лампадным огнем своим жизнь возбуждая,
Сгоняя с земли всеобъемлющий мрак,
Пошла было по свету мысль молодая —
Глядь! — сверху нависнул уж старый кулак.
Кулак, соблюдая свой грозный обычай,
«Куда ты, — кричит, — не со мной ли в борьбу?
Ты знаешь, я этой страны городничий;
Негодная, прочь! А не то — пришибу.
Я сильный крушитель, всех дел я вершитель,
Зачем ты с огнем? Отвечай! Сокрушу!
Идешь поджигать?.. Но — всемирный тушитель —
Я с этим огнем и тебя потушу».

НОВЫЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ

В. БЕНЕДИКТОВА.

—

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Придв. книгопр. А. Смирдина (сына) и К°.
1857.

— «Помилуй! — ответствует мысль молодая. —
К чему мне поджогами смертных мутить?
Где правишь ты делом, в потемках блуждая, —
Я только хотела тебе посветить.
Подумай — могу ль я бороться с тобою?
Ты плотно так свернут, а я, между тем
Как ты сотворен к зуболомному бою,
Воздушна, эфирна, бесплотна совсем.
С живым огоньком обтекаю я землю,
И мною нередко утешен бедняк.
Порой — виновата — я падших подъемлю,
Которых не ты ль опрокинул, кулак?
Порою сама я теряю дорогу
И в дичь углубляюсь на тысячи верст,
Но мне к отысканью пути на подмогу
Не выправлен твой указательный перст.
Одетая в слово, в приличные звуки,
Я — мирное чадо искусства, науки,
Я — признак единственный лучших людей,
Я — божьего храма святая молитва.
Одна мне на свете дозволена битва
Со встречными мыслями в царстве идей.
И что же? — Где в стычке кулак с кулаками,
Там кровь человечья струится реками,
Где ж мысль за священную к правде любовь
Разумно с противницей-мыслию бьется, —
Из ран наносимых там истина льется —
Один из чистейших небесных даров.

⟨1858⟩

284. ВСЕ ЛЮДИ

Все — люди, люди, человеки!
А между тем и в нашем веке,
В широкой сфере естества,
Иной жилец земли пространной
Подчас является нам странной
Ходячей массой вещества.
Проводишь в наблюденьях годы
И всё не знаешь, как расчесть:
К которому из царств природы
Такого барина отнесть?

Тут есть и минерала плотность,
И есть растительность — в чинах,
И в разных действиях — животность,
И человечность — в галунах.
Не видно в нем самосознанья,
Он только внешность сознает.
С сознаньем чина, места, званья
Он смотрит, ходит, ест и пьет.
Слова он внятно произносит,
А в слове мысли нет живой,
И над плечами что-то носит,
Что называют головой,
И даже врач его клянется
В том честью знанья своего,
Что нечто вроде сердца бьется
Меж блях подгрудных у него,
Что всё в нем с человеком схоже...
А мы, друзья мои, вздохнем
И грустно молвим: «Боже! боже!
Как мало человека в нем!»

⟨*1858*⟩

285. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Люди — дети, право, дети.
Что ни делайте, всегда
Им всего милей на свете
Вкус запретного плода.
Человек — всегда ребенок,
Говоришь ему: «Не тронь!» —
Из хранительных пеленок
Всё он тянется в огонь.
Иногда с ним просто мука:
«Дай мне! Дай!» — «Нельзя. Тут бука».
— «Цацу дай!» — «Нельзя никак».
Рвется, плачет он. Досада!
«На, бесенок! На!» — «Не надо».
— «Да ведь ты просил?» — «Я — так...»

⟨*1858*⟩

286. ЧТО Ж ДЕЛАТЬ?

Что ж делать? — Судьба приказала
Им вечно друг друга терзать.
Их брачная доля связала,
Узла их нельзя развязать.

Сожительство тяжко обоим,
Где ж брака высокая цель?
А мучить друг друга легко им:
Всё общее — дом и постель.

И всюду они неразлучны,
Друг на друга злобно глядят,
Взаимно несносно-докучны,
Ревниво друг друга следят.

Им страшно, чтоб, рано иль поздно
От «вместе» успев ускользнуть,
Минуты блаженного «розно»
Из них не вкусил кто-нибудь.

Стараясь во всем поперечить
Друг другу и въявь и тайком,
Стремятся свой ад обеспечить,
Несчастье сберечь целиком.

И, скрежетом брани, проклятья
Наполнив и ночи и дни,
Печально смыкают объятья
И верны друг другу они.

Приходит уж старость и древность,
Уж искры угасли в крови,
А всё еще глупая ревность
Грызет их в насмешку любви.

Посмертного злого недуга
В томленье, средь мук без числа,
Две жизни изводят друг друга...
А брака законность цела.

⟨1858⟩

287. НАОБОРОТ

Набросать мне недавно случилось
Повесть, что ли, в десяток страниц,
Где немало на сцену явилось
Мною вольно придуманных лиц.
Много качеств нелестных я роздал
Этим лицам и тем наконец
Был доволен, что сам я их создал
И что, как я ни плох, но — творец, —
Что я в очерках вывел фигуры,
Отразив в них подобье людей,
Наугад, наизусть, без натуры,
Артистической силой моей.
Что же вышло? — Сказали иные,
Что обиды я им наношу,
Что пишу с них портреты живые,
С лиц их копии только пишу.
Нет, голубчики! В деле нечистом
Вы ж обиду наносите мне,
Называя меня копиистом,
Где я был сочинитель вполне.
Сами будучи гадки и низки
В непригожих натурах своих,
Вы собой мне подсунули списки
С самородных фантазий моих.
Наобум где рисунок творится —
Виновата ль художника блажь,
Что природа сама тут ложится
Под летучий его карандаш?

⟨*1858*⟩

288. НАД ГРОБОМ О. И. СЕНКОВСКОГО

И он угас. Он блеском парадокса
Нас поражал, страдая и шутя, —
И кто порой невольно не увлекся
Его статьей, как лакомством дитя?

Не дети ль мы! .. Оправив прибауткой
Живую речь, с игрушкой и с лозой,
Он действовал порой научной шуткой,
Порою — в смех завернутой слезой.

И средь трудов болезненных и шуток,
В которых жизнь писателя текла,
Смерть, уловив удобный промежуток,
Свой парадокс над ним произнесла.

К числу потерь еще одну причисли,
Убогий свет! Ликуй, земная тьма!
Еще ушел один служитель мысли,
Друг знания, с светильником ума.

Ушел, умолк — навек, без оговорок.
Прочтем слова последних тех «Листков».
Что он писал! .. Ведь для живущих дорог
И свят завет передмогильных слов.

Он там сказал: «Всё приводите в ясность!
Не бойтесь! Все иди на общий суд!
Нас оградит общественная гласность
От тайных язв и ядовитых смут».

Он осуждал тот взгляд тупой и узкой,
Что видит зло в лучах правдивых дум;
Невежеству и мудрости французской
Он воспрещал давить наш русский ум.

Он уяснял голов тех закоснелость,
Которым сплошь — под навык старых лет —
Родной наш ум является как смелость,
Как дерзкий крик, идущий под запрет.

Он говорил: «Друзья! Не заглушайте
Благих семян! Не тьмите нам зарю,
И нам читать и мыслить не мешайте
На пользу всем, в служение царю!»

Живущий брат! Пошли же на прощанье
Отшедшему, что между нами смолк,
Привет любви, и помни: завещанье
Умершего есть для живущих долг.

Не преграждай благих стремлений века
И светлых искр мышленья не туши!
Дай нам понять значенье человека!
Дай видеть нам бессмертие души!

Март 1858

289. ИЗ. Л. ГР⟨ИНБЕР⟩Г

С какой-то невольною грустью, в тиши,
Возводится взор мой уныло
На всё, что исполнено сердца, души
И так привлекательно, мило,
На всё, что, вращаясь в сем мире пустом
Под ясной небес благодатью,
Отмечено в обществе божьим перстом —
Живого таланта печатью,
На всё, что рождает у нас на глазах
Чистейшие слезы участья,
На всё, что под солнцем достойно всех благ,
Всех радостей, всякого счастья...
Я знаю, как редко дается в удел
Достоинству в мире награда;
Не так всё творится средь жизненных дел,
Как было бы, кажется, надо.
Два сердца созвучные порознь идут;
В разрыве — две дружные доли,
А в вечном союзе друг друга клянут
Две жертвы условной неволи.
Красивый свой венчик любовно склоня,
Как часто цветок золотистый
Готов перевиться вкруг дикого пня,
Корою одетого мшистой!
Порою он спрячется в чаще лесной
Да в сумраке там и заглохнет;
На камни вдруг выпадет дождь проливной,
А травка от жажды иссохнет.
Над грязью играет там солнечный луч,
Над зыбью болотной он блещет,
А нива зернистая градовых туч
Под грозною мглою трепещет.
Напрасна мольба и бесплодна борьба:
Бесчувственно вплоть до предела
Ведет с непонятным упрямством судьба
Свое непонятное дело.
И, трепетно вами любуясь подчас,
Все жребии высмотрев строго,
С сердечной боязнью смотрю я на вас —
И думаю, думаю много.

9 мая 1858

290. К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(ОТ СТАРИКОВ)

Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу,
Шагайте через нас!

Мы грузом наших дней недолго вас помучим;
О смерти нашей вы не станете тужить,
А жизнью мы своей тому хоть вас научим,
Что так не должно жить.

Не падайте, как мы, пороков грязных в сети!
Не мрите заживо косненьем гробовым!
И пусть вины отцов покроют наши дети
Достоинством своим!

Молитесь! Ваша жизнь да будет с мраком битва!
Пусть будет истины светильником она!
Слышней молитесь! Жизнь — единая молитва,
Которая слышна.

Молитесь же — в борьбе с гасильниками света,
В борьбе с невежеством и всяким злом земным!
Бог вам послал царя — хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!

Прямую, верную прокладывать дорогу
Вы, дети, научась блужданием отцов,
Молитесь, бодрые, живых живому богу —
Прочь золотых тельцов!

Молитесь господу — не лицемерья скукой!
Не фарисейства тьмой, не вздорным ханжеством,
Но — делом жизненным, искусством и наукой,
И правды торжеством!

И если мы порой на старине с упорством
Стоим и на ходу задерживаем вас
Своим болезненным, тупым противоборством, —
Шагайте через нас!

Май 1858

„Молитесь, бодрые, живыхъ живому Богу —
Не богу мертвецовъ!"

Въ Евангеліи св. Марка главѣ XII, ст. 27. сказано: „Не есть Богъ мертвыхъ, но Богъ живыхъ." Авторъ позволилъ себѣ написать вышеприведенные два стиха на основаніи этого священнаго текста. Впрочемъ, если бы послѣдній стихъ: „не богу мертвецовъ" не могъ быть напечатанъ безъ разрѣшенія духовной цензуры, то не обращаясь къ сей послѣдней, авторъ полагалъ бы замѣнить его слѣдующимъ:

„Прочь золотыхъ тельцовъ!"

„Молитесь Господу не аскетизма скукой,
Не фарисейства тьмой, не бабьимъ ханжествомъ!"

Вмѣсто слова „аскетизма" можно поставить: „лицемѣрья".

291. ЛЮЦЕРН

Дыша безмятежно и мерно,
Храня светло-зеркальный вид,
Под сению башен Люцерна
Зеленое озеро спит.
Блестят его струек узоры,
Светла его мелкая рябь,
И нежит и радует взоры
Его изумрудная хлябь,
И складки так тонко рядами
Бегут по утоку воды,
Как будто бы ангел перстами
Ведет этих складок ряды;
И, крытые дымкой тумана,
При озере этом стоят
Два крепких земных великана,
То — Риги-гора и Пилат.
Меж ними в пучину эфира,
В его лучезарную высь
Громады альпийского мира
Могучей семьей вознеслись.
Та — острой подобная крыше,
Та — словно с аркадами мост.
Идут они выше и выше,
Как будто на спор вперерост,
И гнутых и ломаных линий
Волшебный, картинный нарез
Подходит в дали темно-синей
Под купол бездонных небес.
Чем дальше, тем больше означен
Их очерк, их дымчатый вид,
Чем дальше, тем больше прозрачен
И с небом загадочно слит.
Иные, средь гордого взбега
Сияя денницы в лучах,
Покровы из вечного снега
Несут на широких плечах;
И снег так легко разметался,
Так бережно лег на хребты,
Как будто измять их боялся
Святых изваяний черты.
А те — облаками пушатся
И дымно парят в вышине,

Как будто кадильно курятся
В безмолвной молитве оне.
И с ними молюсь я умильно,
И с ними тону в небесах,
И крупные слезы обильно
В моих накипают глазах.
Для чувства ищу выражений
И слов. . . Но одетый в лучи
Природы невидимый гений
Мне шепчет: «Не порти! молчи!»

Лето 1858

292. ЧЕРТОВ МОСТ

Страшно! Небо мглой объято,
И скала скалу гнетет,
Меж скалами круто сжата,
Хлещет пена водоската,
Прыщет, воет и ревет.
Ветер рвет в лоскутья ризу,
Что туман горам соткал,
Я леплюсь по их карнизу,
Тучи сверху, тучи снизу,
Сверху, снизу — ребра скал.
Муза! Дай мне голос барда —
Голос в божью высоту!
Я без крыл здесь на лету, —
Я — на высях Сен-Готарда,
Я — на Чертовом мосту!

Лето 1858

293. ГОРНАЯ ДОРОГА

Что за дым клубящийся тут бродит
Ощупью по каменным твердыням?
Где тот горн, откуда он исходит, —
В дольней мгле иль в небе темно-синем?

Чем покрыты страшных стен раскаты
Там — вдали? Какими пеленами?
Словно пух лебяжий, неизмятый
Пышно лег над этими стенами.

Объясните, что всё это значит?
По уступам, с бешеною прытью,
Серебро расплавленное скачет,
Тянется тесьмою или нитью,
Прыщет, рвется, прячется — и снова,
Раздвоясь и растроясь, готово
Прядать, падать, зарываться в глыбах
И сверкать в изломах и в изгибах.

Что за лента между масс гранита
Снизу вверх и сверху вниз извита
И, вращаясь винтовым извивом,
Стелется отлого по обрывам?

Нет! Не грозных цитаделей крепи
Предо мною, это — Альпов цепи.
То не стен, не башен ряд зубчатых,
Это — скалы в их венцах косматых.

То не рвы, а дикие ущелья,
Рытвины, овраги, подземелья,
Где нет входа для лучей денницы.
То пещеры, гроты — не бойницы.

То не дым мне видится летучий, —
То клубятся дымчатые тучи —
Облака, что идут через горы,
И как будто ищут в них опоры,
И, прижавшись к вековым утесам,
Лепятся по скатам и откосам.

То не пух — постелей наших нега, —
Это — слой нетоптаного снега,
Целую там вечность он не тает;
Вскользь по нем луч солнца пролетает,
Лишь себя прохладой освежая
И теплом тот снег не обижая.
Не сребро здесь бьет через громады,
Рассыпаясь, — это — водопады.

То не лента вьется так отлого
По стремнинам грозным, а дорога.

Лето 1858

294. НОЧЬЮ

Ночь темна и тепла,
Благодатная мгла
На долины легла.

Горы в дымке ночной
Восстают предо мной
Необъятной стеной.

Вышина! Тишина!
Люди... Ночь их полна
Обаянием сна.

Но где шум их заглох, —
Принимают мой вздох
И природа и бог.

Лето 1858

295. ПОСЛЕ

То на горе, то в долине,
Часом на палубе в море —
Весело мне на чужбине,
Любо гулять на просторе.
После ж веселья чужбины,
Радостей суши и моря —
Дайте родной мне кручины!
Дайте родимого горя!

Лето 1858 (?)

296. НИЧЕГО

Братцы! Беда! Вот сближается с нашим фрегатом,
Высясь горою над ним, роковая волна,
Круто свернулась и страшным, тяжелым накатом,
Мутно-зеленая, с ревом подходит она;
Кажется, так и накроет, сомнет и проглотит,
Мир наш плавучий, как щепку, вверх дном поворотит...
Грянула... Хвать через борт!.. Миг удара приспел...
В скрепах, в основах своих весь фрегат заскрипел,

Вздрогнул, шатнулся, хлестнула по палубной крыше
Пена, а брызги кругом так и душат его...
Замер... Кончается... Люди! Безмолвствуйте! Тише!
Тс! Он подъемлется грудью всё выше, всё выше —
И на хребет той волны наступил... Ничего!

Лето 1858 (?)

297. УТРОМ

Солнечный свет как сквозь сито просеян,
Сыплется мелко сквозь частые ветки,
И на тропинку мне падают с неба
Светлые сетки и темные сетки, —
Словно опутан, иду я. Прохладно.
В чаще сокрытая птичка щебечет,
И ручеек через камешки змейкой
Вьется и шепотно что-то лепечет.
Как хорошо тут! Отрадная свежесть
Льется и в грудь мне и, кажется, в душу...
Так и боюсь я, что грешным дыханьем
Чистого утра святыню нарушу.

Лето 1858 (?)

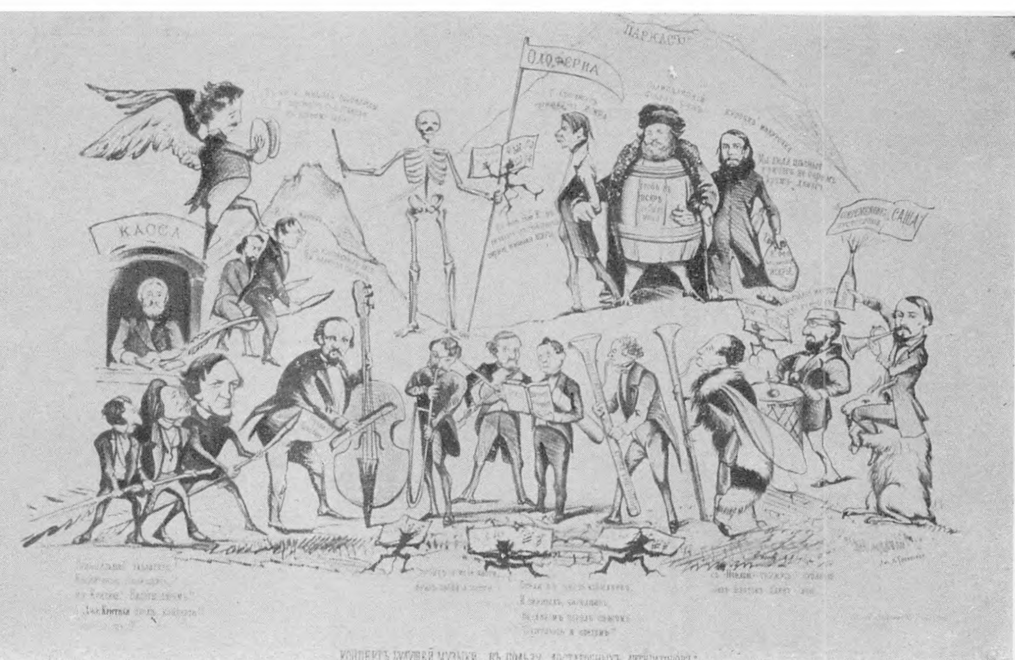
298. И. А. ГОНЧАРОВУ

Недавно, странник кругосветный,
Ты много, много мне чудес
Представил в грамотке приветной
Из-под тропических небес.
Всё отразилось под размахом
Разумно-ловкого пера:
Со всею прелестью и страхом
Блестящих волн морских игра,
Все переломы, перегибы,
И краска пышных облаков,
И птичий взлет летучей рыбы,
И быт пролетный моряков,
Востока пурпур и заката
И звезд брильянтовая пыль,

НА НОВЫЙ 1859 ГОДЪ.

О Боже! Укрѣпи насъ въ силахъ!
Разсѣй намъ сумракъ думъ унылыхъ!
Да Русь достойно проведетъ
Ей предстоящій новый годъ!
На нашу новую дорогу
Лучь новой милости ты брось!
Дай намъ идти хоть понемногу,
Не пятясь къ заднему порогу
И не шатаясь вкривь и вкось!
Дай Богъ, чтобъ правда раздвигала
Своихъ владѣній рубежи,—
Чтобъ смѣлость правды не пугала
Насъ точно также, какъ—бывало—
Насъ не пугала смѣлость лжи!
Введи насъ, Боже, въ свѣтъ сознанья,
Что честной рѣчи прямота
Надежнѣй мертваго молчанья
Коварно стиснутаго рта!
Дай намъ сознать, что безопасно
Лишь тамъ, гдѣ все открыто, гласно,
И что прямой, сердечный крикъ,
И даже откровенный ропотъ—
Всегда вѣрнѣй, чѣмъ тайный шопотъ
Иль злобно-сдержанный языкъ!—
Въ борьбѣ съ живыми мертвецами
Дай, Боже, силу намъ стоять
За жизнь, за свѣтъ и благодать!
Всели духовную въ насъ крѣпость,
Пошли намъ мощь и дѣлъ и словъ,
И свѣтомъ разума нелѣпость
Изъ темныхъ изжени головъ!

В. Бенедиктовъ.



КОНЦЕРТЪ БУДУЩЕЙ МУЗЫКИ „ВЪ ПОЛЬЗУ ДОСТАТОЧНЫХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ".

Живое веянье пассата
И всемертвящий знойный штиль.
За эти очерки в отплату
Хотел бы я, свой кончив путь
И возвратясь теперь, собрату
Представить также что-нибудь.
Оставив невскую столицу,
Я тоже съездил за границу,
Но, тронув море лишь слегка,
Я, как медведь гиперборейской,
Чужой средь сферы европейской,
На всё смотрел издалека.
Я видел старые громады
Альпийских гор во весь их рост,
В странах заоблачных каскады,
И Сен-Готард, и Чертов мост.
Кому же новость — эти горы?
Я видел их картинный строй,
Уступы, выступы, упоры;
Чрез целый горизонт порой,
Игрой всех красок теша взоры,
Тянулись в блеске их узоры —
Казалось, в небе пир горой...
Но что сказать о них? Спокойны
Подъяты в ужас высоты;
В венце снегов, они достойны
Благоговейной немоты.
К сравненьям мысли простираю...
Но что мне взять в подобье им
Пред тем, кто, бурями носим,
Ходил в морях от края к краю?
Я соблазняюсь и дерзаю
Прибегнуть к образам морским:
Гора с горой в размерах споря
И снежной пенясь белизной,
Вдали являлась предо мной
В твердыню сжавшегося моря
Окаменелою волной,
Как будто, ярой мощи полны,
Всплеснулись к небу эти волны,
И, поглощая прах и пыль,
Сквозь тучи хлынув в высь лазури,
Оцепенели чада бури,
И вдруг сковал их вечный штиль,

И, не успев упасть, нависли
В пространстве, — над скалой скала
И над горой гора, как мысли,
Как тени божьего чела.

30 сентября 1858

299. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ЧИНОВНИКА ЗАЕМНОГО БАНКА

Кредитом страсти изнывая,
Красавица! — у ног твоих
Горю тобой, о *кладовая*
Всех мук и радостей моих!

По *справке* видно самой верной,
Что я — едва узрел твой лик —
Вмиг красоты твоей безмерной
Я стал *присяжный ценовщик*.

Но *цифры* все мои ничтожны,
Все *счеты* рушиться должны,
По *всем статьям итоги* ложны,
Я вижу: нет тебе цены!

Сам контролер моих страданий,
Конечно б, всех не сосчитал!
Моих и мыслей и желаний
В тебя я *внес весь капитал*.

Я внес — и не брал *документов*
На сей внесенный мною *вклад*.
И ждал, чтоб мне взамен *процентов*
Тобой был кинут нежный взгляд.

Бог дал мне домик. Чуждый миру,
Сей домик — сердце; им я жил,
Я этот дом, любви квартиру,
В тебе, как *в банке*, заложил.

Чертог не каменный, конечно!
(Таких и нету у меня.)
Он пред тобой стоял беспечно,
Не застрахован от огня.

И обгорел, но я представил
Тебе и пепел — всё, что мог;
Молю: *помимо* строгих правил
Прими убогий сей *залог*!

Прими — и действуй без прижимки:
Арест, коль хочешь, налагай,
Лишь бедный дом за *недоимки*
В *публичный торг не назначай!*

Да и к чему! Никто не купит,
Ты за собой его упрочь,
Все *льготы* дай! Чуть срок наступит —
Отсрочь, рассрочь и *пересрочь!*

Одно своим я звал именье,
И было в нем не много душ:
Одна душа в моем владенье
Была, и в ней всё дичь и глушь.

Теперь и душу я и тело
Сдаю, кладу к твоим стопам.
Ты видишь, — чистое тут дело,
А вот и *опись* всем статьям.

Моя вся пашня — лист бумаги,
Мой плуг — перо, пишу — пашу,
Кропя дождем чернильной влаги,
Я пашню ту песком сушу...

На роковом смоленском поле
Моя землица, но и тут
Имею я сажень— не боле,
И ту мне после отведут.

Я весь, как *ведомость* простая,
Перед тобой развит теперь.
С натурой описи сличая,
Обревизуй и всё *проверь*!

Тебе *служить* хочу и буду
Я всем *балансом* сил моих,
Лишь выдай мне с рукою в *ссуду*
Всю *сумму* прелестей твоих!

Мы *кассу* общую устроим,
Кассиром главным будешь ты,
И мы вдвоем с тобой удвоим
Свои надежды и мечты.

Хоть будет недохваток гибель
Кой в чем, зато в любви у нас
Чрез год иль менее — уж *прибыль*,
Клянусь, окажется как раз.

И так из году в год умножим
Мы эти *прибыли* с тобой,
И вместе мы себя *заложим*
В наш *банк* последний — гробовой!

Между сентябрем 1856 и октябрем 1858

300. ПРИВЕТ СТАРОМУ 1858-му Г⟨ОДУ⟩

А! Новый! — Ну, милости просим.
Пожалуйте. — Только уж — нет —
Не вам, извините, приносим,
А старому году привет.

Характер ваш нам неизвестен,
Вы молоды слишком пока, —
А старый и добр был, и честен,
И можно почтить старика.

К чему же хитрить, лицемерить,
Заране сплетая вам лесть?
Нам трудно грядущему верить,
Мы верим тому, что уж есть.

А есть уже доброго много,
От доброго семени плод
Не худ будет с помощью бога.
Не худ был и старенький год.

По солнцу он шел, как учитель,
С блестящей кометой на лбу,
И многих был зол обличитель, —
С невежеством вел он борьбу.

И мир был во многом утешен
И в прозе, и в звуке стиха,
А если в ином был он грешен,
Так где же и кто ж без греха?

Да! В медные головы, в груди
Стучит девятнадцатый век.
Внизу начинаются люди,
И есть наверху Человек.

Его от души поздравляем...
Не нужно его называть.
Один он — и только, мы знаем,
Один он — душа, благодать.

Один... за него все молитвы.
Им внешняя брань перешла
В святые, крестовые битвы
С домашнею гидрою зла.

Декабрь 1858

301. АВТОРУ «КАПЛИ»
(ОТВЕТ НА ПРИВЕТ)

Нет, не страшусь я гонителей гневных,
Стану пред ними я твердой скалой,
Вновь ободрен, укреплен похвалой,
Слышимой мною из уст псалмопевных,
Льющейся целым потоком огня
С арфы Давидовой вдруг на меня.

Буду ли ранен с противными в споре?
Язв к исцеленью мне подал елей
Тот, кто в таинственной «капле» своей,
Капле единой, глубокой, как море,
С дивным наитьем божественных сил
Вечные тайны небес отразил.

И, открывая нам неба картины,
Брызнул нам в душу любви кипятком,

Матери-девы чистейшим млеком,
Кровью Христовой, слезой Магдалины,
Словом, которым, подвигнув уста,
Спасся разбойник на древе креста.

Что наша слава? Во мраке забвенья
Сгибнет, истлеет наш бренный венец,
Ты ж провещал нам, библейский певец,
Слово бессмертья, глагол откровенья,
Слово, под коим негорько страдать!
«Тот не умрет, в ком жива благодать!»

1858

302. БЕДНЯК

О господи! Милостив буди!
Лишенья меня изъедают.
Ведь есть же блаженные люди —
В тюрьму за долги попадают.
Те люди, избавясь пристойно
От горькой, несносной свободы,
Под кровом тюремным спокойно
Сидят себе целые годы.
Даются ж им милости неба!
Их кормят готовою пищей,
А я-то, несчастный, без хлеба
Скитаюсь — отъявленный нищий!
О всем, что там тленно и ложно,
Вдали от людских приключений
Им там философствовать можно
Без всяких земных развлечений.
Пошел бы большими шагами
Под сень я железных затворов,
Да как запастись мне долгами?
И где мне добыть кредиторов?
Не верят! Как сердцу ни больно,
Взаймы не возьмешь ниоткуда,
И чист остаешься невольно...
А чистым быть бедному худо.

О господи! Милостив буди!
Во всех городках и столицах
Ведь есть же счастливые люди:

Лежат безмятежно в больницах.
Конечно, не то что уж в барстве,
А всё же не алчут, не жаждут;
Иные на легком лекарстве
Живут, да не очень и страждут.
Есть пища, кровать с одеялом,
Халат и колпак есть бумажный,
Броди себе зря, с перевалом,
Да туфлями хлопай преважно!
Не знай ни труда, ни тревоги!
Ничем тебя там не заботят,
А ляжешь да вытянешь ноги —
И гроб тебе даром сколотят.
Из нищих великого круга
В больницу пошел бы я смело,
Так нет никакого недуга —
Здоровье меня одолело!
Не примут! — И вот, поневоле,
По улицам бродишь покуда...
И видишь, что в нищенской доле
Здоровым быть бедному худо.

О господи! Милостив буди!
Посмотришь — иные воруют,
Иные способные люди
Живут грабежом да пируют,
Иные в пещере, в берлоге
Гнездятся, в лес выйдут и свищут,
И в ночь на проезжей дороге
Поживы от ближнего ищут.
Найдут — и в чаду окаянства
Пошла удалая потеха,
С разгулом кровавого пьянства
И с грохотом адского смеха.
Чем век мне бродить попрошайкой
С мешком от порога к порогу,
Пошел бы я с буйною шайкой
Туда — на большую дорогу,
Пошел бы гулякой веселым
На праздник, на пир кровопийства,
Взмахнул кистенем бы тяжелым
И грянул бы песню убийства,
Дней жизненных в чет или нечет
Сыграл бы... пусть петля решает!..

Пошел бы — да сердце перечит,
Сыграл бы... да совесть мешает!
И вот — не без тайного вздоха
Сквозь слезы я вижу отсюда,
Что с сердцем несчастному плохо,
Что с совестью бедному худо.

⟨1859⟩

303. РАЗГОВОР

«Сидорыч! Здравствуй! Труди́шься? Бог помочь!
Как поживаешь?» — «Здорово, Пахомыч!
Вот, как ты видишь, живу помаленьку.
Как-то бог вашу хранит деревеньку?»
— «Плохо, кум, плохо: все наши товары —
Голод да холод, их полны амбары.
Щей нет, водицу гнилыми сетями
Ловим в котел и хлебаем лаптями.
Только гляди, чтоб и ту не раскапать
Сквозь прошлогодний изношенный лапоть.
Где ни посмотришь — тут наго, там босо,
Солнце глядит на поля наши косо,
Нету от божьего неба согревы,
Нет благодати на наши посевы.
Кум, расскажи-ка, ведь ты с господами
Ездил в неметчину, был за морями?
Там, говорят, мужички богатеют,
Косят да жнут, а не пашут, не сеют,
Царства там мелки, царьки и подавно,
Ну, а насчет прокормления — славно!
Нашему ж брату это уж больно,
Зависть берет, и поропщешь невольно.
Ох, прогневили мы бога. Поди же!
Солнышко, стало быть, к немцам-то ближе,
К ним и становится прямо, не боком,
Хлеб-то и в колос идет уж с припеком;
Вот мужичку-то и можно лениться,
Где без труда из земли всё родится,
Жатва сама где привалит к овину.
Сидорыч, так ли?» — «Да, так — вполовину.
Всяко бывает, у всех своя доля.
Есть благодать и у нашего поля.

Озимь у нас, а у них яровое —
Дело-то, впрочем, и там трудовое.
Нет, брат, и там не по щучью веленью
Жатва бывает; с проклятою ленью
Сытым не будешь, ведь люди — не птицы.
Взглянешь: клочка там нет праздной землицы —
Всё в обработке, а сбыт, как по струнке,
Верный: туда и сюда — по чугунке.
Пьянствуют меньше; оно и не диво —
Пьют они больше немецкое пиво.
Если в ином и не так мы богаты —
Сами ж, Пахомыч, мы в том виноваты.
Ну, а завидовать в милостях неба
Им не должны мы: ведь черного хлеба
Корочки там я не мог допроситься, —
Нет, да и только. А нам обходиться
Как без него — без родной своей пищи?
Небо немецкое, точно, почище,
Ну и цветочки там гуще и краше,
Время их летнее лучше, чем наше.
Что говорить! — А зима-то? Зима-то?
Снегом ли наша земля не богата?
Хватит морозец, представить ты можешь, —
Выйдешь да в дровни скотинку заложишь,
Ну и пошел, как дорожку пригладит;
Их же край теплый зимой и подгадит.
Нет ни снежинки. Глядишь, — безобразно!
Только всё сыро, дождливо и грязно.
Русской зимы не далось иноземцам.
Ты б, куманек, не завидовал немцам
И не роптал бы, когда бы увидел,
Как их зимой-то господь пообидел».

⟨1859⟩

304. ЧЕРТОВА БАШНЯ

(Легенда)

Старинного замка над Рейна водой
Остался владетелем граф молодой.
Отец его чтим был за доблесть в народе
И пал, подвизаясь в крестовом походе;
Давно умерла его добрая мать, —
И юный наследник давай пировать!

Товарищей много, чуть свистни — гуляки
Голодною стаей бегут, как собаки;
С утра до полночи, всю ночь до утра —
Развратные сборища, пьянство, игра...
Игра!.. Вдруг — несчастье... граф рвется от злости:
Несчастного режут игральные кости.

На ставке последней всё, всё до конца —
И замок, и мрамор над гробом отца!
Граф бледен, мороз пробегает по коже...
Тайком прошептал он: «Помилуй мя, боже!»
— «Эх, ну, повези мне!» — противник воззвал,
Хлоп кости на стол — и хохочет: сорвал!

Остался граф нищим. Скитайся, бедняга!
Всё лопнуло. Отняты все твои блага.
Ты всё проиграл. Чем заплатишь долги?
И слышится вопль его: «Черт! помоги!»
А черт своих дел не пускает в отсрочку,
Он тут уж: «Чего тебе?» — «Золота бочку!»

«И только? Да что тебе бочка одна?
Два раза черпнешь — доберешься до дна.
Счастливец ты, граф! Ты родился в сорочке!
Не хочешь ли каждое утро по бочке?
Изволь! Расплатиться ж ты должен со мной
За это душонкой своею дрянной...

Согласен?» — «Согласен. Твой ад мне не страшен».
— «Так слушай: в верху высочайшей из башен
Ты завтра же первую бочку повесь!
Увидишь, что мигом сосуд этот весь
Наполнится золотом высшего сорта.
Прощай же, да помни услужливость черта!»

Контракт заключен. Граф остался один
И думает: «Буду ж я вновь господин!
Да только...» И дума в нем тяжкая бродит,
И к предков портретам он робко подходит.
Святые портреты! — Из рам одного
Мать с горьким упреком глядит на него,

Как будто сказать ему хочет: «Несчастный!
Ты душу обрек свою муке ужасной!»

А он отвечает: «Родная! Спаси!
У бога прощенья ты мне испроси!»
И вдруг вдохновение мысли счастливой
Зажглось у безумца в душе боязливой.

На башне условный сосуд помещен,
Да только — открытый с обеих сторон.
Граф думает: «Дело пойдет в проволочку,
Сам черт не наполнит бездонную бочку.
Была бы лишь бочка — условье одно.
Вот бочка! Я только ей выломил дно».

И только луч утра над миром явился —
Над бочкою дождь золотой заструился,
Стучит и звенит, но проходит насквозь;
Чертовское дело не споро, хоть брось!
Однако до среднего скоро карнизу
Вся золотом башня наполнится снизу,

А там, как до верхнего краю дойдет,
Проклятым металлом и бочку нальет.
«Эй, люди! Лопаты и грабли хватайте
И адские груды сметайте, сгребайте!»
Измучились люди, а ливень сильней —
И башня всё кверху полней и полней.

Трудящихся дождь металлический ранит,
И звонко по черепам их барабанит,
И скачет по их окровавленным лбам,
И прыщет в глаза им, и бьет по зубам,
Те в золоте вязнут, его разметая,
И давит, и душит их смерть золотая.

И, видя успех дела чертова, граф
«Родная, спаси!» — повторил, зарыдав,
Часовня откликнулась утренним звоном,
И рухнулась башня со скрежетом, стоном
И с визгом бесовским, — и был потрясен
Весь замок, а граф вразумлен и спасен.

⟨*1859*⟩

305. ОТВЕТ

Греза ль беспокойная
Жжет меня во сне?
Юга дева знойная
Видится всё мне.
«Брось, — мне говорит она, —
Этот вздорный свет!
В нем тобой испытано
Мало ль разных бед?
Здесь — дела неправые,
Воля — не своя,
Женщины лукавые,
Ложные друзья.
Где бы ты ни кинулся —
Давка, теснота,
Ты вперед бы двинулся —
Заняты места.
Всякий пробавляется
У своей межи.
Небо-то является
Чем для вас? Скажи!
Серой, грязной крышкою,
Старым потолком!
Край ваш лишь наслышкою
С солнышком знаком.
Всюду лица бледные,
Каждый нездоров,
Всюду — топи вредные,
Климат так суров!
Здесь по году целому
Кстати бы храпеть
Лишь медведю белому —
Не поэту петь!
Здесь лишь каркать ворону
Или лаять псу!
Я тебя в ту сторону
К нам перенесу.
В блеске упоительном
Золотого дня
В том краю пленительном
Дом есть у меня.
Зелени фестонами
Перевит карниз,

Дремлют под балконами
Лавр и кипарис;
Ароматы носятся,
Всё озарено,
Розы так и просятся
В каждое окно;
Персик там румянится,
Рдеет виноград
И далеко тянется
Чудный, чудный сад.
Горный кряж там режется
Между облаков
И над морем нежится
Бархат берегов.
Там, как птичка с птичкою,
Могут тешить свет
Звонкой перекличкою
Эхо и поэт.
Песни строчку новую
Чуть лишь он начнет —
Там оно готовую
Рифму подает.
Мало ль, — говорит она, —
Книг про этот край
Писано и читано?
Едем! Это — рай!»

«Нет! — Хоть беспрестанно я
Здесь во льду, в снегу —
Нет, моя желанная,
Право, не могу.
Пусть края там чудные,
Райские края,
Но края безлюдные!
Там встоскуюсь я.
Люди... удивительно!
Как уехать вдаль?
С ними жить мучительно,
А расстаться — жаль.
Нраву-то я странного:
Солон мне иной,
А ведь окаянного
Любишь, — ведь родной!

Пав с Адама внуками
В смуте бытия,
С ними вместе муками
Упитался я, —
До боренья страшного
С ними доходил,
Только рукопашного
Боя не любил:
Полюбовно ссорился
(Ссора — не вражда),
Славился, позорился,
Плакал иногда,
С ними дни веселые
Иногда знавал,
Времена тяжелые
С ними отживал.
И теперь, отечества
Видя благодать,
Как от человечества
Кровного отстать?
Рад я при усталости
На людях пожить,
Хочется хоть в малости
Миру послужить,
В бездне бестолковости
Взять иное в толк,
Похватать все новости,
Свет пока не смолк,
Братьев поприветствовать
В этой новизне —
Тех, с кем прежде бедствовать
Доводилось мне,
И уже не с пенями,
Не с душевной тьмой —
Общими ступенями
Нисходя домой,
На предсмертной лесенке
Тут же — налицо —
Бросить людям в песенке
Доброе словцо,
И хоть хриплым пением
Наконец я рад
С юным поколением
Попрощаться в лад.

Хочется хозяину
Честь-хвалу воздать,
Крикнуть брату-каину:
«Полно убивать!»
Молвить зловершителю:
«Не губи души!»
Божьих искр тушителю
Свистнуть: «Не туши!»
Нет, о дева южная,
Брось об этом речь!
Жизнь моя недужная
Здесь должна истечь, —
Здесь, у исполинского
Царства головы,
У залива Финского,
У родной Невы.
Несмотря на трудности,
Как-то любо мне
В вихре этой людности,
В вечной толкотне.
Солнца лик торжественный
Пусть не тешит нас,
Только бы общественной
Правды луч на час.
У камина ближнего
Сев перед огнем,
Род мне солнца нижнего
Любо видеть в нем;
А про солнце вышнее
Пусть идет молва!
Ведь оно уж лишнее —
Роскошь естества!
Сердце с сердцем встретится —
Ряд светил открыт,
И в глазах всё светится,
И в груди горит.
Жарче полдня жаркого
Дружеский привет,
Краше солнца яркого
Яркой мысли свет».

(1859)

306. ДОБРЫЙ СОВЕТ

Что тут думать? Покоряйся,
Лиза, участи своей!
Время дорого — решайся
Выйти замуж поскорей!

Благо есть жених маститый,
Старым смотрит он хрычом,
Он подагрик знаменитый
И разбит параличом.

Он восторгам не научит,
Но, по-старчески любя,
Ведь не долго ж он помучит
Дряхлой нежностью тебя.

А пока на ладан дышит,
Скорчен жизненным трудом, —
В дар тебе он свой запишет
Трехэтажный славный дом.

Ты ж свой жар, которым пышешь,
В благодарность обратя,
В дар ему свое запишешь
Богом данное дитя.

И старанья, и участья
Твоего приемля плод,
Он от радости и счастья
К разрушенью вмиг пойдет

И билетец, данный банком,
Поспешит тебе вручить
Со своим почтенным бланком
«Доверяю получить».

И умрет, оставив пряжку —
Знак служебной чистоты,
И за мертвого бедняжку
Пенсион получишь ты,

И за скорбной колесницей
Ты пойдешь — хвала творцу! —
Интересною вдовицей —
Траур так тебе к лицу!

⟨1859⟩

307. РИФМОПЛЕТ

Друзья! Средь жизненного поля
Своя у всякого судьба,
И рифмоплетствовать — есть доля
Иного божьего раба.
Друзья! Вы — люди деловые.
Я ж в деле — чуть не идиот,
Вы просто — мудрецы земные,
А я — безумный рифмоплет.

О да, вы правду говорите —
Я только рифмоплет. Увы!
Вы ж мудрецы, зане мудрите
И велемудрствуете вы.
Я только брежу всё, но внятен
И с мыслью связан этот бред,
А мудрый толк ваш непонятен,
Зане в нем смыслу часто нет.

Пишу стихи, читаю книги
И так гублю всё время я,
А злость, ругательства, интриги
Предоставляю вам, друзья.
Дельцы, достойные почтенья!
Едва плетясь кой-как вперед,
Вам сплетни все и злосплетенья
Предоставляет рифмоплет.

Из вас, конечно, рифмоплетством
Себя никто не запятнал,
И каждый служит с благородством,
А я — с пятном, зато и мал.
Вы в деловых бумагах быстры,
Смекая, что к чему идет,
Зато вы метите в министры,
А я останусь — рифмоплет.

⟨1859⟩

308. НЕДОУМЕНИЕ

Нет! При распре духа с телом,
Между верою и знаньем,
Невозможно мне быть целым,
Гармоническим созданьем.

Спорных сил разорван властью,
Я являюсь, весь в лоскутьях,
Там и здесь — отрывком, частью —
И теряюсь на распутьях.

Плачу горькими слезами,
Все меня в обманы вводят;
Не своими ли глазами
Вижу я, как солнце всходит?

Что ж? — Природа подшутила
Надо мной — как ум прошколишь,
Так поймешь, что вкруг светила
Ты с землей ходить изволишь.

Всюду призраки. Творится
Всё не так, как слышишь, видишь.
Служишь духу — тело злится,
Плоть погладишь — дух обидишь.

Где рассудок негодует —
Чувство пляшет, сердце скачет;
Там, где разум торжествует, —
Чувство рвется, сердце плачет.

Полн заботами с рассвета
О жилище да о хлебе,
Слышу голос: «Брось всё это!
Помышляй о божьем небе!»

Там внушает мне другое
Наших знаний окаянство:
«Небо! .. Что оно? — Пустое
Беспредельное пространство.

Звезды те, что так лучисты, —
Те ж миры, в них те ж соблазны;

Как отсюда смотришь — чисты,
А взгляни поближе — грязны.

Там, быть может, всё нелепо,
Как и здесь!» А тут иное
Вновь я слышу: «Веруй слепо
И отвергни всё земное!

Божьих птиц, что в небе реют,
Кормит господа десница:
Птицы ж те не жнут, не сеют...»
Это так, да я — не птица.

Воробья хранит всевышний,
Воробей на ветку сядет
И клюет чужие вишни —
Клюнь-ка смертный, — скажут: крадет.

Вот, терплю я все лишенья,
Жесткой всё иду дорогой,
Дохожу до наслажденья —
Говорят: «Грешно, не трогай!

Смерть придет — и, что здесь больно,
Там тебе отрадой станет».
Так!.. Да думаю невольно:
А как смерть меня обманет!

⟨*1859*⟩

309. РАЗБИТЫЙ КУМИР

Скульпто́р, в восторге вдохновенья,
Волшебный образ изваял.
Народ, немой от изумленья,
Пред изваянием стоял,
И наконец главой поникнул
У мраморных кумира ног,
И в ослеплении воскликнул,
Молясь безумно: «Это — бог!»
А вождь страны, от искушенья
Народ желая отвратить,
Велел рабам без сожаленья
Ломами статую разбить!

Сказал: «Да сгибнет изваянье!» —
И, раздробленное в куски,
Погибло светлое созданье
Скульптора творческой руки.
И, над обломками кумира
Склоняясь мыслящим челом,
Стоял какой-то странник мира
В раздумье грустном и немом.
«Кто был преступнее, — он мыслил,
В груди тая свой горький плач, —
Народ, что камень богом числил,
Иль дивной статуи палач?»

⟨1859⟩

310. ЗНАКОМОЕ МЕСТО

Да! Вот они — знакомые места!
Я узнаю: вот улица кривая!
Вот — вся в горбах, в ущербах мостовая!
И вот она — разбитая плита
Близ ветхого, погнувшегося дома.
О! как она душе моей знакома
И как ее мне памятен излом!
Всё наизусть я вытвердил, как школьник:
Уступ, провал, и этот треугольник,
Здесь выбитый, с зазубренным углом,
И эту щель с ее глубоким мраком,
Идущую порывистым зигзагом,
Как будто бы когда-нибудь прошла
Здесь молнии сердитая стрела.
О, если б всё так сохранялось в мире,
Как эта щель! Прошли десятки лет.
Теперь она немного стала шире,
И более в ней перемены нет.
По-прежнему, чернея и зевая,
Она глядит, как летопись живая
С изображеньем верным одного
Старинного паденья моего.
Когда-то здесь так повредил я ногу,
Что и теперь хромаю понемногу,
А тут жила... предмет любви моей.
Я шел туда, я торопился к ней,

Шел бойкими и крупными шагами,
И, чувствуя мой неземной удел,
Я на небо так пристально глядел,
Что ничего не видел под ногами
И — бух в провал! — И как страдал потом!
Страдал... Так что ж? Со всем чистосердечьем
Я вам скажу: хоть и остался хром,
Я и теперь горжусь моим увечьем.
Больной, я был могилы на краю,
Передо мной стоял духовный пастырь,
На рану воспаленную мою
Телесный врач накладывал мне пластырь,
И тут... Могу ль я этот миг забыть?
Она пришла больного навестить!
И я узрел небесное виденье,
Благословил стократ мое паденье,
И для меня осталась ты свята,
Заветная разбитая плита!
Хоть щель твоя теперь немного шире,
Но если б всё так сохранялось в мире!

⟨1859⟩

311. В ДЕРЕВНЕ

Нива зеленым ковром покрывается,
Всё так роскошно цветет,
Солнышко ярче, весна улыбается...
Птичка так сладко поет,
Всем как-то весело, всё оживилося,
Грустно лишь мне одному.
Сердце заныло и тяжко забилося, —
Жду из Парижа жену.

Март 1859
Усадьба Киньгрусть

312. ⟨Ф. Н. ГЛИНКЕ⟩

Когда в какой-то мгле печальной
Недобрый дух меня мутил,
Вдруг Иов твой многострадальный
Меня отрадно посетил.

Уже я чувствовал терзанье
Скребущих демонских когтей
В душе тоскующей моей
И звал творца на состязанье, —
Как вдруг до сердца моего
Дошли спасительные звуки,
И стихнул грешный ропот муки
В затворах сумрачных его.
Луч веры в грудь мою проникнул.
«Опомнись!» — мне вещал творец,
И, просветленный наконец,
Я вместе с Иовом воскликнул:
«Прости меня, прости, творец!»

1859

313. ГДЕ ОН?

Посв⟨ящено⟩ Пл. Ал. Кускову

Нейдет он. Не видим мы юного друга,
Исчез он, пропал он из нашего круга.
Кручинит нас долгим отсутствием он,
Грешит, но увидим, рассеяв кручину,
Греха молодого святую причину, —
Он, верно, влюблен.

Куда б ни пошел он — неловко откинет
Страдальца *туда*, словно вихрем, — и хлынет
В тот берег заветный крутая волна,
Где светит предмет его дум и напева,
Предмет, в старину называвшийся *дева*,
Иль просто — *она*.

Слова ее уст он по-своему слышит
И после своей ненаглядной припишет,
Что сам из души он исторгнет своей,
Сам скажет себе, что мечта сотворила,
И думает: это она говорила!
Душа его в ней.

И, к ней относя все созвучия Гейне:
«Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine»,[1]
На ней отражает свой собственный свет.

---

[1] Мала, тонка, изящна, одинока (нем.) — *Ред.*

Не сами собою нам милые милы, —
Нет! Это — явление творческой силы:
В нас сердце — поэт.

1850-е годы

314. ЛЮБИТ

Ты шутила, хохотала,
Но порой, при взгляде ясном,
Тайной мысли тень мелькала
На лице твоем прекрасном.

И питались в ней тревога,
Ожиданье и забота...
И гостей тут было много,
Только не было кого-то.

Он явился, взор приветный
На него ты обратила,
И с улыбкой чуть заметной
Тихо очи опустила,

И, в задумчивости сладкой,
Из очей тех луч денницы
Пробивался всё украдкой
Сквозь поникшие ресницы;

А чтоб скрыть от злой разглядки
Алых щек огонь нескромный —
Ручка в палевой перчатке
Оправляла локон темный.

И, оправившись немножко,
Ты недвижна оставалась...
Лишь коралловая брошка
Всё сильней приподымалась.

1850-е годы (?)

315. ОДНО ИЗ ДВУХ

Мне надобно его иль огорчить ужасно
Честнейшей правдою, или схитрить, солгать.
Что ж выбрать? Первое? Но это ведь напрасно:
Он не поймет меня и станет проклинать.

Он истину сочтет за личную обиду;
Он с детства рос во лжи и в ней окаменел —
А — добрый человек! Такой почтенный с виду!
Как быть? — Он в кривизне житейской закоснел.

Попробую: начну уклончивым намеком —
Вполправды! — Он дрожит. . . Мне жаль его, ей-ей!
Щажу его — и лгу, и тягостным упреком
Ложится эта ложь на совести моей, —

И после я грущу, упреки эти чуя,
И от него ж вопрос наивный слышу я:
«Что с вами?» Но уж тут, чтоб не солгать, молчу я
И только думаю: «Мне грустно — от тебя».

⟨1860⟩

316. НЕ ТОТ

Не тот святитель настоящий
И добрый пастырь душ земных,
Кто облачен в покров блестящий,
В сиянье камней дорогих,

Кто проклинает жизнь людскую,
А сам тельцам служить готов,
Свой любит сан, и честь мирскую,
И преклонение голов, —

Но тот, кто, саном незаметный,
Проклятьем не разя наш слух,
Огнем любви новозаветной
Скорбящих возвышает дух.

Чья жизнь — не ветошь, но обнова,
Кто сердцем понял смысл креста
И в соке мысли, в пище слова
Дает нам кровь и плоть Христа.

⟨1860⟩

317. ОБРАЗЕЦ СМИРЕНИЯ

Боже! Как безумна гордость человека!
«Для меня всё в мире от начала века, —
Он сказал когда-то с дерзостью незнанья. —
Царь я всей природы, я — венец созданья,
Средь светил небесных, средь пучин эфира
Я стою с Землею в средоточье мира.
Вкруг меня вертится от зимы до лета
Солнце — мой источник теплоты и света.
Там Луна — фонарь мой, звездочки — лампадки —
Светят, чтоб всё было у меня в порядке».
— «Лжешь, гордец безумный! Лжешь, глупец надменный:
Сам с своей Землею в уголку вселенной,
Глядя только в щелку узкого оконца,
Кубарем кружишься около ты Солнца;
С Солнцем вдаль несешься — и не знаешь, где ты,
Призраки лишь только видишь — не предметы.
Лунный шар — твой спутник, а тех звезд лампады —
Океаны света, страшные громады,
При которых весь твой мир в его убранстве —
Жалкая пылинка в мировом пространстве».
Он сказал: «Я — разум: мыслю, размышляю,
Лишь инстинкт животным я предоставляю;
В рабстве их держу я, создан — быть вельможей;
Я с душой бессмертной вечный образ божий.
Для меня всевышний так весь мир устроил,
Чтоб себя я только тешил и покоил.
Вождь я грозных армий, властелин творенья!»

Вот он — полюбуйтесь — образец смиренья!
Сам себя он громко, величая, славит,
Бьет себе подобных и природу давит;
Ничего не смысля, он за бога смело
Судит и решает божеское дело!

⟨1860⟩

318. ДОСТАНЬ!

«Да! Ты всё меня голубишь
На словах, — в них нет ли лжи?
Если ты меня так любишь,
Мне на деле докажи!»

«Всё, чего ты ни потребуй,
Рад принесть тебе я в дань».
— «Друг! Одну из данных небу
Мне ты звездочек достань!

Слушай: к новому свиданью
Ты из них мне подари
Ту, что блещет мелкой гранью
В ночь до утренней зари, —

Ту, что с неба так приветно
Смотрит, чуть не говорит
И так мило, разноцветно
Искрой радужной горит.

Чтоб чудесною прибавкой
К туалету мне блеснуть, —
Я ту звездочку булавкой
Приколю себе на грудь.

И предамся грудью этой,
Тем подарком дорогим
Освещенной и согретой,
Я объятиям твоим.

Что ж? Достанешь ли?» — «Помилуй!
Как я это совершу?
Невозможно!» — «Но, мой милый,
Если я тебя прошу...»

«Не могу». — «Меня погубишь
Ты отказом... Стало быть, —
Ты не любишь, да, не любишь, —
Может всё любовь добыть.

Немогущий!.. Что в нем проку?
Ты моги! Ты должен мочь.

На три дня даю я сроку,
А не то — навеки прочь!»

День — другой прошел. Несчастный
Горевал, бродил, как тень.
С торжеством к своей прекрасной
Он пришел на третий день.

Чем-то радостным отмечен,
Смелый взор его блистал.
Вмиг он был вопросом встречен:
«Что ж? Достал?» Ответ: «Достал!»

И глаза он к небу вскинул,
И со звездочкой внутри
Из кармана ларчик вынул,
И открыл его: «Смотри!

Видишь: в золоте, в эмали,
Блеском радужным полна
Эта звездочка... Она ли?»
— «Ах, мой друг! — Она! Она!

Я — души твоей царица,
Любишь ты, спокойна я,
Это — чудная вещица!
Это звездочка моя!

Эту искру — блестку ночи —
Ты достал, герой, гигант!»
И впивались милой очи
В ей врученный бриллиант,

И застежка дорогая,
С ценным камнем посреди,
Ярко вспыхнула, блистая,
У прелестной на груди.

⟨1860⟩

319. ПОДРАЖАНИЕ ИСПАНСКОМУ

Только б ты, кого так пылко
Я люблю, — была со мной,
Ты да хересу бутылка,
Ты да конь мой вороной,
Ты да добрая сигара,
Ты да меткое ружье,
Ты да звонкая гитара —
Вот всё счастие мое!

Легким станом, ножкой ловкой
Ты мне гибельно мила,
Ты глядишь такой плутовкой,
Что с ума меня свела.
Ты танцуешь — упоенье!
Каждый нерв во мне дрожит;
Юбки сборчатой круженье
Всю мне голову кружит.

Как в качуче это тельце
Ты совьешь да перевьешь —
Замков гордого владельца
Прямо в плен меня ведешь.
Взвейся ж выше в вихре пляски,
В позе неги и любви
И хоть только до подвязки
Видеть ножки дай свои!

⟨1860⟩

320. ПОРА!
(ПО ПОВОДУ РИМСКИХ ПРОКЛЯТИЙ)

О христиане, братья, братья!
Когда ж затихнет гул проклятья?
Когда анафемы замрут?
Пора! Мы ждем. Века идут.
Учитель, преданный распятью
И водворявший благодать, —
Христос — учил ли вас проклятью?
Нет! Он учил благословлять,
Благословлять врага, злодея,

Гореть к нему любви огнем
И, о заблудшем сожалея,
Молиться господу о нем.
А вы? — Вы, осуждая строго
Со-человека своего,
Пред алтарем, во имя бога
Зовете кару на него.
Вы над душой его и телом
Готовы клятвы произнесть,
Каких в пылу остервенелом
Сам ад не в силах изобресть.
И вам не страшно имя божье
Взять на язык, хулу творя?
Навет на бога — при подножье
Его святого алтаря!
Кощунство в храме благодати!
Уж если клясть вы рождены —
Не богом проклинайте братий,
А черным автором проклятий,
Что носит имя Сатаны!
И вам же будет посрамленьем,
Коль проклинаемый ваш брат
Ответит вам благословеньем,
Сказав: «Не ведят, что творят!»

⟨1860⟩

321. СВЕТЛЫЕ НОЧИ

Не всё-то на севере худо,
Не всё на родном некрасиво, —
Нет! — ночь наша майская — чудо!
Июньская светлая — диво!

Любуйтесь, бессонные очи!
Впивайтесь всей жадностью взгляда
В красу этой северной ночи!
Ни звезд, ни луны тут не надо.

Уж небо заря захватила
И алые ленты выводит,
И, кажется, ночь наступила,
А день между тем не проходит.

Нет — он остается, да только
Не в прежнем пылающем виде:
Не душен, не жгуч, и нисколько
Земля от него не в обиде.

Он долго широким разгаром
В венце золотом горячился,
Да, видно, уж собственным жаром
И сам наконец утомился.

Не стало горячему мочи, —
Он снял свой венец, распахнулся
И в ванну прохладную ночи
Всем светом своим окунулся, —

И стало не ярко, не мрачно,
Не день и не темень ночная,
А что-то, в чем смугло-прозрачно
Сквозит красота неземная.

При свете, проникнутом тенью,
При тени, пронизанной светом,
Волшебному в грезах виденью
Подобен предмет за предметом.

Весь мир, от *вчера* на *сегодня*
Вскрыв дверь и раскинув ступени,
Стоит, словно дома господня
Сквозные хрустальные сени.

⟨1860⟩

322. ЗАТМЕНИЕ

«Экое диво! Клим Сидорыч! Глянь из оконца!
В полдень стемнело, ей-богу! Ведь убыло солнца.
В небе ни тучки, ни-ни... то есть — пятнышка нету, —
Ради чего ж недоимка господнего свету?»
— «Эх, голова, голова! Ничего-то не знает.
Временем это затменье такое бывает».
— «Эва! А кто ж там на солнце потемки наводит?»
— «Это, по книгам, вишь — солнце за месяц заходит».
— «Полно, Клим Сидорыч! Эк ты неладно ответил!

Солнце ведь — светлое солнце, и месяц-то светел, —
Как же бы сталось, что свет как со светом сдвоится —
Не светлоты прибывает, а темень родится?»
— «Истинно так. Не хули моего ты ответа!
Верь аль не верь, а и свет пропадает от света.
Ну, да, примером, — ты в толк не возьмешь ли скорее?
Ум — дело светлое, разум — еще и светлее,
А в голове-то ведь тёмно становится разом,
Если случится, что ум в ней заходит за разум».

⟨1860⟩

323. ПЛЯСКА

В улику неправд был Израилю дан
Предтеча — креститель Христа — Иоанн.
«О Ирод, — взывал он, — владыко земной!
Преступно владеешь ты братней женой».
Глагол Иоанна тревожил царя
Досадным укором, но, гневом горя,
Царь Ирод смирял свое сердце над ним —
Зане Иоанн был народом любим, —
И долго в темнице предтеча сидел,
И царь над ним казни свершать не хотел, —
Тем паче, что в дни испытаний и бед
Нередко его призывал на совет.

И молчит Иродиада,
Втайне яростью дыша, —
В ней глубоко силу яда
Скрыла женская душа.
Лишь порой, при том укоре,
Вдруг в чертах ее и взоре
Проявляется гроза.
Жилы стянуты над бровью,
И отсвечивают кровью
В злобном выступе глаза.

Месть ехидны палестинской
Зреет. . . Мысль проведена —
И усмешкой сатанинской
Осклабляется она.
О пророк! За дерзновенье
Ждет тебя усекновенье.
За правдивые слова,

За святую смелость речи —
У крестителя-предтечи
Отсечется голова!

В царский праздник пир был велий.
Вечер. Трапеза полна.
Много всяческих веселий,
Много брашен, пряных зелий
И янтарного вина.
Весел Ирод, — царской лаской
Взыскан двор... Но царь глядит, —
Кто ему искусной пляской
В этот вечер угодит?
Струн кимвальных мириады
Потряслись... Отверзлась дверь —
И внеслась Иродиады
Соблазнительная дщерь.

Пляшущая плавает роз в благоухании,
В пламени зениц ее — сила чародейская,
Стан ее сгибается в мерном колыхании —
Стройный, как высокая пальма иудейская;
Кудри умащенные блещут украшеньями
Перлов, камней царственных, радужно мерцающих;
Воздух рассекается быстрыми движеньями
Рук ее, запястьями звонкими бряцающих.
Вихрем вдруг взвилась она — и, взмахнув прельстительно
Легкими одеждами звездно-серебристыми,
Стала вдруг поникшая пред царем почтительно,
Взор потмив ресницами трепетно-пушистыми.

И плясавшую так чудно
Царь готов вознаградить,
И клянется безрассудно
Ей — что хочет — подарить.
Требуй, дочь Иродиады,
Той убийственной награды,
Что утешна будет ей —
Злобной матери твоей!
«Царь! Ты видел пляску-чудо,
Так обет исполни ж свой —
Подавай плясунье блюдо
С Иоанна головой!

И, пустивший зло в огласку,
Вестник правды меж людей
Заплатил за эту пляску
Честной кровию своей!
Пусть ликует в силах ада
На земле Иродиада!
В божьем небе твой престол.
Здесь безглавье есть венчанье
За святое немолчанье,
За торжественный глагол.

Пляска смерти завершилась, —
Голова усечена.
Кончен пир. Угомонилась
Змеедушная жена.
Но рассказывали люди,
Что святая голова
Повторяла и на блюде
Те же смелые слова.

(1860)

324. РЫЦАРЬ

После тщетных похождений
И бесплодных бранных дел
Храбрый рыцарь к мирной сени
Возвратиться захотел.

И пришел он невеселый
На домашнее житье,
Бросил в угол меч тяжелый,
Щит свой, латы и копье.

«Что?» — друзья его спросили.
«Всё пропало, — говорит, —
Не щадил трудов, усилий
И — увы! — стыдом покрыт,

Уподоблен Дон-Кихоту,
А в сраженьях был велик,
Наезжал, рубил с налету —
Только цели не достиг».

«За какую ж Дульцинею
Ты сражался?» — был вопрос.
«Всё на свете — прах пред нею, —
Рыцарь гордо произнес. —

Свет красавицу такую
Должен чтить. Из дам его
Взял я *истину* святую
В дамы сердца моего.

Чистый вензель этой дамы
На щите моем горел.
Я из боя в бой, упрямый,
За нее стремглав летел.

Дело истины — не шутка!
На меня подъяв мечи,
Шли гиганты предрассудка,
Заблужденья силачи,

Шли толпой, стеной восстали,
Пред числом — я изнемог,
И безумцы хохотали,
Слыша мой в паденье вздох.

Но меня не то смущает,
Что потеряна борьба, —
Нет, мне сердце сокрушает
Человечества судьба».

Рыцарь! Выслушай спокойно:
Сам себя ты осудил.
Острый меч твой непристойно
Делу истины вредил.

Ты, герой, в движенье скором
Наступательных шагов,
Сам назойливым напором
Раздражал ее врагов.

Меч булатный ей не нужен,
Не нужна ей кровь врага,
Терпеливо безоружен,
Кроток, тих ее слуга.

Он не колет, он не рубит, —
Мирно шествуя вперед,
Побеждает тем, что *любит*,
И смиреньем верх берет.

‹1860›

325. ВЕНОК КЕСАРЯ

Чтит Юлия Кесаря римский Сенат,
Народ его чтит — и в знак почести новой
Венок на него возлагают лавровый,
И праву носить его Кесарь так рад!
Он лучшей награды не хочет, не просит,
Всегда он венок на главе своей носит.

Он всюду в венке — на пиру ли сидит,
Стоит ли пред войском, идет ли на форум,
Особенно ж там, где сверкающим взором
Он прелести женские хищно следит.
Зачем он всегда тем венком накрывался —
Он другу в беседе однажды признался.

«Вот, видишь ли, лысина злая моя
Меня сокрушила, — сказал он, — и сзади
Волос я всё ко лбу зачесывал пряди,
Ровнял, выправлял их и мучился я.
И, склонность имея к любовным затеям,
В насмешку плешивым был зван любодеем.

Теперь мне так кстати наградный венок, —
Им мой недостаток природный исправлен
И я от несносной прически избавлен,
С которою прежде и сладить не мог.
Волос моих лавры прикрыли утрату, —
Спасибо народу! Спасибо Сенату!»

‹1860›

326. А МЫ?

Над Римом царствовал Траян,
И славил Рим его правленье,
А на смиренных христиан
Возникло новое гоненье,

И вот — седого старика
Схватили; казнь его близка,
Он служит сам себе уликой:
Всё крест творит рукою он,
Когда на суд уж приведен
К богам империи великой.
Вот, говорят ему, наш храм
И жертвенник! Пред сим кумиром
Зажги обычный фимиам —
И будешь жив отпущен с миром.
«Нет, — отвечает, — не склонюсь
Пред вашим идолом главою
И от Христа не отрекусь;
Умру, но с верою живою!
Прочь, искушенье ада! Прочь,
Соблазна демонские сети!»
Вотще хотят жена и дети
Его упорство превозмочь,
И заливаются слезами,
И вопиют они, скорбя:
«Склонись — и жить останься с нами!
Ведь мы погибнем без тебя».
Не увлекаясь их речами,
Глух на родные голоса,
Стоит он, впалыми очами
Спокойно глядя в небеса.
Его чужие сожалеют,
О нем язычники скорбят,
Секиры ликторов коснеют
И делом казни не спешат.
Он был так добр! — Ему вполслуха
Толпа жужжит и вторит глухо:
«Склонись! Обряд лишь соверши —
Обряд! Исполни эту меру,
А там — какую хочешь веру
Питай во глубине души!»
— «Нет, — возразил он, — с мыслью дружны
Слова и действия мои:
На грудь кладу я крест наружный,
Зане я крест несу в груди.
Нет! Тот, кому в составе целом
Я предан весь душой и телом,
Учитель мой, Спаситель мой,

Мне завещал бороться с тьмой
Притворства, лжи и лицемерья.
Я — христианин; смерть мне — пир, —
И я у райского преддверья
Стою средь поднятых секир.
Тот обречен навеки аду,
Злой раб — не христианин тот,
Кто служит мертвому обряду
И с жертвой к идолу идет.
Приди, о смерть!» — И без боязни
Приял он муку смертной казни,
И, видя, как он умирал,
Как ясный взор его сиял
В последний миг надеждой смелой, —
Иной язычник закоснелый
Уже креститься замышлял.
А мы так много в сердце носим
Вседневной лжи, лукавой тьмы —
И никогда себя не спросим:
О люди! христиане ль мы?
Творя условные обряды,
Мы вдруг, за несколько монет,
Ото всего отречься рады,
Зане в нас убежденья нет, —
И там, где правда просит дани
Во славу божьего креста,
У нас язык прилип к гортани
И сжаты хитрые уста.

⟨1860⟩

327. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАЛЬЧИК

Мимо разбросанных хижин селенья,
Старую шапку на брови надвинув,
Шел я, глубокого полн размышленья,
Сгорбясь и за спину руки закинув.

Нес я труднейших вопросов громады:
Как бы людей умирить, успокоить,
Как устранить роковые преграды
И человечества счастье устроить.

Против меня в своей грязной сорочке
Весело шел деревенский мальчишка,
С летним загаром на пухленькой щечке
Бойко смотрел и смеялся плутишка.

Смех уж готов, а еще нет минуты —
Плакал он, — слезок следы не исчезли.
Светлые волосы, ветром раздуты,
Мягко-льняные, в глаза ему лезли;

Он отряхал их, головкой мотая,
Весь он родимым был братцем здоровью, —
И приближался, лукаво моргая
Синеньким глазом под белою бровью.

Солнце удвоило жар с освещеньем
После минувшей недели ненастья.
Мальчик при этом был весь воплощеньем
Жизни беспечной и дерзкого счастья.

Даже при мне — при степеннейшем муже —
Босой ножонкой отважно он топал,
Мутную воду разбрызгивал в луже
И всеторжественно по грязи шлепал.

«Друг! Отчего ты так весел?» — ребенка
Важно спросил я. Без робости глядя
И засмеявшись в глаза мне, презвонко
Он отвечал: «Ты — смешной такой, дядя!»

⟨*1860*⟩

328. БОРЬБА

Таков, знать, богом всемогущим
Устав дан миру с давних пор:
Всегда прошедшее с грядущим
Вело тяжелый, трудный спор,
Всегда минувшее стояло
За свой негодный старый хлам
И свежей силы не пускало
К возобновительным делам;
Всегда оно ворчало, злилось
И пело песню всё одну,

Что было лучше в старину,
И с этой песнью в гроб валилось,
И над могилами отцов,
Зарытых бодрыми сынами,
Иная жизнь со всех концов
Катилась бурными волнами.
Пусть тот скорей оставит свет,
Кого пугает всё, что ново,
Кому не в радость, не в привет
Живая мысль, живое слово.
Умри — в ком будущего нет!

Порой средь общего движенья
Всё смутно, сбивчиво, темно,
Но не от мутного ль броженья
Творится светлое вино?
Не жизни ль варвар Риму придал,
Когда он опрокинул Рим?
Где прежде правил мертвый идол,
Там бог живой поставлен им.

Там рыцарь нес креста обновы
И гибнул с мыслью о кресте.
Мы — тоже рыцари Христовы
И крестоносцы, да не те, —
Под средневековое иго
Уже не клонится никто.
И хоть пред нами та же книга,
Но в ней читаем мы не то
И новый образ пониманья
Кладем на старые сказанья...
И ныне мы пошли бы в бой —
Не ради гроба лишь святого,
Но с тем, чтоб новою борьбой
Освободить Христа живого!

1859 или январь 1860

329. И НЫНЕ

Над нами те ж, как древле, небеса
И так же льют нам благ своих потоки,
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни являются пророки.

Бог не устал, — бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой змия.
Там — зрит слепой, там — мертвый восстает;
Исайя жив, и жив Иеремия.

Не истощил господь своих даров,
Не оскудел верховной благодатью, —
Он всё творит — и библия миров
Не замкнута последнею печатью.

Кто духом жив, в ком вера не мертва,
Кто сознает всю животворность слова,
Тот всюду зрит наитье божества
И слышит всё, что говорит Егова.

И, разогнав кудесничества чад,
В природе он усмотрит святость чуда,
И не *распнет* он слово, как Пилат,
И не предаст он слово, как Иуда,

И брата он, как Каин, не сразит,
Гонимого с радушной лаской примет,
Смирением надменных пристыдит,
И слабого и падшего подымет.

Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Бог не устал, — бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия.

1859 или январь 1860

330. ВОЗМУТИТЕЛЬ

Они себе спокойно жили.
И в теплоте грехов своих,
Тучнея телом, не тужили,
Что духа правды мало в них.

Они средь общего недуга
И развращенья своего
Взаимно берегли друг друга,
Не выдавая никого.

И мнилось — счастья дождь перловый
Там всех во мраке орошал,
Но к ним собрат явился новый
И мирно жить им помешал.

Душою честной, сердцем правым
Он возлюбив не мрак, но свет,
Не шел на сборище к лукавым
И к нечестивым на совет.

Он против зла восстал с уликой,
Вступясь за правду и закон,
Восстал — и тем соблазн великой
Распространил повсюду он, —

И отшатнулся каждый житель
Тех мест нечистых от него,
И все кричат: «Он — возмутитель!
Схватить! Связать! Изгнать его!»

А помните — народом чтима,
Средь богом избранных земель,
На торжище Ерусалима
Была заветная купель;

И с каждой срочною денницей
То место некто посещал,
И чудотворною десницей
В купели воду возмущал;

И тот, кто первый погружался
В те возмущенные струи, —
От злых недугов исцелялся
И силы обновлял свои.

Тот благодатный посетитель. . .
Скажите, люди: кто он был?
И он был также возмутитель, —
Он воду грешников мутил.

Но были дни тогда иные,
И на целителя того
Там не кричали те больные:
«Схватить! Связать! Изгнать его!»

1859 или 1860 (?)

331. ИСКУССТВО И ПРИРОДА

Смирись перед творцом природы,
Простершим в безднах неба своды,
О смертный! — осенен венцом
Науки, разума и чувства,
О целях судишь ты искусства —
Но ты ли был его творцом?
О нет, — в рассаднике Эдема
Еще не появлялся ты,
А на земле уже поэма
Слагалась вечной красоты.
Не до тебя ль чертог свой отчий
Установив, верховный зодчий
Бессмертной славою сиял?
В безмерной храмине эфира
Не до тебя ль художник мира
Писал картины и ваял?
И, взяв в пространстве, мглой покрытом,
Кисть света и сказав: «Гори!» —
Прошел по небу колоритом
Предвечной утренней зари,
И солнце вспыхнуло пожаром,
И, детский вид свой округля,
Запеленалась водным паром
Новорожденная земля, —
И в каплях слез благоговейных
Вода, хладея, потекла
И в углубившихся бассейнах
Блестящим зеркалом легла, —
И над водами дух природы
Промчался, бурной мощи полн, —
И всколыхнувшиеся воды
Заговорили шумом волн,
И их чтоб слышать разговоры —
Под светлым куполом небес,
Прорвав подземные затворы,
Над долом выдвинулись горы,
Над почвой вытянулся лес, —
И лес свой подал шумный голос,
Лист перемолвился с листком,
И встрепенулось всё кругом:
И с золотой щетинкой колос,

И травка с чутким стебельком, —
И было всё уже готово —
Подножье жизни и престол;
Адама нет, но есть уж слово,
Нет человека — есть глагол,
Есть красота, лучи, улыбка,
И солнца свет, и тень ветвей,
И резво плещущая рыбка,
И с звонкой трелью соловей.
Уже и зверь неукротимый
В дубравной чаще пробежал,
А человек еще незримый
В зерне грядущего лежал.

Искусство в боге начиналось
С природой вместе — заодно.
Художник смертный! Что ж осталось
И что в удел тебе дано?
Одни ль природе подражанья
Да списков слабые черты
С ее достойной обожанья
Нерукотворной красоты?
Но тут при сходстве самом близком
Ты не достигнешь торжества, —
Твой труд всё будет мертвым списком
С живой картины естества.
В замену лиц ты дашь мне маски —
И, взяв природу в образец,
Где ты возьмешь такие краски,
Какие розлил в ней творец?

Нет! Тот художник бесконечный,
Земли и неба царь предвечный,
По изволенью своему
Тебя поставил на свободе
Не подражателем природе,
Но подражателем — ему.
Рука слаба и средства малы,
Но, при стремлении святом,
В душе ты носишь идеалы
И воплощаешь их потом.
В порывах творческих мечтаний
Свершая огненный полет,

В кругу волшебных начертаний
Ты ищешь новых сочетаний,
Каких природа не дает.
На что ей амбра фимиамов?
На что ей цирк и пантеон?
В ней нет дорических колонн,
Ни микеланджеловских храмов,
Ни рафаэлевских мадонн.
Не из природы ты их вынул,
Но, взяв их из души своей,
Ты мысль свою в природу вдвинул,
Внедрил свою идею в ней.

Служи ж творцу как жрец избранный,
Природы в храмине пространной,
Где всё, что господом дано,
Чем полн сей дом богослуженья,
Сквозь таинство преображенья
В твоей груди проведено.
И в благодарности смиренной
Сознай, что мощный царь вселенной,
Чтоб приобщить тебя к себе,
Отмежевал в сей жизни бренной
Участок творчества тебе!

Ноябрь (?) 1860

332. НА 1861

«О господи! Как время-то идет!» —
Твердило встарь прабабушкино племя,
И соглашался с этим весь народ.
Да полно, так ли? Движется ли время?
У нас в речах подчас неверен слог,
Толкуем мы о прошлом, преходящем
И будущем, а в целом — мир и бог
Всегда живут в одном лишь настоящем.

И нету настоящему конца,
И нет начала. Люди вздор городят
О времени, — оно для мудреца
Всегда стоит, они ж идут, проходят
Или плывут по жизненной реке
И к берегам относят то движенье,

Которое на утлом челноке
Свершают сами. Всюду — заблужденье.

О род людской! Морщины лбов
Считает он, мытарства и невзгоды,
Число толчков, число своих гробов
И говорит: «Смотрите! Это — годы.
Вот счет годов — по надписям гробниц,
По памятникам, храмам, обелискам».

Не полно ль годы цифрами считать
И не пора ль меж новостей, открытий
Открытому сознанью место дать,
Что мир созрел для дел и для событий?

О, вознесись к творцу, хвалебный глас,
От всей России в уповань смелом,
Что новый год, быть может, и для нас
Означится великим, чудным делом!
О, если б только — в сторону мечи!
И если бы средь жизненного пира
Кровь не лилась! Господь нас научи
Творить дела путем любви и мира!
Воистину то был бы новый год,
И новый век, и юбилей наш новый
И весь людской возликовал бы род,
Объят всемирной церковью Христовой.

Декабрь 1860

333. ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«Свет да будет!» — божья сила
Изрекла — и мрак исчез.
И для всех зажглись светила
В беспредельности небес.
И с тех пор, нас одевая
Дня блестящего в парчу,
Ровно светит вековая
Солнца лампа огневая
Бедняку и богачу.
Ни пред кем тот свет не скрытен,

Всем доступен горний луч —
Тем, кто слаб и беззащитен,
И тому, кто так могуч.
А потом, как мгла ночная
Упадет на грешный мир, —
Пусть иной летит на пир,
Где сверкает пыль земная,
Где поддельный блеск велик,
А иной — зажжет лучину,
Осветит тоску-кручину
Иль затеплит свой ночник!

Но еще есть свет верховный,
Свет не солнца и планет,
Но чистейший свет духовный,
Свет науки, божий свет,
И без этого сиянья
Тщетно б шел за веком век, —
Светом нравственного знанья
Человек есть «Человек».
Кто не хочет, чтоб доступен
Свет тот был для всех людей,
Тот — недобрый муж, преступен
Он пред совестью своей,
И, с ночным злодеем схожий,
Встав на брата своего,
Он срывает образ божий
Святотатственно с него.
Сам Христос — учитель братства —
Тот, кем наша жизнь крепка,
От духовного богатства
Не отторгнул бедняка.
Не лишил его ученья
И святых своих чудес —
Он, что умер средь мученья
И на третий день воскрес.
Воскресеньем он прославил
Свой всецарственный престол,
Он воскрес, а нам оставил
Слово, грамоту, глагол,
И воскресшего глаголы —
Вечной жизни в нас залог,
Он — глава воскресной школы,
Он — всеграмотности бог!

Будь же грамотность родная
Делом Веры и Любви!
Восклицаем, начиная:
«Царь небес! Благослови!»

Январь 1861

334. ⟨СТИХИ, ЧИТАННЫЕ НА ЮБИЛЕЕ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО 2 МАРТА 1861 г.⟩

...Вы с Музой свадьбу золотую
Сегодня празднуете, князь.

Когда напором исполинским
Враг угрожал стенам Москвы —
С войсками к лаврам бородинским
Назад полвека мчались вы...

Душа, богатая любовью,
Стих — чадо бойкого пера,
Добрейший взгляд под строгой бровью
С улыбкой, вестницей добра...

Но не шутя по жизни полю
Шли вы...
И скорбь давалась вам на долю,
И терн вплетался в ваш венец.

Ваш стих, что прежде так смеялся
. . . .
Потом глубоко отозвался
Беседой с таинством могил.

...Упреков нет... Иль есть один,
Что князя Вяземского дети
От брака с Музою его —
Вразброд гуляют в белом свете,
Не зная дома своего...

Пусть он к ним нежную приложит
Заботу, вкупе их сберет,
И их сторицею умножит,
И всех семейно в мир введет!

И мир при кликах громогласных,
Приняв их заодно с отцом,
Покроет чад его прекрасных
Академическим венцом.

2 марта 1861

335. ИНОКИНЕ

Я знал тебя, когда в сем мире
Еще ребенком ты была
И, став поэтов юных в клире,
Перстами детскими на лире
Аккорды первые брала.
Потом девицею-мирянкой
Являлась ты в семье людской,
Но света лживою приманкой
Талант не увлекался твой.
И вот, обетом послушанья
Сковав все думы и мечты,
Свой дар склонив под гнет молчанья,
Явилась инокиней ты.
Прости, что пред тобой я смею
Предстать и в эти времена,
Быть может, с грешною моею
И ложной мыслью! Вот она:

Таланты богом нам даются, —
Коль в гимнах, ими что поются,
Горят небесные лучи,
То и с церковного порога
Тот поднял голос против бога,
Таланту кто сказал: «Молчи!
Молчи! Я у тебя отъемлю
Права на песнь, на вещий стон.
Уйди в пустыню! Вройся в землю
Иль в келье будь похоронен!»
Не прав, кто, сдавшись слов сих грому,
Готов, в отказ святым правам,
Внимать наставнику земному,
А не евангельским словам.

Не сотворив себе кумира,
Талант! светилом миру будь!
В быту мирском сквозь дрязги мира
Пробей монашественный путь!
И стой — не за стеной угрюмой,
Но смут житейских посреди —
С своей отшельнической думой
И честной схимою в груди!
Любви небесной дай нам пламень!
Явись с участьем — не с грозой,
И грудь людскую — этот камень —
Прожги молитвенной слезой!

Я — ученик, я — не учитель,
Я червь земли, не сын небес,
Но и не демон искуситель,
Не посланный из ада бес,
Который хочет в вечной муке
Тебя привлечь бряцаньем слов;
Я сам божественной науке
Учиться у тебя готов.
Себя не чту, не именую
Я ведущим, но предаю
На суд твой мысль мою земную,
Как грех, как исповедь мою.

Притом, средь дум моих греховных,
Тебе я жалуюсь, скорбя,
На гордых пастырей духовных,
На целый свет и на тебя.
Когда не мог я быть послушным
Суду учителей кривых,
Ни оставаться равнодушным
К веленью божьих слов святых,
Когда из хладных сфер деизма
Скорей предаться был я рад
Смоле кипящей скептицизма, —
Я думал: христианин-брат,
Чтоб утолить мне сердца муку,
Ко мне свой голос устремит,
С любовью мне протянет руку
И нечестивца вразумит —
Просил я света, разуменья, —
И что ж? Учители смиренья,

Свой гневом дух воспламеня,
Под небом о Христе мне братья
Свои мне бросили проклятья,
Швырнули камнями в меня; —
И ты, вдыхая свет эфирный,
Ко мне безжалостна была
И средь молитв, из кельи мирной
Свой камень также подняла!

⟨1862⟩

336. К ТОЧКАМ

Знакомки старые! О вы, в немые строчки
Средь огненных стихов разбрызганные точки!
Скажите: бросив здесь неконченый куплет,
Сам, мимо всех чинов, насыпал вас поэт
Иль вы явились тут и в должности и в чине —
По не зависящей от автора причине?
Поставлены ль взамен игривых, острых слов,
Могущих уколоть каких-нибудь глупцов,
Которые живут на нашем попеченье,
Имея иногда особое значенье?
Иль заменили вы нескромный оборот
Речей, способных жечь и соблазнять народ,
Вводить в лукавый грех жену или вдовицу
И заставлять краснеть стыдливую девицу?
Иль правда смелая идеи роковой,
Чтоб не тревожить мир больной, полуживой,
За вами спряталась? Так, в отвращенье грому
И шуму от езды по тряской мостовой,
Кидают пред жильем недужного солому.

⟨1862⟩

337. ЛОКОМОТИВ

Иду я с сынишком вдоль чистого поля
Пробитой тропинкой. Кругом — всё цветы,
И рвет их, и бабочек ловит мой Коля.
Вот мельница, речка, овраг и кусты.
Постой-ка, там дальше начнется болото...
Вдруг слышим — вдали и стучит и гремит

Всё пуще, — и видим — громадное что-то
По светлой черте горизонта летит.

Непонятное явленье
Посреди златого дня!
Что такое? В изумленье
Коля смотрит на меня:
«Что такое это значит?
Богатырь ли Еруслан
Страшный едет, грозный скачет
Или рыцарь-великан?»

«О да, это — рыцарь, — ему я ответил, —
Герой, только новых, не старых веков,
И если б кого на пути своем встретил —
Он спуску не даст и сразиться готов».

«Ух как вьются дыма тучи!
Как у всех богатырей —
Знать, то конь его могучий
Пышет дымом из ноздрей!
Мимо лесу вон глухого
Мчится! Только для меня
Тут ни всадника лихого
Не заметно, ни коня».

«О да, он дымится, а не было б свету
Дневного, ты б видел, как брызжет огонь.
Где конь тут, где всадник — различия нету, —
Тут слито всё вместе — и всадник и конь».

«Что ж он — в латах? В вихре дыма
Каждый скок, чай, в три версты?
Ух, летит! Мелькают мимо
И деревья, и кусты.
Через этот край пустынной
Что он с силою такой
Полосою длинной, длинной
Так и тащит за собой?»

«Он в латах, он весь — из металлов нетленных —
Из меди, железа. Чу! Свищет и ржет.
А сзади хвост длинный... ну, это — он пленных
Вослед за собой вереницу влечет».

«Что ж — он злых лишь только давит,
Если встретит на пути?
Мне войны он не объявит
И спокойно даст пройти,
Если мальчик я хороший?
Как дрожат под ним поля!
Чай, тяжел! Под этой ношей
Как не ломится земля!»

«Нет, наш богатырь давит всех без разбору —
И добрых, и злых, и с такими ж, как сам,
Он в стычках сходился. Тяжел он — без спору,
Зато по железным идет полосам.
Дорога нужна, чтоб его выносила,
Железная, друг мой. Ему под удар
Не суйся! В нем дикая, страшная сила
Гнездится, — она называется — „пар“».

Не ранее 1865

338. ЖЕЛАНИЯ

Кругом существенность бедна:
Везде — концы, пределы, грани;
Но в скудной жизни мне дана
Неограниченность одна —
Неограниченность желаний.
Желаньем в вечность я лечу,
И — червь земли — в быту убогом
Я всемогущим быть хочу,
Я быть хочу — безумец — богом.
Я чуть ступил — и изнемог,
Но с жалкой слабостью своею
В своих желаниях, как бог,
Я беспредельностью владею,
И повелительно свою
Тебе я возвещаю волю
И блага все тебе на долю
В прямых желаньях отдаю;
И — близок час: перегорая
В последнем пламени любви,
Тебе скажу я, умирая:
«Прости! Будь счастлива! Живи!»

⟨1866⟩

339. ПОЗДНО

Время шло. Время шло. Не считали мы дней,
Нас надежда всё вдаль завлекала,
Мы судили-рядили о жизни своей,
А она между тем утекала.

Мы всё жить собирались, но как? — был вопрос.
Разгорались у нас разговоры,
Простирались до мук, доходили до слез
Бесконечные споры и ссоры.

Сколько светлых минут перепортили мы
Тем, что лучших минут еще ждали,
Изнуряли сердца, напрягали умы
Да о будущем всё рассуждали.

Настоящему всё мы кричали: «Иди!»
Но вдруг холодно стало, морозно. . .
Оглянулись — и видим: вся жизнь — назади,
Так что жить-то теперь уж и поздно!

⟨1866⟩

340. АВДОТЬЕ ПАВЛОВНЕ БАУМГАРТЕН
(23 ФЕВРАЛЯ 1866 г.)

С дней юных вашего рожденья
День благодатный мне знаком —
И вот — я с данью поздравленья
Теперь иду к вам стариком,
Пишу больной, но дух не тужит,
В расстройстве только плоть моя,
А стих мне верен, рифма служит,
И прежний ваш поклонник — я.
Мной жизни выдержана проба, —
Я и теперь всё ваш, близ гроба,
Измены не было. — Не раз
В движенье жизненного круга
Почетного названья *друга*
Я удостоен был от вас, —
И это лестное названье
Всегда всего дороже мне;

Ему ношу я оправданье
В душе, вам преданной вполне,
Как и тогда, как я был молод.
Я охладел, но коль вредит
Иному чувству этот холод,
То чувство дружбы он крепит,
А это чувство много силы
Дает мне и в дверях могилы, —
С ним вам несу на много лет
Живой заздравный мой привет.

23 февраля 1866

341. ДОВОЛЬНО!

От дерзких помыслов и хищности людей
Ограждена святынею несчастья,
Ты в старческой душе моей
Зажгла всю молодость, всю девственность участья.

Я мало жизнью дорожу.
Пускай меня к могиле годы клонят!
У гробовой доски «Довольно!» — я скажу,
Довольно! — да! Я был тобою понят.

В себе не уронив душевной высоты,
Ты моего кумира не разбила, —
Участья моего не оттолкнула ты
И благодарностью меня не оскорбила.

1860-е годы

342. КОПЕРНИК

По Земле разнодорожной
Проходя из века в век,
Под собою — непреложный,
Неподвижный грунт подножный
Видел всюду человек.
Люди — всеми их глазами —
В небе видеть лишь могли
С дном, усыпанным звездами,
Чашу, ставшую краями
Над тарелкою Земли.

С чувством спорить не умея,
Долго, в грезах сонных дум,
Был узлами Птоломея
Связан, спутан смертных ум.
Мир, что был одним в творенье,
Был другим в воображенье:
Там — эфирный океан
Был отверст, созданья план
Был там зодчего достоин —
Беспределен, прост и строен;
Здесь — был смутен, сбивчив он,
Там — премудр, а *здесь* — мудрен.
Там — Земля, кружась, ходила,
Словно мяч, в кругу планет,
Вкруг громадного горнила,
Изливающего свет;
Здесь — пространств при узких мерах —
Жалось всё в кристальных сферах,
Звезды сплошь с их сводом шли
И вдвойне вращалось Солнце,
Чтоб метать лучи в оконце
Неповертливой Земли.

Рим с высот своей гордыни
Клял науку — и кругом,
Что казалось в веке том
Оскорблением святыни,
Что могло средь злых потех
Возбуждать лишь общий смех
И являться бредом въяве
И чего, средь звездных дел,
Утверждать, при полной славе,
Тихо Браге не посмел, —
Неба страж ночной, придверник,
Смело «Да! — сказал Коперник. —
Высшей мудрости черты —
В планах, полных простоты!
Бог — премудр. В твореньях явен
Коренной закон родства:
С братом — волей божества —
Всяк из братий равноправен.
Дети Солнца одного,
Сестры — зримые планеты —

Им сияют, им согреты, —
Средоточен лик его!
На него все взор возводят,
Доля с долей тут сходна,
Вкруг него они все ходят,
А Земля — из них одна, —
Ergo — ходит и она!»

И, едва лишь зоркий разум
В очи истине взглянул,
Верной мысли луч сверкнул,
Словно молния, — и разом
Свод — долой! Весь звездный клир
Прянул россыпью в эфир,
И — не в области творенья,
Но в хаосе разуменья —
Воссоздался божий мир.
В бесконечных, безначальных,
Необъятных небесах —
Тех тяжелых сфер кристальных
Вдруг не стало — пали в прах!
И средь строя мирового,
Плоский вид свой округля,
Вкруг светила золотого
В безднах двинулась Земля!

«У!» — кричат невежд мильоны,
Те — свернули кулаки,
Эти — кажут языки,
Там ревут враги-тевтоны,
Там — грозит проклятьем Рим,
Там — на сцене гистрионы
Свищут, — гений — невредим.
Где друзья ему «Заставим
Их умолкнуть!» — говорят,
Он в ответ: «К чему? Оставим!
Пусть! — Не ведят, что творят!»

⟨1870⟩

343. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ПОСЛЫ

Внимая потокам приветственных слов,
Хмельницкий Богдан принимает послов.

Посол тут валахский, посол молдаванской
И князь, представитель земли трансильванской.

Прислал и державник Московии всей
С подарком послов к нему царь Алексей.

Не любо ль принять от владыки такого
И шубу соболью, и доброе слово?

От Польши здесь также послы и гонцы.
Он — дома, кругом козаки-молодцы:

Полковники славные, ратные люди,
Разгульные головы, крепкие груди,

Но — грубы, — что ж делать? — Их вождь-атаман
Доволен, радушен и весел Богдан.

При нем его женка, — богато одета,
Гостей принимает с улыбкой привета,

Сама ж, с деревянною ложкой в руке,
Табак растирает в простом черепке.

Хозяин уставил заздравные кубки
И сам набивает курителям трубки,

И в ценные кубки, гостям на почет,
Родную горелку он запросто льет.

Те — ждут его речи, все — на ухо чутки,
А он отсыпает им басни да шутки —

Зовет их обедать. «Нехай, — говорит, —
Вам жинка козацкого борщу зварит!

Що сталось, то сталось! Забудем всё злое —
И добре запьем да закусим былое!»

И вольно с заплечья вождя своего
Полковники речь приправляют его —

И — слово за словом — доходят до шуму.
«Мовчытэ!» — кричит он, сам — думает думу:

Он — бедный изгнанник... Невзгод и потерь
Пора миновала, — и вот он теперь

В почете великом... А что его ходу
Пособьем служило? — «Спасибо народу!

Ты, Русь! ты, народ православный! тебе
Обязан я, — мыслит он, — честью в борьбе!..»

⟨1870⟩

344. ИГРА В ШАХМАТЫ

Войско стоит против войска. Готовятся к бою.
Высится гордо над всеми король головою.
Пешки стоят впереди. — Им сначала идти и валиться.
В задних рядах королева и важные лица.
Падают пешки. — То сволочь! Никто и не плачет, —
Путь очищается прочим; а конь и чрез головы скачет.
Строятся планы, к врагов пораженью приемлются меры.
Накось, облическим шагом идут офицеры.
Башни стоят по углам. Их натуре не свойственно прыгать.
Сам же король иногда в своей сфере домашней
Башню швырнет чрез себя, да и станет за башней;
А поелику царю неучтиво сказать: «Ретируйся!» —
Кротко и нежно ему говорят: «Рокируйся!»
Он безопасного места заранее ищет в сраженьях,
Важности ради великой не быстр он в шагах и движеньях.
С клетки на ближнюю клетку ступает направо, налево,
Взад и вперед, да и только. — А вот — королева,
Та семимильно шагает и накось и прямо;
Многое ей позволяется. — Это ведь дама!
То чрез всё поле сраженья, чрез смертную пашню
По-офицерски летит она вкось, то, как башню,
Прямо ее переносят; ее и противник уважит:
Ей приготовя удар, «Берегись!» — он ей скажет.

Если опасность грозит королю, тот удар не творится
Сразу ему: предварительно «шах» говорится.
Случай коль есть заслонить, то и с места его не сдвигают,
Пусть не тревожится! Все короля охраняют.
На смерть все пешки пойдут и фигуры — ни слова,
Пасть за него и сама королева готова.
Если шах от коня, то нельзя оградить — это значит:
Сам уходи! Ибо конь чрез ограды все скачет.
Если же мат королю, то, хоть сил еще много,
Войско сдается бесспорно. — Прямая дорога
Всем остальным тут фигурам и пешкам — путь в ящик,
Здесь представляется участи общей образчик.
Тут, не боясь уж подвергнуться царскому гневу,
С пешками вместе кладут короля, королеву,
Знать тут и сволочь — все вместе. Таков уж обычай!
Кто победил, кто сражен — все туда, без различий.
Кончена партия. — Ходы все те ж на земле повторяя,
Смертный волнуется, партию жизни играя.
Разница та, что игрок сам в игру тут невольно
Вводится высшею силой, подчас хоть и больно.
Мнит он: «Я двигал игру всю», — а рок самого его двигал,
Сам он и пешкой служил, да и коником прыгал.
Был офицером и башней. «Мат», — скажет верховный указчик,
Сходит с доски он игральной и прячется в ящик.

9 марта 1872

345. ⟨К. К. ВИТГЕФТУ⟩

Прощай, друг Карл! Еще на здешнем поле
Увидимся ль? Едва ли... Разве *там*?
Покорствуя верховной божьей воле,
Воспримем то, что свыше дастся нам!
С ребячества мы сблизились друг с другом,
И *север, юг* не разделили нас, —
Напротив, мы сомкнули север с югом —
И с Питером Одесса обнялась!

9 марта 1872

346

Поселившись в новой келье
Стран измайловских в глуши,
За привет на новоселье
Благодарность от души
Лавроносному поэту
Всеусердно приношу,
Бью челом ему за эту
Я любезность и прошу
Озарять мой темный угол
Поэтическим лучом,
Хоть иные-то как пугал
Рифм боятся, да и в чем
Не дано им как-то вкусу —
Пусть боятся. Храбрость трусу
И не сродна, — их потреб
Музы чужды, что им Феб?
Мы ж — присяжники искусства —
Стариною как тряхнем,
Новичков-то силой чувства
Всех мы за пояс заткнем!
Современные вопросы,
Канканируя, они
Пусть решают! Мы ж в тени
Гаркнем: «Прочь, молокососы!
Тяжба с нами вам невмочь.
Знайте: можем всех вас вкупе
Мы в парнасской нашей ступе
В прах мельчайший истолочь!»

1872 (?)

347. НЕ НАДО

Ты счастье сулишь мне... Ох, знаю я, да!
Что счастье? — Волненье! Тревога!
Восторги! — бог с ними! Совсем не туда
Ведет меня жизни дорога.

Я знаю, что счастье поднять нелегко.
Ну, мне ли тащить эту ношу?
Я с нею, поверь, не уйду далеко,
А скрючусь и вмиг ее сброшу.

Я в том виноват ли, что в пылких делах
Порывистых сил не имею,
Что прытко ходить не могу в кандалах,
Без крыльев летать не умею?

Устал я, устал. У судьбы под рукой
Душа моя отдыху рада.
Покоя хочу я, мне нужен покой,
А счастья мне, право, не надо!

1860—1870-е годы

348. ТАЙНА

Расступись, гора, развались, гора,
Покажи мне, что в недрах твоих!
Что сокрыто в тебе, что таится в тебе —
Не богатство ли руд золотых?
Ты скажи мне, гора, ты поведай, гора,
Под тобою не клад ли лежит?
Иль не злато в тебе, не богатство в тебе,
А разросся гранит да гранит?

Ты раскройся, судьба, развернися, судьба!
Покажи, что в твоей глубине!
Что грядущие дни, отдаленные дни —
В них назначены ль радости мне?
Мне отрады ли ждать? Мне восторгов ли ждать?
Совершатся ль желанья мои?
Иль мой жребий в тоске, в неизменной тоске
Пить лишь горечь, не сладость любви?

Неподвижна гора, непреклонна судьба;
Что в них скрыто — неведомо нам.
Заступ гору сечет, но судьбы не пробьет,
Вечной тайны не вскроет очам.
Эти цепи души — жить незнанья в глуши
И смиренно ждать лучшей поры;
Как же цепь мне сорвать, как судьбу разгадать,
Вскрыть утробу сей страшной горы?

349. БЕССОННИЦА

Полночь. Болезненно, трудно мне дышится.
Мир как могила молчит.
Жар в голове, изголовье колышется,
Маятник-сердце стучит.
Дума — не дума, а что-то тяжелое
Страшно гнетет мне чело,
Что-то холодное, скользкое, голое
Тяжко на грудь мне легло.
Прочь! — И, как всползшую с ядом, с отравою
Дерзкую, злую змею,
Сбросил, смахнул я рукой своей правою
Левую руку свою,
Вежды сомкну лишь — и сердце встревожено
Мыслию: жив или нет?
Кажется мне, что на них уж наложена
Тяжесть двух медных монет,
Словно покойник я. Смертной одышкою
Грудь захватило. Молчу.
Мнится, придавлен я черною крышкою, —
Крышку долой! Не хочу!
Вскройтесь глаза — и зрачки раздвигаются,
Чувствую — эти глаза
Шире становятся, в мрак углубляются,
Едкая льется слеза.
Ночь предо мной с чернотою бездонною,
А над челом у меня
Тянутся в ряд чередой похоронною
Тени протекшего дня;
В мрачной процессии годы минувшие,
Кажется, тихо идут.
«Вечная память! Блаженни уснувшие!» —
Призраки эти поют;
Я же, бессонный, сжав персты дрожащие
В знаменье божья креста,
Скорбно молюсь. «Да блаженни вы, спящие!» —
Вторят страдальца уста.

350. НЕДОЛГО

Нет — смысла жизни не постиг,
Кто в ней клянет недолготечность.
Один блаженства полный миг
Не всю ль обхватывает вечность?

Недолго держится роса,
Блестя слезой на розе алой,
Но всею бездной небеса
Отражены тут в капле малой.

Иной цветок живет лишь день,
Но он зато — краса природы,
А неизменно черный пень
Стоит бесчисленные годы.

351. ФАНТАЗИЯ

Нет, желанная, мой жребий непреложен —
И союз меж нами брачный невозможен.
Уз, которые б не рвались, не слабели,
Для чего нам не дано от колыбели?
Если б ты была мне близкою, родною,
Если б ты была мне милою сестрою,
Мы бы жили под одним домашним кровом, —
И никто б нас не задел недобрым словом,
И к тебе я, при блаженном, вечном «вместе»,
Был бы нежен, как жених к своей невесте.

А когда б ты на другого указала,
И «хочу его женою быть» сказала, —
Я б желанью твоему не прекословил
И приданое немедля приготовил:
Крупный жемчуг из очей моих бы выпал,
Шейку б нежную тебе я им осыпал.
«Вот, — сказал бы я, — на свадьбу, на веселье
От меня тебе подарок-ожерелье!»
К белым ручкам, с их волшебными перстами,
Я прильнул бы помертвелыми устами,
Эти пальцы и до локтя эти руки
Поцелуями закрыл бы при разлуке.

И промолвил бы: «Возьми, сестра, для счастья
Скудный дар мой — эти перстни и запястья!
Извини, что бедняком тебе надеты
Не иные многоценные браслеты!»
И потом, моею грустию святою
Осенив тебя, как брачною фатою,
Я бы молча на веселый пир венчальный
Проводил тебя улыбкою печальной,
И остались бы в удел мне без сестрицы —
Домик темный да сажень сырой землицы.
Не забудь, сестра, отпраздновавши свадьбу,
Навестить мою последнюю усадьбу!

352. ОТПЛАТА

Красоте в угожденьях бесплодных
Посвящая мой страстный напев,
Много пел я красавиц холодных,
Много пел я бесчувственных дев.
Для тебя ж не слагал я ни строчки, —
Если ж начал бы славить тебя,
Вместо слов я одни только точки
Всё бы ставил, безмолвно любя.
Между тем ты одна из прелестных
На земле, где всё горе да труд,
Подарила мне искры небесных,
Золотых, незабвенных минут.
Что ж? Какие мои воздаянья?
Не отраду тебе я принес,
Но, как жрец при святыне страданья,
Посвятил тебя в таинство слез.
Ты мне к счастию путь указала,
Но — увы! — я не мог им идти.
На привет, где ты «здравствуй» сказала,
Я печально ответил «прости».
Перед нами могила разлуки. . .
Да, прости! — С этим словом должны
Оборваться все стройные звуки,
Все аккорды блаженства и муки
Стоном лопнувшей в сердце струны.

353. УПОЕНИЕ

Взором твоим я утешен,
Жадно смотрю тебе в очи,
С блеском полудня в них смешан
Мрак соблазнительной ночи.
Пью и блаженство и муку,
Слушая детский твой лепет;
Страстно схватив твою руку,
Чувствую жар я и трепет;
Вырваться сердце готово,
Грудь и томится и млеет,
Хочется вымолвить слово, —
Сохнет язык и немеет.
Нету ни воли, ни силы!
Нет ни мольбы, ни заклятий!
Мертвый — хочу из могилы
Кинуться в пламень объятий.

354. В МУЗЕУМЕ СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Ага! — Вы здесь, мои возлюбленные боги!
Здорово, старики — сатиры козлоноги
И нимфы юные! Виновник нежных мук —
Амур-мальчишка здесь, прищурясь, держит лук
И верною стрелой мне прямо в сердце метит,
Да нет, брат, опоздал: грудь каменную встретит
Стрела твоя, шалишь! .. Над сердцем старика
Бессильна власть твоя. Смеюсь исподтишка
Коварным замыслам. — А, это ты, Венера!
Какая стройность форм, гармония и мера!
Из рук божественных одною грудь прикрыв,
Другую наискось вполтела опустив,
Стоишь, богиня, ты — светла, лепообразна,
И дышишь в мраморе всей роскошью соблазна;
А там — в углу, в тени — полуземной урод
Любуется тобой, скривив беззубый рот,
А позади тебя, с подглядкой плутоватой,
Присел на корточки повеса фавн мохнатый.
А тут, крылатые, в гирлянду сплетены
Малютки, мальчики, плутишки, шалуны —
Побочные сынки! прелюбодейства крошки!

Ручонки пухлые и скорченные ножки,
Заброшенные вверх. Задумчиво поник
Здесь целомудрия богини важный лик;
Смотрю и думаю, — и всё сомненья боле:
Не зависть ли уж тут! не девство ль поневоле!..
Вот нимфы разные от Пиндовых вершин:
Та выгнутой рукой склоняет свой кувшин
И льет незримую, божественную влагу;
Та силится бежать — и замерла... Ни шагу!
Страсть догнала ее... Противиться нельзя!
Покровы падают, с плеча ее скользя,
И разъясняются последние загадки, —
И мягки, нежны так одежд упавших складки,
Что ощупью руки проверить я хочу,
Не горный ли виссон перстами захвачу;
Касаюсь — камень, да!.. Нет, всё еще немножко
Сомнительно. — А как прелестна эта ножка!
Коснулся б до нее, да страх меня берет...
. . . .
Вот вижу — Геркулес! Надулись мышцы, жилы,
Подъята палица... Я трус, громадной силы
Боюсь — я тощ и слаб — итак, прощай, силач,
Рази Немейских львов! А я вприпрыжку, вскачь
Спешу к другим. Прощай! — А! Вот где, вот приманка!..
Сладчайшим, крепким сном покоится вакханка,
Под тяжесть головы, сронившей вязь венка,
В упругой полноте закинута рука,
В разбросе волосы объемлют выгиб шеи
И падают на грудь, как вьющиеся змеи.
Как в чувственности здесь ваятель стал высок!
Мне в мраморе сквозит и кровь и гроздий сок.
А вот стоят в кусках, но и в кусках велики,
Священной пылью лет подернуты антики.
Привет вам, ветхие! — Кто ж это, кто такой
Стоит без головы, с отшибенной рукой?
У тех чуть держатся испорченные ноги,
Там — только торс один. Изломанные боги!
Мы сходны участью: я так же изможден,
Расшибен страстию и в членах поврежден;
Но есть и разница великая меж нами:
Все восхищаются и в переломке вами,
Тогда как мне — увы! — сужден другой удел, —
Не любовались мной, когда я был и цел.

И ты, Юпитер, здесь. Проказник! Шут-потешник!
Здорово, старый бог! Здорово, старый грешник!
Здорово, старый черт! — Ишь как еще могуч
Старинный двигатель молниеносных туч!
Охотник, лакомый до этих нимф прелестных!
Любил земное ты и в существах небесных.
Досель еще на них ты мечешь жадный взгляд.
Я знаю: ты во всё был превращаться рад,
Для милых — в лебедя, что, верно, помнит Леда,
Где надо — в юношу, в орла — для Ганимеда,
И, высунув рога и утучнив бока,
Влюбленный, ты мычал и в образе быка.
Бесстыдник! Посмотри: один сатир нескрытно
Смеется, над тобой так сладко, аппетитно
(Забыто, что в руках властителя — гроза)
Смеется он: его прищурились глаза
И расплылись черты так влажно, шаловливо,
В морщинке каждой смех гнездится так игриво,
Что каждый раз, к нему едва оборочусь, —
Я громко, от души, невольно засмеюсь.
Но — мне пора домой, устал я, ноют ноги. . .
Как с вами весело, о мраморные боги!

355. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

История раскрыта предо мной.
Мне говорят: «Взгляни на эту панораму!»
И я к ней подошел, как бы к святому храму,
С благоговейною душой, —
И думал видеть я, как люди в век из века,
В разнообразии племен,
Идут по лестнице времен
К предназначенью человека.
И думал видеть я, как человек растет,
Как благо высится, стирается злодейство,
И человечество со всех сторон идет,
Чтоб слиться наконец в блаженное семейство.

И что же вижу я? — От самых юных дней
Доныне, в ярости своей,
Всё тот же мощный дух, дух зла — мирохозяин,
И тот же пир для кровопийц.

К началу восхожу, — там во главе убийц
Стоит братоубийца Каин,
Нависла бровь его и жилы напряглись,
Рука тяжелая подъята,
Чело темно, как ночь, и в сонный образ брата
С кровавой жадностью зрачки его впились, —
Быстробегущий тигр, при этом выгнув спину,
Из лесу выглянул, остановил свой бег
И выкатил глаза на страшную картину —
И рад, что он — не человек!

И с той поры всемирное пространство
Багрится кровию, враждуют племена, —
И с той поры — война, война,
И каинство, и окаянство.
Война за женщину, за лоскуток земли,
Война за бархатную тряпку,
Война за золотую шапку,
За блестку яркую, отрытую в пыли,
И — чтоб безумия всю переполнить меру —
Война за мысль, за мнение, за веру,
За дело совести, — война из века в век!
О тигр! Возрадуйся, что ты — не человек!

356. ТЫ МНЕ ВСЁ

Воздуха чистого в легком дыхании
Мне твоей поступи веянье слышится,
На море, белой волны в колыхании
Всё мне волна твоих персей колышется,
Тополя стройного в лиственном шелесте
Чудится шепот твой нежный, таинственный, —
В целой природе твои только прелести
Я созерцаю, о друг мой единственный.
Ты — мое сердце в полудне высокое,
Месяц серебряный, звездочка скромная;
Ты — моя радость и горе глубокое,
День мой блестящий и ночь моя темная.

357. ПЕСНЯ

Ох ты звездочка моя ясная!
Моя пташечка сизокрылая!
Дочь отецкая распрекрасная!
Я любил тебя, моя милая.

Но любовь моя сумасбродная,
Что бедой звалась, горем кликалась,
Отцу-батюшке неугодная, —
Во слезах, в тоске вся измыкалась.

Где удачу взять неудачному?
Приравняется ль что к неровному?
Не сошлись с тобой мы по-брачному
И не сведались по-любовному.

Суждена тебе жизнь дворцовая,
Сребром-золотом осиянная,
А моя судьба — ох! — свинцовая,
Моя долюшка — оловянная.

Серебро твое, чисто золото,
Не пошло на сплав к свинцу-олову.
Дума черная стуком молота
Простучала мне буйну голову.

И я, с звездочкой моей яркою,
С моей пташечкой сизокрылою
Разлучась, пошел — горькой чаркою
Изводить мою жизнь постылую.

358. ПЫТКИ

В тот век, как живали еще Торквемады,
Над жертвами рока свершались обряды
Глубоких, ужасных, убийственных мук:
Ломание ног и дробление рук.
Там истина, корчась средь воплей и жалоб,
Винилась, — и страшный кончался обряд
Тогда, как, глаза свои выкатив на лоб,
Невинный страдалец кричал: «Виноват!»

Есть пытка другая, того ж совершенства
Она достигает, — то пытка блаженства.
Счастливцу творится пристрастный допрос
Под всем обаянием лилий и роз.
Тут узнику в сердце, без всякой пощады,
Вонзаются сладкие женские взгляды,
Он дивные, райские видит места, —
И алые, полные неги уста,

Как бисер, как жемчуг, слова ему мечут
И с жарким дыханьем щебечут, лепечут.
«Покайся! признайся!» — напевы звенят,
И нервные звуки всё вкрадчивей, ниже. . .
Он тает, а пламя всё ближе, всё ближе. . .
Нет сил. . . Исторгается вздох: «Виноват!»

359. КАЗАЛОСЬ

Когда я с тобою встречался,
Вуаль с твоей шляпки срывал,
К ланитам твоим наклонялся
И очи твои целовал, —

Казалось, я с небом встречался,
Покров его туч разрывал,
И с алой зарею сближался,
И солнца лучи целовал.

360. НЕ ВЕРЮ

Когда на тебя устремляю
Я взоры в сердечном бреду, —
Где небо — я, право, не знаю,
И даже земли не найду.

Тут, кажется, вьется дорожка,
В тумане мелькают поля,
Но — тут пронеслась твоя ножка —
Не верю, что это земля.

Есть где-то и солнце с луною,
И звезды, и все чудеса,
Но, ежели ты здесь со мною, —
Не верю, что там небеса.

361. НОЧНАЯ БЕСЕДА

Ночь немая, ночь Ерусалима
В черных ризах шла невозмутимо,
Обнимая с высоты Сиона
Портики, чертоги Соломона
И Давида. Царство иудеев,
Где парила слава Маккавеев,
Почивало со своим Сионом,
Без царей, под кесаревым троном,
И казалось, под десницей Рима
То была лишь тень Ерусалима.
Но иная слава блещет снова
В божьем граде: эта слава — Слово;
Эта слава — не в доспехах бранных,
Не в венках из роз благоуханных,
Не в сиянье позлащенных храмов,
Не в куренье сладких фимиамов,
Эта слава — агнец, сын эдема,
Он, рожденный в яслях Вифлеема,
Правды друг, нечестья обличитель;
Не вельможен сан его — учитель.
Ночь немая, ночь Ерусалима
В черных ризах шла невозмутимо.
Не привыкший к блеску и к чертогам,
Отдыхал он в домике убогом.
Кто же сей полночный посетитель,
Что, войдя, воззвал к нему: «Учитель!»

Это взросший в хитрости житейской,
Мудрости исполнен фарисейской —
Никодим. В глухую ночь, негласно
Он пришел к тому, что самовластно
Всюду ходит смелою стопою,
Окружен народною толпою,
И, власы рассыпав по заплечью,
Говорит могучей, вольной речью,

И глаголом нового закона
Оглашает портик Соломона.

Вот они: один — с челом открытым,
Озаренным мыслью и облитым
Прядями волос золотоцветных,
С словом жизни на устах приветных,
Тихо-мощный, кротко-величавый, —
И другой — с главой темно-курчавой,
Крепкий в мышцах, смуглый, черноокой,
Отенен брадой своей широкой,
Слушает, облокотясь, и в диво
Углублен лукаво и пытливо
Думами. — Беседуя в час ночи,
Свет и тень глядят друг другу в очи.
Что ж? О чем беседа их ночная?
О делах ли, в коих жизнь земная
Вся погрязла? — Нет, их рассужденья —
О великом деле *возрожденья*.
Никодим! Внимай сердечным слухом:
Смертный должен возродиться духом,
Лишь тогда и жизнь его земная
Обновится, — взыдет жизнь иная.

Человек! Вотще твои стремленья
К благодатной манне обновленья
На нечистом поприще, где каждый
Дышит благ материальных жаждой.
Возродись! — И да не идет мимо
Та с Христом беседа Никодима!

362. ОТВЕТ

Чрез римский форум проходила
Толпа, шумя, как ураган,
И толковала, и судила
О вере первых христиан, —
И говорил народ надменный:
«Они — безумцы! Сброд презренный!
Пускай предстанут на ответ:
Где их религия? Ни храмов
У них великолепных нет,

Ни факелов, ни фимиамов,
Ни чаш блестящих, ни венцов,
Ни божьих ликов изваянных,
Ни в тогах, пурпуром убранных,
С осанкой важною — жрецов.
Богаты мы, они — убоги.
Пускай укажут, где их боги?
Хоть на картине пусть дадут —
Кого они, безверцы, чтут!
На нас пусть взглянут! Мы находим
Везде бессмертных, всесвятых,
Мы сами, размножая их,
Героев, кесарей возводим
В верховный ряд богов своих.
Их лики всюду всем открыты,
А те безбожники... Карать!
Казнить собак! Им нет защиты,
Их доля — в муках умирать».

«Наш бог — не в позлащенных храмах, —
Гласит креста покорный сын, —
Не в изваяньях он, не в рамах
Пестро малеванных картин.
Единый храм его достоин,
И этот — им самим устроен,
И этот — тесен для него.
Взгляните! Это — храм вселенной,
Где он сияет — царь бессменный,
В венце величья своего.
Кого не в силах мы постигнуть,
Тому, при помощи людской,
Мы и не мыслим храм воздвигнуть
Своею слабою рукой.
Пред тем, кто солнцем и звездами
Сам осветил свой дом пред нами,
Мы не дерзаем втуне жечь
Ни бедных факелов, ни свеч,
Чадить ему кадильным дымом,
Когда пред ним, для нас незримым,
Клубится весь земной туман,
И, разомкнув свои затворы,
Огнем и дымом дышат горы,
И темно-синий океан,
Необозримый, неисходный,

Вседневно — годы и века —
Вздымает к небу пар свой водный,
Его свивая в облака.
Но храмы есть у нас иные,
Другие жертвенники есть,
Нерукотворные, живые,
Ему, невидимому, в честь.
Бог дал нам плоть — вот церковь наша,
Где вечный огнь горит в крови;
Душа — алтарь в нем, сердце — чаша
С елеем веры и любви.
И часто тот, кто сущ от века,
Кому вселенной мал объем,
В смиренном сердце человека
Вмещаясь, обитает в нем.
У нас в груди — жилище бога,
А храм ваш храмом лишь слывет, —
Средь камней мертвого чертога
Источник жизни не живет.
Порой, бездомные в пустыне,
Мы соберемся в тишине,
И бог во всей своей святыне
Меж нас присутствует вполне.
На что нам ваши изваянья,
Коль тот, кто к жизни нас воззвал,
Зиждитель мира, царь созданья —
В нас сам свой образ изваял?
На что жрецы нам? Кто посмеет
Нам божью волю толковать?
Не ум, но сердце разумеет
Великих истин благодать.
Приди, разумный проповедник!
Вещай — и место восприми,
Как наш о боге собеседник,
Как наш собрат, но не посредник
Меж вечным богом и людьми!
Среди тревог земных спокойный,
В своей небесной чистоте,
Один посредник был достойный —
Один, — он распят на кресте.
Его верховного закона
Святое слово нам дано,
Он нам сказал во время оно:
«Отец, и я, и вы — одно».

За то, что сладость истин новых
Прияли мы, — казните нас!
Средь лютых казней, нам готовых,
Мы палачей своих суровых
Благословим в последний час».

363. ЕЛЬ И БЕРЕЗА

Пред мохнатой елью, средь златого лета,
Свежей и прозрачной зеленью одета,
Юная береза красотой хвалилась,
Хоть на той же почве и она родилась.
Шепотом лукавым с хитрою уклонкой
«Я, — лепечет, — видишь — лист имею тонкой,
Цвет моей одежды — нежный, самый модный,
Кожицею белой ствол мой благородный
Ловко так обтянут; ты ж своей иглою
Колешь проходящих, пачкаешь смолою,
На коре еловой, грубой, чешуистой,
Между темных трещин мох сидит нечистый...
Видишь — я бросаю в виде легкой сетки
Кружевные тени. Не мои ли ветки
Вяжут в мягкий веник, чтоб средь жаркой ванны
От него струился пар благоуханный?
В духов день березку ставят в угол горниц,
Вносят в церковь божью, в келии затворниц.
От тебя ж отрезки по дороге пыльной
Мечут, устилая ими путь могильный,
И где путь тот грустный ельником означат,
Там, идя за гробом, добры люди плачут».
Ель, угрюмо стоя, темная, молчала
И едва верхушкой на ту речь качала.
Вдруг ударил ветер с ревом непогоды,
Пыль столбом вскрутилась, взволновались воды, —
Так же всё стояла ель не беспокоясь,
Гибкая ж береза кланялась ей в пояс.
Осень хвать с налету и зима с разбега, —
Ель стоит преважно в пышных хлопьях снега
И белеет светом, и чернеет тьмою
Риз темно-зеленых — с белой бахромою,
С белыми кистями, с белою опушкой,
К небу подымаясь гордою верхушкой;
Бедная ж береза, донага раздета,
Вид приемлет тощий жалкого скелета.

364. СЧАСТЬЕ-НЕСЧАСТЬЕ

День был славный. Мы гуляли
Вольной группой вдоль реки,
А кругом — в пролет мелькали
Молодые кулики.

«Эх! — сказал казак. — Для шутки
Поохотился бы я!
Вот еще кулик! Вот утки!
На несчастье — нет ружья».

Я подумал: «Вот! Для шуток
Хочет бить, стрелять... Каков!
Да ружья нет — счастье уток!
Счастье юных куликов!»

365. ПОСМОТРИ!

Тихий вечера час.
Свет зари на закате угас.
Всею ширью река
Отражает в себе облака,
Отражает леса,
Отражает судов паруса, —
А на той стороне
Сосны темные видятся мне;
Огоньки там горят, —
Рыбаки себе кашу варят.
Посмотри, куманек,
Как хорош за рекой огонек!
Как он лег кое-где
Золотистым снопом по воде,
А где струйка бежит —
Он червонной там нитью дрожит!
Струйке той вперелом
Легкий ялик ударил веслом,
И нет перлам числа,
Что забрызгали разом с весла.
Эка роскошь! Вокруг
Загребай хоть лопатой жемчуг!

А меж тем вдалеке
Песня стелется вдоль по реке.
Посмотри, куманек,
Как хорош за рекой огонек!

366. К...

Schlage nicht das ganze zerrissene Buch der Vergangenheit auf: bist du noch nicht traurig genug?

Iean Paul Richter[1]

Беседу с Вами я, то в письмах, то изустно,
Веду — и очень рад... а между тем — мне грустно.
Хотел бы с Вами я припомнить старину,
Протекшей юности святое увлеченье,
Минуту чудную одну,
Одно прекрасное мгновенье,
Одну из тех минут столь ценных, дорогих,
Что, право, стоит жизнь перенести для них.
Да! — Вспомнить было бы отрадно,
Отрадно — слишком, может быть,
Но трудно было бы потом опять забыть...
И вспоминать зачем — не стало ль бы досадно?
Не стало ль бы потом еще грустней, грустней?..
К тому же чья-то речь в больной душе моей
Звучит таинственно, как эхо средь развалин:
«Ты хочешь заглянуть в потерянный свой рай —
Стой! Книги прошлого не тронь, не раскрывай!
Уж не довольно ль ты и без того печален?»

367. ПЕРЕВОРОТЫ

Когда-то далеко от нашего века
Не зрелось нигде человека;
Как лес исполинский всходила трава,
И высилась пальма — растений глава,
Средь рощ тонкоствольных подъемлясь престольно.
Но, крупным твореньем своим недовольна,
Природа земною корой потрясла,
Дохнула вулканом, морями плеснула

---

[1] Не раскрывай всю разорванную книгу прошлого: или тебе не достаточно печали? *Жан Поль Рихтер* (нем.). — *Ред.*

И, бездны разверзнув, наш мир повернула,
И те организмы в морях погребла.

И новый был опыт зиждительной силы.
В быту земноводном пошли крокодилы,
Далеко влача свой растянутый хвост;
Драконов, удавов и ящериц рост
Был страшен. С волнами, с утесами споря,
Различные гады и суши, и моря
Являлись гигантами мира тогда...
И снова стихийный удар разразился,
И мир тот под землю опять провалился,
А сверху вновь стали земля и вода.

И твари живые в открытых им сферах
Опять начинались в широких размерах:
Горы попирая муравчатый склон,
Там мамонт тяжелый, чудовищный слон —
Тогдашней земли великан толстоногой —
Шагал, как гора по горе; но, тревогой
Стихий возмущенных застигнутый вдруг,
В бегу, на шагу, вдруг застыл, цепенеет...
Глядь! жизни другая эпоха яснеет,
И новых живущих является круг.

И вот при дальнейшей попытке природы,
Не раз обновляющей землю и воды
И виды менявшей созданий своих, —
Средь мошек, букашек и тварей иных,
В мир божий вступив из таинственной двери,
Возник человек — и попятились звери.
И в страхе, потомка узнав своего
И больше предвидя в орехах изъяна,
Лукаво моргнула, смеясь, обезьяна,
Сей дед человека — предтеча его.

И начал он жить-поживать понемногу,
Сквозь глушь, чрез леса пролагая дорогу,
Гоня всех животных. Стрелок, рыболов,
Сдиратель всех шкур, пожиратель волов,
Взрыватель всех почв — он в трудах землекопных
Дорылся до многих костей допотопных,
Отживших творений; он видит могилы,
Где плезиозавры, слоны, крокодилы,
Недвижные, сном ископаемых спят,

Он видит той лестницы темной ступени,
Где образ былых, первородных растений
На камне оттиснут. В коре ледяной
Труп мамонта найден с подъятой ногой;
Там мумии древних фантазий природы —
Египет подземного мира, там — своды
Кряжей известковых и глинистых глыб
С циклоповой кладкой из черепов плотных,
Из раковин мелких, чуть зримых животных,
И моря там след с отпечатками рыб.

Над слоем там слой и пласты над пластами
Являются книгой с живыми листами.
Читает ее по складам геолог.
Старинная книга! Не нынешний слог!
Иные страницы размыты, разбиты,
А глубже под ними — граниты, граниты,
А дальше — всё скрыто в таинственной мгле
И нет ни малейших следов организма;
Один указует лишь дух вулканизма
На жар вековечный в центральном котле.

И мнит человек: «Вот — времен в переходе
Как много работать досталось природе,
Покуда, добившись до светлого дня,
С усильем она добралась до меня!
И шутка ль? Посмотришь — ее же созданье
Господствует, взяв и ее в обладанье!
Природа ж всё вдаль свое дело ведет
И втайне день новый готовит, быть может,
Когда и его в слой подземный уложит,
А сверху иной царь творенья пойдет».

И скажет сын нового, высшего века,
Отрыв ископаемый труп человека:
«Вот — это музею предложим мы в дар —
Какой драгоценный для нас экземпляр!
Зверь этот когда-то был в мире нередок.
Он глуп был ужасно, но это — наш предок!
Весь род наш от этой породы идет».
И, древних пород при обзоре отчетном,
Об этом курьезном двуногом животном
Нам лекцию новый профессор прочтет.

368. РАЗГОВОР

Молодой

О чем задумался, старик?
О временах давно минувших,
В бездонной Лете потонувших?
Напрасно ты челом поник
И о прошедшем сожалеешь, —
На нас взгляни — помолодеешь.
С надеждой счастия в сердцах
Вперед мы радостно и смело
Летим на полных парусах.
Кипит общественное дело.

Старик

Нет, мне прошедшего не жаль
И не о нем моя печаль,
Оно прошло — и слава богу!
Не много было в нем добра,
И нам на лучшую дорогу
Давно уж выбраться пора.
Мне молодого поколенья
Отрадны светлые стремленья,
Но опасаюсь: даль темна,
Пройдут летучие порывы —
И от неспелого зерна
Мир не дождется сочной нивы.

Молодой

Ну вот! Как на седой утес,
Который крепко в землю врос,
Мы на тебя средь волн смотрели, —
А и тебя качнул вопрос:
Созрели ль мы иль не созрели?
Вопрос уж этот с давних пор
Не раз решался так и эдак,
Писали, говорили вздор
И надоели напоследок.
Сам рассуди — средь наших вьюг,
Под этой стужей, под бореем,
Нельзя же нам развиться вдруг, —
Одно сказать лишь можно: зреем.

Старик

Дай бог! Для каждого ростка
И тут есть солнце в небе горнем,
Да почва-то у нас жестка:
Вбираться надо сильным корнем;
Да прежде нужен мощный плуг,
Такой, чтоб пронял самый камень,
А без того, мой юный друг,
Что значит твой минутный пламень?
Вы принялись — и в добрый час!
Как взглянешь — кажется, у вас
Всё есть, а как посмотришь строже,
Так нету главного...

Молодой

Чего же?
Ты наших сил не разглядел,
Надежд, намерений прекрасных,
И даже дел, начатков дел,
Желаний чистых, мыслей ясных,
Широких замыслов, идей.
Чего ж недостает?

Старик

Людей.
Для дела нет живых орудий.
Всё разглядел я: там и тут
Идеи крупные идут,
Да как-то всё мельчают люди.
Не прошлого желаем мы:
Немало варварства и тьмы
В нем было; темным, прошлым веком
Я не горжусь, а всё ж иной
Тогда, под этой грубой тьмой,
Умел явиться человеком.
Меж диких сил и разных зол
Являлись: здравое сужденье,
Характер, воля, убежденье
И честный, искренний глагол;
Талант вздымался над толпами
И дело к общей цели вел.
Теперь — глядишь — над головами
Какой-то уровень прошел.

Молодой

И слава богу! Прочь, гиганты!
Зато пропал пигмеев след,
Зато теперь мы все таланты,
Все сплошь, — толпы бездарной нет.
Теперь мы разом, вместе, дружно
Все подвизаемся вперед.
Заметных личностей не нужно,
Где человечество идет.

Старик

Но что ж вы сделали, однако?
Еще не много.

Молодой

Нам из мрака
Недавно выйти лишь дано,
А между тем — взгляни, исчисли:
Какой прогресс в движенье мысли!
Вопросов сколько решено!
И это всё еще — зачаток!
Везде — преследованье взяток,
Весь мир проснулся, закричал,
Раскрылось каждое событье,
Явились — гласность и развитье
Экономических начал.
Уму отрадно, сладко чувству!
Начертан воспитанья план,
Везде простор науке дан
И цель указана искусству.
Кого наш век не изумит?
Куда ни оглянись — всё ново,
И против зла везде гремит
Изобличительное слово.
Твои сомненья — смертный грех!
Сознаться каждый в том обязан,
Что всё подвинулось. Успех
Математически доказан.

Старик

Благим стремленьям — честь, хвала!
Да жаль — приемы ваши мелки,

И вы, чем браться за дела, —
Беретесь часто за безделки;
Боитесь вы сорвать покров,
Где зла скопляется излишек,
И где бы обличать воров —
Вы обличаете воришек,
Несчастных, жалких, чья рука
Порой вдается в лиходейства
Затем, что хлеба нет куска
У их голодного семейства.
Идея иногда чиста,
А в исполненье факты грязны;
Цель и прекрасна и свята,
А средства — грешны, безобразны.
Всё торжествует лишь обряд
Да форма. Суд мой прям и краток:
Друг, не сердись! Прогресс ваш шаток,
То шаг вперед, то шаг назад.
«Литература — праздник слова!»
Иной журнал кричал, кричал, —
О том лишь только умолчал,
Что правда — первая основа
Экономических начал.
Не даст вам выводов желанных
Математический расчет.
Что ваша цифра? Цифра лжет,
Коль нет под нею верных данных.
Не спорю: тщетно ум парит
Порою в сферах идеальных,
Но счастья он не водворит
И там, где жаждой он горит
Одних лишь благ материальных,
Где чистой нравственности нет,
Законность где калекой бродит
Иль фразами морочит свет,
А в кровь и плоть не переходит, —
Где вредной роскоши чума
Переедает мир недужный
И где нужна не честь сама,
А только чести знак наружный, —
Где нет сознанья у людей,
Что часто кровью пахнут розы,
Что в бриллианты богачей
Превращены убогих слезы,

Что люди все — одна семья,
И, миру новым чтоб явиться,
Для обновленья бытия
Он должен духом обновиться, —
Что правда не должна, как тать,
Дрожать пред ложью закоснелой,
Но божьей вестницей предстать...
. . . .
Искусство ж пусть своим путем
Идет, как шло с начала века,
И благородит человека,
И проявляет бога в нем!

Молодой

О, это — проповедь! В морали
Мы всё по нитке перебрали, —
Мечты старинные! Поверь —
Среди движений современных
Для этих мыслей отвлеченных
Совсем и места нет теперь.
Ты фантазируешь... Ну кстати ль?
А я, с тобой чтоб не уснуть,
Иду. Прощай, седой мечтатель!
Я тороплюсь.

Старик

Счастливый путь!
Иди. Но старческих мечтаний
Ты не считай в числе преград
Для ваших светлых начинаний
И верь: я в духе был бы рад,
Когда б по моему хоть трупу,
Как по гранитному уступу,
Бил новый жизненный каскад.
Спеши вперед, младое племя!
Твоя дорога далека.
Коль у тебя я отнял время —
Прости болтливость старика!

369. ЛЕЛЯ

На стол облокотясь и, чтоб прогнать тоску,
Журнала нового по свежему листку
Глазами томными рассеянно блуждая,

Вся в трауре, вдова сидела молодая —
И замечталась вдруг, а маленькая дочь
От милой вдовушки не отходила прочь,
То шелк своих кудрей ей на руку бросала,
То с нежной лаской ей колени целовала,
То, скорчась, у ее укладывалась ног
И согревала их дыханьем. Вдруг — звонок
В передней, — девочка в испуге задрожала,
Вскочила, побледнев, и мигом побежала
Узнать скорее: кто? — как бы самой судьбой
Входящий прислан был. «Что, Леля, что с тобой?»
Но Леля унеслась и ничего не слышит,
И вскоре смутная вернулась, еле дышит:
«Ах! Почтальон! Письмо!» — «Ну, что ж такое? Дрянь!
Чего ж пугаться тут? Как глупо! В угол стань!»
И девочка в углу стоит и наблюдает,
Как маменька письмо внимательно читает;
Сперва она его чуть в руки лишь взяла —
На розовых устах улыбка расцвела,
А там, чем далее в особенность и в частность
Приятных этих строк она вникает, — ясность
Заметно, видимо с начала до конца,
Торжественно растет в чертах ее лица, —
А Леля между тем за этим поясненьем
Следила пристально с недетским разуменьем,
И мысль ей на чело как облако легла
И тонкой складочкой между бровей прошла,
И в глазках у нее пары туманной мысли
В две крупные слезы скруглились и нависли.
Бог знает, что тогда вообразилось ей!
Вдруг — голос матери: «Поди сюда скорей.
Что ж, Леля, слышишь ли? Ну вот! Что это значит,
Опять нахмурилась! Вот дурочка-то! Плачет!
Ну, поцелуй меня! О чем твоя печаль?
Чем ты огорчена? Чем?» — «Мне папашу жаль».
— «Бог взял его к себе. Он даст тебе другого,
Быть может, папеньку, красавца, молодого,
Военного; а тот, что умер, был уж стар.
Ты помнишь — приезжал к нам тот усач, гусар?
А? Помнишь — привозил еще тебе конфеты?
Вот — пишет он ко мне: он хочет, чтоб одеты
Мы были в новые, цветные платья; дом
Нам купит каменный, и жить мы будем в нем,
И принимать гостей, и танцевать. Ты рада?»

Но девочка в слезах прохныкала: «Не надо».
— «Ну, не капризничай! Покойного отца
Нельзя уж воротить. Он дожил до конца.
Он долго болен был, — за ним уж как прилежно
Ухаживала я, о нем заботясь нежно!
Притом мы в бедности томились сколько лет!
Его любила я, ты это знаешь...» — «Нет!
Ты не любила». — «Вздор! Неправда! Вот обяжешь
Меня ты, если так при посторонних скажешь,
Девчонка дерзкая! Ты не должна и сметь
Судить о том, чего не можешь разуметь.
Отец твой жизнию со мною был доволен
Всегда». — «А вот, мама́, он был уж очень болен —
До смерти за два дня, я помню, ночь была, —
Он стонет, охает, я слышу, ты спала;
На цыпочках к дверям подкралась и оттуда
Из-за дверей кричу: «Тебе, папаша, худо?»
А он ответил мне: «Нет, ничего, я слаб,
Не спится, холодно мне, Леля, я озяб.
А ты зачем не спишь? Усни! Господь с тобою!
Запри плотнее дверь! А то я беспокою
Своими стонами вас всех. Вот — замолчу.
Всё скоро кончится. Утихну. Не хочу
Надоедать другим». — Мне инда страшно стало,
И сердце у меня так билось, так стучало!..
Мне было крепко жаль папаши. Вся дрожу
И говорю: «Вот я мамашу разбужу,
Она сейчас тебя согреет, приголубит».
А он сказал: «Оставь. — И так вздохнувши — ух! —
Прибавил, чуть дыша и уж почти не вслух,
Да я подслушала: — Она... меня... не любит».
Вот видишь! Разве то была неправда? Вряд!
Ведь перед смертью все уж правду говорят».

370. ВЛАДЫЧЕСТВО МОДЫ

Пятнадцатый век еще юношей был,
Стоял на своем он семнадцатом годе.
Париж и тогда хоть свободу любил,
Но слепо во всем раболепствовал моде.
Король и характер и волю имел,
А моды уставов нарушить не смел.

И мод образцом королева сама
Венсенского замка в обители царской
Служила... Поклонников-рыцарей тьма
Теснилась вокруг Изабеллы Баварской.
Что ж в моде? — За пиром блистательный пир,
Интрига, любовь, поединок, турнир.

Поутру — охота в Венсенском лесу,
Рога и собаки, олени и козы.
На дню — сто забав, сто затей на часу,
А вечером — бал, упоение, розы
И тайных свиданий условленный час...
. . . .

И мода сердиться мужьям не велит, —
На шалости жен они смотрят без гнева.
На съездах придворных — толпа волокит, —
Их дерзости терпит сама королева,
По общей покатости века скользя.
Король недоволен, но... мода! — Нельзя!

Тут любят по моде, любовь тут — не страсть,
Прилично ли делать скандал из пустого?
Конечно, он может... сильна его власть,
Но — что потом скажут про Карла Шестого!..
«Какой же он рыцарь?» — толпа закричит.
И сжался король, притаился, молчит.

Но как-то — красавец Людовик Бурбон
Не вздумал, мечтая о прелести женской,
Отдать королю надлежащий поклон,
Летя к королеве дорогой венсенской,
И так его рыцарский жар увлекал,
Что мимо он гордо вгалоп проскакал.

Король посмотрел и подумал: «Сверх мер
Влюблен этот рыцарь. По пылкой природе
Пускай он как модный спешит кавалер.
Но быть так невежливым — это не в моде!
Недаром король я. Ему ж на беду,
Постой-ка, я новую моду введу!»

Сквозь чащу Венсенского леса, к реке
Шли люди потом возвестить эту моду —

И в полночь, при факелах, в черном мешке
Какая-то тяжесть опущена в воду;
Мешок тот воде поручила земля
С короткою надписью: «Суд короля».

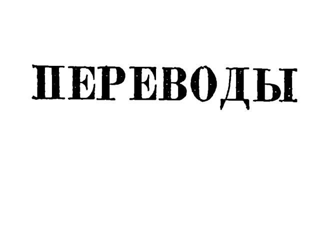
Поклонников рой с той поры всё редел
Вокруг Изабеллы. Промчалися годы —
И всё изменилось. Таков уж удел
Всего в этом мире! Меняются моды:
Что прежде блестело — наполнилось тьмой;
И замок Венсенский явился тюрьмой.

371. МАДОННА

Бог ниспослал мне виденье: я вижу мадонну,
Чудный ребенок с любовью прижат к ее лону,
То не Спаситель грядущий, не сын Вифлеема —
Нет! Этот нежный ребенок — былинка Эдема,
Розы шипок, возбужденный дыханьем апреля,
Девочка — ангельский лик с полотна Рафаэля!
Тот же рисунок головки, такие же краски,
Мягкие, светлые волосы, темные глазки,
К *ней* обращенные, к *ней*, что сияет в ребенке;
Жадно обвитые вкруг ее шеи ручонки
Этого ангела вдруг опустились; зеницы
Сонною дымкой подернулись — тень от ресницы,
Зыблясь, как ткань паутины на алом листочке,
Дымчатой сеткой слегка стушевалась на щечке...
Тише! — уснула малютка сном сладким,
безбурным, —
Взором родимой накрыта, как небом лазурным,
Взором царицы, достойной небесной короны,
Девственной, чистой жены, светлоликой мадонны.

372

Ну вот — всё ладится, идет всё понемногу
Вперед. Надежда есть: жить будем, слава богу!
Вот и устроились! — И светлый день блестит
В грядущем... Поглядишь — и рухнет всё
мгновенно,
И всё, что строил ты так долго, постепенно,
В один прекрасный день всё к черту полетит!



ПЕРЕВОДЫ

С АНГЛИЙСКОГО

Вильям Шекспир
(1564—1616)

373—384. *СОНЕТЫ*

1

Однажды крепко спал Амур, любви божок,
Отбросив факел свой, для всех сердец опасный, —
И к месту этому вдруг подлетел кружок
Нимф, давших клятву жить в невинности бесстрастной.

И вот — одна из них рукой своей прекрасной
Схватила факел тот, что множество поджег
Сердец, замученных потом тоской напрасной,
И бросила его на дно в речной поток, —

И, словно без меча, что полководцу нужен,
Влюбленных армий вождь лежал обезоружен,
Поток же стал горяч, целебен навсегда.

И я им излечить хотел любви невзгоду,
Но — нет! Огонь любви разгорячает воду,
А пламенной любви не холодит вода.

2

Однажды Купидон, склонясь венком кудрей
И факел опустив, уснул среди поляны;
Подкравшись к сонному, одна из жриц Дианы
Взяла тот пламенник — и в воду поскорей.

И хладного ключа вода теплей, теплей,
И животворного потока бьют фонтаны,
И притекают к ним толпы больных людей,
И, язвы там целя, излечивают раны.

Проснувшись, факел свой схватил любви божок,
Коснулся Хлои глаз и вновь его зажег —
И к сердцу мне поднес, а я не остерегся, —

И, страждущий, пошел к целебному ключу,
Но мне не помогло, — себя я излечу
Лишь влагою очей, где факел тот возжегся.

3

Есть люди честные, а низкими слывут.
Не лучше ль быть, чем слыть? Ведь чистых наслаждений
И вовсе не найдешь, коль их отдать под суд
Не совести своей, а посторонних мнений.

Толпа причудлива, но для моих причуд
Не умягчит своих сердитых убеждений.
Не стану же и я — как я ни слаб, ни худ —
Слабейших, худших чтить, боясь их осуждений.

Во мне есть то, что есть. Свет судит вкривь и вкось.
Да, он способен быть лазутчиком, шпионом,
Но не судьей. Он, мне, лишь только б довелось,

Свой приписав порок, сразит меня законом.
Чтоб быть судьей грехов, пусть он в закон бы ввел:
«Всяк грешен, смертный — царь, а грех — его престол».

4

Я жизнью утомлен, и смерть — моя мечта.
Что вижу я кругом? Насмешками покрыта,
Проголодалась честь, в изгнанье правота,
Корысть — прославлена, неправда — знаменита.

Где добродетели святая красота?
Пошла в распутный дом, ей нет иного сбыта!..
А сила где была последняя — и та
Среди слепой грозы параличом разбита.

Искусство сметено со сцены помелом,
Безумье кафедрой владеет. Праздник адский!
Добро ограблено разбойнически злом,

На истину давно надет колпак дурацкий.
Хотел бы умереть, но друга моего
Мне в этом мире жаль оставить одного.

5

С дороги — бух в постель, а сон всё мимо, мимо.
Усталый телом, я и рад бы отдохнуть,
Но мысль не хочет спать и к той, что мной любима,
Сейчас пускается в дальнейший, трудный путь.

Мысль — эта странница — идет неутомимо
На поклонение к тебе, и мне уснуть
Минуты не дает, — глаз не могу сомкнуть,
Вперенных в тьму, во мрак, в то, что слепцами
зримо.

И зоркостью души я, без пособья глаз,
Я вижу тень твою. Она — живой алмаз
Во мраке полночи. Ночь эта блещет ею

И ею молодит свой черный старый лик.
Я ж от тебя ни днем, ни ночью, ни на миг —
Здесь телом, там душой — покоя не имею.

6

Могу ль я быть здоров, спокойствие сгубя?
Отрады ночью нет мне за дневные муки,
На день грядущий сном не подкрепишь себя,
Днем на ночь наберешь запас тоски и скуки.

День с ночью — два врага, друг друга не любя,
Союзно мне вредить друг к другу тянут руки:
Днем мучусь я с тобой, а ночью — без тебя,
Днем — труд свидания, а ночью — скорбь разлуки.

Дню серому я льщу: я говорю, что он
Тобою освещен, тобою изукрашен.
Я ночи также льщу: когда угрюм и страшен

Ее беззвездный вид, — твержу, что небосклон
Блестит светилами очей твоих, а очи
Твои мне портят дни и отравляют ночи.

7

Душа моя! О дух! Дух чистый в сфере грешной!
Корою грубою ты обведен кругом.
Зачем же красишь ты, лощишь покров свой внешний
И в роскоши такой содержишь этот дом?

Ты ненадолго в нем. Ты дальний гость, не здешний,
А на отделку стен всё тратишься. Потом
Ты выедешь, а червь — преемник твой поспешный —
Сейчас на твой же счет и запирует в нем.

Пусть лучше этот дом пострадает! Что в нем проку?
А ты будь бережлив, не трать его, но копи!
Часть времени продай, час вечности купи!

Что скорлупу беречь? Зерну дай больше соку!
Сам смерть ты объедай — ту смерть, что ест людей,
Перемоги ее, чтоб не достаться ей.

8

Когда из хроники былых времен порою
Я описания прекрасных лиц читал,
Я много алых уст, глаз с огненной игрою,
Красивых ног и рук в отрывках подмечал.

Ведь были ж древние знакомы с красотою!
Но в этих очерках я, кажется, встречал
Намеки лишь на то, что ныне лишь тобою
Для нас осуществлен чистейший идеал.

Быть может, древние в пророчество впадали
О нашем времени и творческим чутьем
В грядущей красоте тебя предугадали, —

Но не могли воспеть, чуть грезя о твоем
Существовании, они тебя не знали...
Мы знаем, но и мы — глядим и не поем.

9

Коль правда, что ничто не ново, всё обычно,
Что наше новое — лишь снова введено, —
Изволь изобретать! Носи, рождай вторично
Дитя, которое уж было рождено!

Но нет! История пусть мне укажет лично
Твой образ, бывший там — когда-нибудь давно,
И пусть история докажет мне логично,
Что нам твое лицо теперь повторено!

Коль так, хотел бы я знать древних лет сужденье
О красоте твоей, я вразумился б им,
Что́ на земле у нас — прогресс или паденье,

Иль то ж всё вторится путем чередовым.
Но, я уверен, встарь рождало удивленье
И то, в чем мы теперь несовершенства зрим.

10

Во мне перед собой ты видишь время снега,
С кустов зеленая одежда их снята,
Поблеклый лист упал, исчезла песен нега —
Певцов пернатых нет, в оркестре пустота.

Во мне перед собой ты видишь час ночлега,
На западе дрожит чуть светлая черта,
И всё густеет мрак, мрак — этот alter ego [1]
Тьмы смертной, вечной тьмы, — недалека и та.

Во мне перед тобой дней прошлых лишь остаток,
Лишь искры под золой, а пламень прекращен,
Убитый тем, чем жил и чем питался он.

Люби ж меня сильней! Ты видишь: срок мой — краток.
Ты потерять меня страшишься, — миг лови!
Чем больше этот страх, тем больше дай любви!

11

Свет, может быть, тебе вопрос бы предложил:
Чем я твоей любви награду заслужил —
Каким достоинством? Ответить было б трудно, —
Число моих заслуг здесь на земле так скудно.

Попробуй, что-нибудь мне в славу припиши, —
Всё это ты солжешь от доброты души,
Из снисхождения. Над трупом лгать — напрасно.
Тут истина стоит и судит беспристрастно.

Забудь меня совсем! Любовь нарядишь в ложь —
Себя лишь пристыдишь и труп мой в стыд введешь.
Умру — не говори ни слова о покойном!

[1] Второе я (лат.). — *Ред.*

Обоим стыдно нам, — свет верно б так решил.
Мне стыдно: в мире я так мало совершил,
Тебе: твоя любовь жила на недостойном.

12

Когда мой час пробьет и в положенный срок
Сорвет меня с земли неумолимый рок —
Я буду жить в стихах; в них сохранен судьбою,
Всегда, мой верный друг, останусь я с тобою.

Взгляни на них и знай, что в них моя сполна
Существенная жизнь тебе посвящена.
Земля! Возьми мой труп! Свое своим зачисли!
Ты ж лучшее возьмешь — свет разума, свет мысли.

Что потеряешь ты с кончиною моей?
Мой неподвижный прах, горсть пыли, снедь червей, —
Ведь памяти твоей прах этот недостоин.

А если ценное кой-что заключено
И было в прахе том, то, милый друг, оно
Навек останется с тобою, — будь спокоен!

Джордж Гордон Байрон
(1788—1824)

385. СТИХИ, ВЫРЕЗАННЫЕ НА ЧАШЕ, СДЕЛАННОЙ ИЗ ЧЕРЕПА

Не трепещи! Не помышляй,
Что отбыл дух, во мне витавший!
Вином сосуд сей наполняй,
Сосудом скорби быть преставший!
Теперь уж стонов никаких
Из этой кости не исходит,
И сим единым не походит
Она на черепы живых.

Как ты, я жил, любил и пил —
И умер я. Земля могил
Живится прочими костями,

А я... Вливай в меня вино
И прикоснись ко мне устами —
Я не обижусь: всё равно!
В утробе ямы безотзывной
Гнить было б участью моей, —
Твои ж уста не так противны,
Как жала гробовых червей.
Чем по обычному наследью
Быть тварей ползающих снедью,
Не лучше ли мне чашей быть,
Янтарным наполняться током,
Кипеть прозрачных гроздий соком,
Питьем богов тебя поить?

Бывало, средь беседы шумной
Сей череп шуткой остроумной
Звенел. Теперь, как он утих,
Пусть, если сам острот не вержет,
Тем, что в нем держится, поддержит
Дух остроумия в других!
И что приличней для замены
Сил мозга в черепе пустом —
Искрокипучей острой пены,
Клубимой пенистым вином?
Вкушай же нектар сей, покуда
Ты в силах пить! Когда ж отсюда
Уйдешь и ты, как все уйдут,
Сыны другого поколенья,
Быть может, и твою из тленья
Пустую голову возьмут
И тем же нектаром нальют.

И дельно! — В краткие мгновенья
Для нас отсчитанных годов
Как скудно-жалки похожденья
Сих человеческих голов!
Пускай червей от хищной злости
Спастись дадут им этот путь,
И их, хоть в виде мертвой кости,
Употребят на что-нибудь!

⟨1849⟩

С ФРАНЦУЗСКОГО

Андре Шенье
(1762—1794)

386

Влюбленных коз супруг брадатый и зловонный
Сатира поразить напряг свой лоб наклонный,
Сатир, предусмотрев миг стычки роковой,
Стал против, упершись копытною ногой.
Наметились — и вдруг — лоб в лоб! Удар раздался —
И воздух застонал, и лес поколебался.

387

Амур взялся за плуг — и, земледелец новый,
Запряг в ярмо волов, на них взял бич суровый,
И, чуть лишь свежая бразда проведена,
Он, щедрою рукой кидая семена,
Властительно кричит к Юпитеру: «Послушай!
Не порти жатву мне ни влагою, ни сушей!
Не то — с Европой вновь явлюсь я, мститель твой,
И вновь ты склонишься мычащей головой!»

388

Мучительная ночь! Да скоро ли заря
Взойдет? Скажите мне, дождусь ли утра я?
Подумайте, всю ночь ворочаться — как сладко!
Несносная тоска, истома, лихорадка!
Камилла! Это ты — всему виной. Ты спишь,
Камилла, а меня бессонницей томишь,
Да, ты, моя любовь; о, если б ты хотела,
Ночь эта для меня б, как птица, пролетела.
Средь сонных грез твоих душа моя, виясь,
Летает над тобой. Поутру пробудясь,
Прочтешь мои стихи — узнаешь всё. О, боги!

С тяжелой головой привстав в ночной тревоге,
Тобою полон весь, писал я; на меня
Смотрел унылый свет лампадного огня,
Когда со вздохами я слез обильных влагу
И душу проливал и сердце на бумагу;
А ты, Камилла, спишь, закрыт твой ясный взор,
Чрез нежных, алых уст немой полураствор
Струится легкий пар спокойного дыханья —
Пар, полный теплоты и роз благоуханья!
Но если ты не спишь, Камилла, и, когда
Мне сладость отдыха полночного чужда,
Ты в это время... ты — средь счастия земного
Преступно бодрствуешь в объятиях другого,
И, между тем как мне бессонница горька,
Ты ночь бранишь за то, что слишком коротка!..

О бог забвения! Приди, закрой мне очи,
Задерни их навек завесой смертной ночи!
Она теперь... с другим. Гром! Молния! Гроза!
О боги! Для чего вы дали мне глаза,
Способные судить о красоте? Напрасно
Вы сердце дали мне, которое не властно
Предохранить себя от ядовитых ран
И вводится легко в прельстительный обман?
Другая — с красотой скромнейшей — лучше любит
И, дорожа своим возлюбленным, не губит
Его так ветрено, ей можно доверять, —
Она любовника боится потерять
Затем, что ей не так легко найти другого.
Она верна, — пред ней соблазна рокового
Не ставят здесь и там; а кроткие черты,
Веселость, ровный нрав — замена красоты.
Красавица ж, когда неугомонно всюду
О ней шумят, кричат: «Вот красота! Вот чудо!» —
Готова оскорблять святыню чувства — да!
Она становится капризна и горда,
Сегодня вам она оказывает нежность,
А завтра — явную, обидную небрежность,
И коль у ней из рук иной и ускользнет —
Беда не велика: у ней толпа, народ.
Она любуется наружностью своею
И чувствует любовь, внушенную лишь ею.

Пьер Жан Беранже
(1780—1857)

389. ОРЕЛ И ПЕТУХ

Орел! Ты горд; меня ты гонишь.
Дворцы и слава — всё тебе!
Ты в облаках, ты в небе тонешь,
А я — петух — в углу, в избе.
Живешь ты пышно, я — убого,
Но злая зависть мне чужда.
Таких орлов видал я много, —
Авось еще увидим, — да!

Когда примчал свою престольность
Ты из-под римских к нам небес,
Свою оплакивая вольность,
Петух на колокольню влез.
Тысячелетье он томился,
Во тьме глубокой шли года,
Двукратно луч мелькнул — и скрылся.
Петух еще потерпит, — да!

Какой же — белый ты, берлинский,
Что в схватке с братом был так зол,
Кремля ль двуглавый, исполинский
Или австрийский ты орел?
Прими же знак особый, ясный,
Чтоб не смешаться иногда
С другим орлом; мой гребень красный —
Мой неизменный признак, — да!

Ты римлянин, хоть неоткрыто,
А я от головы до шпор
Прост, ветрен, старый волокита,
Подчас ревнив, охоч до ссор,
Криклив, немножко забияка,
Но это нынче не беда!
Ты — царь, но не в сердцах, однако:
Там петушок на царстве, — да!

Прими хоть мой совет домашний:
Не будь так горд! Успел ты, — но
Ведь твой успех — успех вчерашний,

Орелъ и пѣтухъ.
(изъ Беранже)

— — —

Орелъ! ты гордъ; меня ты гонишь.
Дворцы и слава — все тебѣ!
Ты въ облакахъ, ~~[illegible]~~ ты въ небѣ тонешь,
А я — пѣтухъ — въ углу, въ избѣ.
Живешь ты пышно, я — убого,
Но злая зависть мнѣ чужда.
Такихъ орловъ видалъ я много, —
Авось еще увидимъ — да!

Когда примчалъ свою престольность
Ты изъ подъ Римскихъ къ намъ небесъ,
Свою оплакивая вольность,
Пѣтухъ на колокольню взлѣзъ.
Тысячелѣтье онъ томился;
~~[illegible]~~;
Во тьмѣ глубокой цѣлы года;
Внезапно лучъ мелькнулъ — и скрылся; ~~[illegible]~~
Пѣтухъ еще потерпитъ — да!

А я в истории давно,
Гош и Марсо — мои два сына —
Венчались лаврами всегда.
Я — галл, петух, а исполина
Ждет Ватерло, быть может, — да.

Тебе мой гадок холм навозный,
Но эта гадость — тук земной.
Ты в вышине паришь морозной,
Тогда как тепел холмик мой.
С тобою кто-то однородный,
Кого вела его звезда,
Там на скале погиб бесплодной,
А я в грязи пою всё, — да!

Твой крик — предвестье непогоды —
Раздастся — и со всех сторон
В смятенье движутся народы
На мрачный праздник похорон.
В своем углу гостеприимном
Я жду, как будет череда
Луч солнца мирным встретить гимном,
И всё пою.. ты слышишь? — Да!

⟨1859⟩

390. БОГ

Бог как-то раз в разгульный час
Вниманье обратил на нас:
«Ну что-то там с землей творится?
Авось по-прежнему вертится!»
Сказал он так и шар земной
Вдали увидел пред собой.
«Какой у вас там беспорядок!
Ей-богу, глобус ваш мне гадок.

Я белых, черных вас создал,
Фигуры разные вам дал,
А чтоб удобней вами править,
Министрам вздумал предоставить, —
И что же? Мне наперекор
Министры делают лишь вздор;
Но уж пора поднять тревогу
И к черту их прогнать, ей-богу!

Чтоб смертный жизнью не скучал —
Я женщин и вино создал,
Но вы затеяли другое:
Стрельбу, войну, убийство злое,
Кричите, что я — бог солдат,
Что мил церковный мне парад;
Но, всеми вам клянусь святыми, —
Пехота, конница — черт с ними!

Что за шуты на пропасть нам
Сидят так чинно по местам?
Они вас в лапы всех забрали
И вам бог весть чего налгали,
Что я их власть благословил,
Что я на царство посадил,
Но я скажу вам по секрету:
Черт побери всю сволочь эту!

Другая сволочь есть у вас
Под вывеской скуфей и ряс,
Они меня вам прославляют
И тут же мною вас пугают,
Но верьте, милые друзья,
Ученье их — галиматья,
И коль есть толк в попе едином —
Пусть черт мне будет господином!

А мой вот с вами уговор:
Живите весело, без ссор,
Топить за это вас не буду
И добрых в небе не забуду.
Но разговор закончу свой,
Чтоб не услышал голубой,
Беда нам — третье отделенье...
Прощайте! Наше вам почтенье!»

1859 (?)

Жан Ребуль
(1796—1864)

391. АНГЕЛ И МЛАДЕНЕЦ

Над колыбелью ангел ясный
С главой поникшею стоял,
И, мнилось, он свой лик прекрасный
В чертах младенца созерцал.

«Пойдем со мной, мой двойник нежный! —
Сказал он. — Стоит ли труда
Тебе вступать в сей мир мятежный!
Пойдем со мной — туда! туда!

Здесь горечь вмешана и в сладость,
Здесь рядом — вёдро и гроза,
Восторги стонут, плачет радость,
К улыбке примкнута слеза.

Здесь счастья очерки неполны,
Чуть свет мелькнет — ложится тень,
А там — блаженства хлещут волны
И беззакатный блещет день.

Там не услышишь о могилах
И не увидишь лютых бурь,
Не будешь плакать — глазок милых
Не притуманится лазурь.

Ты возлетишь со мной свободно —
Не нужно дел твоих судить,
Святому промыслу угодно
Тебя от жизни пощадить.

Пусть люди в трауре не ходят!
Пускай из мира суеты
Тебя улыбкою проводят,
Как встречен был улыбкой ты.

Другим при плаче безутешном
Пускай готовят гроба сень!
В твоем же возрасте безгрешном
Последний день есть лучший день».

И ангел, белыми крылами
Взмахнув, вознесся в горний свет,
Над колыбелью ж со слезами
Склонилась мать... Младенца нет...

Между 1842 и 1850

Виктор Гюго
(1802—1885)

392. НЕ ОБВИНЯЙ ЕЕ

Нет! Падшей женщины не порицай открыто!
Кто ведает весь груз ее земного быта?
Кто ведает число ее голодных дней?
Печальных опытов кто не бывал свидетель,
Как вихрь несчастия колеблет добродетель
И как несчастная вотще стремится к ней?
На ветке дерева так капля дождевая
Блестит, на ней держась и небо отражая,
Но ветку покачнут — и капля сорвалась,
И — до паденья — перл, она с паденьем — грязь.

Виновен ты, богач, виновны мы и злато.
Та капля чистая, небесная когда-то,
В грязи сохранена, — и, чтоб явилась вновь,
От праха отделясь, приняв свой вид хрустальный,
Она, блестящая, в красе первоначальной —
Тут нужен солнца луч, там надобна — любовь.

⟨1840⟩

393

Порой, когда всё спит, восторженный вполне
Под звездным куполом сажусь я в тишине,
К полету времени бесчувствен — жду и внемлю,
Не снидут ли с небес глаголы их на землю,
И, трепетный, смотрю на праздник торжества,
Ниспосланного в ночь земле от божества,
И мнится: те огни, что в безднах пламенеют,
Мою лишь только грудь, мое лишь сердце греют,

Что мне лишь суждено читать на небесах,
Что я — земная тень, ничтожный призрак, прах —
Днесь царь таинственный на пышном троне ночи,
Что небо блеском звезд мои лишь тешит очи.

⟨1840⟩

394. ДВА ЗРЕЛИЩА

Как в дремлющем пруде под сению древесной,
У смертного в душе два зрелища совместны —
В ней видимы: небес блистательный покров
С его светилами и дымкой облаков —
И тинистое дно, где зелья коренятся
И гады черные во мраке шевелятся.

⟨1843⟩

395. К ФАННИ П.

Оградясь невинностью святою,
Пой, играй и веселись, малютка!
Будь цветком! Будь утренней зарею!
Жизнь твоя покуда — смех и шутка.

О судьбе не погружайся в думу!
Даль темна. Среди земных явлений
Наша жизнь — увы — немножко шуму
В грустном мире, где так много тени.

Зла судьба: мы это видим ясно, —
Наша скорбь ей ничего не значит.
Ты мила; но то, что так прекрасно,
Пуще страждет, наигорше плачет.

Ты сверкаешь детскими очами,
А в грядущем — горе и утраты.
Глазки, так богатые лучами,
И слезами наконец богаты.

Но пока закрыто всё, что худо, —
Смейся! Смех есть лучший дар незнанья.
Веселись, дитя мое, покуда
Над тобой покров очарованья!

Розан мой! Еще ты вихрем светским
Не измят, не испытал ненастья,
Озарен ты тихим счастьем детским —
Отраженьем маменькина счастья.

Дар небес — поэзия святая
При тебе, как ключ неистощимый;
При тебе живет она, блистая
Из очей ее — твоей родимой.

На земле ты — ангел настоящий,
Херувим! Меня в восторг приводит
Ясность та, что в твой зрачок блестящий
Из души невинной переходит.

Пользуйся блаженною минутой!
Наслаждайся! Радость мимолетна.
Все мы прежде мук сей жизни лютой
Сладость детства пили беззаботно.

О, прими мое благословенье!
При разлуке так идет молитва!
Предо мною — гроб, успокоенье,
Пред тобою — жизненная битва.

Бог с тобой, невинное созданье!
Жребий твой сказался от пеленок:
Ангел ты, ведомый на страданье,
В женщины назначенный ребенок!

⟨*1856*⟩

396. ОНА СКАЗАЛА

Она сказала: «Да, — и тем я дорожу!
Мечта о лучшем пусть в соблазн меня не вводит!
Ведь ты со мною здесь, глазами я слежу,
Как мысль в твоих глазах вращается и ходит.

И тем довольна я — конечно, не вполне!..
И всё же мой удел — удел благополучных.
Чего не любишь ты — насквозь известно мне,
Я двери стерегу от лиц, тебе докучных.

Твоя голубка — я. Ты пишешь — близ тебя,
Уютно сжавшись, я на локоток прилягу,
То подниму перо, то вслушиваюсь я,
Как ты, мой гордый лев, ворочаешь бумагу.

Воображенье — хмель, мечта — напиток, да.
Трудись! Я счастлива и не ропщу нисколько...
Но не мешало б мной заняться иногда,
А то ведь целый день всё книги, книги только!

Под тенью твоего склоненного чела
Подчас и грустно мне. Ни слова мне, ни взгляда!
Чтоб на тебя смотреть удобно я могла,
И на меня тебе взглянуть немножко надо».

⟨1856⟩

397. ЧТО СЛАВА?

Что слава? — Нелепые крики.
Свет жалок, куда ни взгляни —
В нем многие тем и велики,
Что малы, ничтожны они.

Я знаю, что свет рукоплещет
Героям — когтистым орлам,
Железу, которое блещет,
И многим несветлым делам.

Да! Счастье земли — колесница,
Помпей в триумфальной красе
В одном из колес ее зрится,
А Кесарь — в другом колесе.

Всё то ж — в Тразимене, Фарсале.
Любуйтесь сквозь пламя и дым
Всем тем, что Нероны взорвали
Палящим дыханьем своим!

Молитесь! Склоняйте колена!
Мне ж крошкой глядит великан.
Всё вздор! Потому что он — пена,
Уж будто б он стал океан?

Да, — веруйте в прах величавый,
В громады пустых пирамид,
Во всё, что прикинулось славой,
Во всё, что так бурно шумит!

Коснея в понятиях диких,
Молюсь я, поверженный ниц,
Не богу героев великих,
А господу маленьких птиц, —

Не богу воинственных станов,
Орудий, мечей и штыков,
Не богу тех злых ураганов,
Что двигают массы полков, —

Не идолу тех, что тревогу
Подъемлют, купаясь в крови,
Но мирному, доброму богу —
Источнику вечной любви, —

Тому, что в поэме вселенной
Зажег, в мирозданья строфах,
Стих первый — любовию в сердце,
Последний — звездой в небесах;

Что пищу дает своим птичкам,
Дарует и мох, и тепло
Их гнездышку с белым яичком,
Чтоб певчее племя росло;

Что, грея соломкою сельской
Семейство Орфеев лесных,
Шлет в лиственной почке апрельской
Мир новый, волшебный для них;

Когда ж это всё оперится,
Излучисто врозь полетит —
Вкруг каждого гнездышка, мнится,
Святое сиянье горит.

Историю мы без препоны
Творим себе — всем напоказ, —
Великие есть Пантеоны,
Огромные храмы у нас.

У нас есть мечи роковые,
И мало ль различных чудес?
У нас — Вавилон, Ниневия,
Гробницы до самых небес.

А что бы осталось? — лишь слезы, —
Когда бы зиждитель миров
Отнять захотел у нас розы,
Когда бы он отнял любовь!

⟨1856⟩

398. ДЕТСТВО

Ребенок пел, играл, вблизи лежала мать,
Едва, едва дыша. Ребяческому пенью
И бедной матери предсмертному хрипенью —
Обоим вдруг тогда мне довелось внимать.

Ребенок — лет пяти. Что он? — Малютка, крошка!
От детских игр его не отгоняйте прочь!
И вот — он целый день был весел у окошка,
Весь день резвился, пел; мать кашляла всю ночь —

И к утру умерла, вздохнув о малолетке,
А он — он принялся опять играть и петь.
Печаль есть зрелый плод, — на слишком слабой ветке
Тяжелому плоду бог не дает созреть.

⟨1856⟩

399. ВЫХОДЕЦ ИЗ МОГИЛЫ

О, стоны матерей! Вам царь всевышний внемлет.
Птенцов почивших он от вас к себе приемлет,
И птичку милую, им взятую туда,
Низводит к вам с небес на землю иногда.
У неба много тайн. У бога много силы.
Есть к колыбели путь обратный из могилы.

Одна из матерей жила в Блуа. Знаком
Мне был ее большой соседний с нашим дом.
В довольстве родилась, росла, потом вступила
В союз желанный с тем, кого она любила.

У них родился сын. Какая радость! Сын!
И что за колыбель! Шелк! Бархат! Балдахин!
Младенца кормит мать своею грудью нежной,
Всю ночь она полна заботою мятежной,
Не спит, ее глаза горят во тьме ночной, —
К ребенку наклонясь с подушки головой,
Чуть дышит, бедная, чтоб слышать, как он дышит;
Малейший стон его, малейший шорох слышит,
И утром вновь бодра, довольна, весела!..

Вот в кресла кинулась и гордо прилегла
Горячей головой на их косую спинку,
Грудь, полнясь молоком, раздвинула косынку,
Улыбка на устах, и вот — ее дитя!
«Мое сокровище! Мой ангел! Жизнь моя!» —
Бывало, говорит, и целовать у крошки
Начнет те маленькие розовые ножки —
И как целует их! Младенец-херувим
Смеется, голенький, и корчится упрямо,
Визжит и тянется к источникам родным,
И, бережно прижат к местам заповедным,
Притихнул.

Дни бегут. Уж он лепечет «мама».
Растет. Младенца рост так шаток — боже мой!
Он ходит, говорит: он в возраст уж такой
Приходит, где язык — впоследствии привычка —
Едва лишь оперен, бьет крылышком, как птичка,
И пробует лететь, и кое-как летит.
«Вот он! Каков сынок! — родная говорит. —
Ведь он уж учится, он азбуку уж знает, —
Такой понятливый! Всё на лету хватает.
Он — страшный умница и плут большой руки, —
Вообразите, — он уж хочет по-мужски
Одетым быть! О да, вот он о чем хлопочет!
Он и по платьицу быть девочкой не хочет.
Я Библию ему читаю — он за мной
Всё — слово за словом — мне вторит. Ангел мой!»
И мать восхищена, и детскою головкой
Не налюбуется. Обновка за обновкой!
Что день, то радости. Мечтаньями полна
О будущем, она им детски предается.
Какое торжество! Как чувствует она,
Что сердце матери в ее ребенке бьется!

Но дни идут, идут, и вдруг — крутой уступ.
Однажды злейший бич, исчадье ада — круп
Нежданный налетел и, в дом открыв лазейку,
Напал на мальчика, схватил его за шейку
И стал его душить... Тот силится дохнуть —
Не может: воздуху загородила путь
Болезнь проклятая, того и жди — разрушит!
Бедняжку, кажется, и самый воздух душит.
Гортань его хрипит. Во впавших глазках тень
Всё глубже, всё темней, — померкнул ясный день.
Как плод, как ягодка под клевом птицы жадной,
Ребенок вдруг завял. Как вор, как тать нещадный,
Его схватила смерть. Отчаянье кругом!
Гроб, траур, мать, отец, биенье в стену лбом —
И вопль — ужасный вопль!.. Где мать о сыне плачет,
Там онемей язык! Что слово наше значит?
Всё кончено. Нет слов!

И вот, погружена
В свое отчаянье, недвижная, она
Три месяца сидит. Хоть бы малейший трепет
Был жизни признаком! В устах — несвязный лепет,
Она не ест, не пьет, глаза устремлены
Тупые, мутные — в один кирпич стены.
Тут муж при ней в слезах. Она почти не дышит,
Тень смерти на лице. Зовут ее — не слышит.
Порой лишь в ужасе страданья своего
Шептала скорбная: «Отдайте мне его!»
Врач мужу намекнул тайком, что было б кстати,
Когда б родился брат покойному дитяти,
Что это бы спасло страдалицу; и вот
Проходит день за днем, проходит месяц, год...
Потом несчастная вдруг чувствует в недуге
Под сердцем у себя движенье — и в испуге
Затрепетала вся, бледнеет: «Боже мой!
Нет, нет, я не хочу, чтоб был не тот — другой;
Тот стал бы ревновать, сказал бы: «А! ты любишь
Другого — не меня, его теперь голубишь;
Меня забыла ты, достала мне взамен
Любимца нового, он у твоих колен
Обласкан и согрет, он стал твоя отрада,
А я лежу зарыт в подземной этой мгле.
Мне душно здесь, в гробу, мне холодно в земле». —
Так мать рыдала. — Нет! Я не хочу. Не надо!»

Но день судьбы настал, настал и час родин —
И радостный отец опять воскликнул: сын!
Но он один был рад: несчастная больная
Лежала, прошлое в бреду припоминая;
Новорожденного к ней принесли, — она
Взяла его на грудь, как мрамор холодна,
Почти бесчувственна; она о том ребенке
Всё думой занята, у бедной не пеленки,
А саван на уме, ей тот погибший сын
Всё представляется: бедняжка — там — один!..
Но в это время вдруг — о, чудо! Миг блаженный!
Ей голосом того ее новорожденный
Так сладко произнес, как ангелы поют:
«Послушай! Это— я. Не сказывай! Я тут».

⟨1857⟩

400. У РЕКИ

Жил лев близ той реки, где и орел порою
Водицу испивал,
И тут же встретились два мужа раз — и к бою!
И оба — наповал!

То были короли, над многими странами
Их высился престол,
А тут, над мертвыми носясь их головами,
Так произнес орел:

«Давно ль при вас, цари, весь мир дрожал от страха?
Вы спорили в боях
За лоскуток земли — за горсть земного праха,
И вот вы сами — прах.

Вчера блистали вы в венках своих лавровых,
Властители властей, —
А завтра явится ряд камней известковых
Из царственных костей.

Скажите: для чего дух алчный вас за грани
Владений ваших вел?
Здесь, у одной реки, живем же мы без брани —
Он — лев, и я — орел.

И из одной реки мы пьем спокойно воду,
Он взял себе леса,
Пески, пещеры; я взял воздух и свободу,
Простор и небеса».

⟨1857⟩

401. ТЕПЕРЬ
(ПОСЛЕ СМЕРТИ ДОЧЕРИ)

Теперь, когда Париж, и эти мостовые,
И эти мраморы и бронзы — далеко,
Когда мне тень дают деревья вековые
И мне лазурь небес оглядывать легко, —

Теперь, когда от злой душевной непогоды
Успел я отдохнуть,
И после бури той святая тишь природы
В мою ложится грудь, —

Теперь, когда могу, близ вод кругом разлитых,
Я мыслью вознестись и видеть с высоты
Глубоких истин ряд, в душе моей сокрытых,
И видеть под травой сокрытые цветы, —

Теперь, создатель мой, с сей затишью святою
Пришла мне череда
Сознать, что дочь моя под этою плитою
Уснула навсегда.

И вновь, глубокого исполнен умиленья,
На горы, на леса и воды я гляжу,
И, видя, как я мал в безмерности творенья,
Вновь чувствую себя и в разум прихожу.

Вновь на тебя, творец, смотрю я правоверцем,
И вновь, согрет мольбой,
Иду к тебе с моим окровавленным сердцем,
Растерзанным тобой.

И вновь душа моя к тебе, мой бог, взывает:
Ты свят, ты терпелив и в благости велик!
Ты знаешь, что творишь, а смертный — что он знает?
Он — ветра прихотью колеблемый тростник!

Гроб закрывается, но щель есть в этой крыше —
То дверь к тебе, творец!
И то, что здесь внизу концом считают, — выше
Начало, не конец.

Коленопреклонен, я сознаю, о боже,
Что ты единый — сущ. Чтоб весь я изболел —
Так было надобно. Кто спросит: для чего же?
Так было надобно, — ты этого хотел.

Пред волею твоей стою, смиренья полный.
Челн жизни мы тянуть
Должны из скорби в скорбь, из волн в другие волны —
И в вечность завернуть.

Всё видимое нам проходит часом, мигом.
На вещи смотрим мы с одной лишь стороны,
С другой — всё мрак для нас. Мы клонимся под игом,
Таинственных причин не зная глубины.

Уединенная, туманная окрестность
Везде объемлет нас.
Всевышний так хотел, — нам в мире ни известность,
Ни радость не далась.

Лишь благо низойдет — оно и улетело.
Наш мир — в руках судьбы, и бедный смертный в нем
Не видит уголка, где б мог сказать он смело:
«Вот здесь участок мой, моя любовь, мой дом!»

Глядь! Время старости угрюмой подступило,
А нечем дух отвесть, —
И это всё, как есть, так надобно, чтоб было,
Затем что это есть.

Творец! Наш темен мир, а небо многозвездно,
И песнь и вопль идут в гармонии святой.
Что смертный? — Прах, атóм, а вечность — это бездна,
Куда парит один и падает другой.

И что тебе, творец, на вышине бесстрастной
Объемлющему твердь,
Наш стон, скорбь матери, отчаянье несчастной —
Ее дитяти смерть?

Я знаю: должен плод под ветром падать, птица —
Ронять свое перо, цветок — свой аромат,
И чтоб неслась вперед творенья колесница,
Быть должен кто-нибудь под колесом измят.

Пыль, волны, слезы — всё необходимо в свете.
Условье бытия,
Чтоб там — росла трава, там — умирали дети, —
Всё это знаю я.

Создатель! Может быть, во глубине от века
Непроницаемых и чуждых нам небес
Творишь ты новый мир, где горесть человека
Идет в состав твоих неведомых чудес.

Быть может, это — цель иного мирозданья,
Чтоб полный грозных сил
Событий вихрь с земли прекрасные созданья
Куда-то уносил.

Неумягчаемость божественных законов,
Быть может, держит всё, чем населен эфир,
И снисходительность к безумью наших стонов
Расстроила бы всё, разрушила б весь мир.

Ты видишь, бог мой, здесь с лиющейся незвонко,
Но теплою мольбой,
С смиреньем женщины и простотой ребенка
Я весь перед тобой!

Взвесь, горний судия, всё, что я делал прежде,
Как мыслил, действовал, в борениях томим,
Трудился и страдал и жалкому невежде
Природу освещал сиянием твоим, —

Как шел я, не боясь ни ссылки, ни изгнанья!
Суди меня, мой бог!
Я мог ли ожидать такого воздаянья?
Суди! — Нет, я не мог —

Не мог я ожидать, склонен главой и бледен,
Что, тяжко надо мной десницу опустя,
Возьмешь ты у того, кто радостью так беден,
Ее последний луч, возьмешь его дитя!

Прости, что на тебя роптал я в лютом горе,
Что на тебя хула,
Как из ребячьих рук тяжелый камень в море,
Мной кинута была!

Могли ль твой видеть свет мои больные очи,
Когда спалила их нежданная гроза,
И траур лег на них чернее адской ночи,
И в нем до слепоты изъела их слеза?

И можно ль, господи, чтоб человек в потере,
Где мысли луч исчез,
Всё помнил, что над ним всё те ж на вечной сфере
Созвездия небес?

Да, я был слаб, как мать. Пред высшим приговором
Теперь склоняюсь я, приемля свой удел.
Другим мной брошенным на всю природу взором
В широкой горести мой разум просветлел.

Творец! Я сознаю, что тяжкий грех — проклятья.
Выдерживая боль,
Не буду я роптать, не буду проклинать я,
Но плакать мне позволь!

Да, слезы пусть текут, как водный ток обильный!
Ты сам нам слезы дал, — пускай они текут!
Позволь мне иногда на камень пасть могильный
И дочери шепнуть: «Ты чувствуешь? Я тут».

Позволь мне иногда ей перекинуть слово
Под тихий вечерок,
Когда казалось бы, что этот ангел снова
Меня услышать мог!

Сквозь зависть в прошлое я взор вперяю жадный
И всё мне видится тот миг, тот страшный час,
Когда мой херувим, мой ангел ненаглядный
Вдруг крылья развернул и улетел от нас.

И будет мне весь век тянуться час тот лютый,
Когда, утратив дочь,
Вскричал я: «Здесь был день — тому одна минута,
И вот — теперь уж ночь!»

Прости мне, господи, что дух мой так расстроен!
Не гневайся, что я горюю вновь и вновь!
Я умирен с судьбой, но я не успокоен, —
Из язвы роковой лилась так долго кровь!

Не гневайся, что так терпенье наше скудно!
Теряющим детей,
Ты знаешь, господи, как душу вырвать трудно
У скорби из когтей.

Ты знаешь: ежели во мгле существованья
Вдруг озарила нас в один счастливый день
Улыбка нового нам милого созданья
И жизни сумрачной нам разогнала тень, —

Когда нас обновил веселый вид ребенка,
Чья прелесть так светла,
Что кажется, для нас невинная ручонка
Дверь неба отперла, —

Когда шестнадцать лет, шаг проследив за шагом
И дочь прекрасную всем сердцем возлюбя,
Ее признали мы своим верховным благом,
Лучом дневным в душе и в доме у себя, —

Когда решили мы: нам этого довольно!
Всё прочее есть бред, —
О боже, посуди, как тяжело, как больно
Сказать: ее уж нет!

⟨1857⟩

402. ДЕРЕВО

Суровая зима мир саваном одела,
Зачерствела земля, вода окоченела.
«О дерево! Скажи, — воскликнул человек, —
Ты хочешь в топливо идти мне на потребу?»
— «Родившись из земли, в огне всхожу я к небу, —
Сказало дерево, — руби, о дровосек,
Руби меня и жги! — и дряхлый дед, и внуки
У этого огня пусть согревают руки,
Как божьей милостью их греется душа!»

— «А хочешь, дерево, идти в мой плуг?»—
«Согласно,
Хочу идти в твой плуг, я буду не напрасно
В нем землю бороздить. «Как жатва хороша!» —
Потом воскликнешь ты. Свершив труды святые,
Я ими вызову колосья золотые».
— «А хочешь ли идти в строенье, стать бревном
И в образе столба поддерживать мой дом?»
— «Согласно и на то,— я этим обусловлю
Твое спокойствие, держать я буду кровлю
Приюта мирного твоих домашних лиц,
Как прежде на себе держало гнезда птиц,
И листьев шум моих, тебя склонявший к думам,
Заменится твоих детей веселым шумом».
— «А хочешь, дерево, быть мачтой корабля?»
— «О, да, хочу, хочу, — скажу: прости, земля!
И в море синее без страха, без боязни
Сквозь бурю двинусь я». — «А хочешь в деле казни
Служить, о дерево, — позорной плахой быть
Иль виселицей?» — «Стой! Не смей меня рубить!
Прочь руку! Прочь топор! Прочь, адские созданья!
Прочь, люди, изверги! Нет, в деле истязанья
Я не согласно быть подставкой палачу, —
Я — дерево лесов — на корне жить хочу;
Одевшись листьями, я — род живой беседки —
Расту, даю плоды. Прочь! Ни единой ветки,
Свирепый человек, с меня не обрывай!
Живи, как хочешь, сам, — живи и убивай!
Я не сообщник твой в убийствах, не посредник.
Я мирный, добрый дуб. Мне ветер собеседник.
Сын мрака! Тьма нужна стеклу твоих очей!
А я — я солнца сын и друг его лучей.
Закон природы мне начертан весь любовью,
Тогда как твой закон нередко писан кровью.
Оставь меня! Пируй! Коль празднеств, балов счет
Неполон у тебя — прибавь к ним эшафот,—
Им можешь ты всегда меж двух забав, двух шуток,
Двух зрелищ, двух пиров — наполнить
промежуток, —
Веревки, цепи есть — и есть всегда собрат,
Который, пополам с несчастьем, виноват
В своем падении... А я меж листьев тенью
Дать места не хочу кровавому виденью».
⟨*1857*⟩

403. МАТЕРИ, ЛИШИВШЕЙСЯ РЕБЕНКА-СЫНА

Ты, верно, ангелу земному своему
Об ангелах небес наговорила слишком, —
Что в небе так светло, твердила ты ему,
Что там так хорошо, так весело мальчишкам;

Что небо — это храм, рассказывала ты,
На золотых столбах, что это — род беседки
В роскошнейшем саду, где звездочки — цветы,
А солнце — яблочко, сорвавшееся с ветки;

Что сколько там, в раю, нельзя и описать,
Игрушек, лакомства; хотим ли быть любимы?
Для этого есть бог; хотим ли поиграть
И порезвиться мы? На это — херувимы;

Что сладко с богом там сливаться всей душой
И что встречает там с земли переселенца
В домашней прелести близ девы пресвятой
С улыбкой ясный лик предвечного младенца.

А не внушила ты былинке нежной той —
Ребенку милому, что он, тобой любимый,
Тобой взлелеянный, весь неотъемно твой,
Что он в сей жизни — свет, тебе необходимый;

Что после, как к концу наклонится твой век,
Нуждаться будешь ты в сокровище едином,
Чтоб при тебе тогда был крепкий человек
И этот человек тебе был нежным сыном.

Не говорила ты, что божья воля есть
На то, чтоб вдаль и вдаль идти земной дорогой,
Что женщина сперва должна мужчину весть,
А он потом ей был опорой и подмогой.

И что ж — однажды... Верх несчастья твоего!
В тот лучезарный храм, в ту горнюю беседку
Та птичка милая вспорхнула — оттого,
Что для нее сама ты отворила клетку.

⟨*1857*⟩

404. К ДОЧЕРИ

Живи, как я, мой друг, в тиши, глуши — и только.
Блаженство на земле для нас не суждено.
Что нужно? Счастье? — Нет! — Что ж? Торжество? —
Нисколько!
Смирение одно.

Будь кроткой, доброй будь! Как сводит полдень ясный
В один небесный круг весь пыл своих лучей,
Своди всю благодать души твоей прекрасной
В лазурь твоих очей!

Нет торжествующих, счастливых нет на свете.
Для жизни дан нам час, и то неполный час —
Минута — миг один, и все мы точно дети:
Игрушка тешит нас.

Для счастья нашего недостает так много,
Недостает того и этого, всего, —
Нам нужно многое... А как рассмотришь строго —
Что нужно? — Ничего —

Иль малость сущая. Чего на сцене светской
Все ищут? — Это звук, звук имени, — наряд, —
Ряд блесток, галунов, — гремушка славы детской, —
Улыбка, слово, взгляд.

Любви недостает — и скучно под короной!
Воды недостает — и умирай в степи!
Повсюду человек — пустой сосуд бездонный.
Терпи, мой друг, терпи!

Взгляни на мудрецов, превознесенных нами!
Взгляни на воевод, летавших через Понт,
Которых яркими сияет именами
Наш бледный горизонт!

Они, подобные истаявшим светилам,
Рассыпав все лучи на жизненный свой путь,
Шагнули в сумрак, в тень, пошли к гробам, к могилам —
От блеска отдохнуть.

С зарею влажными от жалости глазами
Глядят на бедный мир святые небеса

И утро каждое кропят его слезами —
Мы говорим: роса!

Бог вразумляет нас на дольнем нашем ходе,
И что такое — мы, и что такое — он,
Начертан в нас самих и в видимой природе
Божественный закон.

Покорствуй, дочь моя: его веленья святы
И должно каждому жить неизменно в нем.
Дух ненависти — прочь! Иль всё любить должна ты,
Иль плакать обо всем.

⟨1857⟩

405. КАПЛЯ

Между скал струя бежала
И холодною слезой
Вся по капле ниспадала
В море, полное грозой.

«Это что? Мне сестры — бури,
Молний луч на мне горит,
Слито с небом я в лазури, —
Море гневно говорит. —

Крошка! Ты о чем хлопочешь?
Мне ль — гиганту ты помочь,
Мне ль воды прибавить хочешь?
Труд напрасный! Плакса, прочь!»

«Да, бассейн твой, море, полон, —
Струйка молвила, — но я
Влить хочу в него... он солон...
Каплю годного питья».

⟨1858⟩

406. ПО ПОВОДУ СТИХОВ ГОРАЦИЯ

(Отрывок)

Настанут времена: не будут птичку с ветки
Хватать и обучать в объеме узкой клетки,
И общество людей посмотрит не шутя
Как на святой залог на каждое дитя,
И будет так умно воспитывать ребенка,
Чтоб выйти мог орел из слабого орленка,
И дастся божий свет там каждому на часть,
Где горечь знания преобразится в сласть.
Всё, что оставили нам римляне и греки,
К наследникам пойдет без варварской опеки
И станет подвигов учебных пред концом
Ученья роскошью, оправою, венцом,
А не фундаментом. Не будет бедный школьник
К стихам Виргилия прикован, как невольник,
Иль маленький лошак, навьюченный сверх мер,
Под плетью черствого схоластика-педанта,
Который мальчику под ношей фолианта
Кричит: «Ну! Ну! Тащи! Ведь этот вьюк — Гомер!»
В селенье каждое там свет проникнет быстро,
Где место темного в училище магистра
Займется мыслящим вожатаем людей,
Врачом невежества, апостолом идей.
Не будут наконец и школьник и учитель
Тот — вечный мученик, а тот — всегда мучитель.
Легко освободясь от нашей дикой тьмы,
Там будут спрашивать с улыбкой наши внуки
О том, что делали и как учились мы,
Как филин воробья вгонял в гнездо науки.
Науки возблестят во всем величье там,
Как царственный чертог, как лучезарный храм;
Наставник явится на поприще высоком
Благовещателем, святителем, пророком,
Лиющим теплоту, и свет, и благодать
В полуотверстую ребяческую душу,
Из кубка вечности дающим ей вкушать
Того, кто создал всё — и зыбь морей, и сушу;
И утвердится всё: законы, долг, права,
И станет всё ясней, и, более раскрыта,
Природа сложит там понятные слова
Из литер своего святого алфавита.

⟨1858⟩

407. РЕБЯЧЕСТВО

Шестнадцать было ей, а мне двенадцать только,
Резвясь и о любви не думая нисколько,
Чтоб с Лизой поболтать свободно вечерком,
Я маменьки ее ухода ждал тайком,
И тут поодаль мне от Лизы не сиделось,
Я придвигался к ней, мне ближе быть хотелось.

Как много отцвело с тех пор весенних роз!
Как много перешло людей, гробов и слез!
Порою думаешь: где эти розы, слезы?
Где Лиза? И мои ребяческие грезы?
Тогда любились мы. Мы были с ней вдвоем
Две птички, два цветка в убежище своем.

Я любопытствовал, она была большая,
А я был маленький. Стократно вопрошая:
К чему и для чего? — я спрашивал затем,
Чтоб только спрашивать. Когда моя пытливость
В ней возбуждала вдру́г иль нежную стыдливость,
Или задумчивость — я всё твердил: зачем?

Потом показывал я ей свои игрушки,
Моих солдатиков, мой кивер, саблю, пушки,
Я книги все свои пред ней перебирал,
Латынь, мою латынь — предмет моих усилий.
«Вот, — говорил я, — Федр! А вот и мой Виргилий!»
Потом я говорил: «Отец мой — генерал!»

И Лизе для молитв, для церкви, для святыни,
Знать было надобно немножко по-латыни, —
И вот, чтоб ей помочь перевести псалом,
К ней на молитвенник склоняться мне случалось,
Когда молились мы, и в этот миг, казалось,
Нас ангел осенял невидимым крылом.

Она, как взрослая, свободно, без уклонок,
Мне говорила «ты». Ведь что ж я был? — Ребенок.
Я «вы» ей говорил и робок был и глуп.
Со мною вместе раз над книжкою нагнулась
Она, и. . . боже мой! Щека ее коснулась
Своими розами моих горящих губ, —

Я вспыхнул, покраснел, и спрятался наивно
Под Лизы локоном и крепко, инстинктивно
Припал, прижался к ней, — и вырвалась, скользя,
Она из рук моих с увертливостью гибкой,
И, обратясь ко мне с лукавою улыбкой,
Произнесла: «Шалун!» — мне пальчиком грозя.

⟨*1858*⟩

408. СМЕРТЬ

Над нивой жизненной я видел эту жницу.
Схватив блестящий серп в костлявую десницу,
Она, повсюду страх и ужас разнося,
Шагала, тем серпом махая и кося, —
И триумфаторы по мановенью жницы
Мгновенно падали с победной колесницы;
И рушился алтарь, и низвергался трон,
И обращались в прах и Тир, и Вавилон,
Младенец — в горсть земли, и в пыль — зачаток розы,
А слезы матери — в источник вечный — в слезы,
И скорбный женский стон мне слышался: «Отдай!
Затем ли, чтоб терять, мне сказано „рождай!“».
Я слышал общий вопль неисходимой муки.
Там из-под войлока высовывались руки
Окостенелые, и всё росло, росло
Людских могил, гробов и саванов число.
То было торжество печали, тьмы и хлада,
И в вечный мрак неслась, как трепетное стадо,
Под взмахом грозного, всежнущего серпа
Народов и племен смятенная толпа;
А сзади роковой и всеразящей жницы,
С челом, увенчанным сиянием зарницы,
Веселый ангел нес чрез мира глушь
Снопы им избранных на этой жатве душ.

⟨*1859*⟩

409. ФИАЛКА И МОТЫЛЕК

«Как наши участи различны меж собою! —
На бархатном лужку
Сказала некогда, увлажившись росою,
Фиалка мотыльку. —

По резвой прихоти ты вьешься в свете горнем,
А я — внизу, во мгле,
Всегда прикована своим извитым корнем
К безрадостной земле.

А всё ж мы любимся. Обоим, с дня рожденья,
Нам человек — злодей,
Обоим лучше нам в глуши уединенья,
Подальше от людей.

В сравненья мы идем. Меня зовут поэты
Сидячим мотыльком,
Тебя ж они зовут... читал ты их куплеты?..
Порхающим цветком.

Я часто в воздухе слежу твое мельканье
И, милого любя,
Стараюсь, чтоб и там мое благоуханье
Достигло до тебя, —

Да нет! К другим цветкам умчишься ты далеко,
А я смотрю весь день
Всё под ноги себе, по солнцу одиноко
Свою вращаю тень.

Бог знает, где ты там, как время ты проводишь
В лазурных небесах;
Лишь к утру прилетишь — и на заре находишь
Всегда меня в слезах.

Чтоб нам не розниться, чтоб нам идти одною
Стезею бытия,
Иль крылья дай ты мне, иль, чтоб сидеть со мною,
Укоренись, как я!»

⟨*1860*⟩

410. ЗАВТРА

Куреньем славы упоенный,
С младенцем сыном на руках,
Летал он [1] думой дерзновенной
В грядущих царственных веках
И мыслил: «Будущее — наше.

---

[1] Наполеон I-й.

Да, вот — мой сын! Оно — мое».
— Нет, государь! Оно не ваше,
Ошиблись вы: оно — ничье.
Пусть наше темя — вам подножье,
Пусть целый мир от вас дрожит,
Сегодня — ваше, *завтра* — божье:
Оно не вам принадлежит.
О, это *завтра* зыбко, шатко;
Оно — глубокий, страшный день,
Оно — огромный призрак, тень,
Оно — великая загадка,
Бездонной вечности ступень.
Того, что в этом *завтра* зреет,
Из нас никто не разъяснит.
Сегодня человек посеет,
А *завтра* бог произрастит.
Сегодня вы на троне крепки,
Вы царь царей — Наполеон,
А завтра что? — Осколки, щепки,
Вязанка дров — ваш славный трон.
Сегодня Аустерлиц, огонь Ваграма, Иены,
А завтра — дымный столб пылающей Москвы;
А завтра — Ватерло, скала святой Елены;
А завтра? .. Завтра — в гробе вы.

Всевышний уступил на долю вам пространство, —
Берите! — Время он оставил лишь себе.
Будь вашему челу лавровый лес — убранство,
Земля вся ваша, вам нет равного в борьбе,
Европу, Африку вы мнете под собою,
Пускай и Азию отдаст вам Магомет!
Но завтрашнего дня вы не возьмете с бою —
Творец вам не уступит, — нет!

411. РОЗА В РУКАХ ИНФАНТЫ

Она еще дитя, при ней надзор дуэньи,
И с розою в руке, в чистейшем упоенье
Она глядит... на что? — Бог ведает. На всё:
Вот — светлая вода! Вот, оттенив ее,
Душистый лавр и мирт стоят благоговейно.
Вот лебедь плавает по зеркалу бассейна.

Вот — весь в лучах, в цветах благоуханный сад,
Обширный парк, дворец, зверинец, водопад!
Там — лани быстрые под зеленью мелькнули.
Там — звездоносный хвост павлины развернули.
Как горный снег бела малютка, — да она
Невинна сверх того, — двойная белизна!
На берегу пруда, под ножками инфанты
Росинки на траве блестят как бриллианты,
Пред нею ж, посреди всех видов и картин,
Сапфирный сноп воды пускает вверх дельфин.
Наряд ее блестящ: баскина кружевная,
По пышной юбочке, меж складками блуждая,
Нить золота прошла и змейкой обвилась,
И вдруг то выглянет, то спрячется в атлас.
А роза полная, подняв свой венчик чудный
Бутона свежего из урны изумрудной,
Казалось, в царственном цвету своем была
Для крошечной руки малютки тяжела;
Когда ж она в цветок, как в чашу из коралла,
Прозрачный носик свой с улыбкой погружала —
Та роза, заслонив ребенку пол-лица
Листками своего широкого венца,
С румяной щечкою так совпадала чудно,
Что щечку отличить от розы было трудно.
Прелестное дитя! Глаза как после бурь
Открывшихся небес глубокая лазурь,
И имя райское — Мария. Свежесть в красках,
Молитва в имени, и божье небо в глазках.
Прелестное... притом несчастное дитя!
Она уже свое величье не шутя
И в детстве чувствует, — и, глядя на природу,
Оно с младенчества гнетет ее свободу.
На солнце, на поля, на каждый в мире вид
Она уж маленькой владычицей глядит,
И в этой куколке начаток королевы
Так явствен, что мертвит все игры, все напевы,
А смертного она и видеть не могла
Прямым, каким его природа создала, —
Пред нею он всегда, почуяв близость трона,
Являлся согнутым в тяжелый крюк поклона;
И пятилетнее престольное дитя,
Глазенки гордые на мелочь обратя,
Умеет важничать и мыслить: «Я — инфанта!
Я буду некогда дюшессою Брабанта!

Потом мне Фландрию, Сардинию дадут!
Не розу для меня — империю сорвут,
А роза — так, пока...» И кто-нибудь некстати
Пускай дотронется до этого дитяти,
Хотя б имея цель, что он его спасет, —
Несчастный голову на плаху понесет!

Нам этот детский лик улыбку — не угрозу —
Представил. Вот она — в ручонке держит розу,
Сама среди цветов прелестнейший цветок.

День гаснет. Птичка, в свой забившись уголок,
Укладывает спать своих пискливых деток.
Уж пурпур запада между древесных веток
Сквозит, эфирную раскрашивая синь
И бросив отблеск свой на мраморных богинь,
Которые в саду, им озаряясь, блещут
В дрожащем воздухе и, кажется, трепещут.
Час тихий вечера, приблизившись тайком,
Скрыл солнце под волной и пташку под листком.
. . . .

И вот, меж тем как здесь — ребенок да цветок,
Там — заключенная в тот царственный чертог,
Где каждый острый свод висел тяжелой митрой,
Где Рим служил резцом, и кистью, и палитрой,
И камнем зодчества, — виднелась тень одна,
К окну перенося свой образ от окна.
Бывало, целый день, как на кладбище мрачном,
Являлась эта тень в окне полупрозрачном,
Задумчиво склонив на тусклое стекло
Злой мыслью взрытое и бледное чело:
От мысли той весь мир сжимался, цепенея.
Тень эта, к вечеру всё становясь длиннее,
Ходила... Страшный вид! Во тьме ходила тьма,
И шаг свершался тот в размере неуклонном,
Как колокола ход в обряде похоронном.
Кто это был? — Король. Не он — так смерть сама.

Да, то был он, Филипп, — он, жизнь и смерть творенья.
Такого призрака, такого привиденья
Другого в мире нет. Из темной глубины
Вот он глядит в окно, прижавшись у стены.
Что ж видит он теперь? — Конечно, не ребенка,

Не розу, не зарю вечернюю, так тонко
Накинувшую свой румянец на пруды,
Не сад, не лебедя на зеркале воды,
Не птичек, кончивших дня божьего пирушку
И острым носиком целующих друг дружку, —
О нет, — в его глазах глубоких, роковых,
Под бровью жесткою, нависшею на них,
Теперь отражена далекая громада,
Могучий флот его — великая Армада,
Несущаяся там, среди шумящих волн,
И видится ему, тревоги робкой полн,
Тот остров — Альбион, что смотрит из тумана,
Как гром его браздит равнину океана.
Грозя и Англии, и всем концам земли,
В его глазах, в мозгу несутся корабли.
Армада — вот один всесильный, неизменный
Рычаг, которым он поднимет полвселенной!
Победоносная, она летит туда —
Филипповой судьбы зенитная звезда!

Король Филипп Второй был идеал тирана.
Ни Каин Библии, ни образ Аримана
Так не были черны, как этот властелин.
Он миром управлял с невидимых вершин,
Как некий горний дух. Он жил и ненавидел.
Мир ведал, что он жив, но мир его не видел.
Смерть знала, что он жив. В Эскуриале он
Безмолвным ужасом был вечно окружен.
Сливался он для всех в одно со сферой звездной,
С пространством, с миром сил, с какой-то страшной бездной.
Где приближался он, там приближался рок,
Которому никто противустать не мог,
Сама судьба тряслась, визжа от лютой боли,
И корчилась в клещах его железной воли;
Душа его была таинственна, как гроб,
Глаза — два факела, уста — могильный склёп.
Его был крепок трон фундаментом коварства,
Мрак был оградою его немого царства.
Одетый в черное, казалось, облечен
Сам в траур о своем существованье он,
И черная, как ночь, тьма власти непреклонной
Казалась лошадью его статуи конной.
Как сфинкс, всё пожирал он мыслью — и молчал,

Он и не спрашивал, а каждый отвечал.
Улыбки он не знал, улыбка — луч денницы,
Не проникающий в подобные темницы;
Когда ж, бодрясь душой, он сбрасывал с нее
Оцепенение змеиное свое,
То с тем, чтоб умножать всеобщий дух боязни
Своим присутствием близ палача при казни,
И на зрачках его рдел пламени разгул,
Когда он на костер собственноустно дул.
Ужасный для всего — для всех стремлений века,
Для прав, для совести, для мысли человека,
Он был — в честь римского, в честь папского креста —
На царстве сатана под именем Христа.
Как группы ящериц из темных нор пещерных,
Дела ползли из дум его неблаговерных.
Нет во дворцах пиров, иллюминаций нет, —
Одно аутодафе им сообщало свет;
Эскуриал и все Филипповы чертоги
Дремали, как в лесу звериные берлоги.
Там казни — для забав, измены — для потех!
Не мучить, не пытать — Филипп считал за грех,
И самая мечта души сей сокровенной
Носилась тяжестью над трепетной вселенной,
Да и молился он едва ль перед добром:
Его молитва шла, как отдаленный гром,
И жглись, как молнии, тирана сновиденья,
А те, кто был его предметом помышленья,
Кричали в ужасе: «Настал наш смертный час!
Нас кто-то давит, жжет, смертельно душит нас».
На гибель там себя народы обрекали,
Где эти два зрачка вперялись и сверкали.

Из хищно-птичьих лиц отменны эти два:
Карл Пятый — коршун злой, Филипп Второй — сова.

В камзоле бархатном, кромешной тьмы чернее,
Он, с орденом Руна на королевской шее,
Не изменяющий ни поз своих, ни мест,
Вдруг, к удивлению, как будто сделал жест,
И даже — чудеса, коль это не ошибка! —
На стиснутых губах нарезалась улыбка, —
Улыбка страшная, конечно, и сполна
Никто б не разгадал, что значила она, —

А это значило: в открытом, шумном море
Теперь мой огнь и гром несутся на просторе,
Моя Армада — там, и, страхом обуян,
Пред ней смиряется строптивый океан, —
Так древле средь своих мятежных волн разбега
Потоп был устрашен явлением ковчега.
Валы равняются, становятся в ряды
И лижут кораблей широкие следы,
И, назначенья их познав святую цену,
Чтоб путь их умягчить, им подстилают пену,
И каждая скала преобразилась в порт,
И крики слышатся: «На палубу! — на борт! —
На мачту! — к парусу!» Попутный ветер дышит.
Вот — барабан! свисток! Филипп всё это слышит,
Всё видит мысленно и мнит: всё это — я!
Я — кормчий кораблей, их движет мысль моя, —
И Англия дрожит, бледнеет пред Армадой,
Поникла, и ничто не служит ей оградой.
Так мыслил он. В сей миг, казалося, горел,
В руке Филипповой пук громоносных стрел,
И в царственных мечтах лишь вид сей развернулся —
Державный гробовщик впервые улыбнулся.

В Каире некогда единый из владык,
Который силою и славой был велик,
У водного ключа своей мечети главной
На камне начертал рукою своенравной:
«Аллаху — небеса, мне — дольний мир, земля».
Деспо́т-султан — двойник тирана-короля.
Тиранство, деспотизм — одно с другим так схоже!
Что начертал султан, король наш мыслит то же.

А там, на берегу бассейна, то дитя,
На розу пышную глазенки опустя,
К губам своим ее подносит и целует.
Вдруг — темных туч напор и сильный ветер дует.
Вода возмущена, трясутся мирт, жасмин,
Деревья клонятся до корня от вершин,
И розы лепестки какой-то дух зловредный
Вдруг в воду побросал из рук инфанты бледной,
Так что у ней в руке едва остаться мог
С шипами острыми колючий стебелек.
Кто смеет так шутить? И, трепетом объята,
Инфанта смотрит вверх: не небо ль виновато?

Там — чернота кругом. Она глядит туда,
В бассейн: там морщится и пенится вода,
Пруд светлый морем стал, и по волне сердитой
Листочки носятся, как будто флот разбитый:
Судьба Армады здесь — так небеса хотят!
И гневное дитя насупило свой взгляд,
Немало удивясь, как смеют так свободно
Здесь делать то, что ей, инфанте, не угодно,
И вот — она должна досадой кончить день!
Малютка сердится, угрюмо брови хмуря...

При этом, следуя за нею словно тень,
Дуэнья говорит: «Позвольте! Это — буря,
А ветер иногда, хоть это и не шло б,
Так дерзок, что не чтит и царственных особ».

412. ЖЕЛАНИЯ

Коль есть хоть угол света,
Где бездна красоты,
Где всё весна да лето
И всё цветы, цветы, —
Я там бы понемножку
Под маленькую ножку
Провел тебе дорожку,
Где всё б гуляла ты!

Когда средь прозы света,
Корысти и тщеты
Осталась от поэта
Хоть тень его мечты
(Что мир зовет химерой) —
Пускай бы с теплой верой
Лишь этой атмосферой
Всегда дышала ты!

Когда меж хламом света
И прахом суеты
Одна хоть грудь согрета
Святыней правоты, —
К такому изголовью,
Смеясь людей злословью,
Дай бог, чтобы с любовью
Челом склонилась ты!

413. ПРОСНИСЬ!

Проснись, моя радость! Уж слезы
Роняет роса на цветы.
Когда пробуждаются розы —
Ужель не пробудишься ты?

Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.

За дверью твоей перекличка:
Я — день! — восклицает заря,
Я — песнь! — откликается птичка,
Я — чувство! — грудь вторит моя.

Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.

Я в милой два мира сближаю:
В ней небо и землю ловлю,
В ней — ангела я обожаю,
В ней — женщину страстно люблю.

Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.

Творенья творец не обидел, —
Всевышний меня наделил
Глазами, чтоб прелесть я видел,
И сердцем, чтоб сердце любил.

414. ТЫ ЛЮБИШЬ?

Ты любишь, милая? Послушай же: любовь —
Сначала зеркало, где в трепетном движенье
Встречает девушка свое изображенье,
Своею прелестью любуясь вновь и вновь;

И лучше, и добрей она себя находит.
Мечтательность ее до тех высот возводит,
Где чистой благостью сияет красота, —
Любовью убелясь, она почти свята.
Потом — с вершины спуск, нога скользит всё ниже,
Сил удержаться нет — и бух в водоворот!

Так иногда к реке ребенок подойдет,
Вода заманчива, он к ней всё ближе, ближе, —
Увидит в ней себя, в лицо себе плеснет
          Водицей, голову наклонит,
И вдруг — скользит, упал — и бедное дитя
В одной же всё реке, невинно с ней шутя,
          Глядится, моется и тонет.

415. НЕ БОЙСЯ

Не бойся, добрая и любящая мать,
За сына своего, когда он понимать
Так рано начал всё! Не полагай, что это —
Недолговечности опасная примета.
Пускай твой маленький задумчив и угрюм,
Как будто уж его коснулся сумрак дум!
Кто знает? Может быть, подобно птичке белой,
Сидящей на скале в виду освирепелой
Пучины моря, он уж видит сквозь туман,
Как близится к нему весь жизни океан.
Ребенок хмурится, как птичка хохлит перья, —
А ты, полна любви, исполнись и доверья
К святому промыслу и посмотри светло
Ребенка милого на умное чело.
Мечтает он? — Так что ж? К мечтам так близок гений!
Мечты те выжгутся в горниле размышлений;
Мыслитель будет он, а мысль — святой залог
Всего великого, в ней жизнь миров, в ней бог.
Да! Пламенная мысль, сказав «твори!» таланту,
Дает Мильтону рай, ад завещает Данту.
Поверь, — великая ребенка участь ждет,
Когда он жаждет знать, когда предузнает.
Недаром действует в нем Прометеев пламень.
Он вопросительно глядит теперь на камень,

А там — с резцом в руке и с мрамором в борьбе —
Он Микеланджело нам воскресит в себе
И дивный образ даст порфирам и гранитам;
Или воителем предстанет знаменитым,
И посреди царьков и поземельных карт
В нем миру явится Франциск иль Бонапарт,
И царственный игрок, лишь славы отголоску
Внимая, мир сочтет за шахматную доску,
Где будет раздвигать несметных пешек ряд,
Пока ему судьба не скажет: шах и мат!
Как знать? Пойдет с трубой иль под компасным румбом
Он в небо Гершелем, иль в океан Колумбом,
Схватить сквозь горы волн или сквозь весь эфир
Иль новую звезду, иль новый чудный мир.
Кто ведает? Среди младенческих усилий
Растет, быть может, в нем певец певцов — Виргилий,
Стремящийся сорвать бессмертия венец,
Стихом поколебать весь мир и, наконец,
Крылатым гением, подобно дивной тени,
Лететь по головам грядущих поколений.

416. БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Пустынный берег. Ночь. Шум бури. Темнота.
Убога и ветха, но крепко заперта
Рыбачья хижина. В дрожащем полусвете
Рисуются вдоль стен развешанные сети.
От углей, тлеющих в высоком камельке,
Мелькает алый круг на сером потолке,
И отблеск кое-где играет красноватый
На бренных черепках посуды небогатой,
В березовом шкафу уставленной. За ним
Широкая кровать под пологом простым,
А дальше — на скамьях, покрытых тюфяками,
Спят дети малые. Их пятеро. Клубками
Свернулись, съежились. От бурных вьюг и стуж,
Казалось, скрыто тут гнездо бесперых душ.
Кто ж эта женщина? — Она в тени с тоскою,
Колени преклонив, поникла головою
На полускрытую завесами кровать
И тихо молится, — о, это, верно, мать!
Она одна, в слезах, в тревоге, в страхе, в горе,
А там — пред хижиной — бушующее море.

Муж там, средь ярых волн. С младенчества моряк,
Он презирает всё — рев бури, ночи мрак.
Он должен и в грозу свои закинуть сети,
Он должен — потому что голодают дети;
Он должен с вечера, пока морской прилив
Благоприятствует, ладью свою спустив,
Четыре паруса как следует уставить,
А там — изволь один и действовать, и править!
Жена тогда чинит изорванную сеть,
Да между тем должна и за детьми смотреть,
И рыбный суп сварить, глотая дым и копоть,
И разное старье домашнее заштопать.

Плыви, рыбак! Трудись! Ищи среди валов
Местечка, где хорош бывает рыбный лов!
А место это как, вы б думали, пространно?
С большую комнату, притом — непостоянно:
Оно то там, то здесь, кругом же — океан!
Плыви! А тут и дождь, и холод, и туман, —
А волны вкруг ладьи и над ее краями,
Клубясь, вращаются зелеными змеями.
Он мыслит о жене, она его зовет
Среди своих молитв, — и, пущены вразлет,
Их мысли, как из гнезд поднявшиеся птицы,
Крест-накрест мечутся в пространстве без границы.

Вот жребий рыбака! А в этот самый час
Танцуют где-нибудь, — там бархат и атлас,
Цветы, гирлянды, блеск. А тут — во тьме беззвездной
Плавучая доска над разъяренной бездной
Да жалкий лоскуток дырявого холста,
На палку вздернутый: плыви! А тут — места,
Где смерть со всех сторон, и мели, и утесы!
А дома — хлеба нет, а дома — дети босы.
Там где-нибудь — пиры, там роскошь свыше мер,
Мечты и замыслы, и мало ли химер, —
А тут одна мечта — вразрез напорам водным,
Добравшись к берегу холодным и голодным,
Взглянуть у пристани дню светлому в лицо,
Причалить, вдеть канат в железное кольцо
И лишь до вечера вкусить покой желанный
В семействе, близ своей хозяйки доброй — Жанны!

О Жанна бедная! Твой муж теперь один
Под бурей на море, средь бешеных пучин!
Один — в глухую ночь! Хоть бы подмога в сыне!
Да дети малы все, — так думаешь ты ныне,
А там, как взрослые поедут с ним, — поверь,
Ты скажешь: «Лучше б им быть малыми теперь!»
Она берет фонарь: «Пойду взгляну! Ведь вскоре
Вернуться должен муж. Не тише ль стало море?
Пора бы утру быть!» Пошла и смотрит, — нет!
Всё бурно. Дождь идет. В слезах стоит рассвет.
Рождающийся день, как бы боясь явиться,
Расплакался о том, что надобно родиться.

Та в трепете идет. Хоть где-б-нибудь окно
Мелькнуло огоньком! Кругом всё сплошь черно.
Дороги не видать. Вот, покривясь, горюет
Лачуга темная, сквозь щели ветер дует,
Раскачивая дверь, а крыша. . . Боже мой!
В ней еле держится отвагой лишь одной
Злой бурей взрытая изгнившая солома.
Ужель живущие там говорят: «Мы — дома»?

«Постой-ка! Дай зайду! — подумала она,
Мимоидущая. — Ведь там живет одна
Несчастная. О ней говаривал со мною
Мой муж. Намедни он нашел ее больною.
Она вдова. Узнать, что, как она теперь!»
И с этой мыслию стучится Жанна в дверь.
Ответа не дает пустынное жилище.
«Больна! . . А дети-то? Пожалуй, ведь без пищи!
Их двое. Без отца!» Она еще стучит:
«Эй, отоприте мне, соседка!» — Всё молчит.
«Впустите!» — Наконец неведомой судьбою
Дверь двинулась — и вход открылся сам собою.
И Жанна в дверь вошла, лучами фонаря
Жилище страждущей вдовицы озаря,
Где тот же крупный дождь, холодный, сверху на пол
Сквозь дырья потолка, как через сито, капал, —
И что же? В глубине, в углу — ужасный вид! —
Пав навзничь, женщина недвижная лежит
В лохмотьях, обуви нет на ногах бедняги,
В глазах — безжизненность стоячей, мутной влаги.
Домохозяйка-мать! Ужели это ты?
Ведь это труп? — Да, труп почившей нищеты.

Вот всё, что на земле от матери осталось!
Как перед смертию страдалица металась,
Так и застыла тут. Рука, позеленев
И с войлока спустясь, висит, окоченев, —
И пальцы скорчены, — и в немоте ужасной
Разомкнуты уста, отколь душа несчастной
Рванулась, испустив в предсмертный, страшный миг
Последний, слышанный лишь вечностию крик.

Близ мертвой матери сном счастья упивались
Младенцы нежные и сладко улыбались —
Два — в общей люльке их. То были сын и дочь.

Мать, чувствуя уж смерть, старалась превозмочь
Еще сама себя: привстав, на них взглянула
И ножки им своей шубенкой обвернула,
А тельце — юбками, чтоб было им тепло,
Чтоб смертным холодом на них не понесло
От трупа матери, — ее покров пусть греет
Малюток и тогда, как труп охолодеет!

И как покоен сон согревшихся детей!
Тиха их колыбель. Казалось, спящих в ней
И Страшного суда звук трубный не разбудит.
Пусть судия придет! Ведь им суда не будет, —
Невинны! Незачем и пробуждаться им.

А дождь меж тем грозит потопом мировым.
Порою с потолка вдруг капля дождевая
Летит — и, на чело умершей упадая
И по щеке катясь, становится слезой.
А звонкая волна, под вихрем и грозой,
Бьет в берег и гудит, как колокол набатный.
Усопшая сквозь мрак и сон свой необъятный
Как будто слушает, что тени говорят,
Как будто хочется ей душу взять назад,
И, кажется, уста отверстые и очи
Недвижные — ведут беседу в бездне ночи:
Дыханье ваше где? — глаза устам твердят,
Уста ж в укор глазам: куда ваш делся взгляд?

Любите! Радуйтесь! Живите! Веселитесь!
Ликуйте на пирах! На бал в цветы рядитесь!

Как ни блестящ ручей — всё в темный океан
Ему назначен путь. Удел нам общий дан:
Забавам юности, всем песням, играм, шуткам,
Улыбке матери, любви ее к малюткам,
Лобзанью страстному двух пламенных особ —
Всему один конец: холодный, мрачный гроб!

Что ж Жанна, хижину умершей оставляя,
Несет теперь с собой, близ сердца укрывая?
Какая ноша тут? Что так трепещет грудь
У Жанны? Что она свой ускоряет путь?
Что значит этот взгляд, исполненный тревоги?
Зачем у ней дрожат, подкашиваясь, ноги?
Украла ль что-нибудь у мертвой? Неужель?
Она пришла домой и на свою постель
Ту ношу бережно, при первом утра блеске,
Сложила — и спешит задернуть занавески.

И села, бледная, у той постели. Страх
И внутренний укор во всех ее чертах,
К подушкам голова склонилась; в членах трепет,
И на устах ее дрожит несвязный лепет:

«А он-то? — Боже мой! — Еще забота! Вот!
И так в трудах всю ночь! Вон — море-то ревет!
А он еще всё там! — И что на ум мне вспало?
Своих ведь пятеро, — нет! Показалось — мало.
Что я наделала? Пусть он меня побьет!
Ох, надо, надо бить — и больно. Чу! .. Идет? ..
Нет! Нету никого. Тем лучше. Что ответить?
Ох, страшно, страшно так теперь его мне встретить
Входящего! .. Нет! нет! Пусть он нейдет теперь!
А вот... мне кажется... нет! Ветер стукнул в дверь».

И вот — она сидит, поникла, еле дышит
И словно ничего не видит и не слышит.

Вдруг распахнулась дверь — и с парой добрых слов
Перед своей женой явился рыболов.
Глядел он весело, а за его плечами
С увлаженных сетей вода лилась ручьями.

И, вспрянув, будто вдруг от сна пробуждена,
С огнем любовницы так и впилась жена

Устами в грудь его — и жар ее привета
Прогрел ему сукно измокшего жилета:
«Моряк мой!» — «Твой моряк. Да вот — со мной беда!
Совсем ограблен я. Грабитель — ветер. Да.
А море — это лес. Все снасти поломались.
Рыбенки не привез: вот — сети изорвались.
Веревка лопнула, — и в лодку-то волна
Хватила было так... Да что ты так бледна?
Перепугалась? Вздор! О господи владыко!
Беда не велика. Поправимся! Скажи-ка:
Ну как ты без меня? Что делала?»— «Кто? Я?
Да так, как и всегда. Ведь мало ли шитья,
Вязанья? Между тем мне было страшно, — море
Шумело, выло так...» — «Ну что же? Эко горе!
Ведь нам не в первый раз».— «Да... кстати... я пошла
Проведать... Знаешь, что? Соседка умерла —
Та бедная вдова... Теперь осталось двое
Сироток... Мальчик-то... несчастие такое! —
Еще почти грудной, и девочка мала.
Бедняжки! Мать-то их ведь нищая была».

Задумался моряк и, скомкав словно тряпку,
Швырнул он под скамью свою морскую шапку,
Наморщась, почесал затылок и вздохнул.
«Эх, трудно, — говорит, — а то уж я смекнул,
Что сделать надобно. Да только... со своими
Едва справлялись мы. Тех пять, — а с семерыми
Как справиться? Легко ль вскормить да воспитать?
И так без ужина порой ложимся спать.
А впрочем... Божья власть! Его уж это дело!
У этой мелюзги, у мелочи незрелой,
Зачем он отнял мать? Ведь это — пыль да пух!
Тут думать нечего: возьмем и этих двух!
Ступай, жена, бери, покуда не проснулись!
При них ведь мертвая... Слышь: двери пошатнулись —
Покойница идет просить за них. Возьмем!
Пусть заодно растут все дети всемером!
Все, вместе с нашими, пусть будут сестры, братья!
Вкруг нас пусть ползают! Не сделаем изъятья!
Бог, верно, сжалится, даст больше рыбы нам,
Счастливей будет лов, вдвойне я буду сам
Трудиться... Что же ты так медлишь? Тратишь время?

Не сердишься ли ты? Быть может, это бремя
Тебя пугает? А?»

А та ему: «Взгляни! —
Отдернув занавесь, сказала. — Вот они!»

1840—1850-е гг.

Анри Огюст Барбье
(1805—1882)

417. ДАНТ

Дант! Старый гибеллин! Пред этой маской, снятой,
Страдалец, с твоего бессмертного лица,
Я робко прохожу, и, трепетом объятый,
Я, мнится, вижу всю судьбу и жизнь певца, —
Так сила гения и злая сила рока
Вожгла свою печать в твой строгий лик глубоко.
Под узкой шапочкой, вдоль твоего чела
Чертою резкою морщина пролегла, —
Зачем морщина та углублена так едко?
Бессонниц ли она иль времени отметка?
Не в униженье ли проклятий страшный гул,
Изгнанник, ты навек в устах своих замкнул?
Не должен ли твоих последних мыслей сшибки
В улыбке уст твоих я видеть и следить?
Недаром к сим устам язвительность улыбки
Смерть собственной рукой решилась пригвоздить!
Иль это над людьми усмешка сожаленья?
О, смейся: гордый смех сурового презренья
К ничтожеству земли — тебе приличен, Дант.
Родился в знойной ты Флоренции, гигант,
Где острые кремни родной тебе дороги
От самых детских дней тебе язвили ноги,
Где часто видел ты, как при сиянье дня
Разыгрывалась вдруг свирепая резня
И в схватках партии успехами менялись —
Те падали во прах, другие поднимались.
Ты тридцать лет смотрел на адские костры,
Где тлело столько жертв той огненной поры,

И было для твоих сограждан жалких слово
«Отечество»— лишь звук; его, взяв с ветра, снова
Бросали на ветер. И в наши дни вполне
Твое страдание, о Дант, понятно мне;
Понятно, отчего столь злобными глазами
Смотрел ты на людей, гнушаясь их делами,
И, ненависти злой нося в душе ядро,
Так желчью пропитал ты сердце и перо, —
По нравам ты своей Флоренции родимой,
Художник, начертал рукой неумолимой
Картину страшную всей нечести земной
С такою верностью и мощию такой,
Что дети малые, когда скитальцем бедным
Ты мимо шел с челом зеленовато-бледным,
Подавленный своей смертельною тоской,
Под гнетом твоего пронзительного взгляда
Шептали: «Вот он! Вот — вернувшийся из ада!»

Между 1842 и 1850

418. СОБАЧИЙ ПИР

Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал,
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал,
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик,
Когда в ответ на гул старинных пушек грянул
Свободы звучный клик, —
Конечно, не было там видно ловко сшитых
Мундиров наших дней, —
Там действовал напор лохмотьями прикрытых,
Запачканных людей,
Чернь грязною рукой там ружья заряжала,
И закопченным ртом,
В пороховом дыму, там сволочь восклицала:
«Е. . . м. . ! Умрем!»
А эти баловни в натянутых перчатках,
С батистовым бельем,
Женоподобные, в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?

Нет! их там не было, когда, всё низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась.
А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали, за занавеску
На корточки присев.
Их не было в виду, их не было в помине
Средь общей свалки там,
Затем что, видите ль, свобода не графиня
И не из модных дам,
Которые, нося на истощенном лике
Румян карминных слой,
Готовы в обморок упасть при первом крике,
Под первою пальбой;
Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке;
Свобода — женщина с широким, твердым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо веющим по ветру красным флагом,
Под дымом боевым;
И голос у нее — не женственный сопрано:
Ни жерл чугунных ряд,
Ни медь колоколов, ни шкура барабана
Его не заглушат.
Свобода — женщина; но, в сладострастье щедром
Избранникам верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать,
И в свежей кровию дымящихся объятьях
Ей любо трепетать.
Когда-то ярая, как бешеная дева,
Явилась вдруг она,
Готовая дать плод от девственного чрева,
Грядущая жена!
И гордо вдаль она, при криках исступленья,
Свой простирала ход,
И целые пять лет горячкой вожделенья
Сжигала весь народ;

А после кинулась вдруг к палкам, к барабану
И маркитанткой в стан
К двадцатилетнему явилась капитану:
«Здорово, капитан!»
Да, это всё она! Она, с отрадной речью,
Являлась нам в стенах,
Избитых ядрами, испятнанных картечью,
С улыбкой на устах;
Она — огонь в зрачках, в ланитах жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нагота, трехцветная повязка
Чрез голое плечо,
Она — в трехдневный срок французов жребий вынут!
Она — венец долой!
Измята армия, трон скомкан, опрокинут
Кремнем из мостовой!
И что же? О позор! Париж, столь благородный
В кипенье гневных сил,
Париж, где некогда великий вихрь народный
Власть львиную сломил,
Париж, который весь гробницами уставлен
Величий всех времен,
Париж, где камень стен пальбою продырявлен,
Как рубище знамен,
Париж, отъявленный сын хартий, прокламаций,
От головы до ног
Обвитый лаврами, апостол в деле наций,
Народов полубог,
Париж, что некогда как светлый купол храма
Всемирного блистал, —
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал,
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи,
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи
Мишурных галунов,
Бродяг, которые рвут Францию на части
И сквозь щелчки, толчки,
Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти
Кровавые клочки.
Так вепрь израненный, сраженный смертным боем,
Чуть дышит в злой тоске,
Покрытый язвами, палимый солнца зноем,
Простертый на песке;

Кровавые глаза померкли; обессилен —
Свирепый зверь поник,
Раскрытый зев его шипучей пеной взмылен,
И высунут язык.
Вдруг рог охотничий пустынного простора
Всю площадь огласил,
И спущенных собак неистовая свора
Со всех рванулась сил,
Завыли жадные, последний пес дворовый
Оскалил острый зуб
И с лаем кинулся на пир ему готовый,
На неподвижный труп.
Борзые, гончие, легавые, бульдоги —
Пойдем! — и все пошли;
Нет вепря-короля! Возвеселитесь, боги!
Собаки — короли!
Пойдем! Свободны мы — нас не удержат сетью,
Веревкой не скрутят,
Суровый страж нас не ударит плетью,
Не крикнет: «Пес! Назад!»
За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим:
Коль не в кровавый сок
Запустим морду мы, так падали ухватим
Хоть нищенский кусок!
Пойдем! И начали из всей собачьей злости
Трудиться, что есть сил:
Тот пес щетины клок, другой обглодок кости
Клыками захватил
И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым,
Чадолюбивый пес
Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам
Хоть что-нибудь принес
И, бросив из своей окровавленной пасти
Добычу, говорит:
«Вот, ешьте: эта кость — урывок царской власти,
Пируйте — вепрь убит!»

1856

Теофиль Готье
(1811—1872)

419. ЖЕНЩИНА-ПОЭМА

«Поэт! пиши с меня поэму! —
Она сказала. —Где твой стих?
Пиши на заданную тему:
Пиши о прелестях моих!»

И вот — сперва ему явилась
В сиянье царственном она,
За ней струистая влачилась
Одежды бархатной волна;

И вдруг — по смелому капризу
Покровы с плеч ее скользят,
И чрез батистовую ризу
Овалов очерки сквозят.

Долой батист!— И тот спустился,
И у ее лилейных ног
Туманом дремлющим склубился
И белым облаком прилег.

Где Апеллесы, Клеомены?
Вот мрамор — плоть! Смотрите: вот —
Из волн морских, из чистой пены
Киприда новая встает!

Но вместо брызг от влаги зыбкой —
Здесь перл, ее рожденный дном,
Прильнул к атласу шеи гибкой
Молочно-радужным зерном.

Какие гимны и сонеты
В строфах и рифмах наготы
Здесь чудно сложены и спеты
Волшебным хором красоты!

Как дальность моря зыби синей
Под дрожью месячных лучей,
Безбрежность сих волнистых линий
Неистощима для очей.

Но миг — и новая поэма:
С блестящим зеркалом в игре
Она султаншею гарема
Сидит на шелковом ковре, —

В стекло посмотрит — усмехнется,
Любуясь прелестью своей,
Глядит — и зеркало смеется
И жадно смотрит в очи ей.

Вот как грузинка прихотливо
Свой наргиле курит она,
А ножка кинута на диво
И ножка с ножкой скрещена.

Вот — одалиска! Стан послушный
Изогнут легкою дугой
Назло стыдливости тщедушной
И добродетели сухой.

Прочь одалиски вид лукавый!
Прочь гибкость блещущей змеи!
Алмаз без грани, без оправы —
Прекрасный образ без любви.

И вот она в изнеможенье,
Ее лелеют грезы сна,
Пред нею милое виденье...
Уста разомкнуты, бледна,

К объятьям призрака придвинув
В восторге млеющую грудь,
Главу за плечи опрокинув,
Она лежит... нет сил дохнуть...

Прозрачны вежды опустились,
И как под дымкой облаков —
Под ними в вечность закатились
Светила черные зрачков.

Не саван ей для погребенья —
Наряд готовьте кружевной!
Она мертва от упоенья.
На смерть похож восторг земной.

К ее могиле путь недальний:
Ей гробом будет — ложе сна,
Могилой — сень роскошной спальни,
И пусть покоится она!

И в ночь, когда ложатся тени
И звезды льют дрожащий свет, —
Пускай пред нею на колени
Падет в безмолвии поэт!

⟨1856⟩

С НЕМЕЦКОГО

Фридрих Шиллер
(1759—1805)

420. МИННЕ

Странно мне, непостижимо!
Минна ль то моя идет?
Как? Она... проходит мимо
И меня не узнает?
С свитой франтов выступает
И, тщеславия полна,
Гордо веером играет...
Нет! да это не она!

С летней шляпки перья веют —
Подаренный мной наряд,
Эти ленты, что алеют,
«Минна! Стыдно!» — говорят.
И цветы на ней... Не я ли
Эти вырастил цветы?
Прежде чем они завяли,
Изменила, Минна, ты.

С этой ветреной толпою —
Позабудь меня — иди!
В этой бившейся тобою
Я найду еще груди
Благородных сил довольно
Низкий твой обман стерпеть

И — хоть тягостно и больно —
Безрассудную презреть.

Сердце Минны исказилось
Милым личиком... о стыд!
Но ведь прелесть — миг — и скрылась,
Ненадежен розы вид.
Гнезды ласточками свиты
По весне до первых вьюг:
Разнесутся волокиты —
И отринет верный друг.

Красоты твоей развалин
Представляется мне вид.
Взор твой, сумрачен, печален,
На минувшее глядит, —
Те, которые так жадно
Поцелуй ловили твой,
Глядь — хохочут беспощадно
Над отцветшей красотой.

Сердце Минны исказилось
Этим личиком... о стыд!
Но ведь прелесть — миг — и скрылась,
Прелесть розы отлетит.
Как тогда я смехом гряну
Сам в глаза твоей судьбе!
Нет!.. О нет! Я горько стану,
Минна, плакать о тебе.

Между 1842 и 1850

421. ЛАУРА ЗА КЛАВЕСИНОМ

Клавесин, перстам твоим послушный,
Зазвучал: я слышу гимн небесный —
И стою, как истукан бездушный,
И парю, как гений бестелесный.

Воздух, только б не нарушить
Тех мелодий, что он слышит,
Только б слышать, только б слушать —
Притаился и не дышит.

Мнится: полный круг созданья
Тает в неге обаянья —
Оковала ты его
Струн волшебных перебором,
Как сковала беглым взором
Область сердца моего.

Звуки льются в огненных размерах:
Кажется, всё вновь и вновь творимы.
На струнах, как на небесных сферах,
В звуках тех родятся херувимы;
Кажется, из недр хаоса блещет
Новый мир и, в вихре мирозданья
Восходя, за солнцем солнце хлещет
Бурными потоками сиянья.

Слышится мне в сладких
Переливных тонах —
Ручеек на гладких
Камешках надонных;

Слышится мне — то, по тучам гремящий,
Божий орган тот, где, сыпля перуны,
Рвутся сверкающей молнии струны;
То по уступам с обрывов скользящий
С шумом глухим, из раската в раскат,
Прыщущий пеной широкий каскад;

То ласкательно-игривый,
Вперескок через лесок,
Шаловливо листья ивы
Покачнувший ветерок;

То мне в стенающих звуках открыта
Адская бездна, где волны Коцита —
Слезные волны текут через край;
То предо мной разверзается рай.

И готов спросить у девы
Я сквозь трепет в этот миг:
То не райские ль напевы,
Не предвечный ли язык?

Между 1842 и 1850

422. ПЕСНЬ РАДОСТИ

Радость! Ты — искра небес, ты божественна,
Дочь Елисейских полей!
Мы, упоенные, входим торжественно
В область святыни твоей.
Всё, что разрознено света дыханием, —
Вяжешь ты братства узлом,
Люди там — братья, где ты над созданием
Легким повеешь крылом.

Хор

Всем — простертые объятья!
Люди! Всех лобзаем вас.
Там — над звездным сводом, братья,
Должен быть отец у нас.

С нами пируй, кто подругу желанную,
Дружбы нашел благодать,
Кто хоть единую душу избранную
Может своею назвать,
Знает, как бьется отрадою сладкою
Жаркая грудь на груди! . .
Если ж кто благ сих не ведал — украдкою,
С плачем от нас отойди!

Хор

Всё, над чем лик солнца ходит,
Пусть обет любви творит!
Нас к звездам она возводит,
Где неведомый царит.

К персям природы припав, упивается
Радостью каждая тварь;
Добрый и злой неудержно кидается
К светлой богине в алтарь.
Радость — путь к дружбе, к сердечному счастию,
К чаше с вином золотым;
Червь с нею дышит животною страстию,
К богу летит херувим.

Хор

Люди, ниц! Во прах главами!
Сердце чует — есть творец.

Там он, люди, над звездами —
Царь ваш, бог ваш и отец.

Радость — пружина в часах мироздания,
Маятник этих часов.
Радость! Ты — пульс в организме создания,
В жилах вселенной ты — кровь.
Долу — ты цвет вызываешь из семени,
В небе — средь вечной игры
Водишь по безднам пространства и времени
Солнцы, планеты, миры.

Хор

Как летят небес светила,
Так по дольнему пути
Каждый, братья, в ком есть сила,
Как герой на бой — лети!

Радость! Ты путь указуешь искателю
К благу — к венцу бытия,
В огненном зеркале правды пытателю
Светит улыбка твоя;
Смертному веешь ты солнечным знаменем
Веры с крутой высоты,
В щели гробов проникающим пламенем
Блещешь меж ангелов ты.

Хор

Люди! Наш удел — терпенье.
Всяк неси свой в жизни крест!
Братья! Там вознагражденье —
У отца, что выше звезд.

Будем богам подражать! На творение
Милость их сходит равно.
Скорбный и бедный, приди — наслаждение
С нами вкусить заодно!
Злоба! Останься навеки забытою!
Враг наш да будет прощен!
Пусть оботрет он слезу ядовитую!
Пусть не терзается он!

Хор

В пламя — книгу долговую!
Всепрощение врагам!

Бог за нашу мировую
Примирится с нами — там.

Пенится радость и в чаши вливается,
Золотом гроздий горя,
В робкого с нею дух бодрый вселяется,
Кротости дух — в дикаря.
Встанем, о братья, и к своду небесному
Брызнем вином золотым!
Встанем — и доброму духу безвестному
Этот бокал посвятим!

Хор

В хорах звездных кто прославлен,
Серафимами воспет,
Выше звезд чей трон поставлен, —
Здесь да внемлет наш привет!

Братья! Терпенье и твердость — в страданиях!
Помощь невинным в беде!
Строгая верность — в святых обещаниях!
Честность и правда — везде!
Пред утеснителем — гордость спокойная!
Душит — умри, не дрожи!
Правому делу — награда достойная!
Гибель — исчадиям лжи!

Хор

Лейся нектар! Пеньтесь чаши!
Круг! Теснее становись!
Каждый вторь обеты наши!
Божьим именем клянись!

Братья! Пощада — злодея раскаянью!
Цепи долой навсегда!
Смерти есть место — нет места отчаянью!
Милость — и в громе суда!
И да услышим из уст бесконечного
Глас его: «Мертвый! живи!»
Ада нет боле! Нет скрежета вечного!
Вечность есть царство любви.

Хор

Буди светел час прощанья!
По могилам — сладкий сон!
В день же судный, в день восстанья
Благость — суд, любовь — закон!

Между 1842 и 1850

423. БОГИ ГРЕЦИИ

В таинственном тумане отдаленья
Когда-то вы, о боги древних лет,
Руководя земные поколенья,
Лелеяли младенчественный свет, —
И всё не так являлось там, как ныне;
Воздвигнут был там Афродиты храм,
Где пламенных сердец увенчанной богине
Курился фимиам.

Природа там была сестрой искусству,
Там истина была сродни мечтам, —
И что теперь так недоступно чувству,
До глубины прочувствовано там;
Природы всей был лик облагорожен,
Уразумлен был образ естества,
Повсюду и во всем был явный след проложен
Живого божества.

И где теперь, взор обратив к деннице,
Мы только шар бездушный видим в ней,
Там Гелиос на пышной колеснице
Сиял, сверкал и гнал своих коней;
Летучих нимф был полон свод лазурный,
Дриадами одушевлен был сад,
И светлый водный ключ бил брызгами из урны
Смеющихся наяд.

Певица ли пернатая запела?
Легла ль роса на чаши юных роз?
Там — грустная стонала Филомела,
А тут был след Авроры чистых слез.
Ручей ли тек струею светло-синей?
Катился он у нимфы из очей
Иль это был в тоске рыдающей богиней
Наплаканный ручей.

Бессмертные к Девкалиона чадам
Слетали там для общих с ними дел,
Гиперион, взяв посох, нежным взглядом
На Пирры дочь прекрасную глядел.
От тайных стрел Эрота не спасались
И боги там, — и с пламенем в крови
Герои, смертные и боги покорялись
Могуществу любви.

Всечтимая наперсница святыни,
Приставница священного огня —
Весталка там, пред алтарем богини
Невинные колени преклоня
И чая быть самим бессмертным равной,
Сан девственный умела так хранить,
Что пояс у нее сам Зевс громодержавный
Не смел бы разрешить.

Божественно сиял там вечный пламень,
Что в гимнах был у Пиндара зажжен,
У Фидия внедрен в бессмертный камень
И дан твоей был лире, Арион.
Дар творчества на смертных шел от Феба,
И не было там места грустной мгле,
Где боги, нисходя, себе второе небо
Творили на земле.

Торжественней была над злом победа
Под сенью Медузина щита,
И прелестью цветущей Ганимеда
Там юноши блистала красота.
Где Гименей вязал судьбу с судьбою —
Была плотней сердец союзных связь,
И мягче, и нежней у Парок под рукою
Жизнь смертного прялась.

Обычного земного поклоненья
И тяжких жертв не требовалось там,
Там счастия искали все творенья, —
Кто счастлив был, тот равен был богам.
Прекрасное одно лишь было свято,
От пиршества не уклонялся бог,
И светлый храм его из мрамора и злата
Был праздничный чертог.

На сборищах Истмийских колесницы
Неслись с огнем и громом вперегон,
Приветный клик был слышим у границы
И сыпались венки со всех сторон.
Блажен, за кем победа оставалась, —
Он ликовал, богов благодаря,
С ним ликовал народ, и пляской обвивалась
Святыня алтаря.

Давали знать в блестящей сбруе тигры
И по горам «эвое» звучный клик,
Что настают вакхические игры,
И Бахус свой являл румяный лик;
Шли впереди и фавны, и сатиры,
Кругом толпы неистовых менад,
Там — полногрудые вакханки, чаши, лиры
И сочный виноград.

Сухой скелет — страшилище творений —
Не шел к одру, где смертный угасал, —
Над смертным тем безмолвный, тихий гений
С улыбкою свой факел опускал
И в сладостном, мирительном лобзанье,
Склонясь над ним, лишенным жизни сил,
С поблеклых уст его последнее дыханье
Спокойно уносил.

И в Тартаре средь всеразящей бури
Над страждущим порою бич суда
Смягчаем был, и жалость сердцу фурий
Небесная давалась иногда,
И грозный суд бывал не бессердечен, —
Поставлен был при Орковых весах
Внук человеческий, чтоб взгляд был человечен
И в самых небесах.

В Элизиум толпой спешили тени
Для сладкого свидания и встреч,
Там слышались и звуки песнопений,
И лиры звон, и родственная речь;
Шли группы жен к своим мужьям и чадам,
Шли юноши в объятия невест,
Шел к другу верный друг — и встречею с Пиладом
Обрадован Орест.

На доблестном пути своем к наградам
Высокую там смертный цель имел:
Как полубог, порой с богами рядом
Стоял герой — свершитель славных дел;
Он мертвых звал — и мертвые вставали.
Сбивались ли в пути морском пловцы —
Кастор и Поллукс их с Олимпа ободряли,
Герои-близнецы.

Прекрасный мир! Весна со всей любовью,
Всей прелестью, — истории весна!
Мой жадный взор стремится к баснословью,
Где жизни той хоть тень сохранена.
О, возвратись! .. Но временам нет ходу
Обратного — и для меня мертва
Природа наших дней, где вижу я природу,
Не видя божества.

От севера повеяло дыханье —
Весна прошла, настал конец всему.
Ушло богов бесчисленных собранье,
Чтоб место дать над миром одному.
Селены я ищу на звездном своде.
Селена где? — Свод звездный нем стоит.
Где божество твое? — взываю я к природе, —
Бездушная молчит;

Разумному сознанью непричастна,
Разрознена с тем духом мировым,
Которому бесчувственно подвластна,
Она чужда всем радостям моим.
К художнику как кукла равнодушна,
Как мертвые часы заведена,
Лишась своих богов, лишь тяжести послушна
Влечениям она.

Сегодня, взрыв сама себе могилу,
В ней погребет планет своих шары, —
А завтра, ту ж возобновляя силу,
Пойдет вращать возникшие миры;
И боги те, что детства в возраст малый
На помочах водили мир земной,
Его оставили — и стал он, возмужалый,
Держаться сам собой.

Ваятель там, открыв себе дорогу
К бессмертию, мог равен быть в веках
Из мрамора им вызванному богу, —
Перед творцом здесь каждый смертный — прах,
Земной червяк, немногим долговечней
Других червей. Свят бог наш — грешен век,
А там, где божество являлось человечней,
Святей был человек.

Создатель мой! Светило новой веры!
Ты — вечный блеск, а я обхвачен тьмой.
Ты — царь небес, тебе нет веса, меры,
Тебя обнять не может разум мой.
К тебе стремлюсь, — напрасные усилья!
Тебя зову, но мне ответа нет.
О бесконечный дух! Дай силы мне, дай крылья
Взлететь в твой горний свет!

Между 1842 и 1850

424. ИДЕАЛЫ

Итак — пробил нам час разлуки!
О юность, пир моей весны!
Твои и радости, и муки,
И упоительные сны —
Уходит всё. Унынья полный,
Тебя зову: останься тут!
Вотще! — Твои стремятся волны
И в море вечности текут.

Угасли яркие светила,
Мне озарявшие тот путь,
Пропала огненная сила
Мечтаний, наполнявших грудь;
Исчезла сладостная вера
В мечтанья те, — всё, всё взяла
Сухой существенности сфера,
Чем жизнь божественна была.

Как древле свой скульптурный камень
Пигмалион в объятьях сжал —
И вдруг, почуя жизни пламень,
Согретый мрамор задрожал, —

Природа камнем мне предстала,
Но я простер объятья к ней —
И та зажглась, затрепетала
На творческой груди моей, —

Возбуждена моим воззваньем,
Немая свой глагол нашла,
И мне ответила лобзаньем,
И голос сердца поняла.
Всё мне откликнулось послушно —
Куст розы, дерево, ручей,
И то, что было так бездушно,
Вдруг жизнью вспыхнуло моей.

Всё, всё с приветом жаркой ласки
В младую грудь втеснилось вдруг
И облеклось в живые краски,
В деянье, в слово, в образ, в звук.
Как мир великим мне казался,
Пока не вышел из зерна!
В развитье ж как он мал остался,
И эта малость как бедна!

С какою бодрою охотой,
Безумьем замыслов богат,
Не взнуздан тягостной заботой,
Я прянул в жизнь и жить был рад!
Всё — до бледнейших звезд эфира —
Мечтой тот юноша хватал,
И в высь, и в даль пределов мира
На крыльях мысли улетал.

Преград не зная, легкой птицей
Счастливец мчался, жизнь неслась,
А перед жизни колесницей
Шла свита резвая, кружась:
Любовь с гирляндой благовонной,
И *Счастье* с золотым венцом,
И *Слава* с звездною короной,
И *Знанье* с солнечным лицом.

Увы! Те спутники со мною
И полпути не пронеслись,

Как друг за другом чередою
Все, изменив мне, разбрелись:
Где Счастье? Где? — Без затрудненья
С дороги той свернуло вмиг,
А Знанью — облако сомненья
Закрыло светоносный лик.

Корона Славы где? — Позорно
Бездарным на чело легла.
Любовь? — И та вослед проворно
За легкой юностью ушла.
Вокруг всё стало тише, тише,
Пустынней, и теперь чуть-чуть
Надежды луч мерцает, свыше
Ложась на мой туманный путь.

Под всемертвящим жизни хладом
Кто ж ныне утешитель мой?
Кто вдаль идет со мною рядом,
Ведя меня туда — домой?
Ты — жизни высшая отрада
Средь трудных нош и горьких зол,
О *Дружба*, ты, кого измлада
Искал, искал я — и нашел!

И ты, о *Труд*, от треволненья
Хранящий мой безбурный путь,
Творящий тихо, но творенья
Не разрушающий отнюдь,
Кладущий в вечный строй природы
Хоть по песчинке вновь и вновь,
Но всё ж вносящий дни и годы
В платеж за тяжкий долг веков!

Между 1842 и 1850

Альфред Мейснер
(1822—1885)

425. ЖИЖКА

(Главы из поэмы)

ВСТУПЛЕНИЕ

Поэты уверяют, — но не верьте, —
Что мир наш — рай, — о нет, его свежит
Дыханье лишь убийственное смерти,
А кровь людская почву нам тучнит.
Но что же значит это опьяненье
Духовное, таинственное рвенье
К чему-то наивысшему? Творит
Что нам святых и мучеников? К свету
Полнейшему, безмерному из тьмы
Высокие порывы видим мы, —
Как объяснить потребность, жажду эту?
Что дух бодрит и в пламени костра?
Внушает песнь под сталью топора?
Бесовское ли это наважденье
Или души, уставшей изнывать
В оковах тела, мощное стремленье
Вещественные узы разорвать?

Из рода в род, от века и до века,
Сплошь через всю историю идет
Всемирный клич, — к суду тот клич зовет
Всех низвергавших право человека
И на него свой налагавших гнет.
Тот клич нам слышен в стоне угнетенных,
Душой и телом сжатых бедняков,
Исходит он из нор глухих, зловонных,
Из мглы темниц, из ям, из-под оков;
Из мрачных бездн подъемлясь к высям неба,
Напоминать он должен богачам,
Что эти люди алчут, жаждут там
И требуют познания и хлеба.
Раб внемлет кличу этому — и вот,
О смерти он помыслив, восстает,
И дух его, воспрянув, пламенеет,

А утеснитель внемлет — и бледнеет,
Хотя бы весь был плотно окружен
Толпой своих драбантов верных он.

Апостолы великого воззванья,
Лоскутьями плохого одеянья
Прикрытые, — тот нищ, убог, тот сир,
Но каждый свят святынею страданья,
Являются из хижин в божий мир,
И вот они — да внемлют им народы! —
Пророки, провозвестники свободы!
В Саксонии под окнами поет
Духовный гимн свой юноша — и ждет,
Авось богач от яств обильных бросит
Ему кусок, которого он просит, —
И кто же этот юноша? — Он тот,
Чей гром, чья речь изверглась громовая
Из Вартбурга, как с высоты Синая.
А тот убогий, жалкий сумасброд —
Жан-Жак Руссо, скитавшийся когда-то
Из края в край и бывший целый век
Беднейшим сыном Франции богатой,
Угас — и что же? — Этот человек,
Чем в мире жить — сам не имевший средства,
Оставил миру целому наследство —
Оставил революцию!

                                        Внесут
Учителя те в мир свое ученье —
И от него, как гроздья, отпадут,
А виноградарь-смерть в своем давленье
Из них кровавый выжимает сок,
И станет он вином в известный срок;
И где терпенья истощились меры
И сердце жаждой знойною горит —
Напиток тот всем жаждущим дарит
Свободы хмель и упоенье веры;
Учителей тех кровью охмелен,
Встает народ и расторгает он
Свой тяжкий плен, — расширив жизни сферу,
Он пробует и собственную веру,
И мощь свою — в виду тиранов злых,
Средь их твердынь и валов крепостных;
Идут бойцы в борьбу с могучей ложью

И падают посевом в ниву божью —
И фарисеи веру их тогда
Клеймят названьем «ересь».

Ересь — да!
Она везде, всегда — одна и та же,
Хотя на разных в мире языках
Звучит различно, — здесь ее монах
Из гроба проповедует; она же
На площади несется сквозь народ;
В церковной рясе здесь она идет,
Там в платье светском, — тут грозит тиарам,
А там — венцам; через нее Спартак
Рабов освобождает; «чашный стяг»
Она ж, святым исполненная жаром,
Здесь вознесла и за него стоит,
А там она Бастилию громит.
Ее ни в чем не изменяет время.
Она с себя стремится сбросить гнет,
И если ей уж не под силу бремя —
Она сама на смерть в огонь идет.

На смерть! — В борьбе с неотразимым роком
Досель ярмо народы тяготит,
Но ты, о человечество, в жестоком
Стеснении поверь своим пророкам,
Что тайная святыня победит.
Лишь больно то, что будет ей уступлен
Недешево победы той венец, —
Что каждый шаг к ней будет кровью куплен
Столь многих тысяч искренних сердец;
И ежели сперва алтарь, о братья,
Был кузницей к кованию цепей
Для наций в тьме церковного проклятья,
То кузнице ж к спасению людей
Быть алтарем священным доведется,
Когда в ней меч свободы откуется.
История смеется свысока
Над бреднями поэтов и мечтами,
Что вечный мир сулят и сквозь века
В дали времен предвидят пастушка
С мечом, обвитым нежными цветами, —
Железо то, что мирно обвилось
Лишь в их мечтах гирляндами из роз,

В клинке меча с крутым его закалом, —
Как ни лети вперед за веком век, —
Останется губительным металлом.
Покуда ткач событий — человек
И шар земной до полюсных исходов
Кишит людьми и жизнию народов,
Всё будет мир наполнен роковых,
Кровавых сцен, и тот же меч зловредный
Среди людей и всех племен земных
Останется великой жизни их
Эмблемою — увы! — веконаследной.

Железо! Злой, убийственный металл!
Меч острый! Дух земли тебя ковал
В той кузнице своей, в земной утробе,
Где он, гнездясь, свирепо воет в злобе.
На память не должны ль себе привесть
Сулители того златого века,
Мечтатели те, что железо есть
Врожденное в крови у человека?
Меч — молния, которая с высот
Заоблачных к нам свой полет спустила
И на земле, оцепенев, застыла,
И, обратясь в сталь хладную, встает,
Взвивается и после превращенья
Вторично служит молнией для мщенья —
И — новая гроза в руках у нас
Да очищает воздух от зараз!
Доколе мир до полюсных исходов
Кишит людьми и жизнию народов,
Всё будет он пред ними роковых
Исполнен сцен — и тот же меч зловредный
Останется великой жизни их
Эмблемою — увы! — веконаследной.
Туда, поэт, направь свои стопы
И с песнию своей иди суровой,
Где движутся народные толпы!
Там — твой шатер. Иди — с рукой, готовой
И меч подъять! Твоя до этих дней
И радостная песня отзывалась
Уныньем; мрачно голова венчалась
Твоя плющом, — и лучшею твоей
Сильнейшей песнью, мнимо лебединой,
Была та песнь, что пел в то время ты,

Как грезилось тебе, о сын мечты,
Что ты поешь перед своей кончиной.
Взгляни на кровь, на раны! Битва, бой —
Вот истинный источник вдохновенья,
А не глухая тишь уединенья!
И ежели молчит перед тобой
В истории затихшая погода —
Тебе молчать приходится, поэт!

Века идут, — когда ж у их исхода
Раскроется последний их завет,
Когда пройдут как тень, как сновиденье
Безумство, блажь и всякое волненье
И божий праздник с неба низойдет, —
Песнь и поэт последнюю споет.
Тогда как всех тревог народных волны
Увенчанным увидит свой порыв,
И наконец улягутся, безмолвны,
Последнюю твердыню сокрушив, —
Поэт и сам уснет на лоне мира
И замолчит его златая лира —
Затем что вся поэзия — лишь стон,
Что жалобно по воздуху несется,
Иль бой орла с препонами, где он,
Захваченный, бьет крыльями и рвется, —
Иль сторожа она ночного крик,
Когда едва лишь утро наступает,
А разгорелся красный день — и вмиг
Поэзия бледнеет, умирает.

Хочу я грянуть песнью громовой,
В ней передать прямым сердцам германским,
Как на борьбу с насилием тиранским
Восстал народ — весь целиком герой.
Не довелось ни одному народу
Так крепко стать за право, за свободу,
За мысль, за свет! Желал бы под грозой
Я рассказать в сопровожденье бури,
Как некогда с безоблачной лазури
На Чехию блестящий день слетел
И сонный мир отсюда засветлел, —
И может быть, те битвы и походы
Геройские, рассказанные мной,

Германии о лозунге свободы,
Ей родственном, напомнят стороной.
Не будет ли и ей полезен мой
Рассказ о том, как массой совокупной
Народ боролся с властию преступной,
Поправшею народные права?

О бедная Германия! Разбита,
Средь своего болезненного быта,
Ты думаешь, сама полужива,
Что умерло старинное гусита
Отечество, что Чехия мертва.
Изнурена сама не до того ли,
Что под ножом не ощущаешь боли,
Когда тебя разрезывают, рвут,
И — между тем как нации растут
Вокруг тебя и крепнут в новой силе —
Слабеешь ты и будто бы к могиле
Склоняешься — а Чехия мертва ль,
Узнаем мы, узрев тот день, ту даль,
Отколь лучи рассвета лишь мелькнули, —
Сознай лишь то по настоящий час,
Что в племени мы этом почерпнули
Всё высшее, — всё, что бессмертно в нас!

СМЕРТЬ ЖИЖКИ

В отчаянье весь лагерь. Погибает
Гуситов и отец и вождь, снедает
Его чума. И страшно посмотреть!
Узнать нельзя! Тринадцатипобедный
Лежит, чуть дышит, искаженный, бледный,
И в эту ночь он должен умереть.
И воины, прикрыв глаза щитами,
Тихонько плачут горькими слезами,
А женщины и дети все — навзрыд,
И песнь вдали церковная гудит —
То пастыри в сопровожденье хора
Поют. Увы! отца не станет скоро.
«Внимайте, люди! — Жижка говорит. —
Я отхожу, — но и в дверях могилы,
Когда чума мне стягивает жилы,
Негодованьем грудь моя горит,
И ненависть, и злость во мне бушуют.

Когда еще стоят и торжествуют
Твердыни многих замков и князья
Коварствуют во вред народной чести,
Когда еще не выполнен долг мести
За край родной, — конец свой вижу я.

Исполните ж, о дети, неослушно
Завет отца! Моих предсмертных слов
Вы не должны пугаться малодушно:
Когда умру — наружный весь покров
Вы с тела Жижки мертвого сдерите —
И лоскут кожи этой натяните
На боевой гуситский барабан!
От многих полученных мною ран
Она дырява стала, но скроится —
И часть ее на барабан сгодится!
Когда навек сам Жижка замолчит —
Пусть хоть его изношенная кожа,
Врагов воинским грохотом тревожа,
Победным маршем бойко вам звучит!
Пускай Прокоп тогда, с врагами споря,
Велит ударить в Жижкин барабан
И вас ведет — по самый берег моря —
Со славою, вразрез враждебных стран! . .»

Так он вещал в одушевленье диком, —
И воины с безумным воем, с криком
Кладут вождя великого на щит —
И на щите несут они героя,
Как носят павших средь равнины боя,
И руку он к мечу еще стремит, —
И пурпуром своим его одела
Вечерняя заря в тот смертный час.
Все стихли. «Чаша выиграет дело!» —
Воскликнул он — и в пурпуре угас.
Упорно *Прибыслав*[1] в своей твердыне
Держался всё, теперь же, по кончине
Вождя, чья длань грозу ему несла,
Отчаянно рванулись табориты,
Скорбь в бешенство мгновенно перешла —
И укрепленья рухнули, разбиты,
И город весь — лишь грудой праха стал;

[1] Прибыслав — город, при осаде которого умер Жижка.

А в пламени, что ярко воспылал
Над этою развалиной печальной,
В честь Жижки вспыхнул факел погребальный.

ЗАВОЙ

Битвы отгремевшей страшную картину
Озаряет месяц бледными лучами,
Тихо свет свой грустный льет он на равнину,
Устланную вроссыпь мертвыми телами.

На скале репейник жмется. Хороводом
Издали несутся облаков громады.
В воздухе повиснул под небесным сводом
Коршун, наподобье храмовой лампады.

Сел Завой на камень, и в земле уступы
Он своей секирой вырубает, сидя,
И по тем насечкам всё считает трупы.
Утомившись счетом и конца не видя,

«Вот, — он размышляет, — нового ученья
Сколько жертв напрасных! Не сочтешь ведь — сколько!
С целым миром бились эти ополченья,
А остались прахом на земле — и только.

Вот, глядишь, и коршун вьется плотоядный!
Дух святой ужели эдак обновился
И, усвоив хищность птицы кровожадной,
В новом виде миру коршуном явился?

О, взгляни, сын божий, долу с выси крестной!
Искупитель мира! Это ль искупленье?
Это пламя — тот ли огнь любви небесной,
Что завещан людям был в твоем ученье?

Не в твое ли имя дольний мир устроил
Оргии убийства? С дикою любовью,
Мнится, сердце тигра этот мир усвоил,
Охмелев твоею до безумья кровью.

Кто же в том виновен? О, распятый! ты ли?
Нет, — на тех да ляжет тяжкий груз проклятий,
Что пришли в мир после и твоим стеснили
Именем священным миллионы братий!

Хоть свободы лозунг деспотизма силе
Уступил и стихнул при неравном бое,
Жив, не обречен он — лозунг тот — могиле, —
Он пойдет, — возьмет он знамя лишь другое.

Есть бог жизни нашей, бог судьбы народов, —
Перед ним бессильны все цари вселенной,
Громы все ничтожны войн их и походов,
Глас его звучнее их трубы военной.

Дух свободы! Двигнись! Ты прижат, унижен.
Ополчись к разгрому замков самовластных!
И неси до самых отдаленных хижин
Лозунг свой в утеху бедных и несчастных!

Чехия! Мертва ты, но твой прах хранится,
Как заряд в орудье: из жерла изринет
Бомбу он — и целый мир воспламенится
И пожаром общим против Рима хлынет.

Чехи! Мукам вашим нет под гнетом меры,
Но вы — гроздья, чехи, — пусть проходят годы!
После гнета жизни и броженья веры
Отстоится добрый, крепкий хмель свободы.

Ваша смерть, герои, нового ученья
Льет нам свет отрадный. На пути высоком
Вы и самой смертью, под венцом мученья,
Для других народов служите уроком.

Как, нажав средь битвы грудь врага коленом,
Воин смерть не разом павшему наносит,
Но глядит и медлит, — сдавлен тяжким пленом,
Может быть, пощады гибнущий попросит, —

Так нависли грозно вражеские взгляды
Над тобою, край мой, Чехия родная;
Смотрит враг и медлит. . . Не проси пощады!
Мученицей гибни, свято умирая!»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Песнь кончена, последний замер звук —
И лира, выпав у меня из рук,
Разбилась в прах. Светильника ночного
Луч меркнет, — не зажгу его я снова!
Песнь кончена. Сижу, чело склоня,
В груди ж моей — гроза, в ней буря взвыла, —
О Жижке песнь, как дикий конь, меня
Помчала вдруг — и сердце мне разбила.

С высоких скал, где ели наросли,
Смотрю я вниз на щедрый пух земли,
Как встарь смотрел, — на нивы, на посевы, —
Зарей слегка румянится восток;
По-старому реки волшебный ток,
Опять ведет шумливые напевы.
Вперяю взор в далекий сумрак я,
В глушь темную. . . И это — ты, немая,
Бездомная отчизна, мать моя?
О Чехия — страна моя родная!
Я весь дрожу — и через влагу слез
Гляжу кругом, росу с своих волос
Холодную рукою отирая,
С невыразимым чувством вдаль гляжу, —
И, кажется, средь траурного хода
На гробовых носилках я сижу
В день похорон великого народа.

Великого! — Ты не поймешь, чужак,
Слегка лишь песни эти пробегая,
Как был велик народ тот встарь и как
Был добр и свят он, в муках умирая.
На языке людей и слов тех нет,
В которых мог бы выразить поэт,
Как ты страдал, о Чех прямой и честный,
И как в те дни, когда весь мир окрестный
Дремал во тьме, отстаивал ты свет.
Поймет лишь тот, кто здесь рожден и вырос,
На этой почве кто успел созреть,
И рад бы он лететь туда — на клирос
Той древности, и тот хорал запеть!

Впервые здесь явился светоч ясный,
Здесь вспыхнул он на алтаре земли, —

И от костра, где Гус горел несчастный,
Сам Лютер, Гуттен факел свой зажгли.
А лозунг тот, что мир волнует целый
Досель еще, — и вечно жив для нас! . .
Не здесь ли тот свободы лозунг смелый
Измолвлен был, услышан в первый раз —
И на борьбу неслыханную двигнул
Весь край? Босц хоть цели не достигнул
И лозунг тот подавлен, заглушен —
Он и сквозь гнет идет из рода в роды
И, знаменем иным лишь осенен,
Всё веет нам предвкусием свободы.

«Всем — чаша!» — здесь воззванье истекло,
Отсюда громовое это слово
В историю всемирную вошло
И в наши дни всех деспотов готово
Призвать на суд из всех подлунных стран,
Отсюда Жижкин звучный барабан
Внес в мир его. Семь лет упорно бился
Потом Прокоп, и гром тот разносился
Всё далее. Бесплодна ль та борьба?
Нет, — слово то лишь грянет благодатно —
И — глядь! — герой возникнул из раба,
И, хоть оно звучит полупонятно,
Весь дольний мир одушевлен был им, —
«Всем — чаша!» — не с одною только кровью
Христовою, но чаша и с живым
Разумным светом, с жизнию, с любовью!
И этот край кладбищем стал, где льет
Порой слезу лишь тучка мимоходом,
Став для души темничным мрачным сводом,
Заклятья где таинственного гнет
Ее сильней всё и сильнее жмет!
И этот край стал краем глаз безвзорных,
Ртов сомкнутых, сердец крепкозатворных,
Где взгляд ребенка тьмится уж тоской,
А юноша — изогнут над клюкой,
Где светлый дух — орел, сидящий в клетке, —
Здесь в лица поселян вросли отметки
Той старины страдальческой, — она
В приемах их, в движениях видна;
Все их черты без слов здесь молча громки

И послужить историку б могли,
Как ржавого оружия обломки,
Изъятые из темных недр земли.

Край Гуса, но — досель попами полный!
Край Жижки, но — всё сжатый, всё безмолвный!
Край, где кипели жизнь, народ, война
И где теперь лишь смерть водворена!
Но тут не всё! Пусть это так! Народы,
Переживая разные невзгоды,
Живут и на могилах, где зерно
Грядущей жизни, света и свободы
Как в житнице творца сбережено, —
Верх горя — в том, что смутные понятья
Народные пугаются проклятья,
Лежащего меж листьями венцов
На именах бессмертных мертвецов,
Так доблестно боровшихся с тиранством,
И что народ, поповским шарлатанством
Обманутый, в течение веков
Всё видит в тех мужах *еретиков*
И их дела считает окаянством.

Вот земледелец вечерком свой плуг
Ведет, взрывая землю им, — и вдруг
Остановился, падшего героя
Случайно вырыв из земли скелет —
Скелет того, кто лег здесь жертвой боя
В борьбе за вольность, за права, за свет,
Кто наконец последним оставался,
С кем целый род геройский тот скончался, —
И вот — где прежде старый таборит
В разгаре битвы, средь войны кровавой
Отстаивал рабов несчастных право —
Подплужный грунт всё барщиною взрыт, —
А жаворонок тут же вверх летит
И песнь поет средь вольного круженья, —
О господи! Довольно поношенья!

О таборит! Названье «сироты»
Меж земляков недаром принял ты
Средь благородной гробовой печали,
Когда тебя тот муж огня и стали
Покинул здесь, объят кончины тьмой,
Когда твой Жижка съеден был чумой;

Без крова, ты готов идти был биться,
Пока во прах вконец не истребится
Проклятье рабства и пока весь мир —
Сей рабствующий мир многонародный —
Не съединится верою свободной
По всей земле в общенародный клир.
Вотще! бойцом с смертельной раной в теле,
Несущим весть о выигранном деле,
Ты с вестью шел, что мир освобожден, —
И — глядь! — во мрак сам вестник погружен!

И длится это дело так! Восходит
Для тех и этих лучшая звезда,
А Чех досель всё «сиротою» бродит;
Дух прошлого ему лишь иногда
Мелькает вскользь. Он отказать в приеме
Чужим — не смей! Те в дом его идут,
Хозяйничают в нем, едят и пьют,
А он — рабом в своем остался доме!
Последнего наследства своего
Лишен бедняк, глумятся над гонимым,
Отняв святое право у него
И говорить на языке родимом.
Один лишь клад успел он уберечь,
Как на гнилой стене старинный меч,
Что в память дней минувших бережется, —
И это песня, — в хижинах поется
Она досель, сердечно и тепло
Давая знать: «Всё кончено, прошло!»

Навеки ль всё прошло? И никогда ты
Не вспрянешь, о народ смертельно сжатый?
Совсем ли твой разбит могучий челн
Неукротимой яростию волн?
Взгляни! Вокруг — проснулось всё живое,
Глаза открылись, утро золотое
Весеннее увидел божий мир, —
А ты один нейдешь на вешний пир!
На западе, на севере — движенье,
Везде. . . но нет! Мне тяжкое сомненье
Внушает твой безрадостный удел, —
Нет, — никакой народ, в своем крушенье
Перетерпев, что ты перетерпел,

И омертвев, не мог бы возродиться
И к бодрой, полной жизни пробудиться!

Я исшагал весь край с конца в конец,
Повсюду напрягая слух и взоры,
Изведал я его леса и горы;
Казавшихся уж мертвыми сердец
Прислушивался к слабому я звуку,
Накладывал пытательную руку
На каждый холм, на гребни хладных скал,
На камни все и пульса в них искал, —
Есть в уголках минувшего остаток,
Есть кое-где грядущего задаток, —
Порой, как бы проснувшись невзначай,
Вперяет взор свой в небо бедный край,
Но свежей жизни к поприщу земному
Удастся ль встать отчаянно больному?
Он мечется и словно хочет встать, —
Но — к лучшему ли это всё? — Как знать?

Но — знаю я, что день еще проглянет,
Придет пора, где этот край восстанет
В последний раз на трудную борьбу.
То будет крайним опытом изъятья
Его сынов из-под оков заклятья,
Гнетущего так тяжко их судьбу, —
И как бокал, где жгучего напитка,
Через края вздымаясь, пена бьет,
Страданием и горем будет тот
Великий день исполнен до избытка,
И разрешит борения успех,
Кто здесь хозяин — немец или чех.
Но для чего мне знать, какое племя
Одержит верх? Чем будет решено?
Я рад тому, что прах мой в это время
В могиле будет отдыхать давно.

Певец свободы — хоть по родословью
Проникнутый насквозь немецкой кровью —
Был верным сыном Чехии вполне
И всё стоял на слабой стороне —
На стороне страдальцев, жертв могильных, —

И как бы вдруг на стороне он сильных
Явился там? .. Здесь лозунгом была
Ему «святая правда», в бой вела
Его она, а там — в победном строе —
Он должен был бы поражать родное
Ему теперь, — душа б изнемогла!
И, чтоб себя меж двух огней не ставить,
Пришлось бы меч на грудь себе направить,
Когда б в бою с враждебных двух сторон —
И там и здесь увидел братьев он!

Жаль, больно жаль, что жертвы так велики,
Что через кровь бывает лишь дана
Та истина, которую владыки
Позабывают часто так. Она
Вещает нам, что уважаться строго
Народность в мире каждая должна,
Как таинство неведомого бога.
Не избежит от кары ни один
Ее влекущий в рабство властелин,
И никогда так страшно кровь не льется,
Как тут, — всех язв нельзя исчесть!
Тут без конца с враждой передается
Из века в век наследственная месть.

А там опять несчастного народа
С слезами вместе хлынувшая кровь
Пройдет, уймется, — мир настанет вновь,
Как после бури тихая погода, —
И вновь, когда вечерний полусвет
Расстелется, поселянин за плугом,
Быть может, остановится с испугом,
Случайно вырыв из земли скелет,
И — где сверкали молнии сраженья,
Вновь жаворонок выпорхнет, взлетит
И радостною песнью средь круженья
«Как благодатен вечер!» — зазвенит.

Но наконец дождется мир до всхода
Такого дня, где все сознают въявь,
Что цель, что верх истории — свобода,
А пастырь мира — смысл народных прав.
Тогда-то нива, что теперь подножьем
Нередко служит воинства коням,

Святыней будет, станет храмом божьим!
Конец — твердыням, замкам, крепостям!
Конец убийству и безумно злобной —
На брата брат — борьбе междоусобной!
Составят круг тогда одной семьи,
Рука с рукой, народы, восседая
За трапезой, — и чаша круговая
Вновь явится им чашею любви!

⟨1867⟩

С ВЕНГЕРСКОГО

Шандор Петёфи
(1823—1849)

426

Как мир велик наш, так мала
Голубка, ты, что мне мила,
Но — будь моя, голубки белой
Я б и за мир не отдал целый.

Ты — день, я — ночь, я весь — в нее,
Но сердце темное мое
Когда б с твоим соединилось, —
Заря какая бы явилась!

Склони глаза, — от их огня
Сгорю я, ты сожжешь меня!
Но — ты бежишь... Ах, будь добрее!
Постой!.. Сожги меня скорее!

⟨1867⟩

427

Вдруг — я в кухне... Кто б открыл,
Для чего? Во рту дымилась
Трубка, я бы закурил,
Но она и так курилась.

Для чего ж я шел сюда —
В кухню? Кто бы мне ответил?
Сам скажу: я в ней тогда
Прелесть-девушку подметил.

Та огонь развесть сильней
Тут старалась, угли рдели;
Между тем глаза у ней
Ярче углей пламенели.

Как взглянула на меня...
Молвить — слов бы недостало...
Глядь, — уж в трубке нет огня,
Сердце ж так и запылало!

⟨1867⟩

428

Я иду селом меж хат,
Скрипки вслед за мной гудят.
Вот вино вам, — пей, прошу,
Сам отчаянно пляшу.

Заунывную, цыган!
Плакать дай мне! С горя — пьян!
Под окном тем — вновь плясать —
Грянь веселую опять!

Там есть звездочка одна,
Да изменчива она, —
Для меня свой свет затмит
И другим тогда блестит.

Вот — окно! Цыган! Греми!
Веселее, черт возьми!
Пусть не видит, как мое
Сердце рвется от нее!

⟨1867⟩

429

Я хотел бы бросить этот шумный свет,
Где всё — пятна, света ж истинного нет;
Скрылся бы охотно я в такой глуши,
Где из всех живущих нету ни души,
Где б я слышал только шелест ветерка,
Слушал бы, как плещет и шумит река,
Распевают птички, — всё б смотреть готов,
Как летают груды вольных облаков,
Как свершает солнце всход свой и закат, —
С ним и закатиться б вместе я был рад!

⟨1867⟩

430

Что слава? — Радуга, где солнца луч, в откос
Порою падая, дробится в каплях слез.

⟨1867⟩

431

Страданье — океан без берега и дна,
А радость — в нем жемчужинка одна, —
Ты с ней лишь вынырнул не с должною сноровкой —
Она уж хрупнула в руке твоей неловкой.

⟨1867⟩

432

Наши надежды как птички взлетают высоко,
Но как взлетят они дерзко под самый престол
Туч громоносных — в пространство — далеко, далеко,
Где удержаться едва успевает орел, —
Грозный охотник — действительность — в них направляет
Выстрел... Нет цели столь дальней, куда б не хватил
Сильный заряд его... Он приложился — стреляет...
Птички упали, — стрелок их убил.

⟨1867⟩

Огонь моей свечи то вспыхнет, то притьмится.
Один я в тишине
Брожу по комнате, во рту чубук дымится;
Картины прошлого предстали снова мне, —
Курю, шагаю я, шагаю,
Клубится дым, блуждает мысль моя;
Тень дыма по стене проходит, замечаю, —
О дружбе размышляю я.

⟨1867⟩

С ПОЛЬСКОГО

Ян Кохановский
(1530—1584)

434. НЕ ТЕРЯЙ НАДЕЖДЫ!

В мире что ни дейся —
Смертный всё надейся!
Солнце не однажды сызнова взойдет,
После непогоды ярче день блеснет.

Глянь, — леса раздеты
Донага, скелеты
От дерев остались, не цветут поля;
Холодно, снегами кроется земля.

Тем еще утешней
Будет праздник вешний,
Вновь мир будет скоро солнышком согрет,
Радужно раскрашен, зеленью одет.

Грусть и утешенье
На земле — в смешенье,
Если ж скорбь иль радость чересчур сильна —
Знай, что тем скорее перейдет она.

Человек пред всеми
Горд в благое время,
А как даст фортуна по носу щелчок —
Голову понурил он и изнемог.

Нет! при всяком часе
Дух имей в запасе
И всегда будь ровен! Жребий в свой черед
Пусть дает что хочет и назад берет!

Не вменяй в утрату,
Что еще возврату
Может быть доступно! В час и в миг один
Возвратить всё может горний властелин.

⟨1871⟩

Станислав Трембецкий
(1739—1812)

435. ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Где только орел быстрым лётом своим
Птиц робких внезапно пугает
И гневный Юпитер огнем громовым
Воздушную область пронзает —
Глядь — двое из смертных летят! Победить
Задумав искусством природу
И опыт Икара решась повторить,
Взнеслись они к горнему своду.
Вздымаемый шаром раздутым, челнок
Несет их, пловцы не робеют.
Рулем управляет неведомый рок,
А ветер командует. Реют.
Уж дольные зданья чуть видимы. Взгляд
Иные встречает картины
И образы, — вместо тех стройных громад
В тумане мелькают руины.
Король и сенатор и пахарь простой
У смелых пловцов под ногами
Смешались, покрытые пылью густой,
Все ползают там червяками.

Как мокрого детского пальца следок
Порой, на столе проведенный,
Так Вислы могучий, шумливый поток
Является им, измененный.
Сбегается к редкой потехе народ —
И сколько тут кликов, вопросов!
Летящих чарует успешный полет, —
По-своему мыслит философ.
Природа тройной хоть стеной оградись —
Стремящийся вдаль понемногу
И вглубь человеческий разум и ввысь
Пробьет себе всюду дорогу.
Он дикую силу стихий превозмог,
И — с их ломовым произволом
В боренье — от суши он воду отвлек,
Горам повелел он быть долом;
Морям он свои поручил корабли,
Средь волн, побеждающий бури,
Сокровища вырыл из недр он земли
И плавать стал в горней лазури.
Плыви, вознесись, благороднейший челн!
Сил вражьих не бойся удара,
Твой подвиг славнее средь жизненных волн,
Чем подвиг отважный Бланшара!

(1871)

Томаш Венгерский
(1755—1787)

436. ФИЛОСОФ

Есть ли деньги, нету ль денег —
И здоров, и весел я.
Мне — когда я не мошенник —
Нагота не в стыд моя.

Если как-нибудь живется,
То фортуне и поклон!
Часом тонко — так, что рвется, —
Я и тем не возмущен.

Мне и в ходе самом тесном
Меж препятствий — не беда, —
До того, чтоб стать бесчестным,
Я не скорчусь никогда.

Велика ль моя потреба?
Обхожусь в голодный час
И без белого я хлеба,
И без сочных, ценных мяс.

Для значенья перед светом,
Чтоб снискать его поклон,
Я не жажду быть одетым
В злато, бархат и виссон.

Где нужна для дружбы трата
Денег — прочь я от связей, —
Не хочу ценою злата
Покупать себе друзей.

Если дружба еле длится
И до черного лишь дня
Угощеньями крепится —
Дружба та не для меня!

Так, не склонный к дальним тратам,
Сам большой в своем дому,
Я кажусь себе богатым,
Коль не должен никому.

⟨1871⟩

Юлиан Немцевич
(1757—1841)

437. ЛЕШЕК БЕЛЫЙ

Покинута всеми, одета небрежно,
Елена жмет к сердцу печальному нежно
Любезного сына, крушится о нем, —
То Лешек, что «Белым» был прозван потом,

«Ты весел, — промолвила, — птенчик невинный,
Своей ты не ведаешь горькой судьбины.
Я стала вдовицей, ты стал сиротой,
Вельможные паны, злокозненно глядя
На нас, как настроил их хитрый твой дядя,
Готовят погибель тебе, мой родной.

Рожденный на свет для короны и царства,
Ты, бедный, став жертвой людского коварства,
Всё в мире утратил! В своем же краю
Лишь матери скорбной к родимому лону,
Скиталец, ты голову клонишь свою.
Где сыщешь иную еще оборону?»

«Сдержи, королева, слез горьких поток! —
Елене сказал престарелый Гово́рок. —
Отцу я служил до конца, сколько мог,
И сын его будет до гроба мне дорог.
Доколь еще в силах владеть я мечом —
Не будет терпеть он обиды ни в чем».

Шли годы. Рос Лешек, по прозвищу «Белый»,
Под старца надзором, и доблести в нем
Росли, развивались. Правдивый и смелый,
Он шествовал Пястов достойным путем,
Искусен был в рыцарских ратных забавах
И счастливо действовал в битвах кровавых.

Говорок сердечной своей прямотой
Развил к себе ненависть в сфере придворных.
Завистники к Лешку приходят толпой
И просят от имени граждан покорных,
Чтоб Лешек Говорка изгнал от двора.
«Тогда надевай и корону! Ура!»

Смиренная в комнате скромной сидела
Тогда королева в наряде простом,
Где золота даже она не имела
Ни блестки единой, — и Лешек притом
Был тут же, сидел погружен в размышленье.
Его удивило послов предложенье.

Молчание длилось. Говорок восстал.
«Прими, — он смущенному Лешку сказал, —

И властвуй! Народ тебе трон предлагает, —
Итак — я дождался желанного дня!
Пусть край наш родной оттого не страдает,
Что зависть преследует злобно меня!

Я старец, — земной не прельщаемый властью,
Уйду в уголок родовой я земли
И буду доволен изгнанника частью,
Ты ж смуты смири, мятежи удали
И всякое зло от родимого края,
Правдиво и доблестно им управляя!

Когда ж я услышу, даст бог, что того,
Кого я усердно воспитывал смлада,
Возлюбит народ, как отца своего,
Пошлется и мне еще в мире отрада.
Из ссылки на трон твой я взор возведу
И, сладко утешен, в могилу сойду».

В слезах королева внимала, слезами
И все заливались, а тронутый князь
На речь ту ответил такими словами:
«Нет, Лешек по самый последний свой час
Не сможет забыть (долг тут сердцем указан),
Чем краю, себе и Говорку обязан.

Нет, я не хочу, чтобы тот человек,
Кто призрел меня, беспокровного, в мире,
Безвестным изгнанником кончил свой век,
И сколько бы не было блеска в порфире,
В короне и скипетре — для моего
Для сердца друг верный дороже всего».

И чувств благородных младой возвеститель
Наградою взыскан от господа был.
Князь Польши, могучий в боях победитель,
Сам вскоре корону себе возвратил,
И старый Говорок при жизненном склоне
В душевной отраде зрел Лешка в короне.

⟨1871⟩

Адам Мицкевич
(1798—1855)

438—457. *СОНЕТЫ*

1. К ЛАУРЕ

Чуть мелькнул мне взор твой — признаки мне зрелись
Давнего знакомства в незнакомом взоре,
И твои ланиты ярко разгорелись,
Словно розы утра при златой Авроре.

Ты запела... Голос в душу мне проникнул,
Вспомнил я: не к раю ль бог меня сподобил?
Мнилось: ангел божий эту душу кликнул
И с небесной башни час спасенья пробил.

Милая! Признайся! .. Бед я не умножу:
Если взглядом, словом сон твой потревожу,
То хотя бы жребий нас и разлучил —

Пусть я буду изгнан и убит судьбою,
Люди пусть другого обручат с тобою —
Бог твою б мне только душу заручил!

2

С собой говорю я, с другими немею,
Вдруг к сердцу вся кровь приливает моя,
В глазах моих искры мелькают, бледнею;
Иные с вопросом: не болен ли я?

Те шепчут: вполне ли рассудком владею?
Весь день так я мучусь. Вот время спанья!
Авось хоть минутку украсть я успею
У мук моих после несносного дня!

Нет! Сон благодатный страдальцу неведом;
Мне сердце бьет в голову огненным бредом,
Вскочивши, я фразы слагаю, твержу:

Вот то-то и это злодейке скажу!
Но только увижу тебя — и ни слова!
А там вновь горю я, и мучусь я снова.

3

Ты ходишь так просто, в блестящую фразу
Ты слов не слагаешь, со всеми скромна,
А рады все быть к тебе ближе — и сразу
В одежде пастушки царица видна.

Вчера были песни и говор, был праздник,
Звучали твоих там подруг имена;
Тот гимны им пел, тот острился, проказник, —
Вошла ты — настала сейчас тишина.

Так в пирном разгаре смолкает вдруг зала,
Где к хору недавно взывал запевало
И бурно всё шло в плясовом колесе.

Вот — тишь водворилась: что б значило это?
«То ангел промчался», — был отзыв поэта.
Все гости почтили; узнали — не все.

4. СВИДАНИЕ В РОЩЕ

«Ты ль это? Так поздно!» — «Что ж делать?
В ночную
Мне пору досталось в лесу поблуждать;
А ты — всё ждала меня? Я торжествую. . .»
— «Злой друг мой! Могла ли тебя я не ждать?»

«Дай ручки свои мне! Я их расцелую.
Дрожишь? Отчего?» — «Я готова бежать,
Чуть в роще шум листьев, крик птицы почую, —
Мы, верно, преступны: зачем бы дрожать? . .»

«Преступны? . . Взгляни мне в глаза! О, напрасна
Боязнь. Преступленье не смотрит так ясно.
Иль то, что мы вместе, считать нам виной?

Однако ж так чужды мы близости тесной —
Так чужды, как будто б, мой ангел земной,
Ты всё для меня только ангел небесный».

5

Ханжа нас бранит, а шалун в легкокрылом
Разгуле глумится, что двое в стенах —
Ты с юностью нежною, я с моим пылом —
Сидим мы: я в думах, ты в горьких слезах,

Я бьюсь с искушеньем, хоть бой не по силам,
Тебя же пугает бряцанье в цепях,
Которыми рок приковал нас к могилам:
Как знать тут, что деется в наших сердцах?

Что ж это? Удел наслажденья иль муки?
Приникнув к устам твоим, сжав твои руки,
Могу ли удел свой я мукой назвать?

Когда ж нам приходится тяжко рыдать
В минуту свиданья пред веком разлуки —
«Вот, вот наслажденье!» — могу ль я сказать?

6. УТРО И ВЕЧЕР

Солнце на восходе гонит ночь-смуглянку,
А к закату месяц клонится унылый.
Роза, солнце видя, встала на приманку,
Под росой фиалка гнет свой стебель хилый.

Под окном Лауры я присел на планку,
А она, лаская локон свой, спросила:
«Отчего так все вы грустны спозаранку —
Месяц, и фиалка, да и ты, мой милый?»

Вечером явился я в картине новой:
Месяц возвращался бодрый, весь багровый,
Освежась, фиалка стебель поднимала,

Веселей, чем прежде, милая стояла
У окна того же, — я ж предстал Лауре
И присел, как утром, так же лоб нахмуря.

7

Неман! Родная река моя! Где твои воды —
Те, что я черпал когда-то детской рукой,
Те, по которым я после, в кипучие годы,
Плавал, прохлады ища под горячей тоской?

Здесь и Лаура над зеркалом вечной природы
Лик свой венчала цветами, любуясь собой:
Лик ее в зеркале этом в час тихой погоды
Здесь орошал я своею сердечной слезой.

Неман родимый! О, где твои прежние волны?
Где золотые надежды — все блага земли?
Где тот ребяческий возраст, утехами полный?

Милые бури остались в минувшем — вдали.
Где вы, Лаура, друзья мои? Прошлого тени безмолвны.
С прошлым зачем же и слезы мои не прошли?

8

В день знойный, измучен, стрелок молодой,
В раздумье вздыхая, стоял над рекой.
«Нет, прежде, — он мыслит, — увижу тебя я,
Чем скроюсь навеки из этого края!

Увижу — невидимый! . .» Всадница вдруг
В уборе Дианы с заречья блеснула,
Сдержала коня, взор назад повернула
И ждет. . . верно, спутника! . . Значит, сам-друг.

Стрелок отступил, весь он в трепете сжался
И с горькой усмешкой, как Каин, глядит. . .
Дрожащей рукою заряд его вбит. . .

Вот словно от мысли своей отказался —
Отходит. . . пыль видит вдали он: взято
Ружье на прицел. . . Не подъехал никто.

9. РЕЗИГНАЦИЯ

Жалок тот, чье сердце безвзаимность губит;
Жальче тот, чье сердце злая скука гложет;
Но по мне всех жальче, кто совсем не любит
Иль любви минувшей позабыть не может.

Ветреной кокетке в ласке он откажет,
Видя идол новый, взглянет староверцем;
Ангела ж коль встретит, то, опомнясь, скажет:
«Как к его стопам мне пасть с поблеклым сердцем?»

Там он презирает, тут себя винит он;
Дев земных он гонит, от богинь бежит он;
В нем, простясь с надеждой, сердце каменеет,

И как разоренный храм оно в пустыне —
Рушится и гибнет: жить в его святыне
Божество не хочет, человек не смеет.

10. К......

Ты в очи мне глядишь, вздыхаешь ты, — напрасно!
Во мне — змеиный яд. Прочь! Осторожна будь!
Побереги себя! Доверчивость опасна,
Ты увлекаешься. Спеши уйти! Забудь!

Одну еще люблю я добродетель страстно:
То — искренность; так знай, что мне ты сыплешь в грудь
Лишь искры адские. Я гибну — это ясно.
Зачем же ангела мне в жребий свой втянуть?

Я наслаждаться рад, но обольщать не стану
Из гордости. Дитя! Я — пересохший злак.
Ты только расцвела, а я давно уж вяну.

Твоя обитель — свет, моя — кладбище, мрак.
Так вейся ж, юный плющ, вкруг тополей зеленых,
Дав место терниям при гробовых колоннах.

11

Неволя в первый раз меня лишь веселит;
Я на тебя гляжу, а лба не тьмит мне туча;
Я мыслю о тебе, а мысль моя летуча;
И вот — люблю тебя, а сердце не болит.

Не раз я признавал за счастье миг разгула,
Не раз в пылу и то за счастье принимал,
Что слово сладкое кокетка мне шепнула, —
Но, взыскан счастием, его я проклинал.

Тех мнимых ангелов когда любил я много,
Как много лил я слез в мучительном огне!
Теперь... теперь о них и вспомнить больно мне.

С тобой лишь счастлив я — молюсь и славлю бога
За то, что он так благ: послал тебя мне он —
Тебя, кем я ему молиться научен.

12

О милая! Мой рай — любви воспоминанья,
Но ад мой — мысль, что ты, быть может, схороня
В душе своей укор и совести признанья,
Тоску раскаянья скрываешь от меня.

Виновна ль ты, что вся полна ты обаянья
И что горит твой взор, как луч златого дня? . .
Не вверилась ли ты мне слишком — от незнанья?
Не слишком ли творец нам много дал огня?

Те дни, недели те. . . ты помнишь? — были знойны.
Мы одолели их, всё вместе, всё вдвоем,
И были, милая, друг друга мы достойны.

Пойду теперь я в храм молиться — не о том,
Чтоб бог, простив мне грех, привел меня к покою,
Но только б не карал меня твоей тоскою!

13. ДЕНЬ ДОБРЫЙ

День добрый! — Будить ли? Сама ты проснуться
Готова: впросонках душа уж твоя
В рай входит, но искры и нам остаются —
Так в облаке солнце, а видны края.

День добрый! — Взглянула ты: блещут и жгутся
Зрачки твои. Здравствуй, денница моя!
Вкруг уст твоих мухи докучные вьются.
Уж в окнах — день божий, а сбоку — и я.

С «днем добрым» пришел — но твой сон перервать я
Не смел. . . любовался. . . Ах, прежде вопрос:
Здорово ль проснулась? Легко ли спалось?

День добрый! К устам твою руку прижать я
Желал бы. . . ты гонишь. . . иду я. . . Вот платье!
Оденься ж: «день добрый» тебе я принес.

14. СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Кончена беседа. Спи! Спокойной ночи!
Ангелом небесным сон твой да хранится!
После слез пролитых отдохнут пусть очи,
Пусть покоем сладким сердце освежится!

Спи! Спокойной ночи! Каждого мгновенья,
Что мы были вместе, след да отразится
В этом сне приятном! В дымке сновиденья
Образ мой пусть лучшим для тебя приснится!

Спи! Спокойной ночи! Но еще взгляни ты
Мне в глаза! .. Ты хочешь уж прислугу
кликнуть...
Дай припасть мне к персям! — Ах! Они закрыты.

Дверь ты замыкаешь... Если б мог проникнуть
В скважину — тебе я сном сомкнуть бы очи
Не дал, повторяя: «Спи! Спокойной ночи!»

15. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

«Добрый вечер!» — Лучше нет привета,
Он мне мил — я не люблю рассвета;
Днем всё шум, когда ж приходит ночь,
То затворы говорят мне: прочь!

Молчалива вечером, под тенью
Ты скорей доступна увлеченью;
«Добрый вечер» чуть заслышишь ты —
Вспыхнет взор, блеснут твои черты.

«Добрый день» живущим вместе сладок!
Судится тут общий быт, порядок;
Для счастливца мил полночный час;

Где ж любовь должна робеть, томиться —
Там пусть «добрым вечером» притьмится
Зоркость слишком говорливых глаз.

16. К Д. Д.

ВИЗИТЫ

Вошел лишь и с нею успел я два слова
Промолвить — звонок! — и ливрейный тут хам
С докладом: визит! . . Чу! Звонят уже снова;
Один — из ворот, а другой — к воротам.

При входах всех волчьи я вырыл бы ямы,
Устроил капканы по всем тут местам,
А это не в помощь — за Стикс бы я самый
Ушел, окопался б и спрятался там.

Докучник сидит: смерть душа моя чует,
Казнится, мгновенья последнего ждет,
А он всё о рауте вчерашнем толкует!

Вот взял он перчатки. . . вот шляпу берет! . .
Я ожил — мне снова дух жизни дарован:
Что ж? Вновь он уселся! . . Сидит, как прикован.

17. К ДЕЛАТЕЛЯМ ВИЗИТОВ

Как милым быть гостем, хочу я поведать
Совет мой: рассказом укрась свой визит,
Что там-де танцуют, там сели обедать,
Хлеб дешев — дождливое время стоит.

Коль двое в салоне тут — гость и хозяйка,
Смотри, наблюдая: каков их привет?
И всё ли на месте? И их туалет
В порядке ли полном? . . Она. . . Замечай-ка! . .

Смеется, но нехотя; он достает
Часы из кармана и смотрит лукаво,
Учтив, но в глазах-то заметна отрава, —

Вставай и «прощайте» скажи — твой черед!
Желаю-де весело жить вам и здраво —
Когда ж ты их вновь посетишь? — Через год.

18. ПРОЩАНИЕ

К Д. Д.

Так сердце свое у меня отняла ты?
А впрочем, едва ли его я имел.
Иль совесть? .. А он-то? .. Иль требуешь платы?
За золото разве тобой я владел?

А всё же не даром: в сердечные траты
Входил я, души я своей не жалел,
Все ласки твои окупил — и могла ты
Меня оттолкнуть? Знать, таков мой удел!

Теперь открываю твои побужденья:
Ты гимнов хотела — а что они? Дым.
Что вирши? Для них-то ты счастьем моим

Играла? Но нет, — не продам вдохновенья,
И имя твое лишь бы вспомнилось мне —
Где таяли рифмы — замерзли б оне!

19. ДАНАИДЫ

Прекрасный пол! О, где ты, век златой? О, где вы,
Дни чудные, когда за полевой цветок,
За ленту алую сдавалось сердце девы
И перед милою быть сватом голубь мог?

Теперь дешевый век, и нежный пол — дороже.
Той золото даю — нет! гимны ей слагай!
Той сердце предлагал — отдай и руку! Боже!
Ту пел и славил я — богат ли? отвечай!

О данаиды! Я кидал (несчастный грешник!)
Святыню в бочку вам; при гимнах, при дарах
Я сердцем жертвовал, расплавленным в слезах.

И вот я стал скупец из мота, стал насмешник
Из агнца! Хоть служить еще готов я вам
Дарами, песнями, — души уж не отдам!

20. ИЗВИНЕНИЕ

Я пел всё о любви средь круга своего,
Тем нравилось, а те тайком произносили:
«Что он вздыхает всё? Ужели ничего
Иного он ни петь, ни чувствовать не в силе?

Он в зрелых уж летах, подобный пыл его —
Одно ребячество». Иные же спросили:
«Дар песен от богов дан разве для того,
Чтоб нам лишь о себе поэты голосили?»

Великомудрый суд! Алкееву схватил
Я лиру и на лад урсинский возгласил
Глаголом выспренним, — глядь, — слушателей нету!

Рассеялись они! Их гром мой изумил;
Я ж струны оборвал и лиру кинул в Лету.
По слушателям быть назначено поэту.

458—476. *КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ*

1. АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Сухой океан подо мной; колесница
Зеленую хлябь рассекает, как челн,
Кораллы бурьяна обходит и мчится
По бездне цветов, средь растительных волн.

Нигде ни тропы, ни кургана! Мы стали.
Нет звезд путеводных: повсюду лишь мрак.
Вот — облако светлое! .. Вот — не заря ли? ..
Нет! — Днестр это; там — Аккерманский маяк.

Стоим мы. Как тихо! Доходит до слуха
Полет журавлей с высоты... Чу! Дрожит
Там листик! .. Я слышу, как змейка скользит

По травке... В тиши я напряг свое ухо
Так сильно, что зов из Литвы будь — и тот
Я б слышал... Поедем. Никто не зовет.

2. МОРСКАЯ ТИШЬ

Скользит ветерок, чуть касаясь до флага.
Спит море: чуть зыблется ясная влага.
Так в грезах невеста под радугой снов
Проснется, вздохнет лишь — и спит уже вновь.

Лег парус на мачту и дремлет, как знамя
На древке, — где брани угаснуло пламя.
Корабль, как прикованный к месту, слегка
Колеблется. Отдых для сил моряка!

О море! Полипа таят твои воды:
На дне спит он, сжавшись, средь бурной погоды,
А в тишь свои ветви спешит растянуть.

О память! На дне твоем гидра есть злая:
Под бурей страстей она спит, отдыхая,
И жало вонзает в спокойную грудь.

3. ПЕРЕЕЗД ПО МОРЮ

Волны растут; пир чудовищам моря открылся.
Вот на веревочной сетке матрос пауком
Вздернулся вверх, в паутину свою углубился,
В нитях чуть зримых висит он и смотрит кругом.

Ветер! Вот ветер! Надулся корабль, отцепился;
Стены валов восстают — он идет напролом,
Режет их, топчет, взлетел, с ураганом схватился,
Бурю под крылья забрав, рвется в небо челом.

Мысли, мечты тут, как парусы, я распускаю;
Дух мой над бездной, как мачты подъемлясь, идет,
Крик чуть раздастся — и в шуме веселом замрет.

Вытянув руки, я к палубе ниц припадаю:
Кажется, грудь моя сил кораблю придает;
Любо! Легко мне! Что значит быть птицей — я знаю.

4. БУРЯ

Парус в клочки; руль оторван. Шум! Рев! Завыванья!
Крики и вопли! Отчаянно помпы скрипят.
Вырван из рук моряков их последний канат.
Солнце кровавое никнет — закат упованья!

Вихрь торжествует... Идет к кораблю по волнам
Вставший из бездны дух смерти, шагает по влажным
Моря уступам — по этим горам стоэтажным:
Воин так штурмом несется к разбитым стенам!

Те еле живы; тот в корчах страдает жестоко;
Тот на прощанье склонился в объятья друзей;
Этот в молитвах пред смертью — противится ей.

Одаль один сел — и мыслит себе одиноко:
«Счастлив, кто может молиться на смертном пути
Или имеет кому хоть промолвить: прости!»

5. ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ ЕВПАТОРИИ

Пилигрим

Там... иль аллахом отвесно поставлен льдяной океан?
Или из туч замороженных ангелам трон изваян?
Или там духи полмира изрыли и вал возвели,
Чтоб от востока тут звезд караваны идти не могли?

Пышет вершина?.. пылает! Иль это горит Цареград?
Или в то время, как ночь облекается в темный халат,
Всем тут мирам, рассекающим море природы сквозь
мрак,
В куполе неба аллах воздвигает свой светлый маяк?

Мирза

Там?.. О, я был там: зима там сидит, и мог видеть я тут,
Как все источники воду из рук у ней клевами пьют;
Там при дыханье из уст моих иней и снег вылетал;

Там и орлы не бывали; там гром в колыбели дремал,
Тучи туда не вторгались: была над чалмой лишь звезда
Там у меня. Чатырдаг — это.

Пилигрим

А!

6. БАХЧИСАРАЙ

Еще велик, но пуст дворец Бахчисарая.
Челом пашей здесь пыль обметена — и вот
На тех диванах, где мощь нежилась людская,
То скачет саранча, то гадина ползет.

В цветные окна плющ ворвался, и на своды,
На стены дерзко взлез, и, человека трон
Заняв, во имя здесь владычицы-природы,
Как новый Валтасар, «руина» пишет он.

Средь залы мраморный ковчег стоит доныне:
Фонтан гарема здесь; источник уцелел,
Он точит перлы слез и говорит в пустыне:

«Где ты, земная власть, где выспренний удел?
Где роскошь и любовь? — Поток ваш бурно
мчался,
Но — вы минули здесь! А водный ток — остался».

7. БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ

Расходится после молитвы народ;
Отзвучье изана последнее млеет;
Стыдливой невестой заря пламенеет:
Сребристый жених к ее ложу идет.

В гареме небес — в этом море бездонном —
Являются звезды, и облако там
Одно только плавает лебедем сонным:
Грудь белая, пух золотой по краям.

Там — тень минарета, там — тень кипариса,
Там — дальше — чернеют граниты кругом,
Как злобные духи в совете Эвлиса,

Накрытые ночи глубоким шатром, —
С них молния, спрянув размахом фариса,
Сверкнула и тонет в пространстве немом.

8. ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ

О роза юная! В садах, средь упоенья,
Ты сгибла. Прошлого счастливые мгновенья,
Вспорхнув, как мотыльки, от сердца твоего,
Пыль едкую оставили в глуби его.

Туда, на север, все стремятся звезды —
к Польше. . .
Но отчего ж в тот край они теснятся больше?
Не взор ли твой, пока горел в нем божий свет,
Чрез небо шел туда и выжег звездный след?

И мой здесь грустный век в уединенье минет,
И пусть тут горсть земли на гроб мой дружба кинет!
Порой меж странников беседа тут идет, —

Меня родная речь здесь, может быть, разбудит;
Когда ж тебе поэт слагать здесь песню будет —
Вблизи узрев мой холм, и мне пусть пропоет.

9. МОГИЛЫ ГАРЕМА

МИРЗА К ПИЛИГРИМУ

Здесь из виноградника гроздья недоспелые
Взяты в снедь аллахову беспощадной силою.
Здесь — средь моря счастия — скрыты перлы белые
Раковиной вечности — мрачною могилою;

Кроет их склеп времени и забвенья пыльного,
И чалмы, что видны здесь, жизнью не колышутся,
Словно бунчуки они войска замогильного;
Вскользь, внизу, гяурами имена их пишутся.

Розы сада райского! Вы, едва развитые,
Отцвели безвременно, навсегда закрытые
Листьями стыдливости от очей неверного.

Гроб ваш здесь позорится чужеземца зрением...
Я позволил: чувствую груз греха безмерного...
Но — из чуждых он один смотрит с умилением.

10. БАЙДАРЫ

На ветер пускаю коня и бича не жалею;
Леса, и долины, и скалы мелькают: лечу.
Как волны, несутся они пред зеницей моею:
Вихрь образов пью — охмелеть, обезуметь хочу.

Становится ль конь, утомясь, непокорен приказам,
Лобзаемы сумраком виды ль потускнуть хотят —
Разбитым стал зеркалом глаз мой: летят
Леса, и долины, и скалы в мечтах перед глазом.

Всё спит, — не усну я. Вот море! Кидаюсь в него —
И с гиком вал черный гоню, пру я в берег его,
Чело под него наклонил я и вытянул руки...

Вот он над моей головой разорвался! .. Средь волн
Я жду: закружится мой ум, как под вихрями челн...
Пускай хоть на миг я избавлюсь от мысли, от муки!

11. АЛУШТА ДНЕМ

Гора с своих плеч уже сбросила мглистый халат,
В полях зашептали колосья — читают намазы,
И молится лес, и в кудрях его майских блестят,
Как в четках калифа, рубины, гранаты, топазы.

Цветами осыпан весь луг, из летучих цветков
Висит балдахин — это рой золотых мотыльков!
Сдается, что радуга купол небес обогнула!
А там саранча свой крылатый кортеж потянула.

Там злится вода, отбиваясь от лысой скалы;
Отбитые, снова штурмуют утес тот валы;
Как в тигра глазах, ходят искры в бушующем море:

Скалистым прибрежьям они предвещают грозу, —
Но влага морская колышется тихо внизу:
Там лебеди плавают, зыблется флот на просторе.

12. АЛУШТА НОЧЬЮ

Дышится легче мне — дол ветерком освежился.
Светоч небесный к плечам Чатырдага склонился,
Пурпура розлил потоки, и вот — он угас;
У пилигрима на страже и ухо, и глаз.

Горы чернеют, в долинах всё мрачно и глухо;
Шепчут ручьи, как сквозь сон, посреди васильков:
Запах их, музыка этих душистых цветов —
Сладкий, сердечный язык, утаенный от слуха!

Тишь с темнотою! Под ними уснул бы я скоро,
Но поражен вдруг я блеском: то блеск метеора!
Мир охватил весь и небо потоп золотой.

Ночь! Средь соблазнов востока и ты — одалиска.
Негой баюкаешь ты, а коль сон уже близко,
К новой ты неге зовешь, нарушая покой.

13. ЧАТЫРДАГ

В страхе лобзают пяту твою чада пророка.
Крым кораблем будь — ты мачта ему: целый свет
Ты осенил, Чатырдаг, ты — земли минарет!
Гор падишах! Как над миром взлетел ты высоко!

Мнится, эдема врата принял ты под надзор,
Как Гавриил. Темен плащ твой — то лес горделивый!
И янычары свирепые — молний извивы —
Шьют по чалме твоей, свитой из туч, свой узор.

Солнце ль печет нас, во мраке не зрим ничего мы,
Нивы ль нам ест саранча, иль гяур выжег домы —
Ты, Чатырдаг, неподвижен и глух ко всему.

Ты, между небом и миром служа драгоманом,
Под ноги гром подостлав и весь дол с океаном,
Внемлешь, к созданию бог что гласит своему.

14. ПИЛИГРИМ

У ног моих — страна, где дышится так льготно,
Где много и цветов, и светлых женских лиц,
Но сердцем всё я рвусь в путь дальний, поворотно
И время... ах! ищу дальнейших в нем границ.

Литва! Лесов тех песнь дороже слух мой ценит,
Чем песни соловьев салгирских и девиц,
И мне тех вересков болотных не заменит
Ни ананасов блеск, ни пурпур шелковиц.

От ней вдали, стремлюсь я к тем и тем предметам,
Но и в рассеянье вздыхать мне рок судил
О той, которую я с детства полюбил.

Там милая... Тот край взят у меня запретом;
Там всё живет, следы любви моей храня:
Она мой топчет след, но... помнит ли меня?

15. ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ

Мирза

Молитву прочтя и поводья спустив, отвернись!
О всадник! Здесь разумом конским ногам покорись!
Конь верный! Смотри, как, склонясь над оврагом
открытым,
Колени пригнул он, за край ухватился копытом.

Шагнул — и повиснул! Туда не заглядывай! Взор
До дна не дохватит внизу и не станет в упор.
Рукой не тянись туда: надо сперва окрылиться;
И мысли туда не ввергай: ее груз углубится,

Как якорь, опущенный с мелкой ладьи в глубину, —
Но, моря насквозь не пронзив, не прицепится к дну,
А только ладью опрокинет в пучину и втянет.

Пилигрим

Мирза! А ведь я в эту щель заглянул — и дрожу!
Я видел там... Что я там видел — за гробом скажу:
Земным языком и не выразишь: слов недостанет.

16. ГОРА КИКИНЕЙС

Мирза

Взгляни в эту пропасть! Там неба лазурь у тебя
под стопою:
То — море. Сдается, тут птицу, что в сказках зовут
Птах-горою,
Перун поразил, и гигантские перья, как мачтовый лес,
Рассыпавшись, заняли места вполсвода небес —

И остров плавучий из снегу покрыл голубую пучину:
Тот остров средь бездны — то облако! Мира одел
половину
Мрак ночи угрюмой, что вышла на землю из персей его,
Ты видишь: увенчано огненной лентой чело у него —

То молния! Станем тут! Бездна под нами. По этим
стремнинам
Должны чрез нее пронестись мы на полном скаку
лошадином.
Вперед поскачу я, ты ж бич наготове и шпоры имей!

Исчезну я — ты под утесы с их края смотри понемногу!
Увидишь — мелькнет там перо: это будет верх шапки
моей;
А нет — так уж людям не ездить той горной дорогой!

17. РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ

Руины! .. А твоя то бывшая ограда,
Неблагодарный Крым! Вот замок! Жалкий вид!
Гигантским черепом он на горе стоит,
Гнездится в нем иль гад, иль смертный хуже гада.

Вот — башня! Где гербы? И самый след их скрыт.
Вот — надпись. . . Имя. . . чье? Быть может, исполина!
То имя, может быть, героя: он забыт;
Как муху, имя то обводит паутина.

Здесь грек вел по стенам афинский свой резец;
Там — влох монголу цепь готовил; тут пришлец
Из Мекки нараспев тянул слова намаза, —

Теперь лишь черные здесь крылья хищных птиц
Простерты, как в местах, где губит край зараза, —
Хоругви траура над сению гробниц!

18. АЮДАГ

Люблю я созерцать с утесов Аюдага,
Как пенятся валы, встав черною стеной,
Иль, снежно убелясь, серебряная влага,
Сияя в радугах, крутится предо мной.

Об мель дробится хлябь — и темных волн ватага,
Как армия китов, песок брегов
Вдруг осадившая, обратно мчась, все блага —
Коралл и перламутр — роняет за собой.

Таков младой поэт: тревоги и волненья
Вздымают грудь его; но — лиру взял певец,
Запел — и бурный вал отхлынул в глубь забвенья,

Отбросив к берегу те перлы вдохновенья,
Которые, в веках блистая наконец,
В его же перейдут торжественный венец.

19. В АЛЬБОМ ПЕТРУ МОШИНСКОМУ

Поэзия! Где кисть, где краски все твои?
Мысль, грустно втиснута в словесные границы
И в выражения закована мои,
Вкось из-за них глядит, как из-за стен темницы.

Поэзия! Где тон? где музыка твоя?
Пою, — но мой напев ей сердце не колышет,
Он и не слышен ей, — так соловей не слышит
Глухого ропота подземного ручья.

Здесь — на чужой земле — ни звучности, ни цвета,
И самое перо — покорный раб поэта —
Не повинуется владыке своему:

Для песни ноты лишь оно чертит... к чему?
Черты да знаки тут: сама же песня эта
Тем милым голосом уже не будет спета.

Богдан Залеский
(1802—1886)

477. СТЕПЬ

Травы, травы и бурьян
Зеленеют, шума полны.
Это — степь. Вдали курган,
За курганом словно волны.
Это — взрытый, многомолвный
Твой, Украйна, океан,
Где казак нырял, таился,
Плавал в зелени и бился.

Здравствуй, славный ряд гробов!
Сердце шлет тебе приветы!
Здесь лилась родная кровь,
Гул стоял на все поветы...
Табунам твоим — нет сметы,
Не сочтешь твоих волов,
Вол же каждый, туком пронят,
В благовонном море тонет.

Над тобой — лазурный свод,
Реет в нем весь мир крылатый.
Вот — орел-знаменщик! Вот
И сокол, боец пернатый!
Тут и силой небогатый,
Но певучий род ведет
Свой напев тысячеклирный,
Что звучит молитвой мирной.

Степи, степи! — мы срослись!
Мать одна у нас вдовица —
Мы ведь кровные. Всмотрись:
Сходно думны наши лица,
Да и дума — нам сестрица.
Те же ей черты дались,
Что с таинственностью грустной
Дышат речью неизустной.

Слух за музыкой следит.
Гуслевая, рассыпная —
Не поймешь, отколь гудит,
Томность, дикость в ней степная,
Эта музыка родная
Замогильно говорит.
Эти ноты в гуле, в шуме —
Не под лад ли нашей думе?

Дума, дума! — ты жива!
Здесь так вольно, так раздольно,
Что вразлет летят слова;
Голове же что-то больно. . .
Натерпелись мы довольно, —
Освежится ль голова?
Дума! пусть бы нам с тобою
Степь дана была судьбою!

⟨1871⟩

Юзеф Игнаций Крашевский
(1812—1887)

478. НЕУСТРАШИМЫЙ

Солнце взошло и мерцает кровавой слезой,
Небо свинцовое близкою дышит грозой,
С шумом от севера ветра спешит колесница,
Туча на ней выезжает, и облако вслед
Мчится за облаком, — этих гонцов вереница
Падает пологом темным на утренний свет.
С горных вершин, вознесенных к селениям звездным,
Выше всех ужасов жалкой юдоли земной,
Греблей воздушной плывут, лавируя по безднам,
Снежные вихри, как пыль по дороге степной.

Грянули громы. Разгневанным оком воззрело
На землю небо, объятое смертным огнем:
Гордый червяк человек задрожал — и кругом
Взорами грозное небо обводит несмело.
Горе! Лишь кто-то один, равнодушно на тьму
И всекрушенье взглянув, на высокую гору
Твердо взошел — и оттуда разгул своему
    Дал он далеко простертому взору.

Гордый — над бурей, над громом и молнией он
Молча стоял, весь в раздумье свое погружен,
Молча внимал, не моргнув ни единожды оком,
Страшным раскатам грозы, раздиравшей всю твердь,
Грозно сверкавшей в пространстве бездонно глубоком.
Зренье зениц, выражавших уже полусмерть,
В божие небо спокойно и смело вперяя,
Мнилось, стремился он к тем неземным высотам
С тайною думой предсмертной, как будто желая,
Высмотреть место себе еще заживо там.

    Буря шумела, и ливень всё лил,
    Шумно сбегая с горы исполинской.
    Он был недвижим, лишь смех сатанинской
    Синие губы его шевелил.
    С грохотом небо кругом разрывалось,
    Пламенем адским земля загоралась, —
Он же стоял, равнодушен и глух ко всему,
    Гнев был небесный не страшен ему.

Буря утихла. Уж быстро летучи
Прочь уносилися хмурые тучи,
Снова, как утром, в венце золотистом,
Солнце заискрилось на небе чистом.

Вновь обозрел *он* вокруг все места,
Брови наморщил и стиснул уста.
Мнилось, пытал он, чело свое хмуря,
Точно ли смолкла затихшая буря,
Всё ли покончено? Думно тряхнув головой,
Дол оглянул он, ряд домиков, хижин,
Зелень и скалы в одежде их мшисто-сырой,
Всё оглянул он — и вновь неподвижен.
Ниже взглянул, — видит — пропасть зияет под ним,
Алчные челюсти грозно разинув,
Выше — поток низвергается с ревом глухим,
Волны свои с высоты опрокинув
В бездну, что ловит их зевом своим.
Долго стоял он, и взор его дикий вперялся
То в эту землю, то в сферу небес,
Но лишь в себя заглянул он — себя испугался,
Вздрогнул, шатнулся и в бездне исчез.

⟨1871⟩

С ЧЕШСКОГО

Ян Коллар
(1793—1852)

479

Сдается мне, весь род славян — большая
Река, что, путь величественный свой
Хоть медленно, но мощно совершая,
Стремится плавно к цели вековой;

И, на пути громады гор встречая,
Их та река обходит стороной,
И льется, в рай пустыни превращая,
Чрез города живительной волной.

Другие ж шумно катятся народы,
Как вздутые напором вешним воды,
Но сбыл прилив — и светлый, злачный дол

Трясиной стал с упадком волн их мутных,
Развалинами стали кровы сёл,
А жители — сброд нищих бесприютных.

⟨1867⟩

480

О, если б все славяне предо мной
Металлами явились, — их собранье
Я б сплавил, слил — и в статуе одной
Великое б представил изваянье!

И русский бы узрелся головой,
А туловищем — лях при том слиянье,
Из чехов вышли б руки, склад плечной,
Из сербов ноги: крепкое стоянье!

Меньшие же все отрасли славян
Пошли бы в одеянье, в складки, в тени,
В оружие: воздвигся б великан —

И вся Европа, преклонив колени,
Взирала бы! А он — превыше туч —
Мир попирал бы, грозен и могуч!

⟨1867⟩

481

Чрез сотню лет, о братья, что-то будет
Из нас, славян? Что будет в свой черед
С Европою? В наш ток воды прибудет —
И жизнь славян не весь ли мир зальет?

И наш язык, что ныне лживо судит
Немецкий суд и рабским вкривь зовет,
Из уст врагов заслышится, разбудит
Дворцов их эхо — и гудеть пойдет!

Славянским руслом знание польется,
И в моду быт славянский весь вполне
Над Сеною и Лабою введется...

О, лучше бы тогда родиться мне
И вольной жизни плыть по океану!
Но — я тогда еще из гроба встану!

⟨1867⟩

С СЕРБОХОРВАТСКОГО

Ханибал Луцич
(1485—1553)

482. ИДЕАЛЬНАЯ КРАСАВИЦА

Вила хвастать красотою
Да не смеет ни одна!
Что красы всех вил пред тою,
Кем мне жизнь отравлена?
Пред красавицей такою,
Что на диво создана,
Да не смеет ни одна
Вила хвастать красотою!

Над челом ее прекрасным
Диадему из волос
Созерцаю оком страстным,
В дань я сердце ей принес —
И стою я ей подвластным,
Зря, как золото вплелось
В диадему из волос
Над челом ее прекрасным.

Зрю над черными очами
Брови черные дугой,
Очи жгут весь мир лучами
И творят его слугой,
Ей покорным, мир с ключами
От сердец поник главой,
Брови черные дугой
Зря над черными очами.

Рдеют розовые губки,
Словно царственный коралл,
Словно жемчуг, блещут зубки;
Слово скажет — дар ниспал
Манны с неба — в райском кубке
Нектар подан — пир настал.
Словно царственный коралл,
Рдеют розовые губки.

О, блажен, кто шейку эту,
Эти перси обоймет,
В торжестве, на зависть свету,
Всех владык он превзойдет,
Равнодушный к солнца свету,
Скажет: «Пусть оно уйдет!»
О, блажен, кто обоймет
Эти перси, шейку эту!

Между женщин стройным станом
Так возносится она,
Что, сдается, высшим саном
В их кругу облечена...
Мелкий лес закрыт туманом,
Только пальма в нем видна —
Так возносится она
Между женщин стройным станом.

Цвет, что всех цветов дороже,
Да не блекнет долги дни!
Зол зуб времени, но — боже! —
Ты ее оборони!
Смерть всех косит, от нее же
И ее ты отжени!
Да не блекнет долги дни
Цвет, что всех цветов дороже!

(1871)

Иован Хаджич (Светич)
(1799—1869)

483. СТРАДАНИЯ СЕРБИИ

Чу! от Босны громом ратным
Турки загремели,
За дружиной вслед дружина,
Сабли, ружья — в деле.
Дрина слезно, горько плачет,
Мачва тяжко дышит,
Ядар, Поцер, Шабац — всех их
Дух войны колышет.
Глянь в оконце, —
Где ты, солнце
Сербии?

С Делиграда, Неготина
И Кладова — стоны,
И Морава злых ударов
Ждет без обороны;
К Петкам буря подступила,
Вражьи силы люты,
Наступают для Белграда
Страшные минуты.
В громы, в грозы
Вносит слезы
Сербия.

Сербы к небу обратились, —
Нет иной защиты!
К богу громкие воззванья
В гул всеобщий слиты:
Вековечный камень лопнул,
Горе Русь зашибло;
Нет Москвы! Москва пропала —
В пламени погибла.
Кто, коль сможет,
Встать поможет
Сербии?

Болен в Тополе Георгий,
Он лежит в постели,
Опустил свою десницу —
Турки одолели,

Нету доблестного Велька —
Правого крыла нет!
Буря выперла плотину
И всё в бездну тянет.
Бич несется,
Цепь куется
Сербии!

Вила хворого героя
Зельями врачует, —
Тщетно! Сербия склонилась
И опасность чует.
Вождь Георгий, что, бывало,
Нас водил на славу,
Там — за Савой! Старцы, дети —
Всё ушло за Саву!
Головы нет,
Сердце гинет
Сербии!

Мать без сына остается,
Слезы льет родная,
К царским сербам, что за Савой,
Горестно взывая:
«Вы примите мое чадо
Милое! Примите!
Вы винцом его напойте!
Хлебцем накормите!
Мать хоть тужит —
Сын пусть служит
Сербии!»

Ах, когда-то вновь на серба
Око божье взглянет
И с румяною зарею
Светлый день настанет,
Честный крест нам воссияет,
И благосердечный
Серб-юнак, пройдя сквозь муки,
Взыдет к славе вечной!
Крест — ограда
Ваша, чада
Сербии.

(1871)

Медо Пучич
(1821—1882)

484. ПАЛЬМА

На верблюде вдоль пустыни мчится
Чернолицый всадник. Он от жара
Еле дышит, жаждой он томится:
Жжет его песчаная Сахара.
Солнопеку средь езды тяжелой
Он открыт, как на ладони голой,
Но привычен Измаила сын, —
Всё вперед стремится бедуин.

Едет, едет... Помолиться надо:
«Могаммед-Сурула! — он взывает. —
Там, в раю, среди молитв, прохлада
Сладко веет и, струясь, сверкает
Ток жемчужный; гурии там верных
Ждут для неги...» И утех безмерных
Жажда жжет его больную грудь —
И мечтой он облегчает путь.

Вдруг — то призрак или милость божья? —
Дерево — он видит — к высям неба
Тянется, густое, от подножья;
А кругом — поля и всходы хлеба.
Вот — источник, нега и прохлада
Льется в сердце, возле дремлет стадо.
Караван пристал тут. Оживлен,
Про кальян и кофе мыслит он.

Стройное оазов порожденье,
Пальма! чад пустыни ты лелеешь,
Жилами корней своих скрепленье
Почве ты даешь, прохладой веешь;
От чумы храня струю потока,
Бережешь былинку от припека,
Испокон веков даруя плод,
Всё еще людской ты любишь род.

Пальма, ты, и в сербское поморье
Заглянув, в нем робко поселилась

И — хоть север дует в междугорье —
На скалах средь терний вкоренилась;
Но здесь рост твой невысок бывает,
В холоду твой плод не дозревает,
Внесена для тщетной красоты,
Никому здесь не полезна ты.

Много есть в саду родного края
Чуждых зелий, корни их широки,
Из тебя они, земля родная,
Лучшие вытягивают соки.
Что за прок, что в вербную неделю
Твой алтарь украсят и постелю
Эти зелья? Благовонный цвет
Кстати ль там, куска где хлеба нет?

Прочь от иноземщины! Бог каждой
Дал земле что нужно на потребу,
Чтоб туземцы голодом и жаждой
Не томились, — благодарность небу!
Каждому простой свой корм всегдашний
По нутру и мил свой быт домашний.
Бархат, сласти... Тот не дорожит
Ими, кто за соколом следит!

Сербский край! умом, красою, силой
И могучей речью ты от бога
Наделен, чтоб в мире славно было
Племя сербов. Отвергая строго,
Что плетет хитро немецкий разум,
Не тянись к египетским оазам;
Покажи родной свой миру плод, —
Все пусть видят твой юнацкий род!

В слепоте мутят наш мир злочинцы,
Совести разорваны все узы;
Крест нам смяли греки и латинцы,
Честь, науку — немцы и французы;
Вера ж всё чиста в тебе святая,
И, душой как золотом блистая,
Ты внимай лишь сердцу в дни тревог —
И с тобой пребудет вечно бог!

⟨*1867*⟩

Иован Сундечич
(1825—1900)

485. САБЛЯ СКЕНДЕРБЕГА

Прочь — и царский двор, и нега,
Чуть Мехмет заслышал весть,
Что у бана Скендербега
Дар волшебный — сабля есть —

Чудо сабля — без направок
Ездока с конем вналет
Перерубит, да вдобавок
В землю на локоть войдет!

Царь горит желанья зноем,
Как бы саблю приобресть.
Вмиг прослыл бы он героем
С этим дивом, — то-то честь!

Вот с приветствием отправил
К бану грамотку султан —
Просит, чтоб ему доставил
Эту саблю храбрый бан.

Скендербег препон не ставит
И к Мехмету саблю шлет:
Пусть-де он себя прославит,
Саблю грозную возьмет!

Царь Мехмет усы разгладил
И, оружием звеня,
Руку выправил, наладил
На удар и — на коня.

Сел — и челяди проворной
Отдал царственный приказ,
Чтоб был раб представлен черный
На коне ему сейчас.

Крикнул — мигу нет потери,
Встрепенулась слуг гурьба —
И уж тащат эти звери
Злополучного раба.

И едва предстал он целью —
К конской гриве царь припал,
Предан лютому веселью,
Замахнулся... поскакал...

Ан напрягся так, что глазу
Ясно виделось, что — вот
Не раба, а трех он сразу
Верховых насквозь проймет.

Но — не диво ли? — султану
Ведь и тут не удалось, —
Грозный всадник жертве рану
Только легкую нанес.

Зашипел он, пронят злобой,
И — домой. Давай писать.
Рассержен постыдной пробой,
Рад он всех бы искусать.

Вновь летит письмо султана
К бану, склад его таков:
«Скендербег — злодей! Обмана
Твоего открылся ков.

Гнили кто ж не обнаружит?
Саблю ты прислал не ту,
Шлю назад ее, — пусть служит
Дрянь тебе на срамоту!»

Скендербег, посланье это
Получив, захохотал
И на грамоту Мехмета
Свой ответ готовить стал.

Сел писать, усы смеются,
И не пишет он, а так
Строчки сами ливмя льются:
«Не сердись-де, царь-юнак!

Не вини меня и сабли
Не хули! Всё та ж она,
Но руки твоей ослабли
Мышцы — в этом вся вина.

Сам я с пояса отправил
Эту сталь к тебе — ей-ей!
Но при этом не доставил
Я тебе руки моей.

Пусть же злость тебя не гложет!
Не храбрись вперед слегка!
Верь мне: сабля не поможет
Там, где немощна рука».

⟨1871⟩

Иован Иованович Змай
(1833—1904)

486. ДЕВА-ВОИН

Сокол ищет, где бы сесть на отдых,
На высокой ели не садится.
Сел внизу, где бел шатер раскинут.
Под шатром сидит девица-воин,
Пьет вино да песни распевает,
И, звуча, напев ее удалый
Будит силы в крыльях соколиных.
Услыхав ее, двенадцать турок
Подошли, посматривают косо
И кидают ей крутое слово:
«Сука, сучка! девка молодая!
Пьешь вино ты — туркам в оскорбленье,
Ты поешь — над турками смеешься...
Где и пить и петь ты научилась?»
— «А какое до того вам дело? —
Им девица-воин отвечает. —
Больно вы уж спеси понабрались!
Знать хотите — так скажу вам правду:
Двум юнакам сербским я служила,
Двум юнакам — Милошу и Марку;
Пить вино у Марка научилась,
Песни петь — у Милоша, — два дара!
Два уменья — от двоих умелых!»
И сверкнула девица очами,
И схватила саблю боевую...

Сокол смотрит: турки врознь — мгновенье —
И двенадцать их голов скатились. . .
«Уж не сон ли?» — думает. . . А дева
Пьет вино да песни распевает.

⟨1871⟩

Николай Петрович Негош (1841—1921)

487. ТУДА! ТУДА!

Туда! туда! За горы голубые,
Где моего властителя был двор!
Там, говорят, сбирался в дни былые
Наш вечевой, юнацкий наш собор.
Туда! туда! . . О Призрен, слава края!
Дай мне взглянуть — побыть в твоих стенах!
Меня зовет страна моя родная —
И я пойду с оружием в руках!

Туда! . . С развалин царского чертога
Скажу врагу: «От крова моего
Прочь ты, чума! Скопилось долгу много, —
Пришла пора мне выплатить его!»
Туда! туда! За этими горами
Есть, говорят, цветущий, светлый край
С дечанскими священными стенами,
Молитва там душе дарует рай.

Туда! туда! За выси те крутые,
Где небо в свод скруглилось голубой!
Туда! туда! В долины боевые —
В наш сербский край мы путь направим свой!
Туда! туда! За этими горами
Нас кличет юг, герой маститый наш:
«Сюда! ко мне! — растоптанный конями,
Взывает он. — Месть — долг священный ваш!»

Туда! туда! — И на костях турецких
За кости юга сабли иззубрим
И сталью этих сабель молодецких
Оковы бедной раи сокрушим.

Туда! туда! .. За этими горами
Гроб Милоша-героя мы найдем...
Там мир душевный обретется нами —
И серб не будет более рабом.

⟨*1867*⟩

488. ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК

Пью во здравье! Многи лета!
Век наш краток, юность — май
Нашей жизни. Пей, взывай
И стреляй из пистолета!
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Пей — и здрав и весел буди!
Пей, земляк, пока в гульбе
Не покажутся тебе,
Словно мошки, мелки люди!
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Будь для нас примером, Марко,
Королевич наш! О, да!
Кровь у сербов молода,
Вспыхнет — небу станет жарко!
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Пей, но силою хмельного
Не туманься, — не забудь,
Что злой недруг давит грудь
Царства славного, родного!
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Пусть погибнет всяк живущий —
Всё же Призрен мы возьмем,
И на троне золотом
В нем воссядет царь грядущий.
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Беки сербов попирали,
Как подножных червяков,
Но мы живы — и их кровь
Нам отведать не пора ли?
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Начинателю мы сечи
Пьем во здравье, а потом
В кубок вновь вина нальем,
Как до стен достигнем Печи.
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Кто б из сербов мир наш дольный
Не покинул, чтоб поднять
Наше знамя — благодать —
На дечанской колокольне?
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

Пью во здравье! Многи лета!
Падшим всем за отчий край —
Мир и слава! Пей, взывай
И стреляй из пистолета!
То — земли родимой плод.
Здравствуй, милый мой народ!

⟨1867⟩

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

3

Ст. 1856 Она чиста, она светла
И убрана сребром и златом,
Герою воину мила
И с ним дружна, как с милым братом.
Свои стальные красоты
Одеждой тесной чинно кроя,
Во время мира и покоя
Она стыдится наготы;
Но вспыхнет брань, настанет дело,
И вмиг блеснет, обнажена,
И миру выкажет она
Красиво выгнутое тело,
Объята воина рукой,
Тогда, открыта, без наряда,
Она сверкает остротой
Огнеубийственного взгляда,
И в глубь сердец находит путь, —
И хоть лобзает без сознанья,
Но далеко проходят в грудь
Ее жестокие лобзанья,
И часто, в жаркие места
Всекаясь с дикою любовью,
Ее железные уста
Дымятся жертвенною кровью. —
Когда нага — она грозит,
Она свистит, она разит;
Но гром военный утихает,
И утомленная рука
Ее покровом облекает,
И вновь она, тиха, кротка,
Близ друга, сбоку, отдыхает.

6

1—4
Ст. 1856 Буря брани прекратилась,
Кончен лютый пир войны,
И спокойно опустилась
Сабля верная в ножны.

13 К сердцу счастие привьется

21—22 Слаще стройного напева,
Ярче солнечных лучей,

26—27 В легкой резвости своей
Иногда *она* играла

30 Где рука ее бралась,

32—48 Сабля лавром обвилась.

Ты повергнешь к ножке милой
Этот мужественный меч
И, богат сердечной силой,
Поведешь такую речь:
«Вот, — ты скажешь ненаглядной, —
Вот, желанная моя,
Царской милостью наградной —
Посмотри — увенчан я.

К твоему лишь правосудью
Обращаюсь я теперь:
За отчизну бился грудью
Я недаром — нет потерь.
Но за то, что стойко, честно
Бой я выдержал в груди,
Жду еще награды лестной:
Ангел жизни! Награди!»

9

Между 20—21 Чудной таинства приманкой
Ст. 1856 Увлечен, я как стрела
Гнался, гнался за смуглянкой:
«Стой!» — кричу я... Нет! ушла.
Грусть-тоска меня погубит,
Доля злая мне дана, —
Белокурого не любит
Чернокудрая она.

13

12—15 Где радость сверкала, куда ни взгляни —
Ст. 1856 На землю взирая с лазурного свода,
Светила небес заменяли судей,
Законы писала одна лишь природа

29—30 И острым мечом не играла вражда
Любовь не таилась в ущельях сердец,

17

1—12 Средь вскормленных снегом дубрав и пустынь
Автограф Я некогда видел волшебную синь,
ИРЛИ На ложе песчаном покоясь,
Она то дрожала, тиха и светла,
То дико мутилась, росла и рвала
Унизанный камнями пояс.

Я отроком часто на бреге стоял
Без мысли, но с чувством на волны взирая,
К ногам моим ластились волны.
Неверной стихии живая краса,
Летя расцветали челнов паруса,
Как перси красавицы, полны.

19

Вместо 5—26
Ст. 1856

Там — в краях недостижимых
Для мечтателя очей
Сколько форм неуловимых!
Сколько дымчатых кудрей!
То прозрачны, то угрюмы,
Как сомнительные думы,
То с готовою слезой,
То с небесною грозой,
Эти груды, эти глыбы
Через горний мчатся свод.
Мнится, там простер изгибы
Дев туманных хоровод.
Там, в степи небес обширной,
Виден армии эфирной
Боевой, громадный ход:
Растянулась эта сила —
И заря из-под руки
Словно кровью обкатила
Эти грозные полки;
Войско реже, — там под тучей,
Как огни стрельбы летучей,
Солнца брызнули лучи —
И легли кругом в обломках,
В раззолоченных каемках,
Шлемы, латы и мечи.
Вот, отделясь от области волнистой
Тех облаков, идет из них одно
Могучее, — и с высоты оно
Царем глядит, — в опушке золотистой
Сияет верх; увенчано чело,
А мрак в груди, а в сердце — тяжело,
И капли слез с той вышины престольной
В обитель слез — на мир упали дольный,
А белый пар, как чистый фимиам,
Клубится ввысь, истаивая там.

22

ПОМНИШЬ ЛИ?

Ст. 1856

Нина! Помнишь ли мгновенья,
Как поклонник верный твой,
Полный страстного волненья,
Всюду мчался за тобой?

В светозарной, шумной зале,
Помнишь, милая, на бале —
В этом общем кипятке, —
Как вносил я в вихрь круженья
Стан твой, полный обольщенья,
На пылающей руке, —
Как рука моя лениво
Отделялась от огней
Бесконечно прихотливой
Дивной талии твоей, —
И в роскошном утомленье
Ты садилась в отдаленье,
Словно Нину ураган
Бросил вдаль своим порывом
И возвысил ей приливом
Юных персей океан,
И на этом океане
В пене млечной белизны
Через дымку, как в тумане,
Колыхались две волны, —
И, следя их колыханье
И ловя твое дыханье,
Головой к тебе склонясь,
То угрюм, то бурно весел,
Я стоял у этих кресел,
Где, легко облокотясь,
Ты покоилась так нежно,
Отмахнув кудрей извив
И мизинца сгиб небрежно
К алым губкам приложив,
И с дрожащей, страстной речью
К твоему клонясь заплечью, —
Между слов, — прошу! молю! —
Весь проникнут обаяньем,
Перерывистым дыханьем
Я вышептывал: люблю;
Ты внимала мне приветно,
А шалун главы твоей —
Резвый локон — незаметно
По щеке скользил моей.
Помнишь, где-то раз, мечтами
Невоздержными влеком,
Я осмелился тайком
Между жадными перстами
Сжать твой пальчик с перстеньком
И почувствовал мгновенно,
Как руки твоей огонь
Вскользь, незримо, сокровенно
Весь упал мне на ладонь,
Словно сказано: страдалец!
Робко ловишь ты слегка
Мой один лишь бедный палец, —
На! вот вся моя рука!
Боже! Жизнь готов отдать я,
Только б был возобновлен

Этот миг рукопожатья, —
Сотни жизней стоит он.
Помнишь, Нина, в миг разлуки,
Наши, от людей вдали,
Словно сросшиеся руки
Разорваться не могли?
Помнишь, раз, в уединенье —
Незабвенное мгновенье! —
Я к ногам твоим упал,
И потом в своем пылу я
Что-то вроде поцелуя
С жарких уст твоих сорвал?

Помнишь, Нина.. Нет? Забыла?
Для чего ж и говорить,
Коль нельзя того, что было,
Нам на деле повторить?

43—46
Ст. 1836

Нина, помнишь те мгновенья,
Или времени струи
Возрастили мох забвенья
На развалинах любви?

24

Ст. 1856

Над морем гроза — так и брызжет огонь!
И вал то приляжет и пену раскатит,
То вскинется, вспрянет, как бешеный конь,
И, кажется, гривой до неба дохватит; —
И вот опоясана молний мечом
Строптивая влага взлетела смерчом,
Но небо далеко — и столб тот сердитый
Упал с диким воплем громадой разбитой.

Кончен ропот непогоды,
Улеглись морские воды, —
Где и след минувших бурь?
Зыбь блестит и дышит ровно —
И глядится в ней любовно
Неба ясного лазурь.

Так смертный, познаньем земли недовольный,
Из темного мира, из сени юдольной
Стремится всей бурей ума своего
Допрашивать небо о тайнах его;
Но ум, изнурив свои бурные крылья,
Во прах ниспадает, — напрасны усилья!

Стихло гордых дум волненье,
Сердце в тихом умиленье
Избирает веры путь.
Смертный к небу взор возводит,
И оно к нему нисходит
В успокоенную грудь.

26

Ст. 1856

За тучами солнце, не видно его,
Но там оно капли нашло дождевые,
В них блеск преломило луча своего.
И по небу ленты пошли огневые.

И ленты те стали цветистой дугой,
И эта дуга в своем ярком уборе,
К зениту подъемля изгиб свой крутой,
Концы погрузила в безбрежное море.

И радугой ясной мой взор уяснен,
И вид ее сердцу отраден и сладок:
Он мне обновляет минувшего сон —
Тот сон, опоясанный лентами радуг.

Мне памятны сумрак и тучи тех дней,
Но в тучах тех крылось блаженства светило,
Бывало, грустил я, но в грусти моей
Всё так многоцветно, так радужно было.

Как в каплях дождя, в сих слезах облаков,
Рисуется пламя лучистого Феба,
В слезах моей грусти сияла любовь
Цветными огнями сердечного неба.

27

О, НЕ ИГРАЙ

Ст. 1856

О! не играй веселых песен мне,
Мой бедный слух напрасно раздражая!
Мне блеск их чужд, мне живость их — чужая,
Не для меня пленительны оне.
Где прыгают, смеются, пляшут звуки —
Они скользят по сердцу моему,
Лишь мощный вопль аккордов, полных муки,
Вторгается в объятия к нему.

Так вот она, вот музыка родная!
Она, скорбя, рыдая и стеная,
Святым огнем всю душу мне прожгла,
И там — на дне, на язвах замерла.
Играй! Играй! Пусть эти тоны льются!
Пускай в груди на этот внятный зов
Все прошлые страданья отзовутся,
Протекшего все тени встрепенутся
И сонная пробудится любовь!
Божественно! — Дыханья нет... нет слова...
Божественно! — Лей эти звуки, лей!
Еще! еще! — О, дай ожить мне снова!
Дай умереть под музыкой твоей!

Понятны мне, понятны эти звуки:
Вот — вздох любви! вот — тяжкий стон разлуки!
Вот — тихая молитва... вот — слеза...
Вот — звонкое надежды лепетанье!
Вот — ревности глухое клокотанье!
Вот — дикого отчаянья гроза,
И бешеных проклятий скрежетанье,
И хохота безумного раскат,
И вот — сверкнул кинжал самоубийцы...
Чу! — Божий гром!.. Конец! — Трещат гробницы...
Земля дрожит... Архангелы трубят.

Остановись!.. Струнами золотыми
Понятно всё ты высказала мне,
И, звуками исполнен неземными,
Я весь горю в торжественном огне.
Я в них воскрес, их силой стал могуч я,
И, следуя внушенью твоему,
Когда-нибудь я лиру обойму
И брошу в мир их полные отзвучья!

32

Вместо 31—52
Ст. 1856

И сколько планов жизни мнимой
Чертила детская душа,
И там — в дали необозримой
Как жизнь; казалось, хороша!
Ударил час, — мы полетели
Вдоль разных жизненных дорог,
И скоро сердцем откипели,
И юный пыл наш изнемог.
И вот, мой друг, пожив немного,
Узнав людей, вкусив любовь,
Уже на мир мы смотрим строго,
Как пересозданные вновь,
Вздыхаем, шлем упреки людям
И говорим, что жизнь плоха,
Что вся она, когда рассудим,
Не стоит звучного стиха,
Что всё неправдой, злобой веет,
Что в общей стуже мерзнет кровь,
Что дружба нехотя немеет
Под гнетом рока, — а любовь?
В любви ль найдем еще отраду?
Увы! Напрасные мечты!
Любовь земная — капля яду

33

Ст. 1856

«Люблю тебя» — как слабо это слово!
Я, может быть, тебя им оскорблю.
Оно звучит так пошло, так неново,
Ничтожно так! Его я истреблю, —

А между тем не нахожу другого,
Чтоб выразить, что я тебя люблю,
Люблю не так, как те, что лишь полюбят —
Твердят «люблю» — и слово это губят.

Люблю тебя, — но я не говорю.
«Люблю тебя», лишь в мыслях это слово,
А сам без слов я на тебя смотрю,
И выпрыгнуть душа моя готова,
И всё молчу, и таю, и горю,
И хочется спросить мне: ты сурова
Ко мне за что? — Ты видишь: я, любя,
Не говорю, что я люблю тебя.

Люблю тебя. — Но, может быть, сердита
Ты на меня, затем что ты прочла
Ту мысль мою, где это слово скрыто?
Ее прочесть, конечно, ты могла
В глазах моих... Но вот — она забыта —
Та мысль моя, она уж отошла,
Отвергнута. Люблю тебя... Досада!
И думать так, и так смотреть не надо!

Люблю тебя. — Ты не смотри, молю,
Мне так в глаза, а то еще, пожалуй,
Опять прочтешь, что я тебя люблю,
Рассердишься. — Любовью небывалой
Проникнут, я все мысли удалю.
Люблю тебя — что в этой мысли вялой?
Люблю тебя, но втайне, про себя, —
Не думая, что я люблю тебя.

39

Вместо 45—52 Ст. 1856

Порой ураганом взлетев на простор,
    Все вихри пустынные скличу
И прахом засыплю грабителя взор,
    У хищника вырву добычу.

И путь я свободный повсюду найду.
    Сквозь стены, в чертог беспредельный
Я к злому сатрапу заразой войду
    И язвою лягу смертельной.

Утихну, — и к ангелу-деве потом
    Легко полечу, и над нею
В день знойный прохладным кружась ветерком,
    Чело моей милой обвею.

И райским довольством и негой полна,
    Сияя улыбкой умильной,
Узнает ли в этом привете она,
    Что это привет замогильный?

40

Ст. 1856

Вот он свистнул... Снова свистнул!
Это он — знакомый всем!
Щелкнул, щелкнул, — дробью прыснул,
И пустился вслед за тем
В переливы, в перекаты,
В перерывы, в перехваты,
Бойко звонко голосист.
Что за трели! Что за грохот!
Вздохи, стоны, шепот, хохот —
И опять знакомый свист!

«О милая! Певец в воздушном круге
Поет любовь и к неге нас зовет. —
Так юноша шептал своей подруге. —
Прислушайся! Не правда ль? — Слышишь? — Вот
Он просвистал к своей, конечно, милой:
Как счастлив я! — Вот замирает он
От счастия! Вот с новой, свежей силой
Опять поет, блаженством упоен!»
И милая на юношу взглянула,
К его устам с улыбкою прильнула
И с трепетом, под краскою стыда,
Склонясь главой, ему шепнула: «Да», —
И локонов с чела ее скатился
Живой поток разливом темных струй,
И соловья под сладкой песнью длился
Томительный, протяжный поцелуй.
А там — сидел, оставлен и уныл,
Уединен, страдалец злополучный.
Песнь соловья он слушал и ловил
В той песни звук, с тоской его созвучный, —
И грустному казалось: соловей,
Покинутый подругою своей,
Измученный, поет свое страданье.
«Вот, — думал он, — несчастного рыданье!
Вот горького раскаяния стон,
Зачем любви он поддавался плену!
Вот злобный свист! — Обманщицы измену
В отчаянье освистывает он».

Пой, садов, лесов глашатай!
Из конца греми в конец!
Пой, единственный певец!
Песнью чудной и богатой
Ты счастливому звучишь
Так роскошно, пылко, страстно,
А с несчастным так согласно,
Гармонически грустишь.
Пой, греми, дитя свободы!
Этой песни внемлю я —
И душа на клик природы
Откликается моя.

В час безмолвия ночного
Слуху жадному звучи
И в глуши певца земного
Песням неба научи!

41—48

2

Ст. 1856 Взгляни на небеса! Там стройность вековая.
Как упоительна созвездий тишина!
Как вся семья миров гармонии полна
И как расчетиста их пляска круговая!

Но, между ними путь особый пролагая,
Комета яркая — системам не верна,
И, кажется, грозит другим мирам она,
Блистательным хвостом полнеба застилая.

Спокоен астроном, по небу гостья та —
Он видит — шествует дорогой соразмерной,
Но страшен новый блеск для черни суеверной.

Так мысль блестящая, высокая мечта —
Пугает чернь земли во тьме ее пещерной,
Но ясным разумом спокойно принята.

7

СЛЕЗА И УЛЫБКА

Ст. 1856 Когда укрытую, невидимую миром,
Красавицу томит заветная тоска, —
Слеза в ее глазах — алмаз в игре с сапфиром,
Росинка божия в лазури василька.

Когда ж ей весело — и за сердечным пиром
Улыбка по устам продернута слегка, —
Сдается: тронуты два розовых листка
Весенним воздухом, чуть дышащим зефиром.

Порою вместе — дождь — и ясны небеса.
Так на живом лице ее, моей голубки,
Порой встречаются улыбка и слеза.

Как тягостны тогда приличию уступки!
Лобзаньем хочется ей осушить глаза,
Лобзаньем хочется ей запечатать губки.

8

ЖЕМЧУЖИНА

Ст. 1856 Летучая ладья над влагою мятежной
Неслась, окрылена могуществом ветрил,
И вдаль я уплывал, оставив край прибрежный,
Где золото надежд заветных схоронил.

Измену испытав, с любовью безнадежной
Над пеной шумных волн я голову склонил,
И с горькой думою, глубокой, неизбежной
Кипучую слезу я в воду уронил.

Из сердца, полного тоскою безотрадной,
Та скрытая слеза невольно истекла,
И жаркая влилась в затворы влаги хладной —

И, раковиной там проглоченная жадной,
Быть может, светлый перл она произвела
К венцу для милого изменницы чела.

50

После 24
Ст. 1856
И какой-то силы скрытной
Ты, волшебница, полна,
Притягательно-магнитной
Сферой вся обведена;
Сын железа — северянин,
Этой силой отуманен,
На тебя наводит взор —
И пред этим обаяньем,
Ограждаясь расстояньем,
Еле держится в упор.
Лишь нарушься только мера,
Полшага ступи вперед, —
Обаятельная сфера
Так и тянет, так и жжет!
Нет, не верю, — ты не близко
Рождена — твои черты
Говорят: султанша ты,
Ты — Зюлейка, одалиска,
Верх восточной красоты!

58

Вместо
216—233
Ст. 1856
Порою там, в плену, развенчанный философ
Пытался отмыкать мышления ключом
Тяжелые замки глубоких тех вопросов,
Которых не успел он разрешить мечом.

Судьбу свою обдумывая строго,
Порой он сам себя судил:
«Да, — я был деспот, сил я много
И много жизни раздавил;
Но я был ураган, — среди земных творений
Заразу видя, я был должен всё крушить,
Чтоб полный вредных испарений
Европы воздух освежить.
Гниенье тайных язв я видел в недрах наций, —
Их исцелить, глазам моим
Казалось, можно лишь одним
Путем кровавых операций —
И я над миром стал хирургом роковым, —
И пусть меня в сем деле судит
Потомство дальнее! Еще не близок срок,
Когда понятен людям будет
Мной людям заданный урок».

Окончен путь его. На нем лежат все виды
Природы разных стран с обновами границ,
Громады Альпов, Рейн, Каир и пирамиды,
Маренго, Иена, Аустерлиц,
Порабощенный Рим и пленная тиара,
Покорных королей склоненные главы,
Фридланд, Ваграм, Смоленск и в пламени пожара
Твердыня пышущей Москвы.
Окончен этот путь — чрез горы, через стены,
Через моря, пески и скатерти снегов,
От Корсики до острова Елены,
От берегов тревожных Сены
До Немана и Нила берегов,
От первославного Тулона
До рокового Ватерло,
От школьничьей скамьи до трона,
От трона до цепей, и от цепей до склона
К свободной вечности, — всё было и прошло —
От одного из дивных в мире видов —
Гробницы гения средь моря на скале
До гроба в Доме инвалидов
На этой ветреной земле.

69

После 32 И, с тьмой преград в докучной битве,
Ст. 1856 Мелькнула мне среди борьбы
И здесь, в услышанной молитве,
Насмешка новая судьбы.

73

Вместо 16—21 Те искры — ангельские чувства —
Ст. 1856 Дар слепо веровать, любить;
Тот мрак — дар женского искусства
Прельщать, и мучить, и губить.

Те перлы — верх земных сокровищ,
Способность всё, что в мире есть,
Святому долгу в жертву несть;
А пасти, зубы тех чудовищ —
Коварство, зависть, злость и месть.

74—77

3

Ст. 1856

Когда настанет оный миг,
Когда нарушу я молчанье
И пред тобою на признанье
Уполномочу мой язык,
И от тебя пред оком света
Я стану требовать ответа
На мой вопрос, и в слове «нет»
Явиться должен твой ответ —
Прошу тебя: без замедленья
Мои надежды разрушай,
И грудь мою без сожаленья
Прямым ударом отверженья
С возможной силой поражай!
Да разразится тяжким громом
Твой приговор! Несчастья весть —
Я в сердце, с бурями знакомом,
Найду способность перенесть,
И вновь над этим тщетной страстью
Измятым сердцем — голова
Спокойно вступит с гордой властью
В свои суровые права.
Но если... если жизни слово
Я должен выслушать тогда,
И будет мне в тот миг готово
В твоих устах не «нет», но «да» —
О, пощади больного друга!
Не вдруг открой блаженства дверь,
Но прежде жар его недуга
Отрадой легкою умерь!
Мне счастье страшно: в миг ответа
Не вдруг, не разом ты облей
Лучами радостного света
Туманный взгляд души моей,
Да от всегдашнего ненастья
Себя к живому блеску счастья
Я постепенно приучу!
С судьбой враждебной вечно споря,
Я умереть не мог от горя,
А от блаженства — не хочу.

79

Ст. 1856

О радость! Тебя захватив, как добычу,
Люблю я тобою делиться с людьми.
Тебя не скрывая, собратий я кличу:
Идите — и всяк свою долю возьми!
Ты соком из гроздий любви набежала, —
О братья! Вот нектар! Идите на пир!
Мне много, хоть капля мне в чашу упала, —
Хочу угостить я и каплей весь мир.
Идите сюда, мои юные други!
К совету, — вот радость! Куда ее деть?
Приди ко мне, старец, забудь про недуги!
Тряхни стариною! Давай молодеть!
Красавица дева, мой змей чорноокой!
Приди, — тебе в очи я радость мою
В уста твои, в перси, глубоко, глубоко
Мятежным лобзаньем моим перелью!
Но ежели горе мне в душу запало —
Прочь, люди! Оно нераздельно мое.
Вам капли не дам я тогда из фиала,
В который несладкое влито питье.
Всё выпью один я, — и скрытое горе
Мне сердце раширит и грудь разведет,
И ляжет страданья в них целое море,
И скорби волна берегов не найдет.
Все скорби снесу я к пределу дороги,
Назначенной смертным, в молчанье святом.
Не собственность наша — нет, это — залоги!
Я знаю: их выкупит небо потом.

84

ХОЛОДНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Ст. 1856

Когда-то я любил тебя. Тех дней
Могу ль забыть я жаркую тревогу?
Тяжел, тяжел был бред души моей,
И этот бред окончен, слава богу.
Прошедших мук не проклинаю я
И ныне встреч с тобой не избегаю,
И кажется, что ныне близ тебя
Измученным я сердцем отдыхаю.
С покорностью смотрю в глаза судьбе,
Еще не стар, но не безумно молод,
И пред тобой я чувствую в себе
Один святой, благоговейный холод.
На сердце — снег, но то не снег долин,
Истоптанный средь мрака и тумана,
Нет — это снег заоблачных вершин,
Льдяной венец погасшего вулкана,
И весь тебе, как солнцу, он открыт;
Весь мир в тени, а он тебя встречает
И отблеском лучей твоих горит,
Но от огня лучей твоих не тает.

88

После 28 Ст. 1856

Так катятся жизни извивы и волны,
Необщая доля твореньям дана, —
Те — временной силы, те — немощи полны, —
Но дальше — связует их вечность одна.

И что ж? — Океан испаряет могучий
Ту влагу, что взял он от вьющихся рек,
И, свежим дождем опрокинув из тучи,
Проточный опять возвращает ей бег.

И суетной жизни земной волнотечность,
Ее очищая небесным путем,
Земле возвращает бездонная вечность
И жизненным паром и жизни дождем.

90

«Подснежник» на 1838 г. (ИРЛИ)

Заветным мечтаньям о деве пленительной
Я предан в полночной тиши.
Алина! Как мил мне твой голос томительный!
Как очи твои хороши!
Ты вдруг озарила мне душу унылую, —
Люблю, изнываю любя!
Тебя — ненаглядную, светлую, милую,
Тебя, моя радость, тебя!
Но слышу, — сон входит ко мне невидимкою
И веет воскрыльем одежд,
Уже он коснулся волшебною дымкою
Моих тяготеющих вежд.
«Склонись, — он мне шепчет, — ты видишь, — полночная
Давно расстилается тень,
Томлений пора миновалась урочная,
Давно закатился твой день!
Так вижу я: мгла над холмами зелеными,
Спят люди, темнеет эфир,
Но в мире живет под иными законами
Влюбленных мечтательный мир.
Свое у них солнце, — оно не скрывается,
Как жалкое солнце других,
Всегда его свет в их очах разливается,
А жар его — в сердце у них.
Оставь меня, сон! Золотого, желанного
Не дашь ты видения мне!
Я образа милой, красою венчанного,
Быть может, не встречу во сне.
А бодрому мне сей в тумане рисуется,
Мелькает, улыбкой блестит...
Божественный призрак. Душа им любуется
И робким желаньем горит.
Но если, но если, о, сон обольстительный!
Волшебным крылом осеня,

С прекрасною девой любви упоительной
Готов съединить ты меня, —
Приди, обними меня, ангел беспечности!
Мне бурную грудь спеленай
И с призраком милым в объятия вечности
Украдкой меня передай!

95

Ст. 1856

Близко... Сердцс встрепенулось,
Ближе... ближе... Вот видна!
Вот раскрылась, развернулась,
Храмы блещут — вот она!
Так — она! — Давно ль из пепла?
А взгляните, какова!
Встала, выросла, окрепла,
И по-прежнему жива!
И кресты церквей далече,
В радость сердцу и очам,
Идут в золоте навстречу
Золотым небес лучам, —
И спокойный, величавый,
Бодрый сторож русской славы —
Кремль — и красен, и велик, —
И светла, златовенчанна
Колокольня Иоанна
Движет звучный свой язык;
Только с бурей поборолась —
Глядь! Опять в лучах горит
И во весь свой медный голос
С божьим небом говорит.

Город — досыта простору!
Город — есть на что взглянуть!
Город — под гору да в гору!
Так и эдак повернуть!
Он не в вытяжку, не стройно,
Но широко, но спокойно
На холмах по-барски лег,
Дал разгул своим палатам,
И рассыпался по скатам,
И раскинулся, как мог.
Много прожил он на свете,
Помнит предков времена,
И в живом его привете
Нараспашку Русь видна.

Русь... Блестящий в чинном строе
Ей Петрополь голова,
Ты сй — сердце ретивое,
Благодатная Москва!
Хладный, строгий, многодумный
Он, воспитанник Петра,

Полн заботою разумной
О стяжании добра.
Он — питомец полуночи —
К морю Финскому приник;
У него России очи,
Слух, и дума, и язык.
А она — Москва родная —
В грудь России залегла
И в себе родного края
Жилы жаркие сплела,
И богата русской кровью,
И кипучею любовью
К славе царской горяча,
Исполинов коронует,
И трезвонит, и ликует,
Бьет по всем струнам сплеча;
Но когда ей угрожает
Силы вражеской напор,
Для себя сама слагает
Славный жертвенный костер
И, врагов завидя знамя,
К древней близкое стене,
Повергается во пламя
И красуется в огне,
И как феникс, вылетая
Из трескучего огня,
Снова блещет, золотая,
С кликом: «Русь! целуй меня!»

96

Ст. 1856

Есть дивный край, — художник внемлет
Его призыв и рвется в путь.
Там небо с жадностью объемлет
Земли изнеженную грудь.
Могучих сил и блеска полны,
Нося по безднам корабли,
Кругом, дробясь, лобзают волны
Брега роскошной сей земли,
К ней скачут в бешеных порывах,
Она ж, в венце красот стыдливых,
Их ласки тихо приняла
И морю место в двух заливах
У жарких плеч своих дала.
С одной руки — громадой стройной
Подъемлясь, Генуя спокойно
Глядит на зеркальный раздол,
С другой — в водах своих сверкая,
Лежит Венеция златая
И машет веслами гондол.

Страна заветных идеалов!
Страна неслыханных забав!
Страна любви! Страна кинжалов!

Страна сонетов и октав!
Там страсть кипит, там дышит древность,
Блестят искусства образцы,
Там рыщет месть, скрежещет ревность,
И, взяв у неба сладкопевность,
Поют певицы и певцы.

Красавица в частях и в целом!
Страна, сиявшая векам!
С водами моря по бокам,
На солнопек простершись телом,
Челом припала загорелым
Она к альпийским ледникам.
И как красуются изгибы
Ее потоков и озер
И к небу вскинутые глыбы
И огневых, и снежных гор!
Красавица! — Вот волны Бренты:
У ней на персях дан им бег,
По этим персям вьются ленты
Игриво сыплющихся рек.
Волшебный стан! — Змееобразным
Он Тибра поясом обвит,
И вечный Рим замком алмазным
На этом поясе горит;
А здесь цветущий и прекрасный
В венце садов и гордых стен,
Неаполь — близ ее колен;
Здесь и Везувий сладострастный
То жар свой внутренний таит,
То рвется, пышет и бурлит.
А тут — у ног страны сей чудной
Раскинут остров изумрудный:
Обильных нив дарами полн,
Пред ней он блещет вечным храмом
С куримым Этной фимиамом
Над зыбью средиземных волн.

Чудесный край! Тобою дышит
Сын вдохновенного труда,
И сердце зов приветный слышит —
Небесный зов: туда! туда!

106

32—36
Ст. 1856

И снова демон расторгает
В тебе их родственную связь
И прелесть чистую ввергает
В наш дольний прах, в земную грязь.

И там, где тщетные усилья

41—53 Твоим лилейным раменам,
Скажу: лети туда! — И, мнится,
Их подаю... ты смотришь в даль
Пустых небес... твой взор слезится:
Тебе покинуть землю жаль, —
И смотришь ты, нельзя ль собою
Туда весь груз, каков он есть,
Тебе навязанный судьбою,
На нежных персях перенесть;
Ты пристрадалась к этой цепи,
И, укрепясь в быту земном,
Необозримые лишь степи
Ты видишь в небе голубом.

Вместо 61—66 Там душ ристалище святое,
Сорвавших бренной жизни цепь.
Там блещет утра багряница,
Там свет полярный — исполин,
Там мчится солнца колесница;

Между 103—104 Движеньем ока вдруг заставить,
Чтоб чувство выросло в груди, —
Счастливца гордого оставить,
С несчастным в каторгу идти, —
Порой смиреньем бесконечным
Смягчать звериные сердца
И превышать чутьем сердечным
Высокий разум мудреца, —

111

Перед 1 «Одесский вестник» В память доброго свиданья
Здесь, на юге золотом,
Не приветы, не желанья
Внесть хочу я в ваш альбом.
Об Одессе молвим слово,
Где так живо всё и ново,
Где на время свел нас бог, —
И да будет слово это
Вам от верного поэта
Чувств приязненных залог!

После 40 Быт Одессы мне неведом,
Я здесь вольный и чужой,
Жил матеовским обедом,
Морем, небом и гульбой;
И средь всякого крушенья
Эти легкие мгновенья
Я на памяти моей
Сохраню всегда и всюду
И не лихом помнить буду
Вас и светлый ваш лицей!

112

Вместо 39—52
Ст. 1856

Божьей милостью обильный
Киев! Много тел святых
В глубине пещер твоих
Полны жизни безмогильной,
И является всесильный
В чудотворной силе их.

Процветай же, чужд гордыне,
Помня были и молясь!
Да, в века переносясь,
Не слабеет, как доныне,
Русской славы со святыней
Небом скованная связь!

114—129

9

Между 22 и 23
Ст. 1856

То — узкий ход, то — целый храм
И перлы, перлы по стенам.
Волшебный блеск! Вся глубина
Алмазами окроплена;
Коснитесь — влага! Капли слез,
Скажите, кто сюда занес?
Не слезы ль то жильцов земли
Сюда с лица ее втекли,
В сердцах глубоко рождены
И в глубину из глубины
Со всех сторон проведены?

12

Между 12—13
Ст. 1856

Под исполинскими пятами
Раскинув армию холмов,
Повит широкими крылами
Орлов парящих, он с орлами
Прошиб затворы облаков,

139

НОВАЯ ДРУЖБА

Ст. 1856

Отвергнув страсть мою, ты мне сказала внятно,
Что дружбу мне даришь — благодарю стократно!
Отныне мы — друзья. Освобожден от мук,
Я руку жму твою: благодарю, мой друг!
Итак, теперь с тобой в беседе откровенной
Склониться я могу главою утомленной
На дружескую грудь... Но что я вижу? — Ты
Краснеешь; с робостью стыдливой красоты
Оправить на плечах спешишь свою косынку, —
Зачем же? — Я в тебе уже не властелинку,
Но друга признаю. Робеть тебе не след,

Таиться не к чему: для друга тайны нет.
В любви остерегись — для ней нужна ограда,
Не должно выходить там из-под строгих мер;
Но мы с тобой — второй неслыханный пример
Ореста верного и милого Пилада —
Должны быть запросто; условий светских груз
Не должен бременить наш искренний союз, —
И, смело действуя и рассуждая здраво,
Должны любовникам мы предоставить право
Смущаться и краснеть, бледнеть и трепетать.
А мы... Да осенит нас дружбы благодать!
Нам дозволительны — огонь рукопожатий
И крепкий сплав сердец и дружеских объятий,
И как бы ни было, при солнце иль луне,
Беседы долгие, в тиши, наедине.

158

1—2 *Ст. 1856*	Ветерок едва колышет Воду в сонных берегах.
4	В шепотливых камышах.
6	Белоснежна и чиста:
13	Что так важно, лебедь белый,
16	Иль доставил пользу нам?
22—24	Вечно вымыт добела, Я плыву — и грязь земная Не пятнает мне крыла.
35—37	Он не стоит сладких песен, Злобный, жалкий человек. Но — в миг смертный, в сладкой муке,
39	Вдохновенной песни звуки
41—44	*Отсутствуют*
49	И блаженный мой наследник
53—55	Туча дум найдет: могучий То перо возьмет — пора! И под мглою думной тучи
57—58	С лебединого пера! От груди моей остылой,
62—73	И, когда любовь отгонит Сон от девственных очей, На него слезу уронит Дева в сумраке ночей, Кос виющихся змеями Этот пух переплетет, Обовьет его руками И прильнет к нему устами И к груди его прижмет, И огнем ее дыханья Этот пух начнет дышать

69—70 И на персей колыханья
Колыханьем отвечать.

75 Где нырял я, полн отваги,

77 Но на месте, где плескаться

80 Ночи мирная звезда

162

Перед 1 Казалось мне: довольно я томился.
Ст. 1856 Довольно мне, сказал я, милых петь!
Мой день любви навеки закатился —
И бог с ним! Пусть! Чего о нем жалеть?

Пришла пора степенного раздумья,
Довольно мне струной любви бренчать
И титулом торжественным безумья
Ребяческую глупость величать!

167

БЫТЬ МОЖЕТ

Ст. 1856 Когда ты так мило лепечешь «люблю»,
Волшебное слово я жадно ловлю;
Оно мне так ново, так странно, так чудно!
Не верить — мне страшно, а верить — мне трудно.
Быть может, ты, сердца следя моего
Одни беспредметно-слепые стремленья
И сжалясь над долей его запустенья,
Подумала: «Дай, я наполню его!
Он мил быть не может, но тихо, бесстрастно
Я буду питать его чувства порыв;
Не боле, чем прежде, я буду несчастна,
А он... он, быть может, и будет счастлив!»
И с ангельской лаской, с небесным приветом
Ко мне обратила ты дружеский взор —
И в сердце моем, благодатно согретом,
Все радости жизни воскресли с тех пор.
О, ежели так — пред судьбой без упорства
Смиряя заносчивых дум мятежи,
Готов я признать добродетель притворства,
Заслугу неправды, достоинство лжи.
Чрез добрую цель оправдание средства,
Безгрешность коварства и благость кокетства.
Не зная, как сладить с судьбой и людьми,
Я жил безотрадно, а ты, из участья
Несчастному кинув даяние счастья,
С радушной улыбкой сказала: возьми!

О, ежели так — для меня ненавистен
Яд правды несносной и тягостных истин,
С которыми свет мне был мрачен и пуст,

Когда я, блаженства проникнутый дрожью,
До глупости счастлив прелестною ложью
Твоих обаяньем помазанных уст.

202

Вместо 9—20 БДЧ

Мучительный, из терний соплетенный,
Под ним для язв целенья в мире нет,
Но всё ж венец! — А это сор презренный
Скудельных зол и черепичных бед.

За роем рой! Одни едва лишь сбиты —
Те сыплются, ты их глотаешь вновь,
А на душе осадок ядовитый
От них растет и входит в плоть и кровь.

204

После 30 Автограф ГПБ

Да, кару высшую в войне сознали мы —
Потомки Каина. Ее несут народы
И терпят над собой, как терпят зло природы,
Как родовый недуг, как черный пир чумы,
Не знаем, что творим! .. Но благо провиденье!
Мы в зле от вящих зол приемлем исцеленье.
Коснея в тишине, наш тучный эгоизм
Благоутробствуя, не мыслит протрезвиться.
Нам нужно потрясать больной наш организм,
Чтоб язвам внутренним не дать укорениться,
Нам нужно молнии, чтоб прояснить глаза,
Чтоб образумить нас, нам надобна гроза.
Чтоб хоть росток зерна, что мир зовет любовью,
Нам вызвать, мы должны обрызгать почву кровью;
Пусть девятнадцатый наш не гордится век!
Он темен, человек и в нем лжечеловек!
И если варварством не дышат в цирках игры
И смертные на бой с зверьми не сведены,
Зато весь мир наш цирк, в котором львы и тигры
Христолюбивыми людьми заменены.
Страданья крестные Распятого мы множим,
И распинаем вновь его мы каждый час:
Всё губим мы себя и всё сгубить не можем,
Он гибнуть не дает и всё спасает нас.

205

Между 132—133 БДЧ

А тут толкованье начнется
Фигур и значения их,
И басни стишок подвернется,
А если зартачится стих
И в горле засядет занозой, —
Чтоб в грязь не ударить лицом,
Махнет толкователь и прозой,
Да с рифмой, да с красным словцом.

208

Между 140—141 БДЧ

Того, сего или иного ради
Всё поднялось враждебно против нас.
Там продувной племянник лезет в дяди
И, всякими неправдами крепясь,
Весь мир мутит, пытаясь нас ослабить.
Там Англия (всегда не прочь пограбить,
Где случай есть), прижав как раз к нему
Свой рыбий хвост, как жадная акула,
На нас свой зев кровавый растянула.
Да наша кость для ней жестка в Крыму.

209

Автограф ИРЛИ

С дорогой пыль с дали слегалась...
На поле хлынул ратный строй,
И скоро поле взволновалось
Забот воинских кутерьмой, —
И односуточные домы,
Сплетясь из ветвей и соломы,
Воздвиглись. Западает день,
Уж поле хладом облилося,
Скрипит забор, трещит плетень,
Падут, — и пламя завилося,
И, сыпля искры к небесам,
Восходит, блещет и дымится;
Кругом него толпа теснится,
Возобновляя фимиам.
Народ, разгульный словно море,
Кипит на полевом просторе;
Всё дышит жизнью боевой,
Блестит воинственной красой.
Вдали отсталые телеги
Несут дары походной неги,
Развьючен утомленный конь,
Вздымает медленно копыто,
Храпит и в землю бьет сердито
И дико смотрит на огонь.
Подъемля длань с походной флягой,
Солдат, свершив тяжелый путь,
Отрадно освежает грудь
Душеспасительною влагой.
Ложится Вакхова роса
На завитках его уса —
Он бодр и весел становится;
Слова проблещут остротой,
И он на грудь земли сырой
. . . . ложится.
Иной перед огнем стоит,
Колебля взмокшие одежды,
И дым, взвиваяся, коптит
Полусомкнувшиеся вежды.

Другие вдаль гурьбой летят
И, область торга осаждая,
Ее торжественно громят,
Монетой звонкою стреляя.
А там пестреющим венком
Питомцы брани молодые
Сидят и вольным языком
Решают споры вековые,
И шумно чайник круговой
Перед огнем опустошают,
Из трубок вьется дым седой,
И шутки беглые сверкают.
А там усталый часовой
В цепи, перекликаясь, бродит
И взором бдительным обводит
Кипящий табор кочевой.
Всё звуков и движенья полно
И дикой, бурной суеты;
Луна лишь тихо и безмолвно
Глядит с небесной высоты
На бедный мир — юдоль тревоги,
Плывя под сводом голубым,
Где мирны ангелов чертоги
И вечный трон неколебим.

281

После 24
Ст. 1883

Вот игрушки вам! — А тут,
Отойдя в сторонку,
Жду я, что-то мне дадут, —
Старому ребенку?

Нет! Играть я не горазд.
Годы улетели.
Пусть же кто-нибудь подаст
Мне хоть ветку ели.

Буду я ее беречь, —
Страждущий проказник, —
До моих последних свеч,
На последний праздник.

К возрожденью я иду,
Уж настал сочельник.
Скоро на моем ходу
Нужен будет ельник.

300

После 36
Ст. 1883

Проникнуты тайной немою,
Вокруг него тени стоят,
И свет окружается тьмою,
И «тьма же его не объят».

308

3 Не умею я быть целым
Наборная рукопись ЦГАЛИ

20 Плоть понежишь — дух обидишь.

29—44 В небе звезд блестящих много, —
Чудный блеск! Смотри, любуйся!
Но наука, глядя строго,
Говорит: «Разочаруйся!

Искры те, что так лучисты, —
Те ж миры, в них те ж соблазны,
Как отсюда смотришь, — чисты!
А вблизи, пожалуй, грязны.

Может быть, и там есть в пятнах
Тьма явлений неутешных,
И загадок непонятных,
И созданий многогрешных».

Ум мой — трепетный искатель —
Отдан весь недоуменью...
Научи меня, создатель,
Высшей мудрости — смиренью!

318

После ст. 64 И любви поддельной силой
Ст. 1883 Взгляд ее меня пронзал.
«Друг, меня ты понял, милый?»
— «Понял!» — глухо он сказал.

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческий путь Бенедиктова продолжался более сорока лет[1]. В 1835 г. вышла в свет первая книга его стихов, которая была переиздана в 1836 г. В 1838 г. появилась вторая книга, а в 1842 г. третье издание первого сборника. В 1856 г. «Стихотворения» Бенедиктова были изданы в трех томах, охватывавших соответственно периоды 1835—1842 гг., 1842—1850 гг., 1850—1856 гг. 1857 г. датирован дополнительный к изданию 1856 г. том «Новые стихотворения В. Бенедиктова», имеющий указанные автором хронологические рамки: 1856—1858 гг. Незадолго до смерти поэт подготовил к печати большой сборник, составленный из печатавшихся в периодике, альманахах и сборниках после 1857 г. и неопубликованных стихотворений. В 1883—1884 гг. Я. П. Полонский с издателем М. О. Вольфом выпустил «Стихотворения» Бенедиктова в трех томах, где третий том составлен из стихотворений сборника 1857 г. и слегка измененного по составу и композиции сборника, подготовленного автором в конце жизни. Из большой тетради этого рукописного сборника в настоящее время сохранились лишь «Содержание» и несколько стихотворений, не включенных Полонским в издание 1883—1884 гг. (ГПБ). Есть основания думать, что Полонский подверг последний авторизованный сборник существенной правке; во всяком случае, многие стихотворения сильно отличаются от прижизненных публикаций и текстов дошедших до нас автографов. В 1901 г. в Москве была издана небольшая книжечка «Стихотворений», а в 1902 г. «вольфовское» собрание было переиздано (чрезвычайно небрежно) в двух томах «Сочинений» Бенедиктова.

Научное издание поэзии Бенедиктова связано с именем Л. Я. Гинзбург. В 1937 г. она издала томик стихотворений Бенедиктова в Малой серии «Библиотеки поэта», а в 1939 г. — первое научное комментированное издание его стихов в Большой серии «Библиотеки поэта», включавшее более 200 оригинальных и 8 переводных произведений.

Посмертное издание 1883—1884 гг. является наиболее полным сводом стихотворений Бенедиктова, включавшихся в авторизованные собрания сочинений поэта. Автор не включал в сборники, а порой просто забывал стихи, написанные «на случай» (юбилейные, альбомные, стихотворные послания), произведения, печатавшиеся в многочисленных периодических изданиях, альманахах и коллективных сборниках. Ряд произведений Бенедиктова, остававшихся до сих пор

---

[1] Нам известна лишь одна публикация Бенедиктова до сборника 1835 г. — стихотворение «К сослуживцу», напечатанное в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1832, № 5, 16 января) за подписью «В. Б — в».

неизвестными, был не допущен к печати цензурным ведомством; некоторые опубликованные в разных изданиях стихотворения носят следы цензурного вмешательства, не устраненные в названных посмертных изданиях.

Подготовленное на основе прижизненных изданий, сборника Большой серии «Библиотеки поэта» 1939 г. и работ Л. Я. Гинзбург, Р. Б. Заборовой, А. А. Илюшина и других исследователей[1], настоящее издание является наиболее полным научно подготовленным собранием стихотворений Бенедиктова. В процессе подготовки проведена сплошная проверка текстов по всем прижизненным изданиям стихотворений поэта, отдельным публикациям и сохранившимся рукописным источникам. Существенную помощь для определения основного текста произведений дало изучение в процессе подготовки издания эпистолярного наследия Бенедиктова и переписки его современников, материалов Цензурного комитета и других документов, хранящихся в различных архивах нашей страны.

Не опубликованная до настоящего издания рукописная часть поэтического наследия Бенедиктова (в автографах, корректурах, авторитетных списках) составляет около пятидесяти оригинальных произведений разного художественного достоинства. Она входит, вместе с автографами опубликованных произведений Бенедиктова, в основном в собрания автографов и других источников из архива поэта, рассредоточенных в четырех крупнейших архивохранилищах страны: в Отделах рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва), Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва) и Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград). Примерно половина всех сохранившихся автографов Бенедиктова (оригинальные произведения) находится в Пушкинском Доме. Сохранившиеся автографы и другие авторитетные источники текстов относятся, как правило, к позднему периоду творчества Бенедиктова (1850—1860-е гг.).

В результате сопоставления всех рукописных, печатных источников и документов Цензурного комитета в настоящем издании восстановлены цензурные, автоцензурные изъятия и искажения. Фронтальная сверка всех источников дала возможность устранить типографские опечатки предшествующих изданий, установить и уточнить даты написания ряда стихотворений, ошибочно датированных и не датированных самим автором.

Дошедшие до нас автографы Бенедиктова (в подавляющем большинстве беловые копии, наборные рукописи, альбомные записи)

---

[1] Гинзбург Лидия, Пушкин и Бенедиктов. — В кн.: «Пушкин. Временник 2», М.—Л., 1936, с. 148—182; Она же, О лирике, 2-е изд., Л., 1974, с. 103—126; Заборова Р., О переводах стихотворений Адама Мицкевича (Из архивных разысканий). — Рус. лит., 1966, № 4, с. 138—144; Илюшин А. А., Бенедиктов — переводчик Мицкевича. — В кн.: «Польско-русские литературные связи», М., 1970, с. 234—250; Мельгунов Б. В., Из поэтического наследия В. Г. Бенедиктова. — «Русская литература», 1982, № 3, с. 164—172.

не дают представления о работе автора над совершенствованием текстов произведений. Сопоставление печатных текстов изданий разных лет убеждает в том, что при переиздании стихотворений (как авторских сборников, так и отдельных произведений — через много лет или через несколько месяцев) поэт нередко коренным образом перерабатывал произведение. Под тем же названием и на тот же сюжет писалось другое стихотворение, в другом стихотворном размере и другого объема; одно стихотворение разделялось на два самостоятельных; изменялись названия (иногда по нескольку раз) и вносились существенные поправки и дополнения в текст, вносилась стилистическая правка с учетом пожеланий критиков или в связи с изменившимися эстетическими взглядами автора и т. д.

Эти особенности творческой работы Бенедиктова обусловливают необходимость введения в настоящем издании специального раздела «Другие редакции и варианты», хотя бы частично позволяющего ознакомить читателя с творческой историей бенедиктовских стихотворений. В тех случаях, когда стихотворение имеет другую редакцию, приводимую в соответствующем разделе, около порядкового номера примечания ставится звездочка.

В настоящем издании принимается хронологический принцип расположения материала. Исключение составляют стихотворные циклы, образованные самим автором, которым отведено место, соответствующее дате позднейших произведений цикла. В книгу не включаются произведения (печатавшиеся или оставшиеся неопубликованными) одического характера, дружеские стихотворные послания, шуточные, юбилейные произведения, стихи, написанные «на случай», не представляющие художественного и исторического интереса. Из стихотворений такого рода отобраны и помещены в настоящем издании лишь наиболее характерные и значимые произведения. Не включаются также в настоящее издание стихотворения, приписываемые Бенедиктову без достаточной аргументации. Имеется, например, указание И. Г. Ямпольского, опирающегося на свидетельства П. И. Пашино и П. А. Ефремова, о принадлежности Бенедиктову стихотворений, печатавшихся в «Искре» 1859—1860 гг. с подписью «Пр. Вознесенский» (Ямпольский И., Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859—1873), М., 1964, с. 546). Однако ни одно из этих юмористических стихотворений не вошло ни в упоминавшийся выше сборник, подготовленный автором незадолго до смерти (ГПБ), ни в посмертное издание 1883—1884 гг. До сих пор не известен ни один бенедиктовский автограф этих стихотворений, нет других свидетельств Бенедиктова о принадлежности ему этих произведений.

Бенедиктов был одним из крупнейших поэтов-переводчиков своего времени. Эта часть его творческого наследия огромна и лишь частично может быть отражена в настоящем издании. Достаточно широко представив переводческие интересы Бенедиктова-лирика, мы оставляем за пределами издания переводы Бенедиктова, лишь частично известные в литературе, эпических и драматических произведений Байрона, Гете, Дюма-сына, Корнеля, Мицкевича.

Значительную трудность при издании стихотворений Бенедиктова представляет проблема установления текста и периодизации творчества. Ее приходится решать на основе изучения эволюции творческого пути поэта, на которой необходимо остановиться специально.

Бенедиктов начинал (и пока остается не только в читательском, но и в исследовательском восприятии) как поэт ярко выраженного романтического направления. «Романтический» период творчества Бенедиктова охватывает 1830—1840-е гг. — время его наибольшей популярности. После третьего издания стихотворений Бенедиктова в 1842 г. и статьи Белинского об этой книге литературная продуктивность поэта значительно снижается. На протяжении одиннадцати лет (1843—1853 гг.) Бенедиктов печатал в периодических изданиях по одному-два случайных стихотворения в год, а в 1850—1852 гг. — не напечатал ни одного. Однако это не означало, что в указанный период приостановилась творческая деятельность поэта. В трехтомнике 1856 г. стихи 1842—1855 гг. занимают два последних тома. Уже в самом начале 1850-х гг. Бенедиктовым создан ряд стихотворений, свидетельствующих о существенных изменениях в общественной позиции и в творческом методе автора «Кудрей». Это и новые, ранее чуждые Бенедиктову, черты его поэзии — политическая сатира, гражданские и патриотические мотивы, бытовые детали и коллизии. Эти изменения (см. стихотворения «Современный гений», «Три власти Рима», «Ф. Н. Глинке», «Та ли это?», «Человек»), несомненно, связаны с кризисом общественного сознания в конце николаевского царствования, с важнейшими политическими событиями в Европе и в самой России.

Возвращение Бенедиктова в литературу ознаменовалось его программным поризведением «К моей Музе», напечатанным в июльском номере «Библиотеки для чтения» за 1854 г., а с 1855 г. поэт возобновляет активное сотрудничество в журналах, сборниках, альманахах. Пора молчания Бенедиктова (она почти целиком падает на период так называемого «мрачного семилетия») обусловлена в значительной мере тем, что с 1847 по 1853 г. журналы вообще перестали печатать стихи. Вместе с тем в эту пору быстро завоевывает господствующее положение в литературе реалистический метод («натуральная школа»), развивающий по преимуществу прозаические жанры.

Середина 1850-х гг. — время стремительного перерождения «поэта кудрей» в гражданского поэта-«обличителя», все более тяготеющего к реалистическому методу. Гражданская поэзия Бенедиктова возникла на волне массовой официально-патриотической литературы, выросшей в годы Крымской войны 1853—1856 гг., и развивалась далее под возрастающим влиянием натуральной школы и сатирической журналистики 1860-х гг.

Указанные обстоятельства служат основанием для определения (с некоторой долей условности) начала второго, «реалистического», периода творчества Бенедиктова в 1851 г.

Этим поворотом обусловлена в целом неудачная (хотя и не без исключений) попытка Бенедиктова переделать для издания 1856 г. свои стихи 1830-х гг. в соответствии с новыми требованиями и изменением собственных эстетических взглядов. В отличие от первого, «романтического», периода, именно в 1850—1860-х гг. Бенедиктов систематически перерабатывает как старые, так и новые свои стихи при каждой их перепечатке.

Учитывая эти обстоятельства, в настоящем издании принимается принцип определения основного текста бенедиктовских стихотворений, предложенный Л. Я. Гинзбург (издание 1939 г.): стихотворения

каждого из названных периодов печатаются в хронологическом порядке по последней редакции в пределах одного периода. Исключение составляют ранние стихотворения, не публиковавшиеся автором до издания 1856 г. Они печатаются по позднейшей редакции. Наиболее существенные варианты и другие редакции помещаются в соответствующем разделе тома.

Даты первой публикации или год, не позднее которого написано стихотворение, заключены в угловые скобки; предположительные даты отмечены вопросительным знаком. Исходными данными для датировки текстов могут служить даты выхода изданий, в которых они публиковались, в том числе цензурные разрешения, приводимые в примечаниях. Стихотворения с неустановленными датами, вошедшие в трехтомник 1856 г., снабжаются крайними датами соответствующего тома, обозначенными автором на титульном листе: 1835—1842, 1842—1850, 1850—1856. Стихотворения с неустановленными датами, не печатавшиеся при жизни автора, помещаются в конце второго раздела без дат под текстом. Стихотворения, объемом превышающие 50 строк и не разделенные на строфы, снабжены строчной нумерацией.

В «Примечаниях» приводятся необходимые историко-литературные сведения о каждом произведении, кратко характеризуется его творческая и цензурная история. В библиографической части примечаний вслед за порядковым номером произведения указывается его первая публикация, затем (через точку с запятой) последующие ступени изменения текста и (после точки) источник, по которому печатается данное произведение, выделенный формулой «Печ. по...».

Ссылка на первую публикацию без дальнейшего указания на источник текста означает, что произведение печатается по первой публикации, так как его текст не перепечатывался более или перепечатывался без изменений. Простые перепечатки текста (в том числе и отдельные издания) в библиографическую справку не включаются. Целый ряд произведений Бенедиктова при жизни автора, зачастую без его ведома, перепечатывался (нередко с искажениями, сокращениями, изменениями названий) в хрестоматиях, книгах для народного чтения и сборниках стихов, предназначавшихся для исполнения на эстраде. Сведения об этих публикациях в библиографической справке не приводятся. Также не сообщаются в примечаниях данные о музыкальных произведениях, написанных на слова Бенедиктова. Они имеются в справочнике Г. Иванова «Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 г.)», вып. 1, М., 1966.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным. Сохранены только те индивидуальные и исторические особенности написания, которые имеют значение для произношения слов, ритма и интонации стихов,

Список стихотворений, не включенных в издание, с их источниками прилагается в конце примечаний.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».

Белинский — Белинский В. Г., Полн. собр. соч. в 13-ти т., М., 1953—1959.

Быкова — Быкова В. П., Записки старой смолянки (Императорского

Воспитательного общества благородных девиц). 1838—1878, ч. 1, СПб., 1898; ч. 2, СПб., 1899.

В — журнал «Век».

Вацуро — Вацуро В. Э., Комментарий к стихотворениям сборника «Мечты и звуки» в изд.: Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. 1, Л., 1981.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Добролюбов — Добролюбов Н. А., Собр. соч. в 9-ти т., М.—Л., 1961—1964.

др. ред. — другая редакция.

ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».

И — журнал «Искра».

Ил — журнал «Иллюстрация».

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

К — «Киевлянин. Книга 1 на 1840 год», Киев, 1840 (ц. р. 12 февраля 1840).

КРЖ — сб. «Картины русской живописи», СПб., 1846 (ц. р. 18 октября 1846).

ЛБ — журнал «Литературная библиотека».

ЛГ — «Литературная газета».

ЛПРИ — «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“».

ЛСШ — Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов, СПб., 1857.

М — журнал «Москвитянин».

Мет — альманах «Метеор на 1845 год». СПб., 1845 (ц. р. 8 апреля 1845).

Мицкевич — Мицкевич Адам, Соч. в 2-х т., СПб. — М., 1882—1883.

МН — журнал «Московский наблюдатель».

НА — «Невский альманах на 1847 и 1848 годы», вып. 1, СПб., 1847 (ц. р. 5 сентября 1846).

Некрасов — Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем в 12-ти т., М., 1948—1953.

ОА 1839 — «Одесский альманах на 1839 год» (ц. р. 31 декабря 1838).

ОА 1840 — «Одесский альманах на 1840 год» (ц. р. 22 декабря 1839).

ОбВ — журнал «Общезанимательный вестник».

ОВ — альманах «Осенний вечер», СПб., 1835 (ц. р. 28 сентября 1835).

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

П — журнал «Пантеон русского и всех европейских театров».

ПС — «Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писателей. Под ред. Н. В. Гербеля», СПб., 1871.

РБ — «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина», т. 1, СПб., 1841 (ц. р. 30 сентября 1841).

РВ — журнал «Русский вестник».

РИ — газета «Русский инвалид».

РМ — газета «Русский мир».

РСт — журнал «Русская старина».
С — журнал «Современник».
СбС — «Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина», т. 6, СПб., 1859 (ц. р. 11 марта 1859).
СЛ — сб. «Сто русских литераторов», СПб., 1845, т. 3 (ц. р. 25 мая 1845).
Сн — журнал «Снежинка».
СО — журнал «Сын отечества».
Сонеты — Мицкевич Адам, Сонеты, Л., 1976.
СП — газета «Северная пчела».
ст. — стих.
Ст. 1835 — «Стихотворения Владимира Бенедиктова», СПб., 1835 (ц. р. 4 июля 1835).
Ст. 1836 — «Стихотворения Владимира Бенедиктова», 2-е изд., СПб., 1836 (ц. р. 29 января 1836).
Ст. 1838 — «Стихотворения Владимира Бенедиктова», кн. 2, СПб., 1838 (ц. р. 15 октября 1837).
Ст. 1842 — «Стихотворения Владимира Бенедиктова», кн. 1, СПб., 1842 (ц. р. 17 августа 1842).
Ст. 1856 — «Стихотворения В. Бенедиктова», т. 1—3, СПб., 1856 (ц. р. 13 марта 1856).
Ст. 1857 — Новые стихотворения В. Бенедиктова, СПб., 1857 (ц. р. 18 сентября 1857).
Ст. 1870 — Стихотворения В. Г. Бенедиктова, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, гр. В. А. Соллогуба, гр. А. К. Толстого и Ф. И. Тютчева и объяснительный текст к живым картинам, данным в пользу Славянского благотворительного комитета 1 апреля 1870, СПб., 1870 (ц. р. 31 марта 1870).
Ст. 1883—1884 — «Стихотворения В. Бенедиктова. Посмертное издание под редакциею Я. П. Полонского», т. 1, СПб. — М., 1883; т. 2, 3, СПб. — М., 1884.
Ст. 1901 — Стихотворения В. Бенедиктова, М., 1901.
Ст. 1937 — Бенедиктов В. Г., Стихотворения. Вступительная статья и редакция Л. Я. Гинзбург, «Библиотека поэта» (М. с.). Л., 1937.
Ст. 1939 — Бенедиктов В. Г., Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Л. Я. Гинзбург. «Библиотека поэта» (Б. с.). Л., 1939.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.
ц.р. — цензурное разрешение.
Ш — журнал «Шехерезада».
Шевченко — Шевченко Т. Г., Журнал (Щоденник), Київ, 1936.
Шиллер 1 — Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов, СПб., 1857 (ц. р. 26 апреля 1857).
Шиллер 2 — Собрание сочинений Шиллера в переводах русских писателей, т. 1, Лейпциг, 1863.
Штакеншнейдер — Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки (1854—1866), М.—Л., 1934.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1830 — 1840-х ГОДОВ

1. Ст. 1835, с. 54—55; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 67—68. В 1831 г. Бенедиктов, офицер Измайловского полка, участвовал в польской кампании, завершившейся взятием Варшавы 26 августа 1831 г. Измайловский полк возвратился в Петербург 28 февраля 1832 г. Ко времени этого похода относятся также стих. «Праздник на биваке», «Бранная красавица», «Прощание с саблею», «Предчувствие», «Сослуживцу». 5 мая 1831 г. полк, в котором служил Бенедиктов, отступал к Белостоку через Гочь, Рудки, Менженин и Тикочин (см.: Зноско-Боровский Н. А., История лейб-гвардии Измайловского полка, СПб., 1882; «Портретная галерея русских деятелей», т. 2, СПб., 1869, с. 263). *«Он был, любил, исчез!»* Ср. в стихотворении К. Н. Батюшкова «Изречение Мельхиседека» (1821): «Страдал, рыдал, терпел, исчез».

2. Ст. 1835, с. 67—68, с подзагол. «(7 июня 1831)»; Ст. 1842. Печ. по Ст. 1842, с. 65—66. См. примеч. 1.

***3.** Ст. 1835, с. 17—18; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 36—37. См. примеч. 1.

4. Ст. 1835, с. 63—64; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 77—79. См. примеч. 1. Снисходительный отзыв Белинского см. примеч. 8. В одной из хвалебных рецензий на Ст. 1842 это стих., а также «Развалины» и «Наездница» отнесены к лучшим стихотворениям поэта (см.: ЛГ, 1842, 22 ноября). См. примеч. 1.

5. Ст. 1835, с. 61—62; Ст. 1842. Печ. по Ст. 1842, с. 74—76. См. примеч. 1.

***6.** ЛПРИ, 1832, № 5, 16 января, под загл. «К сослуживцу» с подп. В. Б — в (др. ред.); Ст. 1835, с. 58—60; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 71—73. См. примеч. 1.

7. Ст. 1835, с. 85—86; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 1—3. Одно из самых популярных стихотворений Бенедиктова в годы его славы. Первая публикация «Утеса» вызвала многочисленные и противоречивые отклики, к числу лучших стихотворений сборника отнесено в БдЧ (1835, № 10, с. 3). «Иногда, — писал Я. Неверов в рецензии на Ст. 1835, — сам поэт молчит и, рисуя пред взорами читателя картину природы, сильно и значительно вещает таинственным языком ее. Здесь-то он особенно является истинным поэтом! Его «Утес», «Ореллана», «Облака» в этом отношении превосходны, особенно первый» (ЖМНП, 1836, № 1, с. 195). «Утес» и сонет «Цветок» послужили поводом для С. П. Шевырева провозгласить стихи Бенедиктова «поэзией мысли» (МН, 1835, № 10, с. 446). В. Строев, неодобрительно встретивший первый сборник Бенедиктова, также отнес стихотворения «Утес», «Степь», «Могила» к «истинно прекрасным» (СП, 1836, № 144). В рецензии В. Г. Белинского на тот же сборник стихотворение приводится с противоположной оценкой: «Скажите, что тут хорошего? 〈...〉 Очень понятно, что автор хотел выразить

здесь идею *величия в могуществе*, но здесь идея не сливается с формою...» (Белинский, т. 1, с. 363). В Ст. 1836 и 1842 это стихотворение печаталось первым. Образный строй и стилевые элементы «Утеса» использованы в стихотворении Н. А. Некрасова (1839) «Вчера и сегодня» (см.: Шимкевич К., Бенедиктов, Некрасов, Фет. — В кн.: «Поэтика», сб. 5, Л., 1929, с. 115—116).

8. Ст. 1835, с. 75—77; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 4—6. С. П. Шевырев, восторженно встретивший первый сборник Бенедиктова, особенно выделял «Облака», «К Полярной звезде» и «Незабвенную», где видел «мысли, и прекрасные чувства, и прекрасные образы, и, наконец, мелодичность звуков» (МН, 1835, № 10, с. 453). Белинский в рецензии на Ст. 1835, в целом отрицательной, назвал «Незабвенную» вместе со стихотворениями «К Полярной звезде», «Озеро», Прощание с саблею», «Ореллана», «К Н-му», которые «милы как поэтические игрушки» (Белинский, т. 1, с. 370). Как указывает Л. Я. Гинзбург, это стихотворение генетически связано с рядом произведений («Возвращение незабвенной», «К ней же», «Прости»), «образующих некий элегический сюжет» (Ст. 1939, с. 310). Было пародировано К. Эврипидиным (К. С. Аксаковым) в стихотворении «Воспоминание» («Кто отдаст мне молодость, время незабвенное...») — «Телескоп», 1835, ноябрь, кн. 2, с. 465—466. В рецензии на сборник Н. А. Некрасова «Мечты и звуки» Ф. Н. Менцов указал на преемственную связь «Незабвенной» (1839) Некрасова со стихотворениями Бенедиктова (ЖМНП, 1840, № 3, с. 119). Ср. также стихотворение Некрасова «Дни благословенные» (1839) — см. Вацуро, с. 653, 659.

*9. Ст. 1835, с. 5—6; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 7—8. В восторженной рецензии СП говорилось, что в «Жалобе дня», «Элегии» и «Радуге» «самая строгая и самая важная мысль» представлена в форме всем доступной и понятной (СП, 1835, 24 октября). А. В. Никитенко в некрологе Бенедиктова особо выделял «Жалобу дня», «Горные выси», «Человек», «К Полярной звезде», «Жизнь и смерть», «Развалины», «Золотой век», «Переход», «Прости» как стихотворения, в которых читатель встречает «как бы нечаянно брошенный луч философской мысли, поводом к которой послужил одушевивший его ⟨поэта. — *Ред.*⟩ предмет» (Отчеты Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности за 1866—1891 гг., СПб., 1903, с. 200).

10. Ст. 1835, с. 90—91; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с 9—11. 10 ноября 1835 г. Н. В. Станкевич писал Я. М. Неверову о стихах Бенедиктова: «Из всех его стихотворений мне нравятся два: «Полярная звезда» и «Два видения». Во всех других одни блестки, мишура» (Станкевич Н. В., Переписка, М., 1914, с. 339).

11. Ст. 1835, с. 22—23; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 12—14. «„Полярная звезда“, — писал Белинский, — по красоте стихов — чудо, ⟨...⟩ но оно сбивается на описание, и я не вижу в нем никакой мысли, а это ⟨...⟩ единственное, по стихам, стихотворение Бенедиктова» (Белинский, т. 1, с. 368). См. также примеч. 8, 9, 10.

12. Ст. 1835, с. 1—2; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 15—17. В восторженной рецензии на Ст. 1835 А. Ф. Воей-

ков отнес к лучшим в сборнике и перепечатал вместе со стихотворениями «Смерть в Мессине» и «Ореллана» (ЛПРИ, 1835, № 96, 30 ноября).

* **13.** Ст. 1835, с. 3—4; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 18—20. Ст. 12—16 и 30, высмеянные В. Г. Белинским (т. 1, с. 362), исправлены автором в Ст. 1856. См. также примеч. 9.

14. Ст. 1835, с. 7—10; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 21—24. Эротическим содержанием и лексико-ритмическим строем восходит, по-видимому, к стихотворению Н. М. Языкова «Аделаида» (1826), вообще очень «бенедиктовскому». Ср. также другое стихотворение Языкова, «Две картины» (1825), где обе части начинаются стихом: «Прекрасно озеро Чудское...» Тема и образы «Трех видов» послужили основой для стихотворения Ф. И. Тютчева «Вчера, в мечтах обвороженных...» (1836?).

15. Ст. 1835, с. 11—12; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 25—26.

16. Ст. 1835, с. 19; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 27—28.

* **17.** Ст. 1835, с. 13—16; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 29—33. Беловой автограф начала ранней (?) редакции — ИРЛИ. Первый отзыв В. Г. Белинского — см. примеч. 8. В рецензии на Ст. 1842 Белинский с похвалой отозвался о ст. 1—12 «Озера» (Белинский, т. 6, с. 495). Ст. 8 пародийно использован К. Прутковым в стихотворении «Аквилон». В стихотворении отразились детские впечатления Бенедиктова, выросшего в Карелии.

18. Ст. 1835, с. 28—29; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 34—35.

* **19.** Ст. 1835, с. 30—32; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 38—40. См. примеч. 7, 8. А. С. Пушкину понравился ст. *Чаша неба голубая Опрокинута на мир* (см.: Панаев И. И., Литературные воспоминания, М.—Л., 1950, с. 72). Этот же образ встречается в других стихотворениях Бенедиктова («Тост», «Пир», «Игра в шахматы»). Н. А. Некрасов использовал его (см.: Вацуро, с. 653) в своем юношеском стихотворении «Горы» (1839): «Как опрокинутая урна Над ним висит небесный свод». Ст. 27—28 и характерная для Бенедиктова смена ритмов пародированы Козьмой Прутковым в стихотворении «Аквилон» (1854).

20. Ст. 1835, с. 20—21; Ст. 1842; Ст. 1856, под загл. «Казни меня!». Печ. по Ст. 1842, с. 41—42.

21. Ст. 1835, с. 36—38; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 43—45. В рецензии Ф. Булгарина на первый сборник Бенедиктова «Степь» перепечатана как «перл всего собрания» (СП, 1835, 24 октября). См. примеч. 7.

* **22.** Ст. 1835, с. 33—35; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Помнишь ли?». Печ. по Ст. 1842, с. 46—48. В Ст. 1835 последнее четверостишие вызвало насмешку Белинского — рецензен-

та сборника. Во втором издании автор исправил эти стихи и последнее четверостишие «Наездницы», также высмеянное Белинским (Белинский, т. 1, с. 362). «Нам приятно видеть, — писал Белинский в рецензии на Ст. 1836, — что г. Бенедиктов обратил внимание на наши советы и воспользовался ими, хотя и поздно, но это делает честь его характеру как человека, а не как поэта; по нашему мнению, поэт должен быть упрям и стоек, будучи уверен, что каждый его стих есть плод вдохновенья, которое никогда не обманывается, которое всегда творит верно, должен походить на Пушкина, который в ответ одному критику, осуждавшему его стих из «Цыган» «И с камня на траву свалился», сказал: „Я должен был так выразиться, я не мог иначе выразиться“» (Белинский, т. 2, с. 209). Ст. 29—32 пародированы И. С. Тургеневым с иронической ссылкой на источник в поэме «Помещик» (1845). В стихотворении Д. Минаева «Бал» (1863), пародирующем «Вальс» Бенедиктова, есть строки «Я дрожал, как кровный конь», «И корсет ей прожигала Воспаленная ладонь», явно относящиеся к «Очаровательнице», «Наезднице» и «Напоминанию».

23. Ст. 1835, с. 24—25; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 49—50.

* **24.** Ст. 1835, с. 43—44; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 51—52.

25. Ст. 1835, с. 39—42; Ст. 1842. Печ. по Ст. 1842, с. 53—56.

* **26.** Ст. 1835, с. 48—49: Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 57—58. См. также примеч. 9.

* **27.** Ст. 1835, с. 45—47; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «О, не играй!». Печ. по Ст. 1842, с. 59—61. *О, не играй веселых песен мне* — ср. пушкинское: «Не пой, красавица, при мне. . .» (1828). Ср. стихотворение Н. А. Некрасова (1839) «Красавице» (см.: Вацуро, с. 660).

28. Ст. 1835, с. 26—27; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 62—64. Одна из первых интерпретаций широко известного в России 1830-х гг. стихотворения В. Гюго «Огонь небесный» («Le Feu du Ciel», 1828), точнее, изображения катаклизма, данного французским поэтом в этом произведении. За «Смертью в Мессине» последовали другие переводы и аналоги: Ф. Н. Менцова, А. В. Тимофеева, Н. А. Некрасова (см.: Вацуро В. Э., К литературной истории стихотворения Некрасова «Землетрясение». — «Некрасовский сборник», 5, Л., 1973, с. 277—280). В некоторых рецензиях на Ст. 1835 относилось к лучшим стихотворениям сборника (см.: БдЧ, 1835, № 10, с. 1—3). См. также примеч. 12. *Мессина* — город на о. Сицилия (Италия), подверженный частым землетрясениям. Речь идет, по-видимому, о знаменитом мессинском землетрясении 1783 г., вследствие которого погибло 40 000 человек и две трети построек.

29. Ст. 1835, с. 65—66; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 69—70. См. примеч. 7, 8, 12. Тематика и отчасти ритмика стихотворения перекликаются с «Дарами Терека» М. Ю. Лермонтова

(1839). *Ореллана* — одно из первых европейских названий реки Амазонки (Южная Америка) по имени испанского конкистадора Франсиско де Орельяны (ум. в 1550 г.), совершившего в 1541 г. первое путешествие по Амазонке до ее устья.

30. Ст. 1835, с. 80—81; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 80—81.

31. Ст. 1835, с. 69—71; Ст. 1842. Печ. по Ст. 1842, с. 82—84.

* **32.** Ст. 1835, с. 72—74; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.), где включено в цикл стихотворных посланий, написанных в разные годы и печатавшихся независимо друг от друга в разных изданиях: 1. «К М⟨ейсне⟩ру»; 2. «К Н-му»; 3. «А. Б⟨аумгарте⟩ну»; 4. «К. . .му». Печ. по Ст. 1842, с. 85—87. Алексей Яковлевич *Мейснер* (1807—1882) — товарищ Бенедиктова по 2-му Кадетскому корпусу в Петербурге, выпущенный прапорщиком годом ранее, чем Бенедиктов, — в 1826 г. Поэт, переводчик. Дружба продолжалась до смерти Бенедиктова. Стихотворение стало объектом ряда поэтических подражаний («Послание к другу» (1836) П. П. Ершова, «Земляку» (1839) Н. А. Некрасова и др.) — см.: Вацуро, с. 652.

* **33.** Ст. 1835, с. 79; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 88—89.

34. Ст. 1835, с. 82—84; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 90—92. «Препровождаю к Вам, — писал Бенедиктов 14 июня 1835 г. А. В. Никитенко, цензуровавшему первый сборник поэта, — взамен исключенных двух пьес «Звезды» и «К надежде» три новых и переделанную по совету Вашему „Роза и дева"» (Ст. 1939, с. 306).

35. Ст. 1835, с. 56—57; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 93—94. Об отзыве Белинского и пародии Минаева см. примеч. 4, 22.

36. Ст. 1835, с. 50—53; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 95—98. Ср. стихотворение Н. А. Некрасова «Турчанка» (1839) — см.: Вацуро, с. 654.

37. Ст. 1835, с. 87—89; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. См. примеч. 32, 78, 80. Печ. по Ст. 1842, с. 99—101. Об отзыве Белинского см. примеч. 8.

38. Ст. 1835, с. 78; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 102—103.

* **39.** Ст. 1835, с. 92—94; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 104—107. С. П. Шевырев считал, что в этом стихотворении первого сборника Бенедиктова наиболее ярко выражено «нравственное чувство любви к добру» (МН, 1835, № 10, с. 447). «Поэт, — писал Я. Неверов, — ⟨. . .⟩ откровенно идет навстречу пороку, грозит ему молниями истины, громами поэзии и вызывает его на тяжкий бой» (ЖМНП, 1836, № 1, с. 196). См. также примеч. 7. С. С. Ланда указал на перекличку «Могилы» с «Альпухарой» из поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» (Сонеты, с. 331).

***40.** Ст. 1835, с. 95—96; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по СТ. 1842, с. 108—110.

41—48. Цикл, закрывавший Ст. 1835, был существенно изменен для издания Ст. 1856: один сонет (6) исключен, четыре переработаны, двум последним даны новые названия.

1. Ст. 1835, с. 99; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 113—114.

*2. Ст. 1835, с. 100; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1842, с. 115—116.

3. Ст. 1835, с. 101; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 117—118.

4. Ст. 1835, с. 102; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 119—120.

5. Ст. 1835, с. 103; Ст. 1836; Ст. 1842; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1842, с. 121—122. См. примеч. 7.

6. Ст. 1835, с. 104; Ст. 1842. Печ. по Ст. 1842, с. 123—124.

*7. Ст. 1835, с. 105; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Слеза и улыбка». Печ. по Ст. 1842, с. 125—126.

* 8. Ст. 1835, с. 106; Ст. 1842; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Жемчужина». Печ. по Ст. 1842, с. 127—128.

49. ОВ, с. 189; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 45—46. Это стихотворение и «К Аделаиде» (см. примеч. 50) — первое выступление Бенедиктова в коллективном сборнике. В рецензии на ОВ Белинский писал: «Г-н Бенедиктов есть другая знаменитость, украсившая этот альманах своими произведениями. Их два, и оба они доказывают, что г. Бенедиктов, когда набьет руку, то будет делать славные стишки» (Белинский, т. 1, с. 397).

***50.** ОВ, с. 199—200, под загл. «К Аделаиде»; Ст. 1838; Ст. 1856, под заглавием «Не верю» (др. ред.). Печ. по Ст. 1838, с. 72—73. См. примеч. 49. Последнее четверостишие — одно из характернейших для раннего Бенедиктова — стало своеобразным эталоном «бенедиктовщины» и постоянно цитировалось, обыгрывалось критиками. «Я воспевал, — писал И. И. Панаев в предисловии к сборнику своих пародийных стихотворений, — ⟨...⟩ различных чудных и азиатских дев, пропитанных мускусом, с косами, которые бились до пят вороneными каскадами. Все это озадачило не только моего учителя словесности, но даже и многих весьма почтенных литераторов, из коих один провозгласил меня по преимуществу поэтом мысли» («Собрание стихотворений Нового Поэта», СПб., 1855, с. VII). Ср. также подражательное стихотворение Н. А. Некрасова «Турчанка» (1839) — см.: Вацуро, с. 654.

51. БдЧ, 1836, т. 14 (ц. р. 31 декабря 1835), с. 68; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 8—10. В сборнике стихотворений ближайшего друга Бенедиктова А. Я. Мейснера (см. о нем примеч 32) есть стихотворение под тем же названием, датированное 1835 г. (Мейснер Алексей, Стихотворения, М., 1836 (ц. р. 18 апреля 1836), с. 3). «Кудри» — одно из характернейших стихотворений Бенедиктова, надолго закрепившее за ним прозвище «поэт кудрей» и служащее обычно примером для раскрытия понятия «бенедиктовщина». Многократно перепечатывалось, служило предметом для подражаний поэтам-романтикам и для пародирования. См., например, стихотворение Н. А. Некрасова (1839) «Турчанка» (Вацуро, с. 654) и паро-

дию Козьмы Пруткова «Шея. Моему сослуживцу г-ну Бенедиктову».

52. РВ, 1881, № 9, с. 144, где напечатано в составе записок Е. А. Карлгоф «Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной» со следующим примечанием мемуаристки: «Бенедиктов прекрасно владел стихом ⟨...⟩ даже когда писал наскоро. Вот стихи, которые, мы не успели оглянуться, как он написал мне в альбом». Елизавета Алексеевна *Карлгоф* — жена земляка и приятеля Бенедиктова В. И. Карлгофа, на средства и по инициативе которого был издан первый сборник стихотворений Бенедиктова.

53. БдЧ, 1836, т. 15 (ц. р. 28 февраля 1836), с. 225—227; Ст. 1838; Ст. 1856, под загл. «Возвращение». Печ. по Ст. 1838, с. 52—56. Ст. 47—51, по этическим соображениям замененные автором в БдЧ и Ст. 1838 двумя строками точек, восстанавливаются по Ст. 1856, т. 1, с. 28. См. примеч. 8.

54. БдЧ, 1836, т. 16 (ц. р. 30 апреля 1836), с. 161—163; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 28—32. См. примеч. 57. В. Э. Вацуро указал на реминисценцию ст. 40 в стилизованной речи Казбича из «Бэлы» (1840) Лермонтова («Лермонтовская энциклопедия», М., 1981, с. 56).

55. БдЧ, 1836, т. 17 (ц. р. 29 июня 1836), с. 191—192; Ст. 1838; Ст. 1856, т. 1, с. 95—96, под загл. «Опровержение». Печ. по Ст. 1838, с. 81—83.

56. БдЧ, 1836, т. 18 (ц. р. 29 августа 1836), с. 153, под загл. «Две сестры»; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 49—51. См. примеч. 9.

57. С, 1837, № 1 (ц. р. 11 ноября 1836), с. 228—229, под загл. «Горы»; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 1—2. Единственное стихотворение, напечатанное в пушкинском «Современнике». Говоря о «новом поколении ⟨...⟩ поэтов», Н. А. Полевой писал: «Тут является яркою звездочкой Бенедиктов. Его «Горы» светят мыслью и заставляют досадовать на неверность картины и изложения при стихе звучном и живом» (СО, 1838, т. 1, с. 47). Несколько позже тот же критик пояснил смысл своего замечания, противопоставив Бенедиктова «истинно великим поэтам»: «Никогда горы не улетят у них в облака, не повиснут там и не будут в то же время ступенями с неба на землю, следовательно, будут оставаться на земле» (СО, 1838, т. 2, с. 93). А. А. Краевский отнес «Горные выси», вместе со стих. «Певец», «Искра», «Возвратись!», «Пожар», «Перл», к лучшим произведениям Ст. 1838 (см.: ЛПРИ, 1838, № 15, 9 апреля). См. также примеч. 9. Отдаленным подражанием бенедиктовскому является стихотворение Н. А. Некрасова «Горы» (1839) — см.: Вацуро, с. 652.

* 58. БдЧ, 1836, т. 19 (ц. р. 29 декабря 1836), с. 87—93; Ст. 1838; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1838, с. 97—117. Автограф с пометой: «11 декабря 1836: А. А. Е...» — ЦГАЛИ. Возможными источниками, как указывает Л. Я. Гинзбург, послужили «La bataille de Waterloo» К. Ж. Ф. Делавиня (1815), «Bounaparte» (1822) и «Napoleon II» (1832) В. Гюго (см.: Ст. 1939, с. 311). Рецензенты Ст. 1838 В. Г. Белинский, А. А. Краевский, Н. А. Полевой единодушно упре-

кали автора «Ватерлоо» в многословии, неясности политической мысли (МН, 1838, апрель, кн. 2, с. 637; ЛПРИ, 1838, № 15, 9 апреля; СО, 1838, т. 2, с. 92). В 1846 г. А. Ф. Вельтман пародировал «Ватерлоо» в своем памфлете «Приезжий из уезда». См. также пародию И. И. Панаева «Наполеон». Для Ст. 1856 автор существенно переработал произведение, придав ему большую политическую остроту, что вызвало новые упреки. «Нам особенно жаль, — писал один из рецензентов, — окончания известного стихотворения «Ватерлоо». Может быть, новое окончание более удовлетворяет философии истории и дидактике. Оно доведено до «гроба в Доме инвалидов»; но нам кажется, что к памяти Наполеона более шел прежний конец. Стихи г. Бенедиктова и должны были так кончиться, потому что они явились в печати в первый раз в 1836 г., следовательно, за четыре года до перевезения праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж. Окончание их передавало нам впечатление, производимое на современных поэтов могилой великого завоевателя «на скудном лоскуте земли», а позднейшая переделка тщеславия «ветреного племени» довольно уже оценена в нашей словесности «Последним новосельем» Лермонтова» (СО, 1856, № 27, с. 17).

59. РВ, 1881, № 9, с. 142, где напечатано в составе воспоминаний Е. А. Карлгоф (см. примеч. 52). Стихотворение было приложено в качестве посвящения к экземпляру Ст. 1836, подаренному мемуаристке. Это второе издание стихотворений Бенедиктова имело посвящение: «Елизавете Алексеевне Карлгоф».

60. Ст. 1939, с. 100—102. Печ. по автографу ГПБ. Помещено в рукописном журнале Майковых «Подснежник» на 1836 г. (ИРЛИ).

61. Ст. 1939, с. 98. Печ. по тексту рукописного журнала Майковых «Подснежник» на 1836 г. (ИРЛИ).

62. БдЧ, 1837, т. 20 (ц. р. 29 декабря 1836), с. 35; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 39—42.

63. БдЧ, 1837, т. 20 (ц. р. 29 декабря 1836), с. 95—96; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 25—27. См. примеч. 57.

64. ЛПРИ, 1837, № 5, 30 января; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 37—38.

65. Ст. 1838, с. 3—4. См. примеч. 57.

66. Ст. 1838, с. 5—7; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838. См. примеч. 4, 9.

67. Ст. 1838, с. 14—24; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838. Сюжет и образы близки к «Фарису» и «Крымским сонетам» Мицкевича. Белинский высмеял «Море» за «изысканность выражений», отказавшись понимать его «не только в поэтическом, но и во всяком смысле» (Белинский, т. 2, с. 422—423). Козьма Прутков пародировал «Море» в стихотворении «Аквилон. В память г. Бенедиктову», где бенедиктовский образ «Пустыни влажной бедуин» превращен во «влажный сарацин» и пародийно обыграна характерная для Бенедиктова смена стихотворного размера.

68. Ст. 1838, с. 43—44; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838.

*69. Ст. 1838, с. 47—48; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1838.

70. Ст. 1838, с. 57—60. См. примеч. 8.

71. Ст. 1838, с. 61—63; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838. См. примеч. 8, 9.

72. Ст. 1838, с. 64—68; Ст. 1856, под загл. «Петербургская сторона». Печ. по Ст. 1838. См. примеч. 8.

*73. Ст. 1838, с. 74—76; Ст. 1856, под загл. «Пучина». Печ. по Ст. 1838. *И спят чудовища на дне* 〈...〉 *Где тихо дремлет крокодил!* Ср. в стихотворении К. Н. Батюшкова «Счастливец» (1810):

Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасный
Крокодил на нем лежит!

*74—77. Ст. 1838, с. 86—93; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1838. Замысел этого цикла связан, по-видимому, с подготовкой и публикацией в СО, 1838, т. 2 (ц. р. 15 марта 1838) перевода «Книги любви» немецкой писательницы Беттины фон Арним (1785—1859), представительницы раннего романтического направления, друга и почитательницы Гете. Беттина фон Арним в отрывочных лирических этюдах — дневниковых записях выразила свое отношение к великому поэту и мыслителю. «Странная мечтательность Беттины, — писала редакция СО, — объясняется тем, что она была страстно влюблена в старика Гете. Любовь чисто платоническая, почти смешная для толпы! Беттина и любовь ее — любопытное психологическое явление среди нашего мира — их поймут немногие» (СО, 1838, т. 2, с. 35). Подчеркнуто «земная» «Книга любви» Бенедиктова явно контрастирует, а возможно, и полемизирует с произведением немецкой писательницы (ср. также цикл «Buch der Liebe» (1841—1844) Н. П. Огарева).

78. Ст. 1838, с. 77—80; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «К Б-ну». Печ. по Ст. 1838. Аполлон Карлович *Баумгартен* (1812—1865) — генерал-майор, приятель Бенедиктова по Измайловскому полку, «мастерский чтец трагических ролей» (Ст. 1883, с. XII), впоследствии — муж Авдотьи Павловны Баумгартен, урожд. Гартонг (см. примеч. 131).

*79. БдЧ, 1837, т. 25 (ц. р. 31 октября 1837), с. 7—8; Ст. 1838; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Ст. 1838, с. 68—71. Автограф ранней редакции — ИРЛИ.

80. СО, 1838, т. 1 (ц. р. 30 декабря 1837), с. 22—23; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 33—34. См. также примеч. 32.

81. СО, 1837, т. 185 (ц. р. 14 марта 1837), с. 122—126. 29 янв. 1837 г. Е. П. Майкова (см. о ней примеч. 82) писала В. А. Солоницыну: «Вечером присоединился к нам Бенедиктов и рассказывал о Москве прозой и стихами» (ИРЛИ).

82. Ст. 1939, с. 99. Печ. по тексту рукописного журнала Майковых «Подснежник» на 1838 г. (ИРЛИ). *Евгения Петровна Майкова*

(1803—1880), урожд. Гусятникова — мать поэта А. Н. Майкова. Образованная женщина, поэтесса, прозаик и переводчица, печаталась в журналах под псевдонимами: Е. Подольская, М-ва, Е. М-ва, Е-ва. Бенедиктов посвятил ей несколько стихотворений. См. примеч. 107.

83. ЛПРИ, 1838, № 24, 11 июня, с. 465. *Тяжкие потери* — смерть А. С. Пушкина 29 января, А. А. Бестужева-Марлинского 7 июля, И. И. Дмитриева 3 октября 1837 г.

* 84. ЛПРИ, 1837, № 9, 27 февраля; Ст. 1838; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Холодное объяснение». Печ. по Ст. 1838, с. 35—36. В 1851 г. Некрасов, отметив «невероятное отсутствие вкуса» в ст. 3—4, признал в Бенедиктове «талант несомненный и прекрасный», искры которого «блестят даже в этом стихотворении» (Некрасов, т. 9, с. 246—247).

85. БдЧ, 1837, т. 21 (ц. р. 3 марта 1837), с. 83—84; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ по Ст. 1838, с. 11—13. См. примеч. 57.

86. СО, 1837, т. 185 (ц. р. 14 марта 1837), с. 131—132; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 84—85.

87. ЛПРИ, 1837, № 19, 8 мая; Ст. 1838; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1838, с. 94—96.

* 88. БдЧ, 1841, № 12 (ц. р. 31 октября 1841), с. 125—126; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по БдЧ. Помещено в рукописном журнале Майковых «Подснежник» на 1838 г. (ИРЛИ).

89. Ст. 1839, с. 99—100. Печ. по тексту рукописного журнала Майковых «Подснежник» на 1838 г. (ИРЛИ).

* 90. «Утренняя заря. Альманах на 1839 г.», СПб., 1839 (ц. р. 15 ноября 1838), с. 25—27. Помещено под загл. «Условие» в рукописном журнале Майковых «Подснежник» на 1838 г. (др. ред., ИРЛИ).

91. ЛПРИ, 1838, № 46, 31 декабря; Ст. 1856. Печ. по ЛПРИ.

92. ОА 1839, с. 97—98; Ст. 1856. Печ. по ОА. В альбоме карикатур Н. А. Степанова помещен рисунок, изображающий Бенедиктова, принимающего в своем кабинете доклад подчиненного. Под карикатурой текст: «Чиновник: Есть нужные бумаги к докладу. Поэт: Вы дайте мне лесу! дремучего лесу!» (Степанов Н. А., Литераторы, СПб., 1860).

93. ОА 1839, с. 551—552, под загл. «В альбом Н. А. И.»; Ст. 1856, т. 2, где помещено в цикле «В альбомы», составленном из стихов, первоначально печатавшихся в разное время в разных изданиях: 1. «Незнакомке»; 2. («А. А.. И-ой»); 3. («Л. Е. Ф.»); 4. «Е. Н. Ш(ахов)ой». См. примеч. 100, 102 и 170. Печ. по ОА, с исправлением загл. по Ст. 1856.

94. РИ, 1838, № 32, 12 февраля. Наборная рукопись под загл. «2 февраля 1838», исправленным рукой П. А. Вяземского на «Пир 2 февраля 1838», — ГПБ. 2 февраля 1838 г., в день рождения басно-

писца, было решено отпраздновать 50-летний юбилей творческой деятельности И. А. Крылова. В зале Дворянского собрания был дан обед на 300 персон, с оглашением правительственного рескрипта о награждении орденом Станислава второй степени, официальными речами и тостами. «Стихи Вяземского петы были Петровым, — сообщал В. А. Солоницын Е. П. Майковой, — и произвели общий восторг. Их заставили повторить, чего они и стоят. Стихи Бенедиктова читал министр внутренних дел Блудов, и — говорят — прекрасно» (ИРЛИ).

***95.** С, 1838, № 1 (ц. р. 29 марта 1838), с. 133—136; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по С. Бенедиктов был в Москве в начале 1838 г. Одной из целей этой поездки было знакомство с С. П. Шевыревым по рекомендации П. А. Вяземского (ЦГАЛИ). 25 января 1838 г. Санкт-Петербургский цензурный комитет рассматривал вопрос о цензурности ст. 38—39. Было решено печатать стихотворение без изъятий (ЦГИА).

***96.** ОЗ, 1839, т. 1 (ц. р. 1 января 1839), с. 85—86; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по ОЗ. 23 мая 1855 г. Бенедиктов привез автограф для альбома Е. А. Штакеншнейдер (см.: Штакеншнейдер, с. 62) — см. примеч. 278.

97. ОЗ, 1839, т. 2 (ц. р. 1 февраля 1839), с. 139.

98. ОЗ, 1839, т. 2 (ц. р. 1 февраля 1839), с. 166; Ст. 1856. Печ. по ОЗ.

99. «Новогодник», СПб., 1839 (ц. р. 7 марта 1839), с. 96—98; Ст. 1856. Печ. по «Новогоднику». Автограф — ЦГАЛИ. Евгений Павлович *Гребенка* (1812—1848) — украинский поэт и прозаик, писавший также и на русском языке. Не позднее 1836 г. завязались приятельские отношения Бенедиктова с Гребенкой. Белинский в рецензии на «Новогодник» похвалил стихотворение Бенедиктова за «стих бойкий, звонкий, гармонический, как песня соловья, гремучий, как серебро» (Белинский, т. 3, с. 128).

100. «Невский альбом», СПб., 1840 (ц. р. 29 декабря 1839), с. 45—46; Ст. 1856, где напечатано без названия, с подзагол. «(Написано на первой странице неначатого еще альбома)». См. примеч. 93. Печ. по «Невскому альбому». Помещено в рукописном журнале Майковых «Лунные ночи» на 1839 г. (ИРЛИ).

101. БдЧ, 1839, т. 32 (ц. р. 31 декабря 1839), с. 3; Ст. 1856. Печ. по БдЧ.

102. ЛПРИ, 1839, № 2, 7 января; Ст. 1856 (см. примеч. 93). Печ. по ЛПРИ. Автограф в альбоме Шаховой с загл. «Елизавете Никитичне Шаховой», без даты, с подписью автора — ИРЛИ. Другой автограф — ЦГАЛИ. Е. Н. *Шахова* (1821—1899) — поэтесса. Ее «Опыты в стихах» (СПб., 1837), напечатанные на средства Российской Академии, обратили на себя внимание главным образом юным возрастом автора. Поэтическое творчество Шаховой развивалось под сильным влиянием Бенедиктова, с которым она познакомилась,

вероятно, в 1838 г. В 30—40-х гг. стихи Шаховой печатались в БдЧ, СО, С, во многих альманахах и сборниках.

103. «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год», Л., 1979, с. 77, публикация В. Э. Вацуро. Печ. по автографу в альбоме Е. Н. Шаховой (см. примеч. 102) — ИРЛИ. Ответное стихотворное послание Шаховой см.: БдЧ, 1839, т. 32, с. 63—65.

104. БдЧ, 1841, № 11 (ц. р. 31 октября 1841), с. 6. Помещено в рукописном журнале Майковых «Лунные ночи» на 1839 г. (ИРЛИ).

105. Печ. по автографу ЦГАЛИ, датированному: 30 ноября 1842. Помещено в рукописном журнале Майковых «Лунные ночи» на 1839 г. (ИРЛИ).

***106.** «Призвание женщины. С английского», 1840 (ц. р. 3 декабря 1839), с. III—V (отрывок, ст. 124—170), под загл. «Вместо предисловия. Отрывок из стихотворения «К женщине» В. Г. Бенедиктова»; СО, 1840, № 9 (ц. р. 23 июня 1840), с. 5—10; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по СО. В рукописном журнале Майковых «Лунные ночи» на 1839 (ИРЛИ) помещены «Два отрывка из стихотворения «К женщине» В. Г. Бенедиктова» (ст. 59—79, 124—170). Автограф на листах «из альбома Голицыной», совпадающий с текстом СО, с пометой: «1841 года, 2 марта, час пополудни, воскресенье. В. Бенедиктов» — ИРЛИ. «Мне чрезвычайно приятно, почтеннейший Александр Васильевич, — писал Бенедиктов Никитенко 8 июня 1840 г., — изъявление желания Вашего напечатать стихи мои «К женщине» в Вашем журнале вместе с драгоценным ответом на них, и я вменяю себе в особенное удовольствие предоставить всю эту пиесу в полное Ваше распоряжение» (Ст. 1939, с. 314). В СО после стихотворения, обращенного к Е. П. Майковой (см. примеч. 82), следовал стихотворный ответ «От женщины В. Г. Бенедиктову» за подписью «Е. М.», с датой: 1839. Отрывок, помещенный в «Призвании женщины», вызвал восторженный отзыв Ф. Булгарина (СП, 1840, 20 января). «В стихотворении г. Бенедиктова — «К женщине», — писал И. Галанин, — есть много истинно превосходных мест, есть много удивительно гармонических стихов, но эта пиеса, в целом взятая, не совсем удовлетворяет требованиям строгой критики, которая, зная могучий талант поэта, вправе ожидать от него более обдуманности, более отчетливости в мыслях и выражениях» (ЖМНП, 1840, № 11, с. 101).

107. БдЧ, 1842, т. 51 (ц. р. 28 февраля 1842), с. 6—8; Ст. 1856. Печ. по БдЧ. Автограф — ранняя редакция, находится среди писем Бенедиктова к Майковым и посвященных им стихотворений (ИРЛИ). Первоначально было озаглавлено: «Рыбари. Посв. Мих. Ап. Майкову». Затем исправлено: «Вот как это было. Посв. Ник. Ап. Майкову». Знакомство Бенедиктова с Майковыми состоялось во второй половине 1835 или в начале 1836 г. Наиболее тесная связь с Майковыми относится к концу 1830-х — началу 1840-х гг., когда Бенедиктов активно сотрудничал в рукописных домашних сборниках Майковых «Подснежник» и «Лунные ночи» и часто навещал друзей на их даче в Ораниенбауме. Брат главы семьи художника *Николая* Аполлоновича Михаил в эти годы жил в Ораниенбауме почти безвыездно. Все семейство Майковых — Николай Аполлонович, Евгения Петровна, их сыновья Аполлон, Валериан, Владимир страстно лю-

били лес и рыбную ловлю (ср. стихотворение А. Майкова «Рыбная ловля» — 1855). Возможно, «Вот как это было» относится к маю 1839 г. Стихотворение перекликается с помещенными в домашнем журнале «Лунные ночи» на 1839 г. (ИРЛИ) стихотворными посланиями А. Майкова к Бенедиктову (приглашение на дачу, опубликовано в СО, 1840, № 6) и бенедиктовским «Ответом Аполлону Майкову», заканчивавшимся так:

Еду! — Полный до избытка
Вялой прозой, — я сильней
Олимпийского напитка
Жажду воздуха полей.
Сладко грудь им освежится,
И в недугах бытия
Им, быть может, подкрепится
Муза хворая моя.

108. ОА 1840, с. 40—42.

109. БдЧ, 1840, т. 38 (ц. р. 30 января 1840), с. 157; РСт, 1887, т. 53, с. 757—758, по автографу под загл. «Елене Александровне Ган», с датой: 29 июня 1839. Печ. по БдЧ. Е. А. Ган, урожд. Фадеева (1814—1842), — писательница, печатавшаяся под псевдонимом Зенеида Р-ва. Летом 1839 г. она находилась на лечении в Одессе, куда в это время приехал по служебным делам Бенедиктов. Их общий знакомый, попечитель Одесского учебного округа А. М. Княжевич, представил поэта Е. А. Ган. 29 июня перед отъездом Бенедиктов подарил писательнице книгу своих стихотворений с автографом комментируемого произведения, помещенным на заглавном листе сборника.

110. ОА 1840, с. 706—708; Ст. 1856. Печ. по ОА 1840. Белинский неоднократно высмеивал это стихотворение за вычурность выражений — «Грудь томит и чары деет», «И любовью беспредметной» и т. п. (Белинский, т. 4, с. 123; т. 6, с. 24).

***111.** ЛГ, 1842, 25 янв.; «Одесский вестник», 1859, 6 июня (др. ред.). Печ. по ЛГ. В «Одесском вестнике» стихи помещены в отчете об обеде, данном О. Г. Михневичу его бывшими воспитанниками по Одесскому лицею. На обеде был произнесен тост за здоровье Бенедиктова, который «был вызван воспоминаниями Осипа Григорьевича о прошлом лицея, причем он вспомнил о времени пребывания поэта в Одессе, об отношениях его к лицею и прочел следующие стихи, написанные самим поэтом в 1839 году в альбом одному из тогдашних профессоров лицея М. А. Соловьеву».

***112.** К, с. 1—4; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по К. Стихотворение написано специально для альманаха «Киевлянин», задуманного М. А. Максимовичем, где помещен ряд произведений о Киеве, а в качестве эпиграфа — фрагмент стихотворения А. С. Хомякова «Киев» (1839). Прочитав в альманахе стихи Бенедиктова, М. П. Погодин писал Максимовичу: «Да кто тебя угораздил бенедиктовскую нотабснку сунуть в общество святых угодников печерских?» (Барсуков Н. П., Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 5, СПб., 1892, с. 462.)

113. Мет, с. 3—8, с цензурными пропусками ст. 28, 47—48, 180—188, в цикле «Отрывки из стихотворений „Крымские виды"»; Ст. 1856. Печ. по Мет с восстановлением цензурных пропусков по Ст. 1856, т. 2, с. 43—50. Печатные листки из Мет (с. 3—8) с авторскими вставками на месте цензурных пропусков — ИРЛИ. «Что в «Метеоре» доставило нам истинное удовольствие, до слез разволновало нас, — иронически замечал Белинский в рецензии на альманах, — это стихотворение г. Бенедиктова «Тост». ⟨...⟩ Удивительно! Разум сперва является светочем жизни, потом уходит *под* жизнь и наконец делается алмазом и попадает в перстень вечности! Какая глубокая мысль — ничего не поймешь в ней! Господа современные русские стихотворцы, объясните нам смысл этой глубокой мысли: тысяча пудов российских стихов в награду!» (Белинский, т. 9, с. 42—44). См. также примеч. 157. *Чашу неба кверху дном* — ср. в стихотворении «Облака»: «Чаша неба голубая опрокинута на мир», тот же образ — в стихотворении «Коперник».

114—129. Цикл создавался во время поездки автора в Одессу и Крым в мае — сентябре 1839 г. Десять стихотворений цикла с 1841 по 1847 г. печатались в журналах и альманахах. Остальные появились впервые в Ст. 1856, где цикл печатался в следующем составе: 1. «На море»; 2. «Близ берегов»; 3. «На южном берегу»; 4. «Между скал»; 5. «Могила в Марсанде»; 6. «Дом в цветах. — Алупка»; 7. «Ореанда»; 8. «Потоки»; 9. «Обвалы»; 10. «Пещеры Кизиль-Коба»; 11. «Чатырдаг»; 12. «Чатырдагские ледники»; 13 «Коса. Древности Керчи»; 14. «Прости». Стихотворения «Бахчисарай», «Горы» и «Степи» вводятся в цикл на основании авторских указаний о принадлежности к циклу при их публикациях. Л. Я. Гинзбург указывает на близость бенедиктовского цикла, в особенности стихотворения «Чатырдаг», «Крымским сонетам» Мицкевича (Ст. 1939, с. 316).

1. РБ, с. 1—3; Ст. 1856, в виде двух самостоятельных стихотворений «На море» и «Близ берегов», открывающих цикл. Печ. по РБ.

2. РБ, с. 3—4; Ст. 1856, под загл. «На южном берегу». Печ. по РБ.

3. РБ, с. 3—4; Ст. 1856, под загл. «Между скал». Печ. по РБ. По представлению цензора А. В. Никитенко, 16 октября 1841 г. в санкт-петербургском Цензурном комитете рассматривался вопрос о цензурности последних двух стихов произведения. Было принято решение «выключить» их из текста (ЦГИА). Однако стихотворение появилось в РБ без изъятий.

4. СО, 1847, № 1 (ц. р. 1 января 1847), с. 4—5; Ст. 1856, под загл. «Могила в Марсанде». Печ. по СО. «В стихотворении г. Бенедиктова «Могила», — писал Н. Гаврилов, — много прекрасных стихов, напоминающих звон той лиры, которая некогда пленяла многих и которая, кажется, умолкла навсегда. Однако ж можно еще теперь узнать этого поэта по особенному складу его стиха и по любви его к изысканным и оригинальным выражениям, которые у него редко бывают удачны и еще реже приходятся к русскому языку» (М, 1848, № 5, с. 20).

5. Ст. 1856, т. 2, с. 63—64.

6. Ст. 1856, т. 2, с. 65—66.

7. Ст. 1856, т. 2, с. 66—70.

8. Ст. 1856, т. 2, с 71—72.

* 9. Мет, с. 73—74, со стихотворениями «Бахчисарай» и «Горы»,

под общим заголовком «Отрывки из стихотворений „Крымские виды“»; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по Мет.

10. Мет, с. 75—76.

11. Мет, с. 77—78.

* 12. БдЧ, 1842, т. 52, с цензурной купюрой в ст. 11 (ц. р. 6 мая 1842), с. 5—6; Ст. 1856. Печ. по БдЧ, ст. 11 восстанавливается по Ст. 1856.

13. Ст. 1856, т. 2, с. 77—80.

14. «Утренняя заря. Альманах на 1841 г.», СПб., 1841 (ц. р. 30 октября 1840), с. 205—208, с подзагол. «Крымские виды».

15. СЛ, с. 39—40; Ст. 1856. Печ. по СЛ, где напечатано вместе со стихотворениями «Исход», «Лебедь», «Порыв», «Разоблачение». Один из критиков — поклонников Бенедиктова оценил публикацию в СЛ как «пять блестящих перл, пять очаровательных мелодий, которых каждый стих кажется музыкальною фразою» (БдЧ, 1845, т. 71, с. 35).

16. Ст. 1856, т. 2, с. 82.

130. «Утренняя заря. Альманах на 1841 г.», СПб., 1841 (ц. р. 30 октября 1840), с. 209—210; Ст. 1856, без подзагол. Печ. по «Утренней заре...». Наборная рукопись с первоначальным подзагол. «При доставлении крымских цветов» и цензорской подписью — ЦГАЛИ. Бенедиктов вернулся из служебной командировки в Одессу и Крым в сентябре — октябре 1839 года. *Е. Н. Ш⟨ахов⟩а* — см. примеч. 102.

131. ОА 1840, с. 466—468; Ст. 1856, под загл. «К А-е П-е Г-г (По возвращении из Крыма)»; «Сборник лучших произведений русской поэзии», СПб., 1858, под загл. «К ***». Печ. по ОА 1840. Автограф первоначальной редакции под загл. «К А. П. Гартонг» — ГПБ. Авдотья Павловна *Г⟨артонг⟩* (1817—1878) — дочь генерал-майора П. В. Гартонга, погибшего под Варной в 1828 г., впоследствии жена А. К. Баумгартена (см. примеч. 78). Написано после возвращения автора из служебной командировки в Одессу и Крым.

132. К, с. 79—80. Л. Я. Гинзбург указала на перекличку «Ночи» Бенедиктова с 10—13 строфами лермонтовской «Сказки для детей», напечатанной в ОЗ, 1842, № 1, с. 116—123 (см. Ст. 1939, с. 320).

133. БдЧ, 1840, т. 39 (ц. р. 30 марта 1840), с. 5—9; Ст. 1856, под загл. «Падение». Печ. по БдЧ.

134. БдЧ, 1841, т. 44 (ц. р. 31 декабря 1840), с. 93—95; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по БдЧ.

135. Ст. 1939. Печ. по автографу ИРЛИ, с подписью и датой: 14 июня 1840. *Евгения Петровна Майкова* (см. о ней примеч. 82) вместе с сыном Аполлоном в это время готовилась к поездке по Италии.

136. Печ. впервые по автографу ГПБ. *Авдотья Павловна Гартонг* — см. примеч. 131.

137. С, 1841, № 1 (ц. р. 24 декабря 1840), с. 232—234; Ст. 1856, где, существенно переработанное, стихотворение помещено среди

произведений 1842—1850 гг. Печ. по С. «... Прибыл сверх ожидания моего Бенедиктов, — писал в ноябре 1840 г. П. А. Плетнев Я. К. Гроту. — Он привез для «Современника» стихи под названием «Вальс». При этом рассказал он, что и Шахова приготовила для меня почти на эту же тему стихи, а именно „Галопад"» («Переписка Грота с Плетневым», т. 1, СПб., 1896, с. 146). Стихотворение Е. Н. Шаховой (см. примеч. 102). «Галопад» — подражание «Вальсу» Бенедиктова — напечатано в том же номере «Современника». См. также примеч. 22.

138. БдЧ, 1841, т. 48 (ц. р. 30 августа 1841), с. 7—8; Ст. 1856. Печ. по БдЧ.

*** 139.** БдЧ, 1842, т. 50 (ц. р. 31 декабря 1841), с. 8; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Новая дружба». Печ. по БдЧ.

140. «Маяк», 1843, № 3 (ц. р. 20 марта 1843), с. 1—2, с датой: 13 февраля 1841; Ст. 1856, под загл. «К бывшим соученикам (По случаю приезда старого наставника)». Печ. по «Маяку», где помещено с подстрочным примечанием: «Читано на обеде, данном питомцами своему директору». Обед был дан в честь приезда в Петербург педагога И. Троицкого. *В краю, где природа свой лик величавый* и т. д. Имеется в виду Карелия, где поэт жил (в Петрозаводске) до поступления во 2-й Кадетский корпус в Петербурге. *Одно из великих родимых озер* — Онежское озеро. *Где воет Кивача «алмазна гора»* — цитата из первого стиха «Водопада» (1791—1794) Г. Р. Державина: «Алмазна сыплется гора...»

141. Печ. по ЛГ, 1843, 5 января. Ст. 49—50, по цензурным соображениям замененные в ЛГ двумя строчками точек, восстанавливаются по автографу ГПБ с загл. «23 февраля 1841. Евд. Пав. Гартонг». *А. П. Г⟨артонг⟩* — см. примеч. 131. Написано в день ее рождения.

142. ЛГ, 1842, 8 февраля; Ст. 1856. Печ. по ЛГ.

143. СО, 1842, № 3 (ц. р. 2 марта 1842), с. 3—4; Ст. 1856. Печ. по СО. Ср. стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

144. «Утренняя заря. Альманах на 1843 г.», СПб., 1843 (ц. р. 30 мая 1842), с. 349—351; Ст. 1856. Печ. по «Утренней заре».

145. «Дагерротипы», тетрадь 6, СПб., 1842 (ц. р. 7 июля 1842), с. 3—4. Белинский подверг стихотворение уничтожающей критике, назвав его «истинным дифирамбом в цыганском вкусе и тоне» (Белинский, т. 6, с. 263). В стихотворении речь идет о знаменитом Соколовском хоре цыган в Москве. Его руководитель *цыган Илья* — Илья Осипович Соколов — воспет в коллективном стихотворении Пушкина и Дениса Давыдова «Герою битв...» (1831). См. Глумов А. Музыкальный мир Пушкина, М., 1950, с. 184—189, 229—231. *Мы живем среди полей* — цитата из «Песни цыган» М. Н. Загоскина к опере А. Н. Верстовского «Пан Твардовский».

146. «Молодик на 1843 год», Харьков, 1843 (ц. р. 10 сентября 1842), с. 110; Ст. 1856, под загл. «Просьба». Печ. по «Молодику». Автограф — ГБЛ.

147. СО, 1842, № 10 (ц. р. 13 октября 1842), с. 7—8; Ст. 1856. Печ. по СО.

148. БдЧ, 1843, т. 56 (ц. р. 31 декабря 1842), с. 5—7; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по БдЧ.

149. Ст. 1856, т. 1, с. 119—120.

150. Ст. 1856, т. 1, с. 168—169.

151. Ст. 1856, т. 1, с. 170—171.

152. «Молодик на 1844 год», ч. 2, СПб., 1844 (ц. р. 22 марта 1844), с. 20—21. Автограф под загл. «11 декабря 1842» и пометой: «От Бенедиктова 30 декабря 1842» — ЦГАЛИ.

153. БдЧ, 1842, т. 55 (ц. р. 31 октября 1842), с. 5—7. Печ. по отдельному изданию СПб. (б. г.). Бенедиктов, чрезвычайно популярный в среде воспитанниц Смольного — «Института благородных девиц» и «Воспитательного общества благородных девиц» (ВОБД), часто приглашался на торжественные акты в эти учебные заведения. В 1840—1850-е гг. связь поэта с «монастырками» осуществлялась через В. П. Быкову — классную даму ВОБД, с которой он часто встречался в доме Баумгартенов (см. примеч. 78, 131).

154. «Молодик на 1844 год», ч. 2, СПб., 1844 (ц. р. 22 марта 1844), с. 12—13; Ст. 1856. Печ. по «Молодику». По-видимому, восходит к одноименному стихотворению А. С. Пушкина (1835). Ср., напр., третью строфу со второй строфой пушкинской «Тучи». Автограф, местонахождение которого ныне неизвестно, был отправлен издателю «Молодика» И. Е. Бецкому с письмом Бенедиктова от 18 января 1844 г., с указанием: «Стихи, читанные мною на литературном вечере, который был дан в пользу погоревших в Казани» (ГБЛ). А. В. Никитенко, участвовавший в этом «скучном» вечере (31 декабря 1843 г.) в пользу Казанского университета вместе с Ф. Булгариным, Н. Полевым, Е. П. Гребенкой и Н. В. Кукольником, записал в дневнике: «Бенедиктов бросил горсть своих блесток из пьесы „Туча"» (Никитенко А. В., Дневник, т. 1, М., 1955, с. 376).

155. Печ. по автографу ГПБ. А. П. *Г⟨артонг⟩* — см. примеч. 131.

156. «Финский вестник», 1845, № 1 (ц. р. 15 декабря 1844), с. 14—15; Ст. 1856, где помещено среди произведений 1835—1842 гг. Печ. по «Финскому вестнику».

157. «Вчера и сегодня», кн. 1, СПб., 1845 (ц. р. 27 марта 1845), с. 163; Ст. 1856. Печ. по «Вчера и сегодня». В 1846 г. Н. А. Некрасов, использовав размер и строфику «Тоста», загл. и тему «Ревности», написал пародийное стихотворение «Ревность», высмеивающее вычурную риторичность поэзии Бенедиктова.

*158. СЛ, с. 35—38; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по СЛ. Автограф из альбома Е. Н. Опочинина с пометой: «4 февраля 1846 года, г. Орел» и подписью автора — ИРЛИ. Белинский в рецензии на СЛ подверг стихотворение уничтожающей критике (Белинский, т. 9, с. 257). См. также примеч. 114—129. Для Ст. 1856 автор коренным образом

переработал стихотворение и поместил его в 3 т. среди стихов 1850—1856 гг.

159. СЛ, с. 41—42; Ст. 1856. Печ. по СЛ. В Ст. 1856, существенно переработанное, помещено среди стихотворений 1850—1856 гг. (т. 3). См. также примеч. 114—129.

160. СЛ, с. 43—44; Ст. 1856, под загл. «Желание быть ваятелем». Печ. по СЛ.

161. «Новоселье», ч. 3, СПб., 1846 (ц. р. 20 февраля 1846), с. 71—72. Н. А. Некрасов, выступивший в ОЗ с рецензией на «Новоселье», пародировал вторую строфу стихотворения, гиперболизируя бенедиктовские образы в «картину целого мира, окутанного одною женской косой и оттого превратившегося в черницу в глубоком трауре...» (ОЗ, 1846, № 5, с. 12). «Стихотворение г. Бенедиктова «Три искушения», как и все стихи того же автора, обнаруживает дарование, утопающее в вычурных фразах, — писал другой рецензент. — Автор мог выбрать одно из двух: или заслужить известность в истории нашей словесности, или известность в риторике, как образец цветистого и надутого слога — и избрал последнее» (М, 1846, № 5, с. 156). См. также карикатуру М. Л. Неваховича «Шествие в храм славы» («Ералаш на 1846 г.»).

* **162.** НА, с. 31—33; Ст. 1856 (др. ред.). Печ. по НА с исправлением опечатки в ст. 21.

163. НА, с. 185; Ст. 1856. Печ. по НА.

164. П, 1848, № 2 (ц. р. 15 февраля 1848), с. 124—125; Ст. 1856, под загл. «Ответ на доставшийся автору вопрос, какой цветок желал бы он воспеть». Печ. по П.

165. П, 1848, № 3 (ц. р. 15 марта 1848), с. 83—84; Ст. 1856. Печ. по П.

166. СО, 1848, № 4 (ц. р. 1 апреля 1848), с. 1—2; Ст. 1856. Печ. по СО.

* **167.** СО, 1848, № 4 (ц. р. 1 апреля 1848), с. 2—3; Ст. 1856 (др. ред.), под загл. «Быть может». Печ. по СО.

168. СО, 1849, № 1 (ц. р. 1 января 1849), с. 23; Ст. 1856. Печ. по СО. Автограф — ИРЛИ.

169. СО, 1849, № 2 (ц. р. 1 февраля 1849), с. 1—2; Ст. 1856. Печ. по СО. Иронический отзыв А. В. Дружинина — С, 1849, № 3, «Смесь», с. 55—56.

170. Ст. 1856, т. 2, с. 129—130. См. примеч. 93.

171. Ст. 1856, т. 2, с. 91—93. *Еще черные.* В Ст. 1856, т. 1 помещено стихотворение «Черные очи», напечатанное впервые в Ст. 1835.

172. Ст. 1856, т. 2, с. 137.

173. Ст. 1856, т. 2, с. 141—156.

174. Ст. 1856, т. 2, с. 157—165. По свидетельству В. П. Быковой (см. примеч. 153), поэт читал «Два клада» вместе с другими неизданными стихотворениями в салоне Баумгартенов 25 апреля 1856 г. (Быкова, ч. 1, с. 257).

175. Ст. 1856, т. 2, с. 166—169. Л. Я. Гинзбург указывает на возможность воздействия на автора «Кокетки» стихотворения Бодлера «Confession» (Ст. 1939, с. 319). Начало стихотворения И. И. Панаева «К чудной деве» (1842) пародирует «Кокетку».

176. Ст. 1856, т. 2, с. 174—176.

177. Ст. 1856, т. 2, с. 183—185.

178. Ст. 1856, т. 2, с. 192—193.

179. Ст. 1856, т. 2, с. 194—196.

180. Ст. 1856, т. 2, с. 197—202. *Тихобраге* (Браге Тихо, 1546—1601) — датский астроном.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1850 — 1870-х ГОДОВ

181. Ст. 1856, т. 2, с. 180—182. Автограф, под загл. «Объяснение (Авдотье Павловне Баумгартен)», с датой: 16 сентября 1851 и подписью поэта — ГПБ. Обращено к А. П. Баумгартен (см. примеч. 131).

182. «Незабудка. Дамский альбом». СПб., 1853 (ц. р. 20 октября 1852), с. 67—68. Печ. по «Дамский альбом», СПб., 1854, с. 233—235. Некрасов в рецензии на «Дамский альбом» 1854 г., ссылаясь на это стихотворение, отметил «непостижимое сочетание дарования (не подверженного ни малейшему сомнению) с невероятным отсутствием вкуса» (Некрасов, т. 9, с. 238).

183. РСт, 1887, т. 56, ноябрь, с. 475—477, где опубликовано по автографу с датой: 1852, из альбома С. Д. Полторацкого. Местонахождение автографа неизвестно. Список из архива РСт (ИРЛИ) имеет существенные отличия от журнального текста. Первое «политическое» стихотворение Бенедиктова, направленное против Наполеона III (1808—1873), захватившего власть во Франции в 1852 г. По характеру и содержанию политических обвинений предваряет ряд политико-патриотических произведений Бенедиктова периода Крымской войны (1853—1856).

184. Ст. 1856, т. 3, с. 97—104. Датируется на основании того, что В. А. Жуковский умер 12 апреля 1852 г.

185. Ст. 1856, т. 3, с. 143—144. Обращено к И. А. Гончарову (1812—1891), знакомство с ним началось, по-видимому, в доме Майковых, который они оба посещали с конца 1835 г. или начала 1836 г., участвуя в рукописных журналах Майковых (см. примеч. 107). В 1850-е гг. они часто встречались в салоне Штакеншнейдеров (см.

примеч. 199, 278). В 1852—1855 гг. Гончаров в качестве секретаря экспедиции совершил кругосветное плавание, имевшее целью установить сношения с Японией, на военном фрегате «Паллада» под командованием Е. В. Путятина.

186. БдЧ, 1856, т. 135 (ц. р. 31 декабря 1855), с. 1—2; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 3—5. Автографы (2) с разночтениями — ГПБ, ИРЛИ. 25 апреля 1853 г. В. П. Быкова (см. примеч. 153) записала в дневнике впечатления о вечере, проведенном накануне у Баумгартенов (см. о них примеч. 78, 131), где Бенедиктов читал свои неопубликованные стихотворения. «Поэзия его, — отмечала Быкова, — принимает теперь истинное направление: обилие мысли, прямой взгляд на жизнь, горячее чувство освобождается от гиперболы, картинность изображений, светлый творческий ум и звучность стиха — все это ставит его наряду с нашими *поэтами.* «Человек», «Молчи», «Три владычества Рима», «Переход» бесподобно написаны, они дышат высокою поэзиею» (Быкова, ч. 1, с. 256—257). 12 декабря 1855 г. Бенедиктов писал А. В. Старчевскому: «Я думаю начать новый 1856 г., благословясь, давно уже написанною мною пиесою «Человек». В таком виде, как я ее здесь к Вам препровождаю, кажется, она может быть напечатана без задержки со стороны цензуры. Поместите ее, если можно, в январской книжке» (ИРЛИ). Стихотворение пользовалось большой популярностью, много раз перепечатывалось. 11 января 1861 г. Е. А. Штакеншнейдер записала в дневнике впечатления о вечере в Пассаже в пользу воскресных школ: «Читали: Писемский — «Гаванские чиновники»; Ристори — из Данта, «Франческу Римини», Бенедиктов — «Человек», вместо стихотворения «Воскресные школы», не пропущенного цензурой; Ристори вручил Бенедиктову, как старейший, от имени литераторов лавровый венок» (Штакеншнейдер, с. 281). См. примеч. 8. В стихотворении идет речь о древнегреческом философе-кинике *Диогене* Синопском (ок. 404—323 до н. э.). Подробный анализ В. Зотова см.: «Санктпетербургские ведомости», 1856, 7 февраля.

187. БдЧ, 1855, т. 129 (ц. р. 4 января 1855), с. 143—144. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 9—12. Автограф редакции, промежуточной между БдЧ и Ст. 1856 — ГПБ. 25 апреля 1853 г. поэт читал «Звездочку» в салоне Баумгартенов (см.: Быкова, ч. 1, с. 257) — см. примеч. 78, 131.

188. Ст. 1856, т. 3, с. 6—8. В 1853 г. Бенедиктов читал это стихотворение и два следующих в кругу знакомых в салоне Баумгартенов (см.: Быкова, ч. 1, с. 257; см. также примеч. 9, 78, 131).

189. П, 1856, № 2 (ц. р. 12 января 1856), с. 48—50; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 23—25. Автограф ранней редакции с загл. «Рубенсов „Бахус“» — ЦГАЛИ; автограф дожурнальной редакции — ГПБ; фрагмент наборной рукописи для П — ИРЛИ. См. примеч. 188. Речь идет о картине фламандского художника *П. П. Рубенса* (1577—1640) «Вакх» (между 1639 и 1640), хранящейся в *Эрмитаже.*

190. Ст. 1856, т. 3, с. 65—72. В стихотворении нашли отражение тревожные предчувствия Бенедиктова перед самым началом крово-

пролитной Крымской войны 1853—1856 гг. См. примеч. 188. *Тасс* (Тассо) Торквато (1544—1595) — итальянский поэт-романтик, вынужденный всю жизнь скитаться, страдавший от преследований католической церкви и светской власти, в 1579—1586 гг. находился в госпитале для умалишенных в Ферраре. Последние месяцы жизни провел в Риме, в монастыре св. Онуфрия. Тассо и его личная трагедия привлекали внимание поэтов и художников, романтизировавших его образ поэта-страдальца, жертвы деспотии. В России широкую известность получила драма Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» (1833), элегия К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817). Комментируемое стихотворение перекликается с названным произведением Батюшкова, которое начинается описанием Рима, готовящегося к акту венчания великого поэта на Капитолии. Автор элегии подчеркивает мысль о том, что признание великого поэта пришло слишком поздно. В архиве Бенедиктова (ГПБ) имеется его перевод «Торквато Тассо» И.-В. Гете, до сих пор не опубликованный.

191. СП, 1853, 26 марта, под загл. «На смерть В. А. Каратыгина»; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 40—42. Датируется на основании даты смерти Каратыгина — 13 марта 1853. Василий Андреевич *Каратыгин* (1802—1853) — известный актер-трагик. Бенедиктов был знаком с Каратыгиным, встречался с ним, в частности, в доме Баумгартенов (см. примеч. 78, 131). В дневнике В. П. Быковой (см. примеч. 153) текст стихотворения записан 16 марта (Быкова, ч. 1, с. 244—246). В СП стихотворение напечатано в фельетоне Ф. В. Булгарина со следующим предисловием: «Известный и любимый наш поэт В. Г. Бенедиктов сообщил нам прекрасные свои стихи на смерть незабвенного В. А. Каратыгина. Помещаем эти стихи с удовольствием и благодарим даровитого поэта».

192. Ст. 1856, т. 2, с. 188—189. *Виардо-Гарсиа* Мишель Полина (1821—1910), французская певица (испанка по происхождению). В 1840—1850-х гг. неоднократно гастролировала в России. Романс А. С. Даргомыжского на слова Ю. В. Жадовской «Безумная» («Я все еще его, безумная, люблю!..») с большим успехом исполнялся Виардо на русском языке в ее приезд в январе — апреле 1853 г. Певица максимально драматизировала исполнение романса, и повторяющаяся в каждом куплете фраза «Я все еще его, безумная, люблю» производила огромный эффект в публике (см.: Розанов А. С., Полина Виардо-Гарсиа, Л., 1969, с. 102—104).

193. СП, 1854, 12 мая; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 17—20. Федор Николаевич *Глинка* (1786—1880) — поэт, писатель и публицист, участник Отечественной войны 1812 г., декабрист. После 14 декабря 1825 г. отбывал ссылку (до 1830 г.) в Петрозаводске, затем переехал в Тверь, где жил постоянно, изредка наезжая в Петербург, изучал этнографию и фольклор Карелии, результатом чего явились поэмы «Дева карельских лесов» и «Карелия». Комментируемое стихотворение — отклик на гимн Глинки «Ура» («Ура!.. На трех ударим разом!..»), написанный в Твери 3 ноября 1853 г. и опубликованный впервые в СП, 1854, 4 января. Гимн Глинки был перепечатан во многих сборниках патриотического содержания времен Крымской войны. *И «на трех* ⟨...⟩ *Христа»* — перепев первой и последней («Оно с Христом и за Христа!..») строк гимна Глинки.

194. БдЧ, 1855, т. 133 (ц. р. 13 августа 1855), с. 76—77, с подзаг. «(Посв. одной из монастырок при выпуске)»; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 15—16. Бенедиктов отослал его и следующие два стихотворения А. В. Старчевскому (для публикации в БдЧ) с письмом от 12 августа 1854 г. (ИРЛИ).

195. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 203. См. примеч. 194.

196. П, 1855, № 2 (ц. р. 17 февраля 1855), с. 2—3; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 13—14. См. примеч. 194.

197. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 193—194. Антон Григорьевич *Рубинштейн* (1829—1894) — композитор, пианист, основатель Петербургской консерватории. Концертная деятельность его в России приходится, главным образом, на 1848—1854 гг.

198. Ст. 1856, т. 3, с. 59—62. Автограф без загл. с посвящением: «Посвящено достойнейшей ценительнице и почитательнице таланта Рашели — Авдотье Павловне Баумгартен» — ЦГАЛИ. Об А. П. Баумгартен см. примеч. 131. Элиза *Рашель* Феликс (1821—1858) — французская актриса. Основу ее репертуара составляли роли в трагедиях П. Корнеля и Ж. Расина. В России гастролировала в театральный сезон 1853—1854 гг. *Наш трагик, раннею кончиной От нас оторванный* — В. А. Каратыгин, см. примеч. 191.

199. Ст. 1856, т. 3, с. 45—47. Обращено к Марии Федоровне *Штакеншнейдер*, жене известного архитектора, дочери сослуживца поэта Ф. Л. Халчинского. Дом Штакеншнейдеров Бенедиктов посещал с конца 1853 г. См. примеч. 278. Названием стихотворения послужила, по-видимому, первая строка стихотворения Н. М. Языкова «П. А. Осиповой» (1827). *С вашей дачи благодатной.* Дача Штакеншнейдеров, на которой часто бывал Бенедиктов — мыза Ивановка, — находилась в Царскосельском уезде в сорока километрах от Петербурга.

200. БдЧ, 1854, т. 126 (ц. р. 9 июля 1854), с. 1—2; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 1—2. Стихотворение знаменует начало нового периода в творчестве поэта и возобновление его сотрудничества в периодических изданиях. 23 июня 1854 г., в ответ на приглашение участвовать в БдЧ, Бенедиктов писал А. В. Старчевскому: «Журнал этот был когда-то поприщем, на котором являлись первые произведения моей молодости, и мне весьма приятно услышать, что он готов и в настоящее время принять на страницы свои слабые создания несколько устарелой уже музы моей. На первый случай препровождаю к Вам *послание мое к этой музе*, прошу Вас поместить его в одной из следующих книжек „Библиотеки"» (ИРЛИ). Рецензент ОЗ отметил новое появление бенедиктовской музы, «которая никак не могла утерпеть, чтоб не погреметь литаврами и бубнами созвучий». «Во всяком случае, — писал критик, — «застегнутая под шею» муза г. Бенедиктова больше нам нравится, нежели гремящая литаврами и бубнами созвучий. Будем ждать, как она скажет нам что-нибудь «задушевное». Вероятно, в новых стихах г. Бенедиктова краски не будут так резки и сильны, как в прежних стихотворениях, от которых мы навсегда отвыкли» (ОЗ, 1854, № 9, с. 63—64). В Ст. 1856 это стихотворение открывает т. 3 — стихотворений 50-х гг. Отмечено И. И. Панаевым в С, 1854, № 8, отд. 5, с. 148.

201. СО, 1857, № 17, 28 апреля (ц. р. 27 апреля 1857), с. 391; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 19—20. Перепечатано в изданном Н. Ф. Щербиной «Сборнике лучших произведений русской поэзии» (СПб., 1858, с. 30—38), где датировано 1855 г. Автограф, отосланный автором Н. Ф. Щербине при письме от 6 ноября 1857 г. для «Сборника лучших произведений...» — ИРЛИ. В стихотворении отражен эпизод Крымской войны: 18 августа 1854 г. соединенная англо-французская эскадра высадила десант в районе Петропавловска-на-Камчатке, который был успешно отражен местным гарнизоном под командованием генерала В. С. Завойко.

*202. БдЧ, 1855, т. 130 (ц. р. 5 марта 1855), с. 51 (др. ред.); Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 73—74. Отмечено И. И. Панаевым в С, 1855, № 4, отд. 5, с. 280.

203. БдЧ, 1855, т. 133 (ц. р. 13 августа 1855), с. 1—11; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 172—189, с восстановлением цензурных искажений и изъятий по автографу и авторизованной копии. Автограф с датой: 8 августа — ИРЛИ. Копия с комментариями Бенедиктова на полях — Архив АН СССР, Ленинградское отделение. В журнальной публикации стихотворение претерпело ряд цензурных изъятий и искажений. Тем не менее эпизод об отсечении бороды, пропущенный цензором БдЧ, послужил предметом специального разбирательства, на основании представления министра просвещения от 16 декабря 1855 г. цензору был поставлен на вид пропуск ст. 194—204. По просьбе И. И. Срезневского, Бенедиктов прислал в Академию наук полный текст «Малого слова...» с включением строк, изъятых цензурой, с письмом от 10 октября. Стихотворение было глубоко проанализировано Некрасовым в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 г.». «Бледна, неполна и неверна», как показал критик, картина построения Петербурга; и само изображение, и тон, которым говорится о «важнейших исторических фактах, имевших столь сильное влияние на судьбу целого народа», не выдерживает сравнения с пушкинским «Медным всадником». Некрасов отметил также «стремление к оригинальности», «к обычной у г. Бенедиктова вычурности и ухарской громозвучности» «Малого слова», положительно оценив вместе с тем эпизод о плетении лаптей (Некрасов, т. 9, с. 310—312). Н. Ф. Щербина взял ст. 19—20 в качестве эпиграфа к пародийному стихотворению «На взятие Севастополя» (1855). Яков Федорович *Долгорукий* (1639—1720) — князь, сподвижник Петра I, сенатор. Известны несколько случаев, когда он рвал «определения» Петра, видя их ошибочность. В частности — определение о привлечении крестьян Петербургской и Новгородской губерний на строительство Ладожского канала.

*204. Ст. 1856, т. 3, с. 190—191. Авторская копия печатного текста, отосланная Н. Ф. Щербине вместе с «И туда» для «Сборника лучших произведений русской поэзии» (СПб., 1858), — ИРЛИ. В ГПБ хранится список «Христианских мыслей», восходящий, повидимому, к доцензурному автографу и имеющий продолжение. Датируется на том основании, что в 1855 г. пасхальная неделя начиналась 27 апреля. В стихотворении отражено настроение Бенедиктова в конце Крымской войны.

*205. БдЧ, 1855, т. 131 (ц. р. 6 мая 1855), с. I—IV, под загл. «Воспоминание о Крылове при воздвигнутом ему памятнике»; Ст.

1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 119—124. Два автографа (1856 г.) — ИРЛИ, ЦГАЛИ. Памятник Ивану Андреевичу *Крылову* (1769—1844) работы П. К. Клодта был открыт в Петербурге в Летнем саду 12 мая 1855 г. 23 мая 1855 г. Е. А. Штакеншнейдер записала в дневник, что Бенедиктов «привез еще стихи на памятник Крылова; это одно из его лучших стихотворений, оно будет напечатано в „Библиотеке для чтения"» (Штакеншнейдер, с. 62).

206. Ст. 1856, т. 3, с. 132—135. 23 мая 1855 г. Е. А. Штакеншнейдер сделала запись о визите Бенедиктова: «Милый поэт не забыл моего альбома и привез две вещи: «Италия» и «Поэзия». «Поэзию» он сочинил для меня» (Штакеншнейдер, с. 62). *Давид* (кон. XI в. — ок. 950 г. до н. э.) — царь Израильско-Иудейского государства, которому религиозная традиция приписывает составление псалмов.

207. БдЧ, 1855, т. 132 (ц. р. 5 июля 1855), с. 119—123; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 159—166. В стихотворении отразились события Крымской войны, некоторые обстоятельства героической обороны Севастополя, патриотический подъем в русском обществе. 17 августа 1855 г. Е. А. Штакеншнейдер записала в дневнике: «Бенедиктов был на днях и читал свое новое стихотворение «К отечеству и врагам его». Оно уже напечатано в «Библиотеке для чтения». Что сказать о нем, — что, читая его, можно свихнуть себе язык; но в нем выражается любовь к родине, и оно должно особенно нравиться старикам» (Штакеншнейдер, с. 69). В «Заметках о журналах» за сентябрь 1855 г. Н. А. Некрасов пародировал Бенедиктова, выписав ст. 21—32 и присоединив к ним собственное продолжение:

В пирогах, в ухе стерляжьей,
В щах, в гусином потрохе,
В няне, в тыковнике, в каше
И в бараньей требухе...

Далее Некрасов добавил, что «такой патриотизм давно и достойно отмечен прозвищем „квасного"» (Некрасов, т. 9, с. 313). В ответ на эту критику рецензент БдЧ высмеивал стихотворение Некрасова «В больнице», опубликованное впервые в С, 1855, № 10. Приведя пародийное четверостишие «В пирогах, в ухе стерляжьей...» из «Смеси» того же номера С как оригинальное стихотворение Некрасова, критик писал: «Вот в чем заключается современная поэзия по мнению «Современника». Кто же автор этого прекрасного куплета? Уж не бедный ли сочинитель написал это по выходе из больницы в порыве громадного аппетита после непоэтической овсянки...» (БдЧ, 1855, т. 134, с. 2). Впоследствии Бенедиктов продолжил эту полемику в стихотворении 1856 г. «Увы! Мечты высокопарной...»

***208.** БдЧ, 1855, т. 134 (ц. р. 2 ноября 1855), с. 1—8; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 192—203. «К ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения», — писал Бенедиктов А. В. Старчевскому 11 октября 1855 г., — готовится у меня новое большое стихотворение, принадлежащее к отголоскам современности. Оно написано «К России», но не совсем еще обработано. Время еще терпит, и я Вам его к но-

ябрю доставлю» (ИРЛИ). «Замечательны некоторые строфы стихотворения г. Бенедиктова «К России», — писал Некрасов в «Заметках о журналах за ноябрь 1855 г.». — Оставляя слабую сторону стихотворения, выписываем удачные строфы, доказывающие, что г. Бенедиктов, когда захочет, может явиться истинным поэтом, без погремушек, без трескотни, сильным простотой и правдой, неразлучными спутниками поэзии». Далее цитируются ст. 161—230. (Некрасов, т. 9, с. 365). *И вот — Днепра заветная купель На греческих крестинах расступилась.* Имеется в виду крещение Руси в 988—989 гг. *Сановник наш будь истинный боярин, Как он стоит в стихах Ростопчиной.* Имеется в виду стихотворение Е. П. Ростопчиной «Боярин» (1855). *Князь Яков Долгорукой* — см. примеч. 203.

209. Ст. 1856, т. 1, с. 53—55. Первоначальная редакция — в рукописном журнале Майковых «Подснежник» на 1836 г. (ИРЛИ). По свидетельству автора, «Бивак» относится к первым из его напечатанных стихотворений, написанных во время польской кампании 1831 г. (см. примеч. 1), в которой участвовал Бенедиктов. Однако к этому времени может относиться только редакция «Подснежника». В отличие от остальных ранних стихотворений, существенно переработанных автором для Ст. 1856, «Бивак» написан заново, использована только тема первоначальной редакции.

210. П, 1856, № 3 (ц. р. 15 мая 1856); Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 87—91.

211. Печ. впервые по автографу в альбоме с монограммой Е. К., хранящемся в Музее-квартире Н. А. Некрасова (Ленинград). Альбом принадлежал предположительно Елизавете Алексеевне Карлгоф (см. о ней примеч. 52). Бумага в альбоме имеет водяной знак «1847», один из рисунков в нем датирован 1856 г., что позволяет датировать стихотворение между 1847 и 1856 гг.

212. Ст. 1856, т. 3, с. 21—22.

213. Ст. 1856, т. 3, с. 28—33.

214. Ст. 1856, т. 3, с. 34—36.

215. Ст. 1856, т. 3, с. 43—44.

216. Ст. 1856, т. 3, с. 50—54.

217. Ст. 1856, т. 3, с. 55—56. *И губишь всё, что думал век любить!..* Ср. в раннем стихотворении «Смерть розы»: «Люди губят всё, что любят, — Так ведется у людей!»

218. Ст. 1856, т. 3, с. 57—58. Упоминаемое в подзаг. *собрание стихотворений* — вероятно, Ст. 1842 и Ст. 1838, изданные Бенедиктовым в августе 1842 г. под одной обложкой. Николай Борисович *Вележев* (1818—1872) — петербургский врач.

219. Ст. 1856, т. 3, с. 63—64.

220. Ст. 1856, т. 3, с. 75—76.

221. Ст. 1856, т. 3, с. 92.

222. Ст. 1856, т. 3, с. 93—94.

223. Ст. 1856, т. 3, с. 95—96.

224. Ст. 1856, т. 3, с. 105—107. *Гостилицы* — дачное место под Петербургом (Петергофский уезд), известное великолепной мызой с садами, прудами, гротами и фонтанами, построенной графом Разумовским, и дворцом императрицы Елизаветы Петровны.

225. Ст. 1856, т. 3, с. 111—118.

226. Ст. 1856, т. 3, с. 125—127.

227. Ст. 1856, т. 3, с. 128—131.

228. Ст. 1856, т. 3, с. 137—138, после стихотворения «Встречное слово (Собранию выпускных девиц)». Обращено к выпускницам ВОБД (см. примеч. 153).

229. Ст. 1856, т. 3, с. 139—142.

230. Ст. 1856, т. 3, с. 149—150.

231. Ст. 1856, т. 3, с. 151—152.

232. Ст. 1856, т. 3, с. 153—154.

233. Ст. 1856, т. 3, с. 155—156.

234. Ст. 1856, т. 3, с. 157—158. Загл. и рефрен из стихотворения Гете «Mignon»: «Kännst du das Land, wo die Zitronen blühen. . .» («Миньона»: «Ты знаешь край, где цветут лимоны. . .»). Выражение *«dahin»*, характеризующее стремление, порыв вдаль или к далеким неясным идеалам, было чрезвычайно популярно в России второй половины XIX столетия.

235. Ст. 1856, т. 3, с. 167—169.

236. Ст. 1856, т. 3, с. 170—171.

237. Ст. 1856, т. 3, с. 223—228. *Платон* Петрушевич (ум. в 1757 г.) — известный проповедник, епископ Владимирский, член Синода.

238. СО, 1856, № 6, 13 мая (ц. р. 12 мая 1856), с. 104—105; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 229—235. 3 апреля 1856 г. Бенедиктов писал А. В. Старчевскому об этом стихотворении, а на следующий день отослал ему «Стансы» с готовностью «смягчить или вовсе исключить» резкие строки (ИРЛИ). Стихотворение вызвано известием о заключении 18 марта 1856 г. Парижского мира. В рецензии Н. Г. Чер-

нышевского на Ст. 1856 (в целом отрицательной) выделено несколько стихотворений, в которых поэт «из мира «взвинченных кудрей», «фосфорных очей» и адских страстей, выражаемых натянутыми метафорическими гиперболами, переходит в мир чувств, знакомых обыкновенным людям». Одно из таких стихотворений — «Стансы». «Правда, — замечал критик, — художественного достоинства в этой пьесе довольно мало: она растянута, некоторые удары автора не попадают в цель 〈...〉, но первые и некоторые из средних строф заслуживают похвалы по мысли, а в последних трех даже выражение замечательно сильно» (Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. 1—16, М., 1939—1953, т. 3, с. 610). Образ «витии», «нового Ювенала», призванного карать «земли кумиров», восходит, по-видимому, к образу поэта-обличителя из стих. Некрасова «Блажен незлобивый поэт» (1852), написанного, кстати, тем же размером. Призыв Бенедиктова обратить «бич карающей сатиры» на «нечестие земное» вдохновил молодого П. Л. Лаврова на создание известного его стихотворения «Часовые», датированного 19 августа 1856 г. и посвященного «В. Г. Б.» (впервые опубликовано в заграничном издании «Благонамеренный», 1861, № 12, с. 37—39). В качестве эпиграфа Лавров использовал начало ст. 17 бенедиктовского стих.: «Не время спать!» (См.: Бушканец Е. Г., Кто автор стихотворения «Часовой»? — В кн.: «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1974, с. 371—376.) *Не время спать, о братья, — нет!* — Ср. в стих. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856):

> В ком дарованье, сила, меткость,
> Тому теперь не должно спать...
> ...С твоим талантом стыдно спать.

239. Ст. 1939, с. 278—279. Печ. по автографу ГПБ. Стихотворение было прислано автором Авдотье Павловне Баумгартен (см. примеч. 78, 131) с тремя томами его стихотворений, вышедшими весной 1856 г.

240. БдЧ, 1856, т. 137 (ц. р. 30 апреля 1856), с. 91—96; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 214—222. *Мария Федоровна Штакеншнейдер* — см. примеч. 199.

241. «Русская литература», 1982, № 3, с. 171—172. Печ. по автографу ИРЛИ. Одно из первых произведений «обличительной» поэзии Бенедиктова, начинавшейся с выпадов против реалистического «некрасовского» направления в литературе. Основной объект полемики этого стихотворения — поэзия Некрасова, чей только что вышедший в свет сборник привлек всеобщее внимание. *Не песен 〈...〉 подавай поэт.* Ср. это ироническое замечание со стихами в «Поэте и гражданине» Некрасова:

> ...покуда
> Не видно солнца ниоткуда,
> С твоим талантом стыдно спать;
> Еще стыдней в годину горя
> Красу долин, небес и моря
> И ласку милой воспевать
> 〈...〉И не иди во стан безвредных,
> Когда полезным можешь быть!

Добудь из следствий ⟨...⟩ *нам открой*. Ср. в том же стихотворении Некрасова:

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни.
В суды, в больницы я входил.

Эти выпады Бенедиктова против Некрасова следует, по-видимому, считать продолжением полемики, начатой Некрасовым в его пародии на бенедиктовское стихотворение «К отечеству и врагам его» (см. примеч. 207).

242. БдЧ, 1857, т. 141 (ц. р. 4 марта 1857), с. 15—16; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 15—18. Включено в сборник «Гражданские мотивы» (СПб., 1863, с. 8), со следующим примечанием: «Стихотворение это произвело в свое время большое впечатление на публику. Оно было *первым* произведением в этом духе и как новинка сильно привлекало читателей».

243. СО, 1857, № 15 (ц. р. 30 марта 1857), с. 293; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 23—24. В рецензии Н. А. Добролюбова на «Новые стихотворения» Бенедиктова, в целом отрицательной, были выделены несколько стихотворений, достойных внимания, несмотря на их художественное несовершенство. Среди них «Что шумишь?» и «На новый 1857-й», в которых «иронически изложены возражения некоторых» практических людей «против гласности литературных обличений». «Тут поэзии нет и следа, — писал Добролюбов, — ⟨...⟩ но мысли превосходны. Кто бы и как бы их ни высказывал в России в настоящее время — всякий заслуживает привета и благодарности» (Добролюбов, т. 2, с. 192, 193).

244. СО, 1857, № 14 (ц. р. 6 апреля 1857), с. 317; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 27—30. Автограф — ИРЛИ. В автографе и журнальной публикации эпиграф из стихотворения Кольцова:

Я вскочу на коня,
Коня быстрого,
Догоню, ворочу
Мою молодость.

В СО, 1857, № 18 появилось стихотворение, подписанное инициалом «М»: «В. Г. Бенедиктову (В ответ на его «Улетела»)», которое начиналось так:

Tu quoque Brute! Да за что же?
Ты стар? Тебе за то и честь.
Кто ж виноват, что мы моложе?
За что же поедом нас есть?

После «Очерков губернских». «Губернские очерки» (1856) — первая книга М. Е. Салтыкова-Щедрина, сатирически изображающая предреформенную Россию, имела огромный успех у передовой части русской общественности.

245. БдЧ, 1857, т. 143 (ц. р. 19 апреля 1857), с. 11; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 39—40. Автограф — ЦГАЛИ.

246. БдЧ, 1857, т. 144 (ц. р. 2 мая 1857), с. 9—10; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 57—58.

247. СО, 1857, № 20, 15 мая, с. 461; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 63—64.

248. ОбВ, 1857, № 2 (ц. р. 3 июня 1857), с. 61—62; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 21—22.

249. ОбВ, 1857, № 3 (ц. р. 7 июня 1857), с. 118; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 89—92.

250. Ст. 1857, с. 37—38. Корректура, текст которой отличается отсутствием наиболее «кощунственных» ст. 17—20, предназначавшаяся для СО, 1857, № 24 — ИРЛИ. Текст перечеркнут цензорскими красными чернилами и не допущен к публикации в этом журнале.

251. ОбВ, 1857, № 16 (ц. р. 1 сентября 1857), с. 574—577; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 47—56.

252. СО, 1857, № 36, 8 сентября, с. 569; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 109—126. «Длинное аллегорическое повествование ⟨...⟩ о «Посещении правды», — писал Добролюбов в рецензии на Ст. 1857, — не оживлено ни одним поэтическим мотивом. Однако же это стихотворение при своем появлении возбудило сильный восторг в публике — за несколько здравых мыслей, в нем высказанных» (Добролюбов, т. 2, с. 191—192). Пародия П. Вейнберга на стихотворение Бенедиктова — с героиней *не-правдой* издана анонимно в 1859 г. («Бенедиктову на стихотворение его „Посещение“», М., 1859).

253. Ст. 1857, с. 31—32.

254. Ст. 1857, с. 59—62.

255. Ст. 1857, с. 69—72.

256. Ст. 1857, с. 73—74.

257. Ст. 1857, с. 75—78.

258. Ст. 1857, с. 79—80. В рецензии на Ст. 1857 Добролюбов высмеял «гиперболическую изысканность фразы» этого стихотворения (Добролюбов, т. 2, с. 187).

259. Ст. 1857, с. 81—82. Автограф — ИРЛИ. В стихотворении использованы не только одна строка, но и ритмико-интонационный строй стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль» (1840).

260. Ст. 1857, с. 83—88.

261. Ст. 1857, с. 93—96.

262. Ст. 1857, с. 97—100.

263. Ст. 1857, с. 105—108. «Стихотворение «Ваня и няня», — писал Добролюбов в рецензии на Ст. 1857, — мы причисляем к наиболее удачным стихотворениям г. Бенедиктова не только по мысли, но даже и по исполнению» (Добролюбов, т. 2, с. 198).

264—272. Ст. 1857, с. 127—148. 7. *Где твои волосы* ⟨...⟩ *сбрито вокруг* — перепев стихов из поэмы Некрасова «Саша» (1856) о срубленном лесе: «Ветер над полем кровавым летает — Праздно лежащим оружьем звенит, Волосы мертвых бойцов шевелит!» 8. Идея этого стихотворения, возможно, связана с известным одноименным произведением Д.-Г. Байрона («The prayer of Nature», 1806).

273. БдЧ, 1857, т. 146 (ц. р. 5 декабря 1857), с. 3—4, под загл. «В лесу»; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 101—104. По мнению А. П. Могилянского, стихотворение является «непосредственным литературным откликом» поэта на «Поездку в Полесье» И. С. Тургенева, опубликованную в 1857 г. (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30 т., изд. 2, Соч., т. 5, М., 1980, с. 435).

274. СО, 1857, № 35, 31 августа, с. 845; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 33—36. Два автографа — ИРЛИ, ЦГАЛИ (второй относится к 1857 г.). Посвящено памяти министра финансов Е. Ф. Канкрина (1774—1845). При содействии В. А. Жуковского, Канкрин в 1834 г. перевел молодого Бенедиктова на гражданскую службу, назначив его своим секретарем.

275. СО, 1857, № 4 (ц. р. 26 января 1857), с. 80—81, под загл. «1857 год»; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 5—10. Многократно перепечатывалось. Первоначальный вариант стихотворения был подготовлен к печати в СО, 1857, № 2. 8 января 1857 г. Санкт-петербургский цензурной комитет, «признавая достоинство этого стихотворения и имея в виду, что по статье 6 устава о цензуре долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и настроение автора», «затрудняясь одобрить» стихотворение, представил его на рассмотрение в Главное управление цензуры. Обсуждение состоялось 12 января 1857 г., было обращено особое внимание на ст. 21—24, из стихотворения было исключено четверостишие:

Жили как улитки
Сонные отцы;
Дети стали прытки, —
Дуй во все концы (ЦГИА).

Полный текст доцензурной редакции остается неизвестным. В связи с этим восстановить приведенное из протокола цензурного управления четверостишие в настоящем издании не представляется возможным. А. В. Старчевский предполагал напечатать стихотворение в СО, 1857, № 3, однако автор в письме от 15 января приостановил публикацию: «На этих днях я доставлю Вам исправленный мною рукописный экземпляр, и можно будет печатать в следующем номере» (ИРЛИ). 2 сентября 1857 г., услышав устное чтение (после «Собачьего пира» и «Вход воспрещается») «На новый 1857-й», Т. Г. Шевченко «дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго-свежего, живого было прочитано ⟨...⟩ Но я все свое внимание и увлечение сосредоточил на Бенедиктове» (Шевченко, с. 113).

Об отзыве Добролюбова см. примеч. 243. *В нем был коронован Царь земли родной* — Александр II коронован 26 августа 1856 г. *Царственная милость Падших подняла* — имеется в виду манифест Александра II в день его коронации о ряде «милостей», в том числе об освобождении ссыльных декабристов.

276. СО, 1857, № 6, 10 февраля, с. 129, с датой: Января 27 1857 г. Петербург; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 25—26. Два беловых автографа — ИРЛИ, ГПБ. Николай Федорович *Щербина* (1821—1869) — поэт, критик, автор стихов на темы и в манере античной литературы, утверждающих культ красоты, рационалистически-спокойного отношения к миру. В 1850—1860-е гг. в его творчестве зазвучали гражданские, сатирические мотивы.

277. СО, 1857, № 15, 14 апреля, под загл. «Нельзя»; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 41—46. Автограф и корректура ранней редакции — ИРЛИ. Автограф журнальной редакции — ЦГАЛИ. 17 февраля 1857 г. Е. А. Штакеншнейдер (см. примеч. 278) записала в дневнике: «Бенедиктов читал свои стихи, посвященные Ивану Карловичу, под заглавием «Вход воспрещается!». Иван Карлович уверяет, что он всюду читает эту надпись, начиная с Исаакиевского собора, где она написана на четырех языках, на всех храмах, храме искусств и храме счастья...» (Штакеншнейдер, с. 151). См. также примеч. 275.

278. Ст. 1939, с. 276—278. Печ. по автографу ГПБ. Автор прислал это стихотворение Е. А. Штакеншнейдер с запиской: «Вы дали мне мысли написать что-нибудь на светлый день Пасхи. Примите же в этот день вместе с искренним моим поздравлением только что вышедшие из-под пера стихи мои, вам посвященные. Это вышел какой-то религиозно-патриотический дифирамб, конечно не подлежащий печатанию и удобочитаемый только между друзьями...» (ИРЛИ). *Елена Андреевна Штакеншнейдер* — дочь известного архитектора, в доме которого поэт встречался с Майковыми, Я. П. Полонским, И. А. Гончаровым, П. Л. Лавровым (см. примеч. 199). С Е. А. Штакеншнейдер Бенедиктова связывали дружеские отношения, поэт посвятил ей несколько стихотворений.

279. Шелгунова Л. П., Из далекого прошлого, СПб., 1901, с. 59, где опубликовано по автографу из альбома Людмилы Петровны Шелгуновой (1832—1901) — жены известного публициста, критика и общественного деятеля Н. В. Шелгунова.

280. Ст. 1939, с. 279—281. Печ. по автографу ИРЛИ. Список с датой: 31 августа 1857 — ИРЛИ. Яков Петрович *Полонский* (1819—1898), живший за границей в 1857—1858 гг., был в постоянной переписке с Е. А. Штакеншнейдер (см. примеч. 278) и посетителями ее салона (некоторые упоминаются в комментируемом стихотворении), в том числе и с Бенедиктовым. 27 августа 1857 г. Е. А. Штакеншнейдер писала Полонскому: «Бенедиктову передала ваш вызов. Он писать охотник и с удовольствием напишет с три короба» (ИРЛИ). По-видимому, комментируемое стихотворение и явилось ответом на «вызов» Полонского.

*281. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 202—204 (др. ред.). Печ. по автографу ИРЛИ.

282. Печ. по списку из фонда Бенедиктова в ГПБ. Это стихотворение включено в «Содержание» (ГПБ) готовившегося поэтом незадолго до смерти сборника новых стихотворений. Антонина Христиановна *Лаврова* (1823—1865) — жена известного ученого, в дальнейшем революционера, теоретика народничества П. Л. Лаврова, с которым Бенедиктов был особенно дружен в 1857 г. (см.: Штакеншнейдер, с. 146—148). Ср. примеч. 238.

283. СО, 1858, № 8, 23 февраля, с. 213. Наборная рукопись с первоначальным названием «Мысль и кулак» и пометой под текстом: «Отдано в редакцию «Сына Отечества» 16 февр. 1858» — ЦГАЛИ.

284. Ил, 1858, № 23, 26 июня, с. 395.

285. Ил, 1858, № 26, 3 июля, с. 3; ЛБ, 1866. Печ. по ЛБ, 1866, т. 1, октябрь, кн. 2, с. 98.

286. Ил, 1858, № 40, 9 октября, с. 235.

287. СО, 1858, № 48, 30 ноября, с. 1431.

288. СО, 1858, № 11, 16 марта, с. 305. Автограф с подписью Бенедиктова и редакторской пометой: «Сейчас набрать, чтоб завтра было у цензора. 10.III». — ЦГАЛИ. Осип Иванович *Сенковский* (1800 — 4 марта 1858) — востоковед, писатель, критик, редактор БдЧ — первого журнала, привлекшего Бенедиктова к сотрудничеству в 1836 г.

289. В, 1861, № 22 (ц. р. 6 июня 1861), с. 723. Два автографа с загл. «Изабелле Львовне Гринберг» и датой: 9 мая 1858 — ГПБ. *Гр⟨инбер⟩г* Изабелла Львовна (в замужестве Ласкос, ум. в 1877 г.) — прозаик, драматург 1860—1870-х гг.

290. СО, 1858, № 49, 30 октября, с. 1473. Ст. 24—26, измененные по требованию цензуры, восстанавливаются по автографу ИРЛИ. Первоначально предназначалось для публикации в «Общезанимательном вестнике». «Затруднившись дозволить» стихотворение к печати, санкт-петербургский Цензурный комитет 27 мая 1858 г. передал его «на благоусмотрение» Главного управления цензуры, где было вынесено решение, что «К новому поколению» «не может быть дозволено к печати» (ЦГИА). В наборной рукописи СО (автограф ИРЛИ) цензор вычеркнул ст. 24—26. К автографу приложена объяснительная записка: «„Молитесь, бодрые, живых живому богу — Не богу мертвецов!“ В Евангелии св. Матфея, глава XII, ст. 27 сказано: «Несть бог мертвых но бог живых». Автор позволил себе написать вышеприведенные два стиха на основании этого священного текста. Впрочем, если бы последний стих «Не богу мертвецов» не мог быть напечатанным без разрешения духовной цензуры, то, не обращаясь к сей последней, автор полагал бы заменить его следующим:

«Прочь золотых тельцов!
Молитесь господу не *аскетизма* скукой,
Не фарисейства тьмой, не *бабьим* ханжеством»

Вместо слова «аскетизма» можно поставить «лицемерства», а вместо «бабьим» — «вздорным» или «пошлым». В. Бенедиктов».

291. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 223—225. Это и следующие стихотворения написаны по впечатлениям поездки на лечение за границу летом 1858 г.

292. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 229. См. примеч. 291.

293. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 226—228. См. примеч. 291.

294. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 236. См. примеч. 291.

295. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 238. См. примеч. 291.

296. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 341. См. примеч. 291.

297. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 237.

298. ОЗ, 1858, № 10, с. 639—640. Первоначальные этюды книги И. А. *Гончарова* «Фрегат „Паллада"» о кругосветном путешествии 1852—1855 гг. — путевые письма автора к друзьям, которых автор просил сохранить его послания. Печатание глав «Фрегата „Паллады"» Гончаров начал в 1855-м и завершил в 1857 г. Гл. 3 книги — «Плавание в атлантических тропиках (письмо к В. Г. Бенедиктову)» была напечатана в РВ, 1857, № 5. Здесь содержался ответ на дружеское напутствие поэта Гончарову (см. № 185). «Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, а я винюсь в своем бессилии и боязненно умолкаю!» — писал Гончаров в конце своей главы-письма (РВ, 1857, № 5, с. 72). Комментируемое стихотворение — ответное послание, написанное поэтом во время его поездки в Швейцарию летом 1858 г.

299. Ст. 1939, с. 281—283. Печ. по автографу ГПБ. Бенедиктов был назначен членом правления Государственного заемного банка 25 сентября 1856, 31 октября 1858 г. вышел в отставку. Стихотворение написано, по-видимому, в период между этими датами.

*** 300.** СО, 1859, № 1, 4 января, с. 8, с цензурными искажениями. В Ст. 1883, т. 3, с. 173—175 текст имеет несколько разночтений стилистического характера и дополнен строфой. 8 января 1559 г. Бенедиктов писал А. В. Старчевскому, выражая возмущение по поводу того, что стихотворение было искажено цензором и не показано автору «для переделки или замены недозволенных строф другими дозволительными, чтобы по крайней мере дать ему какой-нибудь окончательный смысл». Далее поэт потребовал дать в ближайшем номере объявление, что его стихотворение «по независимым от автора обстоятельствам напечатано вовсе не в том виде, в котором оно было доставлено в редакцию „Сына отечества"» (ИРЛИ). Такое объявление в журнале не появилось. Доцензурный текст стихотворения остается неизвестным.

301. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Посвящено Ф. Н. Глинке (см. примеч. 193) и его поэме мистического содержания «Таин-

ственная капля». Произведение Глинки было напечатано лишь в 1861 г., однако поэт читал его друзьям во время своих приездов в Петербург. Об одном таком чтении известно из дневниковой записи Е. А. Штакеншнейдер от 7 апреля 1858 г.: «Вечером были у Глинок. Там опять было множество гостей. Федор Николаевич читал из «Таинственной капли». Я так рада, что могу сказать, что мне его «Капля» и его чтение очень нравятся» (Штакеншнейдер, с. 194).

302. И, 1859, № 7, 13 февраля, с. 65. Автограф — ИРЛИ.

303. СбС, с. 222—223.

304. Ш, 1859, № 15, 17 апреля, с. 457—458.

305. СО, 1859, № 17, 26 апреля, с. 449. Автограф — ГПБ.

306. И, 1859, № 16, 1 мая, с. 155—156.

307. И, 1859, № 26, 10 июля, с. 253.

*308. СО, 1860, № 9, 29 февраля, с. 229. Печ. по автографу ИРЛИ. На полях автографа помета: «По определению Цензурного комитета печатать не дозволяется. 27 августа 1859 г. Цензор Оберт». Рукопись рассматривалась в цензуре второй раз. Были вычеркнуты заглавие и ст. 29—56, к ст. 28 поставлен знак *, к нему примечание: «До знака * по заключению комитета в отмену определения от 27 авг. 1859 г. печатать позволяется. 14 января 1860 г. Цензор Оберт». В таком виде стихотворение было набрано и подписано цензором Новожиловым (две корректурные гранки — ИРЛИ), однако поэт решил сделать попытку провести через цензуру новую редакцию. На автографе (ЦГАЛИ) этого третьего варианта (полный текст см. «Другие редакции и варианты») помета: «Подлежит рассмотрению духовной цензуры. 17 янв. 1860. Цензор Новожилов». Духовный цензор подчеркнул в двух предпоследних строфах этой редакции слова «соблазны» и «грязны», «неутешных» и «многогрешных» и, отчеркнув эти строфы с пометой: «не печатать эти две строфы», сделал резолюцию: «Печатать позволяется (за исключением зачеркнутого), февраля 17 1860. Архимандрит Сергий». Бенедиктов ознакомился с требованием цензуры и сделал следующую помету для редакции СО: «Вместо зачеркнутых духовным цензором двух строф надобно по крайней мере поставить несколько строк точек. В противном случае надобно будет как-нибудь заменить эти строфы». В СО эти строфы обозначены тремя строчками точек. Но и в такой редакции стихотворение вызвало раздражение клерикальных кругов. «Духовная беседа» обвинила автора в «одностороннем взгляде» на христианское учение и «глумлении» над ним, в утверждении мысли, что «христианское учение не согласно с нашим положением и не должно быть принимаемо в правило жизни ⟨...⟩ Первые четырнадцать стихов написаны, кажется, без какой-нибудь особенной злонамеренности. Но в последующих за сим стихах поэту хотелось сколько можно остроумнее воскощунствовать над словами Господа, Матф. 6, 23, 26. Но кощунство оказалось очень неостроумным. Поэту надобно было прежде рассмотреть, над чем он глумится» («Церковная летопись „Духовной беседы“», 14 мая 1860, с. 312—313). Бене-

диктов продолжил спор в стихотворении «Инокине» (см. текст и примеч. 335).

309. СО, 1859, № 36, 6 сентября, с. 989.

310. И, 1859, № 47, 4 декабря, с. 475. Автограф окончания стихотворения — ГПБ.

311. И, 1859, № 13, 3 апреля, с. 128.

312. СП, 1859, 20 августа. Отклик на выход в свет летом 1859 г. осуществленного Ф. Н. Глинкой поэтического перевода «Книги Иова». О взаимоотношениях Бенедиктова с Глинкой см. примеч. 193, 301.

313. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 247—248. Платон Александрович *Кусков* (1834—1909) — поэт, переводчик, критик. Первые стихи появились в печати в С, 1854, печатался также в «Русском слове», «Светоче», «Времени» и других изданиях. В 1858 г. Бенедиктов совместно с А. Я. Мейснером и Кусковым предполагал основать новый журнал под названием «Корни» (см.: Вейнберг Петр, Безобразный поступок «Века». — «Исторический вестник», 1900, т. 80, № 5, с. 473).

314. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 345—346.

315. СО, 1860, № 3, 17 января, с. 68.

316. СО, 1860, № 4, 24 января, с. 97. См. примеч. 326.

317. СО, 1860, № 13, 27 марта, с. 340. В Ст. 1883—1884, т. 3, с. 250—251 напечатано без ст. 21—32.

* **318.** СО, 1860, № 16, 17 апреля, с. 465. В Ст. 1883—1884, т. 3, с. 264—267 др. ред.

319. СО, 1860, № 17, 24 апреля, с. 489. В Ст. 1883—1884, т. 3, с. 253 напечатано без ст. 13—20. Источником послужила андалузская песня из книги В. П. Боткина «Письма об Испании» (1847—1849) — см. Алексеев М. П., Очерки истории испано-русских литературных отношений XV—XIX вв., Л., 1964, с. 195—196.

320. СО, 1860, № 18, 1 мая, с. 521. Написано по поводу обострения споров католической и православной церквей из-за гроба господня.

321. СО, 1860, № 21, 22 мая, с. 597. Автограф — ИРЛИ.

322. СО, 1860, № 29, 17 июля, с. 924.

323. РМ, 1860, № 67, 1 сентября. В Ст. 1883—1884, т. 3, с. 273 напечатано под загл. «Пляска смерти». См. примеч. 326. В стихотворении использована легенда о гибели Иоанна Крестителя (см.: Евангелие от Матфея, гл. XIV, ст. 1—12; Марка, гл. VI, ст. 14—29; Луки, гл. IX, ст. 7—9).

324. СО, 1860, № 37, 11 сентября, с. 1143. Автограф — ИРЛИ.

325. СО, 1860, № 40, 2 октября, с. 1223.

326 СО, 1860, № 42, 16 октября, с. 1282—1283. Стихотворение было восторженно встречено А. П. Глинкой, так-же, как и ее муж, Ф. Н. Глинка, писавшей «духовные» стихи. 24 августа 1860 г. Бенедиктов писал А. П. Глинке: «Стихи ⟨...⟩ возникли из души моей при чтении рассказов о доблестных христианах первых трех столетий и сличении воспламенявшего их духа с тою сухою, безумною сферою, которая окружает нас в настоящее время, когда люди довольствуются одною только формою и образом без всякого внутреннего содержания» (ЦГАЛИ). В результате чтения рассказов о древних христианах возникло и несколько других стихотворений. 21 ноября 1860 г. в Пассаже состоялось чтение в пользу воскресных школ. Выступали Бенедиктов, Полонский, Майков, Писемский, Достоевский, Шевченко. «Что же касается стихотворения «А мы» Бенедиктова, — записала в дневнике Е. А. Штакеншнейдер, — то публика поняла его как раз обратно, т. е. противоположно тому, как поняла его Авдотья Павловна Глинка, причислившая за него Бенедиктова окончательно к своим: публика его за стихотворение это только отчислила от своих» (Штакеншнейдер, с. 270). *Над Римом царствовал Траян, И славил Рим его правленье.* Ср. с началом стихотворения А. А. Фета «Сабина», опубликованного впервые в РС, 1859, № 1: *«Над миром царствовал Нерон, И шумный двор его шептался...»*

327. СО, 1860, № 44, 30 октября, с. 1343.

328. С, 1860, № 1 (ц. р. 31 декабря 1859 и 21 января 1860), с. 321, вместе со стихотворением «И ныне», с предисловием редакции: «Два стихотворения В. Г. Бенедиктова, читанные 10-го января 1860 г. на публичном чтении в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам». Е. А. Штакеншнейдер, бывшая на чтении, записала в дневник: «Некрасов ⟨...⟩ почуял вкус публики и время, и не успел еще прийти в себя от произведенного им восторга Бенедиктов, еще публика неистовствовала и громко его звала, а Некрасов уже завладел обоими произведениями для своего журнала, для того самого «Современника», который Бенедиктову жить не давал» (Штакеншнейдер, с. 247).

329. С, 1860, № 1, с. 322. См. примеч. 328.

330. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 289—291.

331. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 284—288. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение было послано автором с письмом А. П. Глинке от 10 ноября 1860 г.: «Прилагаю одну из новых пьес моих, написанных по случаю разных современных рассуждений о целях искусства. Оно не было еще нигде напечатано; предполагаю поместить его в недавно возникшем журнале „Искусство"» (ЦГАЛИ). Этот журнал, выходивший два раза в месяц, был прекращен на № 6; стихи Бенедиктова в «Искусстве» не печатались. В декабре 1860 г. поэт сообщал Глинкам, что предполагает прочитать «Искусство и природа» на готовящемся литературном чтении (ЦГАЛИ).

332. РМ, 1861, № 1, 2 января. *Новый год, быть может, и для нас Означится великим, чудным делом!* Имеется в виду готовившаяся крестьянская реформа 1861 г.

333. В, 1861, № 8 (ц. р. 8 февраля 1861), с. 273. Автограф — ЦГАЛИ. В письме к А. П. Глинке от 30 янв. 1861 г. Бенедиктов писал о готовящихся чтениях в пользу воскресных школ: «Для одного из таких чтений я даже искусился написать особое стихотворение под названием «Воскресная школа», но оно было к чтению не дозволено, хотя к печатанию и разрешено» (ЦГАЛИ). Стихотворение является откликом на журнальную полемику о пользе и вреде, нравственности и безнравственности воскресных школ и их устроителей.

334. Барсуков Н. П., Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 18, СПб., 1904, с. 315—316, с пропусками, восстановить которые за неимением других источников не представляется возможным. Бенедиктов читал эти стихи после речи М. П. Погодина на обеде, данном Академией наук 2 марта 1861 г. в честь пятидесятилетнего юбилея деятельности Петра Андреевича Вяземского (1792—1878). А. В. Никитенко, бывший на обеде, записал в дневнике: «Лучшее из всего читанного здесь были стихи Бенедиктова (Никитенко А. В., Дневник, т. 1—3, М., 1955—1956, т. 2, с. 179).

335. «Странник», 1862, № 5, с. 277—279. Автограф с загл. «К инокине» — ИРЛИ. Под этим же загл. напечатано в Ст. 1883—1884, т. 3, с. 350—353. Редакция «Странника» поместила стихотворение со следующим подстрочным примечанием: «Давая место в своем журнале этому посланию известного поэта В. Бенедиктова к рясофорной послушнице Е. Н. Шаховой и ее «Возражению», не излишним считаем следующее замечание. В самом «Возражении» представляется довольно удовлетворительный ответ относительно обета молчания. Что же касается до «жалобы на гордых пастырей духовных», то единственный случай, могший возбудить в поэте чувство неудовольствия против «учителей смирения», которые будто бы «бросили в него проклятиями и камнями», — был, сколько нам известно, тот, что на одно его стихотворение, напечатанное в «Сыне отечества» под заглавием «Недоумение», — в «Церковной летописи „Духовной беседы“» (14 мая 1860 г.) сделано замечание, что мысль, выраженная в нем, кощунственна, но сделано с такою умеренностию, что самому поэту не высказано при этом даже ни одного укоризненного слова. Так действует обличение, совершаемое в духе истинной христианской любви, всегда отличающее погрешность от погрешающего. А с другой стороны, так трудно бывает человеку, не терпящему обличений, отделить свое заблуждение от себя самого». Стихотворение является ответом Бенедиктова на критику Е. Н. Шаховой, постригшейся в 1845 г. в монахини Спасо-Бородинского монастыря, «мирского» содержания поэзии Бенедиктова. Начало этой полемики нашло отражение в стихотворении Бенедиктова «Молитва» («Творец! Ниспошли мне беды и лишенья. . .»), также посвященном Шаховой (см. примеч. 103). Отзыв «Духовной беседы» на «Недоумение» также, по-видимому, стимулировал продолжение полемики в комментируемом стихотворении. На это обращение «инокиня» ответила обширным «Возражением», напечатанным вслед за стихотворением Бенедиктова в том же номере «Странника». См. также: Вацуро В. Э., Из альбомной лирики и лите-

ратурной полемики 1790—1830-х годов. — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1877 год», Л., 1979, с. 78.

336. И, 1862, № 18, 18 мая, с. 261. Сатирическое острие стихотворения направлено против цензурного режима, ужесточившегося в начале 1860-х гг. и причинившего немало неприятностей самому Бенедиктову. Ср. стихотворение Некрасова 1866 г. «Журналист-рутинер».

337. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 300—302. В «Содержании» подготовленного автором незадолго до смерти сборника новых стихотворений название «Локомотив» — вместо первоначального зачеркнутого «Современный богатырь» (ГПБ). Написано, вероятно, под влиянием «Железной дороги» Некрасова, опубликованной впервые в 1865 г.

338. ЛБ, 1866, т. 1, октябрь, кн. 2, с. 97.

339. ЛБ, 1866, т. 1, октябрь, кн. 2, с. 97—98. Автограф — ИРЛИ.

340. Печ. впервые по автографу ГПБ. А. П. *Баумгартен* — см. примеч. 131.

341. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 312.

342. Ст. 1870, с. 10—13. *В небе ... тарелкою Земли.* Этот образ встречается также в стихотворениях «Облака» и «Пир». *Тихо Браге* — см. примеч. 180.

343. Ст. 1870, с. 37—39.

344. Ст. 1939, с. 285—286. Печ. по копии ГПБ, присланной К. К. Витгефтом (см. примеч. 345) биографу поэта К. М. Петрову. Написано 9 марта 1872 г., когда Витгефт, приезжавший в Петербург к сыну, в последний раз встречался с Бенедиктовым.

345. Печ. впервые по копии ГПБ. Под стихотворением приписка: «Написано В. Бенедиктовым 9 марта 1872 г. в знак памяти любезнейшему и стариннейшему другу его Карлу Карловичу Витгефту». Копия, вместе с копией «Игры в шахматы», прислана Витгефтом при письме от 16 февраля 1873 г. К. М. Петрову (см. примеч. 344). Карл Карлович Витгефт — отставной архитектор, бывший соученик поэта по Олонецкой гимназии, жил в Одессе, в Петербург приезжал иногда, чтобы навестить сына, крестника Бенедиктова, и встретиться со школьным товарищем.

346. Ст. 1939, с. 285. Печ. по автографу ИРЛИ, на котором в верхнем углу чьей-то рукой поставлена дата: 1872. По мнению Л. Я. Гинзбург, стихотворение направлено против сторонника «чистого искусства» А. Н. Майкова, чей пятидесятилетний юбилей был отпразднован в 1871 г. (Ст. 1939, с. 327).

347. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 349.

348. Ст. 1939, с. 200. Печ. по автографу ИРЛИ.

349. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 191—192.

350. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 201.

351. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 210—211.

352. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 212—213. Эти стихи обращены, возможно, к той немолодой, замужней польке, «влюбившей» в себя Бенедиктова, о которой писал Я. П. Полонский (см.: Ст. 1883—1884, т. 3, с. XVI).

353. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 214.

354. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 215—218.

355. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 239—240. См. также стихотворение «А мы?» и примеч. 326.

356. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 255. Печ. по автографу ЦГАЛИ.

357. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 259—260.

358. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 261—262.

359. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 269.

360. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 270.

361. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 277—279. В стихотворении использована легенда о страданиях Христа и его тайном ученике Никодиме, выступившем в его защиту на суде фарисеев.

362. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 292—295.

363. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 303—304.

364. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 311.

365. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 313—314.

366. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 315—316.

367. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 320—323. По мнению Ст. Рассадина, это «история Земли, изложенная под несомненным влиянием Кювье, его теории катаклизмов» («Вопросы литературы», 1976, № 10, с. 175).

368. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 324—331. Тема перекликается с темой стихотворения «К новому поколению».

369. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 337—340.

370. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 342—344.

371. Печ. впервые по автографу ИРЛИ. Навеяно, по-видимому, одноименным стихотворением Пушкина.

372. Печ. впервые по автографу ГПБ.

ПЕРЕВОДЫ

С английского

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР
(1564—1616)

373—384. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 404—416, под загл. «Подражания сонетам Шекспира». Произведения этого цикла восходят соответственно к 154, 153, 121, 66, 27, 28, 146, 106, 59, 73, 72, 74 сонетам Шекспира.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
(1788—1824)

385. СО, 1849, № 6 (ц. р. 1 окт. 1849), с. 1—2; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 2, с. 203—205. Перевод стих. «Lines inscribed upon a cup formed from a skull» (1808). Кроме этого стихотворения Бенедиктов перевел байроновского «Каина», этот перевод (автограф — ГПБ) до сих пор остается неопубликованным.

С французского

Французская поэзия занимала, несомненно, ведущее место в переводческой деятельности Бенедиктова. Кроме включенных в настоящее издание французских поэтов, Бенедиктов переводил Ф. Ксавье и А. Дюма-сына.

АНДРЕ ШЕНЬЕ
(1762—1794)

В Ст. 1883—1884, т. 3, кроме печатаемых в настоящем издании, помещены еще восемь переводов из Шенье.

386. Ст. 1883—1884, с. 393. Перевод стихотворения «Le Bouc et le Satyre».

387. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 394. Перевод стихотворения «Nouveau cultivateur armé d'un aiguillon...».

388. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 400. Перевод стихотворения «O nuit, nuit douloureuse! O toi tardive aurore...».

ПЬЕР ЖАН БЕРАНЖЕ
(1780—1857)

389. СО, 1859, № 15, 12 апреля 1859, с. 397. Автографы — ИРЛИ, ГПБ. Вольный перевод стихотворения «Notre Coq» (1837).

390. Печ. впервые по автографу ИРЛИ. Вольный перевод стихотворения «Le bon dieu» (1820).

ЖАН РЕБУЛЬ
(1796—1864)

391. Ст. 1856, т. 2, с. 211—213. Перевод стих. «L'ange et l'enfant» (1828).

ВИКТОР ГЮГО
(1802—1885)

После Мицкевича лирика В. Гюго занимает главнейшее место в переводах Бенедиктова. Помимо множества стихов, он переводил драмы Гюго. В декабре 1851 г. Г. П. Данилевский писал М. П. Погодину: «На днях в семействе Майковых Бенедиктов читал свой прекрасный перевод драмы В. Гюго «Le Roi s'amuse» («Король забавляется». — *Ред.*). Стихи изумительно отделанные, жаль только, что потрачены на вещь, которая не может увидеть ни печати, ни сцены театра на русском языке!» (ГБЛ). Об отношении Бенедиктова к поэзии Гюго свидетельствует, в частности, его приписка к переводу «Фиалки и мотылька» в альбоме С. Н. Степанова: «Вот тебе на память, любезный Сережа, переведенная мною пиеска одного из любимых моих поэтов Виктора Гюго» (ИРЛИ). За пределами настоящего издания остались еще 6 известных нам стихотворений В. Гюго, переведенных Бенедиктовым: «Старая песня юного времени», «Призыв», «Книга», «Мост», «Роза и могила», «Надежда на бога».

392. К, с. 200, под загл. «К N. N. (Из В. Г.)» Печ. по Ст. 1856, т. 2, с. 206. Перевод стихотворения «Oh! n'insulter jamais une femme qui tombe! ..» (1835). Ср. стих. Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1857).

393. П, 1840, № 3 (ц. р. 30 марта 1840), с. 103. Перевод стихотворения «Parfois lorsque tout dort. . .» (1829).

394. «Молодик на 1843 г.», Харьков, 1843 (ц. р. 10 сентября 1842), с. 269, где напечатано без загл. с подзагол. «(Из В. Г.)»; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 2, с. 268. Автограф — ГБЛ. Перевод стихотворения «Comme dans les étangs. . .» (1829).

395. Ст. 1856, т. 3, с. 273—275. Перевод стихотворения «A M-lle Fanny de P.» (1840).

396. Ст. 1856, т. 3, с. 276—277. Перевод стихотворения «Paroles dans l'ombre» (1856).

397. Ст. 1856, т. 3, с. 278—281. Перевод стихотворения «Je sais bien qu'il est d'usage. . .» (1856).

398. Ст. 1856, т. 3, с. 282—283. Перевод стихотворения «L'enfance» (1835).

399. БдЧ, 1857, т. 142 (ц. р. 5 марта 1857), с. 1—4, с подзагол. «(Из В. Г.)»; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 149—154. Перевод стихотворения «Le revenant» (1843).

400. БдЧ, 1857, т. 143 (ц. р. 2 мая 1857), с. 10, с подзагол. «(Из В. Г.)»; Ст. 1857. Печ. по Ст. 1857, с. 175—176. Перевод стихотворения «La source» (1846).

401. Ст. 1857, с. 157—166. Перевод стихотворения «A Villequier» (1847).

402. Ст. 1857, с. 171—174. Перевод стихотворения «La nature» (1843).

403. Ст. 1857, с. 177—178. Перевод стихотворения «A la mère de l'enfant mort» (1843).

404. Ст. 1857, с. 179—182. Перевод стихотворения «A ma fille» (1842).

405. «Подснежник», 1858, № 4 (ц. р. 30 марта 1858), с. 1, с подзаг. «(Из В. Г.)». Перевод стихотворения «La source tombait du rocher» (1854).

406. Ил, 1858, № 17, 1 мая, с. 267. Автографы — ИРЛИ, ГПБ. Перевод стихотворения «A propos d'Horace» (1856).

407. Ш, 1858, № 28, 4 октября, с. 725—726. Перевод стихотворения «Lise» (1834).

408. СбС, с. 224, с подзаг. «(Из В. Г.)». Перевод стихотворения «Mort» (1854).

409. «Семейный круг», 1860, № 44, 5 ноября 1860, с. 115, с подзаг. «(Из В. Г.)». Автограф — в альбоме С. Н. Степанова, между записями 1858 и 1862 гг. — ИРЛИ. Перевод стихотворения «La pauvre fleur disait au papillon céleste...» (1835).

410. СО, 1860, № 7, 14 февраля, с. 177. Автограф — ИРЛИ. Перевод отрывка из стихотворения «Napoléon II» (1832).

411. Ст. 1883—1884, с. 362—370. Перевод стихотворения «La rose de l'infante» (1856).

412. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 371—372. Перевод стихотворения «Vœu» (1828).

413. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 373—374. Перевод стихотворения «Autre chanson» (1835).

414. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 377. Перевод стихотворения «Jeune fille l'amour c'est d'abord un miroir...» (1837).

415. СО, 1860, № 48, 27 ноября, с. 1458—1459. Перевод стихотворения «Tentanda via est» (1835).

416. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 381—390. Перевод стихотворения «Les pauvres gens» (1859).

АНРИ ОГЮСТ БАРБЬЕ
(1805—1882)

417. Ст. 1856, т. 2, с. 222—224. Перевод стих. «Dante», входившего в сборник «Ямбы» (1830).

418. «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, с. 250—254. Перевод стихотворения «La curée» (1830). Печ. с исправлением явно дефектного ст. 127. Сборник Барбье «Ямбы», куда входило «La curée», был запрещен в России, что, однако, не помешало этой книге стать чрезвычайно популярной среди передовой интеллигенции. Перевод Бенедиктова ходил по рукам значительно ранее его заграничной публикации. В рукописном сборнике М. Семевского «Собачий пир» помещен с датой: 5 ноября 1856 (ИРЛИ). 2 сентября 1857 г. Т. Г. Шевченко слышал это стихотворение в кругу друзей, будучи далеко от Петербурга. «После прочтения перевода, — писал Шевченко в дневнике, — был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье» (Шевченко, с. 112). 16 сентября Шевченко переписал текст «Собачьего пира» в свой дневник, где текст стихотворения имеет некоторые отличия от печатного. Приехав в Петербург весной 1858 г., Шевченко посетил Бенедиктова, «и он по моей просьбе, — записал Шевченко, — прочитал некоторые места из «Собачьего пира» (Барбье), и теперь только я уверился, что этот великолепный перевод принадлежит действительно Бенедиктову» (там же, с. 217).

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
(1811—1872)

419. П, 1856, № 4 (ц. р. 15 июня 1856), с. 2—5; Ст. 1856. Печ. по Ст. 1856, т. 3, с. 265—269. Автографы — ИРЛИ, ГПБ. Перевод стихотворения «La poème de la femme» (1852).

С немецкого

Кроме включенных в издание переводов Бенедиктова с немецкого языка нам известен также его перевод драмы И.-В. Гете «Торквато Тассо» (ГПБ), еще не бывший в печати.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР
(1759—1805)

Перевод этих стихотворений был осуществлен Бенедиктовым по заказу Н. В. Гербеля для издания сборника лирических стихов Шиллера на русском языке. Четыре из них были включены в сборник. Перевод этих произведений, «исполненных великой трудности», был высоко оценен А. В. Дружининым. «Может быть, — писал критик о Бенедиктове, — без издания, предпринятого г. Гербелем, он и не подумал бы о переложении лирических стихов Шиллера, а между тем и поэтическая восприимчивость г. Бенедиктова, и склад его дарования, и его светлое воззрение на все высокое в жизни нашей как

нельзя более подходит к труду такого типа» (Дружинин А. В., Соч., т. 6, СПб., 1865, с. 441).

420. Ст. 1856, т. 2, с. 214—216; Шиллер 2. Печ. по Шиллер 2, с. 24—25. Автограф — ЦГАЛИ. Перевод стихотворения «An Minna» (1781).

421. Шиллер 1, с. 31—33; Шиллер 2. Печ. по Шиллер 2, с. 7—9. Автограф в альбоме Н. В. Гербеля — ГПБ. Перевод стихотворения «Laura am Klavier» (1781).

422. Шиллер 1, с. 3—8; Ст. 1857; Шиллер 2. Печ. по Шиллер 2, с. 63—66. Перевод стихотворения «An die Freude» (1785). В рецензии на Шиллер 1 Добролюбов заявил, что вместо «Песни радости» у Бенедиктова «вышла песня волжских разбойников» (Добролюбов, т. 2, с. 158).

423. Шиллер 1, с. 33—40; Ст. 1857; Шиллер 2. Печ. по Шиллер 2, с. 87—92. Автограф — ИРЛИ. Перевод стихотворения «Die Götter Griechenlands» (1788). «Не боясь упрека в пристрастии, — писал Дружинин в рецензии на Шиллер 1, — мы скажем, что пьеса «Боги Греции» как перевод достойна стать рядом с лучшими переводами Жуковского...» (Дружинин А. В., Соч., т. 6, СПб., 1865, с. 411).

424. Ст. 1883—1884, т. 3, с. 417—420. Перевод стихотворения «Die Ideale» (1795).

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР
(1822—1885)

Альфред Мейснер — прогрессивный австрийский поэт, драматург, романист и публицист, близкий друг Генриха Гейне. Уже первые его стихи, появившиеся в печати в 1837 г., были охарактеризованы критикой как «тенденциозная гражданская поэзия». Эпическая поэма «Жижка», напечатанная впервые в 1846 г. и тотчас же запрещенная австрийской цензурой, поставила Мейснера в ряд крупнейших немецких писателей этого периода.

425. Печ.: «Вступление» — впервые, по автографу ГПБ; гл. «Смерть Жижки» по ЛБ, 1867, т. VI, май, кн. 2, с. 74—76; гл. «Завой» и «Заключение» — впервые, по автографу ГПБ. Отправляя перевод А. П. Греку, Бенедиктов сопроводил его письмом: «Милостивый государь Александр Петрович! Вы познакомили меня с поэмою Альфреда Мейснера, напечатанною третьим изданием в Лейпциге в 1850 г., и внушили мне мысль попытаться перевести ее с немецкого на русский язык. Перевод этого произведения, служивший в течение нескольких месяцев приятнейшим для меня занятием, ныне кончен. Вы были руководителем моим в передаче на язык наш как собственных имен тех лиц, которые введены автором в его поэму, так и названий городов, рек и пр. — сообразно с избранною им эпохою (1419—1424 г.). Сверх того, выслушивая с величайшим терпением перевод мой в первоначальном самом грубом его виде, промахи, сделанные мною или по неосмотрительности и торопливости, или по неточному уразумению подлинника, — промахи, которые потом, по мере возможности, мною исправлены. — Позвольте же мне по чув-

ству признательности за наслаждение, которое доставил мне труд перевода, которым я собственно Вам обязан, равно как и в благодарность за бывшее для меня необходимым в этом случае Ваше пособие и участие, посвятить Вам этот перевод мой и предоставить его в собственноручном списке, так как нельзя полагать, чтоб он мог быть у нас напечатан, по смелости тех выражений и тех идей, которые могли бы получить превратное истолкование и возбудить опасения со стороны цензуры» (ГПБ). Отсутствие дат под текстами письма и перевода затрудняет достаточно точное определение времени работы Бенедиктова над «Жижкой». Наиболее вероятно, что переводчик работал над поэмой Мейснера между 1865 и февралем 1867 г., когда он уже был свободен от работы по переводу крупнейших произведений Адама Мицкевича, над которыми он работал в 1850-х — первой половине 1860-х гг. «Представляем читателям, — писал Бенедиктов в кратком предисловии «От переводчика», — перевод с немецкого поэмы Альфреда Мейснера «Žižka», состоящий из ряда стихотворений, предметом которых служат подвиги знаменитого вождя гуситов Жижки и событий гуситской войны с 1419 до 1424 года, т. е. до смерти Жижки, передавшего начальство над гуситами доблестному сподвижнику своему Прокопу». Поэма печаталась в следующих номерах ЛБ, 1867: т. 4, февраль, кн. 2, с. 51—78; т. 4, март, кн. 2, с. 179—203, т. 5, апрель, кн. 1—2, с. 98—119; т. 6, май, кн. 2, с. 54—76. Печатание поэмы было закончено главой «Смерть Жижки», после которой следовало послесловие переводчика: «Оканчивая этим печатание перевода Мейснеровой поэмы, мы должны сказать, что в подлиннике после стихотворения, озаглавленного «Žižka's Tod» («Смерть Жижки»), есть еще пиеса под заглавием «Zawoj» (Завой — имя певца, который выведен был на сцену в 1 и 2 частях поэмы); но как стихотворение это содержит в себе резкие воззвания Завоя над устланным трупами полем недавней битвы, обращенные к религиозной святыне, чтимой вообще всеми христианами, то оно переводчиком устранено, так же как и выше исключены из перевода некоторые места поэмы с выражениями крайне оскорбительными собственно для римско-католической церкви, хотя все это относится к давно минувшему времени, когда действительно злоупотребления римско-церковного владычества превышали всякую меру. Сверх того поэма А. Мейснера начинается песнью, которая служит «Вступлением» («Eingang»), и оканчивается «Заключительною песнию» («Schlußgesang»). Оба эти стихотворения равным образом не должны были иметь места в представленном здесь переводе». Для публикации в настоящем издании отобраны главы из «Жижки», до сих пор не печатавшиеся («Вступление», «Завой», «Заключение»), и связывающая их последняя глава прижизненной авторской публикации («Смерть Жижки»).

С венгерского

ШАНДОР ПЕТЁФИ
(1823—1849)

За пределами настоящего издания осталось одно стихотворение Петёфи, переведенное Бенедиктовым, «Помешанный».

426—433. ЛБ, 1867, т. 3, кн. 1, с. 33—40; кн. 2, с. 167—169. Перевод стихотворений «Ez avilag amilyen nagy...» (1844), «Befordulfam a konyhare...» (1843), «A faluban utcahosszat...» (1843), «Szeretném itt hagini...» (1846), «Mia dicsõceg?..» (1846), «A banat? Egy nagu ocean...» (1846), «Szallnak remenyink...» (1846), «Gyertiám homalyosan lobod...» (1846).

С польского

Наряду с французской, польская поэзия привлекала наибольшее внимание Бенедиктова-переводчика. Кроме включенных в настоящее издание польских поэтов, Бенедиктов переводил К. Бродзинского, И. Головинского, И. Красицкого, А. Ст. Нарушевича, В. Поля. Однако если Мицкевича Бенедиктов переводил начиная еще с 1830-х гг. до конца жизни, то все остальные переводы с польского сделаны Бенедиктовым по заказу Н. В. Гербеля в мае 1869 г.

ЯН КОХАНОВСКИЙ
(1530—1584)

434. ПС, с. 412. Перевод стихотворения «Nie porzucaj nadzieje...»

СТАНИСЛАВ ТРЕМБЕЦКИЙ
(1739—1812)

435. ПС, с. 416, вместе с другим переводом из Трембецкого «Из поэмы „Софиевка"», не вошедшим в настоящее издание. Перевод стихотворения «Oda Balon».

ТОМАШ ВЕНГЕРСКИЙ
(1755—1787)

436. ПС, с. 421. Перевод стихотворения «Filozof».

ЮЛИАН НЕМЦЕВИЧ
(1757—1841)

437. ПС, с. 421, где помещено с другим переводом Бенедиктова из Немцевича «Дума о Стефане Потоцком», не вошедшим в настоящее издание. Перевод стихотворения «Leszek Biały».

АДАМ МИЦКЕВИЧ
(1798—1855)

Помещаемые в настоящем издании переводы из Мицкевича — лишь небольшая часть переведенного Бенедиктовым, который пере-

вел почти всю лирику и все эпические произведения великого польского поэта.

438—457. Переводы «Сонетов» (1826) Адама Мицкевича относятся к 1850—1860-м гг. Сонеты 7-й и 10-й, по нумерации Мицкевича, переводы из Петрарки — опущены. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 — Мицкевич, т. 1, с. 115—116, 121—123, 129—136. Печ. по автографам ГПБ. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 15 — Сонеты, с. 170—173, 175—176. Печ. по автографам ГПБ.

458—476. Переводы «Крымских сонетов» (1826) Адама Мицкевича сделаны по парижскому изданию Сочинений Мицкевича 1861 г. 1, 5, 10, 12, 14, 18, 19 — Сонеты, с. 181, 183, 184, 185, 187, 188. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16 — Мицкевич, т. 2, с. 148—151, 154, 156—157, 163—165. 7 — «Русская литература», 1966, № 4, с. 141. 11, 13, 17 — Ст. 1939, с. 296—297. Печ. по автографам ГПБ.

БОГДАН ЗАЛЕСКИЙ
(1802—1886)

477. ПС, с. 503. Перевод стихотворения «Duch od stepu» (1841).

ЮЗЕФ ИГНАЦИЙ КРАШЕВСКИЙ
(1812—1887)

Кроме публикуемого перевода Крашевского Бенедиктов написал две мифологические кантаты «Мильда» и «Ундины» на сюжеты из поэмы Крашевского «Витольрауды». Кантаты изданы отдельными книжечками в 1846 и 1856 гг.

478. ПС, с. 518. Перевод стихотворения «Nieulekniony» (1838).

С чешского

ЯН КОЛЛАР
(1793—1852)

479—481. ЛБ, 1867, т. 4, кн. 2, с. 317—319. Перевод сонетов №№ 269, 271, 374 из поэмы «Дочь славы» («Slavy dcera»).

С сербохорватского

В 1869 г. Н. В. Гербель, знавший переводы Бенедиктова из Медо Пучича и Николая Черногорского (Негоша), поручил ему еще ряд переводов с сербохорватского для ПС. 30 мая 1869 г. Бенедиктов, очень загруженный в эту пору переводческой работой, писал Гербелю: «Сделать ⟨...⟩ предлагаемые Вами переводы из сербской хрестоматии не обещаюсь и даже вовсе от них должен я отказаться, если они нужны скоро» (ГПБ). Срок был продлен, и Бенедиктов успел перевести для ПС несколько стихотворений сербохорватских поэтов.

ХАНИБАЛ ЛУЦИЧ
(1485—1553)

482. ПС, с. 234. Перевод стихотворения «Juz nijedna na svit vila...».

ИОВА́Н ХАДЖИЧ (СВЕТИЧ)
(1799—1869)

483. ПС, с. 243.

МЕДО ПУЧИЧ
(1821—1882)

484. ЛБ, 1867, т. 5, кн. 1, с. 257—259; ПС. Печ. по ПС, с. 282.

ИОВАН СУНДЕЧИЧ
(1825—1900)

485. ПС, с. 285.

ИОВАН ИОВАНОВИЧ ЗМАЙ
(1833—1904)

486. ПС, с. 288. Перевод стихотворения «Делиjа-девоjка».

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ НЕГОШ
(1841—1921)

487—488. ЛБ, 1867, т. 5, кн. 1—2, с. 9—12; ПС. Печ. по ПС, с. 291. Перевод стихотворения «Онамо, онамо!..» (1867) и «Пиjмо вино!» (1859).

Список оригинальных произведений В. Г. Бенедиктова, не включенных в настоящее издание[1]

1. Аполлону Майкову. Ответ («Что за милое посланье!..») — ИРЛИ.
2. Благовещение. К картине Боровиковского («Кто сей юный — в ризе света...») — Ст. 1856, т. 2, с. 156—157.
3. Благодарность («Я предков именем не громок...») — Быкова, ч. 1, с. 173.
4. Великое дело («„Нет более рабства!“ — владыка сказал...») — Ст. 1883—1884, т. 3, с. 347—348.
5. Вопросы («Отвлеченные вопросы...») — «Век», 1861, № 4, с. 135.
6. Воспоминание о Крыме («Когда-то земли уголок золотой...») — Ст. 1856, т. 3, с. 37—39.

[1] Этот список не может, разумеется, считаться абсолютно полным. Дальнейшие разыскания, по-видимому, еще выявят неизвестные и забытые стихотворения Бенедиктова. В дошедшее до нас «Содержание» подготовленного поэтом незадолго до его смерти сборника стихотворений, написанных после выхода Ст. 1857 (автограф ГПБ), включены три неизвестные нам названия: «Отсылка», «Пленница», «Туча и дума».

7. Встречное слово. Собранию выпускных девиц («На праздник жизни вдруг так много. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 136.
8. Встречный голос. При торжественном въезде его императорского величества в Санкт-Петербург после коронования («Вот Он, наш кормилец! Вот Он — в блеске новом! . .») — Ст. 1857, с. 1—4.
9. Дорогим имениннйкам. Федору Николаевичу Глинке и графу Федору Петровичу Толстому 17 февраля 1858 г. («Двум именинникам почтенным. . .») — СП, 1848, № 46.
10. Его превосходительству Якову Николаевичу Озерецкому. В праздник Пасхи 15 апреля 1856 года («Ныне к празднику святому. . .») — ЦГАЛИ.
11. Зимнее утро («Снег, убелив поля, леса и хаты. . .») — «Русская литература», 1982, № 3, с. 171.
12. Исход («И се: он вывел свой народ. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 77—82.
13. К ** («Кто в жизни и горе и счастие знал. . .») — «Русская литература», 1982, № 3, с. 171.
14. К ней. Старая песня на новый лад («К тебе, кем поэта душа постоянно. . .») — ОбВ, 1858, № 10, с. 413—414.
15. К портрету государыни императрицы Марии Александровны, помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2 («Разумом, сердцем тебя наделила природа. . .») — Ст. 1857, с. 13—14.
16. К портрету государя императора Александра Николаевича, помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2 («Царь! Твой благостью и силой. . .») — Ст. 1857, с. 11—12.
17. ⟨К портрету Ивана Карловича Гебгардта⟩ («Всегда он рыбой был, влача свой век дурацкий. . .») — ИРЛИ, ГПБ.
18. К портрету Ивана Карловича Гебгардта («С широкою душой в широком полном теле. . .») — ИРЛИ, ГПБ.
19. К поэту («Поэт! Не вверяйся сердечным тревогам! . .») — Ст. 1856, т. 2, с. 190—191.
20. Как больно! («Друзья! Как больно, как обидно. . .») — ГПБ.
21. Кипарис («На юге, где и лавр с оливой разрослись. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 48—49.
22. Мне жаль («Когда срывают розу. . .») — Ст. 1883, т. 3, с. 256.
23. Могущество песни («Когда нечистый, злобный дух. . .») — Ш, 1859, № 18, с. 523.
24. Молитва. «Спаси, господи, люди твоя» («Спаси, о господи, людей — твое созданье! . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 145.
25. Молодым супругам цесаревичу и цесаревне. От русского дворянства («Тебе наш клик, чета младая! . .») — ГБЛ.
26. «Мысль на челе твоем, разум горит в твоем взоре. . .» — «Русская литература», 1982, № 3, с. 171.
27. На Новый 1859 год («О боже! Укрепи нас в силах! . .») — ИРЛИ.
28. «Начальное мое есть господу хваленье. . .» — ИРЛИ.
29. Обновы («Откуда жизнь в делах и в слове? . .») — ЦГАЛИ.
30. Переложение псалма CXXV («Израиль! Жди: глас божий грянет. . .») — Ш, 1858, № 33, с. 861.
31. Подражание псалму LXXXI («И бог восседе перед сонмом богов. . .») — Ст. 1883—1884, т. 3, с. 222.
32. Послание («Я, вас окинув первым взглядом. . .») — Быкова, ч. 2, с. 222—224.
33. После похорон А. А. К. («Он отошел от нашей кутерьмы. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 108—110.

34. Последний пир («Зачем так озарен Таврический дворец. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 204.
35. «Предчувственно он созерцает крест. . .» — ЦГАЛИ.
36. Я прочитал книгу («Прочитал я книгу „о начале мира. . .“») — Ст. 1883—1884, т. 3, с. 305.
37. Разговор на чужбине («Молви, ты откуда. . .») — Ст. 1883—1884, т. 3, с. 230—235.
38. 17 апреля 1859 («В золотых лучах апреля. . .») — СО, 1859, № 16, с. 413.
39. Современная молитва («Владыко мира — царь вселенной. . .») — Ст. 1857, с. 65—68.
40. Сознание силы («На искушенье глядя строго. . .») — Ст. 1856, т. 3, с. 146—148.
41. А. С. Станюковичу («Шлю вам поклон за доставленье. . .») — ГПБ.
42. Стихи, читанные в день юбилея 50-летней службы тайного советника Федора Лаврентьевича Халчинского 31 декабря 1853 года («Здесь на праздник юбилейный. . .») — ГПБ.
43. ⟨Стихи, читанные 26 января. . . у А. М. Княжевича⟩ («Был недавно искрометный. . .») — ЦГАЛИ.
44. ⟨Стихи, читанные на обеде в Академии художеств в честь Ф. П. Толстого⟩ («На берегу Невы державной. . .») — «СПб. ведомости», 1855, № 28, 8 февраля.
45. Тост на юбилее его высокопревосходительства Александра Максимовича Княжевича 19 января 1861 г. («Счастлив поэт — в ликующем собранье. . .») — СПб., 1861 (отдельное издание).
46. 14/26 июля 1858. Швальбах («Пера в порывистом размахе. . .») — ГПБ.
47. ⟨Е. А. Штакеншнейдер⟩ («Отправляюсь я через Висбаден. . .») — ГПБ.
48. ⟨М. Ф. Штакеншнейдер⟩ («Шлю вам желанные тетради. . .») — ИРЛИ.

Список стихотворений, приписываемых В. Г. Бенедиктову

1. Белый галстух («Терплю я моды угнетенье. . .») — И, 1860, № 12, с. 130, с подписью: «Пр. Вознесенский» — Ямпольский И. Г., Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов, Л., 1973, с. 8 (далее — *Ямпольский*) [1]. См. также: Масанов И. Ф., Словарь псевдонимов, т. 3, М., 1958, с. 357.

2. Большой праздник («Вот настал великий праздник. . .») — И, 1860, № 13, с. 140, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

3. Вопль домовладельца («Наживаясь ненасытно. . .») — И, 1859, № 47, с. 483, с подписью: «П. Вознесенский». — *Ямпольский.*

[1] Это и другие стихотворения, печатавшиеся с подписями «П. Вознесенский» и «Пр. Вознесенский» и приписывавшиеся ранее Н. С. Курочкину, атрибутированы И. Г. Ямпольским Бенедиктову на основании найденных им указаний П. И. Пашино («Минута», 1882, № 121) и П. А. Ефремова (в принадлежащем ему экземпляре «Искры» за 1859 г.). К данному перечню следует добавить, что в литературных архивах нашей страны хранится немало списков стихотворений других поэтов, ошибочно относимых переписчиками Бенедикто-

4. Вот я и того, знаете... («Век я не пивал») — И, 1859, № 27, с. 267, с подписью: «П. Вознесенский». — *Ямпольский.*

5. Вседневная история («Строго, честно живши смолода...») — «Сборник юмористических и сатирических современных стихов», Казань, 1866, с. 97—98, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

6. Встреча («Ах, здравствуй, Nadine! Как я рада...») — И, 1860, № 12, с. 130—131, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

7. Две книги («Ты знаешь ли книгу? — Великий пророк...») — СО, 1838, т. 6, с. 5—7, с подписью «Б. Б.»; Нива, 1874, № 26, с. 414, с подписью «В. Бенедиктов» и редакционным примечанием: «Это стихотворение, долго хранившееся в бумагах А. Е. Грена».

8. Зачем? («Вчера я виделся, беседовал я с вами...») — И, 1860, № 14, с. 153, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.* [1]

9. К серому другу («Осел, мой друг! Я не прельщен...») — И, 1860, № 7, с. 83, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

10. Материнская дума («Порой близ жаждущей законных уз девицы...») — И, 1860, № 14, с. 153, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

11. Наставление маменьки («Милая девушка! Прелесть — создание!..») — И, 1860, № 11, с. 117, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

12. Откупщику-художнику («Губитель! Не страшись анафемы народной...») — И, 1860, № 6, с. 65, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

13. Песенка бедного чиновника («Как посмотришь иногда...») — И, 1859, № 32, с. 317—318, с подписью: «П. Вознесенский». — *Ямпольский.*

14. Прогресс («В наш век прогресса...») — «Сборник юмористических и сатирических современных стихотворений», Казань, 1866, с. 79—80, с подписью: «Вознесенский». — *Ямпольский.*

15. Смех на все гласные («Карл Ильич — корысти бесом...») — И, 1860, № 6, с. 65, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

16. Ступени («Не кончив курса семинарского...») — «Сборник юмористических и сатирических современных стихотворений», Казань, 1860, с. 98—99, с подписью: «Пр. Вознесенский». — *Ямпольский.*

ву. Укажем также на три известных нам списка стихотворений, приписываемых их владельцами Бенедиктову и, возможно, действительно ему принадлежащих: «Исповедь поэта» («Владыко неба и земли!..») — ГБЛ; «Нищий» («Я один, кругом чужие...») — ИРЛИ; «Черный глаз — опасный глаз» — ИРЛИ.

[1] В дошедшем до нас «Содержании» (автограф ГПБ) подготовленного Бенедиктовым незадолго до его смерти сборника стихотворенний, написанных после Ст. 1857, под номером 71 было такое же название, затем зачеркнутое. Рядом чьей-то рукой приписано: «(в «Искре» № 14)». Однако Бенедиктов имел в виду, очевидно, другое стихотворение под тем же названием, дошедшее до нас в автографе и помещенное в настоящем издании (см. № 282).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1830—1840-х ГОДОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1850—1870-х ГОДОВ

ПЕРЕВОДЫ

С АНГЛИЙСКОГО

Вильям Шекспир

Джордж Гордон Байрон

С ФРАНЦУЗСКОГО

Андре Шенье

Пьер Жан Беранже

Жан Ребуль

Виктор Гюго

Анри Огюст Барбье

Теофиль Готье

С НЕМЕЦКОГО

Фридрих Шиллер

С СЕРБОХОРВАТСКОГО

Ханибал Луцич

Иован Хаджич (Светич)

Медо Пучич

Иован Сундечич

Иован Иованович Змай

Николай Петрович Негош

Владимир Григорьевич Бенедиктов

СТИХОТВОРЕНИЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983.
816 стр. План выпуска 1983 г. № 402.

Художник *И. С. Серов*
Редактор *Д. М. Климова*
Худож. редактор *А. С. Орлов*
Техн. редактор *Л. П. Полякова*
Корректоры *Ф. Н. Аврунина, И. Г. Клейнер*

ИБ № 3454

Сдано в набор 14.09.82. Подписано к печати 23.12.82. М 33812. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 43,36. Уч.-изд. л. 45,11. Тираж 25 000 экз. Заказ № 689. Цена 3 р. 50 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.